



**Талейран, МЕМУАРЫ**

Москва, 1959

MEMOIRES DU PRINCE DE TALLEYRAND

Редактор Е.Тарле

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Талейран, МЕМУАРЫ.....	1
ОГЛАВЛЕНИЕ.....	2
ОТ РЕДАКТОРА.....	3
ТАЛЕЙРАН.....	6
I.....	6
II.....	23
III.....	38
IV.....	46
ТАЛЕЙРАН “МЕМУАРЫ”.....	53
<i>Первая глава</i> (1754—1791 годы).....	53
<i>Вторая глава</i> (1791—1808 годы).....	83
<i>Третья глава</i> ЭРФУРТСКОЕ СВИДАНИЕ (1808 год).....	117
<i>Четвертая глава</i> (1809—1813 годы).....	140
<i>Пятая глава</i> ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ. РЕСТАВРАЦИЯ (1813—1814 годы).....	178
<i>Шестая глава</i> ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС (1814—1815 годы).....	195
<i>Седьмая глава</i> ВТОРАЯ РЕСТАВРАЦИЯ (1815 год).....	203
<i>Восьмая глава</i> ГЕРЦОГ ОРЛЕАНСКИЙ (1).....	217
Указатель имен.....	244

## ОТ РЕДАКТОРА

Мемуары деятелей, игравших очень уж первостепенную роль, редко бывают сколько-нибудь правдивы. Это весьма понятно: автор, знающий свою историческую ответственность, стремится построить свой рассказ так, чтобы мотивировка его собственных поступков была по возможности возвышенной, а там, где их никак нельзя истолковать в пользу автора, можно постараться и вовсе отречься от соучастия в них. Словом, о многих мемуаристах этого типа можно повторить то, что Анри Рошфор в свое время сказал по поводу воспоминаний Эмилия Оливье: “Оливье лжет так, как если бы он до сих пор все еще был первым министром”. Лучшим из новейших образчиков такого рода литературы могут послужить девять томов воспоминаний Пуанкаре (готовится десятый том, — и предвидится еще десятка полтора, судя по принятому масштабу и по известному трудолюбию автора). Все девять томов Пуанкаре — сплошное (по существу) повторение патриотической казенщины, печатавшейся в эпоху нескольких его министерств и его президентуры.

Мемуары Талейрана имеют некоторое преимущество, во-первых, в том, что они, хотя, правда, после первоначальных явственных колебаний, предназначались лишь для потомства и ни в коем случае не должны были появиться при жизни автора (они впервые вышли в 1891 году, то есть спустя пятьдесят три года после смерти Талейрана). Во-вторых, как я отмечаю ниже в краткой его характеристике, он понимал, что, действуя на мировой арене, оказав несколько раз громадное влияние на ход дел в самые решающие исторические моменты, проявляя всегда абсолютную беззастенчивость и не пытаясь даже оправдываться почти ни в чем впоследствии, — он не может рассчитывать, что ему будут очень верить в его мемуарах. Поэтому он избрал такой метод. Он прежде всего загрозил свои мемуары перепечаткою официальных документов или служебных и полуслужебных донесений, которые он составлял за время своей активной политической жизни. Затем он просто обошел молчанием все те случаи, где лгать было бы совсем бесцельно вследствие слишком уж большой известности и твердой установленности бесспорных фактов. Конечно, по этой причине мемуары должны были неминуемо очень много потерять в своем внешнем интересе. В самом деле: вспомним, кого только не видел, с кем только не имел дела этот человек! “Он говорил о себе самом, что он — великий поэт и что он создал трилогию из трех династий: первый акт — империя Бонапарта, второй акт — дом Бурбонов, третий акт — Орлеанский дом. Он сделал все это в своем дворце и, как паук в своей паутине, он последовательно привлекал в этот дворец и забирал героев, мыслителей, великих людей, завоевателей, королей, принцев, императоров, Бонапарта, Сиеса, госпожу Сталь, Шатобриана, Бенжамена Констана, Александра российского, Вильгельма прусского, Франца австрийского, Людовика XVIII, Луи-Филиппа и всех золотых и блестящих мух, которые жужжат в истории последних сорока лет”, — так писал о нем Виктор Гюго через несколько дней после его смерти. Талейран сравнительно мало говорит о них, — значительно меньше, чем мог бы сказать.

И при всех этих недостатках его мемуары — необходимая часть того “железного фонда” исторической литературы, который желательно иметь всякому образованному человеку. Именно потому, что Талейран об очень многом умолчал, мы можем с несколько большим доверием отнестись к тому, о чем он говорит. Ведь он умалчивал о таких событиях, о которых заведомо для него знали все на свете, — и потому своим умалчиванием он не стремился их “скрыть”, а просто давал понять, что не хочет о них распространяться. Говорил же он лишь о том, о чем, по его мнению, еще можно спорить, что еще можно пытаться осветить в благоприятном для него свете и что, быть может, и в глубине души он считал несколько не зазорным для своей чести.

Талейран в своем завещании сделал полною распорядительницею всех своих бумаг свою племянницу, герцогиню Дино, причем обусловил, чтобы его мемуары были опубликованы не раньше чем спустя тридцать лет после его смерти. После смерти

герцогини Дино бумаги перешли по ее завещанию к Бакуру, который и принялся готовить их к печати. Умирая, он завещал эти бумаги двум светским дилетантам, к которым присоединился впоследствии и академик герцог Брольи, известный лидер французских легитимистов и министр в начале третьей республики. Брольи и приготовил окончательно к печати эти мемуары, первый том которых появился в Париже в феврале, второй и третий—в июне, а четвертый — в октябре 1891 года.

Теперь уже может считаться вполне установленным, что все свои воспоминания, относящиеся к эпохе от первых лет своей жизни вплоть до своей отставки в сентябре 1815 года, Талейран написал в эпоху реставрации, и едва ли не больше всего именно в первые годы реставрации. Затем в мемуарах следует глубокий провал, ровно ничего не говорится о годах отставки, а затем — непосредственный переход к июльской революции 1830 года и к последней фазе активной деятельности Талейрана — к его пребыванию в качестве посла Луи-Филиппа в Лондоне в 1830—1834 гг. Эта часть написана, очевидно, в 1835—1837 гг., так как в 1838 году он часто болел и уже не мог работать.

Что касается первой части, то на ней очень явственно отразилась эпоха, когда Талейран писал ее. Он принимает тон человека, всегда в душе скорбевшего об ошибках и зловключениях “законной” династии Бурбонов,— тон умеренно либерального аристократа, который лишь скрепя сердце, чтобы по мере сил спасти отечество, стал служить и Учредительному собранию, и Законодательному собранию, и Директории, и Наполеону, личные же его душевные предпочтения были (хочет он внушить читателю) всегда на стороне Бурбонов. С этой нотой вполне гармонируют и две другие, также очень слышные в первой части мемуаров: Талейран с удовольствием останавливается на старорежимных бытовых подробностях, которые помнит с детства, предается горделивым размышлениям о том, что невозможно не аристократу играть ту же роль, быть так поставленным в глазах населения, как поставлены люди старинных дворянских родов; с другой стороны, он настойчиво обращает внимание читателя на то, как он до революции отстаивал права и преимущества церкви, споря против светской власти, желавшей наложить на церковь более тяжелые поборы. Ясно, что он, думая о публике 1815—1816 и следующих годов, имел в виду прикинуться совсем *их* человеком, со всеми дворянскими, и даже, отчасти, клерикальными симпатиями, свойственными тогдашней торжествовавшей реакции. Мы можем по некоторым признакам судить, что он не сразу отказался от мысли печатать свои мемуары еще при жизни. Ясно, что он некоторое время думал о том именно читателе, который задавал тон при реставрации, и именно в первые ее годы.

Это у него отразилось не только на заведомо лживой оценке собственной своей роли и мотивов своих действий при революции и империи, но и на умышленном почти полном умолчании о самых важных событиях (вроде секвестра по его предложению всех земельных имуществ церкви в 1789 году и т. д.). Посвящая особую главу свиданию императоров Наполеона и Александра в Эрфурте, он только беглым и глухим намеком говорит о своих изменнических деяниях в тот момент. Помянув мельком о казни герцога Энгиенского, он внушает читателю мысль о полнейшей своей моральной непричастности к этому событию. Говоря о 1814—1815 гг., он представляет дело так, что кроме как о спасении отечества он ни о чем не думал. И чтобы окончательно замаскировать пред читателем свою инициативную роль в расстреле герцога Энгиенского, он не забывает (правда, ни к селу ни к городу) прибавить, что именно принц Конде (то есть отец расстрелянного герцога Энгиенского) поздравлял его с результатами Венского конгресса. Он забывает прибавить, что это поздравление было им получено значительно позже, и именно после того, как он бесстыдно обманул принца Конде и этой беззастенчивой ложью оправдался в его глазах.

Впрочем, читатель, ознакомившись с моей вводной характеристикой Талейрана, без труда разберется в причинах, почему автор мемуаров о многом предпочитает и вовсе ничего не говорить, а о многом говорит не то и не так, как было.

И, тем не менее, без этих мемуаров не может обойтись ни один историк Франции эпохи

конца старого режима, революции, империи, реставрации, июльской революции, монархии Луи-Филиппа, также ни один историк европейской дипломатии в этот период. Они полны важных деталей, глубоких и тонких замечаний и оценок как лиц, так и событий. В этих томах выгодно сказывается отмеченная мною в вступительном очерке характерная черта Талейрана: отсутствие мстительности, происходящее от способности и склонности не столько ненавидеть, сколько презирать людей. Его мемуары не носят характера боевого памфлета, написанного для посрамления врагов и наказания обидчиков,— как аналогичные книги Тирпица, или Клемансо, или леди Асквит, или графа Витте, или Бурьенна, или Бисмарка. Напротив, к тем, кто умер или уже не может ему помешать, он относится со спокойствием и равнодушием, которые вообще были ему свойственны. Наконец, в его мемуарах есть неуловимая, но очень важная черта, которая свойственна только тем, кому пришлось самим быть главными актерами исторической драмы: Талейран как-то интимно, можно было бы сказать — *фамильярно, рассказывает о великих исторических событиях, реальное сцепление фактов само собою выявляется под его пером. Этому даже отчасти способствует та небрежность, та скупость на самостоятельный труд, которые тоже были всегда очень заметны в этом человеке.* “Не слишком усердствуйте (*pas trop de zèle*)”,—учил он молодых дипломатов. “Тот, кто придаст бы его величеству императору Наполеону немножко лени (*un peu de paresse*),— был бы благодетелем человечества”,—говорил со вздохом Талейран в эпоху самого расцвета “великой империи”, своеобразно и как бы в слегка пародийном плане предвосхищая толстовскую идею “неделания”. Талейран полагал, что иногда не спешить, уметь выжидать, не очень вмешиваться, вообще поменьше работать — единственно полезная тактика. Он и в мемуарах своих скуп на работу. Он явно почти не обрабатывал этих набросков и стремился быть как можно лаконичнее — и поскорее перейти к “бумагам за номером”, за которыми, очевидно, по его мнению, и от потомства укрыться как-то надежнее.

Часть — и очень значительная часть — этих четырех томов занята дипломатическими документами, давным-давно с тех пор напечатанными и утратившими в девяносто девяти сотых своего содержания всякий интерес в настоящее время. Их мы, конечно, не включили в эту книгу. В той же части, которая писана самим Талейраном, есть страницы, совсем неизвестно зачем сюда попавшие, скучнейшие детали давно забытых и никакого интереса решительно ни для кого не имеющих дел и отношений. Мы ограничились включением в предлагаемое издание лишь того, что сохраняет хоть в какой-нибудь степени исторический интерес. Читателю нашей эпохи, наблюдающему оборону европейской буржуазии от надвигающегося крушения, книги, подобные мемуарам Талейрана, могут помочь перенестись мыслью в то уже далекое время, когда буржуазия не оборонялась, а сама нападала, не терпела поражение за поражением, а шла от победы к победе, когда перед ней стоял не ее могильщик — пролетариат, а тот дворянский класс, для которого она сама стала могильщиком. Самым ярким из всех перебежчиков дворянского класса в лагерь буржуазии и был тот человек, с историческим свидетельством которого издательство “Academia” сочло полезным познакомить советского читателя.

Е. Т.

# ТАЛЕЙРАН

## I

Фигура князя Талейрана в памяти человечества высится в том ограниченном кругу людей, которые если и не направляли историю по желательному для них руслу (как это долго представлялось историкам идеалистической и, особенно, “героической” школы), то являлись характерными живыми олицетворениями происходивших в их эпоху великих исторических сдвигов. С этой точки зрения биография Талейрана еще ждет своего исследователя, чтобы заполнить в научной историографии тот пробел, который, например, так блистательно заполнил в литературе о Наполеоне III Маркс в старой, но не стареющей книжке о “Восемнадцатом брюмера Луи-Бонапарта”.

Краткая характеристика, которую я попытаюсь тут дать, не преследует и не может преследовать цели представить исчерпывающий анализ исторического значения личности и деятельности Талейрана. Моя задача — лишь подготовить читателя предлагаемых мемуаров к тому, как именно производительнее всего подходить к их чтению. А достигнуть этой цели в данном случае мне возможно только одним способом: обращая внимание читателя не на то, что говорит Талейран, но на то, о чем он умалчивает. Князя Талейрана называли не просто лжецом, но “отцом лжи”. И, действительно, никто и никогда не обнаруживал такого искусства в сознательном извращении истины, такого умения при этом сохранять величаво небрежный, незаинтересованный вид, безмятежное спокойствие, свойственное лишь самой непорочной, голубиной чистоте души, никто не достигал такого совершенства в употреблении фигуры умолчания, как этот, в самом деле, необыкновенный человек. Даже те наблюдатели и критики его действий, которые считали его ходячей коллекцией всех пороков, почти никогда не называли его лицемером. И, действительно, этот эпитет к нему как-то не подходит, он слишком слаб и невыразителен. Талейран сплошь и рядом делал вещи, которые по существу скрыть было невозможно уже в силу самой природы обстоятельств: взял с американских уполномоченных взятку сначала в два миллиона франков, а потом, при продаже Луизианы, гораздо больше; почти ежедневно брал взятки с бесчисленных германских и негерманских мелких и крупных государей и державцев, с банкиров и кардиналов, с подрядчиков и президентов; потребовал и получил взятку от польских магнатов в 1807 году; был фактическим убийцей герцога Энгиенского, искусно направив на него взор и гнев Наполеона; предал и продал сначала католическую церковь в пользу революции, потом революцию в пользу Наполеона, потом Наполеона в пользу Александра I, потом Александра I в пользу Меттерниха и Кэстльри; способствовал больше всех реставрации Бурбонов, изменив Наполеону, а после их свержения помогал больше всех скорейшему признанию “короля баррикад” Луи-Филиппа английским правительством и остальной Европой, и так далее без конца. Вся его жизнь была нескончаемым рядом измен и предательств, и эти деяния были связаны с такими грандиозными историческими событиями, происходили на такой открытой мировой арене, объяснялись всегда (без исключений) до такой степени явно своекорыстными мотивами и сопровождались так непосредственно материальными выгодами для него лично, — что при своем колоссальном уме Талейран никогда и не рассчитывал, что простым, обыденным и общепринятым, так сказать, лицемерием он может кого-нибудь в самом деле надолго обмануть уже после совершения того или иного своего акта.

Важно было обмануть заинтересованных лишь во время самой подготовки и затем во время прохождения дела, без чего немислим был бы успех предприятия. А уж самый этот успех должен быть настолько решительным, чтобы гарантировать князя от мести обманутых, когда они узнают о его ходах и проделках. Что же касается так называемого “общественного мнения”, а еще того больше “суда потомства” и прочих подобных чувствительностей, — то он был к ним совершенно равнодушен, и притом вполне

искренно, в этом не может быть никакого сомнения.

Вот эта-то черта непосредственно и приводит нас к рассмотрению вопроса о той позиции, которую занял князь Талейран - Перигор, герцог Беневентский и кавалер всех французских и почти всех европейских орденов, в эпоху тех повторных штурмов, которым в продолжение его жизни подвергался родной ему общественный класс — дворянство со стороны революционной в те времена буржуазии.

Он родился в 1754 году, когда только что умер Монтестье и только что успели выступить первые физиократы, когда уже гремело имя Вольтера и начинал Жан-Жак Руссо, когда вокруг Дидро и Даламбера уже постепенно сформировался главный штаб Энциклопедии. А умер — в 1838 году, в эпоху полной и безраздельной победы и установившегося владычества буржуазии. Вся его жизнь протекала на фоне упорной борьбы буржуазии за власть и — то слабой, то свирепой — обороны последней феодального строя, на фоне колебаний и метаний римско-католической церкви между представителями погибающего феодального строя и побеждающими буржуазными завоевателями, действовавшими сначала во Франции — гильотиною, потом вне Франции — наполеоновской “великой армией”. Что кроме дворянства, буржуазии и церкви есть еще один (голодающий, а потому опасный) класс людей, который, начиная с апреля 1789 года, с разгрома фабрикантов Ревельона и Анрио, и кончая прериалом 1795 года, много раз выходил из своих грязных троглодитовых пещер и нищих чердаков Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий и, жертвуя жизнью, своим вооруженным вмешательством неоднократно давал событиям неожиданный поворот, — это князь Талейран знал очень хорошо. Знал также, что после 1-го (а особенно после 4-го) прериала 1795 года эти опасные голодные люди были окончательно разбиты, обезоружены и загнаны в свои логовища, причем эта победа оказалась настолько прочной, что вплоть до 26 июля 1830 года, целых тридцать пять лет сряду, ему можно было почти вовсе их не принимать уже в расчет при своих собственных серьезных, то есть карьерных соображениях и выкладках. Это он твердо усвоил себе; знал также, что и после 26 июля 1830 года с этим внезапно вставшим грозно после тридцатипятилетнего оцепенения, голодающим по-прежнему “чудовищем” должно было как-то возиться и считаться всего только около двух недель, а уже с 9 августа того же 1830 года вновь появились те знакомые элементы, с которыми приличному и порядочному человеку, думающему о своей карьере и доходах, всегда можно столкнуться и сторговаться: новый король и новый двор, однако с прежними банкирами и прежним золотом. И опять все пошло как по маслу вплоть до мирной кончины в 1838 году, — которая одна только могла, в самом деле, означать серьезный перерыв в этой блистательной карьере и которая поэтому вызвала, как известно, тогда же наивно ироническое восклицание: “Неужели князь Талейран умер? Любопытно узнать, зачем это ему теперь понадобилось!” До такой степени *все* его поступки казались его современникам всегда преднамеренными и обдуманно, всегда целесообразными с карьерной точки зрения и всегда в конечном счете успешными для него.

Итак, рабочий класс, кроме указанных моментов, можно ему не принимать во внимание. Крестьянство, то есть та часть его, которая является серьезной силой, в политике активно не участвует и всегда пойдет за теми, кто стоит за охрану собственности и против воскрешения феодальных прав. Значит, остаются три силы, с которыми Талейрану нужно серьезно считаться: дворянство, буржуазия и церковь. Он только попозже окончательно разглядел, что церковь в игре социальных сил играет лишь подсобную, а не самостоятельную роль; но, впрочем, уже с 1789 года при самых серьезных своих шагах он никогда не принимал церковь за власть, способную сыграть, в самом деле, роль ведущую и решающую.

Дворянство и буржуазия — вот две силы, находящиеся в центре событий, те силы, из которых каждая в случае победы может осыпать кого захочет золотом, титулами, лентами, звездами, одарить поместьями и дворцами, окружить роскошью и властью. Но важно

лишь не ошибиться в расчете, не поставить ставку на дурную лошадь,— по стародавнему спортивному английскому выражению. Талейран не ошибся.

\* \* \*

Взрыв революции застал Талейрана делающим блестящую карьеру. Он, потомок, правда, очень аристократического и старинного, но обедневшего рода, при отсутствии настоящих серьезных связей — к тридцати четырем годам был уже епископом, кандидатом в кардиналы; вступив в свет без гроша денег, он имел разнообразные и довольно значительные, хотя и очень неверные доходы, пополняемые удачными финансовыми спекуляциями. Правда, положением своим он был недоволен. Вступив в духовное звание исключительно потому, что вследствие несчастного случая в детстве сломал ногу, охромел и был неспособен к военной службе,— он ненавидел свой священнический сан всеми силами души и делал все, чтобы заставить себя и других забыть о нелепом костюме, который должен был носить. Он вел светскую жизнь, имел несколько любовных связей с аристократическими и неаристократическими дамами, вел жизнь отчасти царедворца, отчасти биржевого спекулянта; но, несмотря на ловкое добывание денег (тут же спускаемых на женщин, на кутежи и карты), ничего похожего на сколько-нибудь прочный, обеспеченный капитал у него не было и в помине вплоть до самого начала революции. И, кроме того, было уже к тому времени налицо еще одно неприятное и беспокойное обстоятельство: его ближние успели за это время довольно хорошо раскусить молодого и преуспевающего епископа. “Это человек подлый, жадный, низкий интриган, ему нужна грязь и нужны деньги. За деньги он продал свою честь и своего друга. За деньги он бы продал свою душу,— и он при этом был бы прав, ибо променял бы навозную кучу на золото”,—так отзывался о нем за два года до революции, в 1787 году, Мирабо, имевший несчастье нуждаться в дорогом покупавшихся услугах Талейрана. Есть еще и еще отзывы в том же роде. Никто не отрицал громадных умственных способностей этого человека, но и никто не сомневался в полной готовности его на любой, самый черный поступок, если это может принести ему выгоду.

К чему он стремился? Что в нем было сильнее? Честолюбие или корыстолюбие? Подавляющее большинство современников полагало, что корыстолюбие, и документы, которые мы теперь знаем, но которых они не знали, вполне это подтверждают. “Прежде всего — не быть бедным”,— *прежде всего*. Этот совет-афоризм неоднократно высказывался Талейраном. Проходят Бурбоны, проходят Дантоны и Робеспьеры, проходят Директории и Бонапарты; но земли и дворцы и франки (если они в золотой чеканке) — остаются. Что земли и франки тоже (изредка) подвергаются большой опасности, в особенности пока не загнаны в свои трущобы и не обезоружены люди Сент-Антуанского предместья, это Талейран тоже хорошо понимал, но именно потому он и не сомневался, что на его веку, по крайней мере, эти опасные для него люди всегда будут в конечном счете загоняться в свои пещеры. Значит, об этом нечего и говорить,— и можно для практических целей, при деловых соображениях считать земли и франки — вечными благами, а титулы и министерские кресла — преходящими.

Власть для него — большая ценность, только власть и дает деньги, это главная ее функция; конечно, власть дает сверх того и приятное ощущение внешнего почета и могущества,— но это уже на втором плане.

Точно то же можно сказать и о женщинах, в которых некоторые биографы видели другую основную страсть Талейрана. Женщины хороши главным образом потому, что чрез их посредство и протекцию можно легче и скорее всего добиваться назначения на хорошие (то есть доходные) места. Правда, женщины и сами по себе дают сверх того много хороших минут, но это для Талейрана тоже было на втором плане.

И власть и женщины нужны прежде всего для достижения богатства. Деньги, деньги,— все остальное приложится. Если мы взглянемся внимательно в поступки и движения



Талейрана, мы увидим, что от этого основного принципа он никогда не уклонялся,— не в пример всем прочим своим “принципам”. Вот первая, молодая, предреволюционная эпоха его жизни, первые его тридцать пять лет. Известны классические слова Талейрана: “Кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни” (“la douceur de la vie”). Этой сладости ничуть не мешали такие досадные обстоятельства, что, во-первых, у Талейрана не было никакой власти и, во-вторых, была довольно твердо установленная репутация сомнительного дельца, если даже не просто мошенника. Зато были в изобилии женщины и, если не в изобилии, в довольно большом количестве деньги; женщины помогали его карьере, помогали ему пробираться на весьма теплые местечки по части расчетного баланса католического духовенства с правительством, женщины облегчали добывание нужных сведений и связей по бирже, по подрядам, по откупам, по спекуляциям; женщины создавали ему успех во влиятельных салонах.

Что же касается репутации, то *эта* статья — заметим с самого начала — занимала Талейрана чрезвычайно мало. И в переходные эпохи, когда дворянско-феодалный класс и поддерживаемый им политический строй все больше и больше вынуждаются не только считаться с напором буржуазии, но и брать к себе на службу, включать в служилое сословие людей новых общественных слоев, в эпохи, подобные, например, последним предреволюционным десятилетиям Франции XVIII века или России конца XIX и начала XX века,— это чуть ли не намеренное, презрительное бравированье “общественным мнением” становится явлением весьма характерным и почти обыденным, и именно для представителей отходящего, гибнущего аристократического класса. Стоит ли считаться с общественным мнением, когда его представляют какие-то неведомые разночинцы? Появляется цинизм откровенности, прежде немыслимый. И при Людовике XIV министры воровали весьма часто и обильно. Но только при Людовике XVI, за пять лет до взятия Бастилии, на вопрос: “Как вы решились взять на себя управление королевскими финансами, когда вы и свои личные дела совсем расстроили”,— генеральный контролер Калонн осмелился с юмором ответить: “Потому-то я и взялся заведовать королевскими финансами, что личные мои финансы уж очень оказались расстроены”. Процветало казнокрадство и взяточничество в России и при Александре I и при Николае I, но только в период между 1 марта 1881 года и 28 февраля 1917 года на слова подрядчика: “Я дам вашему превосходительству три тысячи,— и никто об этом и знать не будет”,—стал возможен переданный потомству директором Горного департамента К. К. Скальковским классический ответ его превосходительства: “Дайте мне пять тысяч и рассказывайте кому хотите”. В подобной атмосфере, свойственной предреволюционным эпохам, проходила молодость Талейрана. Кого ему было стесняться? Спекулянты, биржевики, откупщики, факторы — весь этот люд, кишевший на rue Vivienne,— и от которого так зависел молодой аббат, а потом епископ в своих аферах,— считал удачное мошенничество высшим проявлением ума и таланта. Мирабо, так в Талейране разочаровавшийся, сам был не очень чист на руку, при дворе — все покупалось, продавалось и выменивалось. Стесняло досадное долгополое аббатское платье, стесняло, что хоть деньги и плыли в руки, но уплывали так же быстро и даже еще быстрее. На вечный праздник роскоши, на женщин, на вино и на карты иногда не хватало; стесняло в особенности сознание, что досадное платье, во-первых, нельзя никак до конца жизни сбросить с плеч, во-вторых, если бы и было возможно по каноническому праву, то немыслимо по бюджетным соображениям: епископу отенскому, завтрашнему кардиналу, наживать деньги было несравненно легче и удобнее, чем простому князю Талейрану. Вот это в самом деле, как мы знаем фактически, заставляло изредка пригорюниваться Талейрана. Правда, эти минуты неприятного раздумья приходили редко. “Сладость жизни” от этого в общем для него не уменьшалась, Но вот грянула революция.

Предвидел ли Талейран революцию? Ее предвидели и не такие проницательные умы, но мало кто предсказал хотя бы в общих чертах ее развитие и ее формы; пресловутое пророчество Казотта о казни королевской семьи и гибели всех его собеседников-

аристократов является сочиненным впоследствии, хотя оно и прельстило историка Ипполита Тэна, а еще до Тэна вдохновило Лермонтова (*“На пирушестве задумчив он сидел...”*). Пирушества, на которых так часто сиживал Талейран, не омрачались никакими зловещими пророчествами. Этому избалованному легкою и беспечальною жизнью кругу людей революция еще весною 1789 представлялась интересной пикировкой просвещенных умов с придворными реакционерами и с их главной покровительницей королевой Марией-Антуанеттой, состязанием в красноречии на разные великодушные и популярные темы, а также — перераспределением мест, пенсий, министерских портфелей; а потом; когда наступит к концу лета каникулярный перерыв, то члены Генеральных штатов разъедутся на отдых по своим деревням и замкам, где и будут пожинать лавры за свои либеральные подвиги среди облагодетельствованных ими поселян. Самая деятельность созванных на 5 мая 1789 года в Версаль Генеральных штатов вовсе не представлялась протекающей в атмосфере ожесточенной, а тем более — вооруженной борьбы. Но уже очень скоро, уже в первые недели после начала заседаний, Талейран стал ясно видеть, что надвигаются такие времена, когда и бесполезно и опасно сидеть между двух стульев и когда наибольшая ловкость заключается именно в самой отчетливой постановке вопроса. Что третье сословие подавляюще, вне всяких сравнений, сильнее двух других и в Генеральных штатах и везде, это он понял с первых дней, а поэтому, как он сам говорит, “оставалось лишь одно разумное решение — уступить до того, как к этому принудят силою и пока еще можно было поставить себе это в заслугу”. Он и занял позицию самую прогрессивную, позицию епископа, который хочет быть другом народа, врагом привилегий, защитником угнетенных. Он даже стоически отказался от взятки, которую поспешил предложить ему потихоньку королевский двор. Ему приписывают замечательные слова при этом геройском для него и совсем исключительном в его биографии отказе: “В кассе общественного мнения я найду гораздо больше того, что вы мне предлагаете. Деньги, получаемые через посредство двора, впредь будут лишь вести к гибели”. Он без колебаний покинул погибающий корабль, точнее те части погибающего корабля, где так беспечно и роскошно протекала до сих пор его жизнь,— и поспешил пока что перебраться в более безопасные помещения: он перешел из залы духовенства в залу третьего сословия.

Но события развивались. Взятие Бастилии было для него тем страшным ударом грома, который показал, что опаснейшая политика, которую вел королевский двор, политика бессильного, но явно злостного сопротивления, ставит на очередь борьбу за власть с оружием в руках между революцией и контрреволюцией. Буря заливала водою уже не те или иные помещения корабля, а грозила немедленно потопить его. Нужны были окончательные, роковые, бесповоротные решения.

Талейран твердо знал, что старый режим нужно немедленно пустить на слом и провести все требуемые буржуазией реформы. Но сделать это нужно было, по его мнению, “самим”: правительство должно было делать дело буржуазии, не выпуская руля из рук. Для Талейрана революционный процесс был с самого начала и остался до конца дней его по существу в полной мере неприемлемым, враждебным, губительным. Он никогда ни на один момент не принимал искренне, не мирился от души с полной передачей власти восставшей народной массе. В этом отношении никогда у него не было даже и мимолетного увлечения новыми идеями, новыми перспективами, освободительными и “уравнительными” мечтаниями,— как бывали эти увлечения у некоторых других аристократов в последние годы перед революцией и в первые ее времена. Отвращение и боязнь — других чувств к восставшей массе Талейран никогда, не питал. Но пронизательный и отчетливый ум ясно указывал ему, что перемежающаяся политика слабости и насилия, уступчивости и упрямства есть наихудшая из возможных позиций. А страх пред надвигающимся переворотом был так силен, ненависть к предстоящему уничтожению самых кадров, самой обстановки беспечальной жизни так велика, что Талейран — в первый и в последний раз в жизни — решил раньше, чем перейти в стан

сильного врага, попытаться повести с ним борьбу открытой силой.

Через два дня после взятия Бастилии, когда Париж был уже вполне во власти революционной национальной гвардии, а король готовился съездить из Версаля в столицу, чтобы заявить свое одобрение случившемуся и украсить свою шляпу трехцветной кокардой,— в ночь с 16 на 17 июля в Марли, во дворец, явился епископ отенский, князь Талейран, и попросил свидания с братом короля, графом д'Артуа. Карл д'Артуа уже успел прослыть именно тем из королевской семьи, кто решительнее всех стоит за энергичное военное сопротивление наступившей революции. Более двух часов сряду продолжалась эта беседа. Талейран настаивал, что нужно немедленно начать действовать открытой силой, подтянуть наиболее надежные войска—и сражаться; что это—единственный возможный еще шанс спасения. Карл говорил, что король не согласится. Талейран настаивал, что нужно немедленно разбудить короля и убедить его начать сопротивление. Граф д'Артуа пошел будить Людовика XVI. Но, когда он вернулся к Талейрану, он сообщил ему, что король решил уступить, революционному потоку, но ни в каком случае не допустить пролития хотя бы одной капли народной крови. Решение обоих собеседников было тогда принято немедленно, тут же. “Что касается меня,— сказал граф д'Артуа,— то мое решение принято: я еду завтра утром, и я покидаю Францию”. Талейран сначала пытался отговорить его от этого намерения, а в заключение разговора заявил: “В таком случае, ваше высочество, каждому из нас остается лишь думать о своих собственных интересах, раз король и принцы покидают на произвол свои интересы и интересы монархии”. На предложение Карла эмигрировать вместе с ним Талейран отвечал категорическим отказом.

Он остался. Не за тем, конечно, он остался, чтобы “спасать, что еще можно было спасти”, как он пишет в своих мемуарах. Он в данном случае лжет так же отъявленно, так же бессовестно, с таким же величавым спокойствием и с таким же видом умудренного жизнью философа, как и везде и всегда в своих мемуарах, едва лишь дело доходит до мотивирования его поступков. Ничего и никого он не спасал ни при революции, ни при Наполеоне, напротив, с полною готовностью толкал людей, где это было ему выгодно, к гильотине или к венсенскому рву (куда, например, именно он и никто другой толкнул герцога Энгиенского в марте 1804 года). Он остался во Франции, чтобы не влачить нищенской эмигрантской жизни, чтобы попытаться поладить с новыми господами положения и раздавателями земных благ, чтобы переселиться, заменив павшую лошадь новым скакуном. С того момента, как граф д'Артуа сообщил ему после ночного разговора с своим братом, что королевская власть отказывается от вооруженной борьбы, Талейран без колебаний от Бурбонов окончательно отвернулся — и перешел в стан победителей. Он тотчас же сообразил, что хоть они и победители, хоть буржуазия одним ударом вымела прочь дворянско-абсолютистский строй, но что кое в чем такие люди, как он, еще могут, если не терять попусту золотого времени, очень и очень пригодиться и выгодно продать свои услуги, и не только потому, что у него голова хорошая, но и потому, что на этой голове находится епископская митра. Оказалось, что и при революции этот предмет может иметь свою меновую ценность. Дело в том, что как раз в это время, в конце лета и осенью 1789 года, Учредительное собрание было очень озабочено гнетущим вопросом о финансах” Предстоял обильный выпуск бумажных денег, для которых следовало найти хоть некоторое обеспечение. Таким обеспечением мог послужить крупнейший земельный фонд, принадлежавший католической церкви во Франции. Следовало его отнять у духовенства и перечислить в казну. И вот тут-то предстояли некоторые трудности.

Во-первых, как нарушить священный и неприкосновенный принцип частной собственности? Торжествующая буржуазия столько раз и так торжественно его провозглашала, подтверждала, внедряла и славословила, она так боялась, чтобы до сих пор помогавшие ей массы не обратились от штурма Бастилии к мануфактурам, домам и меняльным лавкам, что всякий раз, когда вопрос хоть отдаленно касался перемен

имущественного характера, в речах и поведении собрания замечался какой-то разнობой, — наблюдались колебания, трения, некоторая растерянность и нерешительность. А тут ведь дело шло об экспроприации колоссальных церковных земельных фондов. Не могло ли это послужить соблазнительным примером, например толчком к требованию перераспределения всех вообще земельных имуществ, поощрением к “аграрному закону”, к земельной реформе в стиле братьев Гракхов, о которых так часто и с таким беспокойством поминали в те времена?

А во-вторых, эта экспроприация касалась ведь большого, прекрасно организованного сословия, того самого духовного сословия, которое хоть и было очень многими и крепкими нитями связано со старым режимом, но до сих пор вело себя с большою осторожностью, вовсе еще не становилось в ряды врагов революции и, обладая значительным влиянием в деревне, нигде не было пока замечено в контрреволюционной агитации среди крестьян. Сразу сделать эту громадную, сплоченную, полуторатысячелетнюю организацию своим врагом буржуазные законодатели тоже отнюдь не желали. Если бы еще, отнимая эту землю у церкви, ее отдали немедленно крестьянам, — было бы основание надеяться на то, что материальные выгоды, получаемые крестьянами, обезвредят контрреволюционную пропаганду обиженного и раздраженного духовенства. Но ведь эти земли вовсе не предназначались к раздаче: они должны были поступить в казну, которая уже и озаботилась бы их продажей с публичного торга. Опасное и полное соблазна насилие над принципом частной собственности, переход духовенства в контрреволюционный лагерь — вот перспективы, встававшие пред обеспокоенным взором Национального учредительного собрания. Без конфискации этих колоссальных земельных богатств обойтись было никак нельзя. Как бы сделать так, чтобы и земли оказались в руках казны и чтобы конфискации никакой при этом не было бы?..

Вот тут-то и пригодились князю Талейрану его епископское облачение и пастырский посох, тут-то он и понял, что подвертывается сам собою случай (и уже, конечно, последний случай) получить за эти красивые, но несколько устаревшие вещи гораздо больше, чем мог бы дать за них самый щедрый антикварный магазин.

10 октября 1789 года Учредительное собрание, а вечером весь Париж были потрясены неожиданным, изумительным и радостным известием. Оказалось, что живы еще в греховном веке святые христовы заповеди, повелевающие во смирении и нищете видеть истинное блаженство! Сами высшие служители алтаря, пастыри душ людских, без всякого давления со стороны, движимые одною лишь беззаветною любовью к ближним, возжелали отдать все, что имеют, в пользу отечества, вспомнили, что они являются прямыми наследниками и продолжателями босых и нищих палестинских апостолов, — и добровольно отказались от всех своих земель! Даром! Без выкупа! И кто же совершил этот подвиг, достойный блаженнейших угодников божиих? Скромный список отенский, он же (во миру) князь Талейран - Перигор! Именно он, не предупредив даже никого из других духовных лиц, увлекаемый индивидуальным сердечным порывом, внес в Учредительное собрание предложение — взять в казну церковные земли, и представил тут же разработанный проект закона об этом. В пояснительной записке подчеркивалось, что церковная собственность не похожа на обыкновенную частную собственность, что государство смело может ею овладеть и что эта мера “согласуется с суровым уважением к собственности”. “Иначе бы я эту меру отвергнул”, — бестрепетно заявлял при этом принципиальный автор.

Все эти оговорки, а главное — духовный *сан* автора законопроекта, сразу снимали прямо гору с плеч революционной буржуазии. Это было именно то, что требовалось: церковь сама брала на себя инициативу, дело шло отныне не о конфискации, а о добровольном пожертвовании. Правда, епископ отенский уже с давних пор снискал себе репутацию, значительно отличающуюся от той, которая подходила бы к такому вот древлеблагочестивому святителю и подвижнику, желающему вернуть церковь к евангельской нищете. Известно было, например, что, не говоря уже о грехах юности, за

епископом отенским даже и в тот момент, о котором идет речь, числились две любовных связи одновременно и что эти связи как-то сложно, по неразрывно переплетались с его финансовыми делами, и трудно было понять, кто у кого сколько берет и получает. Говорили (Камилл Демулэн даже печатал об этом в своей газете прозой, а другие журналисты в стихах), что епископ отенский, посвящая дни своей работе в Национальном собрании, отдыхает вечером от своих законодательных трудов в игорных клубах и притонах, где ведет очень крупную и азартную картежную игру. Все это было совершенно справедливо. Но враги епископа отенского не хотели понять, что карты дело неверное, что серьезные люди (а Талейран был прежде всего человеком серьезным и вдумчивым) должны неминуемо заботиться о более верных заработках и что только этим объясняются две операции, к которым принужден был прибегнуть приблизительно тогда же епископ-законодатель: во-первых, он обратил внимание испанского посла в Париже, приехавшего возобновить договор с Францией, на то, что он, Талейран, между многим прочим, заседает также в дипломатическом комитете Национального собрания; испанский посол в ответ на это сообщение дал Талейрану сто тысяч долларов американскою монетою в знак уважения испанского правительства к его душевным качествам; а во-вторых, Талейран тою же осенью 1789 года выпросил у своей любовницы графини Флаб драгоценное ожерелье, которое и заложил в парижском ломбарде за девяносто две тысячи ливров. Обе эти операции стали широко известны и были приняты общественным мнением без всякого сочувствия к практическим талантам первосвященника Отенской епархии. Но теперь, на время, значительное большинство собрания и задававшего всему тон буржуазного общественного мнения решительно превозносили Талейрана. Услуга, оказанная им по части церковных земель, даже преувеличивалась. Сразу он выдвинулся в первые ряды руководящих законодателей. Даже те, кто не верил его искренности, считали, что он бесповоротно сжег за собою все корабли и что уж по одной этой причине революция может отныне вполне доверять ему. Зато ярости в лагере аристократии и особенно среди духовенства не было предела. “Без таланта, с небольшим умом, с большим самодовольством, мошенничая при Калоне на бирже, оскорбляя пристойность в своем серале”, таков был прежде епископ отенский; “а теперь он холодно воспринимает уколы презрения, он советует воровать, преподает клятвopеcтyплeниe и сеет раздоры, возвещая при этом мир”. Так (в стихах) воспевала Талейрана контрреволюционная газета “Les Actes des Apotres” по поводу секвестра церковных имуществ.

Пойдя по новой дороге, Талейран не обращал на эти стрелы ни малейшего внимания. Ему важно было теперь мнение его новых хозяев, к которым он пошел на службу, презирая их точно так же, как он презирал оставленных им аристократов и епископов, и еще вдобавок холодно ненавидя новых людей, так как они раздражали его своими манерами, своим тоном и языком, своею полнейшею бытовою отчужденностью от него. Но в их руках была власть, а потому и деньги. Талейран никогда не блистал ораторскими способностями, да и опасался он выступать на этой беспокойной трибуне. Он пристроился к разным интересным комитетам — вроде дипломатического и финансового, — где негласно и без особого риска можно было подзаработать. “Видите ли, — поучал он впоследствии барона Витроля, — никогда не следует быть бедняком, *il ne faut jamais etre pauvre diable*. Что до меня, — то я всегда был богат”. На самих Людовиков и на самих Наполеонов нельзя полагаться, но на золотые кружочки с чеканными портретами Людовиков и Наполеонов можно вполне и при всех условиях положиться. Таков был руководящий жизненный принцип князя Талейрана вплоть до гробовой доски.

Духовенство и дворянство разъяренно его возненавидели за его инициативную роль в деле отобрания церковных имуществ. Но они были бессильны и поэтому несколько Талейрана не интересовали. В Национальном собрании буржуазия, торжествовавшая во всех пунктах, демонстративно возблагодарила так кстати выступившего епископа отенского тем, что в феврале 1790 года избрала его президентом Национального собрания. Он быстро шел в гору. Во время громадного торжества праздника федерации (14 июля

1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии) Талейран появился в своем импозантном епископском одеянии во главе духовных лиц, примкнувших к новому устройству церкви. Он изображал своею особою слияние братства евангельского и братства революционного в единое гармоническое целое. Он оказался в центре действия.

Он величаво благословил королевскую семью, национальную гвардию, членов Национального собрания, несметные толпы обнажившего пред ним свои головы народа, он отслужил молебен у алтаря, воздвигнутого посредине колоссальной площади. Этот смиренный служитель Христа, этот бескорыстный аристократ, так всецело служащий возрождению отечества, возбуждал в теснившихся вокруг него доверчивых массах в этот день даже некоторое умиление. Сам Талейран, впрочем, тоже всегда с удовольствием об этом дне вспоминал, но вот почему. К вечеру он освободился и, не теряя времени, поехал в игорный дом, где ему так неслыханно повезло, что он сорвал банк. Сорвав банк, он отправился на веселый обед к знакомой даме (графине Лаваль). После обеда он съездил снова в игорный притон, — но уже в другой, и тут произошел изумительный в картежной истории случай: он *снова* сорвал банк! “Я вернулся тогда к госпоже Лаваль, чтобы показать ей золото и банковые билеты. Я был покрыт ими. Между прочим и шляпа моя была ими полна”. Так с одушевлением повествовал он об этом отрадном событии много лет спустя барону Витролю, когда речь зашла о дне праздника революционного братства 14 июля 1790 года.

Вскоре снова пригодилась Талейрану его епископская митра: он посвятил в епископы тех присягнувших новому устройству церкви священников, которых папа воспретил посвящать и которых другие епископы не желали посвятить.

Папа ответил на это отлучением Талейрана от церкви. Но тот и ухом на это отлучение не повел — и продолжал свое дело. Он решительно и публично отверг право папы запрещать французскому духовенству присягать новому устройству церкви. Он представил (осенью 1791 года) собранию обширный доклад о народном образовании, составленный вполне в духе совершившейся революции. Полностью закончив все, что он мог сделать для своей карьеры в собрании в качестве епископа, Талейран сбросил, наконец, свое епископское одеяние окончательно и бесповоротно: ведь папское отлучение в сущности отвечало всегдашнему его желанию отвязаться от духовного звания и стать светским человеком.

Очень скоро услуги Талейрана понадобились революции на том поприще, на котором ему и суждено было снискать себе историческую славу, — на поприще дипломатии. Французское правительство уже с конца 1791 года должно было думать о предстоящей войне против монархической Европы. В январе 1792 года Талейран был командирован в Лондон с целью убедить Вильяма Питта остаться нейтральным в предстоящей схватке. “Сближение с Англией — не химера, — заявил тогда же Талейран: — две соседние нации, из которых одна основывает свое процветание главным образом на торговле, а другая на земледелии, призваны неизменною природою вещей к согласию, ко взаимному обогащению”. Приняли его в Лондоне крайне враждебно. Французские эмигранты презирали и ненавидели “этого интригана, этого вора и расстригу”, как они его величали. С эмигрантами сам Питт считался мало, но королевская семья с Георгом III во главе и вся английская аристократия очень считались. Королева на аудиенции, когда Талейран, со всеми должными церемониями и поклонами в три темпа, подошел к ней, повернулась спиною и ушла. На улицах Лондона Талейрана иногда вполголоса, а иногда и во весь голос ругали, на него и его спутников показывали пальцами. Но Талейран тут, на международной сцене, обнаружил впервые, каким он был первоклассным дипломатическим интриганом. Он с такою царственною величавостью умел не замечать того, чего не хотел заметить, так спокойно и небрежно, где нужно, держал себя и говорил, так артистически симулировал сознание глубокой своей моральной правоты, — что не этим уколам и демонстрациям было его смутить. Миссия ему почти удалась, во всяком случае выступление Англии было отсрочено больше чем на год. Англичан поразила,

между прочим, самая личность французского представителя. Они единодушно нашли, что он вовсе не похож на француза. Он был холоден, сдержан, говорил свысока, скуп и намеренно не очень ясно по существу, очень умел слушать и извлекать пользу из малейшей необдуманности противника.

В первых числах июля 1792 года Талейран, закончив свою миссию в Лондоне, уже вернулся в Париж, а через месяц после его возвращения, 10 августа, пала французская монархия, после полуторатысячетелнего своего существования.

Наступали такие грозные времена, когда всей ловкости бывшего епископа могло не хватить для того, чтобы спасти свою голову. Конечно, Талейран тотчас же взял на себя средактировать ноту, извещающую великобританское правительство о провозглашении республики. “Король нечувствительно подкапывался под новую конституцию, в которой ему было отведено такое прекрасное место. С самою скандальною щедростью из рук короля лилось золото на подкупы, чтобы погасить или ослабить пламенный патриотизм, беспокоивший его”. С таким праведным революционным гневом изъяснялся в этой ноте князь Талейран, оправдывая низвержение Людовика XVI пред иностранными державами и, прежде всего, пред Англией. И —буквально чуть не в тот же самый день, как он писал эту проникнутую суровым революционным пафосом ноту,—Талейран уже предпринял первые шаги для получения возможности немедленно бежать без оглядки за границу. Он явился к Дантону просить паспорт под предлогом необходимости войти в соглашение с Англией о принятии общих мер длины и веса. Предлог был до курьеза явственно придуманный и фальшивый. Но не мог же Дантон заподозрить, что эмигрировать в Англию собирается тот самый человек, который пять дней тому назад за полную подписью писал Англии ноту о полнейшей необходимости низвержения монархии и о самой безусловной правоте и обоснованности того углубления революции, которое произошло 10 августа? Дантон согласился. Паспорт был окончательно оформлен к 7 сентября, а спустя несколько дней Талейран ступил на английский берег.

Опоздай он немного — и голова его скатилась бы с эшафота еще в том же 1792 году. Это можно утверждать совершенно категорически: дело в том, что в знаменитом “железном шкафу” короля, вскрытом по приказу революционного правительства, оказались два документа, доказывавшие, что еще весною 1791 года Талейран тайно предлагал королю свои услуги; дело было сейчас после смерти Мирабо, и Талейран имел тогда все основания рассчитывать, что именно ему пойдет приличное вознаграждение, которое за подобные же тайные услуги получал Мирабо. Конечно, он имел в виду обмануть короля. Сделка почему-то расстроилась, но следы остались, хоть и очень слабые,— он был крайне осторожен — и, как сказано, обнаружились. 5 декабря 1792 года декретом конвента было возбуждено обвинение против Талейрана. Присланное им объяснение не помогло,— и он официально был объявлен эмигрантом.

Это было — или казалось — до известной степени жизненным крушением для Талейрана. Путь во Францию был закрыт если не навсегда, то очень надолго. Денег было при себе 750 фунтов стерлингов, и никаких доходов не предвиделось. В Лондоне кишмя кишели эмигранты-роялисты, которые печатно поспешили заявить, что бывший епископ отенский заслужил за свое поведение, чтобы в случае реставрации его не просто повесили, но колесовали. Правда, были там и другого типа эмигранты—“люди 1789 года”, как их называли,— они относились к Талейрану гораздо терпимее, так что составилась небольшой кружок, принимавший его в свою среду. Кстати приехала в Лондон и госпожа Сталь, у которой были с Талейраном интимные отношения. Зажил он, в конце концов, спокойно, как всегда не показывая вида какой бы то ни было растерянности или угнетенности. Роялистов он презирал от всей души, главным образом за убогость их умственных средств, в частности за полнейшее детское непонимание ими всей грандиозности того, что случилось. Для Талейрана было уже тогда (и даже раньше — уже после взятия Бастилии) ясно, что какие бы сюрпризы и перемены ни ждали Францию,— одно *вполне* доказано: старый режим в том виде, как он существовал до 1789 года, не вернется. Мало того: не

вернется ни единая сколько-нибудь характерная его черта, и это — даже если бы каким-нибудь чудом вернулась династия Бурбонов. Но он пока даже и в возвращение Бурбонов ни в малейшей степени не верил. Оттого-то он и не считался нисколько со всеми этими негодующими демонстрациями и яростными выходками против своей особы со стороны роялистов-эмигрантов, которые истощали весь словарь французских ругательств, едва только заходила речь о ненавистном “расстриге”. С его точки зрения — это были мертвецы, которых почему-то забыли похоронить, и только. Однако кое-какие неприятности косвенным путем они все-таки могли ему доставить и не преминули воспользоваться случаем. В один прекрасный день (дело было в январе 1794 года) английское правительство приказало ему немедленно покинуть Англию и ехать, куда пожелает, в другое место. Но куда? В монархическую континентальную Европу ему показаться нельзя было: там его имя возбуждало еще больше злобы, чем в Англии, а эмигранты, враги его, имели там еще больше влияния, чем в Лондоне. Оставалась Америка, и Талейран выехал в Филадельфию. Сам по себе юный и совсем тогда неведомый Новый Свет нисколько его не интересовал. “Я прибыл туда, полный отвращения к новым вещам, которые обыкновенно интересуют путешественников. Мне трудно было возбудить в себе хоть немного любопытства”. Тут характерно самодовольство, с которым это высказывается, но еще более характерно для этой смолоду опустошенной души, что в самом деле у него ни к чему и никогда не было “любопытства” — ни к какому предмету, событию или человеку, если они не имели отношения к его собственным материальным соображениям и интересам. Оттого он так скуп и тускл в тех случаях, когда ему приходится говорить обо всем, что не имело к нему лично прямого отношения.

В Америке он деятельно занялся разными земельными спекуляциями, и, по-видимому, небезуспешно. Но его стала томить в Америке такая скука, что он ждал только случая завести сношения с революционным правительством и просить разрешения вернуться. Конечно, думать об этом можно было лишь после 9 термидора, а в особенности после 1 прериала, после неудавшегося восстания и последовавшего разоружения рабочих предместий в начале лета 1795 года. Он начал деятельно хлопотать, — и уже 4 сентября 1795 года ему было дано разрешение вернуться во Францию. Сильно ему помогла именно та ярая ненависть, которой он был окружен в эмиграции. Докладывая о нем в конвенте, в заседании 4 сентября 1795 года, Шенье сказал: “Я прошу о нем во имя республики, которой он может еще пригодиться своими талантами и своими трудами; я прошу о нем во имя вашей ненависти к эмигрантам, жертвою которых он был бы подобно вам самим, если бы эти подлецы могли восторжествовать”.

Тотчас по получении (в ноябре того же 1795 года) известия об этом событии Талейран стал ликвидировать свои американские дела и собираться в Европу. Только 20 сентября 1796 года он прибыл в Париж. Началась новая эпоха его жизни, — а одновременно начинался и новый период мировой истории. “Революция кончилась во Франции и пошла на Европу”, — говорили одни. “Революция вышла из своих берегов”, — говорили другие. За Альпами уже гремела слава молодого завоевателя, которого феодальная Европа назвала впоследствии “Робеспьером на коне”. Предстояли великие перемены и во Франции и в Европе. Буржуазная революция, победившая во Франции, готовилась померяться силами с абсолютистской Европой, с полуфеодальным строем, решившим дорого продать свою жизнь. На авансцену истории выступали армии, ораторы готовились уступить место генералам. Буржуазная революция, отбросив врагов от границ Франции, преследовала их на их собственной территории. Талейран не сомневался ни минуты (и никогда) относительно того, на чьей стороне в этой борьбе буржуазии против пережитков феодализма будет победа. Оттого-то он и приехал во Францию из Америки. Его час пришел. В этом самом 1796 году в одну бессонную ночь завоеватель Италии, генерал Бонапарт, по собственному своему позднему признанию, впервые спросил себя: неужели же ему всегда придется воевать “для этих адвокатов”? А в это же время в



далеком Париже только что вернувшийся князь Талейран, у которого за время террора было конфисковано и продано все имущество и который теперь проживал остатки того, что успел заработать на своих мелких земельных спекуляциях в Америке,— князь Талейран, внимательно присматриваясь к новым владыкам, к пяти директорам республики,—тоже решал вопрос: искать ли себе нового господина или довольствоваться “этими адвокатами”, как они ни плохи? Он решил, что прежде всего нужно вкрась в милость и ближайшее окружение нынешних владык, а потом уже думать о будущем властелине. Что страна безусловно идет к военной диктатуре,— это Талейран ясно предвидел.

Во всяком случае, нужно было прежде всего предложить свои услуги Директории. Тут дело пошло весьма негладко. Обнаружилось досадное обстоятельство: слишком уж оказалась громкою в известном смысле репутация бывшего епископа отенского. “С медным лбом он соединяет ледяное сердце”,—писал о нем Лебрэн в стихах. А в прозе о нем выражались настолько непринужденно, что наиболее красочные эпитеты приходилось обозначать в печати лишь первою буквой и несколькими точками: печатная бумага не выдерживала наплыва чувств его критиков. Хуже всего (в карьерном отношении) было то, что в самой пятичленной Директории трое директоров считали его взяточником, четвертый считал его вором и взяточником, а пятый (Ребель)— изменником, вором и взяточником. “Талейран состоит на тайной службе у иностранных держав!— восклицал Ребель на заседаниях Директории.— Никогда не было на свете более извращенного, более опасного существа”. Остальные четверо внимали этим речам без малейшего протеста. Да и как бы мог протестовать хотя бы тот же честный и убежденный Карно, когда сам он говорил о нашем герое: “Талейран потому именно так презирает людей, что он много изучал самого себя... Он меняет принципы — как белье”.

Все упования Талейрана были возложены на Барраса. Баррас тоже знал, что Талейран способен решительно на все, но он знал также, что правительству во что бы то ни стало нужен хороший дипломат, тонкий ум, способность к долгим извилистым переговорам, к словесным поединкам самого трудного свойства. Он понимал, что эта сложнейшая дипломатическая функция есть та служба, та техника, та специальность, которая сейчас, в 1797 году, имеет и в близком будущем будет иметь колоссальное значение и которую не могут взять на себя ни “адвокаты”, ни генералы. Не буду передавать во всех деталях (они все известны и даже приведены в систему вследствие стародавней любви французской историографии к мелочам и к альковным сплетням), не буду касаться того, как госпожа Сталь помогла в этом деле Талейрану, как он для этого позорно льстил и унижался не только пред нею, но и пред ее (в тот момент) любовником Бенжаменом Констаном, как он умолял госпожу Сталь, чтобы она разжалобила Барраса и уверила бы долго колебавшегося директора, что ему, Талейрану, жить нечем, что если его не назначат министром иностранных дел, то он принужден будет немедленно утопиться в реке Сене, ибо у него в кармане осталось всего десять луидоров и так далее. “Il m'a dit qu'il allait se jeter a la Seine, si vous ne le faites pas decidement ministre des affaires etrangeres”. Баррас не скрыл от своей гостьи (она семь раз почти подряд побывала у него в эти горячие дни), что вся Директория относится к покровительствуемому госпожою Сталь другу, как к отъявленному плуту, и что вообще она, Сталь, ему, Баррасу, очень уж надоела с этими назойливыми приставаниями. Госпожа Сталь, выслушав, явилась спустя два дня, в восьмой раз. В конце концов Баррас, при всеильном своем влиянии, убежденный, как сказано, что Талейран может пригодиться и что у них подходящей замены нет, ускорил решение и в самом деле поставил в Директории вопрос о назначении Талейрана. После прений три голоса оказались за назначение, два — против.

Когда Бенжамен Констан вбежал к Талейрану с этим известием, — тот чуть ли не в первый и в последний раз в своей долгой жизни прямо потерялся от радости. Он бросился на шею Констану, а в карете, в которой он сейчас же поехал с Констаном и с одним своим собутыльником благодарить Барраса, он, как будто забыв о существовании слушателей,

повторял всю дорогу, как помешанный, одну и ту же фразу: “Место за нами! Нужно составить на нем громадное состояние, громадное состояние, громадное состояние, громадное состояние!” (Nous tenons la place! Il faut y faire une fortune immense, une fortune immense, une fortune immense!)

Такова была та основная пружина, тот самый глубокий, основной нерв деятельности, тот в тайниках сердца выношенный руководящий мотив, который он высказал, как только узнал, что назначен министром французской республики, высказал в пароксизме стихийной, пьянящей радости, единственный раз в своей жизни забыв собственное свое правило, что “язык дан человеку затем, чтобы скрывать свои мысли”. Он попал на такое место, сидя на котором можно легко стать из нищего миллионером. Вот истинный пафос его деятельности. В этой карете, в эти четверть часа, он был вполне правдив и искренен. Конечно, он скоро очнулся. Уже на другой день, 18 июля 1797 года, получив официальную бумагу о своем назначении, князь Талейран совершенно опомнился и взял себя в руки. Пред служащими министерства иностранных дел, пред просителями, пред дипломатическим корпусом стоял, величаво опираясь на свой красивый костыль, спокойный и чуть-чуть надменный вельможа, бесстрастный государственный деятель, законный представитель победоносной великой державы, бьющей Европу, представитель Великой французской революции, борющейся со всеми этими Георгами, Павлами, Францами, а главное — человек, спокойно и глубоко убежденный в своей непорочной чистоте и в том, что если какие-нибудь завистники и клеветуют о нем, то это никак не может омрачить его нравственную красоту. Всякий внешний успех всегда усиливал в нем это величавое и просветленное спокойствие,— и после всякого своего торжества он как бы говорил своим хулителям и вообще всему окружающему его обществу: “Вы сами теперь видите, как я хорош!”

Итак — он министр, он настоящая власть и сила. Некоторое время уцелевшие аристократы или начавшие возвращаться во Францию эмигранты побаивались мести этого человека, которого они так яростно бранили и преследовали своей ненавистью и даже, как мы видели, выгнали его из Англии в свое время. Думали, что ему, члену правительства, теперь ничего не будет стоить жестоко расправиться со своими недругами и ненавистниками. Но никаких преследований он не предпринял, хотя имел полную к тому возможность. Это тоже характерная его черта: он вовсе не был мстителен. При полнейшем, законченном своем аморализме он был бы способен деятельно поработать, чтобы хоть живьем закопать совсем пред ним ни в чем неповинного человека, если это сколько-нибудь требовалось в карьерных целях,—но он пальцем о палец не ударил бы, чтобы покарать самого лютого врага, если, конечно, этот враг впредь уже не мог ему вредить. Мечь сама по себе ни малейшего удовольствия или даже простого развлечения ему не доставляла, потому что он *в самом деле* не умел ненавидеть, а умел только презирать. То, что у позднейших романтиков так часто звучит фальшивою фразою в устах их ходульных героев,—то в Талейране было самой реальной правдой, хоть он никогда никаких тирад о ненависти и презрении не говорил. Он забывал о своих врагах, как только они не стояли у него на дороге; а если становились поперек пути, он их либо отшвыривал, либо растаптывал пятою, после чего снова забывал о них. Да и были у нового министра гораздо более его интересовавшие заботы и устремления. Буквально с первых же дней его министерства в дипломатическом корпусе стали с любопытством наблюдать за тем, что творит новый хозяин французской иностранной политики. В эпоху Директории, в годы развеселых кутежей директора Барраса, в разгар спекуляций финансиста и хищника Уврара, в эпоху оргий крупных и мелких казнокрадов, было трудно, казалось бы, удивить кого-либо взятками, их обилием и повседневностью. Но Талейран все-таки удивил даже своих современников, отучившихся в этом смысле чему-либо удивляться. Он брал взятки с Пруссии, брал с Испании, брал с Португалии, брал с Соединенных Штатов, брал с колоний и с метрополий, с Европы и с Америки, с Персии и с Турции; брал со всех, кто так или иначе зависел от Франции, или нуждался во Франции, или убоился Франции. А

кто же в ней тогда не нуждался и кто ее не боялся? Взятки он брал огромные, даже как бы не желая обидеть, например, великую державу, запрашивая с нее маленькую взятку. Так, он сразу же дал понять прусскому послу, что меньше трехсот тысяч ливров золотом он с него не возьмет. С Австрии — по случаю Кампо-Формийского мира — он взял миллион, с Испании — за дружеское расположение — миллион, с королевства Неаполитанского — полмиллиона. В современной ему печати еще при его жизни неоднократно делались попытки сосчитать, хотя бы в общих итогах, сколько Талейран получил взятками за время своего министерства. Но эти враждебные ему счетоводы обыкновенно утомлялись в своих подсчетах и останавливались лишь на первых годах его управления делами. Так, писали, что за 1797—1799 гг. Талейран получил больше тринадцати с половиною миллионов франков золотом (собственно 13 650 000). Но ведь эти первые два года были, можно сказать, лишь детской игрой сравнительно с последующими годами, с годами полного владычества Наполеона над всей Европой, — когда Талейран продолжал оставаться министром. И взятки вовсе не были единственным средством обогащения. Через своих любовниц и своих друзей, и через друзей своих любовниц, и через любовниц своих друзей Талейран почти беспроблемно играл на бирже: ведь он заблаговременно знал, как сложится ближайшее политическое будущее, он предвидел биржевые последствия подготовляемых им или заблаговременно известных только ему политических актов, — и соответственные его указания золотым потоком возвращались затем к нему с биржи. Наконец, кроме взяток и биржевой игры, был еще и третий заработок: подряды. Талейран имел в своем распоряжении тьму агентов, которые рыскали по вассальным или полувассальным, зависимым от Франции странам и просили там у правящих лиц подрядов на поставку тех или иных товаров и припасов. Курьезный случай на этой почве произошел в Испании. Когда туда явились из Парижа какие-то проходимцы и чуть не с шантажными намеками и угрозами стали вымогать у испанского короля разные поставки, то французский посол, адмирал Трюгэ, убежденный, что проходимцы действуют на свой собственный риск и страх, выслал их вон из Испании. Но ему очень скоро пришлось убедиться, что за спиною этих пострадавших предпринимателей стоит величественная фигура самого министра Французской республики, князя Талейрана - Перигора. Посол был за недостаточно проворную сообразительность уволен в отставку, а проходимцы, после краткого своего затмения, вновь воссияли в Мадриде.

Могут спросить: неужели на направление европейских дел в самом деле оказывали влияние эти взятки и подкупы! Конечно, нет! Не требовалось обладать умом и хитростью Талейрана, чтобы понять, что, например, если генерал Бонапарт завоевал Италию, то никак нельзя заставить ни Директорию, ни генерала вдруг великодушно освободить из когтей свою добычу. Или если Франция требует от Испании помощи флотом в борьбе против Англии, то ни за что французское правительство от этого требования не откажется. Талейран знал, что даже простая попытка советовать своему правительству явно невыгодные для Франции действия может для него кончиться в лучшем случае немедленным увольнением, а в худшем случае — расстрелом. Он никогда и не делал и не пытался делать таких нелепых и отчаянных вещей. Он брал взятки лишь за снисходительную редакцию каких-либо второстепенных или третьестепенных пунктов договоров, соглашений, протоколов; за пропуск слишком точной и жесткой формулировки; за обещание “содействия” по вопросу, по которому, как он знал, и без его содействия дело уже решено верховною властью в принципе благоприятно для его просителя; ему платили за ускорение каких-нибудь реализаций: за то, чтобы на три месяца раньше эвакуировать территорию, которую Франция уже согласилась эвакуировать; за то, чтобы на полгода раньше получить субсидию, которую Франция уже обещала дать, и так далее. С точки зрения психологической любопытно отметить, что Талейран желал обнаруживать — и обнаруживал — суровую этику в своих делах со взяткодателями: если взял — исполни; если не можешь — возврати взятку. Например, когда Наполеон, стоя зимним лагерем в Варшаве, приказал Талейрану в январе 1807 года приготовить проект

восстановления самостоятельной Польши,—то министр тотчас же потребовал от польских магнатов четыре миллиона флоринов золотом. Они устроили складчину, сколотили поспешно четыре миллиона и в срок доставили. Талейран обещал зато уж в самом деле сделать дело на совесть. И действительно, он подал императору доклад, в котором с глубоким чувством писал о “непростительной ошибке” Франции, допустившей некогда разделы Польши, и о провиденциальной обязанности его величества восстановить несчастную страну. Но дело повернулось так, что Наполеон, вступив спустя полгода в Тильзите в союз с Александром I, не смог сделать для поляков то, что раньше собирался было сделать. Тогда Талейран возвратил четыре миллиона. Правда, этот героический жест мог быть объяснен также страхом, что обиженные и обманутые поляки доведут обо всем до сведения императора. Во всяком случае, Талейран осторожно и умно обделывал эти темные дела и прежде всего *никогда* не делал даже отдаленной попытки влиять на ход событий в основном и сколько-нибудь важном в ущерб французским политическим интересам. Но при всяком удобном дипломатическом случае он ухитрялся сорвать со своих контрагентов более или менее округленную сумму. Иногда (на первых порах) дело доходило, впрочем, и до скандала; это бывало, когда князю Талейрану случалось нарваться на людей, еще сравнительно недавно приобщенных к старой европейской цивилизации. Так, например, в 1798 году произошла следующая неприятная история. В Париже (еще с осени 1797 года) сидели специальные американские уполномоченные, прибывшие для исходатайствования законно причитающихся американским судовладельцам денежных сумм. Талейран тянул дело, подсылая своих агентов, которые, объясняясь по-английски, заявили туго соображавшим американцам, что министр хотел бы предварительно получить от них “*сладенькое*”, the sweetness, так они перевели “les douceurs”. Сладенькое потребовалось в таких несоответственно огромных размерах, что терпение американское лопнуло. Не только делегаты обратились с формальной жалобой к президенту Соединенных Штатов, своему прямому начальнику, но и сам президент Адаме (в послании к конгрессу) повторил эти обвинения. Американские представители укоризненно вспомнили по этому случаю недавнюю эмиграцию Талейрана: “Этот человек, по отношению к которому мы проявили самое благожелательное гостеприимство, он и есть тот министр французского правительства, к которому мы явились, прося только справедливости. И этот неблагодарный наш гость, этот епископ, отрекшийся от своего бога, не поколебался вымогать у нас пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на *сладенькое*, the sweetness, пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на удовлетворение своих пороков”.

Скандал получился невероятный. Все это было напечатано. Талейран ответил, небрежно и свысока, сославшись на каких-то неведомых обманщиков и на “неопытность” американских уполномоченных. Затем поспешил удовлетворить их требования, уже махнув рукою на “*сладенькое*”. Но эти неприятности у него были только с такими дикарями от Миссисипи и Скалистых гор. Европейцы были гораздо терпеливее и избегали скандалов. Да и положение их было опаснее: их не охранял Атлантический океан.

Одновременно с быстрым наживанием огромных сумм Талейрана озабочивали и другие вопросы. Он тогда не хотел возвращения Бурбонов, потому что, если и не боялся “колесования”, которым ему грозили эмигранты, то все же понимал, как невыгодна и даже опасна для него реставрация. Поэтому, когда буржуазная реакция стала частично принимать форму реставрационных мечтаний, он очень приветствовал событие 18 фруктидора — внезапный арест роялистов и ссылку их и разгром роялистской партии. Ему нужна была другая форма этой реакции,— ему нужна была монархия или даже диктатура, но *без* Бурбонов,— то есть ему нужно было то же, что было или казалось нужно в тот момент “новым богачам” и новым земельным собственникам, всей новой буржуазии: строй, который предохранял бы их не только от Бабефа, не только от прериальцев, но и от нового Робеспьера, и который в то же время делал бы невозможную попытку реставрировать дореволюционные социально-экономические порядки. И все

внимательнее и льстивее, все почтительнее и сердечнее делались талейрановские деловые письма к воевавшему за Альпами молодому генералу. Талейран ему же в 1797 и 1798 гг. писал не как министр генералу, командующему одной из нескольких армий, республики, а скорее как верноподданный, влюбленный в своего монарха. Он один из первых предугадал Бонапарта и понял, что это не просто победоносный рубака, а что-то гораздо более сложное и сильное. Он понял, что этот человек посильнее “адвокатов” и что следует поэтому заблаговременно прикрепить свою углую ладью к этому выплывающему на простор большому кораблю. Тут уместно было бы сказать хоть несколько слов для общей характеристики отношения Талейрана к Наполеону, тем более, что значительная часть предлагаемых мемуаров касается именно эпохи наполеоновского единодержавия. Конечно, собственные заявления Талейрана можно тут оставить в стороне: они дают понятие о том, в каком свете ему хотелось бы представить свои отношения к императору—и только. Вглядимся в факты и наблюдения посторонних лиц.

Несомненно, что Талейран постиг раньше очень многих, какие дарования, какие возможности заложены в этом угрюмом молодом, полководце, такими неслыханными подвигами начавшем свою военную карьеру. Казалось бы, что общего могло быть между этими двумя людьми? Один — изящный, изнеженный представитель старинной аристократии, другой — из обедневших дворян далекого, дикого, разбойничьего острова. Один— всегда (кроме времени эмиграции) имевший возможность прокучивать за пиршественным или за игорным столом больше денег за один вечер, чем другой мог бы истратить за несколько лет своей жизни. Для одного — все было в деньгах и наслаждениях, в сибаритизме,— и даже внешний почет был уже делом второстепенным; для другого — слава и власть, точнее, постоянное стремление к ним было основной целью жизни. Один к сорока трем годам имел прочную репутацию вместилища чуть ли не всех самых грязных пороков, но был министром иностранных дел. Другой имел репутацию замечательного полководца и к двадцати восьми годам был уже завоевателем обширных и густонаселенных стран и победителем Австрии. Для одного — политика была “наукою о возможном”, искусством достигать наилучших *из возможных* результатов; у другого — единственное, чем никогда не мог похвалиться его необычайный ум, было именно недоступное ему понимание, где кончается возможное и где начинается химера. Но и роднило их тоже очень многое. Во-первых, в тот момент, когда история их столкнула, они стремились к одной цели: к установлению буржуазной диктатуры, направленной острием своего меча и против нового Бабефа, и нового Робеспьера, и повторения Прериала, и одновременно против всяких попыток воскрешения старого режима. Было тут, правда, и отличие, но оно еще более их сблизило: Бонапарт именно *себя* и никого другого прочил в эти будущие диктаторы, а Талейран твердо знал, что сам-то он, Талейран, ни за что на это место не попадет, что оно и не по силам ему, и не нужно ему, и вне всяких его возможностей вообще, а что он зато может стать одним из первых слуг Бонапарта и может получить за это гораздо больше, чем все, что до сих пор могли дать ему “адвокаты”. Во-вторых, сблизжали их и некоторые общие черты ума: например, презрение к людям, нежелание и непривычка подчинять свои стремления какому бы то ни было “моральному” контролю, вера в свой успех, спокойная у Талейрана, нетерпеливая и волнующая у Бонапарта. Эмоциональная жизнь Бонапарта была интенсивной, посторонним наблюдателям часто казалось, что в нем клокочет какой-то с трудом сдерживаемый вулкан; а у Талейрана все казалось мертво, все застыло, подернулось ледяною корой. В самые трагические минуты князь еле цедил слова, казался особенно индифферентным. Было ли это притворством? В таком случае он артистически играл свою роль и никогда почти себя не выдавал. Бонапарт был образованнее, потому что был любознательнее Талейрана. Затруднительно даже представить себе, чтобы Талейран тоже мог заинтересоваться каким-то средневековым шотландским бардом Оссианом (хотя бы в макферсоновской фальсификации) или гневаться на пристрастия Тацита, или жалеть о страданиях молодого Вертера, или так беседовать с Гете и с

Виландом, как Наполеон в Эрфурте, или толковать с Лапласом о звездах и о том, есть ли бог или нет его. Все сколько-нибудь “абстрактное” (то есть, например, вся наука, философия, литература), не имеющее прямого или хоть косвенного отношения к кошельку и карьере князя Талейрана, было ему глубочайше чуждо, не нужно, скучно и даже, кажется, попросту противно.

Понимали ли эти две натуры друг друга? “Это — человек интриг, человек большой безнравственности, но большого ума, и, конечно, самый способный из всех министров, которых я имел”, — так отзывался к концу жизни Наполеон о Талейране. И все-таки Наполеон его недооценивал и слишком поздно убедился, как может быть опасен Талейран, если его интересы потребуют, чтобы он предал и продал своего господина и нанимателя. Что касается Талейрана, то весьма может быть, что он и не лжет, когда утверждает, будто искренне сочувствовал Наполеону в начале его деятельности и отошел от него лишь к концу, когда начал понимать, какую безнадежно опасную игру с судьбой и какое насилие над историей затеял император, к какой абсолютно несбыточной цели он стремится. То есть, конечно, тут надо понимать дело так, что Талейран убоился не за Францию, как он силится изобразить, ибо “Франция” тоже была для него абстракцией, но за себя самого, за свое благополучие, за возможность спокойно пользоваться наконец нажитыми миллионами, не прогуливаясь ежедневно по самому краю пропасти.

Во всяком случае, если бы князь Талейран вообще был способен “увлечься” кем-нибудь, то можно было бы сказать, что в последние годы пред 18 брюмера и в первые годы после 18 брюмера он именно “увлекся” Бонапартом. Он считал, что над Францией нужно проделать геркулесову работу, и видел тогда именно в Бонапарте этого Геркулеса. Он не тягался с ним, не соревновал, с полной готовностью признавал, что их силы и их возможности абсолютно несоизмеримы, что Бонапарт будет повелителем, а он, Талейран, будет слугой.

Уже 10 декабря 1797 года (20 фримера VI года по революционному календарю), когда в Париже происходило торжественное чествование только что вернувшегося из Италии в Париж победоносного Бонапарта, Талейран произнес в присутствии Директории и массы народа речь, полную самой верноподданнической лести, как будто Бонапарт уже был самодержавным монархом, а не простым республиканским генералом, и вместе с тем он умудрился подчеркнуть мнимую “скромность” генерала, его (никогда не существовавшее) желание удалиться от шумного света под сень уединения и так далее, — все то, что было необходимо, чтобы ослабить подозрения и уже проснувшееся неопределенное беспокойство Директории за собственное свое существование.

Дружба этих двух людей была непосредственно вслед за тем скреплена грандиозным новым предприятием генерала Бонапарта: нападением на Египет. Для Бонапарта завоевание Египта было первым шагом к Индии, угрозой англичанам. Для Талейрана, как раз тогда выдвинувшего идею создания новых колоний, Египет должен был стать богатой французскою колонией. Талейран горячо защищал этот проект перед Директорией, особенно подчеркивая огромные торговые перспективы, связанные с завоеванием этой страны. Экспедиция была решена. Бонапарт с лучшими войсками уехал в Египет, а для Директории наступили вскоре трудные дни. Снова пол-Европы шло на Францию. В Италию явился Суворов — и плоды бонапартовых побед были потеряны. Непопулярность Директории росла со дня на день: министров — и особенно Талейрана — обвиняли в измене, в том, что они нарочно, в угоду врагам, услали в Египет Бонапарта, который мог бы спасти отечество, — и так далее. Талейрану непременно нужно было отделиться вовремя от правительства, и он, придравшись к одному делу о клевете, за которую он привлек к суду клеветника, но не получил удовлетворения, подал довольно неожиданно в отставку. Случилось это 13 июля 1799 года. Неделью спустя, 20 июля, отставка была принята; а спустя три месяца, 16 октября, в Париж прибыл неожиданный и неприятный для Директории гость — генерал Бонапарт. Восторги и овации, которыми он был встречен на всем долгом пути от Фрежюса, где он высадился с корабля еще 9 октября, до Парижа,

ясно показали всем и каждому, что Директории осталось жить недолго. И в самом деле: она просуществовала ровно двадцать три дня, считая с момента появления Бонапарта в столице.

Эти двадцать три дня были временем сложнейших и активнейших интриг Талейрана. Завоеватель Италии, завоеватель Египта, популярнейший человек во всей Франции нуждался в нем, в опытном политическом дельце, знающем все ходы и выходы, все пружины правительственного механизма, все настроения директоров и других первенствующих сановников. И Талейран верой и правдой служил в эти горячие три недели восходящему светилу, расчищая путь для государственного переворота. В самый день переворота, 18 брюмера (9 ноября 1799 года), на долю Талейрана выпала деликатная миссия — побудить директора Барраса добровольно подать немедленно в отставку. Бонапарт при этом вручил Талейрану для передачи Баррасу довольно крупную сумму денег, цифра которой до сих пор не установлена в точности. Талейран встретил, однако, у Барраса полную и немедленную готовность подать в отставку и так обрадовался этой неожиданно подвернувшейся возможности оставить за суматохою в собственном кармане приготовленную было для Барраса сумму, что в порыве благодарности бросился... целовать руки директора, с жаром изъявляя ему за его “добровольную” отставку признательность от имени отечества. Обо всем этом повествует Баррас, разузнавший лишь впоследствии, как дорого в денежном смысле обошлась ему излишняя поспешность в самоустранении, проявленная им в утренние часы 18 брюмера при разговоре с Талейраном. Сам Талейран скромно умалчивает обо всем этом происшествии, очевидно не считая, чтобы стоило утруждать внимание потомства такими мелочами.

Дни 18 и 19 брюмера 1799 года отдали Францию в руки Бонапарта. Республика кончилась военной диктатурой. А спустя одиннадцать дней после переворота Бонапарт назначил Талейрана своим министром иностранных дел.

## II

Талейран и при империи, и после империи, до конца дней своих утверждал то, о чем говорит и в мемуарах: “Я любил Наполеона; я даже чувствовал привязанность к его личности, несмотря на его недостатки; при его выступлении я чувствовал себя привлеченным к нему той непреодолимой обаятельностью, которую великий гений заключает в себе; его благодеяния вызывали во мне искреннюю признательность... Я пользовался его славой и ее отблесками, падавшими на тех, кто ему помогал в его благородном деле”. Мы теперь знаем также, что даже в своем политическом завещании (\* *Его впервые опубликовал в 1931 году Лакур-Гайе в своей новейшей трехтомной биографии Талейрана.*), составленном 1 октября 1836 года, когда ему было восемьдесят два года, когда царствовал Луи-Филипп, когда престарелому князю уже ничего ни от кого не было нужно, когда династия Бонапартов считалась актом Венского конгресса навсегда исключенной из престолонаследия и никто не мог предвидеть, что этой династии еще раз суждено в будущем царствовать, Талейран писал: “Поставленный самим Бонапартом в необходимость выбирать между ним и Францией, я сделал выбор, который мне предписывался самым повелительным чувством долга, но сделал его, оплакивая невозможность соединить в одном и том же чувстве интересы моего отечества и *его* интересы. Но тем не менее я до последнего часа буду вспоминать, что он был моим благодетелем, ибо состояние, которое я завещаю моим племянникам, большею частью пришло ко мне от него. Мои племянники не только должны не забывать этого никогда, но должны сообщить это своим детям, а их дети — тем, кто родится после них, так, чтобы воспоминание об этом было увековечено в моей семье из поколения в поколение, чтобы, если когда-либо человек, носящий фамилию Бонапарта, очутится в таком положении, когда он будет иметь надобность в поддержке или помощи, чтобы мои непосредственные

наследники или их потомки оказали ему всевозможную зависящую от них помощь. Этим способом более, чем каким-либо другим, они покажут свою признательность ко мне,— почтение к моей памяти”.

В чем тут дело? Зачем он и твердил всегда и писал все это? Почему он выделял так упорно Наполеона из всех правительств и всех людей, которых он на своем долгом веку предал и продал? Могло быть отчасти, что единственно только Наполеон из всего множества жизненных встреч Талейрана в самом деле ему импонировал своим умом, своими гениальными и разнообразными способностями, своею гигантскою историческою ролью. Отчасти же могло быть и то, что Талейран наиболее сильные свои эмоции обнаруживал хоть, правда, в редчайших единичных случаях, но всегда исключительно в связи со своею неутолимою страстью к стяжанию, к золоту: мы уже видели, например, как он вел себя в первые минуты после назначения министром в 1797 году или 18 брюмера 1799 года, когда сообразил, что может присвоить себе тишком сумму, предназначенную для подкупа Барраса. Если в этой холодной, мертвенной душе могло зародиться нечто, похожее на чувство благодарности за быстрое обогащение, то, в самом деле, это чувство могло больше всего быть заронено в нее именно Наполеоном.

Что такое была для Талейрана наполеоновская империя? Блеск и неслыханная роскошь придворной жизни, которые изумляли даже выдавшего виды русского посла, екатерининского вельможу Куракина; положение министра, служащего самодержавному и могущественнейшему владыке богатейших и культурнейших в мире земель и народов, конгломерат которых превышал размеры былой Римской империи; пресмыкающиеся перед ним, Талейраном, короли, королевы, герцогини, великие герцоги, курфюрсты; непрерывная лесть, раболепное преклонение, заискивание со стороны бесчисленных коронованных и некоронованных вассалов; и — золото, золото, бесконечным потоком льющееся в его карманы. Наполеон последовательно сделал его — министром иностранных дел, великим камергером, великим электором, владельцем “князем и герцогом” Беневентским. Даже не считая оклада министра иностранных дел, Талейран получал за все эти должности без малого *полмиллиона* франков золотом в год (495 000, а с министерским окладом — больше 650 000 в год). (Для сравнения напомним, что в эти самые годы рабочая семья в Париже, получавшая от общей работы всех ее членов полторы тысячи франков в год, считалась благоденствующей и на редкость взысканной милостями судьбы.) Кроме этих колоссальных законных доходов, у Талейрана были и тайные доходы, несравненно более значительные, о точных размерах которых можно лишь догадываться по некоторым случайно ставшим известными образцам. Эти нелегальные доходы исчислялись не сотнями тысяч, а миллионами. Наполеон, завоевывая Европу и превращая в вассалов и покорных данников даже тех государей, которым он оставлял обрывки их владений, постоянно тасовал и менял этих подчиненных ему крупных монархов и мелких царьков, перебрасывал их с одного трона на другой, урезывал одни территории, прирезывал новые уделы к другим территориям. Заинтересованные старые и новые, большие и маленькие монархи вечно обивали пороги в Тюильрийском дворце, в Фонтенебло, в Мальмезоне, в Сен-Клу. Но Наполеону было некогда, да и не легко было застать его при непрерывных войнах и походах. И, кроме того, он постановлял свои решения, выслушав доклад своего министра иностранных дел.

Можно легко себе представить, какие беспредельные возможности открывались на этой почве пред князем Талейраном. Тут уж дело могло идти не о скромном “сладеньком” (sweetness) в какие-нибудь пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, по поводу которых так неприлично скандалила в свое время неотесанная деревенщина из Соединенных Штатов. Впрочем, даже и эти дикари из девственных прерий очень скоро в конце концов попривыкли к столичному обхождению, и, например, когда Роберт Ливингстон заключал от имени Штатов торговый договор с Францией, то он уже беспрекословно выложил Талейрану предварительно два миллиона франков золотом, во избежание проволочек. (Проволочек не последовало). Когда Наполеон заключил мир с Австрией (после победы



своей при Маренго), то он подарил Талейрану за труды триста тысяч франков, что не помешало Талейрану получить одновременно и от императора австрийского Франца четыреста тысяч франков, а, кроме того, ловко маневрируя с замаскированной контрибуцией, которую должна была уплатить Австрия, он заработал на внезапном подписании и обнародовании мирного (Люневильского) трактата около *пятнадцати* миллионов франков. Из этих пятнадцати миллионов семь с половиной миллионов были им получены “авансом” (еще во время переговоров). По существу дела далеко не всегда можно определить цифру его взяток. Например, когда Наполеон приказал продать Луизиану Соединенным Штатам, то переговоры о сумме вел Талейран, и американцы вместо восьмидесяти миллионов, о которых шла речь вначале, уплатили Франции всего пятьдесят четыре миллиона: точная цена аргументов, которыми американцы вызвали такую широкую уступчивость со стороны министра иностранных дел, осталась невыясненной и доселе.

Знал ли Наполеон о том, как его обманывает и обворовывает его министр? Конечно, знал. Точно так же, как Петр I знал о проделках Александра Даниловича Меншикова. И Наполеон по той же самой причине долго не прогонял прочь Талейрана, по которой Петр не гнал, а только бил Меншикова дубинкой. Наполеон, впрочем, не колотил Талейрана дубинкой, а только один раз (хотя, правда, с чрезвычайной затратой мускульной энергии), схватил его публично за шиворот; но расстался с ним нехотя, нескоро — и не из-за взятки. Очень уж он был нужен и полезен Наполеону. Император, разумеется, знал и презирал Талейрана за его характер и за его “мораль” (если позволительно тут до курьеза нехотать употребить этот термин), но он восхищался тем, как умеет работать эта голова, как умеет она искать и сразу находить разрешение самых сложных и запутанных проблем. А за это он прощал все. В огромной апокрифической литературе о Наполеоне, распространившейся во Франции уже в половине девятнадцатого столетия, передается фраза, будто бы сказанная Наполеоном относительно Фуше после провокаторского раскрытия одного террористического заговора: “Те, кто хочет меня убить, дураки; а те, кто меня от них спасает, — подлецы”. Конечно, он ничего подобного не говорил. Но такой апокриф мог легко возникнуть, потому что всем хорошо было известно, как император относится к Фуше. Талейрана он, в смысле нравственных качеств, приравнивал к Фуше, но в оценке интеллекта, конечно, не ставил их на одну доску.

Полицейская, шныряющая, подпольная хитрость и провокаторская ловкость Фуше были нужны Наполеону для охраны своей жизни, а государственный ум Талейрана был ему нужен для оформления, систематизации и окончательной реализации тех грандиозных задач, в которых Наполеон видел свою историческую славу. Талейран не подсказывал ему, *что* нужно сделать, но давал превосходные советы о том, *как* лучше сделать желаемое императором. Талейран, старорежимный вельможа, умел передать как следует повеление Наполеона, умел провести трудное объяснение с иностранными дипломатами без той резкости и казарменной грубости, без тех приступов гнева, которые далеко не всегда были чисто актерскими выходками у Наполеона и которые именно в тех случаях, когда не были умышленным комедианством, очень вредили императору. Талейран жил душа в душу с Наполеоном все первые восемь лет диктатуры, — и что бы он впоследствии ни утверждал, никогда он в эти годы не отваживался остановить Наполеона, уговорить его хоть несколько умерить территориальное и всяческое иное завоевательное грабительство, никогда он не пытался давать советы умеренности и благоразумия, на которые он так щедр задним числом в своих мемуарах. Он изменил Наполеону лишь тогда, когда убедился в своевременности и выгоды для себя этого поступка. Но это было лишь впоследствии. Талейран хотел бы навязать себе в глазах читателей его мемуаров роль шиллеровского маркиза Позы, говорившего правду Филиппу II или (если бы он знал русскую историю) роль, аналогичную позиции князя Якова Долгорукого при Петре, — словом, опасное, но почетное амплу бесстрашного правдолюбца, видящего честную свою службу в том, чтобы удерживать тирана от необузданного произвола. Эта

претензия до курьеза необоснована: он и пальцем не двинул, чтобы хоть один раз удержать или успокоить Наполеона, предостеречь его от несправедливости или жестокости. Лучшим в этом отношении примером может послужить кровавое дело о казни герцога Энгийенского, с которым крепко связано имя Талейрана, несмотря на упорные его усилия скрыть и извратить истину; а ведь он доходил даже до специальных поисков и истребления официальных документов уже в начале реставрации (в апреле 1814 года).

Роль Талейрана в этой драме такова. Именно Талейран лживо указал Наполеону (в разговоре 8 марта 1804 года), будто живущий на баденской территории герцог Энгийенский руководит заговорщиками, покушающимися на жизнь первого консула, и заявил при этом, что очень легко и удобно приказать начальнику пограничной жандармерии, генералу Коленкуру, просто-напросто послать отряд жандармов на баденскую территорию, схватить там герцога Энгийенского и привезти его в Париж. Маленькое затруднение было в том, что приходилось таким образом среди мира вдруг вопиюще нарушить неприкосновенность чужой территории. Но Талейран сейчас же взялся уладить и оформить дело и написал соответствующую бумагу баденскому правительству, причем, — чтобы не дать герцогу Энгийенскому возможности как-нибудь проведать и бежать из Бадена, — Талейран поручил генералу Коленкуру передать это письмо, полное лживых обвинений, баденскому министру уже *после* ареста и увоза во Францию герцога Энгийенского. Герцог Энгийенский был схвачен, привезен в Венсенский замок, немедленно судим военным судом и в ту же ночь расстрелян, несмотря на полнейшее отсутствие улик. Сам Наполеон, никогда не любивший сваливать на кого бы то ни было ответственность за свои поступки, через много лет в припадке гнева, как увидим далее, в глаза и публично бросил Талейрану роковые слова: “А этот несчастный человек! Кто мне сказал о том, где он находится? Кто подстрекал меня сурово расправиться с ним?” И Талейран ничего не посмел ответить. Он, таким образом, принял деятельное и по существу инициативное участие в этом кровавом событии. Ему это было нужно, во-первых, чтобы доказать Наполеону ретивость свою в охране его жизни от покусителей, во-вторых, чтобы терроризовать роялистов казнью принца Бурбонского дома, — так как Талейран продолжал все время опасаться за свою участь в случае реставрации старой династии. Словом, ему это убийство показалось полезным, — он и подтолкнул на это дело Наполеона и активно помог в совершении самого акта.

Это ему нисколько не помешало представить в своих мемуарах дело так, будто он был решительно ни в чем неповинен и всецело осуждал варварский поступок Наполеона. Это ему не помешало также (что гораздо любопытнее и с психологической стороны гораздо затайливее) разыграть впоследствии потрясающую сцену встречи с отцом расстрелянного герцога Энгийенского, сцену, которую и Шекспир не выдумал бы. Дело было в 1818 году, уже при Реставрации. Князь Талейран состоял великим камергером при короле Людовике XVIII, — на той же самой придворной должности, как и при Наполеоне I, — и ему было очень неприятно, что как раз тогда переселился в Париж старый принц Конде, отец расстрелянного за четырнадцать лет до того герцога Энгийенского. Старик все не мог утешиться о потере единственного, обожаемого с детства сына. Предстояла тягостная встреча этого королевского родственника с великим камергером Талейраном. Было неловко. Тогда Талейран очень искусно устраивает себе знакомство с близкой принцу Конде женщиной и рассказывает ей великую и святую тайну, которую доселе скромно хранил в груди своей, но теперь, так и быть, поведает: не только на него напрасно клеветают, укоряя в убийстве герцога Энгийенского, — но он, князь Талейран, даже своей собственной головой рискнул, лишь бы спасти несчастного молодого человека! Да! Он послал письмо с предупреждением герцогу, чтобы тот немедленно спасался, — но герцог не внял совету, остался — и на другой день был схвачен французскими жандармами и увезен в Венсен. Ясно, что, узнай Наполеон об этом отчаянном поступке своего министра, — и голова Талейрана скатилась бы на гильотине. Можно ли требовать от

человека большего благородства и великодушия?.. Излишне прибавлять что-либо о полной вздорности этой курьезнейшей выдумки. Но, как это ни странно, принц Конде поверил (не следует забывать, что улики против Талейрана еще не были полностью известны)— и при ближайшей встрече старик бросился благодарить Талейрана за самоотверженные, почти геройские, хотя, увы, и безуспешные усилия спасти его несчастного сына... Талейран принял эти изъявления признательности с тем же тактом, с тою же спокойною сдержанностью и достойною скромностью, с какими тогда, при Наполеоне, он принял особые награды (в том числе командорскую ленту Почетного легиона), посыпавшиеся на него вскоре после расстрела герцога Энгиенского...

Прошли торжества коронации Наполеона, на которых Талейран играл блестящую и пышную роль, и замелькали феерические события всей императорской эпопеи: непрерывные роскошные балы в Париже и окрестных дворцах, изредка поездки Талейрана в новый, его собственный замок Валансэ, колоссальный и роскошно убранный, поездки в свите императора то в Булонь, откуда готовилось нападение на Англию, то в поход против Австрии, в Вену и к Аустерлицу, то в поход против Пруссии, в Берлин, в Варшаву, в Тильзит, то опять в Париж, где жизнь для осыпаемого милостями и наградами императорского министра протекала в роскоши, в почете, в новых и новых любовных приключениях, в наслаждениях всякого рода, в аудиенциях и доверительных беседах с императором, когда он первый узнавал о предстоящих переменах в судьбах Европы и получал инструкции. По-прежнему он не отваживался противоречить Наполеону, напротив, поддакивал ему во всем, даже не заикнулся, например, о том, что считает губительной континентальную блокаду, провозглашенную Наполеоном 21 ноября 1806 года в Берлине. А он считал ее таковою. Разгром Пруссии сделал Наполеона бесконтрольным хозяином всей Германии. Все пресмыкались во прахе пред ним — и все чаяли себе спасения, только в милостивом заступничестве со стороны Талейрана. Наполеон, довольный преданностью и полнейшей вассальной покорностью со стороны саксонского курфюрста, пожаловал ему королевский титул. Он собирался сначала увезти из знаменитой Дрезденской картинной галереи все лучшие картины в Париж. Новоиспеченный король в ужасе бросился к Талейрану, который, выбрав хорошую минуту, обратил внимание Наполеона на то, как огорчительно будет для верного саксонского союзника, если у него вдруг отнимут и увезут его галерею. “Да, он превосходный человек, не следует его огорчать. Я дам приказ ничего там не трогать”, — сказал император — и галерея была спасена. Саксонский король в знак благодарности за все эти милости дал Талейрану миллион франков золотом. Вообще говоря, золотой дождь продолжал литься на министра иностранных дел. Тратил он деньги без счета и на украшение своего великолепного замка в Валансэ и дворца в Париже, и на волшебные роскошные балы, банкеты и ужины, где бывало по пятьсот человек приглашенных, и на охоты, и на карточную игру, — а новые и новые груды золота пополняли его кассу.

Но в эту новую войну, 1806 и 1807 гг., Талейран стал впервые серьезно ставить перед собою один жуткий, вопрос: чем все *это* кончится? Правда, счастье продолжало сопутствовать Наполеону. Пруссия была раздавлена и ампутирована Тильзитским трактатом так, что от нее остался лишь какой-то небольшой обрубок; русские армии были разбиты, в Тильзите Александр принужден был вступить с Наполеоном в союз. Но Талейран хорошо помнил недавнее страшное побоище при Эйлау, где легло много десятков тысяч с каждой стороны и где, в сущности, русские вовсе не были разбиты, вопреки наполеоновскому бюллетеню. Он с беспокойством провел эти четыре месяца между Эйлау и Фридландом. Все в конце концов обошлось и на этот раз благополучно, с новой славой, новым блеском, новым приращением могущества. Но надолго ли? Талейран видел ясно, что на этом пути остановиться трудно и что Наполеон идет прямою дорогою к созданию мировой империи, которая для своей консолидации потребует опрокинуть два оставшихся препятствия — Англию и Россию. Князь убежден был, что дело затеяно фантастическое, несбыточное и что Наполеон не может не погибнуть, если будет

упорствовать. Именно этим соображениям Талейран и приписывает внезапную свою отставку, последовавшую сейчас же после Тильзитского мира, 10 августа 1807 года. Именно ненасытная завоевательная жадность Наполеона в Тильзите и заставила Талейрана решиться на этот шаг. “Я не хочу более быть палачом Европы”,—якобы сказал при этом уходящий министр. В тираническом самовластии победителя Европы он видел неминуемый зародыш новых войн и конечной его гибели и хотел вовремя отойти и “думать о будущем”. Таково объяснение отставки со стороны наиболее заинтересованного лица. Послушаем теперь объяснение Наполеона: “Это талантливый человек, но с ним ничего нельзя сделать иначе, как платя ему деньги. Король баварский и король вюртембергский приносили мне столько жалоб на его алчность, что я отнял у него портфель”. Где же правда? Как иногда (далеко не всегда) бывает, истина на этот раз, вероятно, обретается “посредине”. Талейрана в самом деле напугал Тильзит именно тем, что полная победа над всей Западной Европой и одновременное принуждение Александра к союзу делало Наполеона полным хозяином поработанного европейского континента, что, по существу дела, не могло не быть причиной новых отчаянных и кровопролитнейших войн; и действительно, министр уже искал для себя нужного положения в том далеком будущем, когда выгоднее будет быть не с Наполеоном, а против Наполеона. Он поэтому непрочь был уйти после Тильзита, может быть, даже еще после Эйлау. Но, с другой стороны, прав по-своему и Наполеон, полагавший, что это он, император, прогнал Талейрана за слишком бесцеремонные вымогательства у вассальных королей. Было и то и другое. Наполеон, конечно, стал выговаривать Талейрану по поводу этих грабительских и взяточнических поступков. Но ведь он не в первый, а в десятый раз говорил со своим величавым министром на эту щекотливую тему,— и тот всегда умел тактично выслушать, с достоинством раскланяться и сановито помолчать или перевести разговор на более мирные предметы. Но на *этот* раз, когда Талейран уже сам подумывал об уходе,— он, конечно, мог ухватиться за предлог, мог обнаружить обидчивость и подать в отставку. Он это и сделал так тонко и умно, что еще сам же Наполеон почел нужным щедро вознаградить своего уходящего министра, и спустя четыре дня после подачи в отставку император дал указ сенату, которым объявлял о назначении Талейрана, князя Беневентского, великим вице-электором, с титулом “высочества” (как принцы императорской фамилии) и с наименованием “светлейшего” (serenissime), а сверх того с окладом в триста тысяч франков золотом в год. Обязанности же состояли лишь в том, чтобы являться в торжественные дни ко двору в костюме из красного бархата с золотым шитьем и белых атласных панталонах и становиться сбоку около императорского трона. Все это очень устраивало Талейрана. Можно было издали и в безопасности ждать развития событий, отделив отныне личную свою судьбу от судьбы Наполеона, с которым, однако, после этого милостивого назначения отношения установились самые лучшие.

Вообще Талейран решил, что есть полная возможность, уже не неся никакой формальной ответственности, пользоваться беспрепятственно всеми выгодами, которые может дать близость к императору. Затеял Наполеон в 1808 году (собственно еще в 1807 году, сейчас же после Тильзита) завоевание Испании и Португалии; Талейран и тогда и впоследствии относился к этому предприятию, как к проявлению самого дикого, возмутительного и, главное, ненужного произвола, так как обе династии, царствовавшие на Пиренейском полуострове,— и Браганца в Португалии и Бурбоны в Испании — рабски повиновались Наполеону, трепетали от каждого его слова, ловили на лету его приказы, угадывали и исполняли все желания. Когда затем испанский народ начал совсем неожиданно свое яростное сопротивление завоевателю,—тогда и подавно Талейран стал смотреть на этот непотухавший пожар народной войны в Испании, как на начало грядущей катастрофы великой империи; он все это весьма красноречиво излагает и в своих мемуарах, и в разговорах с современниками (которым доверял, вроде госпожи Ремюза),— но самого Наполеона он не только не предостерег от губительного шага, а, напротив, похваливал его, льстил ему и все норовил урвать что-нибудь и для себя лично

от этого нового наполеоновского завоевания. Словом, он столь верноподданнически и преданно поддакивал императору, что тот, захватив Фердинанда, наследника испанского и еще двух принцев испанского дома в Байонне (куда завлек их обманом), отправил этих испанских принцев в качестве пленников в замок Талейрана, в Валансэ, где они и прожили почти до конца империи. Талейран с горечью говорил впоследствии в мемуарах, что император выбрал его поместье, “чтобы сделать его тюрьмою” для испанских Бурбонов. Талейран забывает при этом прибавить, что, очевидно с целью хоть несколько смягчить свою великодушную скорбь по этому поводу, сам он спустя некоторое время стал настойчиво выпрашивать у казны два миллиона франков на ремонт замка Валансэ, якобы необходимый ввиду содержания там принцев. На самом деле колоссальнейший и уже до той поры роскошно убранный и меблированный замок с многочисленными пристройками ни малейшего ремонта не требовал для размещения трех человек и нескольких слуг. На их содержание, впрочем, деньги обильно отпускались казною с первых же дней их плена.

Испанский пожар начинал разгораться. Европейские вассалы и коронованные рабы Наполеона, глядя на Испанию, начинали смутно надеяться; ходили слухи об австрийских вооружениях; в германской университетской молодежи возникало брожение против грозного завоевателя. И вдруг Талейран получает извещение, что Наполеон желает взять его с собою, хоть он уже и не министр, в Эрфурт, на свидание с Александром I. Так наступил решающий миг в судьбе Талейрана.

Александр Павлович, император всероссийский, ехал в Эрфурт к Наполеону в сентябре 1808 года в не весьма бодром состоянии духа. Пред самым отъездом он получил большое письмо от матери. Мария Федоровна выражала в этом письме не только общедворянские и общепридворные, озлобленные и растерянные настроения касательно дружбы и союза с французским завоевателем, но и еще более острые, злободневные тревоги, вызванные этою поездкою царя в далекий город, занятый наполеоновскими войсками. У всех свежо было в памяти, как всего четыре месяца пред тем, в мае того же 1808 года, дружески приглашенная Наполеоном в Байонну испанская королевская семья была в полном составе предательски арестована и разслана — кто в Фонтенебло, кто (как упомянуто выше) в замок Валансэ. Где было ручательство, что Наполеон не проделает того же в Эрфурте с Александром, который будет там всецело в его руках? Экономические интересы русского дворянства и купечества жестоко подрывались навязанной Наполеоном России континентальной блокадой и прекращением сбыта русского хлеба и сырья в Англию. В Зимнем дворце получались анонимные письма, которые напоминали царю об участи его отца, Павла, именно как только он тоже вступил в дружбу с Бонапартом. Рубль быстро упал до одной пятой своей прежней стоимости... Конечно, Александр ответил своей матери твердо и обстоятельно, подчеркивая необходимость оставаться в мире с колоссальной Французской империей. Аустерлиц, Фридланд и Тильзит, две проигранные войны и позорный мир научили осторожности. Но особенно хорошего от свидания с “союзником” ни Александр I, ни его свита не имели оснований ожидать. Мощь Наполеона казалась в тот момент монолитною гранитною скалою. На континенте царило безмолвие, прерываемое только неясными слухами, шедшими из далекой Испании, — слухами о поголовном крестьянском восстании, о яростных партизанах и массовых расстрелах этих партизан французами. Но остальная Европа покорялась, страшилась и молчала.

28 сентября 1808 года оба императора съехались в Эрфурте. В свите Наполеона было столько королей и прочих монархов, французская императорская гвардия была так огромна и великолепа, смотры и парады, чуть не по два в день, были так блестящи, что впечатление несокрушимого могущества Наполеона должно было еще более усилиться у русских гостей. И вот Александра ждало одно изумительнейшее и абсолютно неожиданное для него происшествие.

Когда он сидел вечером, после одного из этих утомительных парадных эрфуртских

дней, в гостинице княгини Турн-и-Таксис, туда пришел Талейран и повел странные речи.

Нужно сказать, что до тех пор личные отношения между Александром и Талейраном не отличались никакою особою теплотою. Александр прекрасно помнил, что именно Талейран нанес ему кровное оскорбление в 1804 году знаменитым своим ответом на протест Александра по поводу нарушения неприкосновенности баденской территории и ареста герцога Энгиенского. Талейран тогда ответил в таком духе, что, мол, если бы Александр узнал, что убийцы его покойного отца, Павла I, находятся недалеко от русской границы, хотя бы на чужой территории, и если бы Александр велел их схватить, то Франция не протестовала бы. Александр знал, что это написано было тогда по повелению Наполеона, но все-таки именно Талейран составлял эту ноту с прямым намеком на участие Александра в убийстве отца.

И вот теперь, в Эрфурте, этот самый оскорбитель, этот самый князь Талейран без особых предисловий и объяснений говорит русскому царю: “Государь, для чего вы сюда приехали? Вы должны спасти Европу, а вы в этом успеете, только если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ — цивилизован, французский же государь — нецивилизован; русский государь — цивилизован, а русский народ — нецивилизован, следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа”. Это была увертюра, за которой последовало еще несколько секретных свиданий. Конечно, с чисто внешней стороны дело представляется так, что Талейран, начиная подобную беседу, ставил на карту свою голову: он совершал в самом точном смысле слова государственную измену, и решительно ничто не гарантировало его от возможности быть на другой же день арестованным. Стоило только Александру захотеть доказать Наполеону свои дружеские чувства откровенным рассказом о поступке Талейрана — и Талейран погиб бы безнадежно. Но ум Талейрана и его способность точно оценивать чужую натуру помогли ему и тут. Никогда он не оправдывал собою поверхностного ходячего афоризма о том, будто человек судит о других людях по себе. Если бы он судил других по себе, то никогда не решился бы так, без предварительных зондирований и гарантий, совершить этот опасный шаг в Эрфурте. Но он твердо знал, что Александр ни за что его не выдаст, что с этой стороны риска нет, и не потому, что Александр вообще так чист душою и безупречен, — напротив, Талейран был, например, вполне убежден, что Александр принял участие в убийстве своего отца и сделал это для того, чтобы получить корону, — а просто потому, что у каждого свои особенности, наклонности и методы действия и что предать на гибель доверившегося ему человека не есть прием, свойственный Александру, даже если царь и не сообразит, что ему выгодны сношения с князем. Точно так же, например, Наполеон, присваивая себе чуть не ежедневно и войною, и без всякой войны чужие страны и грабя чужие народы, в то же время с гадливостью относится (Талейран знал это по грустному опыту) к малейшей попытке своих ближних принять от просителя то “сладенькое” (*les douceurs*), из-за которого вышел тогда, как сказано, скандал с американцами: брать открыто — хорошо, а украдкой — постыдно. Словом, все дело в том, чтобы понять, какой кому свойствен жанр и какие у кого брезгливости. Такова была всегда философия князя Талейрана, и она его не обманула и на этот раз.

Для Александра поступок Талейрана был целым откровением. Он справедливо усмотрел тут незаметную еще пока другим, но зловещую трещину в гигантском и грозном здании. Человек, осыпанный милостями Наполеона, со своими богатствами, дворцами, миллионами, титулом “высочества”, царскими почестями, вдруг решился на тайную измену! Любопытно, что Александр в Эрфурте больше слушал Талейрана, чем говорил с ним сам. Он почти все время молчал. Он, по-видимому, сначала не вполне исключал и возможность провокационной игры, зачем-либо затеянной Наполеоном при посредстве князя. Но эти подозрения скоро рассеялись. Наполеон не подозревал ничего. Каждый день императоры были вместе, обменивались любезностями, демонстративно обнимались, производили вдвоем смотры и парады; каждое утро Наполеон интимно совещался с командором Почетного легиона Талейраном о том, как получше укрепить франко-русский

союз,— и почти каждый вечер в уютной квартире княгини Турн-и-Таксис кавалер Андрея Первозванного Талейран информировал Александра и вдохновлял его на борьбу с Наполеоном. Рейн, Альпы, Пиренеи — вот завоевание Франции, остальное — завоевания императора; Франция в них не заинтересована (*la France n'y tient pas*), повторял он Александру. “Остальное” — это были: Испания, Португалия, Италия, Бельгия, Голландия, почти вся Германия, половина Австрии, Польша, часть Балканского полуострова, земли от Лиссабона до Варшавы, от Гамбурга до Ново-Базарского санджака, от Данцига до Неаполя и до Бриндизи. Талейран, от имени Франции, от всего этого отказывался; все это он как бы отдавал в награду тем, кто избавит Францию от Наполеона. Александр видел вместе с тем, что Наполеон вполне доверяет своему бывшему министру, что вообще эта тогда многим непонятная отставка ничего фактически не изменила во влиянии Талейрана на французскую внешнюю политику. Именно через Талейрана там же, в Эрфурте, Наполеон довел впервые до сведения Александра, что собирается разводиться с Жозефиной и искать себе новую жену среди сестер Александра. Утром Талейран по повелению Наполеона составлял и окончательно редактировал проект конвенции между Россией и Францией, а вечером тот же Талейран выбивался из сил, доказывая колебавшемуся Александру, что не следует эту конвенцию подписывать, а нужно сначала выбросить такие-то и такие-то пункты. Царь так и поступил. Наполеон не понимал, чем объяснить это внезапное упрямство, обнаруженное Александром, и все жаловался Талейрану, приписывая это странное явление неблагоприятному обороту, который принимала народная война в Испании; и Талейран почтительно при этом соболезновал его величеству...

Он пошел по новой дороге бесповоротно. Читателей своих мемуаров он хочет уверить, что имел при этом в виду единственно благо Франции в будущем. Конечно, он думал о себе, а не о Франции. Но объективно это было решительно все равно: он предвидел неминуемую катастрофу в самые блестящие годы мировой империи, за шесть лет до ее окончательного крушения. Вернувшись из Эрфурта в Париж, он завел тайные переговоры с Меттернихом и продолжал путем конспиративных писем сношения с Александром. Корреспонденция эта была, конечно, строго законспирирована, и Талейран обозначался самыми разнообразными именами. Он передавал, что нужно, члену русского посольства Нессельроде, а тот уже писал Александру, называя Талейрана иногда “кузеном Анри”, иногда “нашим книгопродавцем”, а иногда “Анной Ивановной”. Дело шло о жизни и смерти Талейрана, и необходима была в письмах самая крайняя осторожность. Сношения с Меттернихом были еще опаснее: готовилось новое столкновение с Австрией, которая решила воспользоваться грозно бушевавшей в Испании народной войной против Наполеона.

Позиция Талейрана не могла долго укрываться от министра полиции Фуше. Он не знал, конечно, всего об изменнических сношениях Талейрана с Россией и с Австрией, но он знал о том, как отрицательно отзывается Талейран о безумном завоевании Пиренейского полуострова, об опасностях наполеоновского безудержного произвола во внешней политике и так далее. И вот, к изумлению всего великосветского Парижа, разнеслась весть о тесном сближении, чуть ли не дружбе между обоими государственными людьми. Действительно, Фуше стал убеждаться в правильности предвидений Талейрана и решил, по-видимому, не бороться с ним, а занять позицию внимательного и как бы дружественного нейтралитета. Но у Наполеона было несколько полиций: одна во главе с Фуше, следившая за всем населением империи, и другая, еще более тайная, следившая за самим Фуше. И был еще Лавалетт, главный директор почт, который следил за этой другой полицией, следившей за Фуше,

Таким путем император в середине января 1809 года, в разгаре кровопролитнейшей войны с испанскими “мятежниками” (то есть испанскими крестьянами, решившими защищать свою землю), в глубине Пиренейского полуострова получил разом несколько известий, сводившихся к следующим двум основным данным: во-первых, Австрия

секретно с лихорадочной поспешностью вооружается, сильно надеясь на трудное положение, в которое попал Наполеон в Испании; во-вторых, Талейран и Фуше о чем-то подозрительно сговариваются, причем Талейран недружелюбно отзывается о политике императора. Сейчас же Наполеон передал командование армиями своим маршалам, а сам помчался в Париж. Едва приехав, он приказал главным сановникам и некоторым министрам явиться во дворец. Тут-то, 28 января 1809 года, и произошла знаменитая, сотни раз приводившаяся в исторической и мемуарной литературе сцена, о которой некоторые присутствовавшие не могли до гробовой доски вспоминать без содрогания. Император в буквальном смысле слова с кулаками набросился на Талейрана. “Вы вор, мерзавец, бесчестный человек! — бешено кричал он. — Вы не верите в бога, вы всю вашу жизнь нарушали все ваши обязанности, вы всех обманывали, всех предавали, для вас нет ничего святого, вы бы продали вашего родного отца! Я вас осыпал благодеяниями, а между тем вы на все против меня способны! Вот уж десять месяцев, только потому, что вы ложно предполагаете, будто мои дела в Испании идут плохо, вы имеете бесстыдство говорить всякому, кто хочет слушать, что вы всегда порицали мое предприятие относительно этого королевства, тогда как это именно *вы* подали мне первую мысль о нем и упорно меня подталкивали! А этот человек, этот несчастный? *Кто* меня уведомил о его местопребывании? *Кто* возбуждал меня сурово расправиться с ним? Каковы же ваши проекты? Чего вы хотите? На что вы надеетесь? Посмейте мне это сказать! Вы заслужили, чтобы я вас разбил, как стекло, и у меня есть власть сделать это; но я слишком вас презираю, чтобы взять на себя этот труд! Почему я вас еще не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще для этого достаточно времени! Вы — грязь в шелковых чулках!”

Его высочество светлейший князь и владетельный герцог Беневентский, великий камергер императорского двора, великий электор Французской империи, командор Почетного легиона, князь Талейран - Перигор стоял неподвижно, совершенно спокойно, почтительно и внимательно слушая все, что кричал ему разъяренный император. Присутствовавшие сановники дрожали, почти не смея глядеть на Талейрана, но он, единственный в комнате, казалось, сохранял полнейшую безмятежность и ясность духа. Было очевидно, что Наполеон уже что-то проведал, но во всяком случае не знает ничего ни об эрфуртских похождениях своего бывшего министра, ни о том, что пред ним стоит “Анна Ивановна”, шпионящая и теперь, после Эрфурта, в пользу и за счет императора Александра I. Значит, непосредственной опасности нет. А больше пока Талейрану ничего не требовалось.

Весь двор волновался вопросом, как будет вести себя Талейран после всех этих страшных и публичных оскорблений, которых никогда не выслушивал от императора даже ни один из его бесчисленных камер-лакеев, фореиторов и кучеров.

Это любопытство было удовлетворено на другой же день, 29 января. При дворе был очередной большой раут, и съехавшиеся сановники и царедворцы с изумлением увидели в Тронном зале князя Талейрана в его красном бархатном с золотом костюме, во всех орденских звездах и кавалерских лентах. Он стоял на своем официально, по церемониалу назначенном месте между самыми высшими чинами империи в двух шагах от трона. Наполеон говорил с его соседями, — а Талейрану не ответил на низкий поклон и не обратил на него никакого внимания. Но Талейран этого старался не заметить, величаво стоял и спокойно молчал весь вечер...

Потянулись годы, когда, отстраненный и от активного участия в делах и от общения с Наполеоном, Талейран, вельможа и миллионер, владелец дворца и замка, вел жизнь, полную внешнего блеска и наслаждений, но лишённую того захватывающего интереса, который давало его прежнее положение. Его тайные сношения с Александром продолжались, но становились все опаснее и казались осужденными на политическое бесплодие. Очень уж могуществен был по-прежнему Наполеон, несмотря на все предсказания Талейрана. Снова разгромив Австрию в 1809 году, вынудив ее к новому



позорному и убийственному миру, женившись сейчас после этого на дочери австрийского императора, владея прямо или косвенно, чрез своих наместников и вассалов, над всей Европой, Наполеон принялся уже не войнами, а простыми декретами присоединять новые и новые страны к своей колоссальной державе. Может быть, поэтому Александр как будто несколько охладел — не к Талейрану, к которому никогда никаких симпатий не обнаруживал, а просто охладел временно в самом интересе своем к его сообщениям и советам. А тут еще Талейран написал царю (15 сентября 1810 года) письмо, в котором в самых достойных и красноречивых выражениях изящнейшею французскою прозою, достойною пера Шатобриана или Анатоля Франса, с теплым оттенком сердечности и дружеской доверчивости, сообщал Александру, что он, Талейран, в последнее время поиздержался и что очень бы удачная мысль была, если бы Александр дал своему верному тайному корреспонденту полтора миллиона золотом. Далее следовала уже наперед любезно наведенная Талейраном на всякий случай деловая справка, как технически удобнее всего прислать эти деньги, чрез какого банкира во Франкфурте, о чем генеральному русскому консулу в Париже Лабенскому написать и что именно прибавить, чтобы Лабенский не вздумал сомневаться, и так далее.

Но тут коса нашла на камень. Александра I особенно раздражало, когда кто-нибудь слишком уж спекулировал на его наивности. Талейрану все дело испортила его ссылка в начале письма на эрфуртские заслуги и деликатный намек, что именно оттого-то и пошатнулись его финансовые дела, что со времени Эрфурта Наполеон на него сердится. Александр ответил любезным по форме, но ехиднейшим по содержанию отказом: он ему денег этих, к сожалению, не может и не хочет дать именно затем, чтобы не подвергнуть князя Талейрана подозрениям и как-нибудь не скомпрометировать его. Талейран с достоинством выждал некоторое время, а потом стал выпрашивать через Нессельроде русские торговые лицензии и другие более скромные подачки. Тут, вероятно, дело уладилось легче.

Впрочем, уже наступали сроки исполнения его предсказаний: Наполеон пошел на Москву. Приближаются трудные времена, говорил Талейран уже тогда, когда в Париже еще ждали новых привычных бюллетеней о победах. Когда началось отступление великой армии из Москвы, Талейран осмелел в своих беседах (правда, с наиболее близкими людьми). “Вот момент, чтобы его низвергнуть”, — сказал он как-то в самом конце 1812 года маркизе Куаньи. Но Наполеон не мог быть низвергнут внутреннею революциею. И дело было вовсе не в совершенстве полицейской машины, созданной Фуше и сделавшейся недостижимым образцом всех политических полиций в грядущем, начиная с корпуса жандармов Николая I...

Сила Наполеона заключалась в том, что и в 1813 году для громадных и материально сильных классов он казался единственно возможным правителем. Крестьяне по-прежнему боялись в случае возвращения Бурбонов отнятия приобретенных при революции земель и восстановления феодализма; среди буржуазии были колебания, особенно среди торговой буржуазии; среди судовладельцев, среди купечества — мертвых при Наполеоне морских портов, но промышленники видели в Наполеоне избавителя от английской конкуренции и завоевателя чужих рынков, хотя, правда, отсутствие колониального сырья (особенно хлопка и красящих веществ) начало уже давно раздражать и их. Многие еще поддерживало власть Наполеона. Армия — солдаты еще больше, чем офицерский и генеральский состав, — любила его в своей массе, в особенности же старослуживые и унтер-офицерские кадры. При этих условиях у Наполеона еще хватило сил создавать в 1813—1814 гг. армию за армией и, нанося союзникам страшные удары при Люцене, при Бауцене, при Дрездене, при Вейссенфельсе, медленно отступая из Германии, принуждать союзников дважды предлагать ему почетный мир. Талейран видел поэтому, что торопиться открыть свои карты еще опасно. После поражения при Лейпциге, прибыв на короткое время в Париж, Наполеон на утреннем выходе своем среди царедворцев увидел и Талейрана. “Зачем вы тут?” — вдруг гневно обратился он к нему и между прочими

раздраженными фразами сказал и такую: “Берегитесь: ничего нельзя выиграть, борясь против моего могущества. Я объявляю вам, что если бы я опасно заболел, то вы умерли бы до меня”. Это была угроза расстрелом. И тогда же, в конце 1813 года, Наполеон внезапно предложил Талейрану снова стать министром иностранных дел. Тот отказался. Наполеон, презирав и ненавидя Талейрана, уже почти убежденный в его измене, все-таки думал, что Талейран слишком осыпан его милостями, которые побоится потерять в случае падения империи, и имеет слишком много причин опасаться возвращения Бурбонов. Он не знал, что Талейран после Лейпцига окончательно утвердился на той мысли, что все-таки Наполеон будет низвергнут, и не революцией, а напором союзных европейских армий, “восстанием Европы”, а не восстанием Франции против его владычества. Император не знал, что и Бурбоны все забудут и простят охотно Талейрану все его бывшие предательства против них, если он теперь совершит еще новое предательство — на этот раз уже в их пользу. Не зная еще всего этого, в январе 1814 года, когда борьба шла уже на французской территории и когда Наполеон нанес союзникам ряд новых и страшных ударов, а они опять, по совету Меттерниха, предложили Наполеону мирные переговоры,— император в присутствии министров снова предложил Талейрану вести эти переговоры. Но Талейран снова отказался. Придя в бешенство, Наполеон с поднятым кулаком стал наступать на Талейрана, который, попятившись, избежал удара. Эта безобразная сцена произошла 16 января 1814 года. Наполеон уехал к армии,— Талейран остался в Париже. Тут ему пришлось в феврале и начале марта пережить критические минуты. Началась серия новых побед Наполеона, когда их уже никто не ждал. “Я снова надел сапоги, в которых проделал свою первую итальянскую кампанию”,—говорил впоследствии Наполеон об этом времени. И военные специалисты до сих пор находят кампанию 1814 года одною из самых замечательных в долгой и кровавой карьере полководца. Чуть ли не каждые три дня в Париж приходили известия о новых и новых победах Наполеона, и Талейрана охватывало иной раз такое лютое беспокойство, что он писал герцогине Дино, своей племяннице (и любовнице), и ее матери, герцогине Курляндской, записки, похожие на духовное завещание. Наполеон в случае полной и окончательной победы мог расследовать тайные сношения Талейрана с союзниками, мог и просто в гневную минуту расстрелять его. Спасти его могло только поражение Наполеона. И вот вместе с Витролем (и чрез посредство Витроля) он торопит поход союзников на Париж, дает им знать о недостаточности сил для сопротивления, дает знать чрез верных лиц Бурбонам, что он хочет благоприятствовать именно им (все знали, что среди союзников есть сильное течение в пользу воцарения маленького сына Наполеона, “римского короля”, и Бурбоны очень беспокоились).

Но вот идут битвы уже под самыми стенами Парижа. Императрица Мария-Луиза с маленьким сыном, наследником императорского престола, уезжает из столицы в глубь страны. Талейран — в труднейшем положении: ехать ему за императрицей, как велел Наполеон всем главнейшим сановникам, или оставаться в Париже? Если послушаться императора и остаться в Париже, то в случае победы Наполеона или даже в случае его отречения и воцарения римского короля (“Наполеона II”) — ему, Талейрану, может очень дорого обойтись это изменническое действие. А с другой стороны, если союзники победят и войдут в город, то необычайно возрастут шансы Бурбонов, и тут-то Талейран может, если он останется в городе, взяв на себя деятельную роль, сделавшись естественным звеном между союзниками и Бурбонами, с одной стороны, и сенатом и другими имперскими учреждениями, с другой стороны, устроить со своею обычною ловкостью такую обстановку, чтобы вышло, будто сама Франция, устами сената, низлагает династию Бонапартов и призывает династию Бурбонов. Он знал прекрасно, что союзникам очень нужно, чтобы такая видимость была соблюдена, да и особенно это нужно Бурбонам, чтобы с самого начала был сколько-нибудь приличным фиговым листком прикрыт слишком уж грубый и болезнетворный для “национального самолюбия” факт прибытия предполагаемого короля “Людовика XVIII” в “фургонах союзников”. Об этих “фургонах”,

сыгравших потом такую роль в антибурбоновской агитации, именно тогда и начали уже говорить. Значит, Талейран мог надеяться, что ему простят решительно все его прошлое, даже убийство герцога Энгиенского, если он теперь оформит и облегчит воцарение Бурбонов. Поэтому ему непременно нужно остаться в Париже... Как же быть? Один из биографов Талейрана формулирует раздиравшее в этот момент душу его противоречие такими остроумными и строжайше *точными* словами: “Как сделать так, чтобы разом и уехать из Парижа и не уезжать из Парижа?” Задача, на первый взгляд противоречащая законам физики и совершенно неразрешимая. Но не князя Талейрана могли смутить трудности. Он, напротив, в самые безвыходные минуты жизни и обнаруживал наибольшую находчивость. Он сначала отправился вместе с одною старинной своей приятельницей, госпожой Ремюза, к префекту полиции Паскье, и тут (на всякий случай предоставив говорить госпоже Ремюза и ограничившись с своей стороны лишь неопределенными междометиями) он дал понять Паскье, что хорошо было бы, если б, например, при выезде из города его, князя Талейрана, “народ” не пустил бы дальше и принудил “силой” вернуться домой. Госпожа Ремюза даже подала недогадливому Паскье мысль, что еще лучше было бы, если бы он поручил своим агентам слегка взбунтовать “народ”, чтобы устроить это насильственное возвращение Талейрана. В конце концов условились на том, что не “народ”, а национальная гвардия задержит Талейрана и вернет назад. Важно было выиграть день, когда все решилось.

Тотчас после этого сговора Талейран, с багажом, с секретарями и слугами, в открытой карете выехал из своего дворца во имя честного исполнения своего верноподданнического долга, согласно приказу его величества императора Наполеона, чтобы присоединиться к пребывавшей в Блуа императрице и наследнику императорского престола, маленькому римскому королю. Но, к прискорбию, Талейрану, на глазах всех, помешали исполнить его долг национальные гвардейцы, которые у барьеров Пасси задержали, по досадному недоразумению, его карету и вернули в город! Сейчас же он отправил рапорт о случившемся прискорбном инциденте великому канцлеру империи Камбасересу. Застраховав себя таким образом от гнева Наполеона, Талейран сейчас же стал работать над подготовкою реставрации Бурбонов. Он явился к маршалу Мармону и убедил колебавшегося маршала не сражаться с подступившими к городу союзниками и сдать столицу. Наполеон с остатками армии спешил к городу. Но 31 марта во дворце Фонтенебло он узнал о капитуляции Мармона и об измене Талейрана...

Александр I, еще до того как союзные войска вошли и прочно заняли Париж, откомандировал Нессельроде к Талейрану,— и они вместе сочинили ту знаменитую подписанную Александром декларацию, помеченную 31 марта 1814 года, в которой заявлялось, что союзники не будут более вести переговоров ни с Наполеоном, ни с его семьей, но что они признают и гарантируют то новое устройство, которое даст себе французская нация. Прибавлялось, что союзники приглашают сенат назначить временное правительство.

После торжественного въезда в Париж Александр и король прусский прежде всего посетили Талейрана в его дворце. Тут Талейран не переставал убеждать обоих монархов, что Франция хочет именно Бурбонов, именно Людовика XVIII. Но Александр колебался. Ему, судя по некоторым признакам, хотелось бы посадить на французский престол трехлетнего сына Наполеона, римского короля, с регентством его матери Марии-Луизы, а Людовик XVIII был в высшей степени и лично антипатичен русскому императору. “Как могу я узнать, что Франция желает династию Бурбонов?”—недоверчиво спросил он у Талейрана. Но тот, не моргнув глазом, отвечал; “Чрез посредство решения, которое я берусь провести в сенате, государь, и последствия которого вы немедленно увидите”.— “Вы в этом уверены?”—“Отвечаю за это, государь”.

На другой день Талейран созвал сенат. Это учреждение не играло при Наполеоне ни малейшей роли и ограничивалось положением и службою послушных и исправных кодификаторов и исполнителей императорской воли. Они привыкли пресмыкаться перед

силой, без рассуждений повиноваться приказу,—и если из ста сорока одного на призыв Талейрана откликнулось всего шестьдесят три сенатора, то, конечно, главным образом потому, что еще не все освоились с мыслью о крушении империи, еще не отвыкли от страха пред Наполеоном. Талейран, опираясь на все союзные армии, стоявшие в столице и во Франции, без малейшей затраты красноречия достиг того, чтобы, во-первых, сенат постановил избрать “временное правительство” из пяти членов, с поручением им вести текущие дела и выработать проект новой конституции, и, во-вторых, чтобы во главе этого правительства был поставлен именно он, князь Талейран. Остальные были роялистские бесцветности, фигуры второго порядка. Было это 1 апреля, и тогда же произошло любопытное свидание между Талейраном и посланным от Бурбонов графом Семаллэ. Талейран, в качестве центрального лица, в качестве главного деятеля происходящей реставрации, самым очаровательным образом встретил этого Семаллэ, личного друга Карла Артуа, то есть брата намечаемого короля Людовика XVIII. Талейран тотчас же посоветовал передать Бурбонам, чтобы они приняли трехцветное знамя,— и сейчас же получил негодующий отказ: Бурбоны желают вернуться со своим белым знаменем, знаменем старого режима. И совет, и отказ были одинаково многозначительны. Талейран всем своим громадным умом и всею своею колоссальною опытностью понимал твердо, что для Франции Бурбоны — совсем чужие, неведомые люди, которых новые поколения вовсе не знают, что крестьянство уже наперед их не любит и боится,— и старое белое знамя будет в глазах крестьян как бы эмблемой восстановления феодальных пережитков, уничтоженных революцией, что, с другой стороны, для всей армии белое знамя — это ненавистное знамя, которое они до сих пор видели только в руках эмигрантов, поднявших оружие на отечество, в руках белых изменников, которых эти солдаты били еще в годы революции. А трехцветное знамя было знаменем победоносной революции и победоносного Наполеона. Талейран понимал, что Бурбоны этою заменою трехцветного знамени белым начинают сами копать себе яму, что они действительно ничему не научились. Но спорить было немислимо. Вспомним, что не только в 1814 году, но и в 1871—1872 гг., после новых двух революций и Коммуны, Бурбоны в лице графа Шамбора отвергли трехцветное знамя — и этим самым отвергли снова им предлагавшийся французский престол. Талейран никогда не уважал Бурбонов. Они не вняли его разумному совету насчет знамени,— он вскоре уже стал вообще замечать, что реставрация будет не весьма продолжительна. Но пока выбирать уже было поздно. Он стал доделывать начатое. В ближайшие дни сенат по наущению Талейрана разрешил армию и народ от присяги Наполеону, династия которого была провозглашена низложенною. Наполеон независимо от этого подписал в Фонтенебло отречение в пользу своего сына, а регентшей назначил Марию-Луизу, свою жену, дочь австрийского императора. Весть об этом отречении привезли в Париж Коленкур и маршалы Ней и Макдональд. Талейран попросил их пожаловать на совещание, но они категорически отказались иметь с ним дело, а отправились к императору Александру. Александру передача престола сыну Наполеона очень понравилась; да и австрийский император мог поддержать эту комбинацию, при которой его дочь становилась регентшей Франции, а его внук, маленький римский король,— французским императором. Но Талейран воспротивился изо всех сил и настоял на своем. “Он продал директорию, он продал консульство, империю, императора, он продал реставрацию, он все продал и не перестанет продавать до последнего своего дня все, что сможет и даже чего не сможет продать”,—говорила о нем именно в те времена госпожа Сталь, которая горько каялась, что помогла его карьере в 1797 году, упробив Барраса дать ему портфель министра иностранных дел. Появившиеся вскоре ультрароялистские карикатуры и листовки начинали список измен Талейрана не с директории, а со старого режима и католической церкви. Вообще говоря, когда приехал новый король и Бурбоны и их приверженцы стали прочно оседать на месте, устраиваться и осматриваться,—положение Талейрана оказалось не из очень приятных. Правда, за его последние, мартовско-апрельские, заслуги он мог

выпросить себе у Людовика XVIII портфель министра иностранных дел, а своим близким — разные назначения и подачки; правда, за время, когда он был (до приезда Бурбонов) главою правительства, он успел выискать в ведомственных архивах и документы о казни герцога Энгиенского, и об испанской войне, и целый ряд других компрометирующих его бумаг и благополучно их уничтожил; успел также разными путями заполучить очень много казенной золотой монеты, пока она в эти критические дни уже ушла от Наполеона и еще не дошла до Бурбонов. Часть ее и заблудилась по дороге в обширных карманах князя Талейрана, хотя мне лично не кажется убедительною приводимая Баррасом цифра взяток и хищений Талейрана, совершенных им в 1814 году в связи с реставрацией Бурбонов (или за реставрацию Бурбонов): двадцать восемь миллионов франков. Баррас был врагом Талейрана, да и у него самого вообще глаза на взятки были завидующие. Во всяком случае миллионы новые были за эти дни приобретены (хоть и не двадцать восемь) и благополучно присоединились к прежним основным миллионам, оставшимся от службы Талейрана при Наполеоне. Кроме денег, сохранил он и владетельное княжество Беневентское (в Италии), пожалованное ему Наполеоном, и все знаки отличия, полученные от Наполеона. Все это было ему приятно. Но неприятно было, что очень уж скоро и новый король, и вся бурбонская семья, а за ними и придворные, и новые сановники стали обнаруживать признаки более нежели отрицательного отношения к его моральным качествам и, казалось, совсем не желали считать его главным автором реставрации старой династии и своим благодетелем. Герцог и герцогиня Ангулемские (то есть племянник и племянница короля) обнаруживали даже нечто очень похожее на гадливость. Сам король был скептичен и насмешлив, умел (и хотел) говорить неприятности. Довольно резок бывал и брат короля Карл Артуа, впоследствии Карл X. Наконец, среди придворной аристократии фонды князя Талейрана тоже стояли не очень высоко. Эта аристократия состояла из старой, в значительной мере эмигрантской части дворянства, вернувшейся с Бурбонами, и новой, наполеоновской, за которую остались все ее титулы, данные императором. И те и другие тайно ненавидели и презирали Талейрана. Старые аристократы не прощали ему его религиозного и политического отступничества в начале революции, отнятия церковных имуществ, антипапской позиции в вопросе о присяге духовенства, всего его политического поведения в 1789— 1792 гг. Возмущались его участием в деле герцога Энгиенского, его деятельною дипломатическою помощью полиции в гонениях на аристократов-эмигрантов, ютившихся в чужих краях. С другой же стороны, наполеоновские герцоги, графы и маршалы гордились тем, что они, за немногими исключениями, присягнули Бурбонам лишь после отречения императора и по прямому разрешению отрекшегося Наполеона, а на Талейрана, Фуше, Мармона смотрели, как на позорных изменников, предавших Наполеона, вонзивших кинжал ему в спину, как раз когда он боролся изо всех сил против всей Европы, отстаивая целостность французской территории; наконец, те и другие не только знали о свободном обращении Талейрана с казенными деньгами и о бесчисленных и непрерывных взятках, но и преувеличивали полученные им суммы. Они повторяли словцо, неизвестно кем пущенное и в начале 1815 года даже попавшее в печать (в газету “Le Nain Jaune”): “Князь Талейран оттого так богат, что он всегда *продавал* всех тех, кто его *покупал*”. Эта двуединая торговая операция, лежавшая в основе всех финансовых оборотов Талейрана в течение всего его земного странствия, очень усердно отмечалась не только в салонных разговорах за спиною заинтересованного лица, но и в прессе. Тут впервые после революции, точнее после 1792 года. Талейран почувствовал все неудобства хотя бы такой ограниченной “свободы печати”, какая стала возможна в 1814 году при установлении конституционной хартии. Еще при Директории иной раз приходилось терпеть дерзости журналистов, но зато при Наполеоне, с 1799 года по 1814, не только о таких особах, как Талейран, но даже о поварах и лакеях таких сановников никто не осмелился бы ничего неодобрительного напечатать. Но в конце концов все эти колкости и неприятности князь Талейран мог до поры до времени игнорировать. Он был нужен, он был незаменим, и Бурбоны хотели его

использовать полностью. Он снова шел в гору. Его назначили первым министром, с оставлением в его руках министерства иностранных дел. Наконец, осенью его послали в качестве представителя Франции на Венский конгресс. В биографии этого человека открылась новая страница, и притом такая, которая имеет огромный исторический интерес, еще больший, чем вся его предшествовавшая деятельность.

### III

Талейрану приходилось выступать в Вене в 1814—1815 гг. против таких противников, которые, за вычетом Меттерниха и Александра, не возвышались над уровнем дипломатической обыденщины и могли в лучшем случае считаться средними служебными полезностями. Кэстльри, например, и других английских дипломатов, как и прусских представителей, он мог нисколько не опасаться. Эти люди были свидетелями и даже участниками величайших событий и сплошь и рядом не понимали их истинного характера и внутреннего значения. Они все еще плелись в традиционных колеях доброго старого веселого изящного XVIII века. В свое время Вильяма Питта Младшего, который, однако, несколькими головами был выше своих преемников, упрекали его критики в том, что он в борьбе с Францией был загипнотизирован местом, географическим пунктом, с которым смолоду боролся, и проглядел смену людей на этом месте и не заметил, что на том месте, в том самом Париже, где так долго сменяли друг друга и говорили от имени Франции элегантные и жеманные пудренные старорежимные щеголи версальского двора, стоит перед ним уже не пудренный щеголь, а Чингисхан, и что речь идет уже не о прирезках и отрезках земель в Индии и не о правах на ловлю трески около Ньюфаундленда, но о жизни и смерти Английского королевства. Теперь, в 1814 году, этот Чингисхан был только что низвергнут после отчаяннейших усилий всей Европы, но государственные люди, съехавшиеся осенью 1814 года в Вене, чтобы установить новое политическое перераспределение земель и народов, все-таки не очень понимали исторический смысл истекшего кровавого двадцатипятилетия. Средний дипломат, средний политик Венского конгресса, подобно большинству дворянского класса тогдашней Европы, склонен был думать, что революция и Наполеон были внезапно налетевшим шквалом, который, к счастью, окончился, и теперь следует, убрав обломки, починив повреждения, зажить по-прежнему. Лишь сравнительно немногие понимали, что полная реставрация главного, то есть социально-экономического старого режима, не удастся ни во Франции, где его разрушила революция, ни в тех странах, где ему нанес страшные удары Наполеон, и что поэтому не может удасться и полная реставрация политическая или бытовая. Из реакционеров это понимали и с горечью отмечали лишь единичные мыслители. Напрасно Людовик XVIII говорит, что он воссел на прародительский престол: он воссел и сидит на троне Бонапарта, а прародительский трон уже невозможен, со скорбной иронией говорил Жозеф де Местр, указывая на то, что во Франции весь социальный, административный, бытовой строй остался в том виде, как существовал при Наполеоне,— только наверху вместо императора сидит король и имеется конституция. В области международных отношений иллюзий было еще больше, с просыпающимися в буржуазии “национальными” стремлениями считаться никто не желал, а к совершенно бесцеремонному обращению с народами и целыми державами, к купле-продаже-обмену в этой области, ко всем этим привычкам старорежимной дипломатии прибавились еще воспоминания о только что пережитой наполеоновской эпопее. Если народы Европы терпели и молчали при том обхождении с ними, какое практиковал Наполеон, то стоит ли и впредь считаться с их стремлениями и упованиями?

Талейран проявил здесь в полном блеске свои огромные дипломатические способности. Он во всю остальную жизнь всегда указывал на Венский конгресс, как на то место, где он упорно и успешно отстаивал — и отстаивал — интересы своего отечества от целого

полчища врагов, и при том в самых трудных, казалось безнадежных, обстоятельствах, в каких только может очутиться дипломат: не имея за собою в тот момент никакой реальной силы. Франция была разбита, истощена долгими и кровавыми войнами, подверглась только что нашествию. Против нее на конгрессе, как и прежде на поле битвы, стояла коалиция всех первоклассных держав: Россия, Пруссия, Австрия, Англия. Если бы этим державам удалось сохранить на конгрессе хоть какое-нибудь единство действий, Талейрану пришлось бы всецело подчиниться. Но в том-то и дело, что с первого дня приезда своего в сентябре 1814 года в Вену Талейран принялся ткать сложную и тончайшую сеть интриг, направленных к тому, чтобы вооружить одних противников Франции против других ее противников. Первые шаги были трудны. И репутация князя еще осложняла его положение. Не в общих оценках личности князя Талейрана было дело, не в том, что его на самом конгрессе называли (конечно, не в глаза) наибольшей канальей всего столетия, “la plus grande canaille du siecle”. И не то было существенно, что богомольная ханжеская католическая Вена со всеми этими съехавшимися монархами и правителями, для которых мистицизм в тот момент казался наилучшим противоядием против революции, презирала расстриженного и в свое время отлученного от церкви епископа отенского, который предал и продал католицизм революционерам. Даже и не то было самое важное, что его, несмотря на все его ухищрения, упорно считали убийцей герцога Энгиенского. Раздражало в нем другое: ведь все эти государи и министры именно с Талейраном имели дело в течение всей первой половины наполеоновского царствования. Именно он всегда после наполеоновских побед оформлял территориальные и денежные ограбления побежденных, согласно приказам и директивам Наполеона. Никогда, ни единого раза он не сделал даже и попытки хоть немного удержать Наполеона и от начальных конфликтов, и от войн, и от конечных завоеваний. Самые высокомерные, вызывающие ноты, провоцировавшие войну, писал именно он; самые оскорбительные и ядовитые бумаги при любых дипломатических столкновениях сочинял именно он,— вроде, например, вышеупомянутой отповеди в 1804 году императору Александру с прямым указанием на убийство Павла и намеком на участие Александра в этом деле. Талейран был послушным и искусным пером Наполеона, и это перо ранило очень многих из тех, которые теперь съехались в Вене. Впоследствии, между прочим и в своих мемуарах, Талейран очень прочувствованно и с укоризненным помаванием головы поминал всегда о том, что Наполеон не щадил самолюбия побежденных, топтал их человеческое достоинство и так далее. Он совершенно прав, но забывает прибавить, что именно он же сам и был исправнейшим и неукоснительным исполнителем императорской воли. Теперь представители так долго унижаемых и беспощадно эксплуатируемых держав и дипломаты, помнившие жестокие уколы, молчаливо ими переносимые столько лет, были лицом к лицу с этим высокомерным и лукавым вельможей, с этим “письмоводителем тирана”, иго которого, наконец, удалось свергнуть. Но, к общему удивлению, этот “письмоводитель” держал себя на конгрессе так, как если бы он был министром не побежденной, а победившей страны,— и недаром раздраженный Александр I сказал о нем тогда же в Вене: “Талейран тут разыгрывает министра Людовика XIV”. Талейран поистине артистически вел свою труднейшую, почти безнадежную вначале игру. Главным его делом было разрушить коалицию великих держав, по-прежнему соединенных против Франции. И к началу января 1815 года (а приехал он на конгресс в середине сентября 1814 года,— значит, за три с половиной месяца) ему блистательно удалось его дело. Ему удалось даже войти в тайный договор с Англией и Австрией для совместного противодействия трех великих держав (Франции, Англии и Австрии) двум остальным— Пруссии и России. Договор был оформлен и подписан 3 января 1815 года. Этот колоссальный дипломатический успех повлек за собою и другой успех, не меньший. Пруссия претендовала на получение всех владений саксонского короля, которого соединенная против Наполеона Европа собиралась наказать за его союз с Наполеоном. Такое усиление Пруссии Талейран ни за что не хотел допустить и не допустил. Пруссия

получила лишь небольшой прирезок. Спасти Польшу от поглощения Россией он не смог, несмотря на все усилия. За Францией не только осталось все, что она удержала по Парижскому миру, но Талейран не допустил даже и постановки вопроса о пунктах, которые в этой области некоторым державам очень хотелось бы пересмотреть. Талейран выдвинул “принцип легитимизма”, как такой, на основе которого отныне должно быть построено все международное право. Этот “принцип легитимизма” должен был прочно обеспечить Францию в тех границах, которые она имела до начала революционных и наполеоновских войн, и, конечно, он был в данной обстановке очень для французов выгоден, так как силы для победоносного сопротивления в случае немедленных новых войн они в тот момент не имели. Противников Талейрана больше всего возмущало, что он, продавший так быстро легитимную монархию, служивший революции, служивший Наполеону, расстрелявший герцога Энгиенского только за его “легитимное” происхождение, уничтоживший и растоптавший при Наполеоне всеми своими дипломатическими оформлениями и выступлениями всякое подобие международного права, всякое понятие о “легитимных” или иных правах,— теперь с безмятежнейшим видом, с самым ясным лбом заявлял (например, русскому делегату на Венском конгрессе Карлу Васильевичу Нессельроде): “Вы мне говорите о сделке,— я не могу заключать сделок. Я счастлив, что не могу быть так свободен в своих действиях, как вы. Вами руководят ваши интересы, ваша воля; что же касается меня, то я обязан следовать принципам,— а ведь принципы не входят в сделки (*moi, je suis obligé de suivre les principes, et les principes ne transigent pas*)”. Его оппоненты прямо ушам своим не верили, слыша, что столь суровые речи ведет и нелицеприятную мораль им читает тот самый князь Талейран, который — как о нем около того же времени писала уже упомянутая газета “*Le Nain Jaune*”— всю жизнь “продавал всех тех, кто его покупал”. Ни Нессельроде, ни прусский делегат Гумбольдт, ни Александр не знали еще, что даже в *те самые дни* Венского конгресса, когда Талейран давал им суровые уроки нравственного поведения, верности принципам и религиозно-неуклонного служения легитимизму и законности,— он получил от саксонского короля пять миллионов франков золотом, от баденского герцога—один миллион; они не знали также, что впоследствии все они прочтут в мемуарах Шатобриана, что за пылкое отстаивание во имя легитимизма прав неаполитанских Бурбонов на престол обеих Сицилий Талейран тогда же, в Вене, получил от претендента Фердинанда IV шесть миллионов (по другим показаниям, три миллиона семьсот тысяч) и для удобства переправы денег даже был так любезен и предупредителен, что отправил к Фердинанду своего личного секретаря Перре. Но и тут он действовал в деле взятковзимания точь-в-точь так, как при Наполеоне: он не делал за взятки тех дел, какие шли бы вразрез с интересами Франции или, шире говоря, с основными дипломатическими целями, к достижению которых он стремился. Но он *попутно* получал деньги с тех, кто был лично заинтересован в том, чтобы эти цели были поскорее и как можно полнее Талейраном достигнуты: так, Франция, например, была прямо заинтересована в том, чтобы Пруссия не захватила владений саксонского короля, и Талейран отстоял Саксонию. Но так как саксонский король был заинтересован в этом еще гораздо более, чем Франция, то этот король для возбуждения наибольшей активности в Талейране и дал ему, с своей стороны, пять миллионов. А Талейран их взял. И, конечно, взял с таким всегда ему свойственным сдержанным и грациозным величием, с каким некогда, в 1807 году, принял взятку от этого же самого саксонского короля за то, чтобы убедить Наполеона не брать из Дрезденской галереи Сикстинскую мадонну и другие, как на беду приглянувшиеся императору картины.

Возвращение Наполеона с острова Эльбы и восстановление империи застали Талейрана совершенно врасплох. Недавно (в мае 1933 года) в Париже вышла фантазерская книга Фердинанда Бака “*Le secret de Talleyrand*”. Этот “раскрытый” одним только Баком “секрет” заключается в том, что Талейран... сам устроил бегство Наполеона с Эльбы. Отмечаю эту дилетантскую книгу тут только в виде курьеза, для доказательства, что и



далекое потомство продолжает считать Талейрана способным на самый изумительный по коварству план и достаточно ловким и сильным, чтобы любой такой проект осуществить. Нечего и говорить, что даже и тени научной аргументации в этой книге нет.

Восстановив империю в марте 1815 года, Наполеон дал знать Талейрану, что возьмет его снова на службу. Но Талейран остался в Вене; он не поверил ни в милостивое расположение императора (приказавшего тотчас в своем новом воцарении секвестровать все имущество князя), ни в прочность нового наполеоновского царствования. Венский конгресс закрылся. Грянуло Ватерлоо, — и Бурбоны, а с ними Талейран, вернулись во Францию. Обстоятельства сложились так, что Людовику XVIII еще не представлялось возможным избавиться от Талейрана, которого он не любил и боялся. Мало того: Фуше, герцог Отрантский, о котором говорили, что не будь на свете Талейрана, то он был бы самым лживым и порочным человеком из всего человечества, этот самый Фуше целым рядом ловких маневров достиг того, что и его хоть на первое время, а все же пришлось пригласить в новый кабинет, хотя Фуше числился среди тех членов Конвента, которые в 1793 году вотировали казнь Людовика XVI.

Эти два человека, Талейран и Фуше, оба бывшие духовные лица, оба принявшие революцию, чтобы сделать себе карьеру, оба министры Директории, оба министры Наполеона, оба получившие от Наполеона герцогский титул, оба заработавшие при Наполеоне миллионное состояние, оба предавшие Наполеона, — и теперь вместе вошли к кабинет “христианнейшего” и легитимного монарха, родного брата казненного Людовика. Они уже раньше хорошо узнали друг друга и именно поэтому стремились прежде работать друг с другом. При очень большом сходстве обоих в смысле глубокого презрения к чему бы то ни было, кроме личных интересов, и полного отсутствия каких-либо сдерживающих начал при осуществлении своих планов, — они во многом и отличались один от другого. Фуше был очень неробкого десятка, и перед 9 термидора он смело поставил свою голову на карту, организовав в Конвенте нападение на Робеспьера и низвержение его. Для Талейрана подобное поведение было бы совершенно немыслимо. Фуше в эпоху террора действовал в Лионе так, как никогда бы не посмел действовать Талейран, который именно потому и эмигрировал, что считал, что в лагере “нейтральных” оставаться опасно в настоящем, а быть активным борцом против контрреволюции опасно в будущем. Голова у Фуше была хорошая, после Талейрана — самая лучшая, какую только располагал Наполеон. Император это знал, осыпал их обоих милостями, — но потом положил на них опалу. Он их поэтому и поминал часто вместе. Например, уже после отречения от престола он выражал сожаление, что не успел повесить Талейрана и Фуше. “Я оставляю это дело Бурбонам”, — так, по преданию, добавлял император.

Однако Бурбоны волею-неволею должны были сейчас после Ватерлоо и после своего вторичного возвращения летом 1815 года на престол не только воздержаться от повешения обоих герцогов — как Беневентского, так и Отрантского, — но и призвать их к управлению Францией. Поэт и идеолог дворянско-клерикальной реакции в тот момент Шатобриан не мог скрыть своей ярости при виде этих двух деятелей революции и империи, из которых на одном была кровь Людовика XVI и множества других, казненных в Лионе, а на другом — кровь герцога Энгиенского. Шатобриан был при дворе, когда хромой Талейран, под руку с Фуше, прошел в кабинет к королю: “Вдруг дверь открывается: молча входит порок, опирающийся на преступление, — господин Талейран, поддерживаемый господином Фуше; адское видение медленно проходит предо мною, проникает в кабинет короля и исчезает там”.

В этом министерстве, в котором председателем совета министров был Талейран, а министром полиции Фуше, наполеоновский генерал Гувьон Сен-Сир стал военным министром; были и еще подобные назначения. Талейран ясно видел, что Бурбоны могут держаться, *только* если, махнув рукою на все свои обиды, примут революцию и империю, как неизбывный и огромный исторический факт, и откажутся от мечтаний о старом режиме. Но не менее ясно он вскоре увидел и другое: именно, что ни королевский брат и

наследник Карл, ни дети этого Карла, ни целая туча вернувшихся во Францию эмигрантов ни за что с такою политикою не согласятся, что они “ничего не забыли и ничему не научились” (знаменитое словцо Талейрана о Бурбонах, неправильно приписываемое часто Александру I). Он увидел, что при дворе берет верх партия разъяренных и непримиримых дворянских и клерикальных реакционеров, находящихся под властью абсурдной, неисполнимой мечты об уничтожении всего, сделанного при революции и удержанного Наполеоном, то есть, другими словами, они желают обращения страны торгово-промышленного капитала в страну феодально-дворянской монархии. Талейран понимал, что эта мечта совершенно неисполнима, что эти ультрароялисты могут бесноваться, как им угодно, но что всерьез начать ломать новую Францию, ломать учреждения, порядки, законы гражданские и уголовные, оставшиеся от революции и от Наполеона, даже только поставить открыто этот вопрос возможно, лишь окончательно сойдя с ума. Однако он стал вскоре усматривать, что ультрароялисты и в самом деле как будто окончательно сходят с ума,— по крайней мере утрачивают даже ту небольшую осторожность, какую проявляли еще в 1814 году. Дело в том, что внезапное возвращение Наполеона в марте 1815 года, его стодневное царствование и его новое низвержение,— опять-таки произведенное не Францией, а новым нашествием союзных европейских армий,— все эти потрясающие события вывели дворянско-клерикальную реакцию из последнего равновесия. Они чувствовали себя жесточайше оскорбленными. Как мог безоружный человек среди полного спокойствия страны высадиться на южном берегу Франции и в три недели, непрерывно двигаясь к Парижу, не произведя ни единого выстрела, не пролив капли крови, отвоевать Францию у ее законного короля, прогнать этого короля за границу, снова сесть на престол — и снова собрать громадную армию для войны с Европой? Кто был этот человек? Деспот, не снимавший с себя оружия в течение всего своего первого царствования, опустошивший страну рекрутскими наборами, узурпатор, ни с кем и ни с чем на свете не считавшийся, а главное — монарх, новое воцарение которого неминуемо должно было вызвать сейчас же новую, нескончаемую войну с Европой. И к ногам этого человека без разговоров, без попыток сопротивления, даже без попыток, убеждений с его стороны, в марте 1815 года пала немедленно вся Франция, все крестьянство, вся армия, вся буржуазия. Ни одна рука не поднялась на защиту “законного” короля, на защиту вернувшейся весной 1814 года династии Бурбонов. Объяснить этот феномен тем страхом за приобретенную при революции землю, который питало крестьянство, теми опасениями перед призраком воскрешения дворянского строя, которые испытывало не только крестьянство, но и буржуазия, вообще объяснить это изумительное происшествие, эти Сто дней какими-либо общими и глубокими социальными причинами ультрароялисты были не в состоянии, да и просто не хотели. Они приписывали все случившееся именно излишней слабости, уступчивости, неуместному либерализму со стороны короля в первый год его правления, с апреля 1814 до марта 1815 года: если бы тогда, уверяли они, успеть беспощадно истребить крамолу,— такая всеобщая и внезапная “измена” была бы в марте 1815 года невозможна, и Наполеон был бы схвачен тотчас после его высадки на мысе Жуан. Теперь к этому позору изгнания в марте прибавился еще позор возвращения в июне, июле и августе, после Ватерлоо, и уж на этот раз действительно в “фургонах” армии Веллингтона и Блюхера. Бешенство ультрароялистов не имело пределов. Если король еще несколько сопротивлялся им и если они еще позволили ему сопротивляться, то это было именно только в первый момент: все-таки нужно было осмотреться, можно было ждать еще сюрпризов. Только поэтому и стало возможно правительство с Талейраном и Фуше во главе. Но по мере того как во Францию вливались все новые и новые армии англичан, пруссаков, потом австрийцев, позднее — русских, по мере того как неприятельские армии, на этот раз уже на долгие годы, располагались для оккупации целых департаментов и дня полнейшего обеспечения Людовика XVIII и его династии от новых покушений со стороны Наполеона, а также и от каких бы то ни было революционных

попыток,— крайняя реакция решительно подымала голову и вопила о беспощадной мести, о казни изменников, о подавлении и уничтожении всего, что враждебно старой династии.

Талейран понимал, к чему поведут эти безумства. И он даже делал некоторые попытки удержать исступленных. Он долго противился составлению проскрипционного списка тех, кто способствовал возвращению и новому воцарению Наполеона. Эти преследования были бессмыслицей, потому что вся Франция либо активно способствовала, либо не сопротивлялась императору и этим тоже способствовала ему. Но тут выступил Фуше. Гильотинировав или потопив в Роне сотни и сотни лионцев в 1793 году за приверженность к дому Бурбонов, вотировав тогда же смерть Людовика XVI, годами расстреливая при Наполеоне в качестве министра полиции людей, обвиненных опять-таки в приверженности к дому Бурбонов,— Фуше, снова министр полиции, теперь, в 1815 году, горячо настаивал на новых расстрелах, но на этот раз уже за *недостаточную* приверженность к дому Бурбонов. Фуше поспешил составить список наиболее, по его мнению, виновных сановников, генералов и частных лиц, прежде всего помогавших вторичному воцарению Наполеона. Талейран решительно протестовал. Узкий полицейский ум Фуше и яростная мстительность королевского двора восторжествовали над более дальновидною политикою Талейрана, который понимал, до чего губит себя династия, пачкаясь в крови таких людей, как, например, знаменитый маршал Ней, легендарный храбрец, любимец всей армии, герой Бородинской битвы. Талейрану удалось спасти только сорок три человека,— остальные пятьдесят семь остались в списке Фуше. Расстрел маршала Нея состоялся и, конечно, сделался благодарнейшей темой для антибурбонской агитации в армии и всей стране.

Это было лишь началом. По Франции, особенно на юге, прокатилась волна “белого террора”, как тогда же было (впервые в истории) названо это движение. Страшные избиения революционеров и бонапартистов, а заодно уже и протестантов (гугенотов), разжигаемые католическим духовенством, раздражали Талейрана, и он пробовал вступить с ними, в борьбу, но ему не суждено было долго продержаться у власти. Дело началось с Фуше. Как министр полиции ни усердствовал, но простить ему казнь Людовика XVI и все его прошлое ультрароялисты не желали. Фуше прибегнул было к приему, который ему часто помогал при Наполеоне: он представил королю и своему начальнику, то есть первому министру Талейрану, доклад, в котором старался припугнуть их какими-то заговорами, якобы существующими в стране. Но Талейран явно не поверил и даже не скрыл этого от своего коллеги. Фуше только *казалось*, что он видит Талейрана насквозь, а вот Талейран *в самом деле* видел хитроумного министра полиции насквозь. Талейран считал, во-первых, нелепой и опасной политику репрессий и преследований, которую желал проводить Фуше с единственной целью: угодить ультрароялистам и удержать за собою министерский портфель; во-вторых, он ясно видел, что все равно из этого ничего не выйдет, что ультрароялисты слишком ненавидят Фуше, залитого кровью их родных и друзей, и что кабинет, в котором находится “цареубийца” Фуше, не может быть прочен при полном неистовом разгуле дворянской реакции и воинствующей клерикальной агитации. По всем этим соображениям герцог Беневентский решительно пожелал отделаться от герцога Отрантского. Совершенно неожиданно для себя Фуше получил назначение французским посланником в Саксонию. Он уехал в Дрезден. Но, выбросив этот балласт, Талейран все-таки не спасся от кораблекрушения. Ровно через пять дней после назначения Фуше в Дрезден Талейран затеял давно подготовлявшийся принципиальный разговор с королем. Он хотел просить у короля свободы действий для борьбы против безумных эксцессов крайней реакционной партии, явно подрывавших всякое доверие к династии. Он закончил свою речь внушительным ультиматумом: если его величество откажет министерству в своей полной поддержке “*против всех*”, против кого это понадобится, то он, Талейран, подает в отставку. И вдруг король на это дал неожиданный ответ: “Хорошо, я назначу другое министерство”. Случилось это 24 сентября 1815 года,— и на этом оборвалась служебная карьера князя Талейрана на

пятнадцать лет. Для отставленного так внезапно министра это было полнейшей неожиданностью, вопреки всему тому, что он пишет в своих мемуарах, придавая своей отставке вид какого-то патриотического подвига и связывая ее ни с того ни с сего с отношениями Франции к ее победителям. Дело было не в том, и Талейран лучше всех, конечно, понял, в чем корень события. Людовик XVIII, старый, больной, неподвижный подагрик, хотел только одного: не отправляться в третий раз в изгнание, умереть спокойно королем и в королевском дворце. Он был настолько умен, что понимал правильность воззрений Талейрана и опасность для династии от белого террора и от безумных криков и актов ультрареакционной партии. Но он должен был считаться с этой партией хоть настолько, чтобы не раздражать ее такими сотрудниками, как Фуше или Талейран. Нужна была талейрановская политика, но делаемая не руками Талейрана. Талейран не хотел замечать, что его-то самого еще больше ненавидят, чем Фуше, что большинство ультрароялистов (да и большинство во всех других партиях) охотно повторяет слова Жозефа де Местра: “Из этих двух людей Талейран более преступен, чем Фуше”. Если Фуше был лишним балластом для Талейрана, то сам Талейран был лишним балластом для короля Людовика XVIII. Вот почему Фуше не успел еще выехать в Дрезден, как удаливший его Талейран сам оказался выброшенным за борт. При отставке он получил придворное звание великого камергера, с жалованьем в сто тысяч франков золотом в год и с “обязанностью” заниматься чем угодно и жить, где ему заблагорассудится. Он, впрочем, и при Наполеоне тоже имел это самое звание (наряду со всеми другими своими званиями и титулами), и при Наполеоне обязанности эти были столь же мало обременительны и еще более щедро оплачивались.

Талейран удалился в частную жизнь. Громадное богатство, великолепный замок, великолепный дворец в городе, царственная роскошь жизни — вот что ждало его на закате дней. Безделье не очень тяготило его. Он и никогда вообще не любил работы. Он давал руководящие указания своим подчиненным в министерстве, своим послам, наконец, своим министрам, когда был первым министром. Он давал советы государям, которым служил, — Наполеону, Людовику XVIII; делал это в интимных разговорах с глазу на глаз. Он вел свои дипломатические переговоры и интриги иной раз за обеденным столом, иной раз на балу, иной раз в перерыве карточной игры; он достигал главных результатов именно при разных обстоятельствах той светской, полной развлечений жизни, которую всегда вел. Но работа терпкая, ежедневная, чиновничья была ему неведома и не нужна. Для этого существовал штат опытных подчиненных ему сановников и чиновников, секретарей и директоров. Теперь, в отставке, так же как и в годы своей опалы при Наполеоне, он внимательно наблюдал за политической шахматной доской и за ходами партнеров, сам уже до поры до времени не принимая участия в игре. И он видел, что Бурбоны продолжают подкапывать свое положение, что единственный между ними человек с головою, Людовик XVIII, изнемогает в своей безуспешной борьбе против крайних реакционеров, что, когда король умрет, на престол попадет легкомысленный старик, который не только не станет противиться планам восстановления старого режима, но еще сам охотно возьмет на себя инициативу, потому что у него не хватит ума понять страшную опасность этой безнадежной игры, этого нелепого и невозможного поворачивания истории вспять, не хватит даже того инстинкта самосохранения, который один только и мешал его старшему брату вполне примкнуть к ультрароялистам.

Талейран в эти годы, конечно, хотел вернуться к власти, брюзжал, ругал — и даже весьма публично — министров, за что как-то даже на три месяца в виде наказания был “лишен двора”, т. е. ему было воспрещено появляться в Тюильри (несмотря на сан великого камергера); он иронизировал над глупостью и бездарностью правящих лиц, острил, составлял эпиграммы. Он давал понять, где нужно, что он незаменим. Но его не взяли. Судя по разным признакам, он уже тогда полагал, что час падения Бурбонов не весьма далек. Он их никогда не только не любил (он никого не любил), но и не уважал, как он, например, уважал Наполеона, и он видел, что Бурбоны и их приверженцы

стремятся к цели, по-своему ничуть не менее фантастической, чем “всемирная монархия” их предшественника на престоле Франции; он отчетливо сознавал, что дворянство, как класс, раненное насмерть еще великою буржуазною революцией, не только уже никогда не воскреснет, но заразит трупным ядом самую династию. Видел он, что и “со стороны”, извне, никто Бурбонов не предупредит и не спасет. Он в эти годы иронически-сожалительно говорил о “голове бедного императора Александра”, набитой контрреволюционными бреднями и запуганной Меттернихом. Еще в 1814 году Александр понимал, что Бурбоны погибнут, если не примирятся с новой Францией,— но в двадцатых годах он уже перестал об этом говорить. Любопытно, что в эти годы реставрации Талейран всегда вспоминал Наполеона со сдержанным почтением и при случае любил делать сопоставления, мало выигрышные для преемников императора. Байроновское чувство к Наполеону, выразившееся в словах: “Затем ли свергнули мы льва, чтоб пред шакалами склоняться?” не находило себе, конечно, никакого отзвука в сухой и ничего общего с романтизмом не имеющей душе Талейрана, но он, поскольку думал об историческом имени своем, о своей исторической репутации (он, впрочем, не очень много по сему поводу кручинился), постольку сознавал, что историческое бессмертие обеспечено прежде всего тем, кто связал свою деятельность с деятельностью этого “раздавателя славы”, как выразился о Наполеоне русский партизан 1812 года Денис Давыдов. И князь, составляя как раз в эти годы свои мемуары, особенно настойчиво подчеркивал, что если бы Наполеон не начал вести губительной для него самого и для Франции необузданно завоевательной политики, то никогда бы он, Талейран, не перестал верой и правдой служить императору.

Пока что со времени смерти Людовика XVIII и восшествия на престол Карла X в 1824 году князь Талейран начал сблизиться с вождями либерально-буржуазной оппозиции— Ройе-Колларом, Тьером, историком Минье. Дело явно шло к катастрофе, и новый король очертя голову шел к пропасти. Талейран, принимая и угощая в своих великолепных дворцах вождей буржуазной оппозиции, с которыми счел теперь полезным сблизиться, в то же время бывал и у короля. Но он с Карлом X уж совсем не стеснялся, именно потому, что ждал со дня на день его гибели. “Тот король, которому угрожают, имеет лишь два выбора: трон или эшафот”,— сказал однажды Талейрану Карл X, любивший повторять, что только уступки погубили в свое время Людовика XVI.— “Вы забываете, государь, третий выход: почтовую карету”,— ответил королю Талейран, который, предвидя, что Бурбоны вскоре перестанут царствовать, охотно допускал, что на этот раз дело обойдется без гильотины, а кончится лишь изгнанием династии.

С 1829 года Талейран начал сблизиться и с тем принцем королевского дома, которого либеральная буржуазия прочила на престол в случае свержения Карла X: с герцогом Луи-Филиппом Орлеанским,— потому что установления республики буржуазный класс в его целом, так же как особенно деревенская его часть, собственническое крестьянство, определенно боялись и не хотели. 8 августа 1829 года Карл X назначил первым министром Жюля Полиньяка, который никогда и не скрывал, что стремится к восстановлению всей полноты королевской власти, как к первому шагу по пути нужных реформ в государстве. Другими словами, следовало ждать нападения на конституцию, государственного переворота с целью в дальнейшем воскрешения феодально-абсолютистского строя. Талейран твердо знал, что Карл X погибнет в этой попытке лишить буржуазию и крестьянство того, что им дала революция. Того, что рабочему классу революция гораздо меньше дала, а Наполеон и Бурбоны отняли и то, что она дала, и что рабочие теперь впервые после прерияля 1795 года начинают проявлять стремление к активности и непременно поддержат любое восстание, даже если оно начнется не по их инициативе,— этого Талейран не предвидел. Но даже и без этого шансы династии спастись, в случае если будет произведена попытка государственного переворота со стороны короля, были довольно сомнительны. Полиньяк еще менее блистал умственными качествами, чем Карл X, еще меньше короля понимал, что он шутит с огнем, но отличался

эмоциональностью и узколобым реакционным фанатизмом, который повелительно требовал немедленных военных действий против всех, несогласно с ним мыслящих. Либеральная буржуазия, чувствуя за собою всю силу, твердо решила сопротивляться. В кабинете у Талейрана собрались вожди либералов: Тьер, Минье и Арман Каррель. Дело было в декабре 1829 года. Решено было основать новый, резко оппозиционный орган (знаменитую газету “Le National”) для решительной борьбы против Полиньяка и, если понадобится, против династии Бурбонов. На совещаниях этих трех молодых деятелей либеральной буржуазии председательствовал хозяин дома, вельможа старорежимного двора, бывший епископ, присутствовавший и при коронации Людовика XVI, и при коронации Наполеона, и при коронации этого самого Карла X, человек, служивший и старому режиму, и революции, и Наполеону, и опять Бурбонам, посадивший в 1814 году Бурбонов на престол во имя принципа легитимности.

Теперь он готовился способствовать их же свержению во имя принципа революционного сопротивления легитимному королю... В его кабинете родился таким образом самый радикальный из органов буржуазной оппозиции, какие только прославились борьбою против Полиньяка и стоявшего за ним короля в эти последние месяцы пребывания Бурбонов на французском престоле. Эти молодые деятели, вроде Тьера, взирали на величавую фигуру семидесятишестилетнего больного старика с большим почтением: слишком уж много,— как никто из еще живших тогда людей,— был он овеян воспоминаниями о величайших исторических событиях, в которых играл роль, с которыми так или иначе навеки соединил свое имя.

Талейран еще до революции был связан довольно сложными отношениями с герцогом Орлеанским (“Филиппом Эгалитэ”), казненным потом в эпоху террора. Теперь, в 1829—1830 годах, он очень поддерживал отношения с сыном его, Луи-Филиппом, и с сестрою Луи-Филиппа Аделаидою. Он знал, что оппозиционная буржуазия прочит Луи-Филиппа на престол в случае низвержения “старшей линии” Бурбонов, то есть Карла X (герцоги Орлеанские были “младшею линиею” Бурбонов).

Больной, глубокий старик не желал сдаваться смерти; он все еще думал о будущем, о новой карьере, все еще копал яму врагам и расчищал дорогу друзьям; а его друзьями всегда были те, кого исторические силы несли в данный момент на высоту. Его предвидение и на этот раз его не обмануло...

Он был в Париже, в великолепных чертогах своего городского дворца, когда, наконец, Полиньяк и король решились и издали фактически уничтожавшие конституцию знаменитые ордонансы 25 июля 1830 года. Революция на другой день уже, 26-го, казалась несомненной; она вспыхнула 27 июля и в три дня снесла прочь престол Карла X. Личный секретарь Талейрана Кольмаш был в эти дни при князе. Ежеминутно поступали новые и новые известия о битве между революцией и войсками. Слушая грохот выстрелов и звуки набата, несшиеся со всех колоколен, Талейран сказал Кольмашу: “Послушайте, бьют в набат. Мы побеждаем!”— “Мы? Кто же, князь, побеждает?”— “Тише, ни слова больше: я вам завтра это скажу”. Этот характерный для Талейрана разговор происходил 28 июля. На другой день битва кончилась. Революция победила. Династия Бурбонов снова — и на этот раз навеки — была низвергнута с французского престола.

#### IV

Уже 29 июля, как раз когда те войска, которые еще не перешли на сторону революции, начали свое отступление из города, Талейран послал записку сестре Луи-Филиппа герцога Орлеанского с советом не терять ни минуты и немедленно встать во главе революции, свергавшей в этот момент старшую линию Бурбонов. Авторитет князя Талейрана, — как политического пророка, твердо знающего ближайшее политическое будущее, — был так колоссален, что именно после этого совета Талейрана новый кандидат в короли прибыл в

Париж (из Ренси, где он находился). Мало того: когда 31 июля, собравшись в Пале-Рояле, оппозиционные депутаты предложили Луи-Филиппу временное звание “главного наместника королевства”, но с тем, чтобы он немедленно объявил о полном своем разрыве с Карлом X и вообще со старшею линиею, то Луи-Филипп заколебался; он уже знал, что Карл X накануне, 30 июля, отрекся от престола и передал свои права маленькому своему внуку, графу Шамбору, а его, Луи-Филиппа, назначает опекуном и тоже “главным наместником”,— следовательно, ему предстояло либо стать “главным наместником” по назначению Карла X и опекуном до совершеннолетия “законного” короля, либо сразу порвать с “легитимною” монархией и принять корону из рук победившей буржуазной революции, потому что “наместничество”, принятое не от короля Карла, а от оппозиции, было прямым шагом к восшествию на престол. В нерешимости пред этим выбором, Луи-Филипп заявил депутатам, что даст им ответ, лишь посоветовавшись с Талейраном. Он спешно отрядил к старому князю генерала Себастьяни, чтобы тот спросил у Талейрана, что ему, Луи-Филиппу, делать. Князь сейчас же ответил: “принять”, то есть принять престол из рук победившей революции, отвернуться навсегда от “принципа легитимизма”, ловко пользуясь которым этот самый князь Талейран за шестнадцать лет до того посадил на престол ныне свергаемых опять при его же деятельном участии Бурбонов. Совет Талейрана покончил со всеми колебаниями: спустя девять дней, 9 августа 1830 года, Луи-Филипп Орлеанский был торжественно провозглашен королем.

В первые же дни нового царствования обнаружилось, что хотя только что победившая июльская революция была окончательной и уж самой бесспорной победой буржуазии над аристократией, но что есть на свете один аристократ, самый подлинный и чистокровный, без которого ни в каком случае торжествующая буржуазия не может обойтись: это был все тот же князь Талейран - Перигор, больной семидесятишестилетний старик на костылях, которого газеты уже неоднократно хоронили. И не только потому он вдруг снова оказался на первом плане, что с обычною своею дальновидностью успел вовремя, задолго до июля 1830 года, тесно сблизиться с будущими победителями, с Луи-Филиппом, Аделаидой, Тьером, но и потому, что работа его головы потребовалась и показалась совсем незаменимой Луи-Филиппу, как она казалась необходимой и Учредительному собранию, и Директории, и Наполеону, и Бурбонам, и снова Наполеону (предложение императора в эпоху Ста дней), и снова Бурбонам — после Ста дней. Положение Луи-Филиппа было на первых порах нелегким, в особенности же пред лицом иностранных держав. Ни для кого не было тайною, что Николай решительно стоит за интервенцию, прямо направленную к свержению “короля баррикад” Луи-Филиппа и восстановлению Бурбонов на престоле, откуда они только что были изгнаны; известно было даже, что он отправил в Берлин генерала Дибича, чтобы ускорить соглашение с Пруссией об общем вторжении во Францию. Некоторое время царь упорно носился с мыслью о “непризнании” Луи-Филиппа королем. При этих условиях Луи-Филиппу необычайно важно было заручиться дипломатическою поддержкою Англии. После июльской революции Франция оказывалась в опаснейшей для себя степени изолированную. Чтобы покончить с этою изоляцией, новый король и новое правительство обратились именно к Талейрану. С изумлением Европа прочла чрез месяц с небольшим после июльской революции, что князь Талейран назначается французским послом в Лондон. При официальной встрече его загревели салюты дуврских береговых батарей,— и Талейран не может отказать себе в удовольствии припомнить в мемуарах именно по этому поводу, как он уезжал из Англии в 1794 году гонимым, нищим, преследуемым интригами французских роялистов, высылаемым из Англии по приказу полиции...

Положение его в Лондоне вскоре стало самым блестящим, какое только можно себе вообразить. С одной стороны, консерваторы и все высшее общество видели в нем представителя самой подлинной (а в Англии эта “подлинность” крайне тогда и даже много позже ценилась) родовой аристократии; вместе с тем вспоминали, что никто больше, чем он, и красноречивее, чем он, не говорил на Венском конгрессе о

легитимизме. Вспоминали также, что он всегда, еще с 1792 года, был сторонником дружбы с Англией. Что теперь он взялся за роль посла Луи-Филиппа, который “узурпировал” при помощи революции престол у той же “легитимной” династии Бурбонов,— это обстоятельство Талейран крайне ловко повернул в свою пользу: уж если он, он сам, легитимист из легитимистов, можно сказать, выдумавший этот самый легитимизм в 1814 году, теперь от него отрекся и стал на сторону “короля баррикад”, то ведь, значит же, были крайне важные причины. Значит, не выдержало прямое и честное сердце правдивого князя Талейрана негодования своего по поводу клятвоступного поведения Карла X, нарушившего конституцию, коей присягал! Особенно огорчало князя это нарушение присяги королем Карлом. Что касается виггов, либералов, представителей английской либеральной буржуазии, которой суждено было спустя всего полтора года, в 1832 году, добиться “мирной революции”, то есть парламентской реформы, то эти люди приветствовали с восторгом Талейрана, официального посла этой самой победившей уже во Франции либеральной буржуазии и ее короля, Луи-Филиппа. Толпы народа бежали за каретою Талейрана с криками “ура” по лондонским улицам, едва лишь его замечали и узнавали. Герцог Веллингтон, глава кабинета, был очарован Талейраном, который умел, как никто, вкрадываться в душу тех людей, кто был ему необходим. Веллингтон возмущался, почему столько всегда — вот уже больше пятидесяти лет сряду — все так злобно клеветают на Талейрана, тогда как это честнейший и благороднейший человек... Талейран и не таких, как герцог Веллингтон, водил и окручивал, а Веллингтон и не таким, как Талейран, поддавался. Но и вообще с Талейраном было бы трудно в тот момент справиться: великолепно оценив положение в Англии, видя, что рабочие демонстрации, статьи и речи либеральной оппозиции, растерянность короля и правительства явно грозят Англии революционным взрывом и предвещают этот взрыв, старый князь сразу — там, где и когда это было нужно и уместно, — принял личину истинного “посла от революции”, даже стал охотно поминать свое поведение в Учредительном собрании в 1789—1791 гг., — словом, добился того, что лондонская рабочая масса при встречах во время частых тогда шествий и скоплений громовыми криками приветствовала трехцветный флажок на французской посольской карете и трехцветные кокарды на шляпах служащих посольства. Кричали: “Да здравствует французская революция!” А иногда прибавляли: “Да здравствует Талейран!” Все импонировало в Талейране, даже то, что он долго был министром Наполеона и что тот очень ценил его ум. Талейран заметил, что вообще после июльской революции очень усиливается так называемая “наполеоновская легенда” и в Европе, и во Франции, и сейчас же этим воспользовался. При столкновениях своих по службе он высокомерно ставил на вид министрам Луи-Филиппа, графу Моле и другим, что он *так* работал при императоре и что император его научил работать именно вот так, а не иначе. В Лондоне дом французского посольства сделался местом самых пышных приемов и блестящих балов; никто из всего дипломатического корпуса не пользовался в тот момент такой силой и разнохарактерной, если можно так выразиться, но огромной популярностью в самых разнообразных слоях английского общества, как князь Талейран. Как только Николай I узнал о назначении Талейрана послом в Лондон, он чрез Нессельроде дал знать во Францию, что он *признал* Луи-Филиппа. И Николай, и вся Европа увидели в этом назначении, а главное в согласии Талейрана принять это назначение, признак прочности нового французского престола.

В течение нескольких месяцев Талейрану удалось установить тесный контакт между Францией и Англией, да и вообще фактически заправлял французской внешней политикой именно он, а не парижские министры, с которыми он не всегда удаивал даже переписываться о делах, а, к величайшему их раздражению, сносился прямо с королем Луи-Филиппом или сестрой короля, Аделаидою. Они жаловались королю, но тот настолько нуждался в своем лондонском поселе, что все жалобы ни к чему не приводили.

Главное (и очень трудное) дело, которое сделал Талейран во время своего пребывания на посту посла Луи-Филиппа в Лондоне, было образование Бельгийского королевства.



Бельгийская революция, вспыхнувшая сейчас же вслед за июльской и приведшая к фактическому отпадению Бельгии от Голландии, которой бельгийцы были подчинены помимо своей воли со времени Венского конгресса, являлась причиной жестокого беспокойства для Франции. Николай I, Австрия, Пруссия желали интервенции с целью возвращения Бельгии под власть голландского короля. В самой Франции боролись два течения: одни желали присоединения Бельгии к Франции, другие — установления новой самостоятельной державы — Бельгийского королевства. Польское восстание, вспыхнувшее в ноябре 1830 года, надолго лишило Николая свободы рук в бельгийском вопросе, и Талейран очень искусно этим воспользовался. Присоединение Бельгии к Франции он отверг, правда, после некоторых колебаний (о которых он в мемуарах своих умалчивает). Он знал, что Англия непременно воспротивится такому решению вопроса. Он выдвинул и стал отстаивать образование самостоятельного Бельгийского государства. Это ему и удалось после долгих и трудных усилий - на Лондонской конференции европейских держав, созванной тоже по его настоянию. На него жестоко нападали французские патриоты (а таковыми в особенности были тогда республиканцы) за то, что он не желает присоединять Бельгию к Франции, тогда как сами бельгийцы будто бы этого хотят. “Воплощенная ложь, живое клятвопреступление, нераскаянный Иуда, он продал всех — бога, республику, императора, королей”, — так воспевали его в стихах и в прозе французские оппозиционные органы в 1831—1832 гг., когда проходило бельгийское дело. Печатались и распространялись в Париже бесчисленные карикатуры на него (в эти же годы и тоже по поводу Бельгии), причем под его изображениями помещались такие “объявления”: “Талейран, по прозвищу подсолнечник (всегда поворачивается к солнцу), фабрикует намордники, цепи и цензуры, составляет остроты, эпиграммы, программы и эпитафии, продает и покупает короны, как новые, так и по случаю, делает конституции, хартии, реставрации, имеет на складе кокарды, знамена и ленты всех цветов. Согласен также на выезд за границу”. Талейран окончательно укрепился на том, что лишь в союзе с Англией можно разрешить бельгийский вопрос так, чтобы Бельгия была освобождена от Голландии, а союз с Англией в этом деле был возможен лишь при условии, чтобы Франция не покушалась на самостоятельность бельгийцев. Одного Талейран ни за что не хотел допускать: это возвращение Бельгии под голландское владычество. Наконец ему удалось, несмотря на упорное сопротивление России, Австрии и Пруссии, достигнуть признания самостоятельности Бельгии. И сейчас же он потребовал от нового бельгийского правительства уничтожения всех крепостей, построенных на французской границе голландским правительством после Венского конгресса, для чего великие державы дали Голландии в разное время на нужные расходы сорок пять миллионов франков. Эта цепь крепостей должна была служить обеспечением от Франции. Теперь по требованию Талейрана бельгийское правительство срыло укрепления.

Этот блистательный успех талейрановской дипломатии настолько возвысил его, что шла речь о назначении его первым министром (после смерти Казимира Перье в мае 1832 года), но старый князь решил, что в Лондоне ему будет спокойнее. В 1832 году ему пришлось провести новое дело: тайно подстрекаемый Николаем I, голландский король решил силою сопротивляться постановлению держав и не уступать Антверпен, еще бывший в его власти. Тогда Талейран вошел в особое соглашение с Пальмерстоном, и французская армия, войдя в Бельгию, осадила Антверпен с суши, а английский флот блокировал его с моря. Конечно, Антверпен очень скоро сдался. Талейран этим нанес пощечину всему тому, что еще оставалось от “Священного союза”; три абсолютные монархии, несмотря на все угрозы свои, не посмели двинуть ни одного полка на помощь голландскому королю. Талейран упорно настаивал пред королем Луи-Филиппом и всеми министерствами, менявшимися за время его лондонского посольства, что спасение Франции и особенно династии Луи-Филиппа именно в теснейшем союзе с Англией. Ему удалось вскоре (в апреле 1834 года) подписать даже конвенцию с Англией, Испанией и Португалией по ряду крайне важных вопросов. Дипломаты даже враждебных держав

изумлялись энергии и дарованиям восьмидесятилетнего хилого старика. Дарья Христофоровна Ливен, жена русского посла князя Ливена, бывшая значительно умнее своего супруга и, вследствие этой своей особенности, лично, без посредства мужа обязанная систематически доводить до сведения Николая обо всем, что творится в Лондоне, писала своему родному брату генералу Бенкендорфу, шефу жандармов, о князе Талейране по поводу его блистательных дипломатических достижений в это время: “Вы не поверите, сколько добрых и здравых доктрин у этого последователя всех форм правления, у этого олицетворения всех пороков. Это любопытное создание; многому можно научиться у его опытности, многое получить от его ума; в восемьдесят лет этот ум совсем свеж... Но это — большой мошенник,— *c'est un grand coquin*”, настаивает княгиня Ливен.

Старик слабел физически. В конце ноября 1834 года он упросил Луи-Филиппа дать ему отставку. Князь Талейран, по его собственному выражению, за время пребывания на посту посла в Лондоне успел “дать июльской революции право гражданства в Европе”, укрепил престол Луи-Филиппа, создал самостоятельное Бельгийское королевство. В семьдесят шесть лет он начал этот последний перегон своего долгого и замечательного пути и в восемьдесят лет окончил его. Он удалился в свой великолепный замок Валенсэ, превосходивший размерами и неслыханной роскошью дворцы многих монархов в Европе. И здесь, спокойно, без излишнего любопытства и бесполезных волнений, как и все, что он делал в жизни, он стал ждать прихода той непреодолимой силы, для борьбы против которой даже и его хитрости было недостаточно (по злорадному предвкушению одного из враждебных ему публицистов). “Я ни счастлив, ни несчастлив,— писал он в эти последние годы своей жизни...— Я понемногу слабею и... хорошо знаю, как все это может кончиться. Я этим не огорчаюсь и не боюсь этого. Мое дело кончено. Я насадил деревья, я выстроил дом, я наделал много и других еще глупостей. Не время ли кончить?” Жена его умерла. У него постоянно жила его племянница, герцогиня Дино, самый близкий и интимный для него человек. Детей “законных” за ним не числилось. Сын его от госпожи Делакура, знаменитый уже с двадцатых годов, гениальный французский художник Евгений Делакура, мало общался с отцом. Но Талейран и сам искал в эти последние свои времена полного уединения и покоя. Его корыстолюбие уже давным-давно было удовлетворено, честолюбие его не мучило. Он уже и в последнюю свою службу в Лондоне в 1830—1834 гг. как будто перестал брать взятки; теперь, после окончательного ухода от дел, он прекратил даже игру на бирже. В газетах, журналах, отдельных памфлетах, иллюстрациях постоянно поминалось его имя, оценивалась его долгая деятельность, отдельные фазисы этого изумительного существования. Но князь не читал большинства из этих бесчисленных статей,— а когда и читал, никогда на них не возражал и вообще никак не реагировал. Обошел он молчанием и ту знаменитую характеристику свою, которую прочел во второй октябрьской книжке “*Revue des Deux Mondes*” за 1834 год; эта статья принадлежала перу уже входившей тогда в славу Жорж Санд и называлась “Князь”. Фамилия не была названа, но изложение было более чем прозрачным. Курьезно, что самая статья была вызвана посещением замка Валенсэ, куда Жорж Санд и Альфред Мюссэ явились для осмотра его достопримечательностей (Талейран разрешая путешественникам осматривать его прославленные по всему свету роскошные палаты, хоть и не допускал никого в свои жилые комнаты). На Жорж Санд пахнуло в этих великолепных залах князя Талейрана такими трагическими воспоминаниями, что она не воздержалась от самой резкой филиппики: “Никогда это сердце не испытывало жара благородного деяния, никогда честная мысль не проходила чрез эту трудолюбивую голову; этот человек — исключение в природе, он — такая редкостная чудовищность, что род человеческий, презирая его, все-таки созерцал его с глупым восхищением”. Ей ненавистна даже его наружность, презрительное и вызывающее выражение его лица, она все думает и думает о его прошлом и о том, почему все властители Франции в нем нуждались: “Какие кровавые войны, какие общественные бедствия, какие скандальные грабительства он предупредил?”

Значит, так уж он был необходим, этот сластолюбивый лицемер, если все наши монархи, от гордого завоевателя до ограниченного ханжи, навязывали нам позор и стыд его возвышения”. Талейран привык к такому тону; о нем редко писали иначе при его жизни, в те периоды, конечно, когда французская пресса бывала сколько-нибудь свободна. И всегда наблюдалась раздвоенность в настроении пишущих: полнейшее, безусловное, безоговорочное презрение к характеру — и столь же безусловное преклонение перед колоссальными умственными средствами. Талейран по-прежнему очень философски относился ко всему, что писалось о нем, и даже портретная живопись Жорж Санд совсем ненадолго и очень немного его огорчила. “Знаете ли вы, дорогой мой,— сказал он (за два года до смерти) Тьеру,— что я всегда был человеком, наиболее в моральном отношении дискредитированным, какой только существовал в Европе за последние сорок лет, и что, однако, я всегда был либо всемогущим у власти, либо накануне возвращения к власти”. В своем предсмертном политическом завещании он прибавлял: “Я ничуть не упрекаю себя в том, что служил всем режимам, от Директории до времени, когда я пишу”, потому что “я остановился на идее служить Франции, как Франции, в каком бы положении она ни была”. Конечно, его противники и позднейшие критики заявляли, что подобными фразами нельзя было бы успокоить совесть, если бы она у него была в самом деле в наличности. Но слова, сказанные Тьеру, несомненно выражали искренно философию князя Талейрана. И он, с самого начала своей карьеры поставивший ставку на буржуазию и *против* того класса, к которому по рождению, по воспитанию, по вкусам, по связям, по манерам сам принадлежал, всегда выигрывал, потому что в этот исторический период буржуазия всегда побеждала, и ничто ей не могло противиться,— и всегда он был нужен, потому что и у буржуазии не было в распоряжении много таких голов, как сидевшая на плечах князя Талейрана. А что его при этом будут ругать,— это он знал наперед, и знал, что сколько бы ни ругали, а без него не обойдутся. Знал (и предсказал) политическое могущество Тьера, в те времена молодого либерального министра, но уже имевшего за собою при всем своем либерализме зверское усмирение восстания республиканцев в 1834 году. Талейран знал, что буржуазия еще очень долго будет прочно “сидеть в седле”, в том седле, в котором он сам ей помогал усаживаться, и еще очень долго будет в состоянии роскошно награждать своих слуг. А Тьер уже резней на улице Транснонэн во время усмирения восстания в 1834 году явно обещал в будущем, в случае надобности, превратить весь Париж как бы в одну сплошную улицу Транснонэн (что в самом деле и исполнил при подавлении Коммуны в мае 1871 года). Следовательно, ему могло предстоять блестящее *будущее*, не хуже талейрановского *прошлого*: хозяином и для престарелого аристократа и для молодого выходца из мелкой марсельской буржуазии являлся один и тот же общественный класс. Талейран служил этому классу в его борьбе против дворянства. Тьер служил этому же классу в его борьбе против пролетариата. И Талейран, преуспевший карьерист, приветствовал в лице Тьера карьериста, которому суждено преуспеть, потому что Тьер тоже поставил жизненную свою ставку на “хорошую лошадь”. Но если говорить о сравнении этих двух так несхожих во многом людей, то нужно признать, что для Тьера дело буржуазии было делом не только карьерным, но, так сказать, кровным, классовое чувство было сильно в нем, потому что он был сам буржуа с ног до головы. А Талейран только нанялся, так сказать, к буржуазии, был как бы кондотьером, отдавшим за плату свои силы тому классу, который, по его предвидению, должен был скорее победить и щедрее заплатить; сам же он с ног до головы, по привычкам, вкусам, мироощущению, оставался всегда, до могилы, старорежимным вельможей, и как в шекспировском короле Лире “каждый вершок был король”, так в князе Талейране каждый вершок был аристократ. Для Тьера, как и для Лафитта, как и для Гизо и для всего их поколения, буржуазия была венцом мироздания и цветом человечества, а буржуазная июльская революция была окончательной и восхитительной, идеальной развязкою, точкою, которую всеблагое провидение поставило в книге судеб. Для Талейрана же буржуазия была только тем классом, для которого как раз в тот момент, когда вот он, Талейран,

живет и действует, условия оказались очень благоприятны, почему и следует именно работать и идти с этим классом, а не против него. А революция 1830 года, с точки зрения политической философии старого дипломата, была лишь одним из эпизодов французской истории, за которым в свое время последуют другие эпизоды, очень может быть совсем противоположного характера по своим результатам. Но об этих далеких будущих событиях Талейран не любил рассуждать, да он и не забывал, что ему перевалило за восемьдесят и что уж во всяком случае для него-то лично июльская революция, конечно, будет последнею, которую ему суждено было увидеть. Весною 1838 года болезненное состояние восьмидесятичетырехлетнего старика резко ухудшилось. Он пред самой смертью по настоянию своей племянницы примирился с католической церковью и получил “отпущение грехов”, чем, в глазах верующих, должен был как бы спасти свою многогрешную душу от совсем уже готовых ухватить ее когтей дьявола. “Князь Талейран всю свою жизнь обманывал бога, а пред самой смертью вдруг обманул сатану”, — таково было чье-то широко распространившееся в те дни суждение об этом неожиданном, курьезном “примирении” абсолютно ни во что не веровавшего старого вольтерьянца и насмешливого циника, отлученного некогда от церкви бывшего епископа отенского, с римским папою и католическою религиєю.

17 мая 1838 года король Луи-Филипп со своею сестрой прибыл проститься с умирающим, который поражал всех совершеннейшим своим спокойствием и успел даже отпустить Луи-Филиппу коснеющим языком какой-то изящный царедворческий комплимент.

Спустя несколько часов после королевского визита князь Талейран скончался.

Е. ТАРЛЕ

## ТАЛЕЙРАН “МЕМУАРЫ”

Я не знаю, какое заглавие дать этому труду. Это не литературное произведение: оно полно повторений. Я не могу назвать его “Мои воспоминания”, так как я старался, чтобы моя жизнь и отношения с людьми отразились в нем как можно меньше. Если бы я озаглавил эти тома “Мой взгляд на дела моего времени”, то такое название было бы в каком-то отношении правильно, но в то же время оно было бы и слишком определенно для работы человека, который в своей жизни так много сомневался. Философское название было бы не исчерпывающим или слишком многообещающим. Поэтому я начинаю без заглавия и также без посвящения; я признаю лишь за герцогиней Дино обязанность меня защищать.

### *Первая глава (1754—1791 годы)*

Я родился в 1754 году; мои отец и мать не имели большого состояния, но они занимали такое положение при дворе, которое при его использовании могло открыть им и их детям все пути.

Издавна французские знатные семьи если и не положительно пренебрегали тем родом службы, который привязывает к особе государя, то во всяком случае мало добивались его. Они довольствовались тем, что находились или считали, что находятся в первых рядах нации. Поэтому потомки древних знатных вассалов короны имели меньше возможности стать известными ей, чем потомки некоторых баронов древнего герцогства Франции, естественно занявших более высокое положение при государе.

Гордость, побуждавшая большинство семейств высокого происхождения держаться в стороне, делала их тем самым менее приятными королю.

Для усиления королевской власти кардинал Ришелье призвал к особе государя лиц, стоявших во главе знатных родов.

Они обосновались при дворе, отреклись от своей независимости и пытались восполнить свое позднее появление более глубокой преданностью.

Слава Людовика XIV содействовала тому, что все помыслы замкнулись в пределах Версальского дворца.

Регентство(1) представляло собой род междуцарствия, спокойствие которого не было нарушено расстройством финансов и порчей нравов, строго сдерживаемых в конце предшествующего царствования.

Уважение к Людовику XV было тогда во всей своей силе; первые лица в государстве вкладывали еще всю свою гордость в послушание; они не представляли себе иной власти, иного блеска, чем исходивших от короля.

Королеву почитали, но в ее добродетелях было что-то печальное, что мешало увлекаться ею. Ей не хватало той внешней прелести, благодаря которой красота Людовика XV составляла гордость нации. Отсюда проистекала та снисходительная справедливость, с которой отдавали должное королеве, жалея ее и вместе с тем прощая королю его склонность к г-же Помпадур. Г-н Пентьевр, супруга маршала Дюра, г-жа Марсан, г-жа Люйнь, г-жа Перигор, герцогиня Флери, г-н Сурш, г-жа Виллар, г-н Таванн, г-жа д'Эстиссак, конечно, охали, но опасались еще в то время разглашать своим осуждением семейный секрет, известный каждому, которого никто не смел отрицать, но влияние которого надеялись ослабить замалчиванием и таким поведением, как будто он никому неизвестен. Все названные мною лица считали, что если бы они слишком явно замечали слабости короля, то это свидетельствовало бы о недостатке у них чувства чести.

Моя родня была связана разными узами с королевской семьей. Моя бабушка была статс-дамой королевы; король оказывал ей особое уважение; она всегда жила в Версале и не имела дома в Париже.

У нее было пять детей. Их первоначальное воспитание, как и всех лиц, непосредственно связанных со двором, было довольно небрежно; во всяком случае уделялось мало внимания внушению им важных понятий. Последующее воспитание должно было состоять лишь в ознакомлении с обычаями света. Внешние преимущества достаточно привлекали в их пользу.

Моя бабушка имела благородное, учтивое и сдержанное обхождение. Ее благочестие вызывало к ней уважение, а многочисленная семья облегчала ей частые обращения с просьбой о продвижении ее детей.

Мой отец держался таких же правил, как его мать, в воспитании детей в семье, обосновавшейся при дворе, поэтому мое воспитание было в некоторой степени предоставлено случаю; это происходило не от равнодушия, но от того направления ума, которое заставляет думать, что прежде всего надо *поступать и быть как все*.

Слишком большие заботы показались бы педантизмом; слишком большая нежность казалась бы чем-то новым и потому забавным. В ту эпоху дети были наследниками *имени и герба*.

Тогда считали, что достаточно способствовать их продвижению, получению должностей и разных имущественных прав, заняться устройством их браков и увеличением их состояния. Родительские заботы еще не вошли тогда в нравы; во времена моего детства был совсем иной обычай; поэтому я был на несколько лет оставлен в одном парижском предместье и в четыре года был все еще там. В этом возрасте я упал с комода у женщины, на попечении которой меня оставили. Я повредил себе ногу, но несколько месяцев она никому об этом не говорила, это заметили лишь когда приехали забрать меня для отправки в Париж к госпоже Шале, моей бабушке, которая захотела взять меня к себе. Хотя госпожа Шале была моя прабабка, но я всегда называл ее бабушкой, вероятно потому, что это обращение сближало меня с ней. Повреждение моей ноги было уже слишком застарелым, и потому меня нельзя было излечить; даже и другая нога, которая в начале моей болезни должна была выдерживать всю тяжесть тела, ослабела, я остался хромым.

Случай этот оказал влияние на всю мою жизнь. Благодаря ему мои родители, считая, что я не могу сделаться военным, без ущерба для своей карьеры, решили подготовить меня к другой деятельности. Это казалось им более благоприятным для преуспевания рода. Дело в том, что в знатных семьях любили гораздо больше *род*, чем отдельных лиц, особенно молодых, которые еще были неизвестны.

Мне неприятно останавливаться на этой мысли... я оставляю ее...

Меня посадили под опекой превосходной женщины, по имени мадемуазель Шарлемань, в почтовый дилижанс, направлявшийся в Бордо, которому потребовалось семнадцать дней для доставки меня в Шале.

Госпожа Шале была очень благородной особой; ее ум, язык, изысканность манер, звук голоса придавали ей большое обаяние. Она сохранила то, что еще называлось духом Мортемаров; это было имя ее семьи.

Я ей понравился; у нее я узнал ту ласку, которой я еще не испытал. Она была первым человеком в моей семье, который проявил ко мне чувство, и она же была первой, давшей мне счастье любить. Да воздастся ей за это! Да, я ее любил! Память ее мне очень дорога. Сколько раз в своей жизни я сожалел о ней! Сколько раз я с горечью чувствовал цену искренней любви, находимой в собственной семье! Если такая любовь — вблизи вас, то это большое утешение в горестях жизни. Если она вдалеке, то это отдохновение уму и сердцу и прибежище для мысли.

Время, проведенное мною в Шале, оставило на мне глубокий след. Первые предметы, воздействующие на взор и сердце ребенка, часто определяют его склонности и придают характеру то направление, которому мы следуем в течение всей нашей жизни.

В отдаленных от столицы провинциях особая забота о достоинстве регулировала отношения знатных лиц древних родов, еще обитавших в своих замках, с менее знатным дворянством и с другим населением их земель. Первое лицо в провинции считало бы для себя унижением не быть вежливым и любезным. Его благородные соседи считали бы недостатком уважения к самим себе отсутствие почтения к древним именам и уважения к ним, которое, выражаясь со свободной благопристойностью, казалось лишь данью сердца. Крестьяне встречались со своим господином лишь для получения от него помощи и нескольких ободряющих и утешительных слов; влияние этого чувствовалось во всей округе, так как дворяне стремились подражать знатным особам своей провинции. Нравы знати в Перигоре походили на обычаи подобных старых замков; в них было что-то значительное и прочное; света проникало мало, но он был мягок. Люди приближались к более просвещенным и цивилизованным нравам с полезной медлительностью. Тирании, свойственной мелким властителям, больше не существовало; она была уничтожена рыцарским духом и сопровождавшим его на юге чувством учтивости, но особенно — усилением королевской власти, выросшей вследствие освобождения народа.

Некоторые старцы, придворная карьера которых кончилась, любили удаляться в провинцию, видевшую величие их семейств. Вернувшись в свои поместья, они пользовались там авторитетом, основанным на привязанности к ним населения; традиции провинции и воспоминания об их предках украшали и увеличивали этот авторитет. Из такого поклонения им проистекало их особое влияние на тех, кто был к ним близок. Даже сама революция не смогла уничтожить обаяние старинных резиденций. Они остались, как покинутые древние храмы, оставленные верующими, но все еще почитаемые по традиции.

Шале представлял собой один из таких замков той незабвенной и дорогой эпохи.

Несколько дворян древнего происхождения создавали моей бабушке своего рода двор, который не имел ничего общего с вассальной зависимостью XIII века, но где почтительные нравы сочетались с самыми возвышенными чувствами. Господа де Бенак, де Вертейль, д'Абзак, де Гурвиль, де Шоврон, де Шамильяр сопровождали ее каждое воскресенье к приходской обедне, причем все они исполняли при ней разные функции, облагораживаемые изысканной вежливостью. Близ ее скамеечки для коленопреклонения стоял предназначенный для меня маленький стул.

По возвращении от обедни все собирались в замке в большой комнате, которая называлась аптекой. Там были расставлены на полках содержавшиеся в порядке большие банки с разными мазями, рецепты которых всегда имелись в замке; они ежегодно тщательно изготовлялись хирургом и деревенским священником. Там имелось также несколько бутылок с эликсирами и сиропами и коробки с другими лекарствами. В шкапах находился значительный запас корпии и большое число свертков очень тонких бинтов разного размера из старого полотна. В комнате, которая предшествовала аптеке, собирались все больные, обращавшиеся за помощью. Мы проходили, приветствуя их. Мадемуазель Сонье, самая старая из горничных моей бабушки, вводила их по очереди; бабушка сидела в бархатном кресле, перед ней стоял черный столик старого лака; она носила шелковое платье, отделанное кружевами; на корсаже у нее был ряд бантиков и на рукавах банты, соответствующие сезону. Широкие рукавчики состояли из трех рядов кружева; меховая пелеринка, накладка с расходящимися концами, черный чепец, завязывавшийся под подбородком, составляли ее воскресный туалет, более изысканный, чем в остальные дни недели.

Бенак, находившийся через свою прабабку в некотором родстве с нами, нес ее сумку из красного бархата, обшитую золотым позументом, с молитвенниками, которые она брала к обедне.

Я становился по праву у ее кресла. Две сестры милосердия расспрашивали каждого больного об его немощи или ране. Они называли средство, которое могло бы излечить или облегчить страдание. Бабушка указывала место, где стояло лекарство; один из дворян, сопровождавших ее к обедне, шел за ним, другой приносил ящик с полотняными бинтами; я брал кусок, а бабушка сама отрезала требовавшиеся бинты и компрессы. Больной уносил с собою траву для отвара, вино, лекарство и всегда какое-нибудь утешение, причем более всего его трогали добрые, приветливые слова дамы, готовой прийти на помощь его страданиям.

Более полно и научно составленные аптечки, даже при бесплатном пользовании ими по совету известных докторов, далеко не сумели бы собрать такого количества бедных людей и принести им столько добра. Им не хватало бы важных способов излечения народа: расположения, уважения, веры и признательности.

Человек состоит из души и тела, но первая управляет вторым. Раненые, ранам которых дано утешение, больные, которым подана надежда, они все находятся на пути к выздоровлению: их кровообращение улучшается, жизненные соки очищаются, нервы оживляются, сон восстанавливается и тело укрепляется. Ничто не оказывает такого действия, как доверие, а оно проявляется во всей своей полноте, когда служит ответом на заботы знатной дамы, на которой сосредоточиваются все представления о могуществе и защите.

Я, вероятно, слишком долго останавливаюсь на этих подробностях, но я отнюдь не пишу книгу, я лишь собираю свои впечатления; воспоминания о том, что я видел, что слышал в тот первый период своей жизни, имеют для меня величайшую сладость. “Ваше имя,— повторяли мне каждый день,— всегда почиталось в нашей стране”. “Наша семья,— говорили мне с чувством,— была всегда привязана к кому-нибудь из вашего рода... Эту землю мы получили от вашего дедушки... это он построил нашу церковь... мать моя получила свой крест от госпожи... добрые деревья не вырождаются! Вы также будете добры, не правда ли?..” Вероятно, этим первым годам я обязан общим характером своего поведения. Если я проявлял чувства сердечные и даже нежные, без излишней фамильярности, если в разных обстоятельствах я сохранял некоторую возвышенность души без всякой надменности, если я люблю, если я уважаю пожилых людей, то именно в Шале близ своей бабушки я почерпнул все те добрые чувства, которыми мои родственники были окружены в этой провинции и которые они с радостью принимали. Ведь существует наследование чувств, возрастающих от поколения к поколению. Недавно созданные богатства, новые имена еще долго не сумеют дать своим обладателям этой отрады (*\* Статья конституционной хартии (2), гласящая, что древнее и новое дворянство сохраняется, имеет не больше смысла, чем предложение Матье Монморанси Учредительному собранию об уничтожении дворянства. При нашей системе управления вся политически влиятельная аристократия входит в палату пэров; она находится там в силу личных прав; вне ее имеются лишь воспоминания, не связанные ни с какими правами, к которым нельзя ничего прибавить и от которых нельзя ничего отнять. Примечание Талейрана.*)

Лучшие из них слишком увлекаются протезированием. Пусть супруга маршала Лефевра скажет какой-нибудь бедной и вернувшейся из эмиграции дворянской семье из Эльзаса: “Что сделаем мы с нашим старшим сыном?.. В какой полк поместим его брата?.. Имеется ли в виду бенефиции для аббата?.. Когда выдадим мы замуж Генриэтту?.. Я знаю капитул, в который следовало бы поместить младшую...” Если бы она и захотела быть доброй, она будет лишь смешной. Внутреннее чувство заставит оттолкнуть ее доброжелательство, а гордость бедных получит удовлетворение от этих отказов. Но я слишком забываю, что мне лишь восемь лет, я еще не могу наблюдать современные нравы, убеждающие в том, что это наследие чувств должно с каждым днем уменьшаться.

В Шале я научился всему, что знали там люди хорошего воспитания; это сводилось к уменью читать, писать и немного говорить на перигорском диалекте. Я достиг этого, когда мне пришлось уже снова отправляться в Париж. Я покидал свою бабушку со слезами, на которые она отвечала мне по своей любви слезами же. Почтовый дилижанс,



ходивший на Бордо, отвез меня в те же семнадцать дней, которые потребовались для моей доставки.

На семнадцатый день, в одиннадцать часов утра, я прибыл в Париж. Старый камердинер моих родителей ожидал меня на улице Ада в почтовой конторе. Он проводил меня прямо в коллеж Гаркура(3). В полдень я сидел за столом в трапезной рядом со славным ребенком моего же возраста, который делил со мной и еще делит все заботы, все радости, все планы, волновавшие мою душу на протяжении всей жизни. Это был Шуазель, известный со времени своей женитьбы под именем Шуазель-Гуфье. Я был поражен тем, что меня так внезапно отдали в коллеж, не отвезя предварительно к отцу и к матери. Мне было восемь лет, но отцовский глаз еще ни разу не останавливался на мне. Мне сказали, — и я этому поверил, — что какие-то повелительные обстоятельства вызвали такое поспешное решение: я последовал своей дорогой.

Меня отвели в помещение одного из моих кузенов (ла Суза) и поручили наставнику, которому в течение уже нескольких лет было вручено его воспитание. Если я сделал некоторые успехи, то их нельзя приписать ни примеру моего кузена, ни талантам моего наставника.

Раз в неделю аббат Гарди сопровождал меня к моим родителям, где я обедал. По выходе из-за стола мы возвращались в коллеж, выслушивая регулярно одни и те же слова: “Будьте послушны, мой сын, чтобы господин аббат был вами доволен”. Я занимался сносно; мои товарищи меня любили, и я довольно бодро привыкал к своему положению. Эта жизнь продолжалась уже три года, когда я заболел оспой. Дети, болевшие этой заразной болезнью, должны были покинуть коллеж. Наставник известил мою семью, и за мной прислали носилки для отправки меня на улицу св. Якова к госпоже Лерон, сиделке, нанимаемой доктором коллежа Легок. В то время лиц, больных оспой, еще охраняли от света двойными шторами, законопачивали окна, разжигали большой огонь и вызывали жар очень сильными настоями. Несмотря на такой возбуждающий режим, убивший много жизней, я выздоровел и даже не сделался рыбым.

Мне было двенадцать лет; во время выздоровления я задумался над своим положением. Малый интерес, проявленный к моей болезни, поступление в коллеж без свидания с родителями и некоторые другие печальные воспоминания оскорбляли мое сердце. Я чувствовал себя одиноким, без поддержки, всегда предоставленным самому себе; я не жалею об этом, так как считаю, что самоуглубление ускорило развитие моих способностей к размышлению. Огорчениям своего раннего детства я обязан тем, что стал их рано развивать и усвоил привычку размышлять более глубоко, чем если бы был вполне счастлив. Возможно также, что вследствие этого я научился довольно равнодушно переносить тяжелые времена, сосредоточиваясь на своих внутренних силах, в обладании которыми я был уверен.

Я испытываю своего рода гордость, когда переносю мыслью к этим первым временам своей жизни.

Впоследствии я понял, что родители мои предназначили меня для такой деятельности, к которой я не проявлял никакого расположения, ради того, что они считали интересами семьи, и потому опасались, что у них не хватит мужества для осуществления этого плана, если они будут слишком часто видеться со мной. Это опасение доказывает нежность, за которую я им признателен.

Аббат Гарди оставался наставником ла Суза до достижения им шестнадцатилетнего возраста и затем, окончив его воспитание, удалился. В течение нескольких месяцев моим воспитателем был некий Юлло, но он сошел с ума. Тогда меня поручили Ланглуа, который оставался со мной до моего выхода из коллежа и затем воспитывал моих братьев. Это был весьма порядочный человек, который знал хорошо лишь французскую историю и несколько больше, чем следовало, привязался к чтению придворного альманаха. В такого рода книгах он почерпнул, что должность придворного, *носящего за королем его плащ*, дает дворянство и что на нее назначают по представлению обер-гофмаршала. Обер-

гофмаршал был моим дядей; мы добились назначения, которого Ланглуа так желал. В 1790 году он заказал себе форму и эмигрировал для того, чтобы придать благородный оттенок своему дворянству. Пospешив вернуться для пользования им, он был во время революционных смут посажен в тюрьму; вследствие этого, получив двойное отличие тюрьмы и эмиграции, он теперь мирно проводит свои дни в отличном обществе Сен-Жерменского предместья. Отсюда можно судить, что если мне и случалось поддаваться искушению и принимать участие в важных государственных делах, то не Ланглуа внушил мне подобное желание.

Я мог бы оказать некоторые успехи в учении; я думаю так на основании имевшихся у меня задатков и знаю, что большинство лиц, воспитывавшихся вместе со мной, сохранило приблизительно такое же мнение. Но недостаток одобрения и боязнь придать моей молодости слишком много блеска сделали первые годы моей жизни довольно унылыми. Когда учебные занятия закончились, то полное молчание отца о моей будущности, в сочетании с некоторыми толками вокруг меня, послужило мне первым предупреждением.

Для того чтобы дать мне благоприятное и даже привлекательное представление о деятельности, к которой меня предназначали, меня отправили в Реймс, главное архиепископство Франции, в котором коадьютором(4) был один из моих дядей. Так как моей семье было неудобно, чтобы я вступил в здание архиепископства из почтового дилижанса, то это путешествие было обставлено более удобно, чем поездка из Шале. Почтовая карета забрала меня из коллежа Гаркура и доставила через два дня в Реймс. Перед своим отъездом я не был у родителей, и я укажу здесь раз навсегда и надеюсь больше об этом никогда не вспоминать, что я являюсь, может быть, единственным человеком знатного происхождения, принадлежащим к многочисленной и почитаемой семье, который за всю свою жизнь не испытал даже в течение одной недели сладостного чувства пребывания под родительским кровом. Благодаря своему настроению я считал за изгнание то, что делалось для ободрения меня.

Большая роскошь, почтение, даже удовольствия, окружавшие архиепископа реймского и его коадьютора, несколько меня не тронули. Жизнь, сводившаяся к одним внешним формам, казалась мне невыносимой. В пятнадцать лет, когда все движения души еще искренни, очень трудно понять, что осмотрительность, то есть искусство обнаруживать лишь часть своей жизни, своих мыслей, чувств и впечатлений, составляет главное достоинство. Я находил, что весь блеск кардинала ла Рош-Аймона не стоит полного отказа от искренности, требовавшегося от меня.

Все заботы, которыми меня окружали, склонялись к внедрению в мое сознание мысли, что увечье ноги, препятствуя службе в армии, вынуждает меня вступить в духовное звание, так как для человека с моим именем не существует другого призвания. Но что делать с известной живостью воображения и ума, которую во мне признавали? Следовало пытаться соблазнить меня приманкой дел и картиной влияния, которые они дают. Стремилась овладеть теми наклонностями, которые могли у меня быть. Для этого мне давали читать то воспоминания кардинала Ретца, то жизнеописания кардинала Ришелье, кардинала Хименеса, или Гинкмара, некогда архиепископа реймского. Каким бы путем я ни пошел, мои родители одобрили бы его; важно было только, чтобы я переступил через порог.

Это постоянно оказываемое на меня воздействие не приводило меня к окончательному решению, но сбивало с толку. Молодость — тот период жизни, когда человек всего честнее. Я еще не понимал, что значит принять одно звание с намерением следовать другому, взять на себя роль постоянного самоотвержения для того, чтобы более уверенно преследовать честолюбивую карьеру, посещать семинарию для того, чтобы сделаться министром финансов. Надо было очень хорошо знать мир, в который я вступал, и время, в которое я жил, чтобы находить все это простым.

Но у меня не было никаких средств защиты, я был одинок, все окружавшие меня произносили готовые слова и не давали мне ускользнуть от плана, принятого для меня

родителями.

После года пребывания в Реймсе я увидел, что мне не избежать своей судьбы, и мой усталый дух смирился; я позволил отвести себя в семинарию св. Сульпиция(5). Размышляя больше, чем это свойственно моему тогдашнему возрасту, испытывая бессильное возмущение и негодование, которое я не смел и не должен был высказывать, я был в семинарии исполнен такой печали, подобную которой трудно встретить в шестнадцать лет. Я ни с кем не сблизился и ничего не делал без недовольства. Я был настроен против начальства, против родителей, против учреждений и особенно против власти общественных приличий, которым я был вынужден подчиниться. Я провел три года в семинарии св. Сульпиция, почти ни с кем не разговаривая; меня считали высокомерным и часто этим попрекали. Мне казалось, что это свидетельствует о таком незнании меня, что я не удостоивал ответом, и тогда находили, что я невыносимо горд. Но, о боже, я не был ни высокомерным, ни надменным: я был лишь добрым юношей, чрезвычайно несчастным и внутренне негодующим. *Считают*, говорил я себе часто, *что я ни к чему не годен... ни к чему...* После нескольких минут придавленности меня оживляло мощное чувство, и я находил, *что я пригоден кое для чего и даже для кой-каких добрых и благородных дел.* Сколько надежд, тысячу раз отвергнутых, представлялось тогда моему воображению, и всегда с притягательностью, которой я не мог объяснить!

Библиотека семинарии св. Сульпиция, обогащенная кардиналом Флери, была обширна и хорошо составлена. Я проводил там дни за чтением великих историков, жизнеописаний государственных людей, моралистов, некоторых поэтов. Я проглатывал путешествия. Новые земли, опасности, бури, изображение какого-нибудь бедствия, описания стран со следами великих перемен, иногда переворотов — все это обладало для меня большой привлекательностью. Порой при размышлении над этими большими переменами, этими великими потрясениями, описание которых наполняет произведения современных мореплавателей, мне казалось, что мое положение не столь непоправимо. Хорошая библиотека оказывает поддержку при всяком расположении духа.

С этого момента начался третий, притом действительно полезный для меня период воспитания. Так как я был очень одинок, очень молчалив, всегда с глазу на глаз с автором той книги, которую я держал в руках, и так как я мог судить о нем лишь силами собственного рассудка, то почти всегда при расхождении наших взглядов я считал, что прав я. Вследствие этого мои взгляды были действительно моими: книги меня просветили, но не поработили. Я отнюдь не сужу, хорошо ли это или плохо, но только говорю, каким я был. Такое воспитание, взятое само по себе, должно обладать некоторыми достоинствами. Когда несправедливость, развивая наши способности, не возбуждает в нас чрезмерной горечи, мы становимся более склонны к глубоким мыслям и возвышенным чувствам и не смущаемся жизненных трудностей. Беспокойная и неопределенная надежда, подобная всем страстям молодости, одушевляла мой дух. Он никогда не знал покоя.

Случай привел меня к встрече, оказавшей влияние на расположение духа, в котором я тогда находился. Я вспоминаю о ней с удовольствием, потому что, по-видимому, ей я обязан тем, что не испытал всех последствий меланхолии, доведенной до крайней степени. Я достиг периода мистических откровений души и возраста страстей, того момента жизни, когда все способности активны и избыточны. Я замечал несколько раз в одном из приделов церкви св. Сульпиция молодую и прекрасную особу, простой и скромный вид которой мне чрезвычайно нравился. Если человек не развращен, то в восемнадцать лет привлекает именно это; я стал более аккуратен в посещении церковных служб. Однажды, когда она выходила из церкви, сильный дождь дал мне основание проявить смелость и предложить ей проводить ее до дому, если она живет не слишком далеко. Она согласилась пройти со мною под моим зонтиком. Я проводил ее на улицу Феру, где она жила; она позволила мне подняться к ней и предложила без всякого смущения, как очень добродетельная молодая особа, навещать ее. Вначале я бывал у нее каждые три или четыре дня, а затем чаще. Ее родители заставили ее, вопреки ее желаниям,

поступить в театр; я был, вопреки своим желаниям, в семинарии. Эта власть чужого своекорыстия над нею и чужого честолюбия надо мною установила между нами неограниченное доверие. Все огорчения моей жизни, все мое недовольство и ее затруднения заполняли наши разговоры. Впоследствии мне говорили, что ей не хватало ума; хотя в течение двух лет я видел ее почти каждый день, я этого ни разу не заметил.

Благодаря ей я стал даже в семинарии более любезен или во всяком случае более выносим. Мои руководители должны были кое-что заподозрить о причинах моего интереса к жизни и даже некоторой веселости. Но аббат Кутюрье обучил их искусству смотреть сквозь пальцы; он научил их никогда не делать упреков молодому семинаристу, предназначенному к занятию видных мест, к должности реймского коадьютора, возможно, кардинала, может быть, министра или прелата, ведающего вакантными бенефициями. Как знать?

Наконец наступило время моего выхода из семинарии(6). Это случилось к моменту коронавания Людовика XVI(7). Родители послали меня в Реймс для присутствования на нем. Могущество церкви должно было проявиться во всей своей славе; реймский коадьютор должен был исполнять главную роль, если бы возраст кардинала ла Рош-Аймона воспрепятствовал ему, как предполагалось, совершить эту величественную церемонию... Какая блестящая эпоха!

Молодой король, щепетильной нравственности, редкой скромности; министры, известные своей просвещенностью и безукоризненной честностью; королева, приветливость которой, прелесть и доброта смягчали строгость добродетелей ее супруга,—все было полно почитания, все было преисполнено любви, все было празднеством! Никогда весна столь блестящая не предшествовала такой бурной осени, такой зловещей зиме.

С эпохи царствования Людовика XVI началось мое общение с несколькими дамами, выделявшимися своими достоинствами, дружба которых всегда придавала прелесть моей жизни. Я говорю о герцогине Люйнь, о герцогине Фитц-Джемс и о виконтессе Лаваль.

В это время происходило собрание духовенства(8). Я был назначен его членом от Реймской провинции и тщательно наблюдал за тем, как велись дела в этой большой корпорации. Честолюбие облекалось там в разные формы. Религия, человечность, патриотизм, философия — все служило для его прикрытия! Когда денежные интересы духовенства подвергались опасности, оно все поднималось на их защиту, но прибегало при этом к разным средствам. Наиболее верующие епископы опасались, чтобы не затронули имущества, предназначенных для пособия бедным; духовенство, принадлежавшее к крупной знати, боялось всяких новшеств; те, тщеславие которых было не прикрыто, говорили, что духовенство, составляя наиболее просвещенную корпорацию, должно возглавлять все части управления. Но, чтобы не обременять государства, оно должно из средств, которыми обогатило его благочестие наших отцов, черпать на расходы по представительству, неизбежному на высоких постах. Таким образом, в своей светской власти духовенство XVIII века не делало никаких уступок духу времени. Когда Машо, министр финансов, захотел обложить имущества духовенства, как прочих подданных государства, то все духовенство в целом отказалось платить. Имущества, данные церкви, говорило оно, посвящены богу. Это посвящение дает им особое предназначение, так что распределять их и управлять ими могут лишь служители церкви; освобождение церковных имуществ от обложения составляет часть французского государственного права. Вследствие вмешательства в эти денежные пререкания вопросов совести, документы этого важного дела приобрели тот оттенок красноречия, который присущ одному лишь духовенству. Монтане, Бретейль и Николаи обратили на себя внимание, получили большие посты и пользовались всем тем значением, которое им дала отставка Машо.

За этим вопросом, который правительство оставило неразрешенным, последовал другой, касавшийся характера владения духовенства имуществами и грозивший

поколебать самое владение. Вопрос заключался в том, подлежит ли духовенство присяге на верность, правилам о подтверждении владения и переписям, одним словом, несет ли оно феодальные обязанности в отношении короля. В разные стадии этого спора, возникшего в начале XVII века, духовенство добивалось благоприятных решений; но так как его владение имуществом не опиралось на подлинные грамоты, то нападки возобновились. В 1725 году, после его отказа признать обложение сбором пятидесятой доли, правительство настояло на введении в действие принятой ранее декларации, по которой притязание духовенства на полное освобождение от всех феодальных обязанностей признавалось отвергнутым и незаконным. С тех пор всем собраниям духовенства удавалось получать под разными предложениями постановления об отсрочках, которые, не разрешая вопроса по существу, приостанавливали исполнение закона 1674 года.

Некоторые затруднения и задержки в проведении постановления об отсрочке 1775 года побудили духовенство к новым выступлениям. Из архивов были извлечены работы Дом-Буке, и духовенство утверждало в огромном числе мемории, одна из которых, как кажется, принадлежала мне, что хотя все изъятия, которыми оно пользовалось, дарованы ему щедростью короля, но основываются они на общем законодательстве королевства, которое одинаково оберегает права всех сословий и собственность всех граждан. Затем, касаясь подробностей этого вопроса, оно утверждало, что не обладало до 1700 года никакой собственностью, кроме десятины и аллодиальных владений или же имуществ, дарованных ему в качестве безусловного дара со стороны короны. Но так как феодальные обязанности на возлагались ни на десятину, ни на аллодиальные или дарованные церкви имущества, то из этого заключали, что имущества духовенства должны быть изъяты из всех феодальных обязательств. Я не знаю, как обходились при этом трудности, создаваемые существованием духовных пэрств. Архиепископы нарбонский(9), аский и бордоский и епископ неверский обнаружили во время этого спора много таланта. Но разъяснения, затребованные у счетной палаты(10) постановлением королевского совета и данные Сен-Жени, чуть было не вызвали решение, прямо обратное притязаниям духовенства, когда вопрос о Генеральных штатах(11) захватил все партии.

Философские идеи, проникшие, как я уже указывал, в партию тщеславного духовенства, побудили нескольких епископов, пользовавшихся большим авторитетом, требовать у королевского совета постановления, вынесенного затем в 1766 году, на основании которого король создал комиссию для преобразования некоторых монашеских орденов. Реформа, хотя бы частичная, но проводимая в согласии с идеями эпохи, обязательно должна была привести к общему наступлению на эти знаменитые корпорации. Как только удалось бы рассеять их ученое ополчение, стало бы легче подступить к зданию церкви, которая, лишившись всего, что составляло ее душу и силу, не могла бы долго защищаться, сохраняя лишь одни внешние религиозные обряды.

Во главе этой комиссии стоял в 1775 году архиепископ тулузский Бриенн, искавший опоры в новых идеях. Монашеские ордены св. Креста, Великой Горы, камальдольцев, сервитов и целестинцев были уничтожены. Той же судьбе подвергся орден св. Руфа. В донесениях членов комиссии, вызвавших это уничтожение орденов, и в постановлениях, которые его утверждали, говорилось с сожалением об этой крайней мере, но ее считали тогда необходимой для укрепления повиновения в церкви и для предупреждения падения нравов и в тех орденах, на сохранение которых еще можно было надеяться.

Я весьма далек от мысли, что епископы, выдвинувшие проект такой постоянной комиссии, понимали всю опасность, которую она могла представить для духовенства. Они, конечно, думали, что будут властны управлять ее мероприятиями и остановить их проведение. Но в религиозных вопросах уже не было возврата. Каждый день появлялся новый памфлет, то о злоупотреблениях в одном ордене, то о бесполезности другого, и я не помню, чтобы на протяжении двадцати лет, предшествовавших французской революции, хоть одно талантливое перо защитило монашеские ордена. Даже историки не смели

больше утверждать, что именно эти учреждения придали великой европейской цивилизации тот особый характер, который составляет ее величайшее отличие от всех других. Мне часто приходило на ум, что безбрачие священников воспрепятствовало установлению кастового духа в Европе; ведь достаточно заглянуть в историю, чтобы заметить, что именно этот дух стремился остановить успехи цивилизации. Бональд мог бы почерпнуть здесь материал для рассуждения, вполне согласного с его собственными взглядами.

Эпоха, к которой я подхожу, отличалась тем, что все желали выдвинуться талантами, проявленными вне своей основной профессии. При учреждении провинциальных собраний(12) общественное внимание могло быть привлечено личностью тех, кто должен был председательствовать в них. Неккер, который всегда боялся упреков за свой кальвинизм, думал обезопасить себя от этого привлечением к делам управления епископов, обладавших некоторым талантом. Таким образом, по истечении нескольких лет во главе местного управления всех провинций оказались наиболее выдающиеся из их епископов.

Не удивительно ли, что духовенство, к которому принадлежало, с одной стороны, несколько очень благочестивых людей, с другой — очень хорошие администраторы и, наконец, светские люди, которые подобно архиепископу нарбонскому ставили себе в заслугу пренебрежение требуемыми их званием внешними формами ради сохранения обычных для дворянина условий жизни (*\*Диллон, архиепископ нарбонский, имел поместье близ Суассона, где он проводил шесть месяцев в году на охоте. Это поместье называлось "Высокий фонтан". Примечание Талейрана.*); не удивительно ли, говорю я, что духовенство, состоявшее из столь разнородных элементов, все же сохраняло единый дух? Но тем не менее это подтверждается одним обстоятельством, которое я едва ли признал бы достоверным, если бы не был его свидетелем. Через несколько дней после созыва Генеральных штатов я был с важнейшими представителями духовенства в Версале на совещании у кардинала Рошфуко. Архиепископ арльский Дюло серьезно предложил воспользоваться *столь благоприятным* случаем,— это были его слова,— чтобы заставить народ заплатить долги духовенства. Это предложение, как и предложение Темина, склонившего духовенство просить созыва Генеральных штатов, не встретило никаких возражений. Архиепископу арльскому, осведомленности которого очень доверяли, поручили выбрать момент, подходящий для внесения этого предложения в Генеральные штаты. Потребовались несколько месяцев и все происшедшие за этот период события, чтобы Буажелену, архиепископу эскому, со всем его здравомыслием удалось убедить духовенство не только отказаться от этого нелепого предложения, но и пойти на значительные жертвы для покрытия того знаменитого дефицита, который служил предлогом для всех выступлений этого года. Правда, было уже слишком поздно, предлог был забыт, да в нем не было и нужды, с тех пор как Генеральные штаты превратились в Национальное собрание.

Я замечаю сам, что, говоря о духовенстве, я не придерживаюсь последовательности событий, но к этому я оказываюсь вынужденным. Изложение вопроса по годам делает его нередко неясным и всегда неинтересным. Я предпочитаю ради ясности изображать в совокупности все то, что естественно относится к обсуждаемому предмету. Кроме того, это гораздо удобнее, а когда не претендуешь написать большой труд, то можно освободить себя от лишних стеснений. Кардинал ла Рош-Аймон, назначивший меня промотором(13) собрания 1775 года, дал мне случай выдвинуться, и с этого момента мне предназначили должность генерального агента(14) духовенства.

Когда собрание 1775 года было закрыто, я вступил в Сорбонну(15). Я провел там два года, занятый отнюдь не теологией, так как у молодого бакалавра развлечения отнимали очень много времени. Честолюбивые мечты также требуют некоторого времени, а воспоминания о кардинале Ришелье, прекрасный мавзолей которого находится в церкви Сорбонны, отнюдь не обескураживали меня в этом отношении. Я знал тогда честолюбие только в его лучшем проявлении и желал преуспеть лишь в том, к чему, как мне

представлялось, я был способен. Пять лет, проведенные в семинарии в недовольстве, молчании и чтении и казавшиеся мне такими долгими и печальными, оказались теперь не вполне потерянными. Тяжелая молодость имеет свои преимущества; полезно быть погруженным в воды Стикса, и по множеству причин я не жалею об этом периоде испытаний.

По выходе из Сорбонны я мог, наконец, сам свободно и без постороннего вмешательства распорядиться собой. Я поселился в Бельшассе в небольшом и удобном доме. Первая моя забота свелась к устройству библиотеки, ставшей впоследствии очень ценной по выбору книг, по редкости изданий и красоте переплетов. Я стремился установить связи с людьми, замечательными по своей прошлой жизни, по своим трудам, честолюбию или будущности, которую предвещали им их рождение, связи и таланты. Вращаясь по собственному побуждению в обширном кругу, в котором по-разному блистало столько выдающихся людей, я испытывал тщеславное удовлетворение от сознания, что обязан всем лишь самому себе. Я даже испытал весьма приятный момент, когда был назначен королем в реймское аббатство Сен-Дени и мог употребить первые свои доходы на возмещение колледжу Гаркура стоимости пансиона, который еще не был целиком оплачен, и расквитаться с Ланглуа за его заботы обо мне в детстве.

Семинария и Сорбонна разлучили меня с Шуазель-Гуфье. Из всех молодых людей, вместе с которыми я воспитывался, я попытался прежде всего разыскать его. С тех пор как я его не видел, он женился и имел уже детей; его успели заметить в свете благодаря совершенному им трудному и интересному путешествию, положившему начало его известности и повторение которого завершило затем его карьеру.

В повествовании о моей жизни мне придется столько раз говорить о Шуазеле, что я должен доставить себе удовольствие и познакомить с ним читателя. Шуазель наделен от природы воображением и способностями; он образован, хорошо говорит и рассказывает, его речь проста и вместе с тем образна. Если бы он в молодости меньше любовался красивыми фразами Бюффона, то мог бы стать выдающимся писателем. Некоторые находят, что он слишком жестикулирует, и я с этим согласен, но, когда он говорит, это помогает ему; как все сильно жестикулирующие люди, он слушает самого себя и слегка повторяется. В старости он будет тягостен ухаживающим за ним, так как люди средней одаренности сохраняют к этому периоду жизни одни лишь внешние формы. Только одухотворенность может сделать старость привлекательной, потому что она позволяет опытности находить всюду новизну и совершать открытия. У Шуазеля благородный, добрый, доверчивый и искренний характер. Он любвеобилен, покладист и незлопамятен. Он прекрасный отец и муж, хотя и не навещает ни жены, ни детей. У него есть друзья, он любит их, желает им счастья, готов оказать им услугу, но легко обходится без встреч с ними. Общественные дела заполнили только малую часть его жизни, но он создал себе занятия, которые его удовлетворяют. Прекрасный вкус и знание искусств ставят его в ряд с наиболее полезными и выдающимися любителями.

Шуазеля я любил больше всех. Хотя в свете часто соединяли имена Шуазеля, графа Нарбона и аббата Перигора(16), но наши отношения с графом Нарбоном были не такие дружеские, как с ним. У графа Нарбона ум такого рода, который стремится произвести лишь внешнее впечатление, он может быть блестящ или совершенно ничтожен, исчерпывая себя в одной записке или остроте. Его вежливость лишена оттенков, его веселость часто оскорбительна для хорошего вкуса, а его характер не внушает того доверия, которого требуют близкие отношения. С ним можно было скорее развлекаться, чем хорошо себя чувствовать. Особое изящество, которое он, как никто другой, умел вкладывать в товарищеские отношения, создало ему большой успех, особенно среди людей остроумных и несколько вульгарных. Но он меньше нравился людям, которые ценили то, что во времена нашей молодости называлось хорошим тоном. Когда назывались лица, присутствовавшие на ужине у супруги маршала Люксембургского,

среди которых был и он, то до него перечислялось двадцать других имен; зато у Юлии его назвали бы первым.

Общество, каждое утро собиравшееся у меня за более или менее обильным завтраком, представляло своеобразное смешение лиц; там постоянно встречались — и притом с удовольствием — герцог Лозен, Паншо, Бартес, аббат Делиль, Мирабо, Шамфор, Лораге, Дюпон де Немур, Рульер, Шуазель-Гуфье и Людовик Нарбон. Мы беседовали с величайшей свободой слегка обо всем. Таковы были дух времени и мода. Беседы эти доставляли всем нам удовольствие и были для нас поучительны, но в сущности мы вкладывали в них честолюбивые надежды на будущее. Эти утра мы проводили прекрасно, и сейчас еще я был бы готов их повторить.

Темой разговора служили поочередно новости дня, вопросы политики и торговли, административные и финансовые вопросы. Большой интерес вызывал тогда торговый договор, только что заключенный между Францией и Англией(17).

Образованные люди, как Паншо, Дюпон де Немур и тому подобные, особенно интересовались подробностями этого серьезного вопроса. Мы же, несведущие и дилетанты в этом деле, как Лозен, Бартес, Шуазель и я, занимались лишь общими сторонами проблемы. Мне хочется отметить здесь, то, что сохранилось у меня в памяти от этих споров; они принадлежат к кругу идей, столь отличному от того, с чем я встречался позже, что мне кажется полезным сохранить их след. Поэтому я объединяю в одном обзоре все, что относится в этом вопросе к нескольким годам.

Версальский и лондонский кабинеты были проникнуты идеей обоюдной выгоды, которую должно было дать установление добросовестных торговых отношений. Никогда история не представляла для этого более благоприятного случая. С момента заключения мира 1763 года(18) национальная вражда казалась угасшей, а тотчас после признания Англией независимости Америки тесное общение Франции и Великобритании уничтожило, хотя бы частично, немало враждебных чувств. Появилась взаимная симпатия, и ее следовало лишь укрепить, чтобы извлечь из нее пользу для обеих сторон. Оба правительства назначили уполномоченных для обсуждения этого важного вопроса.

В Англии помнили, что милорд Болингброк намеревался после договора в Утрехте(19) заключить с Францией торговый договор. Этот неудавшийся ему проект послужил одним из оснований или предлогов к тем преследованиям, которым он подвергался со стороны вигов. Доводы, приводившиеся тогда против торгового договора с Францией, могли казаться убедительными. Французская роскошь пугала английские нравы. Те промышленные отрасли, в которых Англия еще не достигла преобладания, боялись, что постоянные торговые отношения создадут им конкуренцию нашей промышленности. Существовало также опасение, что продукты французской земли одержат верх над португальскими. Договор Метуена(20) был заключен еще так недавно, что казалось неосторожным рисковать предоставляемыми им выгодами, создавая соперничество между продуктами Франции и Португалии. Все эти доводы, имевшие раньше некоторые основания, теперь либо исчезли, либо же утратили свое значение. Англия находилась на пути к коммерческому преуспеванию, которое обещало стать весьма значительным, вследствие изобретенных ею машин и размера ее капиталов; мода помогла устранению возражений, сводившихся к увеличению роскоши во Франции. Влияние министерства и заинтересованность промышленности одержали верх над остальными возражениями, и договор получил в Англии почти общее одобрение. Во Франции к этому вопросу отнеслись совершенно иначе: интересы приморских городов оказались там в противоречии с интересами промышленного населения. Первоначально договор был встречен с некоторым недоумением. Его первые результаты были неблагоприятны для нас. Англичане, лучше подготовленные к нему, чем мы, извлекли из него больше выгод. Бордо, провинции Гюс, Они и Пуату получили, правда, несколько новых мест для сбыта своих вин, водки и других продуктов сельского хозяйства; но многие считали, что при общей оценке результатов эти местные выгоды не могут компенсировать ущерб,



создаваемый потреблением двадцатью пятью миллионами любопытного и жадного до новшеств населения новых товаров, превосходящих своими качествами французские, тем более что Англия могла поставлять их по значительно более низкой цене, чем французские купцы.

Нормандия, столь умелая в защите своих интересов и столь внушительная по своему богатству и численности населения, первая высказала свои возражения. Она опубликовала пространный памфлет против договора. Вскоре защищаемое ею дело стало общим; снова возродились все предрассудки, вся вражда и ненависть. Голос потребителей был заглушен, и договор стал основанием для осуждения правительства.

Однако стремления, внушившие это важное соглашение, находились в согласии с лучшими принципами. Содействовавшие ему Вержен и Калонн когда-нибудь будут за него прославляться. Цель договора заключалась в уничтожении контрабанды и в создании государственной казне таможенного дохода, основанного на таком умеренном обложении, что у тайного провоза отнималась всякая выгода. Эти преимущества договора были очевидны и одинаковы для обеих стран. Если во Франции он облегчал удовлетворение капризов богатых людей и их склонности к английским товарам, то в то же время он позволял Англии шире пользоваться предметами роскоши; она оплачивала их Франции за счет понижения обложения вин из Шампаньи и Бордо, что увеличивало их потребление в Англии.

Указанное понижение обложения предметов необходимости или роскоши вело к большей равномерности налогового обложения потребителей, к облегчению платежей и к увеличению доходов государственной казны вследствие роста потребления.

Надо еще добавить, что принципы, положенные в основу договора, содействовали правильному распределению между обеими странами отраслей промышленности; они обеспечивали за каждым из этих двух народов те промышленные отрасли, которые были предуказаны ему самой природой и которые обещали дать ему наибольшие выгоды. Этот последний результат договора должен был бы доставить через немного лет торжество принципу свободы торговли, но предрассудки решили иначе. Люди срослись с ними такими глубокими корнями, что стремление слишком быстро их разрушить по меньшей мере неосторожно. Я долго не соглашался признать эту печальную истину, но так как философам XVIII века не удалось, несмотря на применявшиеся ими хорошие и дурные средства, их разрушить, то вместе с мыслителями XIX века, пошедшими совсем иными путями, я подчиняюсь необходимости больше этим не заниматься.

Мимолетное пламя фронды(21) было вызвано простой искрой. Эта шуточная война, целью которой было только приятное возбуждение, была в сущности лишь светским развлечением.

Хаос улегся с восшествием на трон Людовика XIV. Он призвал всех к порядку, и по его голосу все классы населения и отдельные лица заняли снова, без всякого напряжения или насилия, соответствовавшие им места. Этой благородной субординацией объясняются искусство соблюдать приличия, изящество нравов, изысканная учтивость, отличавшие эту великолепную эпоху. Удачное сочетание качеств, свойственных каждому полу, и их соединение в совместных развлечениях придали обществу блеск, мельчайшие подробности которого французы всегда будут с удовольствием вспоминать. Салон госпожи Севинье представляет собой памятник нашей славы.

При Людовике XIV общество носило отпечаток всех особенностей его царствования; оно открыло свои святилища, и туда проникло несколько писателей. От этого выиграла как светская беседа, так и изящная литература, Фонтенель, Монтескье, Бюффон, президент Эно, Меран и Вольтер, воспитанные под влиянием века Людовика XIV, сохранили в свете ту обходительность, ту свободу и благородную непринужденность, которая составила очарование и славу парижских собраний. В эту эпоху были достигнуты те высоты, с которых никогда не следовало бы спускаться.

Но в царствование Людовика XVI с обществом смешались представители всех разрядов литературы. Все переместилось, в общественных положениях возникла путаница, появились чрезмерные притязания и святилища были осквернены. Тогда дух общества изменился. Появилось стремление все познать, все углубить и обо всем судить. Чувства были заменены философскими взглядами, страсти — анализом движений человеческого сердца, стремление нравиться — оценками, развлечения — планами и проектами и так далее. Все исказилось. Я останавливаюсь здесь, так как боюсь слишком близко подойти к французской революции, от которой меня еще отделяет несколько лет и множество событий.

Только что разразилась ссора Англии с ее колониями(22). Философы занялись этим вопросом во всей его глубине, сопоставляя права народов и государей. Старые военные круги предвидели войну, молодые люди радовались новым ощущениям, а женщины — приключениям; мелкая, придирчивая и непредусмотрительная политика правительства делала его ответственным за все это вызываемое ею возбуждение. Правительство допустило или даже разрешило отъезд Лафайета, Гувюна и Дюпортаяля. Из них всех история сохранила лишь имя первого. В романах умом и выдающимся характером наделяется обычно главный герой, но судьба не так разборчива: посредственные личности играют существенную роль в важных событиях единственно по той причине, что они оказываются вовремя на месте.

Лафайет происходил из малоизвестного дворянского рода Оверни; при Людовике XIV ум одной представительницы его семьи придал блеск его имени. Он вступил в свет с большим состоянием и женился на девушке из рода Ноайлей. Если бы необычайные события не вывели его за пределы его общественного ранга, он остался бы в неизвестности всю свою жизнь. У Лафайета были качества, достаточные для достижения лишь заурядных успехов; он не принадлежал к числу людей, прославленных своим умом. В его стремлении отличиться и в применявшихся им для этого средствах было нечто заученное. То, что он совершил, не было свойственно его личности; можно было бы подумать, что он следовал чьему-то совету, К сожалению, никто не может похвалиться тем, что давал советы Лафайету в великую эпоху его жизни.

Пример Лафайета увлек всю блестящую часть нации. Молодое французское дворянство, завербованное в пользу дела независимости, увлекалось принципами, которые оно отправилось защищать. Оно видело, как из скромной личности вырос глава великого государства; оно видело простых людей, оказывавших ему поддержку и окруженных общественным почитанием. Отсюда очень близко до мысли, что услуги, оказанные делу свободы, являются единственным истинным основанием известности и славы. Эти взгляды, перенесенные во Францию, тем быстрее дали там ростки, что всякий общественный авторитет, подвергаясь нападкам со стороны проникших в общество лиц низкого происхождения, с каждым днем все более разрушался.

Возможно, что в течение этих воспоминаний я неоднократно вернусь к размышлениям, которым я сейчас предаюсь, нарушая хронологический порядок; они, несомненно, возникнут снова и в гораздо более непосредственной связи с описываемыми событиями, когда я буду говорить о первых годах французской революции.

Интерес к американскому вопросу поддерживался во Франции протоколами совещаний конгресса, публиковавшимися каждую неделю в газете “Европейский курьер”. Мне кажется, что это была первая из наших политических газет, редактировавшаяся человеком, принадлежавшим к полиции. Его имя было Моранд; это был автор низкого пасквиля, носившего название “Журналист в латах”.

Французы, посетившие в военных походах колонии, возвращались с величественными описаниями богатств этой новой части света. В то время все говорили лишь об Америке. Большие вельможи отличались во времена моей молодости той особенностью, что все новое для них казалось им их собственным открытием и они привязывались к нему с особой силой. Все спрашивали: *Что было бы с нами без Америки?* Она создает нам

флот,— говорил Малуге; она дает возможность расширить нашу торговлю,— говорил аббат Рейналь; она предоставляет занятия нашему слишком многочисленному населению,— говорили администраторы той эпохи; она принимает всех беспокойных,— говорили министры; она дает убежище всем инакомыслящим,— говорили философы, и так далее. Американское предприятие казалось как нельзя более полезным и миролюбивым; разговоры велись лишь о славном открытии Америки. Но попытаемся, тем не менее, проникнуть несколько глубже в вопрос. К чему привели все наши сношения с Новым Светом? Видим ли мы меньше нищеты вокруг? Исчезли ли все разрушительные силы? Не ослабил ли интерес к далекой стране нашу любовь к родине? После того как Англия и Франция стали интересоваться всевозможными проблемами, возникающими в новых пунктах земного шара, и стали благодаря этому легче поддаваться возбуждению, не стали ли войны более часты и длительны, не получили ли они больше распространения и не стали ли более разорительны? История человечества приводит к тому печальному выводу, что разрушительный дух проявляется во всех тех местах, с которыми облегчается общение. Когда несколько европейцев бросились в Америку, то им немедленно оказалось слишком тесно на этом обширном континенте, и они постоянно сталкивались друг с другом, пока один из них не стал хозяином. Сейчас, когда возник спор между капитаном одного торгового судна и директором конторы в заливе Гудзона, то в связи с этой ссорой все европейские государства вооружаются.

Я знаю, насколько все сказанное мною противоречит современным идеям. Кругосветные путешествия создали славу отдельным лицам и даже народам. Ученые не разрешают приписывать одной лишь случайности открытия, сделанные нашими великими мореплавателями; им угодно признать, что ранее приобретенные познания позволяют этим мореплавателям отгадывать или по крайней мере подозревать существование новых стран, изменивших наши карты. Тем не менее они разрешат нам заметить, что в наши дни, когда над умами господствует приманка новизны, когда методы расчетов достигли величайшего совершенства, люди вообразили, что для земного равновесия у южного полюса должен существовать большой континент; несколько экспедиций направлялось к этому месту, но до сих пор все розыски остались бесплодны. Несчастный Людовик XVI привязался к этой идее, и нам должно казаться естественным, что он был склонен искать вдали новых людей.

Однако мне представляется, что подобные предприятия не входят в круг наших интересов; предоставим их, если уж они необходимы, новым властителям океана; наше предназначение не в этом.

Калонн, которого стесняли во всех его предприятиях, на которого нападали со всех сторон и под которого архиепископ тулузский подкапывался при помощи подпольной интриги, считал, что, имея на своей стороне Вержена и короля, он может восторжествовать над всеми трудностями при помощи нового средства, которое должно иметь успех. Он задумал устроить собрание нотаблей<sup>(23)</sup> и надеялся, что неожиданный их созыв заменит национальную санкцию, то есть регистрацию парламента<sup>(24)</sup>. Он рассчитывал привлечь на свою сторону общественное мнение, на которое он думал произвести благоприятное впечатление. Как только открылось собрание, он предложил создать во всем королевстве провинциальные собрания, упразднить барщину, внутренние таможи и некоторые осужденные общим мнением подати, уменьшить соляную пошлину и установить свободную торговлю хлебом.

Он смело решился на увеличение дефицита и отказался от десяти миллионов из сумм, даваемых соляной пошлиной, от двенадцати миллионов торговых пошлин и податей, от десяти миллионов тальи. Он отказался от доходов, которые получались от отчуждения права охоты и почетных прав, связанных с владением отведенными для нее местами, и которые служили для оплаты долгов духовенства, покрываемых главным образом из этого источника.

Он увеличил дефицит расходом десяти миллионов на возмещение барщины и шести

миллионов на содействие сельскому хозяйству, ремеслам и торговле. Он обольщал себя надеждой, что взамен стольких благодеяний он легко добьется новых доходов в возмещения старых в размере от ста десяти до ста двенадцати миллионов.

Он нашел пятьдесят миллионов в виде регулярного взимания двух двадцатых чистого дохода со всех французских земельных имуществ. Увеличение этого налога достигалось благодаря тому, что Калонн предложил упразднить все корпоративные и сословные привилегии, изъятия и частные льготы. Он назвал его земельным пособием и считал, что он не будет новым налогом, так как для тех, кто платил две двадцатых, бремя не увеличится, и что дело идет лишь об упразднении несправедливой раскладки и всяких изъятий, которыми готовы были пожертвовать даже те, кто ими пользовался.

Доход от установления гербового сбора он оценивал в двадцать миллионов. Жалованье в поместье государственных земель и лучшее управление лесами должны были дать десять миллионов дохода.

Для обеспечения платежей в определенные сроки он заключил заем в двадцать пять миллионов, который должен был быть погашен лишь через пятнадцать лет.

Кроме того, он предлагал провести такую экономию, которая дала бы пятнадцать миллионов.

Этот план был лишен здоровой основы, так как нотабли не имели власти на его проведение; он был очень обширен и в совокупности довольно внушителен; его преимущество заключалось в том, что он успокаивал всех тех, кто имел долговые обязательства государства, и что он приближался без потрясений к таким идеям, которые уже давно были распространены в образованных классах общества и начинали проникать в народную массу.

Но Вержен умер, а король сам по себе был слабой поддержкой для министра, открыто задевавшего столько интересов.

Духовенство подвергалось обложению, в то время как оно рассчитывало, что навсегда от него защищено своими добровольными дарами. Оно поддерживало тот взгляд, что если оно не платит подати, именуемой двадцатой, то в сущности оно выплачивает ее эквивалент под названием десятины; далее, выходя за пределы своих непосредственных интересов, оно нападало на это обложение с общей точки зрения. К несчастью, Калонн пришел к тому выводу, что натуральный налог встретит меньше трудностей, чем денежный в пятьдесят миллионов. Он утверждал в одной из своих записок, что взимание натурой облегчает пропорциональную раскладку налога, устраняет произвол и суровую необходимость для плательщиков вносить налог даже в тех случаях, когда они не собирают жатвы. Архиепископы нарбонский, тулузский, эский и бордоский, хорошо осведомленные в этом вопросе, слабые стороны которого обнаруживала им десятина, указали, что стоимость такого способа взимания будет очень велика, что сопровождающие его трудности огромны и что время, требуемое для хорошей классификации земель, будет потеряно для королевской казны.

Нотабли разделили взгляды высшего духовенства, и в этом пункте Калонн был разбит.

Одна неудача влечет другую, а подчас и целое их множество. Монтморен, преемник Вержена, пользовался пока еще небольшим влиянием; у него не было никаких собственных взглядов, и он даже опасался, чтобы его не заподозрили в том, что он их имеет. Хранитель печати Миромениль находил, что это новое предприятие неосторожно и роняет авторитет короля; барон Бретейль был в тревоге, архиепископ тулузский продолжал свой прежний подкоп, а Калонн, значение которого поддерживалось еще важностью порученных ему дел и который обнаружил на совещании у Monsieur(25) исключительные дарования, оставил твердую почву и стал искать защиты в одних придворных интригах. Граф д'Артуа поддерживал его у короля, госпожа Полиньяк использовала для его защиты все свое влияние на королеву; Водрейль обращался к нему с посланиями в прекрасных стихах, написанных по его заказу поэтом Лебреном.

Все это могло бы оказать некоторое влияние в обычное время, но в таких серьезных обстоятельствах этого было слишком недостаточно. Калонн не обращался больше к королю с прежней уверенностью. Собрание нотаблей было средством, чтобы выйти из положения, но теперь требовалось новое средство, чтобы выйти из положения, созданного собранием нотаблей, а его-то не было. Тот, кто боится других и не обладает полной уверенностью в себе, совершает ошибку за ошибкой.

Перерыв в заседаниях нотаблей на пятнадцать дней во время пасхи был той ошибкой, которая погубила его. Нотабли покинули Версаль и рассеялись во всех кругах парижского общества. Принесенный ими дух оппозиции, подкрепленный тем, который уже существовал, представился королю внушительным общественным мнением, и он его испугался. Со смерти Вержена никто не умел ободрить его. Калонну была дана отставка.

Я не знаю, на какое место и рядом с кем история поставит его в длинном списке министров XVIII века, но вот каким он представлялся мне.

Калонн обладал легким, блестящим умом, тонкой и живой мыслью. Он хорошо писал и говорил, выражался всегда ясно и изящно и обладал способностью приукрашать в разговоре то, что ему было знакомо, и избегать того, чего он не знал. Граф д'Артуа, господин Водрейль, барон Талейран, герцог Куаньи любили его обхождение, которое он у них заимствовал, и его остроумие, в котором они ему подражали. Калонн был способен к привязанности и к верности друзьям, но выбирал он их скорее по указанию рассудка, чем сердца. Одураченный собственным своим тщеславием, он чистосердечно думал, что любит людей, сближения с которыми искал по своему честолюбию. Он был некрасив, высок, ловок и хорошо сложен; у него было умное лицо и приятный звук голоса. Для достижения министерского поста он скомпрометировал свою репутацию или, во всяком случае, пренебрег ею. Окружавшие его лица были никуда не годны. Публика знала, что он умен, но не доверяла его нравственности. Когда он появился в генеральном контроле, его приняли там за ловкого управляющего какого-нибудь разорившегося расточителя. Большие способности нравятся, но не внушают никакого доверия. Обычно считают, что люди, одаренные ими, безразличны к способу их применения и равнодушны к советам. Большинство людей ценит в министрах трудолюбие и осторожность. С этой точки зрения Калонн не внушал доверия: подобно всем людям с очень легким умом, он обладал легкомыслием и самомнением. Это было выдающейся чертой его характера или, скорее, повадки. Я приведу заслуживающий внимания пример. Калонн приехал в Дампьер к госпоже Льюнь на следующий день после того, как король принял предложение о созыве нотаблей. Он был опьянен успехом, выпавшим на долю его доклада в королевском совете. Он прочел его нам, прося сохранять полнейшую тайну. Это было в конце лета 1786 года. За восемь дней до 22 февраля 1787 года, то есть дня открытия собрания нотаблей, он прислал мне письмо с приглашением провести с ним неделю в Версале, чтобы помочь ему составить некоторые записки, которые он должен был представить этому собранию. Он добавлял, что я буду иметь все нужные мне материалы по тем вопросам, которые я возьму на себя. Он написал подобные же письма Галезьеру, Дюпон де Немуру, Сен-Жени, Жербье и Кормерей. Мы все собрались в это самое утро в кабинете Калонна, передавшего нам целые связки бумаг по каждому из вопросов, которые мы должны были трактовать. На основании их нам следовало разработать все те объяснительные записки и проекты законов, которые должны были быть напечатаны и переданы через восемь дней на обсуждение собрания нотаблей. Итак, 14 февраля не было еще ни одного проекта. Эту огромную работу мы распределили между собой. Я взял на себя записку и закон о зерновых хлебах и сам разработал полностью то и другое. С Сен-Жени я работал над запиской об оплате долгов духовенства, а с ла Галезьером — о барщине. Кормерей разработал весь проект об уничтожении внутренних таможен и замене их пограничными. Жербье делал заметки по всем вопросам. Мой друг Дюпон, веривший, что это предприятие приведет к добру, отдался со всей силой своего воображения, ума и сердца тем вопросам, которые больше всего соответствовали его взглядам. Мы проделали таким

образом довольно сносно в течение одной недели ту работу, которой Калонн по своему самонению и ветренности пять месяцев пренебрегал.

Король, имевший слабость, покрывив совестью, покинуть своего министра, держался крепче, чем когда бы то ни было, за те проекты, которые он разрешил представить собранию нотаблей. Он начал искать такого преемника Калонну, который был бы склонен по собственным убеждениям следовать предложенным проектам.

Казалось, что Фурке подходит больше всех. Королю нравилась его большая простота, его взгляды, отсутствие всякой склонности к интриге и хорошая репутация. Но надо было склонить его самого. Калонн, предпочитавший его всякому другому и опасавшийся, чтобы выбор не пал на архиепископа тулузского, написал ему. Он поручил Дюпону, который издавна через Тюрго, Гурне и Трюденя имел связи с Фурке, передать ему это письмо.

Мне запомнилась эта маленькая подробность только потому, что она повела к довольно забавной сцене. Пока Калонн собирал все бумаги, которые, как он предвидел, могли ему понадобиться в случае нападков на его ведомство, личные его друзья ожидали его в большой приемной генерального контроля, где они собрались, вероятно, в последний раз. Они были там уже давно... Никто не разговаривал... Было одиннадцать часов вечера... Дверь отворяется... Входит поспешно Дюпон и с горячностью восклицает: *“Победа, победа, сударыни!”* Все встают, его окружают. Он повторяет: *“Победа! Фурке принимает назначение и будет следовать всем планам Калонна”*. Изумление, вызванное такого рода победою у госпожи Шабан, Лаваль, Робек, д'Арвелей, сильно возмутило Дюпона, который любил Калонна из-за провинциальных собраний и не знал, что эти дамы любили провинциальные собрания из-за Калонна. Весмеранж, ждавший вместе с другими и совершенно не интересовавшийся ни провинциальными собраниями, ни Калонном, но любивший всем сердцем генеральный контроль, немедленно отправился в Париж для того, чтобы устроить раньше других разные спекуляции, которые могли бы оказаться выгодными вследствие назначения Фурке.

Это новое министерство было кратковременно. Фурке быстро лишился бодрости духа, и королева добила, наконец, назначения архиепископа тулузского, который по уму и характеру совершенно не соответствовал обстоятельствам, испытываемым Францией.

С самого начала своего управления он начал приносить жертвы общему мнению, которое, встречаясь лишь со слабостью, становилось со дня на день все требовательнее. От собрания нотаблей нельзя было добиться ничего, кроме жалоб и совета созвать Генеральные штаты, и, действительно, я не вижу, каким способом нотабли могли бы сделать что-нибудь сверх того, что они делали. Ни одна уступка с их стороны не могла иметь никакого значения, потому что реально у них не было на это власти; не приведя ни к чему, они стали бы только ненавистны. Их созыв представлял поэтому огромную ошибку, коль скоро не было уверенности в том, что удастся руководить их совещаниями. Так как компетенция парламентов была поставлена под вопрос или, скорее, их некомпетентность считалась установленной самым фактом созыва нотаблей, то они не могли уже ничего сделать. Поэтому они отказались сделать то, что от них требовали, говоря, что они не имеют на это права. За это они были наказаны изгнанием, что сделало их популярными; вскоре их снова созвали, что дало им еще больше почувствовать свое значение и побуждало их воздерживаться от всего того, что могло бы их скомпрометировать. После того как все эти попытки послужили лишь к обнаружению пределов королевской власти, не принеся ей никакой пользы, оставалось на выбор, либо обходиться собственными средствами, не требуя ни от кого жертв, что было невозможно вследствие дефицита, либо же созвать Генеральные штаты. Борьба архиепископа тулузского с парламентами настолько занимательна, что я счел нужным познакомить со всеми ее подробностями в следующей главе этих воспоминаний, специально ей посвященной(26). Герцог Орлеанский, политическая деятельность которого особенно тесно связана с борьбой парламентов той эпохи, естественно играет в ней главную роль.

Ни одно из мероприятий архиепископа тулузского не удавалось. Влияние, оказанное им при свержении Калонна, было совершенно личным. Несмотря на то, что он лишил Калонна всякого значения, а сам получил кардинальскую шапку, архиепископство Санское и аббатство Корбийское, несмотря на то, что он сделал своего брата военным министром, все же ни страх перед ним, ни его благосклонность не дали ему ни одного сторонника. Внутренняя оппозиция усиливалась, прежняя внешняя политика Франции упразднилась. Голландия, которую можно было так легко защитить, была покинута(27). Королевская казна была пуста; трон был изолирован, и все страстно стремились к ослаблению королевской власти. Всем казалось, что власть слишком много управляет; возможно, что никогда в нашей истории не управляли меньше и никогда отдельные лица и учреждения не выходили так далеко за положенные им пределы.

Политическое существование нации зависит главным образом от точного исполнения каждым лицом возложенных на него обязанностей. Если все эти обязанности вдруг перестают исполняться, то общественный порядок нарушается. В таком положении находилась Франция к концу министерства архиепископа санского. Протестанты волновались и оказывали доверие Неккеру, что вызывало тревогу. Все классы обратились с энтузиазмом к новым идеям. Применение того, чему учились или что читали в любом колледже или академии, уже наперед считалось победой человеческого разума. Все сословия стремились к возрождению. Духовенство, которое должно было оставаться неподвижным как догма, стремилось навстречу важным нововведениям. Оно просило у короля созыва Генеральных штатов.

Провинции, имевшие собственные штаты, видели в условиях своих договоров о присоединении к Франции лишь средство противодействия всем общим мероприятиям, которые предлагало правительство. Парламенты мятежно отказывались от власти, которую они осуществляли в течение веков, и призывали со всех сторон представителей народа. Даже самая администрация, которая до того считала за честь быть призванной королем для представления его власти, начала находить свое послушание унижительным и захотела стать самостоятельной.

Таким образом все государственные корпорации отклонялись от своего первоначального назначения, все нарушали положенные им пределы и, став на откос, неизбежно должны были, не имея ни опыта, ни путеводного огня, ни опоры, скатиться в пропасть. Словом, начиная с этого времени все теряет свою устойчивость.

В таком положении вещей король счел себя вынужденным, несмотря на свое личное нерасположение, призвать Неккера, который умел при помощи произведений, потворствовавших господствовавшим идеям и опубликованных в умело выбранные сроки, привлекать к себе внимание публики. Возможно, что в обычное время он мог бы быть полезен. Я этого не знаю и лично в это не верю. Но я уверен, что в 1788 году король не мог сделать худшего выбора. В период чисто внутреннего кризиса поставить во главе всех дел иностранца, обывателя маленькой республики, не принадлежащего к вероисповеданию большинства народа, с посредственными способностями, преисполненного самомнения, окруженного льстецами, лишеного личной устойчивости и вследствие этого нуждающегося в одобрении публики, — значило обращаться к человеку, который не мог сделать ничего иного, как созвать Генеральные штаты и притом плохо созвать. Правительство всячески показывало, что страшится их, но оно не знало той единственной причины, которая делала их грозными. Оно ошибалось в отношении характера опасности и ничего не предприняло для ее предупреждения, а наоборот, сделало ее неизбежной.

Генеральные штаты составлялись из представителей трех сословий, так что сделаться их участником и войти в них можно было лишь путем избрания. Вследствие этого все надежды и опасения зависели от результатов выборов, а сами эти результаты — от способа их проведения. Было очевидно, что единение трех сословий против трона морально немислимо, что он не может подвергнуться нападению ни со стороны первого,

ни со стороны второго сословия, ни вообще до тех пор, пока оба эти сословия существуют. Ясно было, что это нападение возможно только со стороны третьего сословия после его победы над двумя другими и что первые удары должны быть направлены именно против них. Так же точно было понятно, что первое и второе сословия ничего не могут захватить у третьего, не заинтересованы в нападении на него и не имеют к этому охоты, в то время как третье сословие находится в совершенно другом положении по отношению к двум другим, и поэтому следует остерегаться его одного и заранее себя от него предохранить. При таком положении вещей надо было стремиться к сохранению законных прав; было ясно, что эту цель нельзя достичь иначе, как приноравливая силу сопротивления двух первых сословий к агрессивности третьего, и что необходимо по возможности первую увеличить, а вторую сократить. Для этого существовали два способа. Можно было для каждого сословия установить такое число депутатов, чтобы оно могло быть заполнено его наиболее видными по положению и состоянию представителями, затем надо было ограничить либо право выбирать, либо же право быть выбранным, таким образом, чтобы избрание обязательно пало на этих лиц. Этим способом можно было добиться того, чтобы среди депутатов двух первых сословий корпоративный дух не был ослаблен никакой оппозицией, чтобы они были заинтересованы в защите друг друга, как самих себя, чтобы в случае нападения нападающий не имел тайных связей в их рядах и не нашел там сторонников и чтобы у депутатов третьего сословия страх неудачи уравнивал жажду приобретений, давая преобладание охранительным стремлениям над агрессивными. Можно было также (и это было бы наилучшее средство) заменить оба первых сословия палатой пэров, составленной из епископов и глав аристократических семейств, сочетающих наибольшую древность и богатство с блеском, а выборы ограничить третьим сословием, которое образовало бы отдельную палату.

После того как произошла революция, многие размышляли над тем, как возможно было ее предупредить, и изобретали разные способы, соответствующие предполагаемым ими причинам ее возникновения. Но в период, предшествовавший революции, ее можно было предупредить лишь одним из двух указанных мною способов.

Неккер не принял ни одного из них. Он установил число депутатов от каждого из двух первых сословий в триста человек, что было слишком много и принуждало избирать представителей их из низших слоев, которые следовало отстранить. С другой стороны, право выбирать и быть выбранным почти не было ограничено, так что среди депутатов своих сословий высшее духовенство и дворянство оказались в меньшинстве, а третье сословие было представлено лишь одними адвокатами, то есть людьми с опасными умственными навыками, неизбежно вытекающими из их профессии. Но из всех сделанных ошибок самая большая заключалась все же в предоставлении третьему сословию права избрать одному столько же депутатов, сколько выбирали два других вместе. Так как эта уступка могла ему быть полезной лишь в случае слияния всех трех сословий в одно собрание, то она была бы бесцельна, если бы возможность такого слияния не была заранее предусмотрена и на нее не было заранее дано согласие.

Таким образом узаконивались попытки третьего сословия добиться этой уступки; его шансы на успех повышались, а в случае этого успеха ему обеспечивалось безусловное преобладание в собрании, в котором сливались все три сословия.

Некоторые свойства Неккера мешали ему предвидеть последствия его собственных мероприятий и остеречься их. Он считал, что его влияние на Генеральные штаты будет всемогущим, что представители третьего сословия в особенности будут слушать его как пророка, будут смотреть на все лишь его глазами, не сделают ничего без его согласия и отнюдь не воспользуются наперекор ему оружием, которое он вкладывал им в руки. Иллюзия эта была недолговечна. Сверженный с той высоты, на которую его вознесло лишь одно тщеславие и с которой он надеялся управлять событиями, он ушел в изгнание оплакивать бедствия, которых он не хотел вызывать, и преступления, которых он по своей



честности ужасался, но которые он, вероятно, мог бы отстранить от Франции и всего мира, если бы оказался более умелым и менее самонадеянным.

Благодаря своей самонадеянности он был неспособен заметить, что происходившее тогда во Франции движение вызвано той страстью, или, скорее, заблуждениями той страсти, которая свойственна всем людям, именно тщеславием. Почти у всех народов она находится в подчиненном состоянии и составляет лишь оттенок в национальном характере, постоянно обращаясь лишь на какой-нибудь один предмет, но у французов, подобно тому как прежде у галлов, их предков, она примешивается ко всему и господствует повсюду, упорно проявляясь в действиях отдельных лиц и групп, благодаря чему она может доходить до самых крайних чрезмерностей.

Во французской революции эта страсть действовала не в одиночестве; она разбудила и призвала к себе на помощь другие, но они остались у нее в подчинении, приняли ее окраску и характер, действовали в ее духе и в ее целях. Так как она создала множество импульсов и направляла все движение, то можно сказать, что французская революция родилась из тщеславия.

Если страсть, о которой я говорю, направлена к определенной цели и остается в известных пределах, то она привязывает подданных к государству, одушевляет его и оживотворяет. В этом случае она получает и заслуживает название патриотизма, соревнования и любви к славе. Сама по себе и независимо от поставленной ей определенной цели она представляет лишь жажду преобладания. Можно желать преобладания своей стране, корпорации, к которой принадлежишь, можно желать его для себя, и в таком случае можно желать его в одном каком-нибудь отношении или в нескольких, в сфере, в которой действуешь, или вне ее. Можно, наконец, — но это уже признак некоторого безумия — желать его во всем и над всем. Если у большинства лиц, входящих в какое-нибудь государство, это желание обращено на общественные отличия, то они неизбежно обнаружат стремление к таким отличиям, на которые может рассчитывать каждый, а не к таким, которые по самому своему характеру могут сделаться достоянием лишь очень немногих; таким образом из стремления к превосходству рождается дух политического равенства. Это-то и случилось во Франции в период, предшествовавший революции. По революционному определению аббата Сиеса в его работах о привилегиях, это было естественное и неизбежное следствие того положения, в котором находилась Франция.

Государство, номинально разделенное на три сословия, фактически делилось лишь на два класса — класс благородных и класс плебеев; часть духовенства принадлежала к первому, а часть — ко второму из них.

Всякое преобладание в социальной системе основывается на одном из следующих условий: власть, рождение, богатство и личные заслуги.

После министерства кардинала Ришелье и при Людовике XIV вся политическая власть была сосредоточена в руках монарха, а сословное представительство ее совершенно утратило.

Промышленность и торговля создали плебейскому классу богатства, которые положили начало всякого рода заслугам.

Осталось, таким образом, лишь одно самостоятельное основание превосходства — рождение. Но так как дворянство давно уже стало приобретаться путем покупки должностей, то и рождение могло быть заменено деньгами, что низводило его до уровня богатства.

Сама аристократия снижала еще больше его значение, беря себе в жены дочерей разбогатевших выскочек, а не бедных девушек благородной крови. Дворянство, беднея, принижается в своем значении, между тем большинство дворянских семейств было относительно или безусловно бедно. Униженное бедностью, оно еще больше принижалось богатством, когда оно как бы приносилось в жертву богатству при неравных браках.

В церкви и в епископате наиболее доходные должности стали почти исключительно достоянием благородного сословия. Принципы, которым в этом отношении постоянно следовал Людовик XIV, были оставлены. Плебейская часть духовенства, то есть несравненно более многочисленная, была таким образом заинтересована в том, чтобы в его сословии заслуги не только всегда преобладали над рождением, но даже чтобы последнее не ставилось ни во что. В благородном сословии не было никакой определенной иерархии: титулы, которые должны были определять ранги, не имели твердого значения.

Вместо единого дворянства их существовало семь или восемь: военное, судейское, придворное, провинциальное, древнее и новое, высокое и мелкое. Одно считало себя выше другого, которое, со своей стороны, считало себя равным ему. Наряду с этими притязаниями плебей предъявлял свои собственные, почти равные притязаниям простого дворянина, вследствие легкости, с которой можно было им сделаться. Превосходя его часто по богатству и способностям, он отнюдь не считал себя ниже тех, которым этот простой дворянин считал себя равным.

Аристократия уже не жила в своих феодальных укреплениях. Война уже не составляла ее единственного занятия. Она уже не жила окруженная только дворянами или своими ратниками и челядью. Новый род жизни создал у нее иные вкусы, а эти вкусы вызвали новые потребности. Для этой часто праздной аристократии, единственным занятием которой были развлечения, стало потребностью все то, что устраняло скуку, что давало наслаждения. Богатый, просвещенный, совершенно от нее независимый плебей, который мог обойтись без нее, но без которого она обойтись не могла, относился к ней — о чем я уже говорил — как к равной.

Когда я говорил о высшем французском обществе эпохи революции, я стремился познакомить со всеми теми разнородными элементами, из которых оно тогда составлялось, и изобразить результаты, к которым должна была привести такая их разнохарактерность. Я подошел к моменту, когда любовь к равенству могла проявиться беспрепятственно и с поднятым забралом.

В просвещенные эпохи литературой, науками и искусствами занимаются люди, большинство которых принадлежит по своим личным достоинствам к наиболее высокому кругу, но связано по рождению и состоянию с самыми низкими слоями гражданского общества. Тайный инстинкт побуждает их стремиться к расширению принадлежащих им преимуществ до уровня тех прав, которых они лишены, если не выше. Кроме того, их цель заключается в достижении известности. Для этого надо прежде всего понравиться и заинтересовать, что достигается всего вернее лестью господствующим вкусам и преобладающим взглядам, которые укрепляются таким потворством. Нравы и взгляды устремлялись тогда к равенству, и эти люди стали его апостолами.

В те времена, когда не существовало другого богатства, кроме земельного, а оно находилось в руках дворянства, промышленным же трудом и торговлей занимались люди низшего происхождения, дворяне их презирали; а так как, презирая их когда-то, они считали своим правом и даже обязанностью презирать их постоянно (даже вступая с ними в родство, что представляло оскорбительную непоследовательность), то тем самым они раздражали самолюбие людей низкого происхождения, которые понимали, что нельзя презирать их занятия, не презирая их самих.

Среди обломков своих старинных прав дворянство сохранило некоторые привилегии, представлявшие в основе лишь вознаграждение за обязанности, которые оно когда-то несло, но от которых освободилось. Так как основ этих привилегий больше не существовало, то они казались несправедливыми, но не это делало их ненавистными. Прежде всего по своей форме, а не по распределению, налоги устанавливали такие различия, в которых плебейский класс видел не столько изъятие в пользу благородных, сколько оскорбление для себя. Эти чувства низшего сословия проистекали из сознания

равенства и укрепляли его. Тот, кто не желает, чтобы с ним обращались как с низшим, претендует быть равным или во всяком случае стремится к этому.

Я должен еще сказать, что та часть армии, которая была так неосторожно послана на помощь английским колониям, борющимся со своей метрополией, прониклась в Новом Свете доктринами равенства. Она вернулась, преисполненная восхищения ими и, возможно, желая осуществить их во Франции. Роковым образом маршал Сегюр решил как раз в этот момент предоставить все офицерские места в армии одному дворянству. Множество памфлетов высказалось против распоряжения, закрывавшего всем не дворянам карьеру, которую Фабер, Шевер, Катина и другие подобные им плебеи прошли со славой. Так как бедному дворянству было запрещено занимать доходные должности, то считали нужным дать ему это удовлетворение. Лишь одна эта сторона вопроса привлекла к себе внимание. Но вся мера, явно заменявшая личные достоинства рождением как раз в той области, в которой личные качества играют наибольшую роль, оскорбляла как разум, так и общественное мнение. Для вознаграждения дворян за потерю преимуществ, существование которых плебейский класс считал уже пережитком, ему причиняли несправедливость и наносили обиду. Солдат, уже восстановленных против существующей системы, окончательно отталкивали введением иностранной дисциплины, подвергавшей их такому обращению, которое во Франции всегда считалось за тяжелое оскорбление. Могло казаться, что затаенная цель сводилась к тому, чтобы в момент величайшей опасности наших храбрых солдат не оказалось на посту, что действительно и произошло.

Таким образом, все было во вред благородным: то, что у них отняли, то, что им оставили и что хотели им дать, бедность одной их части, богатство другой, пороки и даже самые добродетели.

Но все это, о чем я ясно сказал, говоря о втором министерстве Неккера, являлось в такой же степени результатом действий правительства, как и общего хода событий. Это отнюдь не было делом низших классов, которые лишь извлекали из них выгоду. Можно сказать, что равенство шло им навстречу. Для противодействия ему требовалось, чтобы масса людей обладала такой умеренностью и таким даром предусмотрительности, к которым едва способны лишь некоторые особо одаренные лица.

Равенство обоих классов, уже введенное новыми нравами и общественными воззрениями, неизбежно должно было быть установлено законами, как только представился бы к этому случай. Тотчас после открытия Генеральных штатов представители третьего сословия начали нападение на два других. Его главными вождями были люди, которые, не принадлежа к третьему сословию, были брошены в его ряды обидами оскорбленного честолюбия или желанием открыть себе при помощи популярности дорогу к богатству. Возможно, что их не трудно было бы подчинить должному руководству, но потребность в этом ощутили лишь тогда, когда это не могло уже ни к чему повести.

Всякий призванный войти в какую-либо корпорацию должен подвергнуться проверке права, в силу которых он сделался ее членом, и основания, по которым он в нее вошел. Но перед лицом кого должен он доказывать свои права? Очевидно, перед теми, кто заинтересован исключительно в том, чтобы никто не проник в это собрание на основании вымышленных или недостаточных прав, то есть только перед самой корпорацией, если она уже образована, а если нет, то перед большинством тех, кто призван в нее войти. Так требует разум, и политика всех народов во все время следовала этому правилу.

Между тем представители третьего сословия считали, что члены других сословий должны узаконить свои полномочия перед тремя сословиями и должны вследствие этого собраться в одном помещении, иначе говоря, что проверка полномочий должна происходить совместно. Как только такое притязание было бы допущено, представители третьего сословия сказали бы представителям двух других: признав следствие, вы неизбежно признали и самый принцип; подобная проверка полномочий предполагает, что представители всех трех сословий образуют одно собрание; единое собрание допускает

лишь общее обсуждение и индивидуальное голосование; так как представители всех трех сословий образуют одно собрание, то сословий больше нет, ибо сословия могут существовать лишь в виде отдельных и разделенных корпораций; там, где не существует сословий, должны прекратиться права и привилегии, образующие их. Этого хотели достичь представители третьего сословия, но, не дерзая идти к этому открыто, они избрали окольный путь.

Они продолжают настаивать на своих притязаниях, не предвидя всех их последствий и не отвергая их. В то время как продолжаются споры и обсуждение вопроса, представители третьего сословия объявляют себя Национальным собранием, придавая тем самым представителям двух других сословий характер как бы простых сборищ и предавая их народной ненависти, как чуждых нации и враждебных ей.

Я входил в состав представителей духовного сословия. Мое мнение сводилось к тому, что Генеральные штаты следует распустить и, исходя из существующего положения, созвать их заново, следуя одному из тех способов, которые я раньше указал. Я дал этот совет графу д'Артуа, который был тогда ко мне расположен и, если бы я смел воспользоваться употребленным им выражением, чувствовал ко мне дружбу. Мой совет был найден слишком рискованным. Это означало бы действовать силой, а вокруг короля не было никого, кто мог бы ее применить. Я имел ночью в Марли несколько свиданий, которые были все бесполезны и показали мне, что я не в состоянии ничего сделать и потому должен, не будучи безумным, позаботиться о самом себе.

Так как состав Генеральных штатов явно сводил первые два сословия к нулю, то оставалось лишь одно разумное решение: уступать до того, как к этому принудят силой, и пока еще можно было поставить себе это в заслугу. Таким путем можно было воспрепятствовать крайностям и сразу принудить третье сословие к осторожности, сохранить влияние на общие прения и выиграть время, что часто означает выигрыш всего. Если еще оставался шанс восстановить свои позиции, то только таким путем. Поэтому я, не колеблясь, присоединился к числу тех, которые стояли за него.

Борьба продолжается, король вмешивается в нее в качестве посредника и терпит неудачу. Он отдает приказания представителям третьего сословия, но его не слушают; для того чтобы они не могли собираться, запирают залу заседаний. Они переходят в здание для игры в мяч и клянутся не расходиться, не создав конституции, иначе говоря, не разрушив конституции королевства. Тогда начинают помышлять насильственно остановить движение, которое не умели предвидеть, но сила выпадает из рук желающих ее применить. В один день вся Франция— города, села, деревушки — оказывается под ружьем. На Бастилию производится нападение, она взята или сдана в течение двух часов, а ее комендант убит. Народной ярости приносятся еще и другие жертвы. Тогда все сдается, Генеральные штаты больше не существуют, они уступают место единому и всемогущему собранию, и принцип равенства освящается. Все, кто советовал применить силу, кто привел ее в движение, кто возглавлял ее, помышляют лишь о своей безопасности. Часть принцев покидает королевство, и начинается эмиграция.

Граф д'Артуа первый подал к ней сигнал. Его отъезд причинил мне чрезвычайное огорчение, так как я любил его. Мне потребовались все силы разума, чтобы не последовать за ним и противостоять госпоже Кариньян, которая настаивала от его имени, чтобы я отправился вслед за ним в Турин. Было бы ошибочно выводить из моего отказа, что я осуждал эмигрантов. Почти всеми ими руководило благородное чувство и большое самоотвержение, но эмиграция основывалась на ошибочных предположениях. Лежали ли в ее основании страх перед опасностью, оскорбленное самолюбие, желание вернуть силой оружия потерянное или представление о долге, который должен быть выполнен,— со всех этих точек зрения мне представлялось, что она основывается на неправильном расчете. Необходимость эмигрировать могла возникнуть лишь в том случае, если бы Франция не давала вообще убежища от личной опасности или убежища достаточно верного, то есть в случае общей опасности для дворянства. Но такой опасности тогда не существовало; ее

можно было предупредить, в то время как эмиграция прежде всего ее создала. Ни все дворянство в целом, ни его большинство не могло покинуть королевство. Возраст, пол, болезни, недостаток денег и другие не менее важные причины создавали для многих непреодолимое препятствие. Поэтому выехать могла лишь часть, и эта отсутствующая часть сословия неизбежно должна была скомпрометировать остальных. Подвергаясь подозрениям, а вскоре и ненависти, оставшиеся, которые не могли бежать, должны были из страха присоединиться к господствующему движению или сделаться его жертвой.

Дух равенства грозил тогда дворянству лишь одной потерей, именно титулов и привилегий. Эмиграция не предохранила от этой потери, но, напротив, эмигрировавшие французские дворяне подвергались опасности потерпеть еще более значительную утрату, именно имущества. Как бы ни была тяжела для дворянства потеря титулов и привилегий, все же она была несравненно легче, чем положение, в которое его ставил простой секвестр доходов. Сама по себе горечь от потери титулов могла быть смягчена уверенностью, что это поправимо, и даже надеждой на их восстановление. В великой и древней монархии дух равенства во всей его непреклонности представляет неизбежно временную болезнь, тем менее бурную и тем более короткую, чем слабее оказываемое ему сопротивление. Но имущества уже потерянные не так легко восстановить, как титулы; они могут быть отчуждены, переходить столько раз из рук в руки, что становится невозможным вернуть их и даже опасно пытаться это сделать. Тогда потеря их превращается в непоправимую беду не только для дворянства, но и для всего государства, которое не в состоянии полностью восстановить свою естественную организацию, когда один из его основных элементов уже не существует. Но дворянство, представляя основной элемент монархии, отнюдь не является простым ее элементом, так как одно рождение без состояния или состояние без рождения ни в коем случае не создают, с политической точки зрения, полного дворянства.

Нельзя было питать на этот счет иллюзии и верить, что все то что благородное сословие в целом при всей сохранившейся еще у него силе и влиянии не могло защитить и удержать, может быть возвращено одними лишь силами той части сословия, которая покинула отечество. Таким образом вся его надежда сводилась к помощи иностранцев. Но разве эта помощь не представляла никакой опасности? Можно ли было ее принять без недоверия, если бы она была предложена, или взывать к ней без колебания? Размер полученного оскорбления не мог оправдать тех, кто призывал в свою страну иностранные силы. Для оправдания таких действий требовалось бы сочетание многих обстоятельств; они должны были бы вызываться большой и очевидной пользой для страны, невозможностью действовать каким-либо другим способом, уверенностью в успехе и в том, что как существование страны, так и ее целостность и будущая независимость не потерпят никакого ущерба. Но какая же могла быть уверенность в том, что сделают иностранцы, оказавшись победителями? Какая могла быть уверенность, что они ими будут? Была ли уверенность в получении от них настоящей помощи, и следовало ли полагаться на простые надежды? Зачем забегать вперед в расчете на помощь, которая, может быть, не придет, в то время как даже при уверенности в ней разум требовал, чтобы все оставались спокойны и ждали ее? Если бы того требовала общественная польза, то, спокойно ожидая эту помощь, можно было достигнуть лучших результатов путем совместного действия с иностранцами; это увеличило бы шансы на успех и не скомпрометировало бы ничего; вместо этого, призывая их, компрометировали все — родных, друзей, богатство и вместе с тем трон, и даже не только трон, но и жизнь государя и его семьи, которая, очутившись на краю пропасти или уже в пропасти, могла бы воскликнуть, поняв причину своих бедствий:

“Вот куда нас привела эмиграция!”. (\*Я могу указать, что в прочтенных мною Воспоминаниях Клермон-Галлеранда имеется по этому поводу определенное мнение Людовика XVI. Они написаны рукой Клермона и находятся сейчас у маркиза Фонтенель. Клермон сообщает о возложенной на него королевем миссии отправиться в Кобленц. Ему было поручено описать братьям короля личную опасность, которой подверглась его жизнь благодаря эмиграции. Примечание Талейрана.)

Таким образом, эмиграция, которая далеко не может рассматриваться как исполнение долга, нуждается в оправдании, а его могла дать лишь огромная личная опасность, которой нельзя было бы избежать иным путем. Если когда-либо установится другой порядок вещей, то эти взгляды получат, как я надеюсь, распространение среди тех, которым, может быть, еще придется бороться с революционным потоком.

Итак, я решил не покидать Франции, пока меня к этому не принуждала личная опасность, не делать ничего, чтобы ее вызвать, не бороться с потоком, которому надо было дать пройти, но поставить себя в такое положение, чтобы иметь возможность спасти то, что еще можно было спасти, не мешать счастливому случаю и сохранить себя для него.

Еще прежде чем представители третьего сословия одержали победу над двумя другими, они занялись составлением декларации прав в подражание составленной английскими колониями, когда они провозгласили свою независимость. Ею продолжали заниматься и после слияния сословий. Эта декларация была не чем иным, как теорией равенства, сводившейся к следующему:

“Между людьми не существует никакого действительного различия и не должно быть никаких постоянных разделений, кроме тех, которые вызываются личными достоинствами. Различия, проистекающие из должностей, должны быть случайными и временными, чтобы право каждого претендовать на них не было иллюзорным. Народ является источником всякой политической власти, и он же ставит ей предел. Ему одному принадлежит суверенитет. То, что он желает, является законом, и ничто не может быть законом кроме того, что он желает. Если он не может сам осуществлять суверенитет, что бывает, когда он слишком многочислен для объединения в одном собрании, то он предоставляет его осуществление выбранным им представителям, которые могут делать все то, что мог бы делать он сам, и власть которых, вследствие этого, неограничена”.

Несовместимость наследственной монархии с подобной теорией была очевидна. Тем не менее Национальное собрание добросовестно желало сохранить монархию и применить к ней республиканскую теорию, которая овладела всеми умами. Оно даже не подозревало о трудности их примирения, настолько невежество самонадеянно и страсти слепы. Путем самой дерзкой и самой наглой узурпации Национальное собрание присваивает себе право осуществления того суверенитета, который оно признает за народом; оно объявляет себя Учредительным собранием, то есть наделяет себя правом разрушать все то, что существует, и заменять его всем, чем ему будет угодно.

Тогда же сложилась печальная уверенность, что если бы его захотели распустить, то оно бы не подчинилось, и что нет способов принудить его к послушанию. Спор с ним не привел бы ни к чему. Ограничиваясь оспариванием у него права, которое оно себе приписывало, нельзя было воспрепятствовать его действиям; протест против них был преисполнен опасностей, которые ничему не помешали бы. Но король мог ему сказать: “Вы возводите в принцип, что суверенитет принадлежит народу. Вы утверждаете, что он передал вам полноту его осуществления. У меня есть на этот счет сомнения, чтобы не сказать больше. Необходимо до перехода к дальнейшему разрешить этот вопрос. Я не притязую на то, чтобы стать его судьей, вы также не можете им быть, но народ является судьей, которого вы не вправе отвергнуть: я его опрошу, и его ответ будет для нас законом”.

Более чем вероятно, что при проявлении хотя бы небольшого умения в период, когда революционные идеи еще не заразили массу и когда то, что позже было названо революционными интересами, еще не существовало, народ отрекся бы от доктрин собрания и осудил его притязания. Тогда было бы очень легко его распустить. После такого осуждения этих доктрин и притязаний с ними было бы раз навсегда покончено, но если бы народ, напротив, одобрил их своим голосованием, то он должен был бы подвергнуться их последствиям и подвергнуться по справедливости, так как у него была возможность предохранить себя от них, но он этого не пожелал; на монарха не легла бы

тогда никакая ответственность. Из обращения к народу вытекала, правда, необходимость признать его за верховного владыку, если бы он объявил себя таковым; может быть, скажут, что этого следовало избежать любой ценой. Но в тот период обращение к народу не вызвало бы такой необходимости; напротив, оно представляло тогда единственный шанс ее избежать, превратив ее из уже наличной и безусловной в условную и просто возможную. Собрание присваивало себе власть, в основание которой оно клало суверенитет народа и которая не могла иметь другого оправдания. Признание этой власти вело, таким образом, тотчас же к признанию суверенитета народа и к абсолютной необходимости такого признания. Избегнуть этого можно было, лишь побудив собрание к отказу от своих притязаний, распустив его (два одинаково неисполнимых условия) или же призвав народ к голосованию против него, для чего надо было взять его в судьи. Тогда он либо осуществил бы, как мне кажется, возложенные на него надежды, либо же обманул бы их. В первом случае он пресек бы зло в момент его возникновения и обрел бы революцию на неудачу, во втором он сделал бы неизбежным то, что могло быть избегнуто только при его помощи, а это не увеличило бы зла, но лишь обнаружило бы его размеры. Отсутствие иллюзий относительно природы этого зла было бы даже полезно; была бы оставлена мысль победить мерами, способными лишь вызвать бедствие. Все почувствовали бы, что прежде, чем движение не пройдет всех стадий своего развития, нельзя рассчитывать ни на какие внутренние лекарства; поняли бы, насколько оно заразительно, и Европа не почил бы, как это случилось в действительности, в ложном и губительном сознании своей безопасности. Таким образом, даже в самом худшем случае обращение к народу было бы весьма полезным шагом, не представляющим никаких неудобств. Почему же его не сделали? Может быть, вследствие предубеждений или страстей, так как предубеждения и страсти владели не только одною из борющихся сторон; может быть, потому, что такая мысль не явилась никому из лиц, входивших тогда в королевский совет.

После нескольких попыток применения силы их оставили почти тотчас же, как они были задуманы. Начали действовать исключительно интригой и стали пытаться разрушить власть, которой позволили приобрести такую силу, что ее уже нельзя было сдерживать или даже направлять столь слабым орудием.

Национальное собрание было таким образом предоставлено более или менее самому себе. Среди волновавших его страстей оно быстро потеряло из виду все принципы, лежащие в основе общества. Оно забыло, что гражданское общество не может существовать без определенной организации.

Зачарованное химерическими идеями равенства и суверенитета народа, собрание совершило тысячи ошибок.

Короля наделили званием первого представителя и уполномоченного народа и главы исполнительной власти, то есть такими полномочиями, которые ему не принадлежали и из которых ни одно не определяло функций, присущих ему в качестве монарха.

Право созывать, отсрочивать и распускать Законодательное собрание было у него отнято.

Это собрание, ставшее уже властью, было сделано постоянным и должно было в определенные сроки выбираться заново. Оно должно было состоять лишь из одной палаты.

Каждый совершеннолетний француз, не служащий по найму и не приговоренный к уголовным или к позорящим наказаниям, имел право быть выбранным или выбирать, если он уплачивал пятьдесят франков или три франка прямых налогов.

Выборы должны были происходить при полном смешении всех профессий.

Избрание епископов, судей и администрации было передано избирательным собраниям.

Король мог лишь временно отстранять представителей администрации. Право отрешения от должностей было передано тем же собраниям. Судьи назначались лишь на

срок, Королю оставалась лишь инициатива мира или войны, но право формально объявлять войну или утверждать мир было предоставлено законодательной власти.

В армии ввели такую систему прохождения чинов, которая лишала короля двух третей его права назначения.

Король мог отвергать предложения Законодательного собрания, но с тем ограничением, что проекты, последовательно принятые тремя Законодательными собраниями, превращались в закон, несмотря на отказ короля в их утверждении.

Таков был основной закон, навязанный собранием политическому и гражданскому обществу во Франции; он сохранил лишь пустой призраок монархии.

Те, кто горячее других стремились к разрушению монархии, заметили, наконец, сами, что зашли слишком далеко, и попытались повернуть назад, но при этом они только утратили свою популярность. Поток, созданный невежеством и страстями, был так бурен, что его было невозможно остановить. Кто лучше предчувствовал связанные с ним опустошения, был вынужден ограничиться пассивной ролью, поскольку это допускалось осторожностью.

Я усвоил в общих чертах именно такое поведение. Тем не менее я счел нужным выступить по нескольким вопросам, относящимся к государственным финансам. Я возражал против выпуска ассигнаций и против понижения процентов по государственному долгу. Я установил довольно хорошо разработанные принципы, на которых, по моему мнению, должен был быть построен государственный банк. Я предложил декретировать единообразие мер и весов и взял на себя доклад о народном образовании от имени комитета по выработке конституции.

Для выполнения этой большой работы я обращался за указаниями к самым образованным лицам и самым видным ученым той эпохи, в которую жили Лагранж, Лавуазье, Лаплас, Монж, Кондорсе, Вик д'Азир, Лагарп, и они все помогли мне. Я должен упомянуть о них, так как эта работа приобрела некоторую известность.

Возникло одно обстоятельство, при котором я счел нужным выступить, несмотря на всю свою неохоту. Меня побудили к этому следующие доводы. Учредительное собрание претендовало на то, чтобы регулировать самостоятельно одними лишь гражданскими законами все то, что до того регулировалось совместно духовными и светскими властями при помощи как канонических, так и гражданских законов. Оно составило для духовенства особую конституцию<sup>(29)</sup> и потребовало от всех исправляющих свою должность церковнослужителей принесения ей присяги под угрозой объявления неподчинившихся отрешенными от должностей.

Почти все епископы отказались присягнуть; их кафедры были объявлены вакантными, и избирательные собрания назначили им заместителей. Новоизбранные были склонны отказаться от утверждения их римским престолом, но им невозможно было обойтись без посвящения на епископство, которое могло быть совершено лишь теми, кто носил этот сан. Если бы не нашлось никого для посвящения в епископский сан, то следовало бы сильно опасаться даже не упразднения культа, как это случилось несколько лет спустя, а иного. Меня сильнее пугала эта другая опасность, потому что она могла стать более длительной. Учредительное собрание могло при помощи своих доктрин толкнуть страну к пресвитерианству, которое более соответствовало господствовавшим тогда взглядам, и Франция могла отпасть от католичества, иерархия и формы которого гармонируют с монархической системой. Поэтому я воспользовался своим саном для посвящения одного из вновь избранных епископов, который в свою очередь посвятил других.

Исполнив это, я отказался от епископства Отенского и помышлял лишь об удалении от первого пройденного мною жизненного поприща. Я отдал себя во власть событий и мирился со всем, лишь бы только оставаться французом. Революция предвещала народу новые судьбы; я следовал за ее ходом и за ее превратностями. Я отдал ей в дар все свои способности, решив служить своей стране ради нее самой, и возложил все свои надежды на конституционные принципы, которые казались так близки к осуществлению. Этим



объясняется, почему и как я несколько раз брал на себя государственные дела, оставлял их и снова возвращался к ним, а также роль, которую я в них играл.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) *Эпохой регентства* (1715—1723) называется период со смерти Людовика XIV до смерти регента, племянника покойного короля, герцога Филиппа Орлеанского. Парламент, стремясь к усилению своего влияния, нарушил завещание Людовика XIV, устанавливавшее при регенте совет, и позволил ему править единолично. Эпоха регентства ознаменовалась огромным финансовым крахом. Опустошение государственной казны побудило правительство пойти навстречу предложению шотландского финансиста Джона Лоу и дать ему в 1716 г. разрешение на учреждение банка с правом выпуска билетов. Быстрый рост выпусков, сопровождавшийся спекуляцией фондами, завершился банкротством. Быт эпохи регентства ярко освещен в мемуарах Сен-Симона.
- (2) *Конституционная хартия* — основной закон, «октроированный» Людовиком XVIII 4 июня 1814 г., по которому законодательная власть делилась между пэрами, назначаемыми королем и передающими свое достоинство по наследству, и выборными депутатами, для которых устанавливался имущественный ценз.
- (3) *Колледж Гаркура* был основан в 1280 г. Раулем Гаркуром, каноником одной из парижских церквей. Впоследствии служил для подготовки богословов. Во время революции превращен в тюрьму, а после реставрации восстановлен в качестве лицея св. Людовика.
- (4) *Кoadьютором архиепископа* называется во Франции прелат, помогающий архиепископу в исполнении его обязанностей. В описываемое время коадьютором архиепископа реймского был Александр Талейран-Перигор (см. указатель).
- (5) *Конгрегация св. Сульпиция* ставила себе задачей устройство семинарий для духовенства. Парижская ее семинария была ликвидирована в 1906 г. с уничтожением во Франции всех духовных конгрегаций.
- (6) Талейран ничего не пишет о своем рукоположении в священство. Его друг Шуазель-Гуфье, посетивший его накануне того дня, сообщает, что нашел его в отчаянии. На попытки Шуазеля убедить его отказаться от церемонии, он воскликнул: «Слишком поздно, теперь нельзя отступить».
- (7) Церемония коронации Людовика XVI происходила 11 июня 1775 г.
- (8) *Собрания духовенства во Франции при старом порядке ведут свое начало с XVI века*. Они делились на частные, т. е. собрания духовенства одного епископства, провинциальные — одной провинции, и общие — для всего королевства. На этих собраниях обсуждались вопросы административно-хозяйственные и финансовые, а также вопросы взаимоотношения церкви и короны. Последнее общее собрание духовенства 1788 г. обмануло надежды правительства, высказавшись за созыв Генеральных штатов.
- (9) *Архиепископ нарбонский, о котором здесь идет речь*, — Артур Диллон (см. указатель).
- (10) *Счетная палата* — судебная палата, решавшая в последней инстанции все дела, связанные с финансовыми вопросами и расчетами.
- (11) *Генеральными штатами* назывались политические собрания представителей трех сословий, или штатов, при старом порядке, именно духовенства, дворянства и третьего сословия. Их называли генеральными, так как они объединяли депутатов со всего королевства. Наряду с ними существовали еще провинциальные штаты. Первое собрание Генеральных штатов относится к 1302 г., когда король Филипп Красивый созвал их впервые, ища у них поддержки в своей борьбе с папой. С 1614 г. до последнего созыва в 1789 г. Генеральные штаты не собирались ни разу.
- (12) *Провинциальные собрания были созданы при Людовике XVI* в качестве органов местного управления. Одна из их основных функций заключалась в раскладке податей. Они составлялись из представителей трех сословий и собирались на один месяц каждые два года. Половина их членов назначалась королем и избирала остальных. Провинциальные собрания не следует смешивать с провинциальными штатами, существовавшими со средних веков в некоторых, но далеко не во всех провинциях.
- (13) *Промотор* — духовное лицо при церковных учреждениях, например собраниях духовенства и епархиальных учреждениях, наблюдавшее за соблюдением привилегий духовенства и за сохранением формального порядка.
- (14) *Генеральные агенты духовенства*, которых было два, представляли при правительстве интересы духовенства и наблюдали за соблюдением церковных привилегий. Они избирались на пять лет собранием духовенства.
- (15) *Сорбонна* — сначала богословская школа и приют для бедных студентов, затем богословский факультет парижского университета. Основана в 1253 г. Робертом Сорбоном, духовником Людовика Святого. Как богословская школа упразднена в 1790 г. В 1808 г. ее здания переданы декретом Наполеона в распоряжение парижского университета.
- (16) Талейран был в молодости известен под именем аббата Перигора.
- (17) 26 сентября 1786 г. был подписан невыгодный для французской промышленной буржуазии торговый договор между Францией и Англией, утверждавший принцип свободного торгового обмена между обеими странами и составленный под сильным влиянием учения физиократов. За этим договором последовали до 1787 г. торговые договоры с Северо-Американскими Соединенными Штатами, Швецией, Испанией и Россией.

- (18) Под миром 1763 г. Талейран подразумевает Парижский договор, завершивший Семилетнюю войну, которая окончилась для Франции потерей Канады и некоторых владений в Индии.
- (19) *Утрехтский договор* 1713 г. закончил войну “за испанское наследство”, начавшуюся в 1701 г., когда после смерти последнего испанского Габсбурга, Карла II, Людовик XIV заявил притязание на Испанию от имени своего внука. Против Франции объединились Англия, Голландия, большая часть мелких государств Германской империи, Австрия, Савойя и Португалия. По Утрехтскому миру внук Людовика XIV был признан королем Испании под именем Филиппа V, с условием отказа от права наследования французской короны. Вскоре затем к нему перешел и Неаполь, и он положил начало династии испанских и неаполитанских Бурбонов. Для компенсации этих уступок, сделанных Франции, Англия получила крепость Гибралтар и владения в Северной Америке по обе стороны принадлежавшей Франции Канады, что положило начало преобладанию Англии в Средиземном море и ее господству в Северной Америке.
- (20) *Договор Метуена* — союзный и торговый договор между Англией и Португалией, заключенный в 1703 г., по которому Англии предоставлялось монопольное право ввоза в Португалию. Договор называется по имени заключившего его английского посла лорда Метуена.
- (21) *Фронда* — противоправительственная смута, продолжавшаяся с 1648 по 1653 г., после смерти Людовика XIII, в малолетство Людовика XIV. Она была поднята феодальной знатью, желавшей ограничить королевскую власть в интересах олигархии, и судебной аристократией в лице старинных судебных учреждений — парламентов. Последние требовали, чтобы подати налагались лишь с их согласия и чтобы никто не удерживался под арестом более суток, не будучи допрошен и передан законному судье. В этом требовании сказалось влияние английской революции. Правительство разбило недовольных поодиночке, сломило сеньоров, во главе которых стоял принц Конде, и открыло путь неограниченной монархии. Движение получило название от детской игры в прашу, именовавшейся фрондой, так как первоначально правительство не придавало ему серьезного значения.
- (22) Декларация о независимости Северо-Американских Соединенных Штатов относится к 4 июля 1776 г. Французское правительство признало новую республику и подписало с ней союзный договор в феврале 1778 г. Разрыв с Англией произошел 17 июня того же года.
- (23) *Собрания нотаблей, т. е. именитых граждан*, — чрезвычайные собрания представителей дворянства, духовенства и крупной буржуазии, созываемые именными приглашениями короля при старом порядке во Франции. Они позволили королю обходиться без Генеральных штатов, в то же время формально не нарушая традиции совещания с представителями трех сословий. Наиболее известно предреволюционное собрание нотаблей 1787 г., созванное для разрешения финансовых затруднений, и собрание 1788 г., подготовившее созыв Генеральных штатов.
- (24) *Парламенты* — высшие судебные учреждения в дореволюционной Франции, обладавшие важными политическими правами. Старейший из них, парижский, создан из королевской курии, в состав которой входили личные вассалы короля, высшие придворные чины и ближайшие королевские советники. В XV и XVI веках он начал играть политическую роль, в XVII веке пытался сохранить свое положение путем борьбы с Мазарини и участием во Фронде. Тогда оппозиция парижского парламента была сломлена. Но на протяжении всего XVIII века продолжалась его борьба с королевской властью. В 1788 г. парижский парламент потребовал созыва Генеральных штатов. Провинциальные парламенты, в числе тринадцати, создавались с начала XIV века до третьей четверти XVIII века, по мере роста французской территории. Все они были уничтожены 7 сентября 1791 г.
- (25) *Monsieur* — титул старшего из братьев французского короля. Здесь он относится к графу Прованскому, будущему Людовику XVIII.
- (26) Указанная глава о герцоге Орлеанском перенесена в настоящем издании по основаниям, приводимым в примечании 1 к главе VIII, в самый конец “Мемуаров”.
- (27) В 1785 г. в Голландии разразилась буржуазная революция, ограничившая власть штатгальтера (правителя), принца Вильгельма Оранского. Ему оказали помощь Англия и Пруссия. Франция, к которой обратились за содействием Штаты, не решилась вмешаться, голландцы были раздавлены пруссаками, полнота власти штатгальтера была восстановлена, Голландия была вынуждена заключить союзные договоры с Англией и Пруссией и обязаться соблюдать прежнюю конституцию, что наносило удар интересам Франции.
- (28) Генерал-лейтенант граф де Сен-Жермен, назначенный в 1776 г. военным министром, пытался ввести во французских войсках телесные наказания для солдат, но встретил сильное противодействие.
- (29) *Гражданское устройство духовенства, декретированное Учредительным собранием* в 1790 г., сводилось в основном к перепланированию епархий, с тем чтобы они соответствовали общему административному делению Франции, и к избранию священников и епископов самими верующими. Оно было осложнено требованием, чтобы духовенство присягнуло нации, что разбило его на два лагеря: с одной стороны, давших присягу и подчинившихся, и с другой — не давших ее и не признавших нового порядка. При заключении Наполеоном конкордата с папой гражданское устройство духовенства, введенное Учредительным собранием, было уничтожено.

## **Вторая глава (1791—1808 годы)**

Королевская власть превратилась после Учредительного собрания в простую тень, и притом тень, бледневшую с каждым днем. Нужно было прежде всего не подвергать эту слабую власть никаким опасностям, а ей создавали затруднения, пытаясь раньше времени вернуть утраченное ею реальное значение. Те, которые при тогдашнем ее положении хотели показать, что они ее еще боятся, только искали повода для окончательного ее уничтожения. Его не следовало им давать. Казалось недостаточно, что король подобен тростнику, торжествующему над силой ветра потому только, что он ей не сопротивляется: нужно было, чтобы его слуги вовне и внутри обрекли себя на полное бездействие и не обнаруживали никаких взглядов, в сочувствии которым его могли бы заподозрить. Но кто захочет следовать такой холодной политике? Революционное движение развивалось и потрясло все сословия.

Тогдашнее правительство(1), в которое Неккер уже не входил, чувствовало, что для королевской власти было бы полезно воздействовать на главные европейские дворы в том смысле, чтобы они не готовились к войне и разоружились. Руководители Законодательного собрания, известные под именем жирондистов, требовали этого шага, так как они были уверены, что правительство короля на это не пойдет. Они ошиблись: Лессар, бывший тогда министром иностранных дел, ухватился за эту идею и предложил мне отправиться с этой целью в Англию. Мне хотелось удалиться на некоторое время; я устал и испытывал ко всему отвращение, и хотя я знал, что миссия эта имела мало шансов на успех, я тем не менее на нее согласился. Король написал английскому королю письмо, которое я должен был ему вручить.

В 1790 году война была бы выгодна королевской власти. В 1792 году она неминуемо должна была ниспровергнуть трон; именно поэтому революционеры ее желали. Они считали (как затем признался один из них — Бриссо де Варвиль), что раз война начнется и королю придется вести ее, имея для этого в своем распоряжении только те средства, которые они ему предоставят, то он будет в их полной власти; очень легко будет возмутить против него армию и массы, сделав неизбежными поражения, за которые ответственность была бы возложена на него: ужасный расчет, который, как показали события, был сделан с редкой ловкостью. Может быть, удалось бы расстроить этот чудовищный замысел, заставив удалиться от границ королевства эмигрантов, стоявших вооруженными вблизи нее, и установить со всеми соседями мирные отношения. Ничего этого не было сделано, или, вернее, сделанные в этом направлении шаги были настолько нерешительны, что они оказались бесполезны; король по слабости, желая прежде всего устранить подозрение в том, что он находится в сообществе с заграницей, уступил принуждению и предложил собранию объявить войну, которую оно и поспешило декретировать. Судьба монархии была после этого решена. События, разыгравшиеся на границе, послужили предлогом для насилий 20 июня и вскоре затем для преступления 10 августа(2), свидетелем которого я сделался вследствие моего большого уважения к герцогу ла Рошфуко. По присланному им письму я вернулся в Париж, чтобы разделить почетные и полезные для страны опасности, испытываемые администрацией департамента Сены, к которой я имел честь принадлежать; они возникли вследствие популярности Петиона, бывшего тогда мэром Парижа и устраненного от должности одним из наших постановлений. Я должен добавить, что знаки одобрения, оказанные нам королевой, когда в день праздника Федерации мы проходили под балконом, на котором она находилась с королем, усилили угрозы и брань черни по нашему адресу.

После этого дня и разгрома прусской армии в Шампани революционеры вообразили, что навсегда уничтожили королевскую власть. Фанатизм ослеплял их; но те, которые воображали, что трон можно быстро восстановить и что Людовика XVI можно снова возвести на него силой, были не менее ослеплены.

При сложившемся тогда положении не следовало помышлять о короне для Людовика XVI. Нужно было думать о спасении его, королевы, их детей и сестры. Это было возможно, и во всяком случае нужно было попытаться это сделать. Франция находилась в войне еще только с императором, империей и Сардинией. Если бы все другие государства сообща предложили свое посредничество, соглашаясь признать ту форму правления, которую Франция изберет себе, под единственным условием, чтобы пленники в Тампле получили возможность покинуть страну и направиться туда, куда они пожелают, то демагоги должны были бы принять это предложение, хотя бы оно и не доставило им никакого удовольствия. Каким предлогом могли бы они прикрыть свой отказ? Разве они могли бы сказать Франции: “Нам предлагают всеобщий мир, а мы желаем всеобщей войны, в которой нам придется противостоять всей Европе... Наша независимость признается, а мы хотим поставить ее под вопрос и подвергнуть ее случайностям сражений... Никто не отрицает нашего права управлять собою, как нам нравится... Нам не намереваются навязать короля, но мы хотим убить того, который правил нами, чтобы права его перешли к его наследникам, которых мы не признаем, но которые будут признаны всей Европой и не находятся в наших руках”. Они так мало желали всеобщей войны, что поспешили сделать миролюбивые заявления всем тем правительствам, с которыми еще сохранился мир. Впрочем, лишь очень немногие из них жаждали крови Людовика XVI; если они ее затем пролили, то это было сделано по мотивам, которые не существовали бы, если бы Европа приняла указанную мною выше политику.

Итак, королевская семья могла быть спасена. Этим была бы предупреждена двадцатидвухлетняя война, опрокинувшая не один трон, едва не низложившая всех государей и угрожающая самой цивилизации, вследствие того, что восстановление некоторых из них было проведено неудачно. Революционное правительство (здесь следовало бы употребить варварское название — полигархия) было бы в таком случае уничтожено во Франции гораздо раньше, так как только внешние войны и победы могли его поддерживать.

После 10 августа 1792 года я просил временную исполнительную власть дать мне на некоторый срок поручение в Лондон. Для этого я выбрал научный вопрос, которым я имел некоторое право заняться, так как он был связан с предложением, сделанным мною раньше Учредительному собранию. Дело касалось введения по всему королевству единообразной системы мер и весов. По проверке правильности этой системы учеными всей Европы она могла бы быть принята повсеместно. Следовательно, было полезно обсудить этот вопрос сообща с Англией.

Моей истинной целью было уехать из Франции, где мне казалось бесполезным и даже опасным оставаться, но откуда я хотел уехать только с законным паспортом, чтобы не закрыть себе навсегда пути к возвращению.

Страсти владели европейскими кабинетами, как они владели Францией. Там воображали, что Франция не могла бы противостоять нападению на нее со всех сторон. Было решено воевать с ней, причем все только и говорили о победах; от них ждали таких плодов, что упустили из виду опасности, грозившие королевской семье. Поняв неизбежность войны, республиканцы первые ее объявили, чтобы показать, что они ее не боятся.

Я провел в Англии весь страшный 1793 год и часть 1794 года. Меня принял с чрезвычайной любезностью маркиз Ленсдаун, которого я встречал в Париже; это был человек очень благородного ума, живой и блестящий в беседе. Он еще не поддался тогда влиянию возраста. Против него было выдвинуто пошлое обвинение в коварстве, которое всегда служит как в Англии, так и во Франции для удаления людей, превосходства которых боятся; именно это помешало ему вернуться к государственной деятельности. Я часто с ним встречался, и он любезно извещал меня каждый раз, когда какой-либо выдающийся человек, с которым я желал познакомиться, посещал его. У него я встретился с Гастингсом, доктором Прайсом, доктором Пристли, подружился с Каннингом, Ромильи,

Робертом Смитом, Дюмоном, Бентамом и с самим сыном лорда Ленсдауна, лордом Генри Петти, который олицетворял в себе в это время одну из надежд Англии. Все друзья Фокса, с которым я в разные периоды находился в тесных отношениях, старались сделать мое пребывание в Лондоне приятным. Я проводил утра за писанием и был очень удивлен, когда по моем возвращении из Америки во Францию мне прислали все заметки, написанные мною в этот период, и я обнаружил, что они совершенно бесполезны для той работы, которую я пытаюсь теперь написать. Мне невозможно изложить события этой эпохи; я их не знаю, нить их для меня потеряна.

К тому же, вследствие моего отсутствия из Франции в самые страшные годы революции, я не знал подробностей этих событий; я едва мог улавливать издалека их основные черты. Кроме того, я слишком часто старался отвести взор от этих отвратительных картин, в которых величайшая мерзость смешивалась с величайшей жестокостью, чтобы быть в состоянии их изобразить. Мы еще сохранили память о царствовании Генриха IV, о всем царствовании Людовика XIV, а события вчерашнего дня становятся сомнительными для тех самых людей, которые принимали в них какое-то участие: быстро сменяясь, они сами почти стирают остающиеся от них воспоминания. Может быть, от всего исходящего от народа остается только легкий отпечаток; его действия оставляют после себя преходящий след, а природа людей, которыми он пользуется, такова, что не способствует сохранению памяти о них. Неизвестные до самого дня их появления на сцене, они возвращаются в безвестность, как только оканчивается их роль.

Признаюсь, что я без всякого огорчения отнесся бы к забвению подробностей этого великого бедствия; они не имеют никакого исторического значения. Какие уроки могли бы люди извлечь из действий, лишенных плана, цели, внезапно вызванных разнузданными страстями?

Знание событий, предшествовавших катастрофе, скорее может служить для людей уроком, полезным во всех отношениях, а между тем все материалы для этого еще существуют; они помогут распознать многочисленные основные причины революции; тут откроется картина человеческих страстей, которую полезно показывать каждому, потому что она поучительна и для государей, и для вельмож, и для народов. В настоящем труде я изложил все, что было мне лично известно на эту тему; я предлагаю моим современникам последовать моему примеру, и они, вероятно, сделают это лучше моего. На мой взгляд возвращение к этим событиям прошлого имеет неоценимое преимущество, обеспечивая от всякой нетерпимости. Изучая события двадцати последних лет монархии, всякий человек, обладающий какой-либо возвышенностью мыслей и добросовестностью, должен будет признать за собой известную долю вины, вспоминая все, что он делал или что он говорил, что он писал или одобрял; каждый имел какое-то влияние; я готов сказать, что никто не знает, какие примеры он подал. Таким образом я отрицаю за людьми, которых я когда-либо встречал, будь они государи или частные лица, способность целиком понять лежащую на них ответственность.

Я не хочу сказать, что непредусмотрительность всегда одинаково вредна, от кого бы она ни исходила, но никто не может с точностью установить, какого упрека он заслуживает. Эпоха, в которую человек действует, обстоятельства, в которых он находится, определяют или по меньшей мере видоизменяют характер всех его поступков. То, что понятно, может быть, даже извинительно сегодня, заслуживает порицания завтра. К тому же я настаиваю на этом обращении к совести всех французов только для того, чтобы попытаться уничтожить всякое чувство ненависти и нетерпимости и чтобы создать благожелательное настроение, столь давно уже изгнанное с нашей прекрасной родины.

Я не имел намерения долго оставаться в Англии. Хотя номинально я был поставлен во Франции вне закона, я не хотел причислить себя к категории эмигрантов, к которой я не принадлежал. Но английский министр думал проявить свое рвение к общему делу, удовлетворив сначала известное чувство вражды к эмиграции, и поэтому,

воспользовавшись законом об иностранцах (Alien Bill)(3), которого он добился от парламента, он дал мне предписание в двадцать четыре часа покинуть Англию. Если бы я последовал своему первому побуждению, я бы немедленно выехал, но чувство достоинства заставило меня протестовать против несправедливого преследования. Поэтому я обращался последовательно к Дендасу, Питту, к самому королю; когда мои ходатайства были отвергнуты, я вынужден был подчиниться и сел на судно, которое должно было раньше других отплыть в Американские Соединенные Штаты. Встречный ветер и дела капитана задержали нас на Темзе приблизительно на пятнадцать дней. Я не хотел принять предложения одного друга Дендаса, который явился на судно, чтобы настаивать на моем переходе в принадлежавший ему дом поблизости от побережья.

Все эти отказы доставляли мне удовольствие; несправедливое преследование имеет свои прелести. Я никогда не отдавал себе полного отчета в своих тогдашних ощущениях, но несомненно, что я испытывал известного рода удовлетворение. Мне кажется, что в это время общих бедствий я бы почти жалел, если бы также не подвергся гонениям.

Наконец мы отплыли. На второй день, едва выйдя из Темзы, мы испытали жестокую бурю. Я находился тогда между Францией и Англией. Это было, несомненно, одно из самых критических положений, в каком только можно было очутиться. Я видел Францию... Моя голова была там внесена в проскрипционный список... Возвратиться в Англию... Моей безопасности там ничто не угрожало, но было слишком тягостно просить убежища у правительства, которое хотело меня оскорбить.

К счастью, угрожавшая нам опасность, замеченная с берега, побудила нескольких моряков из Фальмута презреть ярость моря и прийти к нам на помощь. Мы смогли укрыться в порту. Пока чинили наше судно, у которого пострадали все снасти, одно довольно примечательное обстоятельство прибавило новое впечатление ко всем тем, которые мне пришлось пережить во время этого путешествия. Содержатель постоянного двора, у которого мы довольствовались, сообщил мне, что у него стоит один американский генерал. Я высказал желание его видеть. После обмена обычными любезностями я задал ему несколько вопросов о его стране, которые, начиная уже с первого из них, как мне казалось, затруднили его. После нескольких бесполезных попыток оживить разговор, который он вяло поддерживал, я спросил его, не даст ли он мне писем в Америку. “Нет,— сказал он, и после нескольких мгновений молчания, видя мое изумление, он добавил: — я, может быть, единственный американец, который не может дать вам писем к себе на родину... Все мои связи с ней разорваны... Я никогда не смогу туда вернуться”. Он не решался назвать себя. Это был генерал Арнольд! Я должен признаться, что мне стало очень жаль его, за что политические пуритане, может быть, осудят меня, но я себя за это не упрекаю, так как я присутствовал при его терзаниях.

Мы покинули Фальмут. Ветер был нам благоприятен; каждый пассажир на палубе корабля восклицал с выражением радости, обращая взор к берегу: “Я еще вижу землю”. Один я испытал облегчение, когда перестал ее видеть. В этот момент море имело для меня большую прелесть; ощущения, которые оно вызывало, соответствовали моему настроению.

После нескольких недель плавания я был как-то утром разбужен криком, которого я опасался: “Земля! Земля!” Капитан, экипаж и пассажиры — все обнаруживали самую нетерпеливую радость. Поднявшись на палубу, я заметил одновременно лоцмана, явившегося, чтобы провести нас в Делавэр, и судно, покидавшее берег. Я спросил лоцмана о назначении этого судна. Он сказал мне, что оно плывет в Калькутту. Тогда я немедленно послал к капитану судна барку, чтобы спросить его, не согласится ли он взять еще одного пассажира. Назначение судна было для меня безразлично; путешествие должно было быть продолжительным, а я именно желал не покидать моря. Так как места для пассажиров были все заняты, то мне пришлось продолжать путь в Филадельфию.

Я прибыл туда, преисполненный нерасположения к новизнам, которые обычно интересуют путешественников. С трудом я возбудил в себе некоторое любопытство. В

Филадельфии я встретил голландца Казенове, которого я знал в Париже, человека довольно просвещенного ума, но медлительного и робкого, с очень беспечным характером. Он был мне весьма полезен как своими достоинствами, так и недостатками. Так как он мне ничем не докучал и так как сам он мало чем интересовался, то мне не приходилось давать ему отпора. Не встречая ни противодействия, ни советов, ни указаний, я руководствовался только своим инстинктом и незаметным образом начинал с большим вниманием относиться к величественной картине, которая была у меня перед глазами.

Прошло только двенадцать лет с тех пор, как Северная Америка перестала быть колонией, но первый период свободы был потерян для ее благоденствия вследствие неудовлетворительности ее первой конституции. Ввиду того, что основы общественного доверия не были заложены, бумажные деньги, более или менее обесцененные, возбудили корыстолюбие, способствовали недобросовестности, внесли неуверенность во все сделки и заставили упустить из виду учреждения, провозглашенные в первые годы независимости. Лишь в 1789 году, в эпоху новой феодальной конституции, собственность в Соединенных Штатах получила истинную устойчивость, были установлены социальные гарантии, обеспечивающие внешние сношения, и правительство Соединенных Штатов заняло надлежащее место среди держав.

Это было начало Соединенных Штатов.

Влечение к морю продолжало меня преследовать, и пребывание в этой громадной стране, ничего не напоминавшей мне, почти не означало для меня расставания с ним.

Я подумывал об отъезде из Филадельфии. Мне хотелось испытать утомление, и я предложил Бомецу и голландцу по имени Гейдекопер совершить со мной путешествие внутрь страны. Они согласились, и я должен признаться, что уже с первых дней это предприятие понравилось мне. Я был поражен: менее чем в пятидесяти лье от столицы не было видно и следа человеческой деятельности; я видел природу, совершенно необработанную, совершенно дикую; леса, столь же древние, как мир; остатки растений и деревьев, умерших от ветхости, которые устилали землю, произведшую их без обработки; другие, растущие в замену им и предназначенные для гибели, как они; лианы, часто преграждавшие нам путь; берега рек, покрытые яркой молодой зеленью; иногда большие пространства прерий; в других местах новые для меня цветы; затем следы прошедших ураганов, снесших все, что повстречалось им на пути. Длинные полосы с валежником, имеющие определенное направление, показывают изумительную силу этих ужасных явлений. Когда всходишь на небольшое возвышение, взор теряется в необозримых пространствах с самыми разнообразными и приятными видами. Вершины деревьев, неровности почвы, одни только прерывающие однообразие громадных просторов, производят своеобразное впечатление. Наше воображение разыгрывалось на этом обширном пространстве, мы строили там мысленно города, деревни, поселки; на горных вершинах должны были остаться леса, склоны должны были покрыться нивами, и уже стада шли пастись на луга долины, расстилавшейся перед нашими глазами. Мысли о будущем придают путешествиям в такие страны невыразимую прелесть. Таково было еще недавно, говорил я, место, где Пени и две тысячи изгнанников заложили основы Филадельфии, в которой восемьдесят тысяч жителей пользуются теперь всей европейской роскошью. Таков был несколько лет тому назад красивый маленький город Вифлеем(4), население которого, состоящее из выходцев из Моравии, поддерживает в домах такую чистоту, что ею можно восторгаться, как и поразительным плодородием окружающих его земель. Когда был заключен мир 1783 года, город Балтимора был простым рыбацким поселком; теперь в нем всюду возвышаются обширные и нарядные дома, споря за место с деревьями, корни которых еще не успели исчезнуть. Нельзя сделать ни одного шага, чтобы не убедиться в том, что непреодолимое естественное развитие требует, чтобы многочисленное население оживило когда-либо эти безжизненные земельные просторы, ждущие только оплодотворения их человеческой рукой. Я предоставляю другим

удовольствие делать в этом отношении какие-либо предсказания. Сам же я ограничусь указанием на то, что, как только удалишься в любом направлении на несколько миль от приморских городов, тотчас узнаешь, что веселые и плодородные места, которыми любишь, были десять, пять лет или два года тому назад покрыты безлюдным лесом. Одинаковые причины должны вызывать одинаковые следствия, особенно когда они действуют со все возрастающей силой. Следовательно, население будет совершать каждый день все новые завоевания на этих невозделанных пространствах, еще несоразмерно великих в сравнении с возделанной частью Северной Америки.

Насытившись этими мыслями или, вернее, этими впечатлениями, не имея ни достаточно пустую, ни достаточно деятельную голову, чтобы ощущать потребность написать книгу, я приближался к городам с желанием, чтобы значительная часть капиталов, искавших в Америке прибежища, была употреблена на поднятие целины и большие сельскохозяйственные работы.

Молодой народ, нравы которого, не проходя всех стадий медленного развития цивилизации, сложились по образцу утонченных уже нравов Европы, нуждается в обращении к природе, к ее великой школе. Именно с сельского хозяйства должны начинать все государства. Это оно образует — в этом я согласен со всеми экономистами — первую основу социального развития, научает уважению к собственности и пониманию того, что наши интересы слепы, если они находятся в слишком большом противоречии с интересами других; это оно открывает нам самым непосредственным образом необходимое соотношение между обязанностями и правами человека; это оно, привязывая землевладельцев к их полям, привязывает человека к его родине; это оно с самых своих начатков заставляет понять необходимость разделения труда, представляющего источник всякого общественного и частного благосостояния; это оно заполняет сердце и интересы человека и заставляет его считать многочисленную семью своим богатством; это оно научает нас смирению и подчиняет благодаря этому наш разум высшему, универсальному порядку, который правит миром. Из всего этого я заключаю, что только оно одно может противодействовать революции, потому что оно одно с пользой употребляет все силы человека, умеряет его, не делая его безучастным, научает его уважению к опыту, которым он проверяет новые начинания; еще потому, что оно всегда предлагает взору великие плоды простой регулярности труда; наконец, потому, что оно никого не торопит и ничего не замедляет.

В революционные времена способностью считается только дерзость, а величию только крайность. Когда им хотят положить конец, нужно осмотрительностью заменить отвагу, и тогда величие будут усматривать лишь в умеренности, способность лишь в осторожности. Следовательно, правительство, желающее быть свободным и не желающее тревожить человечество, должно направить свои главные усилия в сторону умеряющих начал. Сельское хозяйство отнюдь не заключает в себе завоевательных стремлений: оно созидает. Торговля завоевательна: она стремится к распространению.

После французской революции внешняя торговля встречала слишком много препятствий, чтобы сделаться основной отраслью хозяйства Франции и, следовательно, чтобы влиять на нравы страны. Когда возбуждение и химеры сохраняют власть над умами и мысли направлены благодаря тому на спекуляцию государственными бумагами, — чего нужно весьма опасаться, — то неизбежны серьезные опасности, потому что в такого рода комбинациях слишком обычна хитрость, а удача и разорение наступают слишком стремительно.

Американское правительство дало географическим условиям слишком большую власть над собой; оно слишком поощряло дух предприимчивости: так, еще до заселения Америке потребовалась Луизиана(5); ей требуется теперь Флорида(6). Торговля желает получить порты и рейды от реки св. Креста вблизи реки св. Лаврентия до Мексиканского залива, а между тем девять десятых из пятисот миллионов акров земли, составляющих Северную Америку, еще не возделаны. Слишком много энергии направлено на коммерцию и



слишком мало на обработку земли; это основное направление, принятое всеми мыслями страны, создало неправильности в ее социальном устройстве. Не нужно проехать и тридцати лье в глубь страны, чтобы увидеть в одном и том же месте натуральный товарообмен и выдачу векселей на первостепенные рынки Европы; это слишком большое несоответствие; тут имеется какая-то социальная болезнь.

Я видел в шестидесяти милях от Бостона, как шесть тысяч футов досок обменивались на одного быка, а в Бостоне — как шляпы из флорентийской соломки покупались за двадцать пять луидоров.

Вынужденный остановиться вследствие сильной грозы в Макиа, вблизи Френчмен-Бей, у границы восточных провинций я задал несколько вопросов человеку, у которого я жил. Он занимал лучший дом в этом месте и был, как говорят там, *человеком весьма почтенным*. Когда тема о качестве земель и цене их была исчерпана, я спросил его, бывал ли он в Филадельфии. Он ответил, что еще не бывал, а между тем ему было около сорока пяти лет. Я едва решился спросить его, знает ли он генерала Вашингтона. “Я никогда не видел его”, — сказал он мне. “Если бы вы отправились в Вашингтон, были бы вы рады увидеть его?” — “О да! конечно, но я бы особенно хотел, — добавил он с оживленным взором, — видеть Бингама, про которого говорят, что он так богат”.

В Америке я повсеместно встречал такой же и часто так же грубо выраженный восторг перед деньгами. Роскошь развивалась там слишком быстро. Когда основные потребности человека едва удовлетворены, роскошь кажется неприличной. Я помню в салоне мадам Робер-Моррис шляпу, сделанную на родине хозяина дома, которая лежала на изящном столике из севрского фарфора, купленном в Трианоне одним американцем. Едва ли какой-либо европейский крестьянин захотел бы надеть ее на голову. Смит жил на берегу реки Огайо в доме того типа, который известен в стране под названием бревенчатого. Стены таких домов возводятся из неотесанных бревен. В гостиной стояло фортепиано, украшенное отличной бронзой. Бомец открыл его. “Не пытайтесь играть на нем, — сказал ему Смит, — наш настройщик, живущий в ста милях отсюда, в этом году не приезжал” (\* *Во время путешествия я испытывал ощущение, навсегда запомнившееся мне. Когда имеешь деятельный ум и с тревогой ожидаешь вестей с родины, не так-то легко попусту терять время. Причины переживаемых при этом волнений не лежат только вовне. Заблудиться в дремучем лесу, где нет дороги, очутиться там среди ночи верхом на лошади, звать друг друга, чтобы убедиться, что вы не разошлись со спутником, — все это переживания, которые трудно описать, потому что ко всякому малейшему событию примешивается, род веселости, вызываемой собственным положением. Когда я кричал: “N.., вы здесь?” и он мне отвечал: “О, бог мой, да, я здесь, ваше высокопреосвященство”, я не мог не смеяться над положением, в котором мы очутились. Это жалобное “О, бог мой, да” и это “ваше высокопреосвященство”, относящееся к сану оленского епископа, заставляли меня смеяться. Однажды в глубине Коннектикута мы остановились после очень долгой ходьбы в доме, в котором нам согласились дать ночлег и даже ужин. Там имелось несколько больше съестных припасов, чем бывает обычно в американском доме. Приютившая нас семья состояла из старца, женщины приблизительно пятидесяти лет, двух взрослых молодых людей и молодой девушки. Нам подали копченую рыбу, ветчину, картофель, крепкое пиво и водку. Очень скоро пиво и водка оживили разговор. Оба молодых человека, несколько возбужденные вином, говорили о своем отъезде: они отправлялись на несколько недель охотиться на бобров и так живо и интересно об этом рассказывали, что после того, как мы выпили несколько рюмок водки, у меня, Бомеца и Гейдекопера явилось страстное желание присоединиться к ним. Нам представлялся новый способ провести или затратить несколько недель. В ответ на каждый задаваемый нами вопрос нас заставляли пить. От этого длинного вечера мне запомнилось лишь, что мех бобра хорош только поздней осенью, что его убивают в засаде, что ему протягивают приманку на пике, что на его берлогу нападают во время мороза, что тогда он прячется под водой, но так как он не может долго там оставаться, то подходит, чтобы подышать, к отверстиям, пробиваемым во льду, и тогда его хватают за йогу. Вся эта маленькая война заинтересовала нас настолько, что Бомец, более страстный охотник или более жизнерадостный человек, чем другие, предложил этим господам принять нас в свое маленькое предприятие. Они согласились. И вот мы оказались завербованы в общество охотников Коннектикута. Окончательно условившись, все кое-как нашли свои кровати. Наступило утро; действие водки уступило сну; нам стало казаться, что груз, который приходилось брать с собой, слишком тяжел. Я полагаю, что съестные припасы весили в самом деле около сорока фунтов; нам казалось, что провести два месяца в лесах или болотах — это долгий срок, и мы стали отказываться от данного накануне обещания. Несколько долларов, оставленных нами в этом доме, освободили нас от данного нами слова, и мы продолжали наш путь, или вернее, наше путешествие,*

*несколько пристыженные тем, что мы наделали накануне. Примечание Талейрана).*

Для нас, старых европейцев, есть что-то неумелое во всех проявлениях роскоши в Америке. Я согласен с тем, что у нас роскошь обнаруживает часто нашу непредусмотрительность, наше легкомыслие, но в Америке она выставляет напоказ только недостатки, доказывающие, что в американские нравы не проникло еще изящество ни в образе жизни, ни даже в развлечениях. Нужно простить мне некоторую растянутость, когда я говорю об Америке. Я был там так одинок, что множество мыслей, которые я не мог высказать в беседе, выливаются теперь из-под моего пера.

Я воспользовался двумя зимами, проведенными в Филадельфии и Нью-Йорке, чтобы повидать главных лиц, имена которых американская революция внесла в историю, в особенности генерала Гамильтона, который в силу своего ума и характера казался мне даже при жизни Питта и Фокса на уровне самых выдающихся государственных деятелей Европы.

Во время моего путешествия я заметил, как я указывал выше, что сельское хозяйство не пользовалось большим покровительством, что торговле покровительствовали больше, что само правительство в выборе между этими двумя источниками благосостояния перетягивало чашу весов в пользу торговли; оно делало это еще совсем недавно, увеличивая реальные средства страны при помощи фиктивных средств, получаемых от организации общественных банков, сеть которых покрыта вся Америка и которые направлены исключительно к выгоде торговли. Когда это направление было раз усвоено, тщеславие и корыстолюбие заклеямили как узость взглядов все, что носило характер благоразумия, умеренности и простой честности. Опрокинув преграды, возведенные некогда метрополией, которая сосредоточивала у себя произведения своих колоний и регулировала ее самой предписываемыми правилами их спекуляции, Американские Соединенные Штаты с успехом пользуются теперь преимуществами своего положения и властью, полученной ими благодаря освобождению. Они внезапно выбрасывают на все рынки Старого Света массу товаров. Последние немедленно изменяют все цены и вызывают этим в торговле неизбежные пертурбации. Основная причина всех этих беспорядков заключается в большом расстоянии между восточными и южными портами Америки, из которых в одно и то же время года отходят во все европейские порты тысячи судов, груженных одинаковыми продуктами. Поэтому торговля Нового Света с Европой будет еще долго подвергаться непредвидимым случайностям.

Долгими вечерами, посвященными мыслям о моей несчастной родине, которой смуты меня так болезненно удручали, я часто предавался размышлениям о ее будущем. В такие минуты я искал способов устранения или по крайней мере уменьшения трудностей, препятствовавших торговым сношениям между Францией и Америкой, выгодным для них обеих.

Я отлично чувствовал всю химеричность изысканий, которыми я позволял своему воображению заниматься, но они мне нравились. Отложить свои предположения, как мне это подсказывал разум, до того времени, когда наметившийся спор Испании с ее колониями был бы тем или иным способом разрешен, это значило бы надолго отодвинуть осуществление моих чаяний, а между тем только тогда морские и торговые отношения великих государств могли бы получить правильное развитие. Итак, мои надежды на установление порядка разрушались каждый день заново всем тем, что я имел перед глазами.

В 1794 году я был свидетелем возвращения первой американской экспедиции, побывавшей в Бенгалии; судовладельцы получили громадные прибыли, и на следующий год четырнадцать американских судов вышли из разных портов, направляясь в Индию, чтобы соперничать с английской компанией за богатые прибыли. Конкуренция Америки с ее внезапными проявлениями носит несколько враждебный к другим странам характер. Она до бесконечности разнообразит шансы торговли, результаты которой редко служат поэтому вознаграждением искусной комбинации. Это происходит в такую эпоху, когда

население во всех цивилизованных странах увеличивается и когда потребности, порождаемые этим ростом, еще усиливают и без того деятельные человеческие страсти, По всем этим соображениям весьма трудно предсказать будущее и, конечно, почти невозможно руководить им.

Но ничто не затрудняет человека, который, будучи вдали от своей родины, живет на постоялом дворе или в дурном помещении: все представляется более трудным тому, кто мирно сидит под своей собственной кровлей. Итак, я пользовался расположением моего ума, вызванным тесной комнаткой, чтобы заниматься большой политикой и приводить в порядок дела мира. Построив в качестве доброго члена Учредительного собрания отвлеченное понятие человеческой природы, я обратился к философскому духу с требованием создания нового кодекса международного права; я желал, чтобы, уравновесив интересы народов и частных лиц, он сблизил их в общих политических интересах государств и установил в их обычных отношениях свободное равенство. Мне кажется, что я начал проникаться политической теорией абсолютной свободы торговли и упразднения таможенных пошлин, которую приходилось ввести в круг моих умственных спекуляций, когда вдруг американским конгрессом, по предложению моего друга Гамильтона, был принят новый таможенный тариф. Еще первые мои беседы с ним вращались около этих вопросов американской администрации. «Ваши экономисты увлеклись прекрасной мечтой,—говорил он мне,—это химерическое увлечение людей, преследующих благие намерения. Может быть,—добавлял он,— нам удалось бы теоретически опровергнуть их систему и доказать ее ошибочность; но оставим им их приятные иллюзии; современное состояние мировых дел достаточно доказывает, что осуществление их плана должно быть по меньшей мере отсрочено; согласимся с этим». Я слабо защищал экономистов, но мне трудно было отказаться от мысли, что возможны некоторые либеральные меры, выгодные для всех торгующих народов. Филантропические идеи легко приходят на ум, когда находишься в своей стране вне закона.

Гамильтон, казалось мне, менее решительно отвергал возможность увидеть однажды твердое и постоянное разделение всей промышленности между разными странами.

Европа, говорил я ему, имеет и с успехом развивает все отрасли промышленности, производящие предметы роскоши и все то, что способствует увеличению удобств жизни.

Новый Свет обладает богатством, которое свойственно и подходит именно ему, он имеет сельскохозяйственные культуры, которые всегда будут с успехом соперничать с такими же культурами других стран, введенными там для конкуренции.

Разве эти два способа применения человеческого труда не могли бы служить, по крайней мере на долгий срок, основой и мерилom отношений, которые неизбежно должны установиться между народами. Одни из них будут каждый день испытывать потребность в получении по умеренной цене самых необходимых в жизненном обиходе вещей, а другие — желание пользоваться тем, что способствует увеличению приятности и удобства жизни.

Разве такое естественное сочетание не могло бы послужить широкой основой добросовестного обмена, урегулированного соглашениями и образующего торговые отношения между различными государствами?

«Для того, чтобы ваша мысль была осуществима,— говорил Гамильтон,— нужно ждать того, может быть, не очень отдаленного времени, когда в Новом Свете возникнут большие рынки, какие некогда существовали в Старом. Вы имели четыре таких рынка, на коих обменивались все произведения земли: лондонский, который еще долго будет сохранять первенство, несмотря на успехи нашей торговли; амстердамский, который будет вытеснен Лондоном, если положение в Голландии не изменится; кадикский, которому мы, будь то наш Север или Юг, наследуем; марсельский, который процветал благодаря левантинскому судоходству, но теперь находится накануне того, чтобы быть для вас потерянным.

«Нам нужны только два рынка, но они необходимы нам,— один на севере Америки, другой на юге. Когда эти большие рынки будут созданы, торговля получит нормальное

развитие; коммерческие предприятия не будут более зависеть от простого случая, потому что каждый рынок заинтересован в том, чтобы цены и качество всех поступающих на него товаров были общеизвестны, и потому будет препятствовать слишком большим колебаниям и будет держать прибыли и убытки от сделок в определенных границах. Тогда мореплаватели из всех стран света смогут с доверием заходить во всякий порт”.

Я восхищался общими мыслями, которые всегда сопутствовали частным взглядам Гамильтона касательно благоденствия его страны. Я не знаю, осуществляются ли они, но это может, конечно, произойти только тогда, когда стремление к захватам и вторжениям перестанет влиять на общий характер отношений американцев с другими народами; в своих собственных интересах они начнут стремиться тогда к победам над самими собой, которые приведут к созданию на их территории ценностей, соответствующих размерам населения ими континента.

Я почти исчерпал все то, с чем мне хотелось познакомиться в Америке.

Я провел там около тридцати месяцев без иного повода, кроме желания удалиться из Франции и Англии, и без иных интересов, кроме наблюдения и изучения этой великой страны, история которой только начинается.

Неуверенность в собственном будущем, поддерживаемая известиями из Европы, побудила меня заняться спекуляцией, которая могла бы быть весьма выгодна, если бы она была проведена умело и расчетливо. Я должен был отправиться в Индию на нанятом мною судне, груз которого принадлежал нескольким крупным филаделфийским фирмам и голландским капиталистам. Мое судно уже приняло груз, и я был готов к отплытию, когда я получил декрет Конвента, разрешавший мне вернуться во Францию. Он был издан без всякого ходатайства с моей стороны, без моего ведома, по предложению Шенье и Дону, которых я едва знал и к которым я навсегда сохраню благодарность, несмотря на различие наших взглядов. Надо было воспользоваться им или навеки проститься с Францией. Бомец, которого я привлек к участию в моей крупной спекуляции, отправился вместо меня в Индию, где он и умер. С сожалением расстался я с ла Рошфуко(7), к которому был очень привязан, и с Гамильтоном, которому всегда будет принадлежать большое место в моих воспоминаниях. Я сел на плохонькое датское судно, которое должно было плыть в Гамбург.

Прежде чем возвращаться во Францию, я хотел знать, что там происходит. Госпожа Флаго, находившаяся в Гамбурге, как казалось мне, не была расположена известить меня об этом, так как она отправила мне, когда я еще находился на Эльбе, сообщение, которое мне взялся передать по своему простосердечию Риче и которое рекомендовало мне не сходить на землю и вернуться в Америку. По ее словам, она руководствовалась тем соображением, что ее считали очень мне преданной, и она опасалась, чтобы я не послужил по этой причине препятствием к ее браку с португальским посланником Суза. Я счел возможным, не проявляя бестактности, не поддаться странным доводам, приводимым Риче, и пробыл месяц в Гамбурге, окруженный людьми, которые не больше моего могли служить препятствием к браку, заключенному ею затем с добрейшим Суза. Я встретился там также с госпожой Жанлис, которую я нашел мало изменившейся в сравнении с тем, какой я знал ее в Силлери, в Белшассе и в Англии. Устойчивость сложных натур объясняется их гибкостью.

Из Гамбурга я отправился в Амстердам, где пробыл пятнадцать дней, а оттуда в Брюссель, где я задержался, чтобы прибыть в Париж, как я имел в виду, только в сентябре 1796 года.

В Париже был организован национальный институт наук и искусств(8); одного устройства этого института достаточно, чтобы судить о духе, царствовавшем во Франции. Его подразделили на четыре разряда; разряд физических наук стоял на первом месте, разряд политических и нравственных наук занимал только второстепенное место. Меня назначили в моем отсутствии членом этого разряда. Чтобы исполнить свой долг академика, я прочел на двух открытых собраниях, отделенных коротким промежутком

времени, два доклада, которые обратили на себя внимание.

Темой первого из них служила Северная Америка, а потребность Франции в колониях — темой второго(9). Я работал над третьим докладом — по вопросу о влиянии общества во Франции. Работа эта, основывавшаяся в слишком большой мере на воспоминаниях, показалась моим друзьям не соответствующей эпохе, в которую Францией правила Директория. Поэтому я ее оставил неоконченной.

Уплатив свой литературный долг и не усматривая во всех волновавшихся вокруг партиях никаких элементов порядка, никакого устойчивого принципа, я старался держаться в стороне от дел. Госпожа Сталь, уже вернувшая себе некоторое влияние, настаивала, чтобы я посетил вместе с нею Барраса, одного из членов Директории. Сначала я отказывался, так как не мог посетить одного члена Директории и не искать встречи со всеми теми, кто входил в нее, и в частности с обоими членами Директории, бывшими некогда членами Учредительного собрания(10). Приводившиеся мною причины отказа были признаны неубедительными. Кроме того, они передавались через госпожу Сталь, которая стремилась к сближению между Баррасом и мною и вела дело так, что я получил от Барраса записку, в которой он приглашал меня в определенный день к себе на обед в Сюрен. Пришлось принять приглашение. Я прибыл в Сюрен около трех часов. В столовой, через которую нужно было пройти, чтобы попасть в гостиную, я заметил пять приборов. К моему большому удивлению, госпожа Сталь не была приглашена. Находившийся там слуга сказал, указывая мне на шкаф, в котором стояло несколько разрозненных книг, что директор (так называли Барраса в домашней обстановке) приезжает обыкновенно только к половине пятого. Пока я читал какую-то книгу, двое молодых людей заходили в гостиную посмотреть на часы, и, увидев, что только половина четвертого, один из них сказал другому: “Мы имеем еще достаточно времени, чтобы выкупаться”. Не прошло и двадцати минут после их ухода, как один из них возвратился, требуя быстрой помощи. Я присоединился к обитателям дома, направившимся к берегу реки. Против сада между большой дорогой и островом в Сене имеется нечто вроде водоворота, в который попал и в котором исчез один из молодых людей. Со всех сторон подъезжали лодочки; двое из них отважно нырнули на дно реки. Но все усилия, приложенные для спасения этого молодого человека, были напрасны. Я вернулся в дом.

Тело несчастного юноши было найдено только на другой день в иле, более чем в трехстах туазах. Его звали Раймонд, а родом он был из Лодева. Баррас его очень любил; он воспитал его и, став членом Директории, сделал его своим адъютантом. Я оставался один в гостиной и не знал, что предпринять. Кто сообщит Баррасу о случившемся несчастье? Я его никогда не видал. Мое положение было в самом деле весьма тягостно. Уже слышен шум приближающегося экипажа. Садовник говорит, открывая ворота: “Господин Раймонд только что утонул; да, гражданин директор. Он только что утонул”. Баррас проходит через двор, поднимается с громкими воплями к себе. Через несколько минут один из его слуг говорит ему, что я нахожусь в гостиной. Он передает мне, что просит извинить его и приглашает меня к столу. Привезенный секретарь остается с ним. Таким образом я оказываюсь совершенно один за столом в доме Барраса. Через четверть часа он просит меня подняться к нему. Я почувствовал к нему благодарность за то, что он понял, как неприятен мне был этот обед. Я был очень смущен. Когда я вошел к нему в комнату, он взял меня за руки и поцеловал меня; он плакал. Я высказал сочувствие, внушенное мне положением, в котором он находился и в котором я очутился сам. Некоторое замешательство, которое он испытывал в моем присутствии, так как он не знал меня, постепенно исчезло, и проявленное мною сочувствие к нему благотворно действовало на него. Он просил меня вернуться в Париж вместе с ним, я сопровождал его. С тех пор я не имел случая жаловаться на Барраса. Это был человек страстный, очень подвижный, увлекающийся; не прошло и двух часов со времени нашего знакомства, как я мог бы думать, что представляю для него почти идеал.

Вскоре после этого Директория захотела изменить состав министерства. Баррас

согласился на это, но под тем условием, чтобы его новый друг сделался министром внешних сношений. Он энергично поддерживал свое предложение, заставил принять его, и в десять часов вечера жандарм явился за мной в клуб, называвшийся “Салоном иностранцев”, куда он принес мне только что изданный декрет(11).

Решительный характер всех действий правительства, настоятельные просьбы госпожи Сталь и главным образом внутреннее чувство, говорившее, что можно принести некоторую пользу, сделали отказ невозможным. Итак, я отправился на следующий день в Люксембург, чтобы поблагодарить Барраса, а оттуда в министерство внешних сношений.

При моем предшественнике Шарле Делакура дела поступали к нему вполне решенными Директорией. Мне, как и ему, приходилось только наблюдать за их исполнением, но я часто задерживал их течение, что позволяло мне, переждав первый порыв членов Директории, смягчать редакцию. Помимо этого у меня не было других функций, кроме выдачи паспортов и виз. До внутренних дел меня не допускали. Я оправдывал это странное положение, говоря другим и отчасти самому себе, что всякий внутренний прогресс в направлении к действительному порядку невозможен, пока не будет мира вовне, и, поскольку ко мне обращались за содействием в этом отношении, я должен был прилагать все усилия для достижения этой цели.

Мне известно, что некоторые лица, правда, не в этот период, а после реставрации, считали ошибкой занятие должностей во времена кризисов и революций, когда невозможно осуществлять абсолютное добро. Мне всегда казалось, что эти суждения весьма поверхностны. Нельзя судить о делах этого мира только на основании настоящего момента. Настоящее почти всегда несущественно, если упустить из виду, что оно порождает будущее; и в самом деле, разве можно прибыть куда-либо, если предварительно не пуститься в путь? Если отнестись к этому без предрассудков и, главное, без зависти, то станет ясно, что люди не всегда принимают посты по личному расчету, и нужно признать, что они приносят не малую жертву, когда соглашаются быть ответственными исполнителями чужой воли. Эгоизм и страх менее самоотверженны; но, повторим еще раз, нужно усвоить, что тот, кто отказывается от деятельности в дни потрясений, облегчает задачу тех, кто стремится к разрушению. Должности принимают не для того, чтобы служить людям и помогать действиям, которых не одобряешь, а чтобы направить их на благо будущего. “Во всяком деле нужно иметь в виду конец”,—говорил почтенный Лафонтен, и это не простое нравоучение из басни. Я должен добавить, что предполагалось назначить морским министром адмирала Брюи, которого характер, ум и талант я ценил и уважал. Следовательно, мне предстояло приступить к делам одновременно с человеком, столь же чуждым, как и я, приемам Директории, и с которым я мог быть единомыслен в оценке как добра, которое можно было сделать, так и зла, которому мы могли воспрепятствовать.

Чтобы дать ясное представление о том, что я называю здесь приемами Директории, достаточно, я думаю, рассказать о первом собрании, на котором я присутствовал. На нем возникла ссора между Карно и Баррасом; последний обвинял своего коллегу в том, что он скрыл письмо, которое должно было быть предъявлено Директории. Оба они вскочили со своих мест. Карно заявил, подняв руку: “Клянусь честью, что это неправда!”— “Не подымай руки,—ответил ему Баррас,—с нее капает кровь”. Таковы были люди, которые правили, и с ними нужно было попытаться ввести Францию в европейское общество. Я бросился в это трудное предприятие.

Почти все враги, выступавшие против Франции с начала революции, были вынуждены искать спасения, заключив мир, который большинство из них купило территориальными уступками или денежной контрибуцией. После того как Австрия потерпела поражение в Италии и Германии и подверглась с двух сторон вторжению на свою территорию, а столице ее стал угрожать генерал Бонапарт, она подписала с ним перемирие в Леобене и приступила к переговорам об окончательном мире, заключенном затем в Кампо-Формио. В период между перемирием и подписанием договора я сделался министром внешних

сношений. Узнав о моем назначении, генерал Бонапарт поздравил с этим Директорию и прислал мне по этому поводу весьма любезное письмо. Начиная с этого момента между нами установилась постоянная переписка(12). Этот молодой победитель казался мне во всем, что он делал, говорил или писал, настолько новым, сильным, талантливым и предприимчивым, что я стал связывать с его гением большие надежды. Через несколько недель он подписал договор в Кампо-Формио (17 октября 1797 года).

Англия, со своей стороны, послала во Францию полномочного представителя (лорда Мальмсбюри) для переговоров о мире; но этот шаг не был искренним. Английскому министерству нужно было тогда симулировать переговоры, чтобы выпутаться из внутренних затруднений. Таково было внешнее положение Франции, когда я вступил в министерство.

Внутри была партия, которая стремилась к изменению существовавшего порядка для замены его... чем? Это осталось неизвестным и этого никогда нельзя будет узнать, так как эта немногочисленная партия составлялась из республиканцев — сторонников конституции и сторонников Конвента, которые могли объединиться в своей ненависти к существующему, но, конечно, не во имя какого-либо положительного плана.

Слабость этой партии ясно обнаружилась, когда она была снесена простым дуновением ветерка и большинство ее действительных или мнимых главарей было в течение нескольких часов схвачено, обвинено и приговорено без затребования от них объяснений; затем они были высланы в Кайенну на основании того, что называлось тогда законом(13).

Гражданская война продолжала опустошать сельские местности на западе, так как почти во всех городах хозяевами положения были республиканцы. Война эта, вожди которой оставили своим семьям красивое наименование вандейцев, испорченное и замененное после назвaniem шуанов, держалась тогда в определенных границах, и ее тщетно пытались вывести за эти пределы. Она была для правительства более докучлива, чем опасна.

Слова “Республика”, “Свобода”, “Равенство”, “Братство” были написаны на всех стенах, но того, что соответствовало этим понятиям, нельзя было найти нигде. Начиная с вершины власти и до самых ее низов она была произвольна по своему происхождению составу и своим действиям. Все было насильственно, и следовательно, ничто не могло быть прочно.

Молодой генерал Бонапарт, в течение уже двух лет с таким блеском действовавший на мировой арене, не хотел теряться в толпе прочих генералов; он желал сохранить за собой славу и привлекать к себе взоры. Кроме того, он опасался оказаться беззащитным против опасностей, которые могли вырасти из самой его славы. Достаточно честолюбивый, чтобы стремиться к высшим степеням, он не был достаточно слеп, чтобы верить в возможность достижения их во Франции без особого стечения обстоятельств, которое нельзя было считать ни близким, ни даже вероятным.

Англия имела во времена Кромвеля одну единственную армию. Все ее офицеры, назначенные Кромвелем, были его креатурами. Вне армии у него не было соперников в славе. Ловкого использования фанатизма в течение двух лет было достаточно, чтобы создать в войсках, которыми он командовал, нужное ему настроение. Наконец “долгий” парламент(14), сосредоточивший в себе всю власть, был уже ослаблен; он проводил диктатуру, от которой устали все партии; все желали ее конца.

Этих условий не доставало Бонапарту. Но если у него не было еще шансов на господство в своей собственной стране, как у Кромвеля, то зато он мог достичь верховной власти в другом месте, лишь бы только Франция предоставила ему необходимые средства.

Подписав мир с Австрией в Кампо-Формио и появившись на короткое время в Раштадте, который был местом, условленным для мирных переговоров с империей (так как по примеру древних римлян Французская республика взяла за правило заключать мирный договор одновременно только с одним противником), он явился в Париж предложить Директории покорение Египта.

Я его никогда не видал. Когда я был назначен в министерство внешних сношений, он написал мне, как я уже говорил, длинное, тщательно обдуманное письмо(15); в нем он желал казаться мне человеком отличным от того, каким он представлялся раньше в деловых отношениях. Вечером того дня, когда он прибыл в Париж, он прислал ко мне адъютанта, чтобы осведомиться, когда бы он мог меня видеть. Я ответил, что жду его, и он известил, что будет на другой день в одиннадцать часов утра. Я сообщил об этом госпоже Сталь, которая появилась в моей гостиной в десять часов. Там находилось также несколько других лиц, которых привело любопытство. Доложили о прибытии генерала, я пошел к нему навстречу. Проходя по гостиной, я представил ему госпожу Сталь, на которую он не обратил особого внимания; он заметил только Бугенвиля и сказал ему несколько любезных слов.

На первый взгляд его внешность показалась мне привлекательной; двадцать выигранных сражений так идут к молодости, к прекрасному взору, к бледности, к несколько утомленному лицу. Мы вошли в мою рабочую комнату. Эта первая беседа была преисполнена с его стороны доверия. Он говорил с большой благосклонностью о моем назначении в министерство внешних сношений и настаивал на удовольствии, которое он получал от переписки с человеком, живущим во Франции, и притом иного рода, чем члены Директории. Он сказал мне без особых переходов: “Вы ведь племянник реймского архиепископа, который находится при Людовике XVIII?” (Я заметил, что он не сказал тогда при графе Лильском.) И он добавил: “У меня тоже есть дядя архидиакон на Корсике; он воспитал меня. Вы знаете, архидиакон на Корсике то же самое, что епископ во Франции”. Мы скоро вернулись в гостиную, которая наполнилась народом, и он громко сказал: “Граждане, меня трогает внимание, которое вы оказываете мне; я сделал все, что мог, для войны и для мира. Директория должна уметь воспользоваться этим для счастья и процветания республики”. Затем мы отправились вместе к членам Директории.

Нерешительность и соперничество внутри Директории затруднили положение Бонапарта в первые недели его пребывания в Париже. Я дал праздник в честь его побед в Италии и удачно заключенного им мира. Я не пренебрег ничем, чтобы придать ему блеск и дать ему широкую огласку, а это было не совсем легко вследствие необходимости прикрывать чрезмерную простоту жен членов Директории, занимавших, естественно, первое место. Залы, в которых собрались, были украшены со всевозможной роскошью, все меня поздравляли с успехом. “Это должно было влететь вам в копеечку, гражданин министр”, — сказала мне госпожа Мерлен, жена члена Директории. “Пустяки, мадам”, — ответил я ей в тон. Масса других словечек, которые были почти все достоверны, наполнила на другой день Париж.

Директория замышляла в то время экспедицию в Ирландию; командование предназначалось сначала Гошу, между тем умершему; тогда его решили передать генералу Бонапарту, которому это не улыбалось ни в каком отношении. Это предприятие, независимо от того, удалось бы оно или потерпело неудачу, должно было неизбежно быть непродолжительным, и по возвращении он не замедлил бы очутиться в том самом положении, которого хотел избежать. Армией, которую он довел бы в Ирландию, он не смог бы располагать в собственных видах, и, наконец, Ирландия не такая страна, где бы он мог надеяться прочно укрепиться.

Он не думал также об укреплении в Египте, ни вообще в какой-либо стране, которую он покорил бы, стоя во главе французской армии. Он еще не обольщал себя надеждой, что эта армия согласится побеждать только для него и позволит ему принять корону или возложит ее на его голову. Он тем меньше обольщал себя этой надеждой, что войска, у которых он пользовался наибольшим авторитетом и которые он поэтому тем больше желал увести с собой, только что совершили под его командованием итальянские походы; он сам заботился о поддержке и возбуждении в них республиканского фанатизма. От них требовалось только, чтобы они помогли ему явиться восточным христианам и в частности грекам в роли освободителя, готового разбить их оковы, а в остальном он полагался на



многочисленность, энергию и благодарность самих греков и, главное, на непредвидимые случайности.

Подобные надежды, если бы он обнаружил их, не содействовали бы успеху его переговоров с Директорией, Поэтому он старался казаться озабоченным только интересами Франции. Он указывал, что Египет — это колония, стоящая одна всех потерянных Францией владений, и пункт, откуда можно нанести серьезные удары английскому могуществу в Индии. Между тем пылкость его воображения и природная многоречивость увлекли его за пределы осторожности; он говорил иногда о возвращении в Европу через Константинополь, который не лежит по прямой дороге в Индию; не требовалось большой проницательности, чтобы догадаться, что, явившись в Константинополь победителем, он не сохранит трона Селиму и не заменит Оттоманскую империю *единой и неделимой республикой*.

Но Директории казалось столь полезным избавиться от человека, внушавшего ей подозрения и которого она не была в состоянии удержать в желательных ей границах, что она уступила, наконец, настояниям Бонапарта, отдала приказ о походе в Египет, дала ему командование и подготовила таким образом события, которые она так хотела предупредить.

Я должен напомнить здесь в общих чертах позицию Европы в отношении Франции в момент отбытия Бонапарта.

Императрица российская Екатерина высказалась первая с решительностью против французской революции, но в политике она ограничивалась оглаской своих мнений в депешах, которые она приказывала своим посланникам показывать при дворах. Я видел большое их число у принца Нассауского. Она остерегалась участия в войне, которая и без ее вмешательства должна была иметь неизбежным следствием ослабление ее соседей и, следовательно, усиление ее относительного влияния. Не опасаясь проникновения в свое государство французских принципов и гораздо больше тревожась усилий, которые Польша делала для выхода из анархии, она воспользовалась моментом, когда Франция, Пруссия и Австрия были в состоянии войны, чтобы завершить расчленение этого королевства, часть которого она присвоила себе, предоставив остальное Австрии и Пруссии. Вскоре после этого она умерла (17 ноября 1796 года).

Неизвестно, что предпринял бы ее преемник Павел I, унаследовавший болезнь своего отца Петра III, если бы не произошло вторжения Франции в Египет. Но это вторжение окончательно определило его позицию.

Со времени Петра I Россия всегда считала Турцию своей добычей, которую ей следовало, однако, поглощать постепенно, так как она не была в состоянии сразу поглотить ее. Эта добыча от нее навсегда ускользнула бы, если бы в результате революции Греция вернула себе независимость; а вторжение в Египет не только заставляло ее опасаться этой революции, но делало ее, как она полагала, неизбежной.

Павел I, прирожденный враг турок, немедленно сделался их союзником и заключил союз с Англией. Австрия к ним присоединилась и тем легче вступила в борьбу, что она вышла из нее только против своей воли и что со времени заключения мира в Кампо-Формио Франция подавала ей справедливые поводы для тревоги.

Конфликт между Ваадтским кантоном и бернским сенатом, представлявшим для него верховную власть, послужил для Директории поводом к вводу в Швейцарию войск с двух сторон и превращению конфедерации в единую и неделимую республику. Под каким-то другим предлогом французские войска заняли папское государство; плененный папа Пий VI был отвезен в картезианский монастырь во Флоренции, а затем в город Баланс в Дофине, где он умер; его правительство заменили другим, которое тогда называли республиканским.

Неаполитанский король, не без оснований напуганный, но готовый из осторожности оставаться спокойным и выжидать, устроил тем не менее, вопреки совету венского двора, безрассудное вооруженное восстание с неопытными и недисциплинированными

войсками; он был вынужден искать убежища в Сицилии, покинув свое Неаполитанское королевство, которое французская Директория скоро превратила в Партенопейскую республику.

Если бы Директория хотела в эту эпоху превратить Италию в оплот для Франции, она могла бы достигнуть этого, образовав из всей этой прекрасной страны единое государство. Но, далекая от этой мысли, она содрогнулась, узнав, что в Италии тайно подготавливается слияние новых республик в одну единую, и воспротивилась этому, насколько это было в ее власти. Она стремилась к образованию республик, что делало ее ненавистной для монархий но желала вместе с тем образования только слабых и мелких республик, чтобы занимать военной силой их территорию под предлогом защиты их, а в самом деле — чтобы подчинять их себе и продовольствовать за их счет свои войска, вследствие чего она делалась ненавистна тем же самым республикам.

Все эти перевороты, произведенные по соседству с Австрией, настолько изменили ее относительное положение, что она не могла остаться равнодушной их зрительницей.

Ее первой задачей, когда она взялась за оружие, было прекращение переговоров, которые велись в Раштадте; в этом она успела, но неудача ее заключалась в том, что к этому разрыву присоединилось убийство французских уполномоченных(16). После этого события следовало ждать возобновления ожесточенной войны.

Для ведения ее Директория имела достаточно солдат, но после проскрипции Карно (18 фруктидора) у нее не оставалось никого, кто был бы в состоянии руководить операциями; из всех генералов, пользовавшихся громкой славой, во Франции остался один Моро. Он был обвинен если не в участии в контрреволюционных замыслах своего друга Пишегрю, то в том, что он был осведомлен о них и разоблачил их слишком поздно. Вследствие этого он впал у республиканцев в такую немилость, что, даже желая вручить ему командование, Директория, однако, на это не решалась. Она считала большим мужеством со своей стороны, что дала Моро разрешение отправиться в качестве простого волонтера в армию, сражавшуюся в Италии.

Его присутствие в этой армии не помешало ее полному поражению и обращению в бегство после первого же выступления. Макдональд, подоспевший на соединение с ней из глубины Италии с тридцатью пятью тысячами людей, был разбит у Треббии.

Все эти призрачные республики, созданные Директорией, исчезли после первых неудач французской армии, и ни один француз не остался бы в Италии, если бы не предусмотрительность Директории, которая заставила выдать себе все крепости в Пьемонте. Сосредоточив в этих местах и вокруг них остатки разбитых армий, Моро остановил продвижение противника.

Когда Директория революционизировала Швейцарию, она не предполагала, что открывает этим закрытый уже в течение веков путь, которым иностранные силы должны были затем проникнуть во Францию, чтобы совершить там гибельный для революционеров переворот. Она едва сама не испытала этого, но эрцгерцог Карл покинул Швейцарию для бесплодной осады Филиппсбурга, оставив в этой стране лишь один русский корпус и подготовив этим для генерала Массена победу под Цюрихом, которую так превозносили в Париже потому, что она была необходима для спасения Франции.

С Директорией произошло то, что всегда происходит с деспотами. Пока никто не мог устоять против армий, которыми она располагала, ее ненавидели, но боялись. Когда ее армии были разбиты, ее начали презирать. На нее стали нападать в газетах, памфлетах, наконец всюду. Не пощадили, конечно, и ее министров, что дало мне долгожданный случай покинуть мой пост. Я понял, что, занимая его, я очень мало могу противодействовать злу и что только в дальнейшем можно будет принести действительную пользу.

Мысль об уходе, которую я уже давно лелеял, заставила меня принять одну меру предосторожности. Я доверил свои намерения генералу Бонапарту перед его отправлением в Египет; он одобрил побудительные причины моего ухода в отставку и с

удовольствием согласился просить для меня у Директории посольство в Константинополе, если бы представилась возможность вести переговоры с Турцией, или же разрешения отправиться к нему в Каир, где можно было ждать начала переговоров с представителями Оттоманской Порты. Получив после отставки это разрешение, я удалился в деревню близ Парижа, ожидая развития событий.

Видные демагоги, с некоторых пор снова поднявшие голову, волновались и грозили новым царством террора. Но свержение Директории должно было исходить не из клубов, опять открытых ими и закрытых Фуше, когда он это счел нужным; оно исходило от самой Директории.

Сиес, исполнявший в Берлине обязанности чрезвычайного посланника и полномочного министра республики, был назначен членом Директории. Время, потребовавшееся ему для того, чтобы сделать прощальные визиты, отправиться в путь и прибыть в Париж, показалось Директории невыносимо долгим, — с таким нетерпением его ждали. Не возникало сомнений в том, что у него найдутся готовые и верные средства от внутренних, как и внешних бед. Он едва успел выйти из кареты, как у него стали их требовать. Наиболее влиятельные члены Совета пятисот и старейших(17) уверяли, что ему нужно только сказать, и во всем, где требуется их содействие, они с рвением ему помогут. Раньше, чем что-либо предлагать, Сиес хочет увидеть все собственными глазами и все обдумать. В результате своих размышлений он приходит к тому, что с такими, как у него, коллегами ничто не осуществимо. Его тотчас же освобождают от трех из них. Из преемников, которых им дают, двое — ничтожества, а третий ему предан(18). Тогда он жалуется уже не на людей, а на учреждения, которые безусловно необходимо изменить. Пять правителей — слишком много: достаточно трех. Название Директории стало ненавистно; надо заменить его другим. В особенности необходимо ввести в правительство одного военного, которому доверяли бы армии, так как без уверенности, что имеешь на своей стороне армии, ничего нельзя сделать.

Обращаются к Моро, но он не хочет брать на себя гражданских дел. Тогда направляют взоры на генерала Жубера и, чтобы придать его имени блеск, который считается желательным и которого он еще не имеет, его посылают командовать в Италию. Прибыв туда, он неосторожно дает сражение у Нови, и в начале сражения его убивают, что опрокидывает все возложенные на него надежды. Тогда возобновляются прежние затруднения, и бог знает, как бы удалось выйти из них без одного события, на которое Директория, вероятно, не рассчитывала.

После покорения Египта Бонапарт продолжал приводить в исполнение свой план, пытаясь покорить Сирию. Но три приступа, потребовавшие больших жертв, не дали ему победы над крепостью Сан-Жан д'Акр, на которую он упорно продолжал нападения, хотя и потерял свою осадную артиллерию. Он отправил ее из Египта в Сирию морем и, когда ее захватили англичане, он был вынужден возвратить армию в Египет, где англичане угрожали ему десантом. Таким образом, он увидел разрушение своих блестящих надежд; даже возможность удержаться в Египте стала более чем сомнительной. Его преследовала ужасная мысль, что он сможет уйти только при помощи капитуляции, которая оставит за ним репутацию простого авантюриста. Превратности, испытанные французами в Италии, заставили его выйти из этой растерянности и дали ему смелость сделать то, на что иначе он никогда бы не дерзнул. Он тайком покидает свою армию, оставив командование Клеберу, и, избегнув английского крейсера, он высаживается во Франции.

Как он это и предвидел, различные партии отнеслись к нему как к человеку, у которого не следует требовать отчета в его поведении, которого обстоятельства сделали полезным и которого следует привлечь на свою сторону.

Уже в первый момент некоторые лица поняли, что Баррас, творец его фортуны, единственный из прежних членов Директории, сохранивший еще это звание, слишком полагается на свое влияние на него и слишком плохо его знает, если обнадеживает себя тем, что заставит его сыграть роль Монка; Бонапарт, который не согласился бы на нее,

если бы и мог взять на себя эту роль, действительно не был в тот период в состоянии ее сыграть.

Если бы такое предложение и было ему сделано, он не мог бы долго колебаться между ним и принятием хотя и не верховной власти, но таких полномочий, которые позволили бы ему на нее притязать.

Из его сторонников многие, без сомнения, предпочли бы, чтобы он сделался просто членом Директории; но при создавшихся условиях приходилось желать того, чего желал он; сама природа вещей делала его во время переговоров хозяином положения. Между тем звание члена Директории его ни к чему бы не привело.

Итак, было решено заменить Директорию тремя временными консулами, которые вместе с двумя комиссиями Совета пятисот и старейших должны были подготовить конституцию и предложить ее на утверждение избирательным собраниям, так как верховная власть народа была догмой, которую никто не помышлял тогда оспаривать (*\* За несколько дней до 18 брюмера у меня произошла небольшая сценка, весь интерес которой сводится к сопровождавшим ее обстоятельствам. Генерал Бонапарт, живший на улице Шантерен, пришел однажды вечером побеседовать со мной о подготовке к этому дню. Я жил тогда на улице Тебу в доме, числившемся затем, как кажется, под № 24. Он был расположен в глубине двора, и первый его этаж соединялся через галерею с флигелями, выходившими на улицу. Мы находились в гостиной, освещенной несколькими свечами, и вели очень оживленную беседу; был уже час ночи, когда мы услышали на улице сильный шум: к шуму колес экипажей присоединялся топот кавалерийского эскорта. Экипажи неожиданно остановились перед подъездом моего дома. Генерал Бонапарт побледнел, и я, вероятно, тоже. Мы оба одновременно подумали, что явились арестовать нас по приказу Директории. Я задул свечи и, осторожно шагая, отправился через галерею в один из выходивших на улицу флигелей, откуда можно было видеть происходящее. Сначала я не мог отдать себе отчета в причинах всего этого движения, которое, однако, скоро объяснилось весьма забавным образом. Так как в ту эпоху улицы Парижа были ночью далеко не безопасны, то по закрытии игорных домов в Пале-Рояль все деньги, служившие для игры, собирались и отвозились на извозчичьих экипажах, причем откупщик игорных домов добился от полиции того, чтобы оплачиваемый им жандармский эскорт сопровождал каждую ночь извозчиков до его дома на улице Книши или где-то поблизости от нее. В ту ночь как раз перед дверью моего дома что-то сломалось в одном из извозчичьих экипажей, благодаря чему они и остановились там приблизительно на четверть часа. Мы с генералом много смеялись над овладевшей нами паникой, которая была, впрочем, совершенно естественна для людей, знавших так хорошо, как мы, намерения Директории и крайности, на которые она была способна.* Примечание Талейрана).

Когда этот план был принят, то в силу полномочия, которое ему давала конституция, и под предлогом возбуждения, царившего в Париже, Совет старейших перевел законодательный корпус в Сен-Клу. Он рассчитывал устранить таким образом все препятствия к осуществлению задуманного плана. Ему сочувствовали два самых влиятельных члена Директории (Сиес и Баррас), значительное большинство в Совете старейших и часть Совета пятисот. Стража Директории, Ожеро, бывший ее начальником с 18 фруктидора, масса генералов и военных всех чинов, а также несколько любителей, в числе коих находился и я, отправились 18 брюмера (9 ноября 1799 года) в Сен-Клу.

Несмотря на это скопление сил, Совет пятисот оказал такое противодействие, что едва не привел весь план к крушению. Между тем речь шла только о замене одного вида полигархии другим (мне всегда приходится возвращаться к этому варварскому слову за отсутствием у него синонима). Можно себе представить, какая судьба постигла бы того, кто бы захотел сыграть роль Монка и имел противником почти всех, способствовавших тем или иным способом успеху 18 брюмера. Наконец, при помощи отчасти убеждения, отчасти устрашения победа была одержана, Директорию распустили: Сиес, Роже Дюко и Бонапарт были назначены консулами, и от советов остались только комиссии, которые должны были разработать проект конституции. Через десять или двенадцать дней после этого я снова получил портфель министра иностранных дел.

Всем дружественным Франции иностранным державам свержение Директории было приятно или по меньшей мере безразлично. Так как с их стороны изменения настроения опасаться не приходилось, то в этом отношении не надо было принимать никаких мер. Что касается враждебных держав, то лишь при помощи новых побед можно было надеяться привести их к миролюбивому настроению. Но если не приходилось вести

переговоров вовне, то внутри велись весьма важные и щекотливые переговоры; хотя официально я и не был призван руководить ими, я не мог остаться непричастен или безразличен к ним. Следовало восстановить монархию, или же 18 брюмера оказалось бы бесплодно, и надежда на ее восстановление отодвинулась бы в неизвестное и, может быть, бесконечно далекое будущее. Восстановить монархию не значило реставрировать трон. Монархия имеет три степени или формы: она бывает избирательной на срок, избирательной пожизненной или наследственной. То, что именуется тронем, не присуще первой из этих трех форм и не всегда присуще второй. Но достижение третьей формы без последовательного прохождения двух других при условии, чтобы Франция не находилась во власти чужестранных сил, было безусловно невозможно. Правда, это было бы иначе, если бы был жив Людовик XVI, но убийство этого государя поставило тому непреодолимые препятствия.

Так как переход от полигархии к наследственной монархии не мог быть осуществлен немедленно, то отсюда вытекал с необходимой последовательностью тот вывод, что восстановление ее и династии Бурбонов не могло совершиться одновременно. Следовательно, нужно было способствовать восстановлению монархии, оставив в стороне вопрос о Бурбонах, которые могли быть восстановлены лишь с течением времени, при том условии, что лицо, занявшее трон, оказалось бы недостойно и утратило его. Нужно было иметь временного государя, который бы мог сделаться государем пожизненным и, наконец, наследственным монархом. Вопрос заключался не в том, имел ли Бонапарт все необходимые для монарха свойства; он бесспорно имел те качества, которые были необходимы, чтобы снова приучить к монархической дисциплине Францию, еще сохранившую пристрастие к революционным доктринам; никто не обладал этими свойствами в такой степени, как он.

Основной вопрос заключался в том, как сделать Бонапарта временным государем. Предложение назначить его единственным консулом обнаружило бы намерения, которые следовало возможно тщательнее прикрыть. Назначение ему коллег, равных по званию и власти, сохранило бы в силе полигархию.

Полигархия сохранила бы силу и в случае организации законодательного органа, постоянного или такого, который без акта о созыве собирался бы в определенные периоды и сам себя распускал. Если бы этот орган, даже в случае его разделения на две отдельные палаты, мог один издавать законы, полигархия также сохранила бы силу. Наконец, полигархия сохраняла бы силу и в случае, если бы высшая администрация — в особенности судьи — продолжала назначаться избирательными собраниями. Проблема, требовавшая разрешения, была, как это видно, очень сложна и обременена такими трудностями, что было почти невозможно избежать произвола в ее решении. Его и в самом деле не устранили.

Были созданы не три равных консула, а первый, второй и третий консулы, и каждому из них были даны такие прерогативы, что при некоторых видоизменениях, которые Бонапарт отлично умел вносить, когда дело касалось его личной власти, первый консул фактически оказался один наделен властью, которая в ограниченных или конституционных монархиях осуществляется монархом. Единственное важное отличие заключалось в том, что вместо того, чтобы ограничиться предоставлением ему права санкционировать законы, ему предоставили также законодательную инициативу, что привело к совмещению функций, ставшему роковым для него самого.

Чтобы дать власти первого консула еще больше силы, я сделал в самый день его введения в должность предложение, с готовностью принятое им. Все три консула должны были ежедневно собираться с тем, чтобы все министры отдавали им отчет в подведомственных им делах. Я сказал генералу Бонапарту, что портфель иностранных дел, секретных по самой своей природе, нельзя открывать в совете и что ему следует оставить только за собой рассмотрение иностранных дел, которые должен направлять и решать сам глава правительства. Он понял пользу этого указания, а так как в момент

организации нового правительства все вопросы решаются проще, чем впоследствии, то сразу было установлено, что я буду иметь дело только с первым консулом.

Первым действием генерала Бонапарта на посту первого консула была отправка английскому королю письма, в котором он высказывал пожелание скорого примирения обеих стран. Подобный же шаг он сделал в отношении австрийского императора.

Обе эти попытки не привели к примирению и не могли к нему привести, но они оказали счастливое влияние в отношении внутреннего мира, потому что они возвещали о желательных для народа намерениях и обнаруживали в великом генерале, ставшем главой правительства, способного государственного человека. Когда это было сделано и отказ обоих кабинетов стал достаточно ясен в виду отсутствия ответа на эти письма, не удостоившись даже извещения о получении их, Бонапарт стал помышлять лишь о том, чтобы померяться силами с врагом на поле битвы, где он встретил, однако, только одних австрийцев.

Павел I, недовольный Австрией, которой он считал себя обманутым, отозвал свои войска из Германии(19). Первый консул воспользовался этим обстоятельством, велел собрать немногочисленных русских пленных, находившихся во Франции, приказал обмундировать их и без выкупа отправить их на родину. Он поручил одному из командовавших ими офицеров предложить императору Павлу меч Лавалетта, найденный на Мальте. Известно, что русский император взял мальтийский орден под свое особое покровительство. Легко увлекавшийся император Павел, тронутый этими любезными приемами, сделал Франции через генерала Спренгпортена предложение приступить к мирным переговорам, которые велись затем Колычевым и завершились окончательным договором; я вел о нем переговоры и подписал его вместе с Морковым.

Морков впервые выступил на государственное поприще в царствование императрицы Екатерины и был позже отправлен в Париж, как один из наиболее способных государственных деятелей России. Он показался мне человеком капризным, без образования, но остроумным. Его дурное расположение духа направлялось тогда на его собственное правительство, что весьма удобно для министра иностранных дел другой страны. Пока был жив император Павел, деловые сношения с ним были легки и даже приятны, но по восшествии на престол императора Александра Морков стал вызывающе несносен. Мне пришлось вести с ним переговоры по сложному делу о секуляризациях в Германии (*\* Нужен целый том,— и, может быть, я напишу его,— чтобы полностью изложить этот важный вопрос. Маркиз Луккезини попытался сделать это, но свой труд он посвятил самооправданиям. Это весьма несовершенный способ писания истории, своего времени, так как он редко оказывает влияние на взгляды современников. Люди, призванные решать политические вопросы большой важности, вынуждены сваливать вину на участников событий и без зазрения совести клеветать на них. Самое достоверное сочинение из посвященных этой эпохе принадлежит барону Гагерну, человеку острого ума: он был на службе у Нассауской династии. Примечание Талейрана*).

Генерал Карно, член Директории, бежавший из Кайенны(20), куда он был 18 фруктидора с такой жестокостью сослан вместе со многими другими, получил назначение в военное министерство. Его главные заботы по возвращении к государственным делам были направлены на сосредоточение двух армий —одной на Рейне, другой у подножия Альп. Генерал Моро получает командование первой из них, Бонапарт со второй устремляется в Италию по новой дороге и проходит, не теряя ни одной пушки, через величественный Сен-Бернар (20 мая 1800 года). Он неожиданно нападает на австрийцев и после нескольких счастливых сражений дает им 14 июня бой у Маренго, к концу которого судьба при поддержке генералов Дезе и Келлермана оказывается на его стороне, когда он сам уже не надеется на это. Заключенное затем перемирие снова сделало его господином Италии. Наученный страхом поражения, он сумел воспользоваться победой, не злоупотребив ею. Он понял необходимость укрепить свою власть прежде, чем расширять ее; отлично зная, что военная слава будет главным основанием его притязаний на власть, он боялся побед, которыми Франция не была бы обязана ему одному, почти столько же,

сколько своих собственных поражений. И так, он поспешил заложить при помощи перемирия основы нового мира, к которому присоединилась бы Германская империя; это сделало почти бесполезной победу у Гогенлиндена, открывшую генералу Моро дорогу на Вену.

Переговоры между Францией и Австрией, выступавшей от имени своего собственного и Германской империи, должны были вестись в Люневиле. Император назначил своим представителем графа Луи Кобенцля и уполномочил его отправиться в Париж до начала переговоров. Венский двор выбрал его, потому что в Кампо-Формио он вел переговоры с Бонапартом, который был тогда только генералом итальянской армии, и потому что между ними установились короткие отношения, которые граф Кобенцль надеялся легко восстановить; однако первый консул скоро разрушил его надежды. По этому поводу произошла довольно любопытная сцена.

Бонапарт дал ему первую аудиенцию в девять часов вечера в Тюильри. Он сам выбрал комнату для его приема; это была гостиная перед кабинетом короля. В углу он велел поставить маленький столик, за который сел сам; все кресла были вынесены, и оставались одни только кушетки, находившиеся далеко от Бонапарта. На столе лежали бумаги и стояла чернильница; горела лишь одна лампа; люстра не была зажжена. Кобенцль вошел; я сопровождал его. Мрак в комнате, расстояние, которое нужно было пройти, чтобы приблизиться к столу Бонапарта, которого он с трудом мог разглядеть, некоторое замешательство, возникшее вследствие этого, движение Бонапарта, который встал и снова сел, невозможность для графа Кобенцля сесть немедленно поставили каждого на свое место или по крайней мере на место, предназначенное каждому первым консулом.

После совещаний Жозефа Бонапарта с графом Кобенцлем в Люневиле был вскоре подписан договор, и общий мир на континенте был почти восстановлен.

Незадолго до того в Мортфонте тем же Жозефом Бонапартом было подписано соглашение с Соединенными Штатами, покончившее со всеми разногласиями между Французской республикой и этой державой.

Англия, не имевшая союзников за границей и переживавшая некоторые затруднения внутри, сама испытывала потребность в мире. После обсуждений, интересных по остроумным доводам, приводившимся за и против перемирия на море, Аддингтон и Отто подписали в Лондоне предварительные условия, а затем лорд Корнуэльс и Жозеф Бонапарт подписали в Амьене окончательный договор. Франция, потерявшая все свои колонии, получила часть их обратно, не обязываясь со своей стороны возвратить что-либо. Возможно, что честь ее страдала от того, что все бремя компенсаций она возложила на Испанию и Голландию, своих союзников, которые были втянуты в войну только ею и для нее. Но лишь очень немногие люди способны на такие наблюдения, и они никогда не возникают в умах толпы, привыкшей принимать за талант успехи, венчающие недобросовестность.

Я должен указать, что одна из статей Амьенского договора требовала оставления англичанами Мальты. Бонапарт, который изменил судьбу Средиземноморского бассейна,— овладев этим замечательным островом, требовал большого вознаграждения за возвращение его прежним владельцам; он сердился, когда я говорил, что охотно бы отдал Мальту в полную собственность англичанам, лишь бы только договор был подписан Питтом или Фоксом вместо Аддингтона. Соглашение, заключенное еще до этого договора, положило конец гражданской войне, разгоревшейся в Вандее и западных провинциях. Со времени битвы при Маренго между Бонапартом и римским двором завязались тайные сношения. Он имел в Милане несколько совещаний с посланником папы Пия VII, избранного в Венеции преемником Пию VI; совещания эти послужили отправным пунктом конкордата(21), подписанного позднее в Париже кардиналом Консальви. Это соглашение и его немедленная ратификация примирили Францию с папским престолом; оно встретило оппозицию только со стороны некоторых военных, весьма честных, впрочем, людей, ум которых не мог, однако, возвыситься до такого рода

понятий.

После этого великого примирения с церковью, которому я в сильнейшей степени способствовал, Бонапарт получил от папы послание касательно моего перехода в светское состояние. Послание это датировано в римском Святом Петре 29 июня 1802 года.

Мне думается, что снисходительность ко мне Пия VII лучше всего выразилась в словах, сказанных им однажды кардиналу Консалви: “Господин Талейран!! да! да! Да пребудет его душа с богом, я его очень люблю!!”

Швейцария, которую Директория, руководимая Лагарпом и Оксом, хотела преобразовать в единую и неделимую республику, снова сделалась, как она этого желала, конфедерацией со старинными союзами; это произошло в силу так называемого акта посредничества, потому что Франция служила посредницей между всеми старыми и новыми кантонами.

По Базельскому договору Испания переуступила Луизиану Франции, которая передала ее Соединенным Штатам (30 апреля 1803 года). Последние удержали часть приобретения в виде возмещения за коммерческие убытки, понесенные американцами в результате абсурдных декретов Конвента.

Оттоманская Порта, Португалия, королевство Обеих Сицилий восстановили с Францией старые дружеские и торговые узы.

Распределение секуляризованных в Германии земель производилось при двойном посредничестве Франции и России.

Можно сказать без малейшего преувеличения, что в эпоху Амьенского мира Франция пользовалась вонне такой властью, славой, влиянием, что самый честолюбивый ум не мог бы пожелать для своей родины ничего большего. Еще удивительнее была быстрота, с какой создалось это положение. Менее чем в два с половиной года, то есть с 18 брюмера (9 ноября 1799 года) до 25 марта 1802 года — дата заключения Амьенского мира, — Франция вышла из состояния унижения, в которое ее погрузила Директория, и заняла в Европе первое место.

Продолжая заниматься внешними делами, Бонапарт не пренебрегал и внутренними. Его невероятной активности хватало на все. Он дал администрации новые регламенты, которым он придал возможно более сильный монархический дух. Он умело восстановил порядок в финансовых делах. Служители культа пользовались почетом. Не удовлетворяясь ограничением влияния партий, он стремился привлечь их на свою сторону и до известной степени успел в этом. Принадлежность к прежней эмиграции или к прежнему якобинству не служила препятствием ни в каком отношении. В целях изоляции Людовика XVIII и лишения его, как он говорил, видимости королевского значения, придаваемого ему многочисленной эмиграцией, он разрешил многим эмигрантам вернуться во Францию. Он пользовался теми и другими, приближая их к себе. Якобинцы забыли свою неприязнь к единоличной власти; эмигранты стали меньше сожалеть о переходе этой власти в иные руки (*\*Вспоминаю, как однажды, когда я удивился, увидав, что из кабинета первого консула выходит один из самых бессовестных якобинцев революции, он сказал мне: “Вы не знаете якобинцев. Они бывают двух родов: подслащенные и соленые. Тот, которого вы только что видели, соленый якобинец. С такими я делаю все, что хочу. Они чрезвычайно удобны для поддержания в новой власти решимости. Иногда приходится сдерживать их, но с небольшими деньгами это нетрудно. Но подслащенные якобинцы! да, тех нельзя отесать! Они со своей метафизикой способны погубить двадцать правительств”.* Примечание Талейрана.). Несмотря на продолжительные революционные беспорядки, промышленные отрасли получили во Франции большое развитие, и в них было вложено много капиталов. Для достижения полного внутреннего благосостояния требовалась лишь безопасность, а общее мнение во Франции сводилось к тому, что Бонапарт дал ее.

Таким образом все содействовавшие получению им власти имели основание поздравлять себя с успехом. Он воспользовался этой властью так, что сделал ее полезной и даже заставил ее полюбить. Можно было думать, что он положил конец революции. Вернув власти уважение, он сделался опорой всех тронов. Благотворное влияние,



приобретенное им, придавало консульству в Европе характер старого правительства. Заговоры, одного из которых он избег лишь чудесным образом, усилили симпатии к нему друзей порядка. Поэтому, когда двое его коллег предложили Франции, собравшейся на избирательные съезды, провозгласить его пожизненным первым консулом, это предложение было принято почти единогласно.

Со своей стороны депутаты Цизальпийской республики отправились в Лион, чтобы просить первого консула дать их стране окончательную организацию. Хотя вопросы, которые должны были обсуждаться в Лионе, не были в моем ведении, Бонапарт часто обращался ко мне для разрешения их. Я должен был отправиться в этот город до него, чтобы встретиться там с членами упомянутой депутации. Он не полагался в таких сложных делах на действия и слова своего министра внутренних дел Шапталя, которого он считал неповоротливым, суетным, лишенным проницательности и которого он не отставил тогда, только чтобы не причинить слишком большого огорчения Камбасересу, покровительствовавшему ему. Прибыв в Лион, я встретился с Мелци, которого знал издавна, и сообщил ему не пожелания первого консула, а то, что Цизальпийской республике следовало у него просить. В несколько дней я достиг своей цели, и ко времени прибытия Бонапарта в Лион все было подготовлено. Уже на второй день по его прибытии виднейшие миланцы стали убеждать его принять пожизненное президентство; из *благодарности* он согласился заменить название *“Цизальпийская республика”* названием *“Итальянское королевство”* (22) и назначить вице-президентом Мелци, который во время первой осады поднес ему ключи города Милана и был поэтому, с точки зрения Австрии, настолько скомпрометирован, что Бонапарт мог оказать ему полное доверие.

Бонапарт сделал, может быть, до Амьенского мира много ошибок, но кто же от них обеспечен? Однако он не обнаруживал никогда таких намерений, в осуществлении которых француз, верный своей родине, не должен был бы ему содействовать. Можно было не всегда соглашаться с ним относительно средств, но целесообразность поставленной им задачи нельзя было оспаривать; в тот период она совершенно явно сводилась, с одной стороны, к окончанию внешней войны и к прекращению, с другой, революции восстановлением королевской власти, которую — я это утверждаю — в то время было невозможно восстановить с соблюдением прав законных наследников последнего короля.

Едва был заключен Амьенский мир, как умеренность начала покидать Бонапарта; мир этот не получил еще полного осуществления, а он начал уже бросать семена новых войн, которые, разорив Европу и Францию, должны были привести его самого к гибели.

Пьемонт должен был быть возвращен королю Сардинии немедленно после заключения Люневильского мира: он лишь временно находился в руках Франции. Возвращение его было бы одновременно актом бесспорной справедливости и проявлением весьма мудрой политики. Бонапарт же, наоборот, присоединил его к Франции. Я делал напрасные усилия, чтобы отклонить его от этого шага. Он считал, что это в его личных интересах, ему казалось, что этого требует его самолюбие, и оно взяло перевес над всеми соображениями осторожности.

Хотя он способствовал своими победами расширению пределов Франции, все же ни одна из территорий, недавно к ней присоединенных, не была завоевана теми армиями, которыми он командовал. Графство Авиньон, Савойя, Бельгия, левый берег Рейна были присоединены к Франции при Конвенте; Бонапарт не мог приписывать лично себе ни одного из этих завоеваний. Править — и править наследственно, как он к тому стремился, — страной, расширенной полководцами, которые были некогда его равные и которых он хотел сделать своими подданными, казалось ему почти унижительным, и, кроме того, это могло вызвать противодействие, которого он стремился избежать. Таким образом, для обоснования своих притязаний на верховную власть он счел необходимым присоединить к Франции владения, которыми бы она была обязана только ему. Он был в 1796 году покорителем Пьемонта, вследствие чего и считал эту страну подходящей для

осуществления своих видов. Поэтому он объявил через сенат о присоединении ее к Франции, не представляя себе, чтобы кто-либо стал требовать у него объяснений по поводу столь чудовищного нарушения самых священных основ международного права. Его иллюзия оказалась недолговечной.

Английское правительство, заключившее мир только по необходимости, справилось с внутренними осложнениями, которые сделали для него этот мир почти неизбежным, но не возвратило еще Мальты; желая сохранить ее, оно воспользовалось случаем, который представило ему присоединение Пьемонта к Франции, и возобновило военные действия.

Событие это ускорило решение Бонапарта превратить пожизненное консульство в наследственную монархию. Англичане высадили на побережье Бретани нескольких преданных и весьма предприимчивых эмигрантов. Бонапарт воспользовался этим заговором, в который он надеялся впутать одновременно Дюмурье, Пишегрю и Моро — трех своих соперников по славе, чтобы заставить Сенат дать ему императорский титул. Этот титул, который он все равно бы получил, если бы проявил умеренность и мудрость, хотя, может быть, и несколько позже, достался ему путем насилия и преступления. Он взошел на трон, замаранный невинной кровью, и притом кровью, которая была дорога Франции в силу древних и славных воспоминаний.

Насильственная, необъяснимая смерть Пишегрю, средства, примененные для того, чтобы добиться осуждения Моро, могли быть оправданы политической необходимостью; но убийство герцога Энгиенского, совершенное только для того, чтобы привлечь на свою сторону и стать в ряды тех, кого смерть Людовика XVI заставляла бояться всякой власти, исходящей не от них, — убийство это, говорю я, не могло быть и никогда не было ни прощено, ни забыто; Бонапарт же был вынужден похвалиться им.

Так как новая война с Англией, в которую оказался втянут Бонапарт, требовала использования всех имевшихся у него средств, то нужна была самая заурядная осторожность, чтобы не предпринимать ничего такого, что могло бы побудить континентальные державы присоединиться к его врагу. Но тщеславие еще раз взяло верх над ним. Ему было уже недостаточно того, что он был провозглашен под именем Наполеона императором французов; его не удовлетворяло то, что он был помазан римским папой, — он желал сделаться еще королем Италии, чтобы быть одновременно императором и королем, подобно главе австрийского владетельного дома. В результате он коронуется в Милане, и вместо того, чтобы принять просто титул короля Ломбардии, он выбирает более громкий и благодаря этому более опасный титул короля Италии, как будто его целью было подчинение всей Италии своему скипетру; для того, чтобы его намерения не вызывали никаких сомнений, Генуя и Лукка, в которых его агенты весьма умело распространили страх, послали к нему депутации, — одна, чтобы подчиниться ему, другая, чтобы просить государя из его дома; и обе в различной форме составляют с тех пор часть великой империи, впервые получившей тогда это название.

Этот образ действий привел к тем последствиям, какие следовало предвидеть. Австрия вооружается, и континентальная война становится неизбежной. Тогда Наполеон пытается начать переговоры с кем только можно. Он старается привлечь Пруссию к союзу с ним, предлагая ей Ганновер, и, когда этот план почти удается ему, он проваливает его, послав в Берлин генерала Дюрока; последний губит вследствие своей неловкости и грубости результаты всех предшествовавших переговоров, которые велись согласно моим инструкциям Ла-Форе, занимавшим тогда пост посланника Франции.

Императору больше повезло с курфюрстами баварским, вюртембергским и баденским, которых он на сей раз удержал в союзе с собой.

Булонский лагерь, устроенный им в этот период для того, чтобы грозить побережью Англии, прежде всего сделал войну популярной в этой стране и способствовал созданию там — неслыханная вещь — многочисленной постоянной армии. Пока Наполеон был погружен в организацию этого лагеря, австрийцы перешли Инн, прошли Баварию, заняли центральную часть Швабии и стали уже приближаться к Рейну. Это быстрое продвижение

австрийцев спасло его от того более чем критического положения, в каком он мог очутиться, если бы они дождались прибытия императора Александра со ста тысячами русских, шедших на соединение с ними, потому что тогда Пруссия неизбежно была бы втянута в коалицию; но австрийцы хотели показать, что они в состоянии одни начать борьбу и победить.

Наполеон сумел воспользоваться этой ошибкой с тем военным гением и той стремительностью, которые составляют его славу. В несколько недель, можно почти сказать в несколько дней, он перевел великую армию из Булонского лагеря на берега Рейна, чтобы вести ее к новым победам.

Я получил приказ сопровождать его в Страсбург и готовиться следовать за его главной квартирой в зависимости от того, как сложатся обстоятельства (сентябрь 1805 года). Нездоровье, случившееся с императором в начале этой кампании, очень напугало меня. В самый день его отбытия из Страсбурга я обедал у него; по выходе из-за стола он пошел один к императрице Жозефине; через несколько минут он быстро от нее вышел; я был в приемной. Он взял меня под руку и отвел в свою комнату. Первый камергер, Ремюза, которому нужно было получить от него какие-то приказания и который боялся, чтобы он не отбыл, не отдав их, вошел туда одновременно с нами. Мы едва вступили в комнату, как император упал на пол; он успел только сказать мне, чтобы я закрыл дверь. Я сорвал с него галстук, потому что казалось, что он задыхается; у него не было рвоты, но он стонал и изо рта у него шла пена. Ремюза поил его водой, я поливал его одеколоном. С ним сделались какие-то судороги, прошедшие через четверть часа; мы положили его на кресло. Он начал говорить, оделся, велел нам хранить случившееся в тайне, и через полчаса он был уже на дороге в Карлсруэ. По прибытии в Штутгарт он сообщил мне о своем здоровье; письмо его кончалось следующими словами: “Я здоров. Герцог Вюртембергский встречал меня за оградой своего дворца; он умный человек”. Второе письмо из Штутгарта от того же числа гласило: “Я имею известия о Маке; он действует так, как будто я сам руковожу им. Он будет окружен в Ульме, как трус”.

Позднее распространились слухи, что Мак подкуплен, но это неправда; только самомнение погубило австрийцев. Известно, при каких обстоятельствах их армия, частично разбитая в разных пунктах и оттесненная к Ульму, была вынуждена там капитулировать; она была пленена и испытала глубокое унижение.

Извещая меня о своей победе, Наполеон писал, какие условия, согласно своему первоначальному плану, он хочет поставить Австрии и какие земли он собирает у нее отнять. Я отвечал ему, что его истинный интерес заключается не в ослаблении Австрии, что отнятое у нее в одном месте должно быть возвращено ей в другом с целью сделать из нее союзника.

Записка, в которой я излагал свои соображения, произвела на него такое впечатление, что он поставил вопрос на обсуждение совета, собранного им в Мюнхене, куда я отправился для свидания с ним и для того, чтобы склонить его к предложенному мною плану, который находится в правительственных архивах(23). Но новые успехи одной из его авангардных дивизий подавили в нем все, кроме желания идти на Вену, спешить навстречу новым удачам и издавать декреты, помеченные императорским Шенбрунским дворцом.

Овладев менее чем в три недели всей Верхней Силезией и всей той частью Нижней, которая лежит южнее Дуная, он переходит эту реку и вступает в Моравию. Если бы шестьдесят тысяч пруссаков вошли тогда в Богемию и шестьдесят тысяч других, выйдя из Франконии, заняли дорогу на Линц, сомнительно, чтобы ему лично удалось ускользнуть от опасности. Если бы австро-русская армия, которая была впереди него и которая имела приблизительно сто двадцать тысяч человек, сумела хотя бы только уклониться от общего сражения, чтобы дать эрцгерцогу Карлу время подоспеть с семьюдесятью пятью тысячами человек, находившихся в его распоряжении, то вместо того, чтобы диктовать условия, Наполеон оказался бы в необходимости подчиниться им. Но Пруссия не только не явилась

со своей армией, а прислала уполномоченного для переговоров, который, совершив либо глупость, либо преступление, не сделал ничего того, что было ему поручено, и вырыл пропасть, поглотившую затем в ближайшем будущем его собственную страну(24).

Император Александр, скучавший в Ольмюце и не видавший еще ни одного сражения, захотел доставить себе это удовольствие; невзирая на представления австрийцев, невзирая на советы прусского короля, он дал сражение, известное под именем Аустерлицкого, и, совершенно проиграв его, был еще счастлив, что мог уводить свои войска, ежедневно совершая определенные переходы, как ему унижительно предписало заключенное им перемирие. Никогда еще военные успехи не были так блестящи. Я как будто сейчас вижу Наполеона, возвращающегося в Аустерлиц вечером после сражения. Он квартировал в доме князя Кауница, и туда в его комнату, да, в самую комнату князя Кауница, ежеминутно прибывали австрийские, русские знамена, послания эрцгерцогов, послания австрийского императора, пленные, носившие самые громкие имена империи.

Среди всех этих трофеев я не забыл въехавшего во двор курьера с письмами из Парижа и таинственной папкой, содержащей сообщения Лавалетта о секретах тех распечатанных частных писем, которые представляли некоторый интерес, а также донесения всех органов французской полиции. На войне прибытие курьера — чрезвычайно радостное событие. Велев немедленно раздать письма, Наполеон вознаградил свою армию и дал ей оправиться от усталости.

Тут произошел довольно пикантный инцидент, слишком отчетливо рисуемый характер Наполеона и его взгляды, чтобы я оставил его без упоминания. Император, вполне доверявший мне в этот период, велел мне прочесть ему его корреспонденцию. Мы начали с дешифрованных писем иностранных послов в Париже; они мало интересовали его, потому что все земные новости сосредоточивались вокруг него. Затем мы перешли к донесениям полиции; некоторые из них говорили о затруднениях банка, вызванных несколькими неудачными мероприятиями министра финансов Марбуа. Он обратил больше внимания на донесение госпожи Жанлис; оно было длинно и все целиком написано ее рукой. Она говорила в нем о настроении Парижа и цитировала оскорбительные речи, которые велись в домах, именованных тогда *Сен-Жерменским предместьем*; она называла пять или шесть семейств, которые никогда, добавляла она, не примкнув к правительству императора. Довольно колкие выражения, приведенные госпожой Жанлис, вызвали невероятный гнев Наполеона; он бранился, бушевал против Сен-Жерменского предместья: “Да! Они воображают себя сильнее моего,— говорил он,— эти господа из Сен-Жерменского предместья! *Мы увидим! Мы увидим!*” И когда же он произносил это “мы увидим!” Спустя несколько часов после решительной победы над русскими и австрийцами. Такое влияние и силу он придавал общественному мнению, в особенности же взглядам некоторых аристократов, вся деятельность которых ограничивалась тем, что они отстранялись от него. Поэтому, вернувшись позже в Париж, он считал, что одержал новую победу, когда госпожи Монморанси, Мортемар и Шеврез заняли должности статс-дам императрицы и придали этим более благородный оттенок госпоже Бассано, назначенной одновременно с ними.

По истечении двадцати четырех часов я покинул Аустерлиц. Я провел два часа на этом ужасном поле сражения; меня отвел туда маршал Ланн, и я должен сказать к его чести и, может быть, к чести военных вообще, что этот же самый человек, совершавший накануне чудеса храбрости, проявлявший неслыханную доблесть, пока ему нужно было побеждать врагов, едва не почувствовал себя дурно, когда перед его взором оказались убитые и искалеченные всех народностей; он был так взволнован, что, показывая мне различные пункты, с которых велись главные атаки, он вдруг сказал: “Я больше не вынесу этого, если только вы не пойдете вместе со мной убивать этих презренных жидов, грабящих мертвых и умирающих”.

Переговоры, носившие до этого великого сражения характер пустой видимости, приобрели после него серьезное значение. Они начались в Брюнне, в Моравии, и

закончились в Пресбурге, куда вместе со мной отправились генерал Гиулай и верный князь Иоганн Лихтенштейн. Пока я находился в первом из этих городов, император Наполеон продиктовал Дюроку условия, а граф Гаугвиц, прусский посланник, подписал договор (15 декабря 1805 года), перечислявший уступки, которые будут потребованы от Австрии; в силу этого договора Пруссия уступила Анспاخ и Невшатель в обмен на полученный ею Ганновер; Наполеон достиг полного успеха, но он без всякой меры злоупотребил им, особенно когда издал вскоре после того в Вене дерзкий декрет, которым он объявлял, что Фердинанд IV, король Обеих Сицилий, перестал царствовать, а потому он передает старшему из своих братьев, Жозефу Бонапарту, Неаполитанское королевство, легко покоренное им, и Сицилийское, которым он до самого конца владел только в своем воображении.

Система, принятая тогда Наполеоном, первым проявлением которой был вышеупомянутый декрет, послужила одной из причин его падения. Я покажу дальше применительно к каждому из сфабрикованных им новых королей всю неполитичность и все разрушительные последствия такого ниспровержения правительств с целью создания затем других, которые он незамедлительно снова сваливал, и это во всех странах Европы.

В том бедственном состоянии, в какое она была повергнута, Австрия должна была принять продиктованные победителем условия. Они были суровы, и договор, заключенный с Гаугвицем, не позволял мне смягчить другие статьи, кроме касающихся контрибуции. Все же я принял меры, чтобы условия эти не могли быть отягчены каким-либо ложным толкованием. Будучи полным хозяином в обработке редакции, на которую Наполеон не мог влиять ввиду отделявшего нас расстояния, я приложил все усилия к тому, чтобы освободить ее от всяких двусмысленностей; поэтому, хотя он и достиг всего, что только было достижимо, договор не удовлетворил его. По истечении некоторого времени он написал мне: “Вы заключили в Пресбурге очень стеснительный для меня договор”. Это не помешало ему, однако, выразить мне вскоре после того свое большое благоволение, пожаловав мне титул князя Беневентского, территория которого была занята его войсками. Я с удовольствием отмечаю, что это обеспечило указанное княжество, сохраненное мною до Реставрации, от всякого гнета и даже от рекрутского набора.

Граф Гаугвиц был, конечно, достоин того, чтобы ответить головой за договор, который он осмелился заключить, не имея соответствующих полномочий и вопреки воле своего государя, которая была ему отлично известна; но наказывать его — это значило бы задеть самого Наполеона. Прусский король не решился отказаться от подписи; он имел даже слабость противодействовать благородным настояниям королевы, и тем не менее, стесняясь одобрить подобный акт, он сначала лишь условно ратифицировал этот договор. Но условную ратификацию, отвергнутую Наполеоном, пришлось, чтобы не приобрести в нем врага, заменить безусловной, которая привела Пруссию в состояние войны с Англией.

Став императором, Наполеон не желал более республик, особенно по соседству с собой. Поэтому он сменил правительство Голландии, а затем добился того, что у него стали просить на королевский престол этой страны одного из его братьев. Он не подозревал, что выбранный им брат Луи был слишком честным человеком, чтобы принять титул короля Голландии, не сделавшись настоящим голландцем.

Распадение Германской империи предполагалось уже само собою Пресбургским договором, потому что он превратил баварского и вюртембергского курфюрстов в королей, а курфюрста баденского — в великого герцога. Это распадение было довершено актом об образовании Рейнской конфедерации, — актом, стоившим жизни многим мелким государствам, сохраненным по заключительному протоколу 1803 года, и которые я еще раз пытался спасти. Но мне это удалось только в отношении очень немногих из них, так как главные участники конфедерации соглашались на этот акт лишь под условием расширения их владений.

Мюрат, один из шуринов Наполеона, получивший в верховное владение Клеве и Берг,

вошел в эту конфедерацию с титулом великого герцога; он заменил его позже королевским титулом, который ему было бы лучше никогда не приобретать.

В то время как прусский король, заняв Ганновер, поссорился с Англией, последняя стала помышлять о переговорах с Францией. После смерти Питта Фокс, которому предстояло не намного пережить его, сделался, в силу своего таланта и несмотря на антипатию к нему короля, статс-секретарем по иностранным делам в кабинете, номинальным главой которого был лорд Гренвиль. Гнет правительства Наполеона был всех более ненавистен Фоксу. Но потому ли, что он не хотел противоречить своим образом действий речам, которые он столько лет держал в качестве вождя оппозиции, потому ли, что он действительно желал мира, — он счел нужным проявить миролюбивые намерения. Он сообщил мне о заговоре на жизнь императора (или главы французов, как он называл его в своем письме), который был открыт ему одним из презренных участников этого замысла.

Я с жадностью ухватился за этот предлог и, поблагодарив его от имени императора, выразил миролюбивые намерения, за которыми последовало вскоре выступление лорда Ярмута. Желая сделать приятное лорду Гренвиллю, Фоке после двух или трех совещаний назначил в помощь лорду Ярмуту лорда Лаудердаля.

Император Александр, со своей стороны, отправил в Париж Убри для подготовки примирения. Я убедил его заключить договор, об условиях которого он вел переговоры с Кларком. Русский император, не желавший еще идти так далеко, отказался ратифицировать его и подверг опале того, кто его подписал.

Что касается переговоров, которые были удачно начаты лордом Ярмутом и испорчены лордом Лаудердалем, то они привели только к тому, что Англия получила за Пруссию гораздо большее возмещение, чем она сама желала.

Мир между Англией и Францией был морально невозможен без возвращения Ганновера, а так как Наполеон распорядился этой страной, получив за нее соответствующее возмещение, которым он тоже успел распорядиться, то возвращение ее также было морально невыносимо. Но император, считавший реальными только те трудности, которые не могли быть преодолены силой, не поколебался признать это возвращение одной из основ будущего соглашения. Он говорил: “Пруссия, принявшая Ганновер из страха, из страха же возвратит его; что же касается данного ею возмещения, то я компенсирую ее обещаниями, которые удовлетворят самолюбие кабинета и которыми страна будет вынуждена удовлетвориться”.

Пруссия не могла долго оставаться в неведении относительно этого вероломства; англичане были заинтересованы в том, чтобы сообщить ей о нем, и сверх того ей предстояло испытать еще один обман.

Во время бесед, которые граф Гаугвиц вел в Вене и Париже с императором Наполеоном, последний говорил ему о своем проекте упразднения Германской империи и замене ее двумя конфедерациями, южной и северной. Он желал, по его словам, иметь влияние только на первую; Пруссия возглавляла бы вторую. Прусский кабинет соблазнился этим проектом, но, когда захотели приступить к разграничению обеих конфедераций, Наполеон заявил, что в прусскую конфедерацию не могут войти ни ганзейские города, ни Саксония, то есть те единственные области, которые еще не были под прусским влиянием и протекторатом. Увидев себя обманутой, Пруссия поддалась чувству раздражения, овладевшему всеми классами ее населения, и взялась за оружие.

Не без тайной тревоги ждал император этого первого случая померяться с ней силами. Былая слава прусской армии внушала ему почтение; но уже после четырехчасовой борьбы призрак этот исчез, и сражение при Иене отдало прусскую монархию на полную волю победителя; он был тем более суров, что чувствовал себя неправым, испытал, кроме того, некоторый страх и знал, что это было всем известно.

Наполеон был уже в Берлине, когда он получил воззвание князя Мира, которое, по видимому, возвещало о предстоящей измене Испании. Он поклялся тогда во что бы то ни

стало уничтожить испанскую ветвь Бурбонов, а я внутренне поклялся во чтобы то ни стало уйти с поста его министра, как только мы вернемся во Францию. Он укрепил меня в этом решении своим варварским обхождением с Пруссией в Тильзите, хотя там он и не прибегал к моему содействию. На этот раз он не поручил мне ведения переговоров о военной контрибуции и эвакуации его войск, а возложил это на маршала Бертье. Он находил, что в Пресбурге я исполнил это поручение слишком неудовлетворительно с точки зрения того, что он считал своими истинными интересами; но я забегаю вперед.

Мы оставались в Берлине лишь несколько дней. Адъютант короля Цастров, пользовавшийся его доверием, и Луккезини получили разрешение отправиться туда. Луккезини считался в Пруссии весьма способным и, главное, очень хитрым человеком. Хитрость его часто заставляла меня вспоминать слова Дюффрени, говорившего, что избыток ума равносителен недостатку его. Оба эти уполномоченные явились для переговоров о перемирии, которого они, может быть, добились бы, если бы они не узнали слишком поздно о капитуляции Магдебурга. Русская армия была еще, правда, цела, но она была так малочисленна! А кроме того, пруссаки совсем пали духом, все крепости сдались и, наконец, польские депутации спешили со всех сторон навстречу Наполеону. Этого было более чем достаточно, чтобы он решил отправить обратно всех делегатов, покинуть Берлин и направиться быстрым маршем через Познань на Варшаву.

Какое странное зрелище представлял собой Наполеон, выходящий из кабинета великого Фридриха, где он только что написал обращение к армии, и направляющийся в столовую, чтобы принять за своим обеденным столом пленного Моллендорфа и историографа прусской монархии Мюллера; он предлагает тому и другому выплату их содержания, на что они соглашаются, затем садится в коляску и отправляется в Познань!

Он послал впереди себя генерала Домбровского и графа Вибицкого, которые оба служили под его начальством во время итальянских походов. В Познани они выпустили нечто вроде обращения к Польше, провозглашавшего ее восстановление. В этом документе, который был им вручен в Берлине, одобрение Наполеона одновременно высказывалось и прикрывалось так, чтобы он мог его признать или отвергнуть в зависимости от того, будут ли обстоятельства благоприятствовать или мешать его замыслу. В Познани он был встречен восторженно. Депутация, ловко подготовленная Мюратом, находившимся уже в Варшаве, и состоявшая из людей, достаточно значительных, чтобы можно было поверить, что они говорят от имени нации, появилась уже на другой день по прибытии Наполеона у ворот занятого им дворца. Она была многочисленна; мне запомнились имена Александра Потоцкого, Малаховского, Гутаковского, Дзиалинского. В речи, обращенной ими к императору, они предоставляли в его распоряжение все силы страны. Ухватившись за это предложение и скупко объясняясь по поводу их просьб, Наполеон ответил им: “Когда у вас будет армия в сорок тысяч человек, вы будете достойны называться нацией, и тогда вы приобретете право на мое полное покровительство”. Депутация быстро вернулась в Варшаву, преисполненная надежд.

В Познани император заключил соглашение с саксонским курфюрстом, который был до того союзником Пруссии. Курфюрст вошел в Рейнскую конфедерацию и принял королевский титул. В связи с этим Наполеон получил список картин, которые барон Денон предлагал ему взять из Дрезденской галереи. Войдя к нему однажды в кабинет, я застал его за просмотром этого списка, который он показал мне. “Если, ваше величество,— сказал я ему,— возьмете из Дрездена картины, вы позволите себе больше, чем когда-либо позволял себе саксонский король, так как он не считает себя вправе поместить хотя бы одну из них в своем дворце. Он чтит галерею как национальное достояние”. — “Да,— сказал Наполеон,— это отличный человек; не нужно огорчать его. Я дам приказ ничего не трогать. В дальнейшем мы посмотрим”.

Уверенный в получении из Польши нового армейского корпуса по крайней мере в сорок тысяч человек, император отправился через несколько дней в Варшаву. Несчастный

случай, происшедший в Кутно с генералом Дюроком, ни на четверть часа не замедлил его путешествия; он видел его падение, проехал мимо него, продолжая свой путь, и вспомнил только в двух лье от того места, что ему следовало осведомиться о его здоровье. Один Мюрат знал о времени его прибытия в Варшаву. Он вступил в нее глубокой ночью. В шесть часов утра новые власти, созданные под давлением французских офицеров из армейского корпуса Мюрата, получили приказ явиться во дворец, где их должны были представить императору. Он принял с особым благоволением наиболее рьяных из явившихся туда: это были те патриоты, которые всегда готовы приветствовать перемены в строе своей страны, каковы бы они ни были. Но он был более чем строг к другим и в особенности к князю Иосифу Понятовскому; он высказал ему в очень резких выражениях порицание за то, что он согласился возобновить службу в армии лишь по прямому приказу, данному ему Мюратом от имени императора. Заслужив этот упрек, обращенный к его верности, князь Иосиф приобрел затем особое уважение императора, который дал Польше временное правительство и поручил в нем Понятовскому военное министерство.

Первое пребывание Наполеона в Варшаве было очень непродолжительно. В беседах, которые он имел по прибытии туда с самыми влиятельными в стране людьми, он заявлял, что намеревается идти скоро на Гродно, и так как препятствия на его пути будут невелики, то он в короткий срок уничтожит то, что он называл уже обломками русской армии, и отбросит, как он говорил, этих новоявленных европейцев к их старым границам. Пултуская грязь задержала на некоторое время осуществление его плана, но она, однако, не заставила его решительно изменить свои речи. Вернувшись в Варшаву, он заявил, что достиг больших успехов, но не хочет воспользоваться полученными преимуществами, так как время года очень затрудняет действия войск, и что он поставит их на зимние квартиры.

Этот отдых, впрочем непродолжительный, он употребил на организацию Польши, так что, когда кампания началась, она оказала ему большую помощь. А так как он знал, что этой своеобразной страной правят только фантазии, то в течение трех недель, проведенных им в Варшаве, он прилагал все усилия для возбуждения военного духа нации, устраивал празднества, давал балы, концерты, выражал презрение к русским, выставлял напоказ большую роскошь и толковал о Яне Собесском. Он публично положил свою славу к ногам прекрасной польки Анастасии Валевской, сопровождавшей его в Остероде и Финкенштейн, куда он направился, чтобы посетить свои войска на квартирах.

Мне пришлось остаться в Варшаве, где имелось нечто вроде дипломатического корпуса; я был окружен там немецкими посланниками, государи которых имели в эту эпоху разрушений мужество думать о расширении своих владений. По другим мотивам Австрия отправила туда барона Винцента. Ему было поручено только следить за тем, чтобы не нарушался порядок в бывших польских владениях, принадлежавших со времени последнего раздела Польши австрийскому императору и вблизи которых находился театр военных действий. Я вошел в его виды и всеми доступными мне средствами помогал ему удачно исполнить его миссию.

Наполеон назначил губернатором Варшавы настолько неспособного человека, что в его отсутствие он поручал мне дела, которые естественно входили в его компетенцию. Так, я заботился об обмундировании войск, ведал их передвижениями, закупал продовольствие, посещал госпитали, присутствовал при перевязках раненых, раздавал награды и должен был даже помогать губернатору в составлении приказов по войскам. Этот род занятий, чуждый моим привычкам, был бы для меня очень тягостен, если бы я не нашел в доме князя Понятовского и его сестры, супруги графа Винцента Тышкевича, всяческой помощи и поддержки. Знаки внимания, а затем и привязанности, оказанные мне этой превосходной аристократической семьей, оставили в моем сердце неизгладимые чувства благодарности. Я с огорчением покидал Варшаву. Но битва при Эйлау была почти выиграна, и, желая начать переговоры, Наполеон призвал меня к себе. Все сделанные им в этом направлении попытки остались бесплодны; нужно было еще сражаться, что он и



понял через несколько дней. Взятие Данцига подняло так называемый дух армии, несколько подавленный превратностями, испытанными в Пултуске, сражением при Эйлау, климатом и слишком длительной для французов разлукой с родиной. Со всеми собранными им войсками император пошел на Гейльсберг, где он одержал первую победу; затем, преследуя русских, он снова разбил их у Гутштадта и, наконец, у Фридланда.

Страх, посеянный среди русских последней битвой, вызвал у них решительное желание окончить эту великую борьбу. Свидание на Немане, предложенное императором Александром, было так романтически задумано и могло быть так великолепно осуществлено, что Наполеон, видевший в нем блестящий эпизод для поэмы своей жизни, на него согласился. Там были заложены основы мира. Оттуда все отправились в Тильзит, где мне было поручено ведение переговоров с прусскими уполномоченными, генералом Калькрейтом и Гольцем, и подписание с ними договора, заключавшего пункт о территориальных уступках Пруссии, как о них условились императоры Наполеон и Александр. Последний не ограничился заключением мира, а сделался по договору, о котором я вел переговоры и который подписал с князем Куракиным, союзником Наполеона и в силу этого врагом своих прежних союзников. Император Александр, удовлетворенный тем, что он ничего не терял и даже кое-что приобретал (что историки, если они будут к нему благожелательны, не захотят признать), и тем, что ему удалось обойтись без ущерба для своего самолюбия перед лицом своих подданных, счел долг дружбы в отношении прусского короля исполненным, раз он сохранил ему номинально половину его королевства; после этого он отбыл, даже не убедившись в том, что та половина, которую король сохранял, будет ему быстро и полностью возвращена, что ему не придется выкупать ее ценой новых жертв. Этого можно было опасаться ввиду жестокого вопроса, заданного однажды Наполеоном прусской королеве: “Как вы решились, сударыня, воевать со мной при ничтожных силах, имевшихся в вашем распоряжении?” — “Государь, я должна признаться вашему величеству, что слава Фридриха II ввела нас в заблуждение относительно нашего могущества”. Это упоминание о славе, столь удачное, принимая во внимание, что оно было сделано в Тильзите, в приемной императора Наполеона, показалось мне великолепным. Я так часто повторял прекрасный ответ королевы, что однажды император сказал мне: “Не знаю, что вы находите такого удачного в словах прусской королевы; вы бы лучше говорили о чем-нибудь другом”.

Я был возмущен всем тем, что видел и слышал, но был вынужден скрывать свое негодование. Поэтому я навсегда сохраню благодарность к прусской королеве — королеве иных времен — за то, что она соизволила его заметить. Если иногда размышления о моей жизни горестны для меня, то я по крайней мере с очень приятным чувством вспоминаю слова, которые она тогда по доброте своей сказала, и доверие, которое она оказала мне. “Князь Беневентский, — сказала она мне, когда я в последний раз имел честь провожать ее к экипажу, — только два человека жалеют о том, что я явилась сюда: это я и вы. Вы не досадуете на то, что у меня сложилось такое мнение?” За меня ответили слезы умиления и гордости, выступившие у меня на глазах.

Все обращения этой благородной женщины к Наполеону были бесплодны; он торжествовал победу и бывал в таких случаях непреклонен. Обязательства, которые он одних заставил нарушить и которые он возложил на других, опьянили его. Он тешился также мыслью, что ему удалось одурачить русского императора; но время показало, что в действительности одурачен был он сам.

Тильзитским договором младший из его братьев, Жером Бонапарт, был признан вестфальским королем. Королевство его составилось из нескольких областей, уступленных Пруссией, большей части Гессенского курфюршества и герцогства Брунсвик-Вольфенбюттель, завоеванных, но еще не уступленных по договору. Наполеон весьма желал присоединить к ним также княжества Ангальт, Липпе и Вальдек. Но,

воспользовавшись серьезными затруднениями, испытанными им после битвы при Пултуске, в чем он, впрочем, не признавался, я добился включения этих княжеств, как и владений князей Рейс и Шварцбург, в Рейнскую конфедерацию; Наполеон же не дерзал еще, как он это сделал позднее, покушаться на права князей, с вхождением которых в конфедерацию он согласился. После подписания и ратификации Тильзитского договора можно было, наконец, вернуться во Францию.

Тревоги, в которых я прожил почти целый год, заставили меня испытать при проезде через Дрезден невыразимо приятное чувство. Я остановился там на несколько дней. Благородные и спокойные нравы саксонского двора, государственные доблести и личные достоинства короля Фридриха-Августа, всеобщие доброжелательность и искренность оставили у меня исключительно приятное воспоминание об этом пребывании в Дрездене.

По прибытии в Париж Наполеон создал для маршала Бертье должность вице-коннетабля(25), а для меня вице-электора(26). Это были почетные и доходные синекуры. Я оставил тогда, как мне уже давно хотелось, министерство(27).

Все то время, что на меня было возложено руководство иностранными делами, я верно и ревностно служил Наполеону. В течение длительного периода он соглашался с теми взглядами, которые я считал своим долгом защищать перед ним. Они направлялись двумя соображениями: создание во Франции монархических учреждений, которые бы обеспечивали авторитет монарха, ставя ему надлежащие границы; осторожная политика в отношении Европы, которая бы заставила ее простить Франции ее счастье и славу. Нужно сказать, что к 1807 году Наполеон уже давно покинул тот путь, на котором я старался всеми силами удержать его, но до представившегося тогда случая я не мог оставить свой пост. Прекратить активную деятельность при нем было не так легко, как это можно думать.

Едва успев вернуться из Тильзита, Наполеон целиком погрузился в осуществление своих замыслов против Испании. Завязка этого дела была столь сложна, что я счел нужным изложить его отдельно(28). Я должен только сказать здесь, что, стремясь внушить другим, что я одобряю его планы, он пожелал сделать именно из моего владения в Валенсе тюрьму для Фердинанда VII, его брата и их дяди. Но ни эти высокие особы, ни публика не были введены в заблуждение. Это удалось ему не больше, чем само покорение Испании.

Когда он расстался в Тильзите с императором Александром, они условились скоро опять встретиться. Наполеон не имел ни малейшего намерения исполнить это обещание, если бы только положение дел не вынудило его к этому. Но когда генерал Жюно был изгнан англичанами из Португалии, генерал Дюпон был вынужден капитулировать в Байлене, а общее восстание в Испании начало грозить принять затяжной характер, он стал опасаться, чтобы Австрия не захотела воспользоваться этими обстоятельствами, и почувствовал необходимость обеспечить себе поддержку России. Тогда он пожелал встретиться с императором Александром и пригласил его на свидание, назначенное в Эрфурте. Он хотел, чтобы я сопровождал его, хотя он был тогда уже очень холоден со мной; он вообразил, что мое присутствие может ему быть полезно, и этого было достаточно для него. Многочисленные пикантные подробности этого свидания составляют особый эпизод; поэтому я счел нужным выделить их в отдельную главу. Но здесь следует упомянуть о намерениях Наполеона. Он ставил себе задачу склонить императора Александра к союзу с ним, который был бы специально направлен против Австрии. Союз, заключенный им в Тильзите, хотя и имел общее значение, был направлен главным образом против Англии. Если бы он добился успеха в Эрфурте, он стал бы искать под каким-либо предлогом, который ему нетрудно было найти, повода для конфликта с Австрией, а военная удача позволила бы ему поступить с ней так же, как с Пруссией.

Полная и неограниченная поддержка России обеспечила бы ему достижение его цели. Будучи невысокого мнения о талантах и характере императора Александра, он надеялся

на успех. Он предполагал сначала запугать его, а затем воздействовать одновременно на его тщеславие и честолюбие, причем можно было в самом деле опасаться, чтобы с этой стороны русский император не оказался слишком уязвим. Но судьба помогла Австрии, и Коленкур, к которому многие относились очень отрицательно, внушил императору Александру доверие к себе и заставил его доверять и мне. Я виделся с ним несколько раз, в частности в Тильзите. В Эрфурте я встречался с ним почти ежедневно. Сначала мы вели беседы на общую тему об интересах, связывавших европейские великие державы, об условиях, при которых могли бы расторгнуться связи, которые следовало между ними сохранить, вообще о европейском равновесии и вероятных следствиях его нарушения; их сменили беседы более узкого содержания о государствах, существование которых было необходимо для этого равновесия, и, наконец, об Австрии; они создали у императора такое умонастроение, что вся любезность, все предложения и все порывы Наполеона остались бесплодными; перед отбытием из Эрфурта император Александр написал австрийскому императору собственноручное письмо, в котором успокаивал его насчет опасений, внушенных ему эрфуртским свиданием. Это была последняя услуга, оказанная мною Европе еще при Наполеоне, а, по моему мнению, это была услуга и лично ему.

Дав многочисленные празднества и заключив договор, весьма отличный от того, что он имел в виду, когда явился в Эрфурт, император возвратился в Париж, и с этого времени Шампаньи безраздельно управлял иностранными делами. Я, со своей стороны, вернулся к частной жизни большого сановника.

Не преследуя никакой определенной цели, я сделал все зависящее от меня, чтобы заслужить доверие императора Александра; это мне настолько удалось, что при первых своих трениях с Францией он прислал ко мне советника русского посольства в Париже графа Нессельроде, который заявил, войдя ко мне в комнату: “Я прибыл из Петербурга; официально я состою при князе Куракине, но я аккредитован при вас. Я состою в частной переписке с императором и привез вам письмо от него”.

## ПРИМЕЧАНИЯ

(1) Речь идет о первом конституционном министерстве, находившемся у власти с ноября 1791 г. по март 1792 г. и составленном из умеренных конституционалистов, или фельянов, названных так по парижскому монастырю фельянтинского братства, в котором помещался в начале революции клуб умеренных.

(2) 20 июня 1792 г. в Париже произошло восстание, вызванное отставкой, которую Людовик XVI дал министерству, составленному из сторонников Жиронды, причем восставшие требовали возвращения жирондистских министров и издания законов против эмигрантов и неприсягнувших священников. 10 августа того же года произошло новое восстание, завершившееся низложением короля и взятием его под стражу.

(3) Закон об иностранцах (Alien-Bill) был проведен в 1793 г. лордом Гренвилем; он отдавал французских эмигрантов под надзор полиции и разрешал высылать их из Англии. В январе 1794 г. он был применен к Талейрану.

(4) *Вифлеем* — небольшой город в Пенсильвании, близ Филадельфии, основанный моравскими братьями.

(5) *Луизиана* — теперь один из штатов Северной Америки; в XVII веке в ней были устроены первые поселения французами, которые назвали ее так в честь Людовика XIV. Часть ее была уступлена в 1762 г. Испании, а другая часть, по Парижскому миру 1763 г., отдана Великобритании. Испанскую часть Наполеон снова приобрел по договору с Испанией и в 1803 г., из боязни английского вторжения, продал ее Северо-Американским Соединенным Штатам.

(6) *Флорида* была в начале XVI века захвачена испанцами. К их поселениям вскоре прибавились поселения французских гугенотов. По Парижскому миру Флорида была уступлена Францией и Испанией Великобритании. В 1783 г. последняя снова уступила ее Испании. Но в 1810 г., когда испанский король находился в плену у Наполеона, правительство Северо-Американских Соединенных Штатов захватило Флориду.

(7) Вероятно, речь идет о герцоге де ла Рошфуко-Лианкур (см. указатель).

(8) Под *Национальным институтом, наук и искусств* Талейран подразумевает Французский институт, созданный в 1795 г. взамен прежних академий, уничтоженных в 1793 г. Академии были восстановлены в 1816 г., а впоследствии Французский институт объединил Французскую академию, Академию надписей и изящной литературы, Академию наук, Академию изящных искусств и Академию моральных и политических наук.

(9) Первый доклад назывался “Sur les relations commerciales de l'An-gleterre et des Etats-Unis”, второй — “Sur

- les avantages a retirer des colonies nouvelles”; оба они опубликованы в “Recueil des memoires de l’Insti-tut., classe des sciences morales et politiques”, t. II, premiere serie, 1799.
- (10) Членами Директории, бывшими прежде депутатами Учредительного собрания и Конвента, являлись ла Ревельер-Лепо и Ребель.
- (11) Талейран был назначен министром внешних сношений 18 июля 1797 г.
- (12) Переписка Талейрана с Бонапартом опубликована в “Correspon-dance inedite et officielle de Napoleon Bonaparte avec le directoire, les ministres, etc.”, Paris, 1819, 7 vol.
- (13) 4 сентября 1797 г. (18 фруктидора V года по революционному исчислению) была совершена попытка приостановить контрреволюцию при помощи государственного переворота. Члены Директории ла Ревельер-Лепо, Ребель и Баррас объявили о ссылке двух других членов Директории, Карно и Бартеlemi, подозреваемых в роялизме, и о замене их Мерленом и Франсуа де Нешато, а также о ссылке в Кайенну ряда роялистских членов Совета пятисот и Совета старейших.
- (14) *Долгим парламентом называют английский парламент, созванный Карлом I Стюартом в 1640 г., начавший борьбу с этим королем, объявивший после его казни республику и разогнанный в 1653 г. Кромвелем при помощи военного отряда.*
- (15) Это письмо не было найдено в бумагах, оставшихся после смерти Талейрана.
- (16) Убийство французских уполномоченных произошло после завершения конгресса в Раштадте, в герцогстве Баденском. Он собрался в 1797 г. для заключения мирного трактата между Французской республикой и Германской империей (или, как тогда именовался этот союз немецких государств, — “Священной римской империей германской нации”). Переговоры затянулись очень надолго, и когда в 1799 г. вновь вспыхнул” война между Францией и второй коалицией, то Австрия стала форсировать разрыв переговоров в Раштадте, откуда ее делегаты уже уехали. В конце концов французские уполномоченные — Бонье, Жан Дебри и Робержо— были вынуждены покинуть конгресс, потерявший всякий смысл. 28 апреля 1799 г., вечером, почти тотчас же после выезда их из города Раштадта, на французских уполномоченных было произведено нападение со стороны имперских жандармов. Двое были тотчас убиты, а третий, Дебри, спасся израненный. Это убийство возбудило во Франции и даже в большинстве нейтральных стран сильное негодование против Австрии.
- (17) *Совет пятисот и Совет старейших были учреждены по конституции 22 августа 1795 г. Первый, состоявший из 500 депутатов, имел право-законодательной инициативы, обсуждения и голосования законопроектов, а второй, состоявший из 250 членов не моложе сорока лет, обладал правом утверждать без изменения или отвергать предложения Совета пятисот.*
- (18) 11 мая 1799 г. Директория кассировала выборы, произведенные в Совет пятисот и Совет старейших, объявила новые и обеспечила преобладание умеренных республиканцев.
- (19) Недовольство Павла I Австрией было вызвано тем, что она настояла, чтобы после завоевания русскими войсками Северной Италии они занялись освобождением от французов Швейцарии, оставив в Италии одни австрийские войска, спешно выведенные из Швейцарии. При знаменитом своем походе через Швейцарию Суворов спас русскую армию, но Швейцария вся осталась в руках французов. Считая виновником этой неудачи Австрию, Павел разорвал в 1800 г. свой союз с ней.
- (20) Карно не был в Кайенне, а вовремя предупрежденный о предстоящей ссылке, до событий 18 фруктидора V года бежал за границу. Талейран, очевидно, пугает его с Пишегрю.
- (21) *Конкордатами называются соглашения между римским папой и светскими католическими правительствами; договоры с не католическими правительствами называются конвенциями.* 15 июля 1801 г. Бонапарт заключил с Пием VII конкордат, который, вступив в силу в 1802 г., завершил период революционной борьбы с церковью и восстановил католический культ во Франции. Он лежал в основе церковной организации во Франции вплоть до 1905 г., когда было проведено отделение церкви от государства
- (22) У Талейрана ошибка. В 1802 г. Цизальпийская республика, президентом которой был Наполеон, была им переименована в Итальянскую республику, чем он подчеркнул свое сочувствие стремлению итальянцев к объединению. Талейран, очевидно, предполагает именно это переименование, так как Итальянское королевство было создано позже, в 1805 г., когда Наполеон короновался королем Италии.
- (23) Эта записка опубликована в “Lettres inedifces de Talleyrand a Napoleon, publiees par Pierre Bertrand”, Paris, 1889, 1 vol.
- (24) Дело идет о Шенбрунском договоре, подписанном 15 декабря 1805 г., переговоры о котором вел Гаугвиц. Получив инструкцию о предъявлении Наполеону ультиматума, он задержал выполнение полученного им поручения до битвы под Аустерлицем и был вынужден затем подписать невыгодный для Пруссии договор.
- (25) *Коннетабль* — старинное звание, восстановленное в 1804 г. Наполеоном для своего брата Луи Бонапарта. Когда последний получил королевство Голландское, Наполеон назначил вице-коннетаблем маршала Бертье.
- (26) *Великий электор* — звание, присвоенное Наполеоном в 1804 г. его брату Иосифу Бонапарту. Когда последний получил королевство Неаполитанское, Наполеон назначил Талейрана вице-электором.
- (27) Талейран покинул министерство в августе 1807 г.
- (28) Глава об испанских делах из настоящего издания исключена, так как она подробно трактует об одном

сравнительно частном вопросе во всем комплексе внешней политики Наполеона. Она целиком посвящена внутренней смуте в Испании и борьбе между королем Карлом IV и его сыном принцем Астурийским, впоследствии Фердинандом VII, которую Наполеон решил использовать с целью захвата Испании. Вызвав Фердинанда VII в Байонну для переговоров, Наполеон захватил его в плен; на этом Талейран заканчивает свое повествование. Наполеон оккупировал Испанию французскими войсками, но встретил поддержанное Англией сопротивление и до момента своего крушения не успел покорить ее.

### ***Третья глава ЭРФУРТСКОЕ СВИДАНИЕ (1808 год)***

На конференциях, предшествовавших Тильзитскому договору, император Наполеон часто говорил императору Александру о Молдавии и Валахии, как о провинциях, которые в будущем должны быть присоединены к России. С видом человека, уступающего увлечению и подчиняющегося велениям провидения, он указывал, что раздел европейской Турции есть неизбежное событие. Он намечал тогда как бы по вдохновению общие принципы расчленения этих империй, к которому привлекалась Австрия для удовлетворения не столько ее властолюбия, сколько тщеславия. Опытный взгляд мог заметить впечатление, производимое всеми этими химерами на рассудок императора Александра.

Наполеон тщательно за ним наблюдал и, как только заметил, что увлек его воображение, объявил, что письма, полученные им из Парижа, требуют его возвращения, и просил, не теряя ни одной минуты, заняться редактированием договора. Инструкции, полученные мною, указывали, что я не должен был допустить внесения в него ничего, что касалось раздела Оттоманской империи или даже будущей судьбы Валахской и Молдавской провинций; я точно их выполнял. Таким образом, Наполеон покинул Тильзит, развязав себе руки для осуществления в будущем других своих замыслов. Он сам сохранил свободу, в то время как императора Александра он оплел всевозможными обещаниями и, кроме того, поставил его относительно Турции в двусмысленное положение, которым кабинет в Тюильри мог воспользоваться для новых притязаний, не устраненных договором.

В январе 1808 года Наполеон сделал в Париже на придворном приеме первую попытку использовать это положение. Он подошел к Толстому, который был тогда русским послом, отвел его в сторону и среди разговора, в котором он указывал на выгоду для России присоединения Валахии и Молдавии, попробовал упомянуть о компенсировании Франции, указав на Силезию, как на самую подходящую для нее провинцию. В этом случае, как всегда, когда он замыслил новое расширение своих владений, он высказал опасение перед властолюбием Англии; она не желала, по его словам, слушать никаких мирных предложений и вынуждала его прибегать к различным мерам осторожности для ослабления держав, с которыми, как можно было думать, она находилась в сношениях. Он добавил, что в настоящий момент следует воздержаться от мысли о разделе Оттоманской империи, так как всякое мероприятие в отношении Турции, предпринятое без больших морских сил, отдало бы наиболее ценные владения Франции на милость Великобритании. Толстой, роль которого сводилась к выслушиванию того, что ему говорили, и который был мало пригоден для чего-либо другого, известил свой двор о сделанном ему сообщении. Оно было очень плохо принято императором Александром, довольно горячо заявившим французскому послу(1): “Я не могу поверить тому, что я прочел в депешах Толстого; разве предполагается разорвать Тильзитский договор? Я не понимаю императора! Он не может иметь намерения причинить мне личные затруднения! Напротив, он должен выручить меня перед Европой, без промедления поставив Пруссию в то положение, которое предопределяется договором. Это составляет для меня настоящий вопрос чести”.

Описанный инцидент повел к некоторым объяснениям, которые завершились лишь письмом императора Наполеона, полученным в Петербурге к концу февраля 1808 года(2).

Оно содержало в себе 1) молчаливо подразумеваемый им полный отказ от Силезии; 2) новые мысли о разделе Турции; 3) проект похода войной на Индию; 4) предложение либо послать в Париж верного человека для обсуждения этих важных вопросов, если император Александр не может прибыть туда лично, либо же условиться о месте, где оба императора могли бы встретиться.

Надо заметить, что в письме, предлагавшем раздел Турции, император Наполеон не указывал тех принципов, на основании которых его можно было бы произвести. Таким образом, за исключением трудности, относившейся к Силезии и теперь устраненной, дела оставались в прежнем неопределенном положении. Тем не менее император Александр почувствовал такое облегчение от того, что ему не надо было защищать личные интересы прусского короля, что он принял это письмо с крайним удовлетворением и немедленно решил на свидание с императором Наполеоном, которому он об этом написал. Однако он просил о свидании только с той мыслью и под тем условием, что раздел будет урегулирован заранее и что свидание будет иметь целью лишь соглашение о способах его осуществления и обеспечения личным соглашением императоров его нерушимости.

На таких основаниях, канцлеру Румянцеву было поручено вступить в переговоры с французским послом Коленкурром.

Здесь важно точно определить различие взглядов и личных намерений императора Наполеона и императора Александра, а также графа Румянцева, представлявшего русскую точку зрения. Граф Румянцев считал, что разрушение Оттоманской империи должно стать заслугой его семьи; он желал завершить великое дело, начатое его отцом. Поэтому, когда во время переговоров дело шло о простом расчленении, то все казалось ему трудным, но в тех случаях, когда он предвидел возможность раздела, ничто его не затрудняло; он становился чрезмерно щедрым и начинал со смелого требования Константинополя и Дарданелл для России. “Всякий раздел,— заявил он на одной конференции,— который не даст России Константинополя и Дарданелл, будет противоречить общественному мнению страны и вызовет больше недовольства, чем существующее положение, которое все считают совершенно неудовлетворительным”. К тому же он предлагал все для достижения этой победы, то есть флот, деньги и участие России в походе на Индию; но он отказывал в этом участии для нападения на Сирию и Египет, считая, что дело идет в этом случае о простом расчленении, которое оставит Константинополь за турками. Когда французский посол предлагал в виде компромисса создание в Константинополе цивилизованного и независимого правительства, обосновывая это предложение недавно выраженными императором Александром намерениями, то канцлер отклонял эту мысль, указывая, что государь ее больше не разделяет. Граф Румянцев желал присоединения Константинополя; он связывал с этим приобретением славу своего имени; а затем он предоставлял весь остальной мир Франции, не заявлял никаких притязаний на Индию и соглашался на то, чтобы император Наполеон возложил испанскую корону на голову одного из своих братьев и присоединил все, что ему угодно, к Франции или к Итальянскому королевству.

Император Александр делал вид, что он почти не интересуется обеими провинциями, Валахией и Молдавией; его притязания доходили только до берегов Дуная. “Да и то,— говорил он,— я считаю это соглашение лишь средством упрочения нашего союза. Все, что удовлетворяет императора Наполеона, удовлетворит и меня; я желаю новых приобретений только для того, чтобы связать свой народ с французской системой и оправдать наши мероприятия”. Если во время обсуждения договора он предъявлял более значительные притязания, то он как будто только защищал планы своего министра и делал уступку старым русским взглядам; казалось, что им руководят не столько политические намерения, сколько философские идеи. “Сейчас наступил более удобный, чем когда-либо, случай,— заявил он однажды,— придать нашим тильзитским проектам тот либеральный оттенок, который должны иметь акты просвещенных государей.

Идеи нашего века еще в большей степени, чем политика, требуют оттеснения турок в

Азию; освобождение этих прекрасных стран составит благородный акт. Гуманность требует, чтобы этих варваров больше не было в Европе; этого требует цивилизация” и так далее. Я не меняю его выражений.

Французский посол, верный выразитель намерений Наполеона, применил все свое влияние и всю свою ловкость для того, чтобы заставить русский кабинет обнаружить свои намерения; при каждой аудиенции у государя он стремился оживить увлечение императора Александра Наполеоном, чтобы вызвать у него желание встречи, как единственного способа достичь соглашения. При переговорах с Румянцевым ему искусно удавалось не затрагивать основного вопроса; при императоре он критиковал планы Румянцева, но никогда не открывал планов Наполеона; он отказывал и ничего не требовал. Подобно императору Александру, он находил, что потребности века весьма повелительны, но он казался напуганным обширным предприятием, предлагаемым Румянцевым, и постоянно указывал на трудности, которые могли бы быть устранены лишь самими государями. Неопределенность взглядов императора Александра побудила его согласиться на свидание, и оно было назначено на 27 сентября 1808 года.

Со своей стороны, тюрингский кабинет не пренебрег ни одной возможностью для умножения недоразумений. Оттоманской Порте было без ведома России гарантировано продление перемирия. Русскому министерству было сообщено донесение генерала Себастиани, сделанное им после поездки в Левант; в результате этого сообщения стало проблематичным все, что было сказано и написано относительно расчленения Турции, которая всегда считалась старым союзником Франции, при всяком случае проявлявшей к ней известный интерес. Больше не было речи о Силезии, но предполагалось задержать эвакуацию Пруссии и таким образом компенсировать уступку обеих провинций. Понятно, что император Наполеон, сознавая прочность своего положения после заключения договора в Тильзите, желал, чтобы в Европе не возникало никакого повода к волнению до тех пор, пока не будут осуществлены его замыслы в отношении Испании. До этого момента проекты похода на Индию и раздела Оттоманской империи являлись призраками, вызванными на сцену для того, чтобы отвлечь внимание России. Между обоими свиданиями, в Тильзите и в Эрфурте, все вопросы, поднятые в Париже и в Петербурге, вращались вокруг одного и того же центрального вопроса, причем не было сделано ни одного шага вперед. То, что император Александр сказал французскому послу за пять дней до своего отбытия в Эрфурт, мог бы сказать ему и спустя пять дней после отбытия из Тильзита: “Мы должны прийти к согласию и действовать заодно для достижения обоюдных выгод; я всегда буду и всегда был верен своему слову; то, что я сказал императору, и то, что он сказал мне, для меня так же свято, как договоры”, и так далее.

Слова оставались неизменны; положение вещей было 27 сентября 1808 года прежним, за исключением завоевания Финляндии, с одной стороны, и вторжения в Испанию, с другой; но в этом отношении ни один из кабинетов не сделал никакого сколько-нибудь существенного замечания. Таким образом, могло казаться, что оба монарха приехали в Эрфурт прямо из Тильзита.

Мое участие в Тильзитском договоре, знаки личного расположения, оказанные мне императором Александром, затруднения, создаваемые императору Наполеону Шампаньи, который появлялся каждое утро, чтобы усердно просить извинения за неловкости, совершенные накануне, моя личная связь с Коленкуром, достоинствам которого будет когда-нибудь отдано должное,— все эти обстоятельства заставили императора преодолеть затруднительное положение, в которое он поставил себя по отношению ко мне, яростно упрекая меня за осуждение его испанского предприятия.

Итак, он предложил мне отправиться с ним в Эрфурт и взять на себя предстоящие там переговоры, предоставив подписание завершающего их договора министру внешних сношений, на что я согласился. Доверие, проявленное им ко мне при нашем первом разговоре, доставило мне своего рода удовлетворение. Он велел дать мне всю переписку Коленкура, и я нашел ее превосходной. В течение нескольких часов он посвятил меня в

курс всего, что было сделано в Петербурге, и я всецело отдался, поскольку это было в моих силах, устранению из этого своеобразного свидания всякого духа авантюризма.

Наполеон хотел придать свиданию возможно больше блеска; он имел привычку постоянно говорить окружающим его лицам о главной занимавшей его мысли. Я был еще обер-камергером; ежеминутно он посылал за мной, как и за обер-гофмаршалом генералом Дюроком и за Ремюза, заведовавшим придворными спектаклями. “Мое путешествие должно быть великолепно”,—повторял он нам ежедневно. За одним из завтраков, на котором мы присутствовали все трое, он спросил меня, кто будут очередные камергеры. “Мне кажется,— сказал он,— что у нас нет представителей больших имен, я желаю их присутствия: ведь они одни умеют представлять при дворе. Надо отдать справедливость французской знати: она изумительна в этом деле”.— “Ваше величество, у вас есть Монтескью”.— “Хорошо”.— “Князь Сапега”.— “Неплохо”. — “Мне кажется, что достаточно двоих; путешествие будет непродолжительным, и они смогут постоянно быть при вашем величестве”.— “В добрый час... Ремюза, нужно, чтобы спектакли происходили ежедневно. Пошлите за Дазенкуром. Ведь он директор?”— “Слушаюсь, ваше величество”.— “Я хочу поразить Германию пышностью”. Так как Дазенкура не нашли, то распоряжения о спектакле были отложены на следующий день. “В намерения вашего величества, наверное, входит,— сказал Дюрок,— побудить некоторых высоких особ прибыть в Эрфурт, а время не терпит отлагательства”. “Один из адъютантов Евгения,— ответил император, — уезжает сегодня; можно указать ему то, на что он должен намекнуть своему тестю (баварскому королю), а если прибудет один король, то все они захотят последовать за ним. Но нет,— добавил он,— не следует пользоваться для этого Евгением; он недостаточно догадлив и, хотя умеет точно выполнять мои желания, для намеков не годится. Талейран подходит лучше; тем более,— сказал он смеясь,— что, критикуя меня, он укажет на желательность для меня этого приезда. Затем уже моим делом будет показать, что это было мне совершенно безразлично и даже скорее обременительно”. На следующий день за завтраком император призвал Дазенкура, ожидавшего его распоряжений. Он приказал присутствовать за завтраком Ремюза, генералу Дюроку и мне. “Дазенкур, вы слышали, что я отправляюсь в Эрфурт?”— “Да, ваше величество”.— “Я хочу, чтобы туда прибыла Французская комедия”.— “Должна ли она играть комедию и трагедию?”— “Я хочу лишь трагедии: наши комедии будут бесполезны; за Рейном их не понимают”.— “Ваше величество желает, конечно, превосходных спектаклей?” — “Да, чтобы это были наши самые лучшие пьесы”.— “Ваше величество, можно было бы дать “Аталию”(3).— “Аталиа”! Фу! Вот человек, который не может меня понять. Разве я еду в Эрфурт для того, чтобы вбить в голову этим немцам какого-нибудь Иоаса? “Аталиа”! Как это глупо! Ну, довольно, мой милый Дазенкур. Предупредите своих лучших трагических актеров, чтобы они приготовились к поездке в Эрфурт, а я дам распоряжение о дне вашего отъезда и о пьесах, которые должны быть сыграны. Идите... Как эти старые люди глупы! “Аталиа”! Правда это моя ошибка, зачем с ними советоваться? Я ни у кого не должен был спрашивать совета. Если бы еще он сказал мне про “Цинну”(4): там действуют большие страсти, и затем есть сцена милосердия, а это всегда хорошо. Я знал почти всего “Цинну” наизусть, но я никогда не декламировал хорошо. Ремюза, не правда ли, это из “Цинны”:

Tout ces crimes d'Etat qu'on fait pour la couronne,

Le ciel nous en absout, lorsqu'il nous la donne?

( “Цинна”, действие V, явление 2: Все государственные преступления, совершаемые ради короны, — отпускаются нам небом, когда оно нам ее дает)

Я не знаю, хорошо ли я читаю стихи”. — “Ваше величество, это из “Цинны”, но мне кажется, что там: “Alors qu'il nous la donne”.

— “Какие идут затем стихи? Возьмите Корнеля”,— “Ваше величество, это ни к чему, я их помню:

Le ciel nous en absout, alors qu'il nous la donne;



Et dans le sacre rang ou sa faveur l'a mis,  
Le passe devient juste et l'avenir permis.  
Qui peut y parvenir ne peut etre coupable;  
Quoi qu'il ait fait ou fasse, il est inviolable.

*( Они отпускаются нам небом, когда оно нам ее дает,— и в том освященном месте, на которое она вознесена его благоволением,— всякое прошлое становится чистым и всякое будущее дозволенным.— Тот, который ее достигает, не может быть виновным,— что бы он ни сделал или ни делал, он неприкосновенен.)*

— “Это превосходно, особенно для немцев, которые верны своим старым взглядам и до сих пор еще говорят о смерти герцога Энгиенского: надо расширить их мораль. Я не говорю этого относительно императора Александра; подобные вещи ничего не значат для русского, но это хорошо для людей с меланхолическими взглядами, которыми полна Германия. Итак, будут играть “Цинну”, эта пьеса пойдет в первый день. Ремюза, поищите трагедии, которые можно было бы играть в следующие дни, и сообщите мне прежде, чем принять окончательное решение”. — “Не пожелает ли ваше величество оставить некоторых актеров в Париже?” — “Да, дублеров,— все хорошее надо взять с собой, пусть лучше их будет больше, чем надо”. Приказ отправиться в Эрфурт 22 сентября был тотчас же послан актерам Сен-При, Тальма, Лафону, Дама, Депре, Лакаву, Варену, Дазенкуру и актрисам Рокур, Тальма, Бургуен, Дюшенуа, Гро, Розе Дюпюи и Патра. *(\* Перед их отъездом им был передан список пьес, которые должны были быть сыграны: первым, как я уже говорил, должен был идти “Цинна”, затем “Андромаха”, “Британник”, “Заира”, “Митридат”, “Эдип”, “Ифигения в Авлиде”, “Федра”, “Смерть Цезаря”, “Гораций”, “Родогуна”, “Магомет”, “Радамист”, “Сид”, “Манлий”, “Баязет”. Примечание Талейрана.)*

Так как о поездке было сообщено в “Мониторе”, то желающие участвовать в ней принимали для этого всевозможные меры. Первыми были назначены два адъютанта императора— Савари и Лористон. Военная свита должна была быть весьма блестящей. Император желал появиться, окруженный теми из своих полководцев, имена которых громко прозвучали по Германии. Приказание отправиться в Эрфурт получил прежде всего маршал Сульт, затем маршал Даву, маршал Ланн, князь Невшательский, маршал Мортье, маршал Удино, генерал Сюше, генерал Буайе, генерал Нансути, генерал Клапаред, генерал Сен-Лоран, два секретаря кабинета, Фен и Меневаль, так же как и Дарю, Шампаньи и Маре. Генерал Дюрок назначил Канувиля для подготовки квартир. “Возьмите также Боссе,— сказал ему император, — ведь нужно, чтобы кто-нибудь представил великому князю Константину наших актрис; кроме того, он будет выполнять за обедами свои обязанности префекта двора, а затем он носит известное имя”.

Каждый день кто-нибудь уезжал в Эрфурт. По дороге двигались фургоны, верховые лошади, кареты, прислуга в императорской ливрее.

Сентябрь приближался к концу. Я прочел всю переписку, но не имел еще с императором главной беседы по вопросам, о которых предстояло вести переговоры. За несколько дней до срока моего отъезда обер-гофмаршал написал мне, что император велел мне присутствовать вечером на большом выходе. Едва я вошел в зал, как он увлек меня к себе: “Ну, вот вы прочли всю переписку с Россией,— сказал он мне.— Как вы оцениваете ловкость моих приемов в переговорах с императором?” Затем он с удовольствием напомнил обо всем, что он писал и говорил в течение года; он закончил указанием на влияние, которое он приобрел на императора Александра несмотря на то, что со своей стороны он выполнил из договора в Тильзпте лишь то, что ему было выгодно. “Теперь,— добавил он,— мы отправляемся в Эрфурт; я хочу получить там свободу действий в отношении Испании; я желаю быть уверенным, что Австрия, даже испытывая беспокойство, будет сдержанна, и не хочу каким-нибудь определенным образом связать себя с Россией по вопросам Леванта. Подготовьте мне соглашение, которое удовлетворило бы императора Александра, было бы направлено главным образом против Англии и предоставляло бы мне полную свободу в остальном; я вам помогу: мой престиж должен подействовать”. Два дня я его не видел. В нетерпении он написал мне,

каковы должны быть статьи соглашения, предлагая принести ему как можно скорее готовый текст. Я не заставил его ждать: спустя несколько часов я отправился к нему со следующим проектом задуманного им договора:

“Его величество император французов и т. д. И его величество император всероссийский и т. д. Желая придать соединяющему их союзу все более тесный и навеки нерушимый характер и оставляя за собой возможность прийти тотчас по возникновении надобности к соглашению о том, какие принять новые решения и какие направить новые средства борьбы против Англии, общего их врага и врага континента, решили установить в особой конвенции *начала*, которым они постановили неизменно следовать... (здесь император прервал меня и сказал: “*Начала*— эта хорошо, это совершенно не обязывает”) и которыми они будут руководствоваться во всех своих выступлениях, направленных к восстановлению мира;

для сего они назначили своими уполномоченными и т. д., которые пришли к соглашению по следующим статьям:

Статья I. Его величество император французов и его величество император всероссийский подтверждают и, поскольку это требуется, возобновляют союз, заключенный ими в Тильзите, обязуясь не только не заключать с общим врагом никакого сепаратного мира, но и не вступать с ним ни в какие переговоры и не принимать от него никаких предложений иначе, как с общего согласия.

Статья II. Решив оставаться в нерасторжимом союзе на случай мира и войны, высокие договаривающиеся стороны постановляют назначить уполномоченных для мирных переговоров с Англией и отправить их для этого в тот континентальный город, который будет ею указан.

Статья III. В течение всего хода переговоров, если они будут иметь место, уполномоченные обеих высоких договаривающихся сторон будут неизменно действовать в самом полном согласии; ни одному из них не будет дозволено не только поддерживать, но даже принимать или одобрять, вопреки мнению другого, какое бы то ни было предложение или просьбу английского уполномоченного.

Статья IV. Каждая из обеих высоких договаривающихся сторон обязывается не принимать в течение переговоров никакого представления, предложения или сообщения со стороны врага, не известив о нем немедленно уполномоченных другой стороны.

Статья V. Англии будет предложено вести переговоры на основе принципа *uti possidetis*, включая сюда и Испанию; условие *sine qua non*, от которого высокие договаривающиеся стороны обязываются никогда не отступать, будет заключаться в том, чтобы Англия признала, с одной стороны, присоединение Валахии, Молдавии и Финляндии к Российской империи, и с другой — Жозефа-Наполеона Бонапарта королем Испании и Индии.

Статья VI. Так как Оттоманская Порта испытала со времени договора в Тильзите несколько революций и преобразований, которые не предоставляют ей никакой возможности дать достаточные гарантии личности и имущества жителям Валахии и Молдавии и, вследствие того, не оставляют никакой надежды на получение таких гарантий, и так как его величество император всероссийский, заключивший за то же время особые соглашения в отношении этих провинций и вследствие указанных революций вынужденный на огромные расходы для их сохранения, решил по всем этим причинам ни в коем случае не отказываться от них, тем более что лишь владение ими может доставить его империи естественную и необходимую ей границу, то его величество император Наполеон *не будет возражать*, поскольку это его касается, против их присоединения к России, причем его величество отказывается от предложенного им и принятого Россией в Тильзитском договоре посредничества.

(“Я не желаю этой статьи: она слишком определена”. — “Однако, ваше величество, слова “*не будет возражать*” менее всего обязывают; кроме того, следующая статья вносит важную поправку”).

Статья VII. Тем не менее в настоящее время его величество император всероссийский ограничится, как в прошлом, лишь занятием Валахии и Молдавии и сохранит там существующее положение; он предложит вступить либо в Константинополе, либо на одном из островов Дуная в переговоры при посредничестве Франции с целью достичь мирным путем уступки этих двух провинций. Но эти переговоры должны начаться лишь тогда, когда переговоры с Англией приведут к какому-нибудь результату, чтобы не повести к новым спорам, которые могли бы отсрочить заключение мира.

(“Эта статья хороша; благодаря своему посредничеству я остаюсь хозяином положения, а предшествующая статья должна обеспокоить Австрию, моего настоящего врага”. — “Она, ваше величество, может быть, враг ваш в настоящее время, но в сущности ее политика не противоречит французской; она не стремится к захватам, а преследует охранительные цели”. - “Дорогой Талейран, я знаю, что таково ваше мнение; мы поговорим об этом, когда испанский вопрос будет разрешен”.)

Статья VIII. Его величество император Наполеон будет действовать совместно с его величеством императором Александром для достижения мирной уступки Оттоманской Порты этих провинций. С этой целью все ноты обоих союзных дворов будут составляться и все выступления делаться по взаимному согласию и будут проникнуты единым духом.

Статья IX. В случае, если отказ Оттоманской Порты заставит возобновить враждебные действия и продолжать войну, император Наполеон не примет в ней никакого участия и ограничится оказанием России услуг. Но если бы Австрия или любая другая держава присоединилась в указанной войне к Оттоманской Порте, то его величество император Наполеон немедленно присоединится к России, так как в этом случае вступает в силу общий союз, соединяющий обе империи. (“Эта статья не полна; она не выражает моей мысли; продолжим дальше, и я укажу вам, что надо добавить”.)

Статья X. Высокие договаривающиеся стороны обязуются, однако, сохранять целостность остальных владений Оттоманской империи. Они сами не намерены в этом отношении ничего решать или предпринимать и не потерпят никаких выступлений с чьей бы то ни было стороны без предварительного соглашения с ними.

Статья XI. В переговорах с Англией его величество император Наполеон будет действовать заодно с Россией с целью заставить признать присоединение Валахии и Молдавии к Российской империи, независимо от того, согласится ли Оттоманская Порта на их уступку или нет.

Статья XII. В ответ на отказ в одной из предшествующих статей императора Наполеона от посредничества, его величество император Александр отказывается от взятого в отношении него в пятой секретной статье договора в Тильзите обязательства, так что указанная статья теряет силу и объявляется недействительной”.

“Это примерно все, о чем я вам говорил; оставьте мне этот договор, я приведу его в порядок. К одной из последних статей, на которой я вас остановил, надо прибавить следующее: “В случае, если Австрия подаст Франции повод к беспокойству, император всероссийский обязывается, по первой предъявленной ему просьбе, заявить, что он против Австрии, и действует совместно с Францией. Этот случай считается одним из тех, при котором вступает в силу союз, соединяющий обе державы”. Это очень важная статья, как могли вы ее забыть? Вы всегда австриец!” — “Отчасти, ваше величество, но правильнее было бы сказать, что я никогда не бываю русским и всегда остаюсь французом”. — “Подготовьтесь к отъезду, вы должны быть в Эрфурте за день или за два до меня. Во время путешествия подумайте о способе почаще видеть императора Александра. Вы хорошо его знаете и сумеете говорить с ним тем языком, который ему нравится. Вы скажете ему, что польза, которую наш союз может принести человечеству, свидетельствует об участии в нем провидения. Мы предназначены сообща восстановить порядок в Европе. Мы оба молоды, и нас не следует торопить. На этом вы сильно настаивайте, так как граф Румянцев проявляет в вопросе о Леванте большую горячность.

Вы укажете, что без участия общественного мнения ничего нельзя сделать, что Европа не должна опасаться нашей соединенной мощи, но должна приветствовать осуществление задуманного нами большого предприятия. Безопасность сопредельных стран, правильно понятые интересы Европы, возвращение свободы семи миллионам греков и тому подобное представляют большую приманку для филантропических стремлений; в этом отношении я предоставляю вам полную свободу действий; я хочу лишь, чтобы эта филантропия была отложена до далекого будущего. Прощайте”.

Я вернулся домой, привел в порядок бумаги, взял с собой те из них, которые могли мне пригодиться, и сел в карету. Я прибыл в Эрфурт в субботу, 24 сентября, в десять часов утра, Канувиль приготовил мне помещение вблизи того дома, который должен был занять император. Спустя несколько минут после моего прибытия ко мне пришел Коленкур. Первый проведенный с ним день оказался мне очень полезен. Мы беседовали о Петербурге и о расположении, в каком оба императора прибыли на свидание. Мы сообщили друг другу все, что нам было известно, и вскоре пришли к полному согласию по всем вопросам.

Я нашел весь Эрфурт: в движении; не существовало ни одного сносного дома, который не был бы предназначен для какого-либо государя с его свитой. Русский император должен был прибыть в сопровождении великого князя Константина, графа Румянцева, обер-гофмаршала графа Толстого, посла во Франции графа Толстого, князя Волконского, графа Ожаровского, князя Трубецкого, графа Уварова, графа Шувалова, князя Гагарина, князя Голицына, Сперанского, Лабенского, Бетмана, генерала Хитрово, членов Государственного совета Жерве и Грейдемана, Шредера и принца Леопольда Саксен-Кобургского. Мне кажется, что я назвал всех лиц, которым выпала честь сопровождать императора Александра. Его ожидали на день позже, чем императора Наполеона, так как он должен был на сутки остановиться в Веймаре.

Император прибыл в Эрфурт 27 сентября 1808 года, в десять часов утра. Уже с предшествующего дня огромное количество людей толпилось на улицах, ведущих к его дворцу. Каждому хотелось увидеть его, каждому хотелось приблизиться к тому, от кого исходило все: троны, бедствия, ужасы и надежды. Август, Людовик XIV и Наполеон — вот три человека, которых на земле больше всего восхваляли. В зависимости от эпохи и от дарования эти восхваления носили разный характер, но их сущность оставалась неизменной. Благодаря своему положению обер-камергера я мог наблюдать вблизи такие вынужденные, поддельные, а иногда и искренние знаки почтения, оказываемые Наполеону, которые казались мне чудовищными. Никогда низость не проявляла столько изобретательности; ею была продиктована мысль устроить охоту в том самом месте под Иеной, где император победил пруссаков в знаменитом сражении. Избиение кабанов и хищных зверей должно было напомнить победителю его успехи в этом сражении. Я несколько раз замечал, что чем глубже было чувство раздражения против императора, тем сильнее было восхищение его славой и тем громче рукоплескали его высокой судьбе, посланной ему, как говорилось, небом.

Я склоняюсь к мысли,—а она появилась у меня в Эрфурте,— что тайная сущность лести открыта одним лишь коронованным особам, притом не тем, которые уже лишились престола, но тем, которые поставили его под защиту угрожающих им сил. Они весьма ловко ею пользуются, когда находятся около господствующего над ними владыки, который может их уничтожить. Я часто слышал один стих из какой-то неизвестной мне плохой трагедии:

Tu n'as su qu'obeir, tu serais un tyran.

*(Ты умел лишь слушаться, и ты мог бы быть тираном.)*

Каждому из встреченных мною в Эрфурте государей следовало бы лучше сказать:

Tu n'as su que regner; tu serais un esclave.

*(Ты умел лишь царствовать, и ты мог бы быть рабом.)*

Это легко объяснить. Могущественные государи желают, чтобы их двор давал

представление о величии их власти. Мелкие же государи стремятся, напротив, к тому, чтобы их двор скрывал ее узкие пределы. Вокруг мелкого владыки все преувеличивается, или, вернее, раздувается, то есть этикет, услужливость и лесть. Он измеряет свое величие обращенными к нему льстивыми речами и никогда не находит их чрезмерными. Такой способ суждения входит у него в привычку. Он не изменяет ей даже тогда, когда меняется его судьба. Если победа вводит в его государство и в его дворец человека, для которого он сам лишь царедворец, то он унижается перед победителем так, как унижались перед ним самим его подданные. Он не может себе представить иной лести. При больших дворах существует другой способ к возвышению — именно: гнуть спину; мелкие государи умеют лишь бросаться в ноги, и в этом положении они остаются до тех пор, пока их не подымет судьба. В Эрфурте я не видел ни одной руки, которая бы умела благородно гладить гриву льва.

После этих суровых суждений, которые я не отношу ни к кому в отдельности, я рад вернуться к своей теме.

Император Александр известил, что приедет 28 сентября. Он уже ночевал в Веймаре. Наполеон в сопровождении своих адъютантов и генералов в полной парадной форме сел на лошадь и поехал ему навстречу. При встрече они бросились друг другу в объятия самым дружеским образом.

Наполеон проводил императора Александра в предназначенный для него дом. Он любезно осведомился, имеются ли в доме все те предметы, пользование которыми входило, по его сведениям, в привычки Александра, и затем покинул его. Я находился во дворце императора Наполеона и ожидал его возвращения. Мне показалось, что он вполне удовлетворен первым впечатлением, а сам он сказал мне, что предпринятая им поездка предвещает ему хорошие результаты, но что не надо торопиться. “Мы так рады встрече,— добавил он смеясь,— что следует хоть немного предаться этому удовольствию”. Едва он успел одеться, как прибыл император Александр; Наполеон меня представил ему. “Это мой старый знакомый,— сказал русский император,— и я рад его видеть; я очень надеялся, что он примет участие в путешествии”. Я хотел удалиться, но Наполеону, не желавшему говорить о серьезных предметах, было удобно присутствие третьего, и он просил меня остаться. После этого оба императора начали задавать друг другу с видимостью самого живейшего интереса бессодержательные вопросы семейного характера; на вопрос об императрице Елизавете следовал в ответ вопрос об императрице Жозефине; вопрос о принцессе Боргезе следовал за вопросом о великой княжне Анне и так далее. Если бы не краткость первого визита, то, вероятно, было бы сказано также несколько слов о здоровье кардинала Феша. Обменявшись успокоительными сведениями о своих семействах, императоры расстались. Наполеон проводил Александра до лестницы, а я сопровождал его до коляски; во время этого короткого пути он мне несколько раз повторял: “*Мы еще увидимся*”, причем это произносилось с таким выражением, которое доказывало, что Коленкур, ездивший ему навстречу, сообщил ему, что я посвящен во все планы.

Когда я вернулся к императору, он мне заявил: “Я изменил проект договора и сильнее прижимаю Австрию; я вам его покажу”. Других подробностей он мне не сообщил. “Мне кажется, что император Александр готов сделать все, что я захочу; если он с вами заговорит, то скажите, что раньше я считал, что переговоры должны вести граф Румянцев и вы, но теперь я изменил взгляд; мое доверие к нему очень велико, и я думаю, что было бы лучше, если бы все было сделано нами самими. Когда конвенция будет выработана, министры ее подпишут; помните твердо, разговаривая с ним, что мне полезно всякое промедление; язык, которым будут говорить все эти короли, будут мне на руку, так как они меня боятся; я хочу до начала переговоров ослепить императора Александра картиной своего могущества; это облегчает любые переговоры”.

Вернувшись к себе, я нашел записку княгини Турн-и-Таксис, извещавшей меня о своем прибытии. Я немедленно к ней отправился и получил от встречи с ней большое удовольствие, так как это прекрасный человек. Она сообщила мне, что прибыла в Эрфурт

для того, чтобы просить императора Александра воздействовать на нескольких германских владетельных князей, с которыми ее муж, начальник почт в Германии, вел тщетно переговоры в течение многих лет. Я пробыл у нее не более четверти часа, когда доложили о прибытии императора Александра; он был очень любезен и прост, попросил у княгини чаю и сказал, что она должна ежедневно после театра устраивать нам чаепития, так как это позволяет вести непринужденные беседы и приятно заканчивать день. На этом и условились, но этот первый вечер не был отмечен ничем интересным.

Свидание в Эрфурте, на которое Австрия не была приглашена и о котором ее официально даже не известили, вызвало тревогу у императора Франца. Он по собственной инициативе отправил в Эрфурт барона Винцента с письмом к Наполеону и, если не ошибаюсь, к Александру. Винцент был лотарингским дворянином, вступившим задолго до французской революции на австрийскую службу вследствие своих семейных связей с лотарингской династией. Я его хорошо знал и имел с ним в течение десяти лет частые сношения. Могу добавить, что они послужили ему на пользу, так как за восемнадцать месяцев перед тем я обеспечил блестящий успех его миссии в Варшаве. Я обещал ему, что применю все средства, которыми располагал, а они были тогда огромны, для подавления в зародыше всех попыток к восстанию, подготовлявшемуся в разных местах Галиции. Винцент показал мне копию привезенного им письма; оно было преисполнено благородства и не обнаруживало никакого беспокойства и у его государя. Винцент получил распоряжение быть со мной откровенным; я ему сказал, что его миссия меня очень радует, так как у меня были некоторые опасения в отношении намерений обоих императоров. Из приведенных выше слов самого Наполеона было видно, что он считал меня, и притом основательно, за сторонника союза Франции с Австрией, Я думал тогда и думаю теперь, что, защищая эти взгляды, я мог оказать Франции услугу. Я уверял Винцента, что я делал и буду делать все то, что, по моему мнению, может препятствовать принятию в Эрфурте таких решений, которые могли бы повредить интересам его правительства.

Наполеон, верный усвоенной им в этом случае системе промедления, распределил свои первые дни таким образом, чтобы не оставалось ни минуты для деловых разговоров. Его завтраки были продолжительны; он в это время принимал и охотно беседовал. Затем следовало несколько посещений местных общественных учреждений и поездки за город на маневры, на которых император Александр и великий князь, его брат, никогда не упускали случая присутствовать. Они были так продолжительны, что оставалось лишь время для переодевания к обеду; после него остаток дня посвящался театру.

Не раз при мне завтраки длились более двух часов. В это время Наполеон давал аудиенции видным и заслуженным лицам, приехавшим в Эрфурт, чтобы его увидеть. Каждое утро он с удовлетворением читал список новопривывших. Прочтя в нем имя Гете, он послал за ним. “Господин Гете, я восхищен тем, что вижу вас”.—“Ваше величество, я замечаю, что когда вы путешествуете, вы не пренебрегаете бросить взгляд на самые ничтожные предметы”.—“Мне известно, что вы первый трагический поэт Германии”.—“Ваше величество, вы обижаете нашу страну, мы считаем, что и у нас есть свои великие люди. Шиллер, Лессинг и Виланд, вероятно, известны вашему величеству”.—“Признаюсь, что совершенно их не знаю; однако я читал “Тридцатилетнюю войну”(5), но должен просить извинения: она, как мне кажется, может удовлетворить своим трагическим сюжетом лишь наши бульвары”.—“Ваше величество, мне незнакомы ваши бульвары, но я предполагаю, что на них ставят спектакли для народа; мне досадно, что вы так строго судите одно из лучших проявлений духа современной эпохи”.—“Вы живете обычно в Веймаре; там собираются известные германские литераторы?”—“Ваше величество, они находят там сильное покровительство, но в настоящий момент из известных всей Европе лиц в Веймаре находится лишь Виланд, так как Мюллер живет в Берлине”.—“Я был бы рад видеть Виланда!”—“Если ваше величество позволит мне ему об этом сообщить, то я уверен, что он немедленно сюда приедет”.—“Говорит ли он по-французски?”—“Он знает

этот язык и даже сам исправлял некоторые французские переводы своих работ”. — “Пока вы здесь, вам следует ежедневно посещать наши спектакли. Для вас было бы небесполезно посмотреть представление хороших французских трагедий”. — “Ваше величество, я их очень охотно посмотрю, и должен признаться, что я уже раньше предполагал это сделать; я перевел несколько французских пьес или, скорее, им подражал”. — “Каким из них?” — “Магомету” и “Танкреду”(6). — “Я спрошу у Ремюза, есть ли у нас здесь такие актеры, которые могли бы их сыграть. Я был бы очень рад, если бы вы увидели их представленными на французском языке. Вы не так строги, как мы, в отношении законов драмы”. — “Ваше величество, единства не играют у нас существенной роли”. — “Каково, по вашему мнению, наше пребывание здесь?” — “Ваше величество, оно весьма блестяще, и я надеюсь, что оно будет полезно нашей стране”. — “Счастлив ли ваш народ?” — “Он надеется на многое”. — “Господин Гете, вы должны были бы оставаться здесь в течение всего моего пребывания и написать о впечатлении, произведенном на вас тем пышным зрелищем, которое мы вам доставляем”. — “Увы, ваше величество, для такой работы требуется перо какого-нибудь писателя древности”. — “Принадлежите ли вы к числу тех, которые любят Тацита?” — “Да, ваше величество, очень”. — “А я нет, но об этом мы поговорим в другой раз. Напишите Виланду, чтобы он сюда приехал; я отвечу ему визитом в Веймаре, куда меня пригласил герцог. Я буду очень рад увидеть герцогиню; это женщина больших достоинств. Герцог(7) в течение некоторого времени довольно дурно вел себя, но теперь он наказан”. — “Ваше величество, если он и вел себя плохо, то наказание все же немного сурово, но я не судья в подобных вещах; он покровительствует литературе и наукам, и мы можем лишь восхвалять его”. — “Господин Гете, приходите сегодня вечером на “Ифигению”, это хорошая пьеса; она, правда, не принадлежит к числу моих самых любимых, но французы ее очень ценят. В партере вы увидите немалое число государей. Знаете ли вы принца-примаса?” — “Да, ваше величество, я с ним почти дружески связан; у этого принца много ума, большие знания и много великодушия”. — “Прекрасно, вы увидите сегодня вечером, как он спит на плече вюртембергского короля. Видали ли вы уже русского императора?” — “Нет, ваше величество, никогда, но я надеюсь быть ему представленным”. — “Он хорошо говорит на вашем языке: если вы напишете что-нибудь о свидании в Эрфурте, то это надо ему посвятить”. — “Ваше величество, это не в моем обычае; когда я начал писать, я поставил себе за правило никогда не делать посвящений, чтобы потом не раскаиваться”. — “Великие писатели эпохи Людовика XIV были не таковы”. — “Это правда, ваше величество, но вы не можете гарантировать, что они никогда в этом не раскаивались”. — “Что случилось с этим мошенником Коцебу?” — “Ваше величество, говорят, что он в Сибири и что ваше величество будет просить императора Александра его помиловать”. — “Но знаете ли вы, что этот человек не в моем духе?” — “Ваше величество, он очень несчастен и у него большое дарование”. — “До свидания, господин Гете”.

Я проводил Гете и пригласил его к обеду. Вернувшись, я записал этот первый разговор, а во время обеда я убедился из его ответов на мои вопросы, что моя запись совершенно точна. По окончании обеда Гете пошел в театр; я хотел, чтоб он сидел близко к сцене, но это было довольно трудно, потому что в первых рядах кресел сидели коронованные особы; наследные принцы, теснясь на стульях, занимали вторые места, а сзади них все скамьи были заняты министрами и медиатизированными князьями. Я поручил Гете Дазенкуру, который, не нарушая приличий, сумел его хорошо усадить.

Пьесы для спектаклей в Эрфурте выбирались с большой тщательностью и искусством. Их сюжет относился к героическим эпохам или к важным историческим событиям. Побуждая к изображению на сцене героических эпох, Наполеон думал вырвать всю эту древнюю германскую аристократию, среди которой он находился, из обычной для нее обстановки и заставить ее перенестись силой собственного воображения в другие страны; перед ее взором проходили люди, великие по своим личным качествам, ставшие легендарными по своим поступкам, создавшие целые народы и ведущие свое

происхождение от богов.

В тех пьесах исторического содержания, которые он приказал играть в Эрфурте, политическая роль некоторых главных персонажей напоминала обстоятельства, ежедневно наблюдаемые с того самого момента, как он появился на мировой сцене, а это подавало повод для множества лестных сравнений.

Ненависть Митридата к римлянам напоминала вражду Наполеона к Англии.

Ne vous figurez pas que de cette contree,  
Par d'eternels remparts, Rome soit separee;  
Je sais tous les chemins par ou je dois passer,  
Et si la mort bientot ne vient me traverser, etc .

(*“Митридат”, действие III, явление I: Не воображайте, что от этой страны Рим — отделен вечным оплотом;— мне известны все пути, которыми я должен пройти,— и если меня вскоре не достигнет смерть, и т. д.)*

Когда произносились эти стихи, вокруг него шептали:

“Да, ему известны все пути, которыми он должен пройти; надо остерегаться, он все их знает”.

Мысли о бессмертии, славе, доблести и роке, постоянно встречаемые в “Ифигении” в виде то главной, то привходящей идеи, способствовали его основной цели, которая сводилась к тому, чтобы непрерывно удивлять всех, кто к нему приближается.

Тальма получил распоряжение медленно произносить следующую великолепную тираду:

L'honneur parle, il suffit, ce sont la nos oracles.  
Les dieux sont de nos jours les maitres souverains,  
Mais, seigneur, notre gloire est dans nos propres mains,  
Pourquoi nous tourmenter de leurs ordres supremes?  
Ne essaions qu'anus rendre immortels comme eux-memes,  
Et laissant faire au sort, courons ou la valeur  
Nous promet un destin aussi grand que le leur, etc.

(*“Ифигения”, действие II, явление I: Говорит честь, этого достаточно, она вещает. — В наши дни боги — верховные владыки, — но, господин, ведь наша слава в наших собственных руках, — зачем страдать от их верховных распоряжений? — Будем помышлять лишь о том, чтобы стать бессмертным, как они сами, и, предоставив судьбе делать свое дело, обратимся туда, где доблесть — обещает нам такую же великую участь как у них.)*

Но любимой его пьесой, лучше всего объясняющей причины и источник его могущества, был “Магомет”, так как ему казалось, что в ней он заполняет собой всю сцену.

Уже с первого действия, со слов:

Les inortels sont egaux, ce n'est point la naissance,  
C'est la seule vertu qui fait la difference.  
Il est de ces esprits favorises des cieux  
Qui sont tout par eux-memes et rien par leurs aleux.  
Tel est l'homme, en un mot, que j'ai choisi pour maitre;  
Lui seui dans l'univers a merite de l'etre;  
Tout inortel a ses lois doit un jour obeir, etc.

(*“Магомет”, действие I, явление 4: Смертные равны, не рождение, — а одна лишь добродетель создает среди них различие.—Существуют души, отмеченные небом, — которые свое значение создают сами и ничем не обязаны своим предкам.—Таков, одним словом, человек, которого я выбрал себе господином;—, он один во вселенной заслужил им быть;— всякий смертный должен будет некогда подчиниться его законам,— и т. д.)*

взоры всего зрительного зала устремлялись на него; слушали актеров, но смотрели на Наполеона. Каждый немецкий принц, естественно, должен был применять к себе



следующие стихи, которые Лафон произносил мрачным голосом:

Vois l'empire- remain tombant de toutes parts,  
Ce grand corps déchire dont les membres épars  
Languissent dispersés sans honneur et sans vie;  
Sur ces débris du monde élevés l'Arabie.

Il faut un nouveau culte, il faut de nouveaux dieux,  
Il faut un nouveau Dieu pour l'aveugle univers.

*(Ibid., действие II, явление 5: Посмотри на Римскую империю, повсюду рушащуюся,—на это великое и растерзанное тело, рассеянные члены которого—"чахнут, разбросанные, лишенные чести и жизни;— на этих развалинах мира мы воздвигаем Аравию.— Нужна новая религия, нужны новые узы,—нужен новый бог для слепой вселенной.)*

Аплодисменты сдерживались лишь почтением, но они готовы были разразиться еще громче при стихах:

Qui l'a fait roi? Qui l'a couronné? La victoire.

*(“Магомет”, действие I, явление 4: Кто сделал его царем? Кто короновал его? Победа.)*

Когда Омар прибавлял:

Au nom de conquérant et, de triomphateur Il veut joindre le nom de pacificateur ,

*(Ibid., действие I, явление 4: К имени победителя и триумфатора — он хочет прибавить имя миротворителя.)*

то присутствующие разыгрывали умиление. При этих словах Наполеон умело изображал волнение, показывая, что именно этим местом он хотел объяснить всю свою жизнь.

Когда Сен-При в “Смерти Цезаря” очень выразительно произносил, говоря о Сулле:

Il en eût l'effroi, j'en serai les délices, etc.,

*(“Смерть Цезаря”, действие I, явление 4: Он олицетворял ужас, я олицетворяю радость,— и т. д.)*

то в зале спешили выразить шумом одобрение.

Не буду приводить дальнейших примеров таких же уподоблений или сравнений, которые я наблюдал каждый день, я отметил лишь самое необходимое для того, чтобы ознакомить с настроением описываемого собрания.

Я встречал императора Александра после каждого спектакля у княгини Турн-и-Таксис, а Винченца принимал иногда у себя. Они оба находились под совершенно различным впечатлением. Император Александр был все время в восхищении, а Винцент испытывал непрерывный страх. Несмотря на все мои убеждения, ему было трудно поверить, что Наполеон ничего не предпринимает. Но тем не менее первые дни прошли без всяких деловых разговоров. Первая беседа, коснувшаяся деловых вопросов, была очень продолжительна. Оба императора подробно обсудили все, о чем их кабинеты вели переговоры в течение последнего года. Разговор окончился сообщением Александру проекта соглашения, который Наполеон составил, по его словам, в их общих интересах. Он передал его императору Александру, взяв с него обещание, что он его не покажет никому, в том числе ни одному из своих министров. Наполеон добавил, что это дело должно обсуждаться ими самими. Для доказательства значения, которое он придавал секретности вопроса, он отметил, что часть статей написана им самим для того, чтобы никто не мог о них узнать. Повторенное им слово “никто” явно относилось к графу Румянцеву и ко мне. Император Александр был так любезен, что понял это иначе. Попросив княгиню Турн-и-Таксис никого не принимать, он вынул из кармана этот договор. Наполеон потрудился тщательно переписать почти весь составленный мною проект. Но он изменил одну или две статьи и прибавил, что под предлогом отношений, существующих у петербургского кабинета с Оттоманской Портой, один русский корпус будет расположен недалеко от австрийской границы. Император Александр, указав Наполеону, что основания этого договора отличаются от того, что было почти

окончательно установлено в Петербурге, оставил за собой право представить те письменные замечания, которые он найдет нужным сделать. Русские секреты, вероятно, плохо берегутся, так как на следующий день утром ко мне пришел Винцент и сказал, что, как ему известно, переговоры начались и уже имеется готовый проект соглашения. Я предложил ему сохранять спокойствие, предпринимать лишь необходимые шаги и в особенности не проявлять никакой тревоги. Я добавил, не говоря ничего больше, что мое положение позволяет мне оказать некоторое влияние на принимаемые решения и что ему известно, как решительно я возражаю против всего, что может повредить безопасности и авторитету Австрии.

Прошло два или три дня, в течение которых оба императора встречались лишь на парадах и маневрах, в обеденные часы или на спектаклях. Я продолжал каждый вечер посещать княгиню Турн-и-Таксис, император Александр так же регулярно навещал ее; у него был озабоченный вид, что побуждало меня вести как можно более легкий разговор. Однако однажды я воспользовался “Митридатом”, которого тогда играли, чтобы отметить все то, что могло быть в нем понято как намек; обращаясь к княгине Турн-и-Таксис, я привел несколько стихов из этой пьесы, но разговор не был поддержан. Император сказал, что у него слегка болит голова, и удалился, но его последним словом было: “до завтра”. Каждое утро я встречался с Коленкурсом. Я спросил его, не находит ли он, что император Александр сильно остывает к Наполеону. Он был другого мнения и полагал, что Александр испытывает замешательство, но сохраняет прежнее восхищение перед Наполеоном и что замешательство его скоро рассеется.

В эти дни политической сдержанности император Наполеон продолжал ежедневно после завтрака принимать тех немцев, одобрения которых он искал и ценил. Поручение, данное им Гете, было точно выполнено, и Виланд приехал. Он пригласил их обоих к завтраку. Я помню, что в этот день на нем присутствовал принц-примас и было много других лиц. Император тщательно подготавливал свои торжественные беседы и стремился проявить в них все свои дарования, поэтому он приходил вполне подготовленный к какой-нибудь теме, совершенно неожиданной для того лица, к которому он обращал свою речь. Слишком решительные возражения никогда не ставили его в затруднительное положение, так как он легко находил под рукой довод, чтобы перебить собеседника. Я имел несколько раз случай заметить, что за пределами Франции ему нравилось касаться в разговорах возвышенных вопросов, вообще довольно чуждых военным людям, что тотчас же выделяло его из окружающей среды. В этом отношении его уверенность в себе не была бы поколеблена даже присутствием Монтескье или Вольтера, что может быть объяснено блеском его судьбы, особенностями характера и иллюзиями, которые ему создало его тщеславие.

Было три или четыре вопроса, которых он особенно охотно касался. Беседуя в предшествовавшем году в Берлине с знаменитым Иоганном Мюллером, он попытался установить основные этапы развития человеческого сознания. Я до сих пор вижу изумление, изобразившееся на лице Мюллера, когда император говорил, что быстрое распространение и развитие христианства вызвало чудесное противодействие греческого духа римскому, и когда он с одобрением отмечал искусство, с которым Греция, побежденная физической силой, занялась покорением интеллектуального мира. Он добавил, что это покорение было совершено при помощи тех благотворных начал, которые оказали такое влияние на все человечество. Всю эту фразу он заучил наизусть, и я слышал, как он ее точно таким же образом повторил Фонтану и Сьюарду. Мюллер ничего не ответил; он был изумлен, чем император поспешил воспользоваться, предложив ему написать историю его, Наполеона, империи. Я не знаю, чего он хотел достичь у Виланда, но он сказал ему множество любезностей. “Г. Виланд, мы очень любим во Франции ваши работы; ведь вы автор “Агафона” и “Оберона”. Мы называем вас немецким Вольтером”. — “Ваше величество, это сравнение мне очень лестно, но оно совершенно неправдоподобно; такая похвала со стороны расположенных ко мне лиц слишком преувеличена”. —

“Скажите мне, господин Виланд, почему ваш “Диоген”, “Агафон” и “Перегрин” написаны в том двусмысленном стиле, который превращает вымысел в историю, а историю в вымысел? У такого выдающегося, как вы, человека стили должны быть обособлены и раздельны. Все, что их смешивает, легко приводит к путанице. Поэтому-то во Франции не любят драмы. Я боюсь быть слишком смелым, так как я имею дело с сильным противником, тем более, что сказанное мной относится к Гете в такой же степени, как к вам”.—“Ваше величество позволит нам заметить, что французский театр знает очень мало трагедий, не представляющих смеси вымысла и истории. Но здесь я вступаю в область господина Гете, он ответит сам и, конечно, сделает это хорошо. Что касается меня, то я хотел дать несколько полезных людям поучений, и для этого мне нужен был авторитет истории. Я желал, чтобы заимствованным в ней примерам было легко и приятно подражать, а это потребовало прибавления идеалов и романтики. Мысли людей иногда ценнее их поступков, и хороший литературный вымысел ценнее истории людского рода. Сравните, ваше величество, “Век Людовика XIV”(8) с “Телемаком”(9), и вы увидите, который из них дает лучшие уроки государям и народам. Мой Диоген чист на дне своей бочки”.—“Но знаете ли вы,—сказал император,—что случается с людьми, которые показывают добродетель лишь в литературном вымысле: они заставляют думать, что добродетель—только пустая мечта. На историю часто клеветали сами историки”.

Этот разговор, в котором, конечно, был бы затронут и Тацит, был прерван Нансути, сообщившим императору, что курьер из Парижа привез ему письма. Принц-примас удалился вместе с Виландом и Гете и попросил меня быть с ними у него к обеду. Виланд, не уверенный по своей простоте, хорошо или плохо он отвечал императору, вернулся к себе, чтобы записать этот разговор. Запись о нем он принес к принцу-примасу в том виде, в каком он только что приведен. На этом обеде присутствовали все блестящие люди из Веймара и его окрестностей. Я заметил одну даму из Эйзенаха, сидевшую близ примаса. При обращении к ней ее называли не иначе, как именем какой-нибудь музы и притом без всякой аффектации. “Клио, передать ли вам то-то”,—спрашивал ее примас, на что она просто отвечала да или нет. На земле она звалась баронессой Бехтольсгейм. После обеда все отправились в театр, и по обыкновению после спектакля я проводил императора, а затем направился к княгине Турн-и-Таксис.

Император Александр уже находился у нее; его лицо имело необычное выражение. Было очевидно, что его колебания еще не рассеялись и что замечания к проекту договора не готовы. “Говорил ли с вами император в последние дни?”—спросил он прежде всего. “Нет, ваше величество”. Я рискнул добавить, что “если бы я не видал Винцента, то я думал бы, что эрфуртское свидание предназначалось только для развлечения”. “Что говорит Винцент?”—“Ваше величество, весьма благоразумные вещи; он надеется, что ваше величество не позволит императору Наполеону толкнуть вас на мероприятия, угрожающие Австрии или хотя бы оскорбительные для нее; позвольте мне, ваше величество, сказать, что я питаю такие же желания”. “Я тоже этого хочу, но это очень трудно, так как мне кажется, что император Наполеон очень раздражен”.—“Но, ваше величество, вы будете делать свои замечания; не могли бы вы указать, что те статьи, в которых говорится об Австрии, бесполезны, так как они в сущности предусмотрены договором в Тильзите? Мне кажется, следовало бы добавить, что доверие должно быть взаимным; ваше величество, по предложенному вам проекту вы оставляете императора Наполеона до известной степени судьей в вопросе об условиях, при которых вступают в силу некоторые статьи договора; со своей стороны, вы имеете право требовать, чтобы он предоставил на ваше усмотрение вопрос о том, когда наступает случай, при котором Австрия становится реальным препятствием к осуществлению проекта, принятого обоими императорами. Если это будет установлено, то все, что касается Австрии, должно быть удалено из договора. Может быть, ваше величество, вы подумаете о том, какой испуг должно было вызвать в Вене эрфуртское свидание, подготовленное без ведома императора Франца, и напишете ему, чтобы успокоить его относительно всех тех

вопросов, которые его лично интересуют”. Я видел, что мои слова приятны императору Александру; он делал карандашом заметки о том, что я ему говорил, но его надо было убедить, а это еще не было сделано. Это удалось Коленкуру благодаря личному доверию, которым он пользовался.

На следующий день император Александр показал мне замечания, сделанные им к проекту договора, и любезно сказал: “В некоторых местах вы найдете свои собственные мысли; я прибавил многое, заимствованное из прежних своих разговоров с императором Наполеоном”. Его замечания были довольно удачны. Он решил передать их на следующий день утром. Это меня порадовало, так как он казался мне не слишком решительным, и я хотел, чтобы первый шаг был уже сделан. Мои опасения не оправдались, и при обсуждении, которое длилось более трех часов, он не сделал никаких уступок. Когда императоры расстались, Наполеон послал за мной и сказал: “Я ничего не достиг с императором Александром; я обрабатывал его со всех сторон, но он близорук, и я не подвинулся ни на шаг вперед”.— “Ваше величество, мне кажется, что за ваше пребывание здесь вы уже многого достигли, так как император Александр совершенно поддался вашему обаянию”.— “Он это только изображает, и вы им одурачены. Если он меня так любит, то почему же он не дает своей подписи?”— “Ваше величество, в нем есть нечто рыцарственное, и чрезмерные предосторожности его оскорбляют; он считает, что его слово и его чувства к вам обязывают его больше, чем договоры. Это доказывают его письма, которые, ваше величество, вы мне показали”.— “Какой все это вздор”.

Он ходил взад и вперед по комнате и через несколько минут прервал молчание словами: “В разговоре с ним я больше к этому вопросу не вернусь, чтобы не показать, что я придаю ему такое серьезное значение; в сущности само наше свидание с окружающей его таинственностью должно внушить Австрии уважение; она будет думать, что подписано секретное соглашение а я не стану ее разубеждать. Если бы по крайней мере Россия побудила своим примером императора Франца признать Иосифа королем Испании, то это было бы уже кое-что, но я на это не рассчитываю; то, что я достиг в восемь дней с императором Александром, потребовало бы в Вене годы. Я не понимаю вашей склонности к Австрии, ведь это политика старой Франции”.— “Ваше величество, я считаю, что такова должна быть политика и новой Франции и, смею добавить, также ваша, потому что вы, ваше величество, являетесь именно тем государем, на которого более всего рассчитывают для защиты цивилизации. Появление России при заключении мира в Тешене было большим бедствием для Европы, а Франция совершила серьезную ошибку, не сделав ничего, чтобы этому помешать”.— “Сейчас, мой дорогой, дело идет не об этом, надо исходить из существующего положения. Что касается прошлого, то начинайте, если вам угодно, с Вержена. Теперь совершенно не интересуются цивилизацией”.— “Теперь думают, вероятно, только о делах?”— “Вы не отгадали; знаете ли вы, почему никто не действует со мной честно? Да потому, что у меня нет потомства, и все считают, что французская корона лишь пожизненно на моей голове, В этом тайна всего, что вы здесь видите: меня боятся, и каждый выпутывается, как умеет; такое положение вещей плохо для всех, и когда-нибудь,—добавил он торжественно,—его придется исправить. Продолжайте встречаться с императором Александром; я, может быть, обошелся с ним несколько резко вовремя нашего совещания, но я хочу расстаться с ним в добрых отношениях; в моем распоряжении еще есть несколько дней; мы едем завтра в Веймар, и мне будет нетрудно быть любезным в Иене, где в мою честь будет устроено празднество. Вы прибудете в Веймар до меня; герцогиня слишком великосветская дама и не поедет в Иену, но скажите ей, что я желаю видеть там всех ученых людей, собирающихся вокруг нее, и что я прошу их об этом предупредить. Было бы досадно, если бы подробности этого путешествия скоро забылись”.

Император отправил в Веймар всю труппу Французской комедии. День начался охотой под Иеной, затем последовал парадный обед за столом в виде подковы, за которым были размещены лишь *царствующие* особы. Я отмечаю это слово, так как оно дало повод

оказать Наполеону еще один знак уважения, посадив за этим столом князя Невшательского и меня(10). По выходе из-за стола все отправились в театр, где перед государями и принцами, приехавшими из Эрфурта в Веймар, играли “Смерть Цезаря”. После спектакля перешли в бальный зал. Это было прекрасное помещение, большое, высокое, квадратной формы, с верхним светом и с рядом колонн. Впечатление, произведенное “Смертью Цезаря”, быстро рассеялось благодаря присутствию множества молодых и красивых дам, приехавших на бал. Наполеон любил обсуждать серьезные вопросы в гостиных, на охоте, на балу, иногда за карточным столом. Ему казалось, что этим он подчеркивает свою недоступность тем влияниям, которые на обыкновенных людей оказывает такого рода времяпровождение. Обойдя залу и побеседовав с несколькими молодыми дамами, имена которых он спросил у камергера герцога, Фридриха Мюллера, получившего распоряжение сопровождать его, он покинул большую залу и попросил Мюллера привести к нему Гете и Виланда. Мюллер не состоял в родстве с знаменитым историком Иоганном Мюллером, но он принадлежал к веймарскому литературному обществу и, мне кажется, состоял его секретарем. Он направился за указанными лицами, которые наблюдали вместе с некоторыми другими членами этого общества прекрасное и редкое зрелище, открывавшееся перед ними. Гете, подойдя к императору, попросил позволения их назвать. Я не перечисляю этих имен, так как их не оказалось в той очень подробной записке, которую мне передал на следующий день Мюллер. Я просил его записывать все, что он будет наблюдать во время этой поездки, чтобы сравнить это с тем, что я записывал сам. “Я надеюсь, вы довольны нашими спектаклями,— сказал император Гете.—Присутствовали ли на них эти господа?”—“Они были на сегодняшнем представлении, ваше величество, но не в Эрфурте”.—“Это меня огорчает; хорошая трагедия представляет самую лучшую школу для выдающихся людей. С известной точки зрения она превосходит самую историю. Наилучший исторический труд производит лишь небольшое впечатление. Когда человек находится в одиночестве, то он испытывает лишь слабые волнения, но впечатление, производимое на целое собрание людей, оказывается более сильным и длительным. Уверяю вас, что историк, которого постоянно цитируют, то есть Тацит, не научил меня ничему. Знаете ли вы более великого и более несправедливого хулителя человечества, чем подчас бывает он? В самых обыденных поступках он обнаруживает преступные мотивы; он превращает всех императоров в отчаянных негодяев для того, чтобы заставить восхищаться своим гением, который их постиг. Правильно говорят, что его “Анналы” представляют собой не историю империи, а выписку из римских канцелярий. У него все полно обвинениями, обвиняемыми и людьми, вскрывающими себе вены в ванне. Говоря все время о доносах, он в сущности самый большой доносчик. А какой стиль! Как беспросветная ночь! Я не большой латинист, но туманность Тацита видна из тех десяти или двенадцати итальянских и французских переводов, которые я читал; из этого я вывожу, что она вытекает из того, что называется его гением, как и из его стиля. Она неотделима от его способа выражения, потому что заключается в самом характере его восприятия. Я слышал хвалы ему за тот страх, который он внушает тиранам, но он вызывает у них страх перед народом, а это большое бедствие для самих народов. Разве я не прав, господин Виланд? Но я мешаю вам, мы присутствуем здесь не для того, чтобы говорить о Таците. Посмотрите, как хорошо танцует император Александр”.

“Я не знаю, зачем мы здесь присутствуем, ваше величество,— ответил Виланд,—но я знаю, что в эту минуту ваше величество делает меня самым счастливым человеком на земле”.— “Ну, так ответьте мне”.—“Ваше величество, после сказанного вами я забываю, что вы владеете двумя престолами. Я вижу в вас лишь представителя литературы и знаю, что ваше величество не пренебрегает этим званием; ведь я помню, что, отбывая в Египет, вы подписывали письма: *Бонапарт, член Французского института и главнокомандующий*. Поэтому я попытаюсь, ваше величество, отвечать вам, как представителю литературы. В Эрфурте, когда я подвергался вашей критике, я

почувствовал, что слабо защищаюсь, но мне кажется, что Тацита я могу защитить лучше. Я согласен, что его главная цель сводится к наказанию тиранов, но он указывает на них не рабам, которые способны взбунтоваться только для того, чтобы переменить тирана; он обращается к вековой справедливости и к человечности. Ведь существование людского рода будет, вероятно, так продолжительно и сопровождаться таким количеством бедствий, что разум сумеет в конце концов приобрести ту силу, которой до сих пор обладали одни лишь страсти”. —“Это говорят все наши философы. Я ищу эту силу разума, но нигде ее не нахожу”. —“Ваше величество, лишь с недавних пор число читателей Тацита сильно выросло, а это заметный успех человеческого разума; ведь в продолжение веков академии интересовались им не больше, чем царские дворы. Рабы чужого вкуса, как и слуги деспотизма, боялись его. Лишь когда Расин назвал его *самым великим живописцем древности*, ваши и наши университеты решили, что это, может быть, правда. Ваше величество говорит, что, читая Тацита, вы видите доносителей, убийц и разбойников, но ведь такова-то именно была Римская империя под управлением тех чудовищ, которых описывает Тацит. Гений Тита Ливия обзревал вселенную, следуя за римскими легионами; гений Тацита почти всегда сосредоточивался в римских канцеляриях, так как в них можно найти всю историю империи. Да вообще,—заявил Виланд воодушевленным голосом,—только канцелярии позволяют ознакомиться у всех народов с теми несчастными временами, когда государи и народы, враждебные друг другу в своих принципах и взглядах, жили в постоянном взаимном страхе. Тогда все превращается в уголовное дело, и кажется, что центурионы и палачи приносят смерть чаще, чем время и сама природа. Ваше величество, Светоний и Дион Кассий сообщают о гораздо большем количестве злодеяний, чем Тацит, но их стиль лишен выразительности, в то время как ничто не может быть ужаснее кисти Тацита. Тем не менее его гений неутомим лишь в той мере, как сама справедливость. Как только появляется что-нибудь отпадное, хотя бы в чудовищное царствование Тиберия, его взор тотчас же это отыскивает, он это схватывает и выдвигает с тем блеском, который он придает всему. Он находит основания для похвалы даже такому глупцу, как Клавдий, слабоумие которого в сущности сводится к особенностям его характера и к его распущенности. Это беспристрастие, представляющее самое высшее свойство справедливости, Тацит проявляет в отношении самых противоположных явлений, в отношении как республики, так и империи, как граждан, так и государей. По характеру его гения следовало бы думать, что он может любить только республику; это мнение как будто подкрепляется его словами о Бруте, Кассии и Кодре, так глубоко врезавшимися в память всей нашей молодежи. Но когда он говорит об императорах, столь счастливо примиривших то, что считалось непримиримым, именно—империю со свободой, то чувствуешь, что искусство править кажется ему самым прекрасным открытием на земле”.

Принц-примас, приблизившийся к разговаривающим, и вся маленькая веймарская академия, окружившая Виланда, не могли скрыть своего восхищения.

“Ваше величество,—продолжал он,—правильно сказать о Таците, что тираны бывают наказаны, когда он их изображает, но еще вернее,—что добрые государи бывают вознаграждены, когда он рисует их образ и доставляет им славу”. —“Я имею дело с слишком сильным противником, господин Виланд, и вы не пренебрегаете ни одним из своих преимуществ. Мне кажется, что вы знали о моей нелюбви к Тациту. Переписываетесь ли вы с Мюллером, которого я видел в Берлине?” —“Да, ваше величество”. —“Сознайтесь, что он написал вам о содержании нашей беседы”. —“Действительно, ваше величество, от него я узнал, что ваше величество охотно беседовали о Таците, но не любите его”. —“Я еще не считаю себя совершенно разбитым, господин Виланд, с этим я могу согласиться с трудом. Завтра я возвращаюсь в Эрфурт, и там мы возобновим наш спор. В моем арсенале имеется хороший запас оружия для доказательства, что Тацит недостаточно проник в сущность причин и внутренних двигательных сил событий; он недостаточно обнаружил тайну тех поступков, о которых

он рассказывает, и их взаимную связь, чтобы подготовить суждение потомства, которое должно судить о людях и правительствах, исходя из их эпохи и окружавших их условий”.

Император окончил этот разговор, сказав Виланду с любезным видом, что удовольствие, доставляемое беседой с ним, заставляет его вести себя скандально в отношении танцующих, и с этим он удалился с принцем-примасом. Остановившись на несколько минут, чтобы посмотреть прекрасную кадрили и поговорить с герцогиней Саксен-Веймарской об изяществе и красоте этого блестящего празднества, он покинул бал и отправился в приготовленное для него великолепное помещение. Молодые академики, опасаясь, чтобы память не изменила им, успели уже уйти, для того чтобы записать все слышанное ими. На следующий день, назначенный для нашего отъезда, Мюллер явился ко мне в семь часов утра, чтобы проверить, точно ли записаны нападки императора на Тацита. Я изменил несколько слов, и это дало мне право получить полную копию труда указанных господ, “предназначенного для литературных архивов Веймара. Утром мы покинули это прекрасное место. Короли Саксонии, Вюртемберга и Баварии отбыли в свои государства.

По возвращении в Эрфурт император Наполеон стал более чем когда бы то ни было предупредителен, дружелюбен и откровенен с императором Александром. Соглашение, сделавшееся таким бессодержательным, было заключено почти без всяких возражений; казалось, что Наполеон испытывает истинное желание делать лишь то, что может быть угодно его августейшему союзнику. “Беспокойная жизнь меня утомляет,—говорил он императору Александру,—я нуждаюсь в покое и стремлюсь лишь дожить до того момента, когда можно будет безмятежно отдаться прелестям семейной жизни, к которой меня влекут все мои вкусы. Но это счастье,—добавил он с проникновенным видом,—создано не для меня. Без детей не может быть семьи, а разве я могу их иметь! Моя жена старше меня на десять лет. Я прошу простить меня: все, что я говорю, может быть, смешно, но я следую движению своего сердца, которое радо излиться вам”. Затем он стал распространяться на тему о длительной разлуке, больших расстояниях, трудности встреч и так далее. “Но до обеда остается лишь несколько минут,—сказал он,—а мне надо восстановить всю свою сухость к прощальной аудиенции, которую я должен дать Винценту”.

Император Александр находился даже вечером под обаянием этого интимного разговора. Я встретился с ним поздно, так как Наполеон, довольный проведенным днем, надолго задержал меня после вечерней аудиенции. В его волнении было что-то странное; он задавал мне вопросы, не дожидаясь ответов, он обращался ко мне и пытался высказать что-то скрывавшееся между слов.

Наконец он произнес веское слово “развод”. “Его предписывает мне,—сказал он,—судьба, и этого требует спокойствие Франции. У меня нет наследника. Иосиф ничего собой не представляет, и у него только дочери. Я должен основать династию, но я могу это сделать, лишь вступив в брак с принцессой из одной из царствующих в Европе старых династий. У императора Александра есть сестры, и возраст одной из них мне подходит. Поговорите об этом с Румянцевым. Скажите ему, что после окончания испанского дела я готов на его планы раздела Турции, остальные же доводы вы найдете сами, так как я знаю, что вы сторонник развода; могу вам сказать, что такого мнения держится и сама императрица Жозефина”.—“Если ваше величество разрешит, то я ничего не скажу Румянцеву. Хоть он и герой из романа Жанлис “Рыцари лебедя”(11), но я не считаю его достаточно проникательным. И затем, после того как я наставлю Румянцева на правильный путь, ему придется повторить императору все сказанное мною, но сумеет ли он это хорошо сделать? Я не могу быть в этом уверен. Гораздо естественнее и, могу сказать, гораздо легче серьезно поговорить по этому важному делу с самим императором Александром. Если ваше величество разделяет такую точку зрения, то я возьму на себя начало этих переговоров”.—“В добрый час,—ответил император,—но только запомните, что не надо говорить с ним от моего имени; вы должны обратиться к нему как француз,

чтобы он добился у меня решения, которое обеспечит устойчивость Франции, так как после моей смерти ее судьба может оказаться ненадежной. Выступая в качестве француза, вы можете говорить все, что вам угодно. Иосиф, Люсьен и вся моя семья дают вам хорошие доводы для доказательств; вы можете говорить о них все, что вам заблагорассудится, так как для Франции они не представляют ничего. Даже моему сыну,—но на это бесполезно указывать,—пришлось бы часто напоминать, чей он сын, чтобы он мог спокойно править”.

Было уже поздно, но тем не менее я рискнул отправиться к княгине Турн-и-Таксис, прием у которой еще не окончился. Император Александр оставался у нее позже обычного; он передал княгине с удивительным доверием всю грустную сцену, происшедшую утром. “Никто не имеет,—говорил он,—правильного представления о характере этого человека. Все его действия, которые тревожат другие страны, вызываются вопреки его воле его положением. Никто не знает, насколько он добр. Вы верите в это, не правда ли, вы ведь так хорошо его знаете?”— “Ваше величество, у меня есть много личных оснований верить в это, и я всегда охотно их привожу. Осмелюсь ли я просить ваше величество дать мне завтра утром аудиенцию?”— “Охотно, но я не знаю, до свидания с Винцентом или после него. Я должен еще написать письмо императору Францу”.— “Ваше величество, если вы позволите, то лучше после; мне было бы очень досадно задержать такое доброе дело; императора Франца необходимо успокоить, и я не сомневаюсь, что ваше письмо достигнет этой цели”.— “Во всяком случае таково мое намерение”. Император с удивлением заметил, что было уже около двух часов. На следующий день, прежде чем отправиться на назначенную ему аудиенцию, Винцент зашел ко мне. Я был вправе ему сказать, что он должен быть в высшей степени удовлетворен всеми вообще и императором Александром в частности. Его лицо просияло. Прощаясь со мной, он дружески и с признательностью пожал мне руку. Он уехал в Вену тотчас же после аудиенции, а я в это время мысленно перебирал все средства, которые следовало применить, чтобы с успехом выполнить, наперекор общим желаниям и собственным взглядам, порученное мне дело. Сознаюсь, что новые узы между Францией и Россией казались мне опасными для Европы. По моему мнению, следовало достичь лишь такого признания идеи этого брачного союза, чтобы удовлетворить Наполеона, но в то же время внести такие оговорки, которые затруднили бы его осуществление. Все искусство, которое я считал нужным применить, оказалось с императором Александром излишним. Он понял меня с первого же слова и понял точно так, как я хотел. “Если бы дело касалось только меня,— заявил он,—то я охотно дал бы свое согласие, но этого недостаточно: моя мать сохранила над своими дочерьми власть, которую я не вправе оспаривать. Я могу попытаться на нее воздействовать; возможно, что она согласится, но я все же не решаюсь за это отвечать. Так как мною руководит истинная дружба к императору Наполеону, то это должно его удовлетворить. Скажите ему, что через несколько минут я буду у него”.— “Ваше величество, не забудьте, что разговор должен носить сердечный и торжественный характер. Вы будете говорить, ваше величество, об интересах Европы и Франции. Европе необходимо, чтобы французский престол был защищен от всяких бурь, и средство, предложенное вашим величеством, должно привести к этой цели”.— “Да, это составит тему моего разговора, она очень плодотворна. Сегодня вечером мы увидимся у княгини Турн-и-Таксис”. Я пошел предупредить императора Наполеона, который был восхищен тем, что ему предстоит отвечать, но отнюдь не просить. У меня едва хватило времени добавить еще несколько слов, как император Александр уже сходил во дворе с лошади. Оба императора оставались вдвоем несколько часов; с этого момента всему двору приходилось изумляться тем дружеским выражениям, с которыми они обращались друг к другу; в последние дни даже строгость этикета была ослаблена. Всюду чувствовался дух согласия и полное удовлетворение императоров. Важное дело о разводе было начато так, что император Наполеон мог давать удовлетворительные ответы всем лицам, связанным с императрицей Жозефиной, которые считали ее возвышение гарантией своего личного



положения.

Наполеону уже казалось, что он закладывает основания настоящей империи. Со своей стороны, русский император думал, что лично связал его с собой; он лелеял мысль, что одним своим влиянием он дал русской системе поддержку того, кого восхвалял весь мир и гений которого разрушал все затруднения.

В театре он встал в присутствии всего Эрфурта и взял руку Наполеона в момент, когда произносились стихи из “Эдипа”:

L'amitie d'un grand homme est un present des dieux!

(“Эдит” Вольтера, действие I, явление 1: Дружба великого человека является даром богов.)

Они оба считали, что необходимы друг другу для их общего будущего. Когда закончились дни, отведенные для свидания, то каждый из них роздал награды свите своего союзника, и они расстались с выражениями живейшего сожаления и полнейшего доверия.

Последнее утро в Эрфурте Наполеон посвятил обществу. Зрелище, которое представлял в этот последний день его дворец, никогда не исчезнет из моей памяти. Он был окружен владетельными князьями, у которых он уничтожил армии, отторгнул владения или которых он просто принизил. Среди них не нашлось никого, кто бы решился обратиться к нему с какой-либо просьбой; каждый желал только, чтобы Наполеон его заметил и притом заметил последним, чтобы сохраниться в его памяти. Вся эта откровенная низость осталась без вознаграждения. Он отличил лишь веймарских академиков и говорил только с ними; он захотел в этот последний момент произвести на них особое впечатление и спросил у них, много ли в Германии отвлеченных мыслителей. “Да, ваше величество,— ответил один,—их довольно много”.—“Я жалею вас. Они имеются у меня в Париже, это мечтатели и опасные мечтатели: они все скрытые и даже не слишком скрытые материалисты. Господа,—заговорил он, возвышая голос,—философы мучаются над созданием систем; они тщетно пытаются создать систему лучшую, чем христианство, которое, примиряя человека с самим собой, в то же время обеспечивает общественный порядок и спокойствие государств. Ваши теоретики разрушают все иллюзии, а эпоха иллюзий составляет для народов, как и для отдельных лиц, счастливый возраст. Покидая вас, я уношу с собой одну из таких иллюзий, которая мне драгоценна: надежду, что вы сохраните обо мне добрую память”. Спустя несколько минут он был уже в экипаже и уезжал, чтобы завершить, как он полагал, покорение Германии.

Я прилагаю здесь договор, подписанный в Эрфурте. Можно найти некоторую разницу в расположении статей в проекте, который император просил меня составить, и в этом договоре. Статья, относящаяся к Валахии и Молдавии, с первого взгляда кажется измененной, однако, формально признавая присоединение обеих этих провинций к Российской империи, император Наполеон требует сохранения своего согласия на такое присоединение в глубочайшем секрете (точное выражение), так что эта статья приобретала, по его мнению, в проекте и в самом договоре почти одинаковый смысл. Надо отметить, что последняя редакция договора не содержала двух статей, внесенных Наполеоном в проект, именно статьи, по которой он становился судьей в вопросе об обязательности для России объявления войны Австрии, и другой, относящейся к продвижению одного русского корпуса к австрийской границе под предлогом отношения, создавшихся между петербургским кабинетом и Оттоманской Портой.

*Эрфуртская конвенция, подписанная 12 октября 1808 года.*

*Ратифицирована 13 октября 1808 года*

“Его величество император французов, король италийский, протектор Рейнского союза и так далее.

И его величество император всероссийский и так далее.

Желая придать соединяющему их союзу все более тесный и навеки нерушимый

характер и оставляя за собой возможность впоследствии, в случае надобности, прийти к соглашению о том, какие принять новые решения и какие направить новые средства борьбы против Англии, общего их врага и врага континента, решили установить в особой конвенции начала, которым они постановили неизменно следовать во всех своих выступлениях с целью восстановления мира.

Для сего они назначили: его величество император французов и так далее—его сиятельство Жан-Баптиста Нонпер де Шампаньи, имперского графа и так далее и министра внешних сношений.

Его величество император всероссийский и так далее— его сиятельство графа Николая Румянцева, действительного тайного советника, члена Государственного совета, министра иностранных дел и так далее, которые пришли к следующему соглашению:

Статья I. Его величество император французов и так далее и его величество император всероссийский и так далее подтверждают и, поскольку это требуется, возобновляют союз, заключенный ими в Тильзите, обязуясь не только не заключать с общим врагом никакого сепаратного мира, но и не вступать с ним ни в какие переговоры и не принимать от него никаких предложений иначе, как с общего согласия.

Статья II. Решив оставаться в нерасторжимом союзе на случай мира и войны, высокие договаривающиеся стороны постановляют назначить уполномоченных для мирных переговоров с Англией и отправить их для этого в тот континентальный город, который будет ею указан.

Статья III. В течение всего хода переговоров, если они будут иметь место, уполномоченные обеих высоких договаривающихся сторон будут постоянно действовать в самом полном согласии; ни одному из них не будет дозволено не только поддерживать, но даже принимать или одобрять, наперекор интересам другой договаривающейся стороны, какое бы то ни было предложение или просьбу английских уполномоченных, которое, будучи само по себе благоприятно английским интересам, могло бы также представить некоторые выгоды для одной из договаривающихся сторон.

Статья IV. Основанием договора с Англией будет служить принцип *uti possidetis*(12).

Статья V. Высокие договаривающиеся стороны обязываются считать неперменным условием мира с Англией признание ею вхождения Финляндии, Валахии и Молдавии в состав Российской империи.

Статья VI. Они обязываются равным образом считать неперменным условием мира признание Англией нового порядка вещей, установленного Францией в Испании.

Статья VII. Обе высокие договаривающиеся стороны обязываются не принимать в течение переговоров никакого представления, предложения или сообщения, не известив о нем немедленно подлежащие дворы; если же указанные предложения будут сделаны на конгрессе, собравшемся для заключения мира, то уполномоченные обеих сторон обязаны их друг другу сообщить.

Статья VIII. Так как вследствие революций и преобразований, потрясающих Оттоманскую Порту и не представляющих ей никакой возможности дать, а следовательно—никакой надежды получить от нее достаточные гарантии личности и имуществ жителей Валахии и Молдавии, его величество император всероссийский довел уже с этой стороны границы своей империи до Дуная и присоединил к ней Валахию и Молдавию, признавая лишь под этим условием неприкосновенность Оттоманской империи, то его величество император Наполеон признает указанное присоединение и перенесение границ Российской империи до Дуная.

Статья IX. Его величество император всероссийский обязывается сохранить предшествующую статью в глубочайшем секрете и вступить либо в Константинополе, либо в любом ином месте в переговоры с целью достичь, если возможно, мирным путем уступки этих двух провинций, Франция отказывается от посредничества. Уполномоченные или представители обоих народов предварительно придут к соглашению относительно своих выступлений с целью не создавать угрозу дружбе

существующей между Францией и Портой, а также безопасности французов, проживающих в факториях Леванта, а также с целью воспрепятствовать Порте броситься в объятия Англии.

Статья X. Если, вследствие отказа Оттоманской Порты уступить обе эти провинции, разгорится война, то император Наполеон не примет в ней никакого участия и ограничится оказанием своих услуг перед Оттоманской Портой. Но если бы Австрия или какая-нибудь другая держава присоединилась в указанной войне к Оттоманской империи, то его величество император Наполеон немедленно присоединится к России, так как в этом случае вступает в силу общий союз, соединяющий обе империи.

В случае, если бы Австрия начала войну с Францией, то император всероссийский обязывается выступить против Австрии и присоединиться к Франции, так как этот случай также считается одним из тех, при котором вступает в силу союз, соединяющий обе империи.

Статья XI. Высокие договаривающиеся стороны обязываются, однако, сохранять целостность остальных владений Оттоманской империи. Они сами не намерены ничего предпринимать и не потерпят никаких выступлений против какой бы то ни было части этой империи без предварительного соглашения с ними.

Статья XII. Если меры, принятые обеими высокими договаривающимися сторонами для восстановления мира, окажутся бесплодными, вследствие того ли, что Англия отвергнет сделанное ей предложение, или вследствие того, что переговоры будут прерваны, то их августейшие величества снова встретятся на протяжении года для соглашения о совместных военных операциях и способах их ведения с привлечением всех средств обеих империй.

Статья XIII. Обе высокие договаривающиеся стороны, желая вознаградить верность и твердость, с которыми король датский поддерживал общее дело, обязываются предоставить ему вознаграждение за его жертвы и признать приобретения, которые он сумеет сделать в настоящей войне.

Статья XIV. Настоящая конвенция будет считаться секретной не меньше чем в продолжении десяти лет.

*Эрфурт, 12 октября 1808 года*".

## ПРИМЕЧАНИЯ

(1) Французским послом был тогда Коленкур.

(2) Речь идет о письме Наполеона Александру I, написанном в феврале 1808 г. Оно опубликовано в "Correspondance de Napoleon I", t. 16, p. 498.

(3) "Аталия" — трагедия Расина.

(4) "Цицина", "Тораций", "Родогуна" и "Сид" — трагедии Корнеля; "Андромаха", "Британник", "Митридат", "Ифигения в Авлиде", "Федра" и "Баязет" — Расина; "Заира", "Смерть Цезаря", "Магомет" — Вольтера; "Радамист" — трагедия французского драматурга Крепильона (1674—1762); "Эдип" — одноименные трагедии Корнеля и Вольтера; здесь предполагается, очевидно, трагедия Вольтера. "Манлий", по полному названию "Манлий Капитолийский", — трагедия французского драматурга Лафосса (1653—1708).

(5) Очевидно, Галейран путает "Лагерь Валленштейна" и "Смерть Валленштейна" — драмы Шиллера с исторической работой того же автора "История Тридцатилетней войны".

(6) "Танкред" — трагедия Вольтера.

(7) Речь идет о Саксен-Веймарском герцоге (см. указатель).

(8) "Век Людовика XIV" — исторический труд Вольтера.

(9) "Приключения Телемака" — эпический роман французского писателя Фенелона (1651—1715), написанный им для внука Людовика XIV и содержащий много намеков на

царствование последнего.

(10) Талебран получил от Наполеона в дар и в потомственное владение самостоятельное княжество Беневентское, находившееся в Италии и входившее ранее в состав папских владений; в 1814 г. оно было возвращено папе.

(11) “Рыцари лебеда”, или “Двор Карла Великого”, — исторический роман Жанлис, в котором автор изображает под покровом вымысла некоторые эпизоды французской революции и деятелей своей эпохи, в том числе, как предполагалось, и гр. Румянцева.

(12) *Ut possidetis* представляют формулу дипломатических отношений, означающую взаимное признание обеими сторонами права владеть фактически занимаемыми ими территориями. Буквально в переводе с латинского языка значит “как вы владеете”.

#### ***Четвертая глава (1809—1813 годы)***

Покидая поприще, богатое иллюзиями и тревожениями, связанными с властью, я должен был подумать о такой деятельности, которая сочетала бы покой с интересными занятиями. Одна только внутренняя жизнь может заменить всякие несбыточные мечтания, а в эпоху, о которой я говорю, такая внутренняя жизнь, приятная и спокойная, существовала только для очень немногих. Наполеон не позволял предаваться ей; для того, чтобы принадлежать ему, следовало, по его мнению, отказаться от самого себя. В увлечении быстрой сменой событий, тщеславием, ежедневно новыми интересами, в атмосфере войны и политической борьбы, окутавшей Европу, никто не мог внимательно приглядеться к своему собственному положению; политическая жизнь слишком владела умами, чтобы хоть одна мысль могла обратиться к частным делам. Люди бывали у себя дома только случайно и потому, что где-нибудь же надо отдыхать, но никто не желал постоянно пребывать в собственном доме.

Я разделял это общее настроение, объясняющее безразличие, с которым каждый относился к событиям своей жизни, и распространил его на некоторые важные для меня происшествия, в чем и упрекаю себя. В тот период я стремился женить своего племянника Эдмонда Перигора. Нужно было действовать так, чтобы мой выбор жены для него не вызвал недовольства Наполеона, не желавшего выпустить из-под своего ревнивого влияния молодого человека, носившего одно из самых громких имен Франции. Он полагал, что за несколько лет до того я способствовал отказу моей племянницы графини Жюст Ноайль, руки которой он просил у меня для своего приемного сына Евгения Богарнэ. Поэтому, какой бы выбор я ни сделал для своего племянника, мне предстояло встретить неодобрение императора. Он не позволил бы мне выбрать невесту во Франции, потому что блестящие партии, которые могли быть в ней заключены, он сохранял для преданных ему генералов. Итак, я обратил взоры за границу.

В Германии и Польше я часто слышал о герцогине Курляндской и знал, что она выделялась благородством чувств, возвышенностью характера, а также чрезвычайной любезностью и блеском. Младшая из ее дочерей была на выданьи. Этот выбор не мог не понравиться Наполеону, так как не лишал партии никого из его генералов, которые все неизбежно получили бы отказ. Он должен был даже льстить его тщеславию, заставлявшему его привлекать во Францию громкие иностранные имена. Это тщеславие побудило его незадолго до того способствовать браку маршала Бертье с одной из баварских принцесс. Поэтому я решил просить для моего племянника руку принцессы Доротеи Курляндской, а чтобы император Наполеон не мог, передумав или из каприза, взять назад уже данное им одобрение, я склонил добрейшего императора Александра, который был личным другом герцогини Курляндской, самому просить у нее для моего племянника руку ее дочери. Я имел счастье получить ее согласие, и свадьба состоялась во Франкфурте-на-Майне 22 апреля 1809 года.

Хотя я и решил не участвовать больше в политической деятельности императора Наполеона, я тем не менее оставался настолько в курсе дел, что мог с достаточным основанием судить об общем положении и рассчитать время наступления неизбежной катастрофы; я мог заранее представить себе ее характер и найти средства для предотвращения бедствий, которые она должна была породить. Все мое прошлое, все мои прежние связи с влиятельными людьми при разных дворах способствовали моей осведомленности обо всем происходящем. Но вместе с тем мне следовало вести такой образ жизни, чтобы иметь безразличный и пассивный вид и не подавать ни малейшего повода для возбуждения свойственной Наполеону подозрительности. Я знал, что уход со службы уже подвергал меня этой опасности, потому что в нескольких случаях он обнаружил большую враждебность ко мне и неоднократно устраивал мне публично бурные сцены. Они не были мне неприятны, так как страх ни разу не посетил моей души, и я готов утверждать, что его ненависть ко мне была более вредна ему, чем мне. Забегая несколько вперед, я могу сказать, что его враждебность позволила мне сохранить независимость и побудила меня отказаться от портфеля министра иностранных дел, который он позднее настойчиво предлагал мне. В тот период, когда это предложение было мне сделано, я считал великую роль Наполеона уже оконченной, потому что казалось, что он прилагал все усилия для разрушения собственными руками того блага, которое он успел совершить.

Император уже не мог более заключить никакой сделки с европейскими государствами. Он оскорбил одновременно и монархов и народы.

Как ни была велика во Франции потребность в иллюзиях, в ней сильно давали себя знать континентальная блокада, естественное, хотя и скрытое раздражение глубоко оскорбленных иностранных кабинетов, а также бедствия, которые терпела промышленность, парализованная вследствие запретительной системы. Под влиянием их Франция была вынуждена признать невозможность продления порядка, не представлявшего никакой гарантии сохранения спокойствия в будущем. Всякая победа, даже та, которая была одержана при Ваграме, становилась лишним препятствием к упрочению императора, а рука эрцгерцогини, полученная им вскоре после того, была лишь жертвой, принесенной Австрией во имя требований момента. Несмотря на все старания Наполеона изобразить свой развод как долг, исполненный им с исключительной целью обеспечения прочности империи, он никого не мог ввести в заблуждение; всем было ясно, что его брак с эрцгерцогиней должен был доставить только лишнее удовлетворение его честолюбию.

Подробности совета, на котором император подверг обсуждению выбор новой императрицы, не лишены известного исторического интереса, и потому я хочу его здесь описать. Наполеон уже давно распространил при своем дворце и в обществе слухи о том, что императрица Жозефина неспособна больше иметь детей и что его брат Жозеф Бонапарт, лишенный от природы ума и не приобретший славы, не может наследовать ему. Об этом было дано знать за границу, а оттуда этот слух вернулся во Францию. Фуше принял меры для распространения его через полицию; герцог Бассано наставлял в таком же духе писателей; Бертье взял на себя осведомление военных; мы видели, что во время эрфуртского свидания Наполеон хотел сам открыть свои намерения императору Александру. Наконец, все было подготовлено, когда в январе 1810 года император призвал на чрезвычайный совет крупных сановников, министров, в том числе министра народного просвещения, и еще двух или трех видных лиц гражданского сословия. Число и состав приглашенных, умолчание о цели созыва этого совещания, тишина, царившая в течение нескольких минут в самом зале, где все собрались,—все это говорило о серьезности предстоящего.

С некоторым замешательством и волнением, показавшимся мне искренним, император произнес следующие слова: “Я не мог конечно, отказаться без сожалений от союза, внесшего столько счастья в мою личную жизнь. Если бы во исполнение надежд,

связываемых империей с новым брачным союзом, который я должен заключить, мне было дозволено руководствоваться лишь своими личными чувствами, я бы выбрал себе спутницу жизни среди дочерей героев Франции и сделал бы императрицей французов ту, которая по своим достоинствам и добродетелям оказалась бы наиболее достойна трона. Но приходится считаться с нравами века, с обычаями других государств, в особенности с теми правилами, которые политика сделала для нас обязательными. Монархи стремились к заключению браков с моими родственниками, и я полагал, что теперь нет ни одного государя, у которого я бы не мог со спокойной уверенностью просить руки представительницы его династии. Три царствующие династии могут дать Франции императрицу: австрийская, русская и саксонская. Я собрал вас, чтобы совместно обсудить, которому из этих союзов нужно в интересах империи отдать предпочтение”.

Речь эта сопровождалась длительным общим молчанием, которое император прервал следующими словами: “Господин великий канцлер, каково ваше мнение?”

Камбасерес, который, как мне показалось, заранее подготовил свою речь, извлек из своих воспоминаний как члена Комитета общественного спасения уверенность в том, что Австрия всегда была и останется нашим врагом. После подробного развития этой мысли, которую он обосновал многочисленными фактами и прецедентами, он кончил пожеланием, чтобы император вступил в брак с одной из русских великих княжон.

Лебрен оставил в стороне политику и привел все мыслимые филистерские доводы из арсенала нравов, воспитания и скромности в пользу саксонского двора, за союз с которым он высказался. Мюрат и Фуше считали, что революционные интересы будут более обеспечены брачным союзом с русской. По-видимому, они оба чувствовали себя более непринужденно с потомками царей, чем Рудольфа Габсбургского.

Наступила моя очередь высказаться: я был в своей сфере и благополучно вышел из положения. Я смог привести отличные доводы в пользу того, что австрийский союз для Франции предпочтительнее. Втайне я руководствовался тем соображением, что сохранение Австрии зависит от решения императора. Но об этом не следовало говорить. Кратко изложив выгоды и неудобства, связанные с русским и австрийским браком, я высказался в пользу последнего. Обратившись к императору, я как француз просил его о том, чтобы австрийская принцесса появилась среди нас и дала Франции во мнении Европы и в ее собственных глазах отпущение преступления, в котором Франция как страна неповинна и которое целиком лежит на ответственности одной только партии(1). Слова о европейском примирении, несколько раз употребленные мною, понравились некоторым членам совета, уставшим от войны. Несмотря на сделанные императором возражения, я видел, что моя точка зрения нравилась ему. Моллиен говорил после меня и поддержал то же мнение с той меткостью и тонкостью ума, которые отличали его.

Выслушав всех, император поблагодарил присутствующих, Я объявил, что заседание окончено, и удалился. В тот же вечер он послал в Вену курьера, и через несколько дней французский посол сообщил, что император Франц согласен дать императору Наполеону руку своей дочери эрцгерцогини Марии-Луизы.

Чтобы придать этому брачному союзу блеск военной победы, император послал князя Ваграмского (Бертье) для заключения брака от его имени и дал вдове маршала Ланна, герцогине Монтебелло (муж ее был убит при Ваграме(2)), должность статс-дамы. Так как рассказ об этой эпохе должен воспроизвести ее своеобразие, то я напомним, что в тот момент, когда пушечный залп возвестил Парижу о венской помолвке, письма французского посла известили о точном выполнении последнего договора с Австрией и о взрыве венских укреплений. Из этого видно, с какой непреклонной требовательностью император Наполеон относился к своему новому тестю и что мир был для него только передышкой, использованной для подготовки новых завоеваний. Все народы подвергались испытаниям, а монархи переживали тревоги и волнения. Наполеон всюду порождал ненависть и измышлял осложнения, которые должны были стать в конечном счете непреодолимыми. Поддерживая честолюбивые стремления своей собственной

семьи, он создавал себе новые трудности, как будто Европа и без того не доставляла их ему в достаточном количестве. Сказанные им однажды роковые слова, что еще при его жизни его династия будет самой древней в Европе, объясняют, почему он раздавал своим братьям и супругам своих сестер троны и владения, полученные им благодаря победам и вероломству. Таким образом он роздал Неаполь, Вестфалию, Голландию, Испанию, Лукку, даже Швецию, так как лишь желание угодить ему заставило избрать Бернадота шведским наследным принцем.

Ребяческое честолюбие толкнуло его на столь опасный путь. Эти вновь созданные монархи либо оставались в сфере его влияния и становились исполнителями его воли, и в таком случае они не могли пустить корни в доверенной им стране, либо же они ускользали из-под его влияния еще скорее, чем Филипп V освободился от опеки Людовика XIV(3). Неизбежные расхождения между народами быстро нарушают династические связи между государями. Поэтому все эти новые монархии внесли в судьбу Наполеона начала упадка, которые обнаруживались в последние годы его царствования во всем.

Возлагая на кого-либо корону, Наполеон желал, чтобы новый король оставался связан с его системой мирового господства, с *великой империей*, о которой я уже говорил. Наоборот, лицо, взошедшее на трон, едва успев получить власть, уже отказывалось разделять ее с кем бы то ни было и начинало более или менее смело сопротивляться руке, пытавшейся подчинить его. Все эти вновь испеченные государи считали себя равными монархам из самых древних династий Европы в силу только декрета и торжественного въезда в их столицы, занятые французскими войсками.

Боязнь общественного мнения, заставлявшая их проявлять свою независимость, делала их более опасным препятствием для планов Наполеона, чем мог бы быть его прирожденный враг. Понаблюдаем за ними на их царственном поприще.

Неаполитанское королевство, с которого я начну, было 30 марта 1806 года “пожаловано”, как это тогда называлось, Жозефу Бонапарту, старшему из братьев императора. Его вступлению в это королевство хотели придать вид завоевания, но в действительности он с некоторым изумлением прочел в “Мониторе” описание так называемого сопротивления, будто бы оказанного ему.

Через четыре месяца новый король был уже в ссоре со своим братом. Жозеф пробыл в Неаполе недолго, — обстоятельства заставили его вскоре отправиться в Испанию. Во время его пребывания в Неаполе власть была для него лишь источником развлечений; он наблюдал, как будто он был уже пятнадцатым государем своей династии, как его министры выпутываются, говоря словами Людовика XIV, из ежедневно возникавших перед его правительством затруднений. На троне он искал только радостей частной жизни и легкомысленных походов, блиставших отраженным блеском громких имен.

Жозефу наследовал Мюрат, которого уже больше не удовлетворяло его великое герцогство Берг. Он не успел ступить ногой по ту сторону Альп, как воображение нарисовало ему, что вся Италия будет когда-нибудь принадлежать ему. В виде компенсации за договор, обеспечивавший за ним неаполитанскую корону, он обязался сохранить конституцию, дарованную его предшественником Жозефом. Но конституция эта была оформлена только в своей административной части, и он отложил обещанную им реформу гражданских и уголовных законов, поторопившись лишь завершить финансовую организацию страны. Для облегчения взимания платежей и для увеличения поступлений он начал с уничтожения всех феодальных сборов. Подстрекаемый своим министром Зурло, он стремился к немедленному проведению этого мероприятия, интересовавшего его лишь с фискальной точки зрения. Учрежденная с этой целью комиссия вынесла по всем тяжбам между сеньорами и общинами решения, благоприятные только для последних; между тем это делалось в то самое время, когда Наполеон пытался восстановить во Франции аристократию и создать майораты. В результате этого мероприятия неаполитанские бароны не только были лишены всех феодальных прав и

повинностей, исполнявшихся населением в их пользу, но у них была отнята и отдана общинам большая часть земель, в течение уже нескольких веков не подвергавшихся разделу.

Это нанесло серьезный ущерб богатству дворянства, но облегчило взимание налогов, сделав этот источник доходов более производительным. В самом деле, за пять лет неаполитанское правительство увеличило государственные доходы с сорока четырех миллионов франков до восьмидесяти миллионов. Действительное улучшение администрации, бывшее следствием процветания казны, управляемой умелой рукой Агара, пожалованного затем званием графа Мосбургского, успокоило первые проявления в стране недовольства и помешало им достигнуть слуха Наполеона, склонного, впрочем, к снисходительности в отношении Мюрата. Он видел в нем еще много неустоявшегося, и ему льстили ежеминутные напоминания о том, что он является его творением. Он прощал ему тысячи промахов, иногда довольно серьезных, прежде чем высказать ему порицание. Но он не мог не разгневаться, когда Мюрат повелел, чтобы французы, находившиеся с разрешения императора на неаполитанской службе, принесли ему присягу и перешли в его подданство. Все были возмущены этим требованием, и Наполеон, терпение которого истощилось, проявил свое недовольство со свойственной ему резкостью. Он приказал сосредоточить в лагере, отстоявшем от Неаполя на двенадцать лье, французские войска, находившиеся в королевстве; из этого лагеря он велел объявить, что всякий французский гражданин является по закону гражданином Неаполитанского королевства, потому что в силу акта об его учреждении это королевство составляет часть великой империи.

Мюрат, позволивший порыву увлечь себя на такой неосторожный шаг, убедился, что император ему этого никогда не простит и что для него нет другого выхода, кроме обеспечения себе безопасности путем расширения своей власти; с тех пор он интересовался только возможными способами захвата всей Италии. Присоединение к Французской империи Тосканы, Рима, Голландии, ганзейских городов сильно обеспокоило его душу. Слова *“великая империя”*, произнесенные с неопределенным смыслом в центре его государства, совершенно нарушили его покой, и он начал обнаруживать свои новые намерения.

Королева, разделявшая до известной степени опасения Мюрата, не придерживалась, однако, тех же взглядов, что он, относительно возможных способов воспрепятствовать планам ее брата. Она считала, что попытки расширения еще не окрепшей власти—плохой способ для сохранения ее.

Прибытие в Неаполь маршала Периньона для управления городом оправдывало в глазах Мюрата крайности, на которые он готов был решиться. Последовавшие вскоре в Европе события оживили его честолюбивые надежды и помыслы о мщении и заставили его ускорить осуществление его планов. Ставя себе двойную задачу: освобождения от французского влияния и расширения своей власти в Италии, он занялся увеличением армии и пытался завязать переговоры с Австрией, которую захватническая политика французского правительства начала серьезно тревожить. Королева, испытывая умение Меттерниха соблюдать тайну, взялась написать ему, полагая, что она сохранила на него влияние. С другой стороны, король вел секретные переговоры с английскими властями и в частности с лордом Вильямом Бентинком, находившимся в Сицилии. Предлогом к ним и их основным содержанием были торговые интересы. Мюрат, считавший себя вправе жаловаться на Наполеона и возлагать на него вину за торговые запреты, выражал готовность отделиться от него. Но время для разрыва еще не наступило. Русская кампания только началась, и Мюрат не мог не участвовать в ней со своими войсками, удовлетвовавшись, как и другие союзники императора, лишь спором об их численности. Управление было возложено на королеву, которой сочетание рассудительности, тонкости и обходительности давало больше влияния и власти, чем когда-либо имел ее супруг. Таким образом, в то время как Мюрат сражался и лично служил делу Франции, политика его преследовала противоположные задачи. Эта двойственная роль нравилась ему: с



одной стороны, он исполнял свой долг в отношении Франции и императора, а с другой— ему казалось, что он действует как король, как независимый государь, призванный к высоким судьбам.

Когда Австрия выступила против Франции и Лейпцигское сражение положило предел удачам Наполеона, Мюрат поспешно вернулся в Неаполь(4); с этого момента он все пустил в ход для того, чтобы его отступничество помогло ему сохранить корону и войти в большую европейскую коалицию, открывшую ему широкие возможности. Желание союзных держав совершенно изолировать Наполеона и отказ Евгения Богарнэ вступить в эту коалицию делали отступничество Мюрата весьма полезным для союзников.

Наполеон, осведомленный обо всем происходящем, не был в создавшихся тогда условиях наставлен на правильный путь ни своим гением, ни советниками. Ему следовало в собственных интересах отозвать Евгения Богарнэ со всеми оставшимися у него французскими войсками в Лион и предоставить Италию честолюбивым мечтаниям Мюрата. Это был единственный способ воспрепятствовать его соединению с коалицией держав и возбудить в Италии национальное движение, которое было бы чрезвычайно важно для Наполеона во время указанной кампании. Но его взор был околдован, а измена завершилась в то самое время, когда он считал еще полезным говорить о верности того, кто уже за несколько месяцев перед тем подписал договор с Австрией. Интриги, к которым Мюрат прибегал для получения власти над всей Италией, тем не менее продолжались; их можно было достаточно точно проследить, и на Венском конгрессе они послужили причиной разрыва с ним всех держав, следствием чего была его гибель.

Я хотел показать здесь, что в могуществе Наполеона на той высоте, которой он достиг, и в его политических творениях был коренной порок, который должен был, с моей точки зрения, препятствовать его укреплению и подготовить его падение. Наполеон находил удовольствие в том, чтобы тревожить, оскорблять, мучить тех, которых он возвысил; постоянно испытывая подозрения и пребывая в состоянии раздражения, они со своей стороны тайно подрывали создавшую их власть, которую привыкли уже считать своим главным врагом.

Те же самые разрушительные начала, которые я подробно охарактеризовал применительно к Неаполю, обнаружались в той или иной форме во всех созданных Наполеоном государствах.

В Голландии он начал с того, что передал президенту власть, находившуюся в руках директории, которая не была бессменной. Он убедил Шиммельпеннинка согласиться на принятие верховной власти с титулом великого пенсионария. Шиммельпенник был слишком умен, чтобы не понимать, что предназначенная ему роль имеет временный характер. Но притязания французских агентов и вытекавшее из них расточение казны, естественно, раздражали общественное мнение Голландии. Шиммельпенник надеялся использовать в интересах своей страны кратковременное влияние, которое должно было послужить ему наградой за его услужливость в отношении Наполеона. Он хотел добиться лучших условий для Голландии, но его иллюзии на этот счет должны были оказаться непрочными. Император, всегда стремившийся придать видимость национального движения кризисам, создаваемым им с целью уничтожения независимости побежденных стран, начал со времени принятия власти Шиммельпенником тайно возбуждать недовольство старых привилегированных корпораций, городской магистратуры и дворянства Голландии против лица, вышедшего из класса буржуазии; одновременно он пытался оживить в народе революционное настроение, чтобы побудить его восстать против власти, переданной новым порядком в руки одного человека. Но умеренность и мудрость великого пенсионария, глубокий здравый смысл голландцев и убеждение, что всякая попытка выступить немедленно вызовет решительное вмешательство Франции, побудили страну спокойно подчиниться своему новому правительству.

Когда император увидал, что его происки не приводят к поставленной им цели и что он не оказывает никакого влияния на страну, он усвоил другой образ действий. Через

посредство адмирала Верюелля он дал знать самому Шиммельпеннинку и нескольким видным в стране лицам, что такое положение не может длиться, что Голландии необходимо заключить более тесный союз с Францией, испросив себе в государи французского принца. Некоторые полученные им сведения с очевидностью показали Наполеону, что страна больше всего боялась присоединения к Франции, и он ловко воспользовался этим настроением, способствовал призванию одного из своих братьев. Он не только обещал сохранить целостность территории, но присоединил к ней Восточную Фризландию и возбудил в именитых родах всевозможные надежды. Шиммельпенник испытывал самые мучительные колебания; он не решался ни запросить мнение страны, ни согласиться на то, что от него требовали. Самым осторожным и мудрым ему казалось отправление депутации в Париж, чтобы судить там на месте о допустимых пределах сопротивления. Эту депутацию он составил из Гольдберга, Гогела, Сикса и ван Стирума. Данные им и адмиралу Верюеллю инструкции предписывали ни под каким видом не соглашаться на присоединение и возражать против всякого предложения, клонящегося к учреждению монархии, ссылаясь на то, что эта форма противоречит нравам и обычаям страны.

Императору все это было так же хорошо известно, как и голландским депутатам; но его воля была столь тверда, тщеславие его было так задето, что никакие соображения какого бы то ни было характера не могли помешать ему принудить этих несчастных уполномоченных формально просить согласия Людовика Бонапарта на принятие голландской короны. Людовик, со своей стороны, был вынужден принять ее, и Голландия превратилась таким образом в королевство. Из такого положения для Наполеона могли произтечь только осложнения. Они и в самом деле скоро обнаружались, и притом во множестве.

По прибытии в Гаагу принц Людовик был встречен очень холодно. Он пробыл там сначала очень недолго; призванный вследствие объявления войны Пруссии стать во главе голландской армии в Вестфалии, он начал осаду Гамельна, когда на эту крепость распространилась капитуляция Магдебурга; его кампания этим закончилась. Вернувшись в Амстердам, он направил все усилия на обеспечение независимости Голландии, откуда произтекли бесконечные споры между обоими братьями. Результатом их был очень тяжелый для Голландии договор. Император составил его таким образом, чтобы оскорбить своего брата и побудить его к отречению. Однако раздражение толкнуло Людовика Бонапарта на крайности совершенно другого рода. По внешнему виду он покорился, но немедленно начал переговоры с петербургским и лондонским дворами. Его хлопоты у этих двух дворов не увенчались успехом. Приняв однажды решение не выполнять договора, заключенного им с братом, он подготовился к открытому сопротивлению, воодушевил всю Голландию на войну, возвел укрепления против Франции и не хотел уступить даже силе, которую Наполеон был вынужден применить против него.

Когда его королевство было занято армией, находившейся под командованием маршала Удино, он тайно покинул страну и удалился куда-то в Германию, завещав Голландии всю свою ненависть к брату(5).

Присоединение ее к Франции было следствием его удаления. Благодаря этому император расширил свою империю, но ослабил свои силы, потому что ему приходилось держать наготове армейский корпус для обеспечения верности своих новых подданных. Опасение суровых рекрутских наборов и призывов в караулы перевешивало у них чувство удовлетворения от того, что форт Гельдер сделался одним из морских оплотов французской империи, а Зюдерзее превратился в большую школу мореплавания, в которой должен был обучаться экипаж флота, строившегося Францией в Антверпене. Несколько правительств, смененных Наполеоном в Голландии, бесследно уничтожили там доверие к нему народа и заставили ненавидеть самое имя француза; но наиболее серьезные затруднения, испытанные им в этой стране, выросли там, как мы видели,—и

как это было и в других созданных им государствах,—из его собственной семьи.

Объединение двадцати мелких государств и превращение их декретом Наполеона в Вестфальское королевство, созданное для его брата Жерома Бонапарта, породило новые препятствия для его честолюбивых стремлений. В королевство это, имевшее приблизительно два миллиона жителей, целиком вошли владения курфюрста Гессен-Кассельского. Надо вспомнить, что в этом Гессенском государстве воля государя почти полностью заменяла все учреждения и что народ, не обремененный налогами, еще не стремился к другому роду правления.

Вскоре после своего назначения (это то выражение, которое император хотел ввести в употребление) Жером отправился в столицу своих владений, Кассель. Брат назначил ему род регентства, составленного из Беньо, человека большого ума, Симеона и Жоливе, указаниям коих он должен был следовать. Их портфели были полны всевозможными декретами учредительного характера. Прежде всего они привезли с собой из Парижа конституцию; затем они должны были приспособить к ней судебную, военную и финансовую систему. Первым их мероприятием было новое разделение территории, мгновенно нарушившее без помощи революции все традиции, обычаи и связи, созданные временем. Затем были учреждены префектуры, округа и повсюду назначены мэры. Таким образом в Германию был перенесен из Франции весь механизм управления, причем утверждалось, что это ускорило ее развитие. Когда возложенное на них поручение было исполнено, Беньо и Жоливе вернулись во Францию; Жером Бонапарт поспешил облегчить им возвращение туда. Он оставил Симеона в качестве министра юстиции и царствовал затем один, то есть имел двор и бюджет, или, вернее, женщин и деньги.

Двор организовался сам собой, но уже в первые годы было очень трудно установить бюджет, сильно возросший вследствие больших запасных фондов, составлявшихся из половины аллоидальных имуществ Вестфальского королевства, доход с которых Наполеон отписал в свою казну. Эта династия начала с того, чем другие кончают. Уже со второго года царствования Жерома приходилось всячески изворачиваться. Выхода искали не в соблюдении возможной экономии, а в новых налогах. Вместо тридцати семи миллионов дохода, которые были бы достаточны для покрытия необходимых расходов государства, требовалось свыше пятидесяти миллионов. Поэтому прибегли к средству, вызывающему в народе наибольшее недовольство: был выпущен принудительный заем, который сопровождался, как все такие налоги, многочисленными случаями произвола и не был покрыт даже наполовину. Потребности и расходы возросли, наконец, с тридцати семи миллионов до шестидесяти. Кассельский двор стремился соперничать в блеске с Тюильрийским. Молодой государь дал такую волю своим склонностям, что мне пришлось слышать отзыв серьезного и правдивого Рейнгардта, тогдашнего французского посланника в Касселе, утверждавшего, что, за исключением трех или четырех почтенных по возрасту особ, во дворце не было ни одной дамы, на верность которой его величество не приобрел бы прав; и это несмотря на пристальный надзор прекрасной госпожи Трухзесс и госпожи ла Флеш, которой было также поручено наблюдение за обществом, окружавшим молодого принца Вюртембергского(6).

Роскошь двора, его распущенность и разорение страны вызывали ненависть к Франции и императору, которому все это приписывалось; это недовольство не сопровождалось немедленным взрывом только потому, что свойственная немцам безропотность усиливалась страхом, который внушал тесный союз вестфальского короля с французским колоссом. Как должны были относиться заслуженные университеты Геттингена и Галле, которых государем был Жером, к этой необузданной роскоши, к этой распущенности, столь далекой от простоты, скромных нравов и здравого смысла, отличавших эту часть Германии? Неудивительно, что, когда в 1813 году русские войска вошли в Вестфалию, все отнеслись к этому, как к освобождению. А между тем страна снова попадала под власть того самого гессенского курфюрста, который за тридцать лет до того продавал своих солдат Англии(7).

Здесь следует указать на неуместную роскошь этих дворов, созданных Наполеоном. Роскошь Бонапартов не была ни немецкой, ни французской; это была смесь, в некотором роде искусственная роскошь, заимствованная отовсюду. В ней было нечто торжественное, как в Австрии, и какое-то смешение европейского с азиатским, заимствованное из Петербурга. Она рядилась в тоги, взятые в Риме Цезарей, но зато сохранила лишь очень немного от старинного французского двора, где великолепие отлично скрывалось под очарованием изящного вкуса. Такая роскошь была прежде всего неприлична, а слишком явное пренебрежение приличием всегда вызывает во Франции насмешку.

Род Бонапартов вышел с уединенного, почти не французского острова, где он жил в стесненных условиях; его главой был одареннейший человек, обязанный возвышением военной славе, приобретенной им во главе республиканских армий, которые были сами созданы демократией, находившейся в состоянии брожения. Разве ему не следовало отказаться от старинной роскоши и искать совершенно новых путей даже для легкомысленной стороны жизни? Разве он не представил бы более внушительное зрелище, усвоив благородную простоту, которая внушила бы доверие к его силам и к прочности его власти? Вместо того Бонапарты так заблуждались, что считали ребячливое подражание королям, которых они лишали тронов, верным способом им наследовать.

Мне хотелось бы избежать всего, что может иметь видимость полемики, но, впрочем, мне и не нужно называть имен, чтобы показать, что эти новые династии вредили своими нравами моральному авторитету императора Наполеона. Нравы народа в периоды смуты часто бывают дурны, но мораль толпы строга, даже когда толпа эта обладает всеми пороками. “Люди, развращенные в мелочах,—говорит Монтескье,—бывают в основном очень добропорядочны”. И эти самые добропорядочные люди судят королей. Когда они выносят позорящий приговор, власть особенно недавно возникшая, не может не поколебаться.

Гордость испанцев не позволила этому великому и благородному народу так долго сдерживать свое негодование, как это делали вестфальцы. Оно было порождено вероломством Наполеона, а Жозеф ежедневно со времени своего прибытия в Испанию питал его. Он понял, что дурные отзывы о брате равносильны разрыву с ним и что разрыв с братом означает укрепление в Испании. Этим объясняются его речи и его поведение, бывшее всегда в явной оппозиции к воле императора. Он не переставал твердить, что Наполеон презирает испанцев. Об армии, воевавшей с Испанией, он отзывался, как об отбросах французских войск. Он распространял всякие слухи, которые могли повредить его брату, и доходил до того, что раскрывал постыдные для его собственной семьи тайны, иногда даже в самом государственном совете. “Мой брат знает только одну систему управления,—говорил он,—именно управление железной рукой; для достижения этой возможности он считает пригодными все средства”; и он наивно добавлял: “в моей семье я единственный порядочный человек, и, если бы испанцы сплотились вокруг меня, они скоро могли бы уже не бояться Франции”. Император, со своей стороны, отзывался в таком же неуместном тоне о Жозефе: он подавлял его презрением, которое он обнаруживал также и перед испанцами; под действием раздражения последние начали, наконец, верить их речам, когда они говорили друг о друге. Гнев Наполеона на брата заставлял его всегда уступать в испанском вопросе первому порыву и постоянно приводил его к серьезным ошибкам. Во всех своих действиях оба брата поступали наперекор друг другу; они никогда не могли столкнуться ни по одному политическому проекту или финансовому вопросу, ни по одной военной диспозиции.

Следовало учредить верховное командование, организовать оккупационную и действующую армии, условиться об источниках, из которых можно было бы продовольствовать войска, обмундировывать их и уплачивать им жалование. Все, что могло привести к этой цели, систематически терпело неудачу, потому что Наполеон считался со своими генералами, на которых он привык полагаться; они же всегда—часто даже в личных интересах—прибегали, настаивая на чем-нибудь, к тому банальному

предлогу, что, мол, безопасность армии, которой я имею честь командовать, требует того-то или того-то; нередко же неудачи вызывались личной политикой Жозефа, постоянно стремившегося из оппозиции к своему брату возложить на Францию все военные расходы. Для устранения препятствий к осуществлению его намерений, непрерывно создаваемых Жозефом, император предписал своим генералам сноситься непосредственно с его начальником главного штаба, князем Невшатальским. Они это и делали, и, даже не столкнувшись между собой, а руководствуясь исключительно своими интересами, они во всех своих сообщениях рекомендовали императору отказаться от проекта овладения Испанией для возведения на ее престол члена его семьи; они советовали ему расчленить ее, как Италию, и вознаградить своих храбрых воинов, раздав им там княжества, герцогства, майораты. Мне рассказывали, что герцог Альбуфера, имевший в известном смысле светлую голову, добавлял, что это означало бы возвращение к временам мавританских князей, вассалов западного калифата.

В Кадиксе, откуда слухи расходились по всему королевству, было известно все, что происходило изо дня в день во французских главных квартирах; можно себе представить, какую силу придал сопротивлению Испании страх такого будущего. Поэтому, сколько бы ни побеждали французские генералы, они встречали все новые врагов, и им удалось вполне покорить только местности, сплошь оккупированные французскими войсками; тем не менее и там их коммуникационные линии постоянно перерезались партизанскими отрядами.

Жозеф, со своей стороны, оказывал милости лишь некоторым недовольным императором французам, которые поступили к нему на службу. Эти новоявленные кастильцы пробрались на все придворные, гражданские и военные должности, проникли в государственный совет, с чрезвычайным высокомерием обращались с испанцами, всячески льстили честолюбию короля и никогда не пропускали случая поносить его брата. Ненависть к императору одинаково обнаруживалась в королевском дворце и в зале хунты в Кадиксе.

Каков мог быть исход предприятия, руководители которого были в открытой вражде друг с другом и которое подрывалось систематическим отзывом войск, уже успевших свыкнуться с новыми условиями, потому что они требовались то против Австрии, то против России и заменялись в таких случаях несчастными рекрутами?

Император, к которому в Ваграме вернулась удача, временно покинувшая его в Лебау, убедил себя в том, что покорение Испании последует за миром, продиктованным им в Вене, но ничего подобного не осуществилось. Мир этот не оказал никакого влияния на дела испанского полуострова; воспользовавшись предоставленным ей временем, Испания усилила сопротивление, поднявшее голову по всей стране. Наполеон решил тогда, что требуется большое напряжение сил, которые он применил, однако, совершенно неправильно. Он исходил из ложной идеи, полагая, что легко справится с испанцами, если выгонит из Португалии лорда Веллингтона. Маршал Массена употребил для этой операции громадные силы, но она осталась бесплодна, и даже успех ее не привел бы в сущности ни к чему. Вооруженный испанский народ поднялся в своей массе, которую приходилось покорять. Даже если бы императору удалось подавить вооруженное сопротивление, на многие годы сохранилось бы глухое недовольство, уничтожение которого всего труднее.

До известной степени предоставленный благодаря другим предприятиям своего брата самому себе и своим собственным силам, Жозеф понял, наконец, что его истинным врагом является народ. Тогда он приложил все усилия, чтобы привлечь его на свою сторону. Его министры стали распространять памфлеты, полные всевозможных обещаний: Жозеф стремится, мол, к освобождению испанцев, он передаст на рассмотрение самых просвещенных людей конституцию, приноровленную к нравам страны; он обещает провести большую экономию и значительное уменьшение налогов. В своих воззваниях он прибегал ко всем революционным методам. Для уничтожения их

действия кадикские кортесы начали соперничать с Жозефом в либерализме и пошли во всех вопросах дальше него. Издававшиеся в Кадиксе декреты только и говорили об уничтожении инквизиции, феодальных прав, привилегий, внутренних таможен, цензуры над газетами и т. д... Среди всех этих развалин была создана демократическая конституция, впрочем с наследственным королем, чтобы не слишком отпугнуть друзей монархии. Но никакой король не мог бы вступить на подобный трон, сохраняя свое достоинство или хотя бы только не жертвуя своей безопасностью. Кадикские кортесы поступили бы осторожнее, восстановив основные законы Испании, так искусно разрушенные и затем окончательно отмененные королями австрийской династии.

В разгар всех этих интриг в Испанию вступил лорд Веллингтон; он отнял Бадахоз у герцога Далматского и Сиурдад— Родриго у герцога Рагузского. Овладев этими двумя подступами к Испании, находящимися на крайнем севере и юге ее границы с Португалией, английский генерал ловко обманул герцога Далматского, внушив ему уверенность, что он намеревается идти в Андалузию, тогда как на самом деле он направился на р. Дуэро вблизи Вальядолида. Со своей стороны, герцог Рагузский принял сражение у деревни Арапил, не дожидаясь подкрепления в пятнадцать тысяч человек, бывшего уже на близком расстоянии от него, и, явившись на поле сражения, он получил тяжелое ранение. Армия, оставшаяся без начальника, понесла после первого же выстрела жестокое поражение. Лорд Веллингтон, продвинувшийся в результате своих удач слишком далеко на север, не поколебался, сохраняя свою всегдашнюю осторожность, вернуться назад в Португалию; оттуда его заставили снова выйти бедствия знаменитого русского похода, которые вынудили императора Наполеона призвать к себе лучшие войска, оставшиеся в Испании.

Первое же известие об этих неудачах увеличило беспорядок, который поддерживали вокруг Жозефа многочисленные непокорные начальники; следствием этого был роковой проигрыш сражения у Витории. Герцог Далматский, спешно отправленный в Испанию, пытался собрать остатки армии. Он произвел искусные передвижения войск, но вопрос сводился уже только к защите южных провинций Франции. Так закончилась эта попытка великого завоевания Испании, столь же плохо руководимого, как и коварно задуманного; говоря о плохом руководстве, я имею в виду не только генералов Наполеона, но и его самого, так как он тоже совершил в Испании серьезные военные ошибки. Если бы он двинулся в конце 1808 года, после капитуляции Мадрида, в Андалузию и нанес там Испании сильный удар вместо того, чтобы ринуться в погоню за английским корпусом, спешившим в Корогну грузиться на суда и которому он причинил лишь очень малый урон, то он бы уничтожил сопротивление испанских генералов, и у них бы не оставалось другого выхода, как уйти в Португалию.

Потеряв однажды из виду истинные интересы Франции, император необдуманно, со всем пылом своей страсти отдался честолюбивому желанию возвести еще одного члена своей семьи на один из первых тронов Европы; для достижения этого он бесстыдно напал на Испанию, не имея к тому ни малейшего предлога, чего народы с их строгим понятием честности никогда не прощают. Изучая все действия или, вернее, все побуждения Наполеона в этот столь важный для его судьбы период, начинаешь верить, что он был влеком роком, ослеплявшим его высокий ум.

Даже если бы император рассматривал испанскую кампанию только как средство принудить Англию к заключению мира, разрешить все сложные политические вопросы, нависшие тогда над Европой, и твердыми гарантиями обеспечить за каждым государем его владения, то все же это предприятие не заслуживало бы более снисходительного к себе отношения, но по крайней мере оно бы больше походило на дерзкую политику завоевателя. Я встречал нескольких лиц, которые не знали его и, имея, подобно нашим старым дипломатам, ум, склонный к теоретической оценке событий, предполагали у него такие намерения. В самом деле, так как байонское соглашение могло быть уничтожено по желанию сторон, то было естественно рассматривать его как принесение жертвы, которая

при правильном выборе для нее времени была бы полезна для общеевропейского мира; но после апреля 1812 года любители политических комбинаций должны были отказаться от этой гипотезы, потому что Наполеон отклонил тогда предложение английского кабинета; последний заявил, что не видит никаких непреодолимых трудностей для заключения с императором соглашения по всем спорным вопросам при условии его предварительного согласия на восстановление Фердинанда VII на испанском троне, а Виктора Амедея на троне Сардинии. Если бы он принял эти предложения, он бы приобрел за свои жертвы большие права, и все кабинеты могли бы поверить, что он вторгся в Испанию лишь в надежде обеспечить этим для Франции прочный мир и укрепить свою династию.

Но Наполеон уже давно перестал интересоваться политическими целями Франции и мало размышлял над своими собственными задачами. Он желал не сохранения, а расширения. Казалось, что забота об удержании приобретенного никогда не посещала его ум и что по своему характеру он отвергал ее.

Тем не менее те меры, на которые он не умел решиться в то время, когда они могли быть полезны, он был вынужден принять, когда было уже слишком поздно и когда это стало бесцельно для его власти и славы. Возвращение членов испанского королевского дома в Мадрид в январе 1814 года и возвращение в то же время папы в Рим было лишь мерой, внушенной отчаянием; быстрота, с которой были приняты и проведены эти решения, и тайна, которой они были окружены, лишили их престижа, создаваемого величием и великодушием. Но я перехожу к вопросу о возвращении папы в его государство, в то время как до сих пор в моем рассказе не было уделено места нашим отношениям с римским двором. Между тем это настолько замечательное событие нашей эпохи, что я должен привести здесь его подробности.

Разногласия, возникшие между Наполеоном и римским двором вскоре после заключения конкордата 1801 года, обострились после помазания Наполеона, хотя оба эти события должны были бы их предупредить. Разногласия эти были известны в течение долгого времени только благодаря молве об оскорблениях, нанесенных императором папе, и вследствие благородных сетований святейшего отца, в очень неотчетливой форме и лишь с большим трудом доходивших до публики. Возникновение этих разногласий и их причины в той части, которая касалась чисто богословской их стороны, могли бы быть правильно оценены церковным советом, созванным Наполеоном в Париже, о чем я скажу дальше. Но деятельность этого совета, составленного из весьма просвещенных людей, держалась в тайне.

Каков был ход событий, приведший к гонению на папу и преследованию его, проводившемуся в течение почти десяти лет с такой ненавистью, так неполитично и столь разнообразными способами?

Обратимся к фактам и датам, начав немного издалека. Некоторые из этих дат объясняют великие невзгоды Пия VII, перенесенные им со столь героическим мужеством, что едва дерзаешь указать на известную непредусмотрительность святейшего отца.

Его предшественник, Пий VI, удаленный из Рима по приказу Директории от 10 февраля 1798 года, умер в Балансе 21 августа 1799 года. Пий VII был избран 14 марта 1800 года в Венеции, принадлежавшей тогда, согласно одной из статей договора, заключенного в Кампо-Формио, германскому императору; 3 июля того же года он совершил въезд в Рим, отвоеванный обратно союзниками вместе с Церковной областью в то время, как Бонапарт был в Египте.

Я уже говорил в другом месте, что по возвращении из Египта Бонапарт неожиданно явился 16 октября 1799 года в Париж и что в результате государственного переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 года) он стал 13 декабря 1799 года во главе правительства в качестве первого консула. Конклав открылся в Венеции 1-го числа того же самого декабря и, пока Пий VII, избранный в марте следующего года, совершал переезд из Венеции в Рим, Бонапарт отметил принятие им власти двумя событиями, имевшими громадное влияние на судьбу Италии. 2 июня 1800 года он вступил в Милан, где он восстановил

Цизальпийскую республику, а через двенадцать дней, 14 июня, он выиграл знаменитое сражение при Маренго, давшее Франции значительную часть Италии и сократившее Церковную область до тех границ, какие были для нее определены Толентинским договором.

Таким образом, вступая в Рим после этих двух событий, 3 июля 1800 года, папа должен был понимать, сколь важно для него было снискать расположение такого могущественного покровителя и столь опасного врага, как Бонапарт; он должен был понимать, как важно было для религии, которой он был главой и которая испытала во Франции такие превратности и гонения, прекращение междоусобия, уже столько времени раздиравшего эту несчастную страну.

Бонапарт понимал эту потребность, и, находясь проездом в Милане, он с величайшим интересом отнесся к первым предложениям, сделанным ему весьма секретно и очень искусно римским двором. Разве не удивительно, что Бонапарт, поставленный во главе правительства своими военными подвигами и господствовавшими тогда философскими или освободительными идеями, немедленно почувствовал необходимость сближения с римским двором? Вероятно, именно в этом деле он дал величайшее доказательство силы своего характера, так как он сумел пренебречь всеми насмешками армии и даже противодействием своих коллег, обоих консулов. Он продолжал твердо держаться той мысли, что для поддержания гражданского устройства духовенства и теизма, которые потеряли общее сочувствие, пришлось бы принять на себя роль гонителя католической религии и действовать против нее и ее служителей по всей строгости законов; между тем, отказавшись от религиозных новшеств революции, ему было легко превратить нашу древнюю религию в своего друга и даже найти благодаря ей опору у французских католиков.

Поэтому он решил — и это одно из проявлений его великого гения — заключить соглашение с главой церкви, который один мог согласовать и сблизить культ с доктриной, вынести в качестве судьи и повелителя решение в их споре и, наконец, восстановить их единство своим авторитетом, с которым ничто не могло сравниться.

К этому авторитету прибавилось в лице папы влияние серьезного и искреннего благочестия, большой просвещенности и обаятельной мягкости.

Конкордат, весьма желанный, особенно в провинциях, не мог быть заключен при более благоприятных предзнаменованиях; 8 апреля 1802 года он превратился в закон. Он состоял из семнадцати статей, обнаруживавших удивительную мудрость и предусмотрительность. Все в нем было ясно, точно, ни одно слово не могло задеть или быть кому-либо неприятно. На отчужденные церковные имущества не могли быть более заявлены никакие требования, и было указано, что лица, приобретшие такие имущества, должны быть в этом отношении совершенно спокойны. Эта очень важная уступка была получена благодаря снисходительности папы, преисполненного благочестия.

Но один вопрос представлял необычайные трудности. Для восстановления во Франции культа нужно было добиться от всех старых епископов сложения сана или же обойтись без них. Все они предложили отречься и в 1791 году, когда было введено гражданское устройство духовенства, даже вручили заявление об этом Пию VI, который счел нужным отказать им в своем согласии. В 1801 году папа Пий VII потребовал у них в своем послании от 24 августа, начинавшемся словами “*Tammulta*”, сложения сана, как обязательного предварительного условия всяких переговоров; он объявлял, впрочем, в мягких, дружеских, но твердых выражениях, что в случае отказа, о котором он не допускает и мысли, он будет, к своему собственному сожалению, вынужден назначить для управления недавно разграниченными епископствами вновь облеченных этим саном епископов.

Из восьмидесяти одного еще живого и не отказавшегося от кафедры епископа сорок пять пастырей послали заявления о сложении с себя сана, тридцать шесть отказались сделать это; большинство последних руководствовалось, я полагаю, не столько



религиозными убеждениями, хотя они и получили в своем отказе поддержку ученого богослова Асселина, сколько преданностью династии Бурбонов и ненавистью к существующему правительству. Многие утверждали тогда, что отказ некоторых из них означал скорее, отсрочку и не имел безусловного значения, но тем не менее все они упорно его держались, и самое их сопротивление с каждым днем усиливалось; после их канонического протеста в 1803 году, подписанного всеми не сложившими с себя сана епископами(8), в апреле 1804 года появилась *декларация о правах короля*, подписанная тринадцатью епископами, имевшими местопребывание в Англии, а за ней последовали другие, еще более резкие протесты. Наконец, забегаая вперед, я напомним здесь, что в 1814 году, когда Людовик XVIII вступил на престол, эти епископы надеялись поставить себе в заслугу перед самим папой то, что они ему противодействовали, и написали ему в таком смысле высокомерное письмо, в котором каждый из них титуловал себя по своему прежнему епископству. Папа отказался принять его, и, настаивая на своем отказе, он заставил их обратиться к нему с извинительным письмом; они отступились в нем от своих притязаний и подписали его как бывшие епископы. Чтобы на этот счет не оставалось никаких сомнений, папа не допустил возвращения ни одного из них на их прежние кафедры и не сделал исключения даже для реймского архиепископа(9), несмотря на все имевшиеся к тому основания.

Но я возвращаюсь к событиям 1801 года и последующих лет. Папа видел полное осуществление конкордата без каких бы то ни было осложнений для Франции; несмотря на существовавшие разногласия, противодействие было несерьезно, возникало редко и не имело последствий.

Нужно, однако, сказать, что в этом вопросе Пий VII проявил властность, выходящую из обычных рамок, и если бы в другое время какой-либо папа попытался воспользоваться такой властью, он встретил бы противодействие: именно Пий VII без суда сместил епископов и уничтожил во Франции без соблюдения формальностей более половины всех епископств. В другую эпоху было бы признано, что это находится в полнейшем противоречии с правами галликанской церкви. Но в данном случае не могло быть сравнения с нормальными временами; было немыслимо и казалось бы смехотворным ссылаться на эти права и требовать их применения. Папа бесплодно истощил перед этим меньшинством из тридцати шести епископов самые убедительные доводы, а затем, опираясь на большинство французских епископских кафедр, он прибег к *единственному* возможному средству для уничтожения раскола, с которым настоятельно нужно было покончить. В самом деле, какое другое средство мог применить папа? Как ни искать, его нельзя себе даже представить. Аббат Флери, ревностный приверженец галликанской церкви и, конечно, весьма мало склонный расширять власть папы, говорит, однако, в своей речи о *правах галликанской церкви*, что, когда дело касается соблюдения правил и канонических постановлений, “власть папы *верховна и возвышается над всем*”. Боссюэ говорит примерно то же самое: “Нужно сказать, следовательно, с еще большим основанием (добавляет в одной из своих работ Эмери), что власть папы верховна и возвышается над всем, даже над каноническими постановлениями, когда дело касается сохранения церкви или значительной ее части, потому что канонические правила и постановления созданы только для *поддержания* этих великих интересов”. Отец Томассен также говорит в своей известной большой работе о дисциплине в церкви: “Ничто не соответствует в такой степени каноническим постановлениям, как нарушение их, когда из этого нарушения должно проистечь большее благо, чем из самого их соблюдения”.

Итак, в этом сложном вопросе Пий VII обнаружил одновременно твердость характера и глубокое знание истинных начал. Он уничтожил раскол, не раздражая, не оскорбляя епископов, принявших гражданское устройство, и, не уступив ни в одном пункте, он тем не менее в результате восстановил всюду спокойствие.

Все же в епархиях, в которых прежние епископы не сложили с себя сана, многие были смущены. Сохранив за собою свою юрисдикцию, некоторые из таких пастырей

согласились, однако, на исполнение их обязанностей заменявшими их епископами, чем была восполнена недостаточность прав последних. Но те, которые по своим политическим взглядам были наиболее враждебны революции в самом ее принципе и которыми это чувство владело безраздельно, оказали самое сильное противодействие и не подумали дать такого согласия. Это упорное сопротивление не привело, впрочем, ни к тому результату, ни к тем последствиям, на которые они рассчитывали и которых им следовало бы опасаться. Те прихожане их епархий, совесть которых была особенно боязлива, испытывали, может быть, в течение короткого времени беспокойство; они не замедлили, однако, понять, что так как их прежний епископ не желает явиться к ним или сложить с себя по требованию папы сан, то они безусловно не заслуживают упрека, оказывая в подобных обстоятельствах доверие новому епископу, присланному к ним папой.

Епископы, оставшиеся в Лондоне, конечно, со скорбью наблюдали, как люди, проникнутые их доктринами, подобно аббатам Бланшару и Гаше, доводили до крайностей выводы (однако довольно правильно сделанные) из них, издавали в Англии и ввозили во Францию множество пасквилей на папу, в которых они неистовым стилем, казавшимся заимствованным у Лютера, объявляли его еретиком, схизматиком, отрешенным от папства и даже от священства; они говорили, что одно произнесение его имени во время обедни является кощунством, что он такой же чужой для церкви, как еврей или язычник; они твердили о его преступлениях, о зрелище соблазнов и т. д... Я не изменяю ни одного слова. Будем верить, к чести епископов, составлявших то, что называлось тогда *малой церковью*, что при всей их оппозиционности они не одобряли это безумное исступление, хотя оно и предназначалось, по-видимому, для них. Впрочем, оно было торжественно осуждено двадцатью девятью ирландскими католическими епископами и лондонскими викариями. Нужно добавить, что во Франции, где эти пасквили распространялись, они получили надлежащую оценку во всеобщем пренебрежительном к ним отношении. Кажется, полиция передала или намеревалась передать дело о них суду, но даже это не помогло им выйти из полной безвестности.

Одновременно с конкордатом Бонапарт издал в форме закона *органические статьи*, распространявшиеся на католическое и на протестантское духовенство. Некоторые из этих статей вызвали недовольство папы, поскольку они, по-видимому, ставили французскую церковь в слишком большую зависимость от правительства даже в вопросах второстепенного значения. Он сдержанно возражал против этого, просил внести исправления и постепенно добился, даже без большого труда, существенных изменений. Впрочем, некоторые из этих статей были временными и действие их должно было кончиться вместе с обстоятельствами, вызвавшими их введение. Другие естественно вытекали из старинных прав галликанской церкви; на их изменение нельзя было согласиться, и папе не следовало бы на это надеяться. Для заключения конкордата пришлось временно отказаться от этих прав, но, когда цель была достигнута, следовало немедленно восстановить наши привилегии. Все, что действительно требовалось, было дано, если не сразу, то по крайней мере с течением времени. Папу, как это будет видно дальше, вполне поддерживал в его стремлениях нантский епископ и папский посол, кардинал Капрара. Последний знал характер Наполеона, и все его поведение отличалось большой рассудительностью и чрезвычайной умеренностью; он умел достигать, боялся раздражать и был слишком доволен тем, чего удалось добиться, чтобы подвергать эти достижения опасности.

Кардинал Капрара, назначенный папским послом при Бонапарте, имел самые широкие полномочия, данные ему буллой "Dextera..." от августа 1801 года и буллой "Quoniam..." от 29 января того же года, для проведения конкордата, возведения в сан новых епископов и устранения всех затруднений, которые могли бы возникнуть. Но, хотя конкордат был заключен и подписан в Париже 15 июля 1801 г. и утвержден Пием VII в августе, он был обращен в закон (вследствие того, что раньше этого срока не собрался законодательный корпус) лишь 8 апреля 1802 года; только с этого дня, принеся тогда же (8 апреля) присягу

лично первому консулу, папский посол мог приступить к своим обязанностям и возводить в сан новых епископов. В его присяге можно было установить заметную, правда, только для очень опытного глаза, небольшую разницу между тем, что предписывалось постановлением консулов, и теми выражениями, которые он употребил. Постановление гласило кратко: “Он поклянется и обещает согласно обычной формуле сообразоваться с законами государства и с правами галликанской церкви”. Между тем кардинал *покаялся и обещал* (по-латыни) соблюдать конституцию, законы, уставы и обычаи Французской республики и в то же время “ни в чем не действовать вопреки власти и юрисдикции правительства республики, как и правам, свободе и привилегиям галликанской церкви”. Все этому предшествовало торжественное обращение к первому консулу, с каким не обращались, вероятно, ни к одному монарху. При ближайшем ознакомлении нельзя не обратить внимания на то, что вместо обещания *сообразоваться с правами галликанской церкви* (что означает известное присоединение к ней или по крайней мере признание этих прав) он дал только обещание ни в чем не действовать вопреки им, имевшее чисто отрицательное значение. Впрочем, разница в отношении результатов ничтожна или, вернее, ее вообще не было, так что на этом можно было бы не останавливаться. Кроме того, в другой части своей присяги он обещал больше того, что от него требовалось, и вместо того, чтобы поклясться сообразоваться с *законами* государства, он дал более определенную положительную клятву в соблюдении *конституции, законов, уставов и обычаев* республики.

Что касается прав галликанской церкви, которые пугали римский двор, то все, чего можно было ждать от папского посла, это именно обещания под присягой не действовать вопреки им, особенно если вспомнить, что никогда ни один папа их не признавал. Иннокентий XI (Одескалки) в течение восьми лет потрясал порядок во французской церкви вследствие этих же самых прав, подтвержденных на съезде духовенства 1682 года(10). Он упорно отказывал в своей булле второстепенным духовным лицам, которые были членами этого съезда (впрочем, без права решающего голоса). Его преемник Александр VIII (Оттобони) был еще более упорен в своих отказах, и за два дня до смерти он издал буллу против четырех пунктов, принятых в 1682 году, которая не имела, однако, последствий в виду того, что он издал ее, уже умирая. Иннокентий XII (Пиньятелли) не мог при всем своем благодушии решиться дать буллы епископам, назначенным в период с 1682 по 1693 год, пока они не написали ему извинительного письма с выражениями сожаления по поводу того, что произошло на этом съезде. Упомянутое письмо было в самом деле унижительно, и это особенно усугублялось тем обстоятельством, что Людовик XIV приложил к нему собственноручное письмо, в котором он обещал не применять своего эдикта от 22 марта 1682 года. Письмо короля должно было казаться отречением от собственных действий; однако он отверг его перед своей смертью; в конце концов эдикт не был отменен и продолжал осуществляться при его преемнике.

Можно не напоминать здесь, что Бонапарт, провозглашенный сенатом 20 мая 1804 года императором, придавал большое значение помазанию его папой. То, что ему удалось этого достигнуть, было чудом его судьбы, и в то время я был очень счастлив, что способствовал ему потому, что полагал, что благодаря этому узы, связывавшие Францию с римским двором, станут теснее. Пия VII, уже признавшего консульство, так как он вел с ним переговоры о конкордате, не удерживала мысль о правах, которые могли быть заявлены в один прекрасный день династией Бурбонов, если бы в случае гибели нового правительства страна призвала ее. Он не имел, следовательно, никаких возражений против императорского титула, который Бонапарт себе присвоил или который Франция дала ему с большей торжественностью, хотя, может быть, с меньшей искренностью, чем в свое время звание первого консула. Папе приходилось решать только один вопрос: именно, следовало ли ему в интересах религии, которой новый император мог при своей громадной власти сделать столько добра или зла, отправиться во Францию для его помазания, как св. Бонифаций, посол папы Стефана III, явился для помазания Пипина еще

при жизни законного короля Хильдерика III, как Лев III короновал Карла Великого императором в Риме в 800 году и как другой папа, Стефан IV, явился затем после смерти Карла Великого в Реймс для помазания Людовика Благочестивого.

Папа решил отправиться в Париж для совершения помазания, и эта памятная церемония произошла 2 декабря 1804 года. Пий VII руководствовался в данном случае не мирскими соображениями, как папа Стефан III, призывавший Пипина на помощь против лангобардов, но — безусловно и исключительно — чисто религиозными побуждениями; он воздержался даже от выражения столь естественного желания возратить себе свои три провинции — Болонскую, Феррарскую и Равеннскую, которые император, впрочем, и не подумал ему предложить и на возвращение которых он даже не подал ему надежды. Все без малейшего исключения требования папы преследовали интересы религии. Ни одно из них не касалось лично его, и он отверг подарки, которые ему предложили для его семьи.

Он покинул Париж 4 апреля 1805 года, оставляя всюду на своем пути глубокое впечатление своими достоинствами и добротой. Наполеон отбыл из Парижа за несколько дней до него; его занимали совершенно иные помыслы, и он не думал выражать признательности святейшему отцу. Папа прибыл в Рим 16 мая, а 26 мая император короновался в Милане королем Италии. Вскоре затем его войска занимают на территории папского государства Анкону. Папа протестует, Наполеон ему не отвечает, но после Аустерлицкого сражения, происшедшего 2 декабря 1805 года, и Пресбургского мира, заключенного 26 декабря, он пишет папе 6 января 1806 года, что он не хочет присвоить себе Анкону, а лишь занял, как защитник папского престола, этот город, чтобы он не был осквернен мусульманами.

Через три месяца после этого, 30 марта 1806 года, Наполеон возводит своего брата Жозефа на неаполитанский престол и просит у папы признания его. Почти одновременно он предлагает ему заключить с ним, императором, наступательный и оборонительный союз и примкнуть к континентальной системе, следовательно, закрыть свои порты для англичан, или, иными словами, объявить им войну. Сделанные в то самое время, когда император попирает конкордат, заключенный им в 1803 году с папой относительно Италии, когда он отнимал имущества у епископских кафедр и монастырей, по своему усмотрению уничтожая те и другие, когда он терзал епископов и священников новыми присягами, подобные предложения не могли быть и не были приняты. Они дали повод для переписки с французскими властями, в которой со стороны римского двора было проявлено много настойчивости, рассудительности и достоинства.

Подобный отказ и такая рассудительность не могли не раздражать императора. 2 февраля 1808 года он занял своими войсками под командованием генерала Миоллиса Рим. Они захватывают замок св. Ангела. Генерал хочет заставить папу под угрозой потери им своего государства согласиться на все предъявленные ему требования; он изощряется в притеснении его, захватывает почту, типографии, велит арестовать двадцать кардиналов, среди которых насчитывается несколько министров, и т. д....

Папа напрасно протестует против этих насилий. Наполеон с ним не считается. 2 апреля он присоединяет к Итальянскому королевству легации — Урбинскую, Анконскую, Мачератскую и Камеринскую — с тем, чтобы превратить их в три департамента. Он конфискует имущество кардиналов, не желающих отправиться на родину. Он разоружает почти всю стражу св. Петра и подвергает аресту дворян, служащих в ней. Наконец Миоллис арестовывает кардинала Габриелле, замещающего государственного секретаря, и опечатывает его бумаги.

17 мая 1809 года Наполеон издает декрет, датированный в Вене, которым он (в качестве преемника Карла Великого) объявляет о присоединении Церковной области к Французской империи и постановляет, что Рим будет свободным имперским городом, что папа сохранит там свою резиденцию и будет получать два миллиона франков дохода. 10 июня он публикует упомянутый декрет в Риме. В тот же день папа заявляет протест против этого грабежа и отказывается от всякой пенсии; перечисляя все допущенные

насилия, он издает знаменитую неосторожную буллу об отлучении от церкви виновников, пособников и исполнителей насилий, совершенных в отношении него и папского престола, никого, однако, не называя по имени.

Наполеон был возмущен и, следуя своему первому порыву, написал французским епископам письмо, в котором отзывался почти в революционных выражениях “о том, кто хочет, — говорил он, — поставить вечные цели совести и всех духовных дел в зависимость от преходящих мирских забот”.

Увезенный из Рима после того, как он был спрошен о том, согласен ли он отказаться от светской власти Рима и от Церковной области, Пий VII был 6 июля 1809 года доставлен генералом Раде до Савоны, куда он въехал один 10 августа, так как все кардиналы были еще раньше перевезены в Париж.

Для довершения насилий, учиненных над папой, Наполеон опубликовал 17 февраля 1810 года сенатское решение, дававшее старшему сыну императора титул римского короля и постановлявшее сверх того, что император будет вторично помазан в Риме до истечения первых десяти лет своего царствования.

Угнетенный, плененный и лишенный своих советников, папа отказывал в булле всем епископам, назначенным императором; тогда-то и начались споры о способах прекращения вдовства церкви.

### **Церковный совет, созданный в 1809 году**

Этот совет составил из кардинала Феша, кардинала Мори, архиепископа турецкого, епископа нантского, епископа эвреского, епископа трирского, епископа версельского, аббата Эмери, настоятеля семинарии св. Сульпиция, и отца Фонтана, генерала варнавитского ордена.

Правительство задало ему три ряда вопросов: первый касался того, что интересовало все христианство; второй интересовал преимущественно Францию; третий — германскую и итальянскую церкви и относился к булле об отлучении.

В введении, предшествующем ответам совета на поставленные правительством вопросы, прежде всего обращают на себя внимание следующие слова: *“Глубокое почтение, которое мы испытываем к вашему величеству, мы не отделяем от сочувствия, преданности и любви, вызываемых в нас современным положением римского папы... Все духовное благо, которое мы можем ждать от исхода наших совещаний, находится целиком в руках вашего величества... и мы дерзаем надеяться, что вы вскоре приобретете эту славу, если удостоите внимания наши желания и ускорите сближение между вашим величеством и святейшим отцом, обеспечив полную свободу папе, окруженному своими естественными советниками, без которых он не может ни общаться с церквами, порученными его заботе, ни разрешить ни одного серьезного вопроса, ни позаботиться об удовлетворении потребностей католичества”*.

Мне понятна вся осторожность членов этого совета в отношении императора в виду опасений раздражить и толкнуть его на еще более решительные меры, то есть на полный разрыв с папой, который повлек бы за собой раскол во французской церкви. Но я не в состоянии постичь, почему они не приложили больше усилий к тому, чтобы убедить его, что прежде, чем упрекать папу, следовало по крайней мере предоставить ему ту степень свободы, которую он сам признал бы необходимой для выдачи булл, и, следовательно, спросить его, какие условия он считает для этого обязательными. Папа не решился бы заявить, что ему прежде всего нужен Рим и поместье св. Петра; ложность такого заявления была бы слишком очевидна, несмотря на всю естественность его страстного желания их возвращения и его непрерывных протестов против насилия, при помощи которого у него были отняты его владения. Он бы, конечно, ограничился требованием предоставления ему известного числа кардиналов и секретаря и возвращения бумаг... Если бы он требовал больше или если бы по удовлетворении его первой просьбы он продолжал

отказывать в буллах, тогда ответы совета были бы справедливы и уместны; но это обязательное условие не было выполнено, на папу оказывалось давление при помощи доводов, которые могли бы иметь силу лишь в том случае, если бы удалось установить, что его отказ вызывается просто нежеланием давать буллы; все это, принимая во внимание положение, в котором находился папа, очень ослабляло соображения совета, которые могли быть весьма убедительны при других условиях, но должны были казаться при создавшемся положении софизмами, сдобренными недоброжелательством и даже вероломством.

До созыва совета и начала его совещаний император сделал несколько попыток преодолеть противодействие папы. Он передал ему через кардинала Капрара в письме от 20 июля 1809 года, написанном кардиналом (который оставался в Париже, хотя и не был уже папским послом) папе в Савону, что император согласен, чтобы его имя и даже его право назначения не упоминались в буллах и чтобы последние выдавались по простому заявлению государственного совета или министра по делам вероисповеданий. На это папа ответил 26 августа, что так как государственный совет и указанный министр тоже являются орудиями императора, то это равносильно признанию права императора производить назначения и предоставлению ему возможности осуществлять это право, чего он не желает.

Почему он не желал признать это право? Было ли причиной того отлучение? В таком случае он проявлял мало обоснованное раздражение и сам обнаруживал свою неправоту. Зачем же император принес эту жертву? Не лучше ли было бы, чтобы он ничего не предпринимал и, предоставив папе достаточную свободу, ждал ее результатов?

1810 год не только не внес облегчения в положение папы и не дал ему согласно желаниям церковного совета и возносимым им молитвам свободы, но, наоборот, ухудшил его положение и усугубил суровость его плена.

В самом деле, 17 февраля 1810 года было опубликовано сенатское решение о присоединении Церковной области к Французской империи, провозглашавшее независимость императорского трона от всех властей на земле и уничтожение светской власти пап. Это сенатское решение назначало папе известное содержание, но определяло вместе с тем, что он должен принести присягу в том, что не будет действовать вопреки четырем статьям 1682 года. В тот же самый день появляется другое сенатское решение, дающее старшему сыну императора титул римского короля и определяющее, что император будет вторично помазан в Риме на царство.

Все эти постановления были враждебны и вызывающи в отношении папы. Ему не предоставлялись даже право и возможность протестовать против них. Как же он мог считать себя свободным в остальном? Данное пленному папе в форме сенатского решения повеление принести присягу в том, что он не будет действовать вопреки четырем статьям 1682 года, должно было в высшей степени раздражить его; оно было явно недопустимо, особенно в такой высокомерной форме. Папа мог, впрочем, утешиться и даже порадоваться, узнав, что от принесения такой присяги будет зависеть предлагаемая ему оскорбительная пенсия, что и внушило ему его благородный апостолический ответ: *он нисколько, мол, не нуждается в этой пенсии и будет жить от милостыни верующих.*

Нужно сказать все до конца. Несмотря на свое пленение в Савоне, святейший отец ответил в 1809 году на письма девятнадцати епископов, просивших у него *чрезвычайных полномочий* для допущения изъятий из постановлений о браке, и удовлетворил их просьбу. 5 ноября 1810 года он опубликовал, поскольку это было в его средствах, свое послание против кардинала Мори и отправил его в ответ на сообщение кардинала о назначении его парижским архиепископом. В ожидании булл об инвеституре кардинал принял на себя управление епархией, вверенной ему архиепископским капитулом. В своем послании папа упрекал его в забвении святого дела, которое он некогда так хорошо защищал, в нарушении присяги, в том, что он оставил свою кафедру в Монтефиасконе и принял на себя управление кафедрой, которая не могла быть ему поручена. Он *повелевал*

ему отказаться от нее и не вынуждать его к принятию против него мер согласно церковным канонам. Это послание, вызвавшее много шума, было причиной опалы, разразившейся 1 января 1811 года над аббатом Астросом, который сообщил о послании своему родственнику, а затем — опалы этого родственника, Порталиса-сына, который от Астроса узнал о нем.

Нельзя отрицать того, что папа обнаружил тут некоторую непоследовательность: иметь возможность опубликовать послание против кардинала Мори, иметь возможность ответить на девятнадцать писем епископам, просившим у него полномочий, и предоставить им просимое, и не иметь возможности за недостатком свободы выдавать буллы об инвеституре, чтобы прекратить продолжительное вдовство стольких церквей,— последовательно ли это?

Эти соображения подкрепляются еще двумя другими обстоятельствами.

В конце 1810 года император назначил на флорентийское архиепископство нантского епископа Осмонда; Пий VII объявил в послании от 2 декабря 1810 года, что этот епископ не может управлять флорентийской епархией, причем он основывался на постановлениях второго Лионского и Триентского соборов, которые, по правде сказать, не были применимы к данному случаю. Флорентийский капитул подчинился решению папы, что вызвало в городе беспорядки. Наполеон назначил на астийское епископство некоего Дежана; последовало другое послание папы, предлагавшее капитулу не вручать ему управления.

Император, убедившись, что папа хочет ограничить его власть, прибегнул тогда к насилию.

1 января 1811 года разразилось дело аббата Астроса, который был арестован при выходе из Тюильри. Парижский капитул лишил его власти великого викария и воспользовался этим случаем, чтобы написать, вероятно с ведома кардинала Мори, письмо императору; он устанавливал в нем право капитула замещать вакантные кафедры и вручать назначенному епископу все капитульские права, то есть епископскую юрисдикцию; для доказательства он ссылался на обычаи времен Людовика XIV, подкрепленные даже, как он говорил, советами Боссюэ, чего он, однако, не мог доказать. Письмо это, посланное во все французские и итальянские епархии, вызвало множество заявлений о присоединении к нему как в Италии, так и во Франции епископов и капитулов, поддержавших эту доктрину.

Опубликование всех упомянутых мною папских посланий не только не расположило императора к тому, чтобы предоставить папе больше свободы, а, наоборот, убедило его в том, что ему было дано ее слишком много, раз он ею так злоупотреблял. 7 января 1811 года был отдан приказ произвести в его покоях тщательный обыск; было обыскано все вплоть до его стола, бумаги его и его приближенных были отправлены в Париж. Среди них нашли, как говорили, послание, дававшее кардиналу Пьетро чрезвычайные полномочия. Тогда его лишили перьев, чернил, бумаги. Его разлучили с его камермейстером и духовником, прелатом Дориа, лишили всякого общения с савонским епископом, захватили бумаги последнего и увезли его самого в Париж.

Папе оставили лишь несколько слуг, которым назначили приблизительно сорок су в день на расходы. Учиняя сам столь недостойные насилия, в то время как папа, поскольку это зависело лично от него, продолжал настаивать на своем благородном и законном отказе, Наполеон решил назначить вторую церковную комиссию.

### **Церковная комиссия**

Образованная в январе 1811 года, эта комиссия закончила свою работу в конце марта. В нее входили кардиналы Феш, Мори и Казелли, архиепископ турецкий, епископы гентский, эвреский, нантский, трирский и аббат Эмери...

*Она выразила* свою глубокую скорбь по поводу прекращения всякого общения между папой и подданными императора. Она предвидела для церкви только дни траура и печали

в случае, если бы это общение было прервано надолго...

Это означало, собственно, требование для папы свободы. Но комиссия не должна была ограничиться упоминанием этого в предисловии. Ей следовало вернуться к этому вопросу в своих ответах, без чего дело представлялось так, что она желала избавиться при помощи вводного замечания от возражения, сильно обличавшего вину Наполеона, чтобы больше к нему не возвращаться...

Комиссия указала сначала, что папа продолжает отказываться в буллах, не сообщая никакой канонической причины своего отказа, несмотря на все мольбы французской церкви и хотя следствия этого делаются со дня на день все более пагубны. Она напомнила о том, что происходило во времена Иннокентия XI, когда назначенные королем епископы управляли своими епархиями в силу полномочий, полученных ими от капитулов. Доказательством служил Флешье, последовательно назначенный таким образом в Лавор и Ним. Затем она признала, что, отменив своими посланиями, обращенными к капитулам Парижа, Флоренции и Асти, этот обычай, всегда существовавший во французской церкви, папа открыто нарушил издревле принятый в ней порядок, что служит *печальным доказательством внушенных ему предубеждений*.

*Но император, добавляет комиссия, не желает, чтобы существование французского епископата продолжало зависеть от церковной инвеституры, даваемой папой, который был бы в таком случае владыкою епископата. Что же следует в таком случае предпринять?* Она признает, что конкордат дает папе очень важное преимущество перед французским государем. *Монарх теряет право произвести назначение, если в течение определенного времени он не представит к сану способное лицо.* (В этом случае комиссия допускает серьезную ошибку: он никогда не теряет этого права, потому что иначе к кому бы оно перешло?) *Равенство в правах имелось бы в том случае, если бы папа, со своей стороны, был обязан давать инвеституру или сообщить в течение определенного времени каноническую причину отказа и терял в противном случае право на выдачу инвеституры, которое переходило бы по принадлежности. Этого условия в конкордате нет. Его следует добавить к нему: это самая простая мера, всего более соответствующая истинным началам. Император вправе, говорила комиссия, этого требовать, а папа должен на это согласиться* (были употреблены именно эти выражения), *а в случае его отказа он оправдал бы во мнении Европы полную отмену конкордата и переход к другому способу вручения церковной инвеституры.* (Комиссия 1809 года не говорила таким твердым и решительным языком.)

*Как бы справедлива ни была в данных условиях полная отмена конкордата, как законно ни было бы восстановление прагматической санкции или иного способа вручения церковной инвеституры, комиссия считала, однако, что следовало подготовить к этому умы и убедить верующих в невозможности дать французской церкви епископов другими способами, без чего положение епископов, возведенных в сан согласно новым формам, было бы нестерпимо. Многие стали бы уподоблять это изменение гражданскому устройству духовенства 1792 года, и оно внесло бы те же самые смуты. Люди знающие поняли бы, что его нельзя сравнивать с церковным устройством, декретированным чисто политической властью вопреки желаниям папы и почти всех французских епископов. Но другие могут не уловить этого различия, особенно видя, что император с такой горячностью действует всем своим авторитетом против святейшего отца. Одни стали бы в этой борьбе на сторону папы против французского епископата, другие, может быть, слишком отошли бы от папского престола, и в результате возродился бы раскол со всем сопутствующим ему беспорядком. Его едва удалось потушить в 1801 году при совершенном единодушии папы и большинства епископов. Разве не следует опасаться его возрождения в том случае, если бы епископы объявили о своем несогласии с папой в этом столь важном решении?*

Между тем нельзя оставить дело так, как оно есть. Юрисдикция, предоставленная назначенным епископам капитулами, помимо того присущего ей важного недостатка, что



она не утверждена папой, не дает также епархиям действительных преимуществ полного епископата. Поэтому на случай, если папа будет упорствовать в своих отказах, не приводя для них канонической причины, мы позволяем себе выразить пожелание, чтобы его святейшеству было заявлено, что конкордат, уже нарушенный его собственными действиями, будет официально отменен императором, или же что он будет сохранен только с ограничительным условием; оно должно обеспечивать от произвольных отказов, делающих призрачными те права, которые он предоставляет нашим государям.

Таковы собственные слова комиссии. Следовательно, она признавала в данном случае за императором право объявить конкордат отмененным, но не право установить затем способ обходиться без него. Между тем какой другой способ мог быть принят, кроме возвращения к старинному праву, по которому буллы не требовались (я пользуюсь выражением комиссии)? При желании же сохранить конкордат можно было добавить к нему условие, по которому право папы, в случае неосуществления его в течение определенного времени, передавалось бы другой власти.

Таким образом конкордат был бы объявлен отмененным или изменен внесением в него условия, принятого обеими сторонами и способного предотвратить все злоупотребления.

Укажу, что в первом случае можно было бы при упорных отказах папы обходиться совсем без него и искать церковную инвеституру в другом месте. Комиссия и предлагает это без всяких оговорок. Император не желает больше, говорит она, чтобы французский епископат зависел от согласия папы на инвеституру, так как он был бы при таких условиях владыкой епископата; она находит, что он прав, что справедливо и вполне во власти императора отменить конкордат, раз он исполняется только им одним. Она не испытывает на этот счет ни сомнений, ни сожалений. Виноват сам папа. А отсюда едва один шаг до признания того, что император сможет затем разрешить все остальные вопросы или позаботиться о способах их разрешения. Если бы император не сосредоточивал в себе или не имел в своем распоряжении всего, что нужно для замены папской инвеституры другой, то к чему могло бы послужить ему право отмены конкордата? Отменив его, он оказался бы в столь же затруднительном положении, как и раньше.

Однако комиссия не желала сделать этот шаг. Она признала и заявила, что из принципа, как и из осторожности, следовало созвать национальный церковный собор, который установил бы, от кого должна исходить эта инвеститура. Но могла ли она иметь уверенность, что такой собор, увлеченный партийным духом и всевозможными интригами, признал бы за собой право на это? Не создаст ли он новых затруднений и осложнений вместо того, чтобы разрешить те, для устранения которых он призван? Согласится ли он определить, откуда должна исходить инвеститура епископов? Вопрос мог, таким образом, оказаться не вполне разрешенным.

Комиссии не следовало так настаивать на праве императора отменить конкордат и так громогласно об этом заявлять, раз она не могла указать ему верного способа обойтись без него. В этом заключалась, по моему мнению, ошибка и непоследовательность комиссии.

Мне казалось иногда, что если бы император назначил нантского епископа министром по делам вероисповеданий, то удалось бы обойтись без собора, который мог только запутать вопрос. Этот столь честный, столь искусный и столь сведущий в богословских вопросах епископ воздействовал бы с тройным авторитетом министра, епископа и законченного богослова на каждого из других епископов в отдельности; в этих условиях он гораздо легче получил бы их согласие на замену папской инвеституры какой-либо другой, церковной же, чем он мог бы достичь этого на соборе; там каждый епископ боялся уступить влиянию другого, более искусного, чем он сам, и собравшиеся вместе епископы не испытывали того страха перед императором, как каждый из них в отдельности.

Может быть, сам папа вывел бы их всех из затруднительного положения и дал бы в этот раз инвеституру из опасения потерять это право на будущее.

Но, независимо от такого совершенно гадательного предположения, следовало

обсудить еще другую возможность, кроме отмены конкордата, именно — его изменение при помощи ограничительного условия, которое навсегда предотвратило бы злоупотребления. Это было бы, бесспорно, самое желательное решение, наиболее соответствующее истинным началам и всего более способное, по признанию комиссии, успокоить совесть верующих.

В самом деле, обе договаривающиеся стороны могли бы признать себя удовлетворенными им. При составлении текста папа примирил бы это условие со своими ультрамонтанскими стремлениями, внося в него положение, по которому по истечении трех или шести месяцев он уполномочивал бы архиепископа заменить его; он оставался бы всегда источником власти и ни в чем не ограничил бы самых требовательных своих сторонников; я полагаю, что при умелом ведении переговоров от папы можно было добиться этой уступки. Император, со своей стороны, получил бы все, чего он желал, и больше того, к чему он стремился до тех пор; до созыва комиссий он желал лишь, чтобы папа давал буллы епископам, которых он назначал, и соглашался даже, чтобы папа не вносил в них имени императора; идя указанным мною путем, Наполеон получил бы сверх обещания папы не отказывать в будущем в буллах то преимущество, что в данное время не пришлось бы заменять инвеституру, в которой папа отказал другим столь же каноническим установлением. Если бы удалось добиться этого от папы без возвращения ему Рима и других его областей, это был бы триумф, достойный сказочной судьбы Наполеона, триумф, в тысячу раз более значительный по своим последствиям, чем он мог быть при национальном церковном соборе.

Но прежде всего комиссия сама создала препятствие для такого ограничительного условия. Признавая внесение его в конкордат весьма желательным, она продолжала твердить, что для этого, как и для того, чтобы обойтись без такого условия следовало созвать национальный собор, который не мог в сущности положить конца затруднениям: если бы собор обошел вопрос вместо разрешения его, к чему бы это привело? Между тем она была далека от намерения устранить мысль о переговорах, но только, будучи собрана не для этого, не считала себя вправе внести такое предложение.

Нантский епископ отважился попытаться непосредственно у императора то, на что не считала себя вправе комиссия; он опасался, вероятно, шума, который вызвало бы внезапное упразднение конкордата: при объяснении соответствующим декретом мотивов этой меры были бы, конечно, употреблены резкие выражения, грозившие нежелательными последствиями. Дювуазен боялся, может быть, также настроений собора или тех стремлений, которые были бы ему внушены уже после его созыва. Поэтому он энергично настаивал перед императором, чтобы он дозволил трем членам комиссии отправиться к папе, если уж ему не подобало самому послать их, чтобы они попытались в последний раз воздействовать на него.

Император очень долго сопротивлялся, и Дювуазену стоило больших трудов заставить его уступить. В минуту горячности Наполеон решил уничтожить конкордат, а раз заявив об этом, он не желал отступаться от своих слов; по правде сказать, я полагаю, что он видел в этом для себя известную честь, которая была между тем невелика. Он желал, как он говорил, покончить вопрос с папой и считал, что, уничтожив конкордат, он завершит все дело. Правда, он согласился на созыв собора, но он полагал, что его можно не опасаться. “Когда конкордат будет отменен декретом, — говорил он, — собору придется, если он захочет сохранить епископат, предложить другой способ инвеституры для епископов, потому что уже нельзя будет руководствоваться несуществующим конкордатом”.

Дювуазен не признал себя побежденным и продолжал настаивать; наконец он убедил императора, который уступил очень неохотно и попытался своими инструкциями увеличить трудности, вместо того чтобы устранить их; казалось, что он желает неудачи переговоров. Стало известно, что инструкции, данные министром по делам вероисповеданий епископам, которые отправлялись в Савону, были продиктованы

императором. Министр, не желавший нести за них ответственность, сказал это нескольким видным представителям духовенства.

Вместо того чтобы ограничиться одним важным пунктом, по которому нужно было добиться от папы уступки, Наполеон пожелал, чтобы епископы предъявили святейшему отцу самые недопустимые требования; император давал делу такое направление, как будто он оказывал папе милость, предлагая сохранить конкордат, тем более с внесением в него ограничительного условия, как он того желал. Епископы должны были прежде всего сообщить папе о созыве национального собора на 9 июня следующего года и изложить ему меры, которые французская церковь могла оказаться вынужденной принять, пользуясь для этого древними примерами. Он согласится восстановить конкордат, говорил он в инструкциях, только при условии, чтобы папа дал сначала инвеституру всем назначенным епископам и признал на будущее время право архиепископов вручать епископам инвеституру в тех случаях, когда он сам в течение трех месяцев не сделает этого. Он желал, и *это было официальное приказание*, чтобы делегаты заявили папе, что он никогда не вернется в Рим в качестве государя, но что ему будет разрешено возвратиться туда как простому главе католической религии при условии его согласия на требуемое от него изменение конкордата. В случае, если он признает для себя неудобным вернуться в Рим, он сможет устроить свою резиденцию в Авиньоне, где он будет пользоваться почестями, отдаваемыми государям, и где он будет свободно управлять духовными делами других христианских стран. Наконец, ему должны были предложить два миллиона — все это при условии, что он обещает не предпринимать в империи ничего противоречащего четырем статьям 1682 года.

Для переговоров к нему были отправлены три следующих депутата: архиепископ турский, епископ нантский и епископ трирский, к которым прикомандировали фаенцкого епископа, назначенного Наполеоном венецианским патриархом и тоже отправленного в Савону. Они были выбраны депутатами всеми кардиналами и епископами, находившимися тогда в Париже, которые вручили им семнадцать писем, адресованных святейшему отцу; самым пространным и самым настоятельным было письмо кардинала Феша.

Снабженные этими письмами, инструкциями и полномочиями для заключения и подписания соглашения, три депутата отправились в конце апреля 1811 года в путь и прибыли в Савону 9 мая. Им было решительно предложено вернуться в Париж за восемь дней до открытия собора, то есть до 9 июня, и они в самом деле покинули Савону 19 мая.

Содержание девяти писем, присланных ими из Савоны министру по делам вероисповеданий, и более подробного письма, написанного ими затем в Париже по их возвращении туда, обнаруживает, с какой мудростью и умеренностью они вели эти переговоры; оно показывает, как, ничего не скрывая от папы, они заставили его проявлять с каждым днем все большую уступчивость; наконец, они побудили его согласиться на главные условия, которые им было поручено предложить или, если угодно, предписать ему, внося в них лишь несколько незначительных изменений.

Следует отметить, что, приняв их на другой день по их прибытии, папа обнаружил сначала некоторое опасение, не явились ли они объявить ему о том, что созываемый собор будет судьей его образа действий. Это предположение было решительно отвергнуто, и для успокоения папы были применены самые почтительные приемы. В свое время многие утверждали, что обнаруженный им тогда страх мог оказать некоторое влияние на его благожелательное настроение. В первые дни он возражал без раздражения, с чрезвычайной сдержанностью, и даже высказал несколько слов благоволения по адресу императора; но то, что от него просили, было настолько важно, что ему нужно было посоветоваться об этом со своими привычными для него советниками, и он жаловался, что его лишили их. Делегаты не могли вернуть их, но они не пренебрегли ничем, чтобы убедить его, что он не будет более лишен их, когда разделит примирительные и миролюбивые взгляды, которых выразителями перед ним они являлись; они указывали,

что вопрос о буллах не требует ни больших обсуждений, ни советников, что в сущности заявляемое требование справедливо и что он должен ясно понимать, насколько важно для блага верующих, епархий и религии, чтобы он дал буллы назначенным епископам; они доказывали ему, насколько в его собственных интересах важно, чтобы в качестве наместника апостола Петра он согласился на внесение в конкордат нового условия и сохранил эту драгоценную связь с французским епископатом, которая порвалась бы в случае объявления конкордата упрядненным.

Папа делал новые возражения, которые, однако, слабели с каждым днем; он выражал сожаления и никогда не обнаруживал проявлений злой воли. Епископы не спешили говорить с ним о державной власти Рима из боязни повредить основной задаче переговоров. Впрочем, они вывели заключение, что, уже не надеясь больше вернуть себе эту власть, святейший отец будет, конечно, продолжать протестовать по этому поводу, так как он не имел права пожертвовать ею; им было ясно, что он, вероятно, скорее обяжется не возвращаться в Рим, чем согласится принести присягу, которой он признал бы императора государем Рима; наконец, они заключили о понимании им того, что потеря этой державной власти не может помешать ему править церковью, как только ему вернут его советников. Итак, папа покорился необходимости, а это было все, что требовалось депутатам, которые вели переговоры.

Настоящего обсуждения буллы об отлучении не было, хотя епископы и имели случай высказать свое мнение о ней. Им казалось, что святейший отец не придает ей большого значения и что он легко согласится считать ее недействительной.

Папа осторожно, но настойчиво противился требованию дать обещание, что он будет считать четыре статьи 1682 года обязательными для французского духовенства. Он был явно настроен в пользу первой из этих статей, признающей независимость светской власти. Но зачем, говорил он, требовать от него заявления по трем другим статьям? Он давал слово ни в чем не действовать вопреки им, — можно было положиться на него. Почему требовать от него того, что не требовалось никогда ни от одного папы, именно — письменного обещания по этому вопросу? С той и другой стороны, говорил он, речь идет о свободных убеждениях. Сам Боссюэ не желал ничего большего. Он был далек от того, чтобы излагать свои убеждения итальянским богословам и тем более папе. Святейший отец часто возвращался к вопросу о булле Александра VIII (Оттобони), преемника Иннокентия XI, который не ослабил непреклонности, отличавшей его предшественника, и издал за три дня до своей смерти буллу против декларации 1682 года. Он признавал, что булла эта не имела последствий, не пытался оправдать ее, но ведь не его дело — осуждать образ действий своего предшественника и винить его. Разве Италия и весь христианский мир не сказали бы, что он согласился дать это обещание потому, что ему наскучил плен? Такое подозрение легло бы позором на его память. Впрочем, эти вопросы сложны и трудны, и никогда он не нуждался в такой степени в советниках...

“Что касается булл, то нам удалось, — писали три епископа, — добиться от папы лишь обещания выдать их только уже назначенным епископам; он считает невозможным решить что-нибудь на будущее время без своих советников и, следовательно, согласиться на внесение в конкордат нового и притом столь важного условия. Мы исчерпали по этому вопросу все мыслимые доводы и соображения и с сожалением уведомили о нашем предстоящем послезавтра отъезде. Этот быстрый отъезд, казалось, огорчил его; он поручил выразить нам желание снова свидеться с нами; мы подчинились его повелению, и нам показалось, что он стремится только к тому, чтобы заменить трехмесячный срок для своего права давать инвеституру шестимесячным сроком. Мы предполагали, что это не составит большой трудности, и высказали ему нашу уверенность на этот счет. Наконец, шаг за шагом, мы заставили его согласиться на следующие статьи, записанные отчасти под его диктовку; копию их он хотел сохранить у себя, как свидетельство, говорил он, его уступчивости и его пламенного желания восстановить мир в церкви”.

## *Статьи, принятые папой*

“Его святейшество, принимая во внимание нужды и пожелания французской и итальянской церковей, изложенные ему архиепископом турским и епископами нантским, трирским и фаенцким, и желая дать этим церквам новое доказательство своей отеческой любви, объявил вышеназванным архиепископу и епископам:

“1. Что он даст церковную инвеституру лицам, назначенным его императорским и королевским величеством архиепископами и епископами по форме, установленной в эпоху конкордатов с Францией и Италией.

“2. Его святейшество согласен распространить ту же самую меру на тосканскую, пармскую и пьяченцкую церкви посредством нового конкордата.

“3. Его святейшество согласен на внесение в конкордаты условия, по которому он обязуется давать епископам, назначенным его величеством, буллы об инвеституре в течение определенного срока, который должен быть, по мнению его святейшества, не короче шести месяцев; на случай, если он промедлит более шести месяцев по другим причинам, чем личные качества, делающие назначенных лиц недостойными, он вручит архиепископу вакантной церкви, а за его отсутствием старейшему епископу провинции полномочия выдавать по истечении шести месяцев буллы от его имени.

“4. Его святейшество решается на эти уступки лишь в надежде, вызванной в нем его беседой с епископами-депутатами, на то, что они подготовят соглашения, которые восстановят порядок и мир в церкви и вернут папскому престолу подобающие ему свободу, независимость и достоинство.

Савона, 19 мая 1811 г.”

Согласие, полученное таким образом от папы, ознаменовало собой большой успех, так как оно прекращало на будущее время все споры между французским правительством и римским двором. Каким образом мог бы последний впредь нарушать во Франции порядок? Церковная инвеститура епископов была единственным орудием, при помощи которого папа мог создать своим отказом или бездействием беспорядок; его действия никогда не нарушили бы нормального хода дел, так как они могли выражаться только в посланиях, буллах..., а Франция всегда придерживалась обычая не разрешать их опубликования до рассмотрения их и до заключения о том, что они не содержат ничего противного законам страны. Это парализовало бы враждебную волю папы и даже всякий нежелательный раскол. Было безразлично, что думает папа о галликанских правах, раз он не имел власти помешать их осуществлению. Поэтому попытка заставить его заранее подписать в этом смысле известное обещание была совершенно бесполезна. Папа сам сказал это, и потому применявшаяся к нему тирания была бесцельна. Святейший отец дал свое слово, и это превосходило по своему значению все когда-либо сделанное каким-либо папой; даже если бы он этого словесного обещания не дал, отсюда не проистекло бы никакой опасности, ни даже малейшего неудобства.

Я забыл сказать, что существовал вопрос, по которому, как он обнаружил в беседе, папа никогда бы не уступил: это касалось намерения императора сохранить за собой право назначения на все итальянские епископства с предоставлением папе инвеституры. “Как, — говорил он с волнением, — папа не сможет награждать даже кардиналов, послуживших с рвением и талантом папской власти, он не сможет назначать епископов нигде во всем христианском мире, включая и церкви, с незапамятных времен входившие в римскую епархию, права которых будут уничтожены простым конкордатом? Это было бы, однако, ужасно...”

Это его собственное выражение, единственное в таком роде, вырвавшееся у него во время его переговоров с французскими епископами. Они ничего не могли возразить ему по этому вопросу, настолько естественным казалось им требование святейшего отца.

Они имели случай говорить с ним о двух миллионах в земельных имуществах, назначенных декретом от 17 февраля 1810 года на содержание папы. Пий VII начал с

очень твердого отказа и пожелал повторить то, что он сказал в самом начале, именно, что он желает существовать скромно, на помощь, оказываемую ему милосердием верующих. Но при всем благородстве этого решения епископы возражали против него, указывая на то, что он не должен лишать своих преемников светских преимуществ, даваемых императором, державных почестей, возможности общения с католическими государями, а также средств, необходимых для содержания св. коллегии кардиналов, которое возлагалось декретом от 17 февраля 1810 года на императорскую казну.

Эти соображения, казалось, заставили его поколебаться: он больше не настаивал, но вопрос этот остался нерешенным.

Епископы вернулись во Францию, убежденные, что если щадить его чувства и предоставить ему свободу и добрых советников, то святейший отец может сделать новые уступки по нескольким довольно важным вопросам. Но они добились уже самого главного.

Столь удачно начатые переговоры должны были бы привести к окончанию всех споров.

Что следовало сделать для этого? По-видимому, только одну вещь - не допустить созыва собора и отсрочить его на месяц. За это время Наполеон пришел бы к соглашению с папой относительно булл и добавления нового условия, не смешивая этого с другими вопросами. Он вернул бы ему нескольких советников и достаточную свободу, и папа счел бы делом чести подтвердить то, что он обещал в силу внутреннего убеждения, как это по крайней мере казалось.

Раз этот договор был подписан, император не нуждался больше в соборе, и он должен был иметь тем более сильное пожелание бесконечно отсрочивать его, что его созыв уже выставил его в несколько смешном виде, в чем он не мог не признаться самому себе. К тому же не удобнее ли было бы для него закончить дело с самим папой, все возражения которого он преодолел бы при помощи своих делегатов, чем вести переговоры с собранием, которое, наверно, оказалось бы беспорядочным и которым он, вероятно, не смог бы управлять? Имея обещание папы, для чего можно было желать собора, созванного лишь при предположении, что папа никогда не согласится дать инвеституру назначенным епископам, а тем более связать себя на будущее время и утратить право отказывать в этой инвеституре? Между тем он на все это согласился, и уже можно было составить договор. Может быть, имелись основания полагать, что собор будет стремиться к другому решению по этому вопросу? Тем хуже! А если бы он желал того же самого, то к чему могло послужить его вмешательство? Оно было очень неприятно папе, как мы это видели. Для императора оно могло быть удобно при условии, которое не имело места. Но при всяких условиях он должен бы был предпочесть обойтись без собора. Мог ли Дювазен быть уверен, что ему удастся руководить по своему желанию этими девятистами пятью французскими и итальянскими епископами и что, несмотря на сговорчивость каждого из них в отдельности, они не дадут увлечь себя в общем собрании? И именно понимание того обстоятельства, что им не предстоит больше принимать никаких решений, должно было побудить их создавать многочисленные затруднения, возбуждать спорные и досадные вопросы, чтобы их не упрекнули в том, что они не сумели ничего сказать и ничего сделать.

Император рассчитывал, конечно, на влияние, которое мог приобрести в его интересах кардинал Феш, председательствовавший на соборе. Но тут он ошибся, как и во всем том, что он делал для возвышения членов своей семьи в надежде затем их использовать. Его дяде, кардиналу Фешу, нужно было заставить окружающих забыть о своем происхождении, и он хотел, подобно братьям Наполеона, придать себе значение своим противодействием его желаниям, своей непреклонностью, а не влиянием на племянника.

Ни император, ни даже нантский епископ, которому его успех в Савоне должен был это разъяснить, не понимали всего значения созыва собора. Наполеон, которого не обезоружили ни жестокая судьба папы, ни громадные уступки, сделанные им, несмотря на его положение, имел наготове несколько оскорбительных для папы фраз и не хотел от них

отказаться. Он придавал до смешного большое значение тому, чтобы произнести их на соборе, и не помышлял о том, что даже самое трусливое собрание не сможет отказать хотя бы в видимом участии святейшему отцу, повергнутому в бедствия, и что оно не захочет громогласно обесчестить себя.

Может быть, нантский епископ обольщал себя также надеждой, — и в этом он ошибался, — на то, что он будет оказывать на собор решающее влияние вследствие своей большой умелости и своего легкого и блестящего красноречия. Он рассчитывал сначала заинтересовать собрание, а затем приобрести права на его доверие, отдав ему отчет в своих совещаниях с папой. Ему удалось только вызвать зависть. Члены собора не простили ему его успехов, они отказывались верить в них, а так как четыре статьи, на которые святейший отец согласился, не были им подписаны, то говорилось, что им нельзя придавать никакого значения. Кроме того было известно, что император оказывает нантскому епископу особую благосклонность, что он часто с ним сносится; его немедленно превратили в фаворита, и поэтому его слова перестали внушать доверие. Затем, уступая порыву, император говорил о соборе так же резко, как о папе, и возникло предположение, что Дювуазен подстрекал его к употреблению таких выражений. Наконец, читая в собрании проект адреса императору с ответом на его послание, он проявил непостижимую неловкость: пытаясь устранить некоторые замечания, сделанные ему касательно формы адреса, он заявил, что проект в том виде, как он только что прочел его, уже сообщен императору, и это безвозвратно погубило нантского епископа.

Для меня совершенно очевидно, что не было ни одного момента, когда бы Наполеон не должен был раскаиваться в том, что он созвал собор и дал ему собраться; после возвращения депутации из Савоны ему следовало понять, до какой степени он стал для него бесполезен и в какой мере он мог оказаться роковым для него. Также несомненно, что, ввиду намерения императора воспользоваться этим собранием в интересах своей власти, нельзя было усвоить более неумелый образ действий, чем тот, которому следовал он.

Я хочу лишь бегло охарактеризовать направление, принятое этим собранием, и изобразить несколько связанных с ним эпизодов.

Созыв собора был назначен на 9 июня 1811 г., но под предлогом крестин римского короля, сына Наполеона, его открытие состоялось лишь 17 июня в церкви Нотр-Дам. Труаский епископ Булонь произнес проповедь. Собрание насчитывало девяносто пять епископов, из коих шесть были кардиналами, и девять епископов, назначенных императором, но не получивших от папы инвеституры. Кардинал Феш сразу же взял на себя, как мы говорили, председательствование, которое никто у него не оспаривал, и включил в свой титул звание галльского примаса, по праву принадлежавшее ему как лионскому архиепископу. Дальше будет видно, почему я упоминаю об этой подробности. После проповеди председатель произнес обычную клятву, повторенную вслед за ним всеми епископами и заключающуюся в следующих словах:

“Я признаю святую католическую, апостолическую римскую церковь, мать и владычицу всех других церквей; клянусь истинным послушанием римскому папе, преемнику св. Петра, князя апостолов и заместителя Иисуса Христа”.

Это клятвенное обещание произвело большое впечатление, направив внимание на несчастную жертву, к которой оно было обращено. Этим ограничилось заседание в тот день.

На другой же день после открытия, 18 июня, Наполеон пригласил нескольких епископов в Сен-Клу на одно из тех вечерних собраний, которые назывались выходами. На нем присутствовали Императрица Мария-Луиза и дамы, дежурившие при ней, как и много других лиц, среди коих — принц Евгений, вице-король Италии. Император, пивший кофе, который ему наливала императрица, велел ввести кардинала Феша, нантского епископа Дювуазена, трирского епископа Маннейя, архиепископа турецкого Барраля и одного итальянского прелата. В тот момент, когда они входили, император

быстро и так, чтобы они это видели, взял “Монитор”, который был положен, вероятно, по его приказу на один из столов. С этой газетой в руках он обратился к вошедшим. Возмущенный вид, который он принял, резкость и необузданность его выражений, как и поведение тех, к кому он обращался, превратили это странное совещание в сцену, какие он любил разыгрывать, обнаруживая в них свою ничем не прикрытую грубость.

Протокол первого заседания собора был приведен в “Мониторе”, который держал император; он мял его в руках. Сначала он напал на кардинала Феша, причем интересно то, что он сразу, без всякого исторического или богословского вступления, пустился со странным многословием в обсуждение церковных начал и обычаев.

“По какому праву, милостивый государь, — сказал он кардиналу, — присваиваете вы себе титул галльского примаса? Какое смешное притязание! Да еще не испросив моего разрешения! Я вижу ваше лукавство, его нетрудно распознать. Вы захотели возвеличить себя, милостивый государь, чтобы привлечь к себе внимание и подготовить этим публику к еще большему возвышению в будущем. Пользуясь своим родством с моей матерью, вы стараетесь убедить окружающих, что я сделаю вас главой церкви, потому что никому не придет в голову, что вы имели дерзость принять без моего разрешения титул галльского примаса. Европа будет думать, что этим я хотел подготовить ее к тому, чтобы видеть в вас будущего папу. Недурной папа, поистине!.. Этим новым титулом вы хотите встревожить Пия VII и сделать его еще более несговорчивым!”

Оскорбившийся кардинал ответил с твердостью и заставил своим спокойным ответом забыть недостаток достоинства в его облике, тоне, манерах и даже его прежнюю деятельность, (\* В первые годы морской войны, то есть в 1793, 1794 и 1795 годах, кардинал Феш плывал на каперском судне, называвшемся “Авантюрист”. Он захватил, несколько судов, доставленных им в Геную и послуживших причиной процессов, которые он с жаром вел в трибуналах этого города и по поводу которых он, насколько мне известно, несколько раз обращался к правительству за поддержкой.

*Примечание Галейрана.*) следы которой проявлялись в нем слишком часто, так как под одеждой архиепископа нередко обнаруживался прежний корсар; но тут, перед императором, на его стороне были все преимущества: он объяснил, что во Франции существовали во все времена не только галльский, но и аквитанский и нейстрийский примасы. Несколько изумленный, Наполеон обратился к нантскому епископу и спросил его, верно ли это. “Факт этот неоспорим”, — сказал епископ. Тогда император оставил кардинала, на которого он так напал. Он направил свой гнев на других и по поводу содержавшегося в клятве слова “*послушанием*”, которое он смешал с “*повиновением*”, он разгорячился до того, что назвал отцов собора предателями. “Потому что, — добавил он, — те, которые приносят две присяги двум враждебным государям, — предатели”.

Нантский епископ произнес несколько слов, но император его не слушал. Он не обращал внимания на грустный, недовольный и задумчивый вид Дювуазена или подавленный вид Барралья и Маннейя, ни на покорную внешность итальянца или влияние разгневанного кардинала Феша; он продолжал говорить в течение часа так бессвязно, что слушатели сохранили бы только воспоминание о его невежестве и многоречивости, если бы приводимая ниже фраза, которую он повторял каждые три-четыре минуты, не раскрыла его главной мысли:

“Милостивые государи, — кричал он им, — вы относитесь ко мне так, как будто я был Людовиком Благочестивым. Не смешивайте сына с отцом. Вы видите перед собой Карла Великого... Я — Карл Великий, я... да, я — Карл Великий!” Эту фразу “Я—Карл Великий!” он повторял ежеминутно. После нескольких неудачных попыток разъяснить ему разницу между словом “*послушание*”, относящимся только к духовным властям, и словом “*повиновение*”, имеющим более широкий смысл, епископы отказались, наконец, от своих бесплодных усилий. Им не оставалось ничего иного, как ждать в глубочайшем молчании, чтобы утомление прекратило этот беспорядочный поток слов. Тогда, воспользовавшись минутным перерывом, нантский епископ выразил императору желание побеседовать с ним наедине. Наполеон вышел, и он последовал за ним в его рабочую комнату. Было уже около полуночи, и все удалились, унося из Сен-Клу своеобразное



впечатление.

В результате этой сцены император потребовал, чтобы оба министра по делам вероисповеданий — французский, Биго де Преамено, и итальянский, Бовара — присутствовали на всех заседаниях собора. Это значило добавить новую нелепость к стольким другим; эти два мирянина могли занять на чисто церковном собрании, в совещаниях которого они не имели права участвовать, лишь положение, одинаково обидное как для собрания, так и для них самих.

Итак, оба министра явились на второе заседание собора, происходившее 20 июня. Они предъявили декрет императора, предписывавший создать бюро из председателя, трех епископов и обоих министров, которое должно было руководить деятельностью собора. По этому поводу возникли некоторые споры, но, несмотря на это, было составлено бюро из кардинала Феша в качестве председателя, бордоского архиепископа (Авио), равенского архиепископа (Кодронки), нантского епископа и обоих министров. Последние прочли затем послание императора, представлявшее собой длинный манифест, направленный против Пия VII и всех вообще пап. Император сделал все для религии; папа делал все против нее во Франции и в Италии — таков был в итоге смысл этого послания, составление которого приписывалось в свое время Дону, бывшему члену конгрегации Оратории. В нем заявлялось, что папа нарушил конкордат и что, следовательно, он отменен, а собранию предлагалось найти новый способ обеспечить епископам инвеституру. Эта резкая критика оказала действие как раз обратное тому, на какое рассчитывал император, именно — усиление участия к оклеветанному и гонимому римскому папе. В том же самом заседании большинство высказалось за исключение из совещаний девяти епископов, назначенных императором и не возведенных папой в сан, которые участвовали до того в работах собора. Это было уже дурное предзнаменование для правительства.

25 июня собор назначил комиссию для составления адреса императору в ответ на его послание. В нее входило двенадцать членов, включая председателя, кардинала Феша; среди них были кардиналы Спина и Казелли, заключившие от имени Пия VII конкордат 1801 года, архиепископы бордоский и турский, епископы комаккиоский, ивреаский, турнэский, труаский, гентский, нантский, трирский. Проект адреса обсуждался 26-го того же месяца; обработка его была поручена нантскому епископу, и во время этого обсуждения он проявил, как я говорил, исключительную неловкость, проговорившись, что его проект был уже представлен императору; это не помешало большинству высказаться против той части его, которая заключала осуждение буллы об отлучении. На следующий день, 27 июня, после принятия адреса в исправленном виде один епископ, как мне кажется шамберийский, внес в очень трогательных выражениях предложение, чтобы собор в полном составе отправился в Сен-Клу просить императора вернуть папе свободу. Кардинал Феш поспешил закрыть заседание, желая пресечь это предложение, которое, наверное, было бы в противном случае принято.

Наполеон, очень недовольный, отказался принять адрес. Теперь комиссии двенадцати следовало высказаться по сделанному правительством предложению: нужно было найти способ обходиться без участия папы в выдаче церковной инвеституры епископам в тех случаях, когда он в ней отказывал. Нантский епископ сделал доклад о работах комиссии 1810 года по этому вопросу, а турский архиепископ Барраль дал отчет о путешествии трех епископов в Савону и закончил чтением записки, составленной на глазах святейшего отца и одобренной, но не подписанной им.

Эта тема была немедленно устранена, и один член комиссии предложил раньше всего разрешить вопрос о компетенции собора. Предложение это вызвало оживленные прения, во время которых гентский епископ (Брольи) выступил с жаром против признания компетенции собора. Наконец, когда был поставлен вопрос: *компетентен ли собор установить другой способ возведения в сан епископов*, восемь членов высказались в отрицательном смысле, а три епископа, бывшие депутатами в Савоне, — в

положительном. Кардинал Феш воздержался от голосования,

Наполеон впал в ярость, когда узнал об этом результате: он восклицал, что прогонит собор, что он не нуждается в нем, что он сам издаст декрет, которому все подчинится и в который он внесет уступки, полученные в Савоне. Нантскому епископу удалось и на этот раз успокоить его; он побудил его согласиться на предложение собору проекта декрета, в который были бы в самом деле включены уступки, сделанные папой в Савоне, но с добавлением статьи с выражением благодарности папе за эти уступки: собрание просили бы голосованием одобрить этот проект.

Комиссия двенадцати приняла проект декрета, однако с той оговоркой, что до получения им силы закона он будет представлен папе на утверждение, что означало, собственно, признание собора некомпетентным. Исправленный проект декрета был сообщен 10 июля собору, и в тот же вечер Наполеон отправил в Венсен трех членов комиссии: гентского епископа Брольи, труаского епископа Булоня и турнэского — немца, имя которого я забыл; декрет императора объявил собор распущенным.

Этот роспуск собора, постановленный *ab irato*, эти насилия над тремя из его членов не могли ничего разрешить и даже создавали новые затруднения; после этого уже нельзя было послать папе проект декрета от имени собора, который был распущен и притом главным образом именно за то, что он настаивал на представлении этого проекта на одобрение святейшего отца. Таким образом то, что могло быть отлично сделано до собора и, следовательно, без него, теперь уже стало неосуществимо. Приведенный замешательство результатами своей горячности, Наполеон был вынужден отказаться от сделанного; ему пришлось прибегнуть к жалкому средству — восстановить собор; если это можно так назвать, после роспуска его. Собрали епископов, еще не покинувших Париж или задержанных там особым приказом. Их пригласили, каждого в отдельности, к министру по делам вероисповеданий и получили от них письменное одобрение проекта декрета, однако с добавлением новой статьи; она устанавливала, что декрет будет предложен на утверждение папы и что у императора будет испрошено для депутации из шести епископов разрешение отправиться к святейшему отцу, чтобы просить его об утверждении декрета, который один только мог положить предел бедствиям французской и итальянской церкви.

В этом заключалась двойная непоследовательность, так как, с одной стороны, на одобрение папы представляли предложения, на которые он уже согласился, а с другой — просили его одобрения, хотя собор был распущен именно за то, что он желал обратиться к нему за этим одобрением.

Более подавленные, чем раздраженные, епископы подписали каждый в отдельности то, что им было предложено, и в общем заседании 5 августа 1811 года они приняли посредством вставания или сидения (новый способ голосования, проведенный кардиналом Мори при помощи хитрости) следующий проект:

“Статья I. Согласно духу церковных уставов архиепископства и епископства не должны будут оставаться незамещенными в общей сложности более года. За этот период времени должны быть произведены назначение, вручение инвеституры и посвящение.

“Статья II. У императора испросят, чтобы он продолжал производить назначения на свободные кафедры согласно конкордатам, и лица, назначенные императором, будут обращаться к нашему святейшему отцу, папе, за церковной инвеститурой.

“Статья III. В течение шести месяцев после уведомления папы обычным путем об указанном назначении папа будет давать церковную инвеституру согласно конкордатам.

“Статья IV. Если до истечения шести месяцев папа не даст инвеституры, то архиепископ или за отсутствием его старейший епископ области возведет в сан назначенного епископа, а если бы дело шло о возведении в сан архиепископа, то инвеституру передаст старейший епископ области.

“Статья V. Настоящий декрет будет представлен на одобрение нашего святейшего отца, папы, и с этой целью у его величества будет испрошено для депутации из шести

епископов разрешение отправиться к его святейшеству, чтобы просить его утвердить декрет, который один только может положить предел бедствиям французской и итальянской церкви”.

В сущности не было решительно никакой разницы между тем, что было предложено собором вначале, и что было принято новым собранием. Статья V требует одобрения святейшего отца, в то время как по первоначальному проекту требовалось одобрение императора. Правда, что последнее было довольно бесполезно, потому что проект представлял собой дословное выражение собственного требования императора. Для чего же в таком случае представлять его ему на утверждение? Но такая буквальная замена одного выражения другим могла показаться ему оскорблением, если бы ему ее предложили; поэтому я считаю, что собрание не дерзнуло бы просить у него об этом и что оно было весьма счастливо, что получило декрет, уже одобренный императором, так как редакция его была предложена самим Наполеоном, то есть его советом. Его одобрение предполагалось уже предложением, сделанным собору от его имени, посылкой к папе депутации и инструкциями, которые он дал этой депутации. Что же касается утверждения, возложенного на папу V статьей декрета и которому собор придавал столь большое значение, то нантскому епископу было нетрудно убедить императора, что первый проект, столь гневно им отвергнутый, был в сущности лишь формой, при помощи которой у папы спрашивали, узнает ли он свое собственное произведение. Нет ничего неуместного в том, добавил он, чтобы дать собору это маленькое удовлетворение, причем он соглашался разъяснить, что суровость императора в отношении некоторых из его членов была вызвана не тем, что они желали внести эту статью в декрет, а проявленным ими враждебным отношением к правительству.

Через несколько дней, 19 августа, восемьдесят пять епископов, в число коих входили на этот раз девять епископов, не получивших инвеституры, подписали сообща письмо к папе, в котором они просили его утвердить декрет. Затем было назначено девять депутатов, чтобы доставить это письмо к нему в Савону. Это были архиепископы малинский, павийский и турский, епископы эвреский, нантский, трирский, пьаченцкий, фаенцкий и фельтреский; чтобы папа не мог жаловаться на то, что он лишен своего совета, к нему отправили также пять кардиналов: Дориа, Дуньяни, Роверелла, Байанна и Руффо, поддержку которых, как я имею все основания думать, император тайно обеспечил себе. Наконец, одновременно отправили туда *cameriere secreto* папы, Берталотти, и его духовника.

Они прибыли в Савону в конце августа. Папа принял их лишь 5 сентября; говорят, что он встретил их с такой же благосклонностью, как и первую депутацию. Он не знал того, что произошло на соборе; впрочем, он никогда не произносил этого названия, всегда заменяя его словом “собрание”, — это доказывает, как легко было бы после первой депутации прийти к соглашению с папой по основному вопросу, касавшемуся инвеституры для епископов, без обращения к собору, которым святейший отец несколько не интересовался. Но Наполеон не умел сделать этого, и никто не оказался достаточно умен, чтобы перед ним на этом настоять. Зло сделалось непоправимо, потому что полученное от папы одобрение декрета, которое должно было положить конец этому сложному делу, ни к чему не привело; виной этому был необузданный нрав Наполеона, который, приблизившись к разрешению вопроса попытался снова все запутать, для чего он нашел более чем достаточно способов.

После нескольких весьма миролюбивых объяснений между депутацией, отправленной в Савону, и папой, — объяснений, не касавшихся ни одной действительной трудности, созданной им, — святейший отец охотно согласился на пять статей декрета. Он дословно включил их в послание от 20 сентября 1811 года, в котором он обращался к епископам с выражениями отеческой любви и без малейшего упоминания о своем образе действий. Он говорил в предисловии с трогательным чувством благодарности о том, что бог допустил, чтобы с соизволения его дорогого сына, Наполеона I, императора французов и короля

Италии (оба эти титула указаны в послании), четыре епископа посетили его и просили его позаботиться о французской и итальянской церквях. Он говорил о чувствах, с какими он принял их, и с искренней радостью отзывался о том, как они изложили императору его виды и намерения. Он объявил, что согласно новому разрешению его дорогого сына Наполеона I... пять кардиналов и архиепископ, его духовник, опять явились к нему и что восемь депутатов (потому что один скончался в дороге) сообщили ему о состоявшемся в Париже 5 августа общем *собрании* духовенства; они вручили ему письмо, уведомлявшее его о том, что происходило в этом собрании, и подписанное многочисленными кардиналами, архиепископами и епископами; наконец, он объявил, что его просили в надлежащих выражениях снова одобрить пять статей, уже *ранее одобренных им*.

Выслушав пять кардиналов и своего камерария, эдесского архиепископа, папа утвердил все, что ему было представлено. Он только добавил в своем послании, что он желает, чтобы, приступая к инвеституре, архиепископ или старейший епископ запрашивал обычные сведения, чтобы он требовал исповедания веры, давал инвеституру от имени римского папы и пересылал ему подлинные документы, подтверждающие точное соблюдение этих формальностей. Это добавление было сделано в виде простой оговорки, вытекавшей из принятия папой предложенных ему статей, и, кажется, сам император не возражал против нее, когда читал ее.

Но дело приняло другой оборот, когда он ознакомился с поздравлениями и похвалами, с которыми святейший отец обращался к епископам по поводу их поведения и выраженных ими чувств. При чтении фразы, свидетельствовавшей, что епископы, как им и подобало, проявили *истинное послушание* в отношении папы и римской церкви, которая является матерью и владычицей всех других церквей, “*aliam omnium matri et magistro veram obedientiam*”(11), Наполеон не выдержал. Слова “*владычица*” и “*послушание*” вызвали у него смех, сменившийся яростью, и он с пренебрежением отправил папское послание обратно, требуя другой его редакции. В Париже ходили разные слухи об его изменчивом и с каждым днем все более враждебном отношении к святейшему отцу. Наконец, через некоторое время, без всякого официального постановления даже несмотря на то, что в “Мониторе” (насколько я помню) на этот счет ничего не было опубликовано, распространился слух о том, что переговоры с папой прерваны. Епископов, членов собора, не собрали, чтобы сообщить им об этом, но велели им отправиться в свои епархии, уведомив их лишь о том, что по вине папы переговоры с ним прекращены.

Между тем папское послание было возвращено; не приученный к языку римского двора, Наполеон мог порицать в нем некоторые выражения и даже требовать их изменения; но вопреки ему, несмотря на примененное им насилие и его ярость, уступки, потребованные у папы и считавшиеся в течение трех лет столь желанными, были папой сделаны. В Савоне начали даже проводить в жизнь это послание, и папа беспрепятственно дал инвеституру четырём епископам, назначенным императором; имя императора упоминалось в буллах, как и прежде, что означало несомненную отмену буллы об отлучении. Наконец, папа соглашался на дополнительное условие к конкордату, на что никто не осмеливался надеяться; его послание сводилось именно, к этому, и таким образом впредь император мог бы, когда ему угодно, применять это условие на основании декрета или сенатского решения, не нуждаясь в обращении к папе. Почему же он предпочел вернуть послание и отказаться от всего, что в нем было с его точки зрения полезного? С какой целью он придрался к нескольким выражениям, не составлявшим существа послания и в отношении которых он мог, приняв его, сделать все те оговорки, какие бы он пожелал? Мне это неизвестно: он был способен на любую непоследовательность.

Если бы нантский епископ был в Париже, он мог бы, я полагаю, заставить его примириться со словами “*мать*” и “*владычица*” всех церквей, а также со словом “*послушание*”, показав их императору в нескольких местах знаменитой речи Боссюэ, произнесенной при открытии собрания духовенства 1682 года; он мог бы присовокупить,

что эти выражения согласны с правами галликанской церкви, потому что они означают лишь право папы обращаться в качестве главы ко всем католическим церквам, что признается французской церковью, как и другими. Но нантский епископ был вместе с прочими депутатами в Савоне, где они должны были ждать новых распоряжений.

Император возвратил послание; скорбя, папа взял его обратно и был вынужден считать его недействительным. Однако, при своей кроткой снисходительности, которая была хорошо известна, он был, конечно, готов в любой момент возобновить его, потому что он дал его не условно и особенно потому, что он ничего не требовал для самого себя.

Из чтения инструкций, врученных Наполеоном епископам-депутатам перед их отправкой в Савону, становится ясно, что император отверг все послание целиком не из-за нескольких встречающихся в его тексте выражений, которые не составляли его сущности; он сделал это главным образом потому, что в этом послании папа говорил от своего собственного имени. (Как будто он мог поступить иначе!)

Инструкции эти были, впрочем, не таковы, чтобы подействовать примиряюще: при их возмутительной суровости под каждым их словом чувствовалось явное желание прервать переговоры. Так, епископы-депутаты имели распоряжение сообщить папе, что император поручил им заявить о потере конкордатами силы закона для империи и Итальянского королевства; они должны были указать, что сам папа дал императору право на этот шаг своими нарушениями в течение нескольких лет некоторых предписаний этих договоров, вследствие чего Франция и Италия восстанавливают у себя общее право. Помимо того епископам было поручено просить у него *безусловного* утверждения декрета; они должны были потребовать его распространения не только на Францию и Германию, но и на Голландию, Гамбург, Мюнстер, великое герцогство Берг, Иллирию, наконец, на все страны, присоединенные или которые будут в дальнейшем присоединены к Французской империи. Им предписывалось отвергнуть это утверждение, если бы папа поставил его в зависимость от внесения какого-либо *изменения, ограничения* или какой-либо *оговорки*, к чему бы они ни относились, за исключением римского епископата. В особенности же они должны были указать ему, что император *не согласится ни на какое постановление и ни на какую буллу, из коих вытекало бы изменение папой от своего имени того, что было сделано собором*. Словом, они должны были обращаться к нему лишь с угрозами.

Возможно, что Наполеон возвратил депутатам папское послание, не найдя в нем дословного выполнения своих инструкций, для того чтобы папа сообразовался с ними; депутаты же вручили папе послание, конечно, без угроз, а в почтительной и просительной форме, уведомив о том, как оно было встречено Наполеоном; святейший отец, увидя, что нет никакой возможности удовлетворить императора средствами, находившимися в его распоряжении, в свою очередь отказал в том, что у него требовали в такой резкой и произвольной форме.

Я забыл сказать, что Наполеон обратил внимание на то обстоятельство, что в папском послании не упоминалось слово “собор”, а только “собрание епископов”. Это должно было быть более чем безразлично для Наполеона, так как оскорбиться этим могли одни епископы, которые были далеки от мысли возражать против этого. Император, столь пренебрегавший собором с таким презрением распустивший его, раскаивавшийся каждый раз, как ему о нем говорили, в том, что он созвал его, не должен был бы проявлять особого рвения к восстановлению его названия, тем более, что папа дал ему другое, совершенно равноценное наименование. Между тем его стремление к конфликтам заставило его почерпнуть в этом опущении слова “собор” новый повод для нападков на святейшего отца, часто упоминавшийся им в беседах, хотя, конечно, не в этом заключалась основная причина его отказа и его гнева.

Епископы, посланные в Савону, еще долго, вопреки своему желанию, оставались там. Они вернулись в Париж лишь в начале весны 1812 года. Император хотел, как он говорил, наказать их за проявленное ими неумение. Членов собора даже не собрали в Париже, чтобы уведомить о том, что произошло в Савоне; 2 октября 1812 года им приказали через

министра полиции вернуться в свои епархии, что они и сделали. Ничего не было опубликовано ни по поводу переговоров или собора, ни по поводу папского послания. Каждому было предоставлено сделать из этой путаницы те выводы, какие он пожелает; а затем все стали интересоваться другим.

Обращение, которому подвергали в Савоне святейшего отца зимой 1811—1812 года и следующей весной, было по-прежнему сурово. В этот период при появлении английской эскадры возникли, кажется, опасения, чтобы она не увезла папу, и император отдал приказ перевести его в Фонтенебло. Несчастный старец покинул Савону 10 июня; его заставляли день и ночь совершать путь. В странноприимном доме на Мон-Сени он серьезно заболел, но тем не менее его принудили продолжать путешествие. Его заставили надеть одежды, которые помешали бы узнавать его. От публики тщательно скрыли путь, которым он ехал, и в этом отношении была соблюдена такая полная тайна, что по прибытии его 19 июня в Фонтенебло привратник, не предупрежденный об этом и потому ничего не подготовивший, должен был принять его в своей собственной квартире. Святейшему отцу понадобилось довольно много времени, чтобы оправиться от утомления, вызванного этим тягостным путешествием и по меньшей мере бесполезными жестокостями, которым его подвергли.

Кардиналы, не впавшие у Наполеона в немилость и находившиеся в Париже, а также турский, эвреский и трирский епископы получили приказание отправиться к папе. Говорили, что он выразил пожелание, чтобы кардинал Мори был несколько более умерен в своих посещениях. Распространился слух, что папа будет доставлен в Париж, и даже были сделаны большие приготовления к приему его в архиепископском дворце, куда он, однако, не прибыл.

Русская кампания, отмеченная столькими бедствиями, приближалась к концу. Император, вернувшийся 18 декабря 1812 года в Париж, все еще питал несбыточные надежды и обдумывал, вероятно, грандиозные планы. Но прежде, чем посвятить себя им, он хотел опять вернуться к церковным делам, потому ли, что он раскаивался в том, что не закончил их в Савоне, потому ли, что ему пришла фантазия доказать, что за двухчасовое свидание с папой он достигнет большего, чем сделали собор, его комиссии и самые ловкие делегаты. Между тем он заранее предпринял шаги, которые должны были облегчить его личные переговоры с папой. В течение уже нескольких месяцев святейший отец был окружен кардиналами и прелатами, которые по убеждению или из покорности императору изображали церковь в таком состоянии анархии, которое угрожало, по их словам, ее существованию. Они без конца твердили папе, что, если он не сблизится с императором, чтобы найти поддержку в его могуществе и пресечь зло, раскол станет неизбежен. Наконец, папу, обремененного годами, немощью, тревогами и заботами, которыми старались воздействовать на его дух, хорошо подготовили к сцене, которую Наполеон задумал разыграть и которая должна была обеспечить то, что он считал успехом.

19 января 1813 года император в сопровождении императрицы Марии-Луизы неожиданно прибыл в покои святейшего отца, устремился к нему и порывисто обнял его. Удивленный и тронутый Пий VII позволил после некоторых объяснений увлечь себя и дал согласие на условия, скорее предписанные, чем представленные ему. Они были облечены в форму одиннадцати статей, которые еще не представляли собой конкордата, но должны были служить основой для нового соглашения. Император и папа поставили 24 января свои подписи под этим странным документом, лишенным общепринятой дипломатической формы, потому что оба государя заключили соглашение непосредственно друг с другом.

В этих статьях говорилось следующее: папа будет осуществлять первосвященство во Франции и Италии; его послы и аккредитованные при нем лица будут пользоваться всеми дипломатическими привилегиями; те его поместья, которые не отчуждены, будут освобождены от налогов, а отчужденные будут возмещены ему в пределах до

двухмиллионного дохода; папа будет производить назначения на епископские кафедры во Франции, как и в Италии, с последующей рекомендацией назначенных лиц; *пригородные* епископства будут восстановлены и назначения на них будут производиться папой, а те имущества этих епископских кафедр, которые не проданы, будут возвращены им; римским епископам, отсутствующим из своих епархий в силу обстоятельств, папа сможет давать епископства *in partibus*(12); им будет выдаваться содержание, равное их прежнему доходу, пока они не получат назначения на свободные кафедры; если это потребуется, император и папа в надлежащий момент условятся друг с другом о сокращении территории тосканского и геновского епископств, как и об учреждении епископских кафедр в Голландии и в ганзейских провинциях; дело пропаганды, пенитенциарная часть и архивы будут сосредоточены в резиденции святейшего отца; наконец, его императорское величество возвращал свою благосклонность кардиналам, епископам, священникам, мирянам, навлекшим на себя его недовольство в результате происшедших событий.

Главная статья, на которую святейший отец согласился в Савоне, естественно, тоже была внесена, и она была изложена в следующих выражениях: *“В течение шести месяцев, следующих за обычным объявлением о произведенном императором назначении на архиепископства и епископства империи и Итальянского королевства, папа дает церковную инвеституру в согласии с конкордатами и в силу настоящего своего разрешения. Предварительное сообщение делается архиепископом. Если папа не даст инвеституры до истечения шести месяцев, то архиепископ, а за отсутствием его или когда дело идет о назначении архиепископа, — старейший епископ округа совершит возведение в сан назначенного епископа так, чтобы кафедра никогда не оставалась незанятой более года”*. Таково было содержание четвертой статьи.

В последней статье святейший отец заявлял, что его привели к вышеуказанным решениям соображения, вытекающие из современного положения церкви, и уверенность, внушенная ему его величеством, что он окажет свое могущественное покровительство столь многочисленным в настоящее время нуждам религии.

Известие о подписании этого договора вызвало у публики чувство большого удовлетворения. Но радость папы была, кажется, непродолжительна. Он едва успел принести жертвы, которые требовались от него, как уже испытал чувство большой горечи; оно могло лишь усугубляться, по мере того как изгнанные и заточенные кардиналы — Консальви, Пакка, Пьетро и другие — получали свободу и право отправиться в Фонтенебло. Я не претендую на знание того, что произошло тогда между святейшим отцом и этими кардиналами, но Наполеон был, вероятно, предупрежден по некоторым признакам о предстоящем; дело в том, что, несмотря на взятое им в отношении папы обязательство считать подписанные одиннадцать статей лишь предварительными, не подлежащими опубликованию, он тем не менее решил сообщить о них в послании, которое великий канцлер должен был передать сенату.

Эта преждевременная огласка акта, о подписании которого папа так глубоко сожалел, ускорила его отказ от него, о чем он сообщил императору в послании от 24 марта 1813 года. Не знаю, какими доводами святейший отец обосновал этот отказ, но можно лишь сожалеть о слабости, руководившей его поведением в данном вопросе и заставившей его по истечении столь короткого срока согласиться на отказ от своих действий. Лучшее объяснение, которое можно дать такому поведению, это то, что вследствие физического и морального расслабления его дух покорился требованиям Наполеона и что силы вернулись к нему, лишь когда он увидел себя окруженным своими верными советниками. Можно сожалеть об этом, но кто сочтет себя вправе порицать его?

Хотя и очень раздраженный отказом, император решил и на этот раз, что в его интересах не дать делу огласки, и по внешнему виду он не придавал ему значения. Он издал два декрета, один от 13 февраля, а другой от 25 марта 1813 г. Первый объявлял новый конкордат, подписанный 25 января, государственным законом; второй устанавливал его

обязательность для архиепископов, епископов и капитулов и как вывод из четвертой статьи этого конкордата предписывал архиепископам дать назначенным епископам инвеституру; в случае отказа им грозило привлечение к суду трибунала.

Свобода, на короткое время предоставленная святейшему отцу, была снова ограничена, и кардинал Пьетро возвратился в изгнание. Вскоре затем Наполеон отправился в Германию руководить кампанией 1813 года, подготовившей войну, которая должна была привести позднее к его гибели.

Декреты, изданные *ab irato*, не выполнялись, и колебания успеха в кампании 1813 года побудили императорское правительство к нескольким попыткам завязать с папой переговоры, которые ни к чему не привели. Дело, таким образом, затянулось, и не было видно никакого выхода, когда 23 января 1814 года вдруг распространился слух, что папа покинул в тот же день Фонтенебло и возвратился в Рим.

Наполеона сильно теснили тогда союзные войска, вступившие во Францию, но так как он рассчитывал на победу, то мотивы такого неожиданного и поспешного решения казались непонятны. Между тем оно вполне объяснимо. Мюрат, покинувший императора и заключивший, как мы уже говорили, соглашение с союзниками, занимал тогда Церковную область; понятно, что в своем негодовании против Мюрата Наполеон предпочел возвращение папы в свое государство его переходу в руки его шурина.

В то время как Пий VII находился в пути, а император воевал в Шампани, декрет от 10 марта 1814 года объявил о возвращении папе той части его владений, из которой были образованы Римский и Тразименский департаменты. Лев, хотя и сраженный, не желал еще выпустить всей добычи, надеясь удержать ее.

Путешествие святейшего отца не обходилось без превратностей и затруднений; временное правительство, которое я имел честь возглавлять, было вынуждено распорядиться 2 апреля 1814 года, чтобы всем этим помехам был положен предел и чтобы римскому папе отдавали в пути принадлежащие ему по праву почести.

Нужно сказать, что вице-король Италии Евгений принял папу почтительно и что даже Мюрат не осмелился препятствовать возвращению ему его владений, хотя он и занимал их своими войсками.

Папа прибыл 30 апреля в Чезену, 12 мая — в Анкону, а 24 мая 1814 года он совершил торжественный въезд в Рим.

Излагая так пространно, как я это сделал, переговоры между императором и папой, я преследовал двойную цель: я хотел показать, как далеко могла страсть увлечь Наполеона, когда он встречал сопротивление, основанное даже на добром праве, и доказать, что в изложенном здесь вопросе он был одинаково не прав по существу и по форме; установить это, как я думаю, нетрудно: я полагаю, что мне не нужно ничего добавлять, чтобы показать, насколько недоброжелательно было все поведение, усвоенное им с 1806 года в отношении папы; факты, описанные мною с беспристрастием и со всем тем хладнокровием, какое возможно при изложении таких недостойных преследований, говорят сами за себя; настаивая на этом, можно только ослабить впечатление. Но я считаю еще более необходимым указать на громадные ошибки, совершенные Наполеоном в его сношениях с римским двором с точки зрения общей политики.

Когда в 1801 году Наполеон восстановил во Франции культ, он не только совершил акт справедливости, но и проявил большое политическое искусство, потому что этим он немедленно привлек к себе симпатии католиков во всем мире, конкордатом же, заключенным с Пием VII, он укрепил на прочной основе мощь католичества, потрясенную на короткое время французской революцией; усилению его должно способствовать всякое разумное французское правительство, хотя бы лишь для того, чтобы противопоставить его распространению протестантизма и влиянию греческой церкви. А в чем же главная сила католицизма, как и всякой власти, если не в единстве и независимости? Между тем оба эти источника силы Наполеон пожелал подорвать и уничтожить в тот день, когда, влекомый самым безрассудным честолюбием, он вступил в борьбу с римским двором. Он



подрывал единство католической церкви, стремясь лишить папу права давать инвеституру епископам, и ослаблял ее независимость, вырывая у папского престола его светскую власть.

Выдача папой инвеституры епископам — единственная действительная связь, соединяющая католические церкви всего мира с Римом. Это она поддерживает единообразие церковных доктрин и уставов, допуская к епископату только тех, кого римский папа признает способными охранять их и защищать. Представим себе на мгновение эту связь порванной, и раскол окажется неизбежным. Наполеон был в этом отношении тем более повинен, что он имел перед собой опыт Учредительного собрания. Каково бы ни было мое участие в этом деле, я не боюсь признать, что гражданское устройство духовенства, декретированное Учредительным собранием, представляло собой, может быть, самую большую политическую ошибку этого собрания: об ужасных преступлениях, бывших его следствием, я не буду напоминать здесь. Имея перед собой такой пример, было непозволительно впасть в ту же самую ошибку и возобновить против Пия VII преследования, которыми Конвент и Директория действовали против Пия VI и которые сам Наполеон так сурово и справедливо осудил. Поэтому не может быть никакого извинения для его образа действий в этом вопросе. Напрасно стали бы мне возражать, что существовали беспокойные папы, злоупотреблявшие правом выдачи епископам инвеституры и превратившие его в орудие борьбы с правительствами, даже с католическими. На это я могу ответить, что это верно, но что правительства выпутались из этого затруднения, что если бы им снова пришлось испытать его, они действовали бы так же; между тем создание реальной опасности для предупреждения возможного злоупотребления — плохая политика. Добавим, что Наполеону было менее простительно, чем кому бы то ни было, действовать так, как поступал он; в Пие VII он встретил самую неожиданную уступчивость при разрешении церковных вопросов, а также снисходительность и кротость, которым папа ни разу не изменил, несмотря на столь враждебный образ действий в отношении него: булла об отлучении — лишь инцидент, лишенный всякого значения. Какова же была вина Наполеона в этом случае, если, несмотря на его похвальбу, что он всюду создает Англии врагов, как некогда Митридат создавал их римлянам, он сделал из папы союзника англичан? Каковы были ошибки императора, если ему пришлось хотя бы в течение одного момента опасаться, что англичане увезут из Савоны его жертву?

Уничтожение светской власти папы путем поглощения Церковной области великой империей было в политическом отношении не меньшей ошибкой. Совершенно очевидно, что глава религии, столь широко распространенной во всем мире, как католическая, нуждается в совершенной независимости, чтобы беспристрастно пользоваться своей властью и влиянием. В современных условиях, при территориальных разделах, возникших в ходе истории, и политических осложнениях, порожденных цивилизацией, эта независимость может существовать только, если она обеспечена светской властью пап. Попытка вернуться к первоначальным временам церкви, когда папа был просто римским епископом, потому что христианство ограничивалось Римской империей, была бы столь же бессмысленна, как и стремление Наполеона превратить святейшего отца во французского епископа. Что случилось бы тогда с католицизмом во всех тех странах, которые не входят во Французскую империю? Если бы папа очутился во власти Австрии или какой-либо другой католической державы, как бы отнеслась к этому Франция? Могла бы она верить в его полное беспристрастие и независимость? Какие бы иллюзии ни строил себе Наполеон о силе и прочности своей власти, сосредоточенной в его собственных руках или в руках его преемников, ему не следовало создавать столь опасного прецедента, который мог в известный момент стать роковым для Франции. 1814 год доказал, что тут не было ничего невозможного.

Я останавливаюсь: мною сказано достаточно, чтобы показать все то зло, какое ненасытное тщеславие императора готовило Франции в будущем. Но—спросят, может

быть, революционеры из тех, какие существовали в 1800 году, — зачем было в таком случае восстанавливать религию и папство? Наполеон сам заранее ответил им заключением конкордата 1801 года; но это был Наполеон поистине великий, просвещенный, руководимый своим прекрасным гением, а не яростными страстями, позднее погубившими его.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Здесь имеется в виду казнь королевы Марии-Антуанетты в 1793 г., в эпоху революции. Она приходилась родною теткою предполагаемой невесте Наполеона — Марии-Луизе.
- (2) Маршал Ланн был убит при Эсслинге, а не при Ваграме.
- (3) Филипп V был посажен на испанский престол дедом своим, французским королем Людовиком XIV, после долгой войны “за испанское наследство” (1701—1713) (см. примечание 19 к главе I).
- (4) Он вернулся в Неаполь еще в начале 1813 г., против воли Наполеона, бросив командование остатками “великой армии”, отступавшей из России и уже находившейся в Германии.
- (5) Наполеон предоставил в 1806 г. голландский престол своему брату Людовику для того, чтобы обеспечить соблюдение Голландией континентальной блокады. Однако Людовик Бонапарт, вынужденный считаться с интересами торгово-промышленных кругов Голландии, не стремился строго выдерживать блокаду. Для оказания давления на Голландию Наполеон отнял у нее торговый порт Флиссинген; так как положение оставалось прежним, Наполеон присоединил к Франции Зеландию и Брабант и по договору 16 марта 1810 г. установил, что охрана голландского побережья будет производиться Францией, для чего она введет туда корпус своих войск. Людовик, подписав договор, хотел сопротивляться его проведению в жизнь, но вынужден был уступить и отречься, а Голландия была 1 июля 1810 г. присоединена к империи.
- (6) Принц Вюртембергский, поссорившись с королем Фридрихом, своим отцом, жил в это время при кассельском дворе, у Жерома Бонапарта, женатого на принцессе Катерине Вюртембергской.
- (7) Речь идет о Вильгельме IX, великом герцоге Гессен-Кассельском, низложенном в 1803 г. После падения Наполеона он был восстановлен в своих владениях.
- (8) Епископы, отказавшиеся от отставки, собрались не в 1803 г., а в 1801 г. в Лондоне и послали папе протест против конкордата, подписанный четырнадцатью епископами. В апреле 1804 г. Диллон, архиепископ нарбонский, снова послал папе протест против конкордата, причем его письмо сопровождалось “декларацией о правах короля”, подписанной теми же лицами, что и протест 1801 г. Подписавшиеся заявляли, что Людовик XVIII сохраняет все права на французскую корону, предоставленные ему богом, и что ничто не может освободить его подданных от верности своему государю, предписываемой божественным законом.
- (9) Архиепископ реймский, о котором здесь говорится, — Талейран-Перигор, дядя автора (см. указатель).
- (10) Собрание духовенства было созвано не в 1682 г., а в 1681 г.
- (11) “Истинное послушание матери и владычице всех других церквей”.
- (12) Епископами *in partibus* называются те, которые носят это звание как почетный титул, не дающий права ни на какую юрисдикцию.

#### ***Пятая глава* ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ. РЕСТАВРАЦИЯ (1813—1814 годы)**

Теперь необходимо, чтобы читатель перенесся обратно в ту эпоху царствования Наполеона, в которую он мог, по моему мнению, искусным устройством испанских дел

достигнуть общего мира и освятить свою собственную власть.

Наполеон достиг верховной власти при содействии всех сил, объединившихся против анархии; он был избран благодаря блеску его побед, в которых заключались все его права на власть; поражения уничтожили их, в то время как славный мир узаконил бы эти права и укрепил их. Но введенный в заблуждение собственным воображением, преобладавшим у него над рассудком, он говорил в напыщенном тоне, что вокруг Франции должен быть возведен оплот из тронов, занятых членами его семьи, чтобы заменить линию крепостей, созданную некогда Людовиком XIV. Среди своих министров и царедворцев он находил людей, которые одобряли эту причуду, причем большинство этих лиц было в прошлом членами Конвента и Совета старейших... Но здравый смысл народных масс во Франции заставлял их стремиться к сохранению одних действительно полезных результатов революции, то есть к удержанию гражданских свобод, от которых император едва лишь оставил внешние формы, всегда ставя свою деспотическую власть над законом.

Успехи ослепили его до такой степени, что он не заметил, как вовне и внутри страны он довел до крайностей ту политическую систему, с которой он себя так безумно связал; он утомил как Францию, так и другие народы и заставлял их искать помимо него гарантии, которые обеспечили бы всем общий мир, а французам еще, сверх того, пользование их гражданскими правами.

Все его предприятие против Испании было безрассудно. Зачем надо было разорять сочувствующую и преданную ему страну? Неужели только для того, чтобы завладеть одной ее частью, предоставив в то же время ее богатые колонии Англии, которую он стремился истребить или по крайней мере ослабить? Не очевидно ли, что если бы даже все провинции этого полуострова были вынуждены склониться под ярмо Франции и признать королевскую власть брата Наполеона, то испанские колонии восстали бы по собственной инициативе или по побуждению Англии? Политическое мастерство заключалось бы в ту эпоху в такой изоляции Великобритании, которая лишила бы ее всяких связей с континентом и всякой возможности установить отношения с новыми колониями. Наполеон, напротив, открыл перед ней, благодаря испанской войне, как европейский континент, так и американские колонии.

Восстанавливая в памяти все то, что более всего поражало меня на протяжении тех двадцати лет, о которых я только что говорил, я часто задавал себе вопрос, что случилось бы, если бы император сумел на известном этапе своего поприща остановиться, изменил систему и занялся укреплением своей власти.

Разве после того, как он заключил мир в Люневиле, подписал первый договор с Россией, заключил Амиенский мир с Англией и заставил все европейские державы признать империю, для него не открылись все возможности? Франция приобрела тогда новые границы, на которые Европа должна была согласиться; внутренняя оппозиция умолкла, религия заняла свое место в государстве.

Такое положение явно не оставляло династии Бурбонов никаких надежд.

Если эта мысль является иногда Людовику XVIII, то какую благодарность должен он чувствовать к провидению и как должен он заботиться о счастье и благоденствии Франции! Пусть он подумает на минуту о том, что должно было случиться после 1803 года для того, чтобы он мог вернуться!

Надо было, чтобы умом Наполеона сразу завладели всевозможные иллюзии, чтобы он непредусмотрительно предался самым рискованным предприятиям, чтобы он начал по капризу создавать троны и по капризу же лишать их всякой надежды на устойчивость и чтобы он создал себе врагов из тех именно лиц, которых он возводил на эти троны. Надо было, чтобы для разрушения доверия к себе Франции и других народов он навязал им сначала республиканские, затем монархические учреждения и кончил подчинением их своему деспотическому господству.

Надо было, наконец, чтобы он оставил народам, которые легко находят пути к взаимному пониманию, одно лишь печальное утешение в виде права последовательно

презирать те разнообразные формы правления, которые сменялись на их глазах, и чтобы он не замечал, как из этого презрения среди народов возникал дух восстания, а вскоре затем и жажда отмщения.

Но если мы даже минуем 1803 год и остановимся на 1807 году, когда император одержал одну за другой победы над Австрией, Пруссией и Россией и сосредоточил в своих руках судьбы Европы, то и тогда надо указать на ту великую и благородную роль, какую он мог еще сыграть.

Наполеон был первый и единственный, кто мог дать Европе то настоящее равновесие, которое она тщетно ищет в течение нескольких веков и которое теперь дальше от нее, чем когда бы то ни было.

Для этого надо было лишь: 1) способствовать объединению Италии, переведя в нее баварский царствующий дом; 2) разделить Германию между Австрией, которая расширилась бы до устьев Дуная, и бранденбургской династией (1), владения которой следовало увеличить; 3) восстановить Польшу, передав ее саксонскому дому.

Обеспечив подлинное равновесие, Наполеон мог бы дать европейским народам такую организацию, которая соответствовала бы истинным нравственным законам. Действительное равновесие сделало бы войну почти невозможной, а правильная организация возвела бы просвещение у всех народов на высшую достижимую для них ступень.

Наполеон мог бы все это совершить, но не совершил. Сделай он это, признательные народы возвели бы ему памятники и оплакивали бы его смерть. Вместо этого он подготовил тот порядок вещей, который мы сейчас наблюдаем, и вызвал ту опасность, которая угрожает Европе на востоке. По этим результатам и должны будут его судить. Потомство скажет о нем: этот человек был наделен очень сильным рассудком, но он не понял, в чем заключается истинная слава. Его моральная сила была очень мала или даже ничтожна. Он не умел проявить умеренности в моменты успеха и с достоинством перенести превратности судьбы; у него не хватало моральной силы, почему он и составил несчастье Европы и свое собственное.

Находясь в течение стольких лет в гуще его планов и, так сказать, в самом кратере его политики, я был свидетелем всего, что делалось и готовилось против него; потому мне было нетрудно предвидеть, что страны, заново устроенные по его законам, и новые государства, подчиненные власти его семьи, нанесут первый удар его могуществу. Должен сознаться, что подобное зрелище не могло не вызвать во мне неприятного чувства горечи. Я любил Наполеона, даже чувствовал привязанность к его личности, несмотря на его недостатки; в начале его возвышения я чувствовал себя привлеченным к нему той непреодолимой обаятельностью, которой великий гений обладает; его благодеяния вызывали во мне искреннюю признательность. Зачем бояться признания?.. Я пользовался его славой и ее отблесками, падавшими на тех, кто ему помогал в его благородном деле. Я могу также засвидетельствовать, что служил ему с преданностью и, поскольку это зависело от меня, с просвещенной преданностью. В ту эпоху, когда он умел выслушивать правду, я ему ее лояльно высказывал. Я говорил ему правду даже позже, когда надо было прибегать к особым мерам, чтобы она до него дошла; немилость, которой я заплатил за свою откровенность, дает мне оправдание перед собственной совестью в том, что я отстранился сначала от его политики, а затем, когда он уже стал представлять опасность для судеб моего отечества, то и от него лично.

Когда, отвергая всякое разумное соглашение, Наполеон бросился в 1812 году в роковой поход против России, всякий рассудительный человек мог заранее указать день, когда, преследуемый оскорбленными им державами, он будет вынужден перейти Рейн и утратит власть, дарованную ему судьбой. Победенный Наполеон должен был исчезнуть с мировой сцены; такова судьба узурпаторов, потерпевших поражение. Но сколько опасностей должно было возникнуть для Франции после ее поражения! Какими средствами можно было бы отвратить угрожавшие ей страдания? Какую форму правления

следовало бы ей принять, чтобы противостоять этой ужасной катастрофе? Все это составляло важный предмет размышления для каждого доброго француза; те, которых обстоятельства или, если угодно, тщеславие призвали уже ранее, в другую пору, оказывать воздействие на судьбы своей страны, были обязаны посвятить себя этим мыслям. Я считал себя вправе предаваться им в продолжение уже нескольких лет; по мере того как я наблюдал приближение ужасной развязки, я изучал и комбинировал все с большим вниманием и тщательностью те средства, которые еще оставались в нашем распоряжении. Это не означало ни предательства мною Наполеона, ни составления против него заговоров, хотя он не раз меня в этом обвинял. Я составлял заговоры лишь в те эпохи моей жизни, когда моими сообщниками было большинство французов и когда я мог вместе с ними искать путей к спасению родины. Недоверие ко мне Наполеона и его оскорбления не меняют ничего в истинном положении вещей, и я громко повторяю: никогда не существовало опасных для него заговорщиков, кроме него самого. Тем не менее в течение последних лет своего царствования он установил за мной самое гнусное наблюдение. Оно одно доказывает невозможность для меня в то время участвовать в заговорах, даже если бы у меня и была к ним склонность.

Меня извинят, если я напомним случай, относящийся к этому наблюдению, который мне пришел сейчас на память и который показывает, во что полиция императора превращала частную жизнь с присущей ей интимностью. Однажды вечером, в феврале 1814 года, у меня собралось в гостиной несколько человек, среди которых находился барон Луи, архиепископ Малина — Прадт, Дальберг и некоторые другие лица. Беседовали понемногу обо всем, но в особенности о важных событиях того периода, которые, естественно, занимали тогда все умы. Вдруг дверь с шумом отворяется, и, не давая камердинеру времени для доклада, в середину комнаты устремляется министр общей полиции, генерал Савари, восклицая: “Так вот, я захватываю вас всех на месте преступления, в момент составления заговора против правительства!” Как он ни старался придать серьезность своему голосу при этом заявлении, мы скоро заметили, что он хотел пошутить, пытаясь в то же время, по возможности, открыть что-нибудь такое, что могло бы послужить материалом для его докладов императору по делам полиции. Однако ему не удалось привести нас в замешательство; между тем положение вещей с избытком оправдывало высказанное ему всеми нами беспокойство, вызывавшееся опасным положением Наполеона и теми последствиями, к которым оно могло привести. Я склонен думать, что если бы император не пал, то генерал Савари не преминул бы подчеркнуть перед ним смелость, и, как он сам полагал, ловкость своего поведения в этом случае. У министра полиции, несомненно, гадкое ремесло.

Поведение Наполеона в отношении меня отличалось той странностью, что именно в те периоды, когда у него было больше всего подозрений против меня, он стремился приблизить меня к себе. Так, в декабре 1813 года он просил меня снова принять портфель министра иностранных дел, что я решительно отклонил, так как мне было ясно, что нам никогда не удастся сговориться хотя бы о способе выпутаться из того лабиринта, в который его вовлекли его безумства. Спустя несколько недель, в январе 1814 года, перед отбытием в армию, когда Коленкур уже отправился на конгресс в Шатильон, император стал работать почти каждый вечер с Бенардьером, который в отсутствие Коленкура вел дела министерства иностранных дел. Во время этих бесед, затягивавшихся далеко за полночь, император нередко пускался в странные откровенности. Так, прочтя те депеши, в которых герцог Виценский давал отчет о ходе переговоров в Шатильоне, он несколько раз повторил: “Ах, если бы там был Талейран, он выпутал бы меня из этого дела!”

Он ошибался, так как я мог выпутать его, лишь согласившись под свою личную ответственность на условия врагов, что я, вероятно, и сделал бы, но если бы он имел в этот день самый ничтожный военный успех, он не утвердил бы мою подпись. Бенардьер рассказал мне о другой сцене, при которой он присутствовал и которая настолько характерна, что я должен ее передать.

Мюрат ставил условием своей верности делу шурина, чтобы ему отдали Италию до правого берега По. Он написал несколько писем Наполеону, который ему не отвечал, на что он с горечью жаловался, считая это знаком презрения. “Почему, — спросил Бенардьер у императора, — ваше величество дает ему такой удобный предлог, и какую помеху видите вы если не к тому, чтобы предоставить ему желаемое, то хотя бы к тому, чтобы польстить ему надеждой?”

Император ответил: “Разве я могу отвечать безумному? Как он не понимает, что лишь мое неограниченное господство могло помешать папе вернуться в Рим; все державы заинтересованы в его возвращении, а теперь в этом заинтересован и я. Мюрат идет к гибели; я буду вынужден подать ему милостыню, но я все же посажу его в тюремную яму, чтобы не оставить безнаказанной такую черную неблагодарность”. Как можно так хорошо понимать заблуждения других и не отдавать себе отчета в своих собственных?

Я сказал выше, что Наполеон составлял заговоры против самого себя, и я могу доказать совершенную правильность этого утверждения; ведь установлено, что до последней минуты, предшествовавшей его гибели, спасение зависело лишь от него самого. Как я уже говорил, он мог не только в 1812 году укрепить навсегда свою власть, установив общий мир, но еще и в 1813 году имел в Праге возможность достичь если и не таких блестящих, как в 1812 году, то все же довольно выгодных условий; наконец, уже в 1814 году, на конгрессе в Шатильоне, он мог, если бы только умел вовремя уступить, заключить мир, полезный для Франции, находившейся в отчаянном положении, что позволило бы ему восстановить затем, хотя бы отчасти, свое величие. Ужас, который он сумел внушить всем кабинетам, поддерживал у них до последней минуты решимость идти на переговоры с ним. Это требует некоторых пояснений, и я укажу здесь обстоятельства, хорошо мне известные и подтверждающие правильность моих утверждений. Прежде всего надо перенестись на испанскую границу, где французская армия так мужественно выдерживала неравную борьбу с соединенными английскими, испанскими и португальскими войсками, а затем обратиться к равнинам Шампани.

Крепость Сан-Себастьян была взята в конце августа 1813 года, а крепость Памплона сдалась в последние дни октября; герцог Веллингтон считал, что с этой стороны Испания избавилась от врагов, и, зная о битве под Лейпцигом и о следствиях, которые она должна была за собой повлечь, он решил перенести войну на французскую территорию для того, чтобы содействовать, в меру возможного, торжеству общего дела Европы; вопрос об Испании имел в то время лишь второстепенное значение.

В середине ноября он перешел Бидассоа, несмотря на энергичное сопротивление французской армии, которой командовал маршал Сульт. Его главная квартира водворилась в первый день в Сен-Пе, маленькой пограничной деревушке.

Стояла ужасная погода, шел ливень, и это заставило армию задержаться, а главную квартиру — остаться в Сен-Пе. Случайно в этой деревне оказался священник острого ума и деятельного характера, преданный Бурбонам и сочувствующий восстановлению королевской власти. Он эмигрировал в Испанию в начале революции и вернулся во Францию лишь после заключения конкордата. Имя аббата Жюда — так его звали — было очень популярно среди басков и уважаемо испанцами. Так как плохая погода не позволяла герцогу Веллингтону выходить из дому, то скука и одиночество заставляли его искать общества аббата, у которого он квартировал.

Их разговор, естественно, обратился к положению, в котором находилась Франция, и к господствовавшим там настроениям. Священник, не колеблясь, утверждал, что народ устал от войны, которой не предвидится конца, что он особенно раздражен призывом новобранцев, сильно жалуется на тяжесть обложения и, наконец, что он желает какой-нибудь перемены, подобно больному, жаждущему переменить свое положение в постели в надежде найти облегчение:

“Колосс стоит на глиняных ногах, — говорил аббат Жюда, — нападите на него смело и решительно, и вы увидите, что он рухнет скорее, чем вы думаете”.

Эти разговоры убедили герцога Веллингтона в необходимости напасть на Францию одновременно со всех границ, для того, чтобы добиться от главы правительства почетного и прочного мира; он сообщил этот план своему правительству.

О Бурбонах вопроса не подымалось, так как было очевидно, что они уже забыты и совершенно неизвестны новому поколению. Однако все же было проверено впечатление, какое может произвести внезапное появление одного из принцев на какой-либо части французской территории, чтобы установить, как следует поступать в будущем; этим объясняется прибытие герцога Ангулемского в главную квартиру в Сен-Жан-де-Люс в начале января 1814 года.

Герцог Ангулемский был очень хорошо принят главнокомандующим, что было вполне естественно, а также мэром города Сен-Жан и духовенством, но на народ его прибытие не произвело никакого впечатления, а возбудило в нем лишь любопытство. По воскресным дням, когда он шел в церковь, на его пути толпился народ, не проявлявший к нему никаких чувств и не подававший никаких знаков одобрения или осуждения. Если кто-нибудь и предлагал ему свои услуги или заверял в преданности, то это хранилось в тайне и внешне ни в чем не проявлялось.

Так продолжалось до тех пор, пока в середине января в Сен-Жан-де-Люс не высадился прибывший из Лондона сэр Генри Банбери, помощник статс-секретаря по военным делам; помимо разных других важных поручений, он должен был известить герцога Веллингтона о принятии Англией предложенных во Франкфурте союзными государями основ общего мира. Кроме того, он должен был сообщить о необходимости предупредить и сдержать замышлявшееся под покровительством Англии восстание народа против существующего правительства, с которым уже начались переговоры. Английское правительство руководствовалось весьма серьезными соображениями, не желая возбуждать восстания у народов, которые были бы предоставлены по заключении мира мести правительства Наполеона. Англия так энергично настаивала на этой точке зрения, что положение герцога Ангулемского в главной квартире стало крайне ложным и весьма обременительным для главнокомандующего. В результате его не пригласили участвовать в подготовлявшихся операциях, как это первоначально предполагалось. Когда в начале февраля было предположено перейти Адур для нападения на французскую армию и для осады Байонны, решили оставить герцога Ангулемского в Сен-Жан-де-Люс, вдали от театра военных действий.

В тот момент, когда приступали к переходу горных потоков, к главнокомандующему явились разные лица из Бордо, — и среди них Рошжаклен, — которые энергично настаивали на необходимости возбудить движение в пользу Бурбонов и подчеркивали расположение к ним города Бордо. Принца они видели в Сен-Жан-де-Люс, а герцога Веллингтона несколько раз в Сен-Пале, близ которого он находился. Они пытались склонить его к возбуждению этого движения и к покровительству ему, но он оказался непоколебим в своем отказе, вытекавшем из инструкций, полученных им от его правительства.

27 февраля французы были разбиты в сражении под Ортесом, что открыло врагу всю область Ланд до Бордо. Герцог Веллингтон, стремившийся установить со своей страной более легкую непосредственную и открытую связь, решил занять Бордо военной силой и отправил туда седьмую дивизию под начальством лорда Дальгазауай.

Просьбы и настояния относительно возбуждения движения в пользу Бурбонов возобновились с еще большей настойчивостью, и из Бордо прибыли новые лица, убеждавшие начать это движение в связи с военной оккупацией.

Герцог Веллингтон не считал нужным противодействовать, но, желая осветить населению Бордо положение и уведомить его о намерениях английского правительства и его союзников, он поручил это дело генералу Бересфорду, назначив его в то же время маршалом португальских войск и помощником главнокомандующего всей армией. Он обязал его в очень определенной инструкции объявить перед вступлением в город и после

его занятия, что “с императором Наполеоном ведутся переговоры о мире, что он, может быть, уже заключен и что после опубликования соглашения союзная армия удалится из страны и никому не сумеет оказать помощи, так что жители Бордо должны сами решать, готовы ли они взять на себя весь риск этого предприятия”. Такое же письменное сообщение было сделано обоим правительствам полуострова. Накануне своего вступления в Бордо маршал Бересфорд заявил то, что было сейчас изложено, мэру Линчу, выехавшему вместе с несколькими другими лицами навстречу герцогу Ангулемскому, который последовал за главной квартирой лорда Бересфорда.

Это заявление вызвало уныние среди большинства участников заговора, и для обезвреживания того дурного впечатления, которое оно могло произвести в публике, Линч позволил себе объявить в воззвании, что руководители движения действуют с согласия английской армии. Это вызвало очень решительный протест со стороны герцога Веллингтона, который потребовал опровержения и в конце концов добился его, несмотря на хлопоты Равеса, посланного герцогом Ангулемским в главную квартиру для того, чтобы дать объяснения. Последние не удовлетворили герцога Веллингтона, продолжавшего настаивать на отказе от выражений, употребленных Линчем, что и было сделано.

До конца марта не произошло никаких решительных событий; французы продолжали отступать перед английской армией и в конце концов были вынуждены в первые дни апреля перейти Гаронну с целью укрепиться на сильных позициях перед Тулузой у Лангедокского канала.

6 апреля, когда английская главная квартира стояла в Гренаде на левом берегу Гаронны, герцог Веллингтон получил официальное письмо от лорда Батгерста, статс-секретаря по военным делам, который ему сообщал, что “по получении этого письма мир с императором Наполеоном будет уже заключен, но что он должен продолжать свои военные действия до получения официального сообщения об этом от английских уполномоченных, находящихся в Шатильоне”.

Поэтому 8 апреля войска перешли Гаронну, а 10-го произошло сражение под Тулузой, причем обе стороны не имели никаких сведений о том, что происходит в Париже, кроме сообщения о вступлении союзников в столицу, которое тулузские власти расклеили на перекрестках.

После сражения французы очистили в ночь с 11-го на 12-е город; герцог Веллингтон был настолько убежден в том, что мир с Наполеоном подписан, что не скрыл своего неодобрения, получив около десяти часов утра, когда он сел на лошадь для вступления в город, официальное сообщение, что провозглашены Бурбоны и на Капитолии свергнут бюст Наполеона и водружено белое знамя; он указал, что до совершения подобных действий город должен был спросить у него совета, и снова повторил то, что уже говорил жителям Бордо. Он держал такую же речь перед муниципальным управлением Тулузы, сойдя с лошади в Капитолии, после того как национальная гвардия встретила его со знаменами Бурбонов. Выражения герцога были ясны и точны и не допускали никакого уклончивого толкования. Но к трем часам дня из Бордо прибыл английский полковник Фредерик Понсонби, посланный впереди Сен-Симона и полковника Кука, которые были отправлены временным правительством для извещения обеих армий о событиях, происшедших в Париже, то есть об отречении императора и восстановлении Бурбонов.

Тогда временное правительство обвинили в том, что оно запоздало сообщить армиям о таких важных событиях и не предупредило пролития крови в сражении под Тулузой. Но это обвинение было необоснованно, так как временное правительство без промедления отправило Сен-Симона и полковника Кука с поручением известить обе армии об отречении императора и восстановлении Бурбонов. Даты на их депешах с очевидностью доказывают, что они прибыли бы вовремя для спасения жизни стольких несчастных, если бы после задержки их в Орлеане и отправки в Блуа, где находилась императрица Мария-



Луиза, им дали, наконец, возможность отправиться к месту назначения; однако вместо этого их направили в Бордо, где тогда пребывал герцог Ангулемский.

Кто хорошо изучит даты этих последних событий, увидит, что через месяц после заявления города Бордо переговоры о мире с Наполеоном не только продолжались, но даже предполагалось, что он уже заключен и подписан, согласно полученному в Гренаде письму лорда Батгерста; это позволит по достоинству оценить упомянутое заявление и малое значение, какое оно имело бы в деле ниспровержения императорского правительства и восстановления Бурбонов в случае, если бы парижские события решили вопрос иначе.

Из всех этих неопровержимых фактов явствует, что английское правительство было до последнего момента убеждено в возможности подписать в Шатильоне мир с Наполеоном; это несколько уменьшает, скажем мимоходом, заслугу, приписывавшуюся, как говорят, английскому принцу-регенту Людовиком XVIII, когда он утверждал, что после бога он обязан прежде всего регенту своим восстановлением на престоле.

Но вернемся к событиям, происходившим в Париже и в Шампани. Здесь надлежит рассказать о поручении, данном Витролю в главной квартире союзных государей. Результаты у этого поручения помогут выяснить сущность обсуждаемого мною вопроса, а что касается самого поручения, то я смогу указать, насколько верны толки, приписывающие мне участие в этом деле.

Как я уже говорил, в Париже никакого заговора против императора не затевалось, но там ощущалось общее и весьма заметное беспокойство относительно последствий, к которым могло привести как его безрассудное поведение, так и его намерение не заключать мира. Было чрезвычайно важно знать решение, которое примут союзные державы в тот день, когда они ниспровергнут власть Наполеона, что представлялось неизбежным людям, которые наблюдали ход событий вблизи. Пожелают ли они продолжать с ним переговоры? Навяжут ли они Франции другое правительство или же, предоставив ей свободу в выборе его по собственному усмотрению, предадут ее анархии, результаты которой невозможно было предусмотреть?

Я был осведомлен о некоторых речах, которые император Александр вел с великой герцогиней Стефанией Баденской, о намеках, сделанных этим государем относительно Евгения Богарнэ и притязаний Бернадота. Фуше интриговал с королевой Каролиной, супругой Мюрата. Наконец, из английских газет я узнал, что герцог Ангулемский находится в главной квартире лорда Веллингтона и что граф д'Артуа отправился в Швейцарию и находится вблизи французской границы. Во всем этом было столько противоречий, что казалось невозможным уловить какую-нибудь разумную систему, пока оставались неизвестны истинные намерения союзных держав, которые в конечном итоге, в случае своего торжества над Наполеоном, оказались бы хозяевами положения.

Таким образом, надо было знать их мнение. Для этого следовало отправить верного человека в их главную квартиру. Барон Витроль предложил свои услуги для этой деликатной и трудной миссии. Я его не знал, но он был в дружеских отношениях с Моллиеном и с Отеривом. Мне говорили о нем, как о человеке выдающемся, деятельном, проникнутом роялистскими чувствами, но признающем, однако, необходимость ввести во Франции вместе с королевской властью конституционные учреждения; я даже как будто вспоминаю, что он написал об этом брошюру, опубликованную им после восстановления Бурбонов(2).

Инструкции, полученные Витролем, касались лишь следующих двух вопросов: в предположении поражения Наполеона, которое представлялось неизбежным, ему предлагалось выяснить поведение в этом случае союзных правительств; затем надо было установить, будут ли они еще вести переговоры с императором или предоставят Франции полную свободу в выборе себе другой формы правления.

Витролю пришлось отправиться в главную квартиру союзников окольной и довольно длинной дорогой, и он прибыл туда лишь 10 марта 1814 года. Это был как раз тот день, в

который Наполеон должен был дать свой окончательный ответ на ультиматум союзных держав. Так как было признано, что его ответ сводится к проволочке и неудовлетворителен по содержанию, то уполномоченные намеревались прервать переговоры(3).

Но Коленкуру удалось вследствие его личного влияния получить отсрочку до 15 марта. Я отмечаю это, чтобы твердо установить, что миссия Витроля не оказала никакого влияния на решение союзных правительств, которые до 15 марта 1814 года упорствовали в желании вести переговоры с императором, и что лишь одно упрямство последнего помешало завершить эти переговоры.

15 марта ему еще предлагали восстановление французских границ 1789 года, а договор, заключенный в Шомоне 1 марта 1814 года, неопровержимо доказывает, что в тот момент союзные державы не помышляли о другом государе для Франции, кроме Наполеона.

В Труа Витроль встретил прежде всего Нессельроде и Стадиона. Он обрисовал им состояние умов в Париже и в незанятых еще частях Франции; затем он заявил им, что несколько лиц, которых он назвал, желают перемены и законодательных гарантий, которые обеспечили бы от насилий со стороны императора и от проявлений его необузданного характера; он указал также, что необходимо срочно принять меры, которые помешали бы Франции снова впасть в анархию.

Стадион проводил его к Меттерниху, который выслушал его и ответил, что “он желает познакомить его без всяких околичностей с мнением держав; они считают Наполеона человеком, с которым невозможно продолжать переговоры; в дни неудач он казался готовым согласиться на все, но, одержав небольшую победу, он снова заявлял притязания столь же преувеличенные, сколь недопустимые; Франции намереваются дать нового государя и установить такое положение, чтобы Австрия, Россия и Франция оказались на континенте державами равной силы, а Пруссия была наполовину слабее каждого из этих трех государств; что же касается возведения на французский трон нового государя, то невозможно остановиться на Бурбонах вследствие личных качеств принцев этого дома”.

Таков был, по словам Витроля, взгляд, высказанный Меттернихом.

Преданный Бурбонам Витроль, которого этот ответ не удовлетворил, просил Нессельроде устроить ему свидание с императором Александром, что и было сделано.

Император Александр повторил приблизительно то же самое, что говорили министры, а относительно выбора государя для Франции он добавил, что первоначально он думал водворить там Бернадота, а затем — Евгения Богарнэ, но что против этого возник ряд возражений, что, впрочем, существует намерение считаться прежде всего с желаниями самих французов и что, если они пожелают установить у себя даже республику, противодействовать им не будут. Император распространился еще больше, чем министры, на тему о невозможности думать о Бурбонах.

Витроль видался также с австрийским императором, который сказал ему, что он отправляется в Дижон, что русский император и прусский король примут в Париже решение, диктуемое их обязательствами, и что он прибудет туда позже.

Вместо того чтобы вернуться в Париж, Витроль направился к графу д'Артуа, который отбыл из Швейцарии во Францию и уже находился в Нанси. Он встретился там с принцем 23 марта и не дал о себе никаких сведений в Париж, куда он прибыл лишь после вступления союзников. Позднее он снова вернулся в Нанси, к графу д'Артуа, но уже с поручением временного правительства пригласить принца в Париж.

Что делал в течение всего этого времени император Наполеон?

После того как 20 марта он произвел значительными силами атаку передовых позиций у Арси и убедился, что там находится союзная армия под личной командой императора Александра, он перешел на правый берег Обы и направился через Сом-Пюи и Ольконтю к Сен-Дизье, куда он прибыл 23 марта. Он решил идти из Сен-Дизье в тыл врага и отправился на ночевку в Дулеван. Но в момент, когда надо было приступить к указанному переходу, он получил (как мне кажется, от маршала Макдональда) донесение, что за его

арьергардом движутся многочисленные силы, говорят даже — целая армия. Вследствие этого донесения император отменил свое решение и провел 25 марта в Дулеване. Так как маршал Макдональд настаивал на правильности посланных им сведений, в которых император сомневался, то он решил переместить все свои силы к Сен-Дизье, но вместо упоминавшейся армии он обнаружил лишь один кавалерийский корпус под командой генерала Винцингероде. Прибыв в Сен-Дизье, он разделился и пошел в трех разных направлениях: на Бар, Жуанвиль и Витри. Основная его часть двинулась по последнему пути.

Император Наполеон созвал род совета, чтобы выяснить, надо ли его преследовать, но так как совет опасался встретить в Витри сильное сопротивление и боялся, что мост через Марну разрушен, то было решено снова передвинуться к Дулевану, куда прибыли 28 марта, проведя один день в Сен-Дизье. В Дулеване император убедился, что враг идет на Париж, и решил со всей поспешностью туда отправиться. 29 марта он прибыл в Труа, 30-го — в Фроманто и 31-го — в Фонтенебло.

Император известил императрицу Марию-Луизу о своем намерении двинуться в тыл союзных армий и принудить их таким способом к отступлению. Это письмо было им написано из Арси, но эскорт, сопровождавший курьера с письмами, был захвачен неприятелем, который узнал таким образом об этом намерении, что, вероятно, и вызвало его решение идти на Париж.

Все излагаемые здесь факты, переданные мною без особого соблюдения их последовательности, устанавливаю, как мне кажется, с несомненной и полной очевидностью следующие три обстоятельства.

1. До 15 марта 1814 года союзные державы твердо держались намерения вести переговоры с Наполеоном и заключить с ним договор на основе сохранения им власти.

2. Наполеон сам вызвал своим упорством и тщетными надеждами, которыми он себя убаюкивал, свое крушение и подверг Францию несчастной необходимости вести переговоры о самом своем существовании и спасении с победоносным и торжествующим противником.

3. Наконец, вступая в Париж, союзные государи не приняли еще никакого решения относительно правительства, которое им предстояло предложить Франции или разрешить ей установить у себя.

Прежде чем продолжать краткий обзор событий, я хотел бы, во исполнение преследуемой мною цели, изложить причины, побудившие меня в эпоху Реставрации стать на сторону той системы, которую я затем поддерживал. Это объяснит влияние, которое я оказывал в то время, и представит, с моей точки зрения, наилучшее для меня оправдание.

Я уже указывал, что в последний период империи я часто ставил перед собой вопрос: какую форму правления должна усвоить Франция после падения Наполеона?

Помышлять о сохранении у власти семьи человека, толкнувшего страну в пропасть, означало бы переполнить чашу ее страданий, присовокупив к ним еще и низость. Кроме того, Австрия, которая одна лишь могла без неудовольствия признать регентство императрицы Марии-Луизы, не пользовалась в совете союзников большим весом. Она присоединилась последней к великим державам, взявшим на себя отместку за погрязшие права Европы, и естественно, что Европа не прилагала особых усилий к тому, чтобы отдать французский престол в распоряжение венского двора. Строя свои расчеты, Россия могла отводить в них место и Бернадоту, чтобы избавиться от неудобного для себя соседа в Швеции, но Бернадот ознаменовал бы собой лишь новый этап революции. Возможно, что армия провозгласила бы государем Евгения Богарнэ, но она сама была разбита.

Герцог Орлеанский имел только нескольких сторонников. Одни считали, что его отец покрыл позором самое слово “равенство”, для других герцог Орлеанский был таким же узурпатором, как Бонапарт, но лучшего происхождения.

Однако с каждым днем становилась все более настоятельной необходимостью

подготовить правительство, которое быстро заменило бы развалившуюся власть. Один день колебаний мог повести к зарождению мыслей о разделе и порабощении, скрыто угрожавших нашей несчастной стране. Нельзя было рассчитывать ни на какие интриги, так как они были обречены на бесплодие.

Следовало точно установить, чего желает Франция и чего должна желать Европа.

Среди ужасов вторжения Франция желала быть свободной и чтимой, а это значило желать возвращения Бурбонов с соблюдением порядка, предписываемого началами легитимности. Европа, еще беспокойная в отношении Франции, хотела, чтобы она разоружилась, вернулась в свои старые границы и не требовала постоянного надзора за соблюдением ею мира; для этого нужны были гарантии, а это также заставляло желать возвращения Бурбонов.

Таким образом, выяснение потребностей Франции и Европы должно было содействовать восстановлению Бурбонов, так как примирение с ними могло быть искренним.

Только Бурбоны могли скрыть от взоров французского народа, столь ревнивого к своей военной славе, неудачи, отметившие его знамена. Только Бурбоны могли быстро и безопасно для Европы удалить иностранные армии, занимавшие французскую землю.

Только Бурбоны могли достойным образом вернуть Франции выгодные для нее границы, обусловленные политикой и природой. С Бурбонами Франция переставала быть исполинской, но становилась великой. После ее освобождения от груза побед только Бурбоны могли вернуть ей то высокое положение, которое она предназначена занимать в социальной системе; они одни могли отвратить от нее месть, жажда которой накопилась в итоге двадцати лет насилий.

Бурбонам открывались все пути к трону, основанному на свободной конституции. Испробовав все виды политической организации и испытав наиболее деспотические из них, Франция могла найти покой лишь в конституционной монархии. Монархия с Бурбонами во главе означала бы даже для умов, наиболее склонных к новшествам, полное осуществление принципа легитимности, так как она сочетала бы легитимность, обеспечиваемую династией, с легитимностью, создаваемой учреждениями, а Франция должна была стремиться именно к этому.

Странное дело: когда общие бедствия приблизились к концу, оружие было обращено не против доктрин узурпации, а только против того, кто так долго и с такой неизменной удачей ими пользовался, как будто он один представлял опасность для страны.

Торжествовавшая во Франции узурпация не произвела, таким образом, на Европу того впечатления, которого следовало бы ожидать. Все были поражены не столько ее причиной, сколько последствиями, как будто последние не проистекали из первой. Франция, в частности, впала в не менее тяжелое заблуждение. Видя, что при Наполеоне страна сильна и спокойна, и пользуясь своего рода благоденствием, народ убедился, что для него не существенно, на основе какого права создана власть, которая им руководит. При большем глубокомыслии он понял бы, что сила этой власти ненадежна, что это спокойствие не имеет прочного основания, что его благоденствие, представляющее отчасти плод опустошения других стран, не может быть продолжительным.

В самом деле, что это за сила, которая не выдерживает первых превратностей судьбы! Испания, захваченная и занятая доблестными и многочисленными войсками еще прежде, чем она узнала, что ей предстоит война; Испания, лишенная армии и денег, изнемогающая и ослабленная долгим и гибельным правлением недостойного временщика при неспособном короле; наконец, Испания, благодаря измене лишенная правительства,— боролась в течение шести лет против гигантской державы и вышла победительницей из борьбы. Франция, напротив, внешне достигшая при Наполеоне высших степеней могущества и силы, не выдерживает и трех месяцев вторжения. И если бы ее король, находившийся двадцать пять лет в изгнании, забытый и почти неизвестный, не прибыл, чтобы сообщить ей таинственную силу и собрать ее готовые рассеяться остатки, то, может

быть, она была бы теперь уже вычеркнута из списка независимых народов.

Правда, при Наполеоне она была спокойна, но этим спокойствием она была обязана лишь тому, что железная рука, все подавлявшая, грозила сокрушить тех, кто шелохнулся бы, и эта рука не могла без опасности для себя дать послабления ни на одну минуту. Как можно поверить, что это спокойствие пережило бы того, чьей настойчивости не хватало для сохранения этого самого спокойствия? Он был господином Франции по праву сильного. Разве после него его генералы не могли заявить притязаний на владение ею по тому же самому праву? Показанный им пример учил, что достаточно ловкости или счастья, чтобы захватить власть. Сколько людей могло бы также попытаться судьбу и удачу во имя блестящих перспектив. Франция могла бы иметь столько же императоров, сколько армий; растерзанная собственными руками, она погибла бы в судорогах гражданской войны.

Ее благополучие было совершенно внешне и поверхностно, но даже если бы оно пустило глубокие корни, то, подобно ее силе и спокойствию, ему был бы положен предел, определяемый долговечностью одного человека, то есть предел очень короткий, который мог быть достигнут каждый день.

Ничто не может быть губельнее узурпации как для самих народов, попавших под ярмо узурпатора вследствие восстания или поражения, так и для соседних с ними стран. Первым она обещает лишь будущее, преисполненное беспрестанных смут, волнений и внутренних потрясений; вторые находятся все время под угрозой, что эти волнения коснутся и, в свою очередь потрясут и их. Она является для всех орудием разрушения и смерти.

Таким образом, основная потребность Европы заключалась в истреблении доктрин узурпации и в восстановлении начал легитимности. Они были единственным лекарством от всех удручавших ее зол, и они одни могли предотвратить их возобновление.

Как видно из сказанного, эти начала не являются только средством охранения королевской власти и личной безопасности монарха, как думают поверхностные люди и как хотели бы внушить всем зачинщики революций; они составляют необходимую основу покоя и счастья народов и наиболее прочную или, вернее, единственную гарантию их силы и долговечности.

Легитимность королевской власти, или, лучше сказать, правительства, представляет защитный оплот для народов, почему она и должна быть священна.

Я говорю о легитимности власти вообще, независимо от формы правления, а не только о легитимности монархии, так как в отношении последней это подразумевается само собой. При легитимной власти, будет ли она монархической или республиканской, наследственной или выборной, аристократической или демократической, самое ее существование, форма и способ действия укреплены и освящены долгой чредой лет и, я готов сказать,—предписанием веков. Легитимность монархической власти, как для частных лиц легитимность права собственности, вытекает из древнего владения.

Но в зависимости от характера власти нарушение начал легитимности может иметь в некоторых отношениях различные последствия. В наследственной монархии она неотделимо связана с личностью членов царствующего дома в порядке установленного права наследования; она может нарушиться лишь в случае смерти всех тех членов этого дома, которые по установленному порядку наследования могли быть призваны на престол сами или в своем потомстве. Поэтому Макиавелли говорит в своей книге “Князь”, что “узурпатор не может прочно утвердить свою власть, не лишив жизни всех членов законно царствовавшего дома”. Поэтому же революция требовала крови всех Бурбонов. Но как только в республике, где верховная власть принадлежит личности коллективной и духовной, узурпация разрушит все учреждения, создающие эту личность, она тем самым разрушит ее самое; тогда тотчас же распадается весь политический организм, и государство оказывается уничтоженным. Легитимное право перестает существовать, так как нет никого, кому бы оно принадлежало.

Таким образом, хотя начала легитимности нарушаются падением республиканской власти не меньше, чем узурпацией короны, тем не менее, не требуя восстановления павшего республиканского правительства, они требуют возвращения короны тому, кому она по праву принадлежит. В этом отчетливо выражается преимущество монархической власти, которая более всякой другой обеспечивает сохранение государств и непрерывность их существования.

Эти мысли и размышления вызвали у меня решимость способствовать восстановлению династии Бурбонов, если бы Наполеон сделал невозможным сохранение им власти и если бы я сумел оказать некоторое влияние на окончательное решение.

Я не претендую на то, что высказанные мною взгляды принадлежали только мне; я даже могу сослаться на одно авторитетное лицо, которое их разделяло: это был сам Наполеон. Во время одного из упоминавшихся выше разговоров его с Бенардьером, происходившего в тот день, когда он узнал о вступлении союзников в Шампань, он сказал: “Если они дойдут до Парижа, то они приведут вам Бурбонов, и этим дело будет кончено”. — “Но, — возразил Бенардьер, — они ведь еще не дошли туда”. — “Да, — ответил он, — моя задача сводится к тому, чтобы этому помешать, и я очень надеюсь, что мне это удастся”. В другой раз, после длинного разговора о невозможности для него заключить мир на основе восстановления старых французских границ, то есть “такой мир, — говорил он, — который могут заключить одни Бурбоны”, он заявил, что лучше отречется от престола и без неудовольствия вернется к частной жизни; у него очень мало потребностей, ему достаточно ста су в день; его единственная страсть заключается в стремлении сделать французов самым великим народом на земле, но после того, как он будет вынужден отказаться от этой надежды, все остальное потеряет для него всякое значение; и он кончил следующими словами: “Если никто не желает сражаться, то я не могу воевать один; если народ желает мира на основе старых границ, то я ему скажу: ищите кого-нибудь для управления вами, я слишком для вас велик!”

Вынужденный признать необходимость возвращения Бурбонов, он таким путем примирял свое тщеславие с бедствиями, которые он навлек на свою страну. Но вернемся к фактам.

Я не намереваюсь рассказывать историю реставрации 1814 года, которая будет когда-нибудь написана более умелым пером, чем мое. Мне достаточно напомнить здесь некоторые из главных событий той эпохи.

Пока Наполеон гонялся за тылом великой союзной армии, последняя продвигалась к Парижу, куда она подошла 30 марта. После длившейся весь день 30 марта горячей борьбы, которую маршалы Мармон и Мортье мужественно выдерживали, они должны были капитулировать в ночь с 30 на 31 марта. Они получили на это разрешение от Жозефа Бонапарта, удалившегося в Блуа с императрицей и римским королем.

Император Александр, прусский король и князь Шварценберг вступили в Париж 31 марта во главе своих войск. После того как они прошли церемониальным маршем Елисейские поля, император Александр направился непосредственно в мой дом на улице Сен-Флорентен, куда уже с утра прибыл Нессельроде. Император Александр должен был остановиться в Елисейском дворце, но вследствие неизвестно откуда полученного им предупреждения, что там он подвергнется опасности, он предпочел остаться у меня.

Естественно, что в нашем разговоре с императором Александром мы должны были прежде всего коснуться вопроса о правительстве, которое предстояло установить во Франции. Я выдвинул изложенные мною выше доводы и, не колеблясь, заявил ему, что династия Бурбонов призывается как всеми теми, кто мечтает о древней монархии с нравственными правилами и добродетелями Людовика XII, так и теми, кто желает новой монархии со свободной конституцией. Последние мои слова вполне подтвердились, так как желание, высказанное единственным учреждением, которое могло говорить от имени народа, было затем провозглашено по всей французской земле и нашло отклик во всех сердцах. Я дал в этом смысле решительный ответ на один из вопросов, поставленных мне

русским императором. “Как могу я знать,—сказал он мне, —что Франция желает Бурбонов?”—“На основании того решения, ваше величество, которое я берусь провести в сенате и действие которого ваше величество тотчас же увидит”.—“Вы уверены в этом?”— “Я отвечаю за это, ваше величество”.

2 апреля я созвал сенат, и вечером, в 7 часов, я принес императору Александру то памятное решение, которое я дал подписать всем лицам, в него входившим. Оно объявляло о низложении Наполеона и о восстановлении Бурбонов с конституционными гарантиями.

Я должен сказать, что император Александр был поражен, когда среди сенаторов, требовавших восстановления Бурбонов, он увидел имена нескольких лиц, голосовавших за казнь Людовика XVI.

После того как было вынесено это постановление сената, Бурбоны могли считать, что они восстановлены почти мирным путем, правда, не на престоле Людовика XIV, но на троне, прочно установленном на истинно монархических и конституционных основаниях, которые должны были сделать его не только непоколебимым, но и неприступным.

Я знаю, что все, только что мною описанное, многим не понравится, так как я разрушаю, как мне кажется, значение всех тех мелких стараний, которыми хвалилось множество лиц, преданных Бурбонам, считая, что они содействовали их восстановлению. Но я высказываю лишь свое мнение, и оно сводится к тому, что это восстановление не может быть приписано никому в особенности и что я повинен в нем не больше, чем другие. Я мог сказать русскому императору, доверие которого я заслужил усилиями долгих лет: “Ни вы, ваше величество, ни союзные державы, ни я, которому вы приписываете некоторое влияние,—никто из нас не может дать Франции короля. Франция побеждена, и побеждена вашим оружием, и тем не менее даже вы не обладаете сейчас достаточной для этого властью. Какой-нибудь *навязанный* король может быть создан интригой или силой, но того и другого недостаточно. Чтобы установить нечто прочное и заставить принять это без возражений, надо действовать на основании какого-нибудь принципа. С ним мы будем сильны и не встретим никакого сопротивления; во всяком случае все возражения должны будут в ближайшее время исчезнуть; но есть только один принцип: это Людовик XVIII—законный король Франции”.

Благодаря политическим связям, которые я сохранил или завязал вновь, у меня было то преимущество, что я имел возможность указывать иностранным государям, что они могут сделать, а мое многолетнее знакомство с государственными делами позволяло мне распознавать и хорошо понимать потребности и желания страны. Конец моей политической жизни был бы прекрасен, если бы на мою долю выпало счастье быть главным орудием, навсегда обеспечившим Франции, после восстановления престола Бурбонов, ту мудрую свободу, которой должен пользоваться великий народ.

Я упустил сказать, что в заседании 1 апреля сенат объявил, по моему предложению, об образовании временного правительства (4).

После своего низложения, объявленного сенатом в заседании 2 апреля, Наполеон увидел, что ему остается лишь вести переговоры с союзными государями о положении, которое будет для него отныне создано. Коленкур прибыл с двумя маршалами Наполеона в Париж для ведения этих переговоров. Они очень достойно выполнили это тягостное поручение. За несколько дней перед тем, того же 2 апреля, Коленкур уже являлся из Фонтенебло в Париж, чтобы защитить права Наполеона. В момент, когда я отправлялся в этот день в сенат, чтобы провести низложение Наполеона, Коленкур, с которым я только что имел долгий разговор в присутствии императора Александра, Нессельроде и нескольких других лиц и который с жаром и мужеством защищал интересы Наполеона, заявил мне: “Что же, если вы отправляетесь в сенат с целью провести низложение императора, то я также явлюсь туда, чтобы его защитить”. Я ответил ему в шутовском тоне: “Хорошо, что вы меня предупредили: я отдам распоряжение задержать вас здесь, в моем доме, до моего возвращения”.—“Вы понимаете,—ответил он мне в том же тоне,—

что если бы я действительно предполагал это сделать, то я остерегся бы вам об этом сообщать. Я слишком ясно вижу, что нет средств к его спасению, так как вы все против меня”.

В результате переговоров между союзными державами и временным правительством, с одной стороны, и уполномоченными Наполеона, с другой, было достигнуто соглашение, которое ставило императора и его семью в благоприятные условия и даже щадило их достоинство, как это видно из употребленных в нем выражений. Декларация союзников была составлена следующим образом: “Желая доказать императору Наполеону, что всякая враждебность с их стороны прекращается с того момента, как исчезает необходимость обеспечивать покой Европы, и что они не могут и не желают забыть о том месте, которое принадлежит Наполеону в истории его века, союзные державы отдают в полную собственность ему и его семье остров Эльбу. Они обеспечивают ему шесть миллионов дохода в год, из коих три миллиона предназначаются ему и императрице Марии-Луизе и три миллиона остальным членам его семьи, именно: его матери, братьям Жозефу, Луи и Жерому, его сестрам Элизе и Полине и королеве Гортензии, которая будет считаться его сестрой, принимая во внимание ее отношения с мужем”.

Позднее в это распределение было внесено изменение, так как императрица Мария-Луиза не последовала за императором Наполеоном; было установлено следующее распределение: император получает два миллиона; его мать—триста тысяч франков; Жозеф и его супруга—пятьсот тысяч франков; Луи—двести тысяч франков, Гортензия и ее дети—четыреста тысяч франков;

Жером и его супруга—пятьсот тысяч франков; Элиза—триста тысяч франков и Полина—триста тысяч франков.

Временное правительство, со своей стороны, присоединилось к этому акту в следующей декларации:

“Так как союзные державы заключили договор с его величеством императором Наполеоном, причем в этом договоре содержатся такие постановления, в осуществлении которых должно участвовать французское правительство, и так как в отношении этого вопроса имели место взаимные объяснения, то временное правительство Франции, желая действительно содействовать всем мероприятиям, принятым с целью придать происшедшим, событиям особый характер умеренности, величия и великодушия, считает своим долгом объявить, что оно присоединяется к нему в той мере, в какой это требуется, и гарантирует во всем, что касается Франции, выполнение постановлений, содержащихся в этом договоре, подписанном сегодня гг. уполномоченными высокими союзными державами и его величества императора Наполеона”.

Мне выпала честь стоять, в силу декрета от 1 апреля, во главе временного правительства, которое вело в течение нескольких дней дела Франции. Я не стану говорить здесь о всех постановлениях этого правительства, так как они опубликованы; в некоторых из них чувствуется блестящее перо Фонтана, а так как я уже назвал одно лицо, то я рад напомнить также об услугах, оказанных Франции в этот период герцогом Дальбергом и маркизом Жокурмом. Я считаю это своим долгом, замечая обнаруживающуюся теперь склонность забывать мужественных людей, которые тогда так благородно посвятили себя спасению родины.

Наполеоновская империя была разрушена в один час; уже возникло Французское королевство, и малочисленному по составу временному правительству все давалось без труда; оно нигде не встречало препятствий; нужда в полиции, потребность в деньгах не чувствовались ни одного мгновения, и удавалось прекрасно обходиться без них. Все расходы временного правительства, существовавшего семнадцать дней, и суммы, затраченные на вступление короля в Париж, были внесены в годовой бюджет в размере двухсот тысяч франков. Правда, нам все помогали. Я убежден, что расходы офицеров армии, которые я заставлял их делать, направляя их с одного конца Франции на другой, им до сих пор не оплачены.



12 апреля 1814 года граф д'Артуа, за которым я отправил в Нанси Витроля, совершил свой въезд в Париж и принял звание наместника королевства. Я нашел его так же благожелательно расположенным ко мне, как ночью 17 июля 1789 года, когда мы разлучились и он отправился в эмиграцию, а я бросился в тот водоворот, который привел меня к руководству временным правительством. Странные судьбы!

Обязанности, связанные с моим положением, задержали меня в Париже и не позволили отправиться навстречу Людовику XVIII. Впервые я увидел его в Компьене. Он находился в своем кабинете, куда меня провел Дюра. Король, увидав меня, протянул мне самым любезным образом, даже сердечно, руку и сказал: “Я очень рад вас видеть; ваш род и мой восходят к одной эпохе. Мои предки были более ловки; если бы более искусными оказались ваши предки, то теперь вы сказали бы мне: возьмите стул, придвиньтесь ко мне и поговорим о делах; но вместо того я говорю вам: садитесь и побеседуем”.

Вскоре затем я доставил удовольствие своему дяде, архиепископу реймскому, передав ему любезные слова короля относительно нашей семьи. В тот же вечер я повторил их находившемуся в Компьене русскому императору, который с большим интересом спросил меня, *остался ли я доволен королем*. Это его подлинное выражение. Я не имел слабости сообщить начало этого разговора другим лицам. Я дал королю подробный отчет о положении, в котором он найдет дела. Этот первый разговор был очень продолжителен.

Король решил выпустить до прибытия в Париж воззвание и известить в нем о своих намерениях; он сам его составил, пометив его Сент-Уаном. В ночь, проведенную там королем, его побудили путем интриги внести в эту его первую декларацию некоторые изменения, которых я не одобрил. Речь, с которой я обратился к нему, представляя ему сенат, накануне его въезда в Париж, покажет лучше, чем какие бы то ни было слова каковы были мои взгляды и какие мнения я хотел ему внушить.

Вот эта речь:

“Ваше величество,

“Возвращение вашего величества снова дает Франции ее естественное правительство и все гарантии, необходимые для ее покоя и покоя Европы.

“Все сердца чувствуют, что этим благодеянием мы можем быть обязаны только вам одному; поэтому все сердца устремляются вам навстречу. Существует такая радость, которую нельзя изобразить притворно; радость, наблюдаемая вами, является истинно национальной.

“Сенат, глубоко взволнованный этим трогательным зрелищем, счастливый слиться в своих чувствах с народом, повергает к подножью престола заверения своего почтения и своей любви.

“Ваше величество, бесчисленные бедствия опустошили королевство ваших отцов. Наша слава нашла убежище на полях сражений; войска спасли французскую честь. Вступая на престол, вы наследуете двадцати годам разрушений и несчастий. Такое наследие могло бы испугать заурядную доблесть. Устранение столь большого беспорядка требует самоотверженного мужества, нужны чудеса для исцеления ран, нанесенных родине, но мы—ваши дети, и вашим отеческим заботам суждено совершить чудеса.

“Чем труднее обстоятельства, тем более могущественна и почитаема должна быть королевская власть: действуя на воображение всем блеском древних воспоминаний, она привлечет к себе все стремления современного сознания, заимствуя у него наиболее мудрые политические теории.

“Конституционная хартия объединит все интересы вокруг трона и укрепит верховную власть содействием всего общества.

“Вы знаете лучше нас, ваше величество, что этот институт, столь хорошо испытанный у соседнего народа, создает поддержку, а не препятствие для монархов, друзей закона и отцов своих народов.

“Да, ваше величество, народ и сенат, полные доверия к высокой просвещенности и к великодушным чувствам вашего величества, желают вместе с вами, чтобы Франция была

свободна, дабы король мог быть могуществен”.

Я возвратился в Париж и занялся подготовкой к въезду Людовика XVIII, который был совершен с большим блеском. Все показывали ему, что Франция видит в нем обеспечение мира, спасение своей славы и восстановление свободы. На всех лицах отразилась благодарность к нему. Когда в церкви богородицы герцогиня Ангулемская бросилась на колени, она показалась прекрасной, и глаза присутствующих наполнились слезами.

В первые два утра король принял почти все учреждения; их речи были очень хороши, а ответы короля уместны и прочувствованы. Иностранные государи проявили такт и мало показывались.

Дворы Тюильри, общественные места и театры были полны людей; всюду теснился народ, всюду господствовал порядок, и нигде не было видно ни одного солдата.

Надо было заняться составлением обещанной хартии, и тут интрига и бездарность окружили короля и завладели этим важным делом. Я не принял в нем никакого участия; король даже не назначил меня членом комиссии, которой это было поручено. Я вынужден приписать всю честь составления хартии аббату Монтестью, Дамбрею, Феррану и Семонвилю. Я называю только главных редакторов. Что касается меня, то я познакомился с хартией лишь при чтении ее канцлером Дамбрей в совете министров накануне открытия палат. Имена лиц, которые должны были составить палату пэров, остались мне неизвестны до королевского заседания, когда они были объявлены канцлером.

Король назначил меня министром иностранных дел, и я должен был по должности заняться мирными договорами. Здесь следует рассказать об этом сложном деле, по поводу которого на меня сильно нападали, но в котором мне будет нетрудно защититься.

Начиная с 23 апреля, еще до прибытия короля, я должен был вести переговоры с уполномоченными союзных держав и подписать с ними предварительное соглашение.

Для беспристрастного суждения об актах, подписанных в тот период, надо хорошо себе представить, чем была тогда Франция и в какое состояние привели ее заблуждения Наполеона. Ее население, денежные источники и прочие ресурсы были истощены, в нее вторглись со всех границ сразу, со стороны Пиренеев, Альп, Рейна и Бельгии, бесчисленные армии, составленные в общем не из наемных солдат, а из целых народов, воодушевленных чувствами ненависти и мести. В течение двадцати лет земли их были заняты врагом и опустошались французскими войсками; их грабили всевозможными способами, их правительства подвергались оскорблениям и с ними обращались с глубочайшим презрением; можно сказать, что не существует такой обиды, за которую им бы не приходилось мстить, и если бы они решили утолить теперь свою страстную ненависть, то как могла бы Франция им противостоять? Этого не были бы в силах сделать последние остатки ее войск, рассеянные по всей стране, действовавшие разрозненно, находившиеся под командой соперничавших между собой начальников, которые не всегда подчинялись даже железной руке Наполеона. Правда, существовала еще прекрасная и многочисленная французская армия, но она была разбросана по пятидесяти крепостям, расположенным на пространстве от Вислы до Сены; она существовала в виде множества пленных, взятых нашими врагами. Но крепости находились в тесном кольце осады, дни их сопротивления были сочтены, и их гарнизоны, как и пленные, могли бы вернуться во Францию лишь на основании договора.

В таких условиях французские уполномоченные должны были вести переговоры с союзными державами и притом в самой столице Франции. Я считаю, что имею теперь полное право с гордостью напомнить о достигнутых мною условиях, как бы горестны и унижительны они ни были.

## ПРИМЕЧАНИЯ

(1) О бранденбургской династии см. указатель.

(2) Речь идет о брошюре Витроля, вышедшей в Париже в 1815 г., под названием: “О министерстве при представительном образе правления”; автор ее не был назван, но указывалось, что она написана членом Палаты депутатов.

(3) На предложение союзников восстановить французские границы 1790 г. Наполеон ответил притязанием на границу по Альпам и Рейну и на предоставление в Италии владений Евгению Богарнэ и Элизе Бонапарт.

(4) Временное правительство состояло из четырех лиц (в их числе Дальберг, Жокур и Монтескью, о которых см. в указателе) и возглавлявшего их Талейрана.

### ***Шестая глава* ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС (1814—1815 годы)**

Я прибыл в Вену 23 сентября 1814 года и остановился в доме Кауница, снятом для французской дипломатической миссии. Когда я входил в него, швейцар вручил мне несколько писем, адресованных: “Князю Талейрану, дом Кауница”. Мне казалось, что сочетание этих двух имен предвещает удачу.

На другой же день по прибытии я отправился к членам дипломатического корпуса. Их удивляло то, что из сдачи Парижа им удалось извлечь лишь незначительные выгоды. Проехав только что через страны, разоренные многолетней войной, они слышали только слова ненависти и мщениа по адресу Франции, обременившей их контрибуцией и нередко обращавшейся с ними, как заносчивый победитель. Мои коллеги уверяли меня, что все упрекали их в слабости, проявленной при подписании Парижского мира. Я нашел их совершенно пресыщенными многочисленными развлечениями и склонными подстрекать друг друга притязаниями, которые они считали нужным заявлять. Все то и дело перечитывали Шомонский договор, скрепивший узы между союзниками не только для продолжения войны: он заложил основы союза, который пережил эту войну и сохранил связь между союзниками на случай, который мог представиться в отдаленном будущем. Кроме того, как могли они решиться допустить в совет европейских держав государство, против которого Европа стояла уже двадцать лет под ружьем? Посланник страны, так недавно замиренной, должен быть счастлив, говорили они, что ему разрешают присоединиться к решениям, которые будут приняты послами других держав.

Таким образом, несмотря на то, что мир был заключен, все кабинеты занимали в начале переговоров если не совершенно враждебную, то по меньшей мере весьма двусмысленную позицию в отношении Франции. Они все считали себя в большей или меньшей степени заинтересованными в том, чтобы еще больше ослабить ее. Так как для этого они ничего сделать не могли, то они вели переговоры с целью ослабления хотя бы ее влияния. По этому вопросу они были единодушны.

Я мог только надеяться на то, что между державами возникнут разногласия, когда дело дойдет до распределения обширных территорий, поступивших вследствие войны в их распоряжение: каждая из них желала либо получить для себя, либо дать зависящим от нее государствам значительную часть завоеванных земель. В то же время все желали исключить из участия в разделе те государства, чрезмерная независимость которых внушала опасения. Эта борьба не давала мне, однако, повода проникнуть к делам, потому что державы заключили предварительные соглашения, предопределявшие судьбу самых важных областей. Для того чтобы добиться изменения этих соглашений или же заставить державы совершенно от них отказаться, в зависимости от того, как бы это диктовалось справедливостью, нужно было не только уничтожить предубеждения, не только отвергнуть притязания и подавить честолюбие; нужно было заставить аннулировать то, что было решено помимо Франции. Дело в том, что если нас и согласились допустить к участию в мероприятиях конгресса, то это была только форма, принятая для того, чтобы лишить нас способа оспаривать затем их законность; указывалось, что Франция не может

протестовать против уже принятых решений, которые считались совершившимся фактом.

Прежде, чем пытаться дать здесь верную картину Венского конгресса, ...я считаю нужным окинуть беглым взглядом общий ход переговоров в этом великом собрании, чтобы облегчить понимание отдельных обсуждавшихся на нем вопросов.

Открытие конгресса было назначено на 1 октября, и 23 сентября я уже находился в Вене, но на несколько дней раньше меня туда прибыли посланники стран, которые сначала руководили войной и, сожалея о заключенном ими мире, хотели затем извлечь пользу из конгресса. Я скоро узнал, что они образовали уже комитет и имели совещания, по которым ими был составлен протокол. Они намеревались сами решить то, что должно было подвергнуться обсуждению конгресса, притом решить без участия Франции, Испании и второстепенных держав, которым они сообщили бы затем в форме предложения, а фактически как окончательное решение, уже принятые пункты. Я не возражал, продолжал с ними встречаться, не говоря о делах, и ограничивался тем, что высказывал все свое недовольство посланникам второстепенных держав, имевшим общие со мной интересы. Находя в исконной политике своих стран старинную традицию дружбы с Францией, они скоро начали смотреть на меня, как на свою опору, а убедившись в том, что они одобряют все мои шаги, я стал официально торопить с открытием конгресса. Во время первых своих выступлений я держал себя так, как будто не имел никакого представления о происходивших совещаниях. Открытие конгресса было назначено на определенный день, но он прошел, и я просил, чтобы назначили другой, близкий день. Я дал понять, что мне не следует быть слишком долго вдали от Франции. Уклончивые ответы заставили меня возобновить свои настояния; я немного посетовал; наконец, мне пришлось воспользоваться личным влиянием на главных участников конгресса, к счастью, приобретенным мною во время предшествовавших переговоров. Князь Меттерних и граф Нессельроде не хотели быть нелюбезны и пригласили меня на совещание, которое должно было происходить в министерстве иностранных дел; испанский посланник Лабрадор, с которым я имел честь выступать сообща на конгрессе, тоже получил такое приглашение.

В указанный час я отправился в государственную канцелярию, где встретил лорда Кэстльри, князя Гарденберга, Гумбольдта, Нессельроде, Лабрадора, Меттерниха и Генца, человека выдающегося ума; он исполнял обязанности секретаря. Протокол предыдущих заседаний лежал на столе. Я подробно описываю первое заседание, потому что оно определило положение Франции на конгрессе. Меттерних открыл его, сказав несколько фраз о лежавшем на конгрессе долге, заключавшемся в том, чтобы укрепить только что восстановленный в Европе мир. Князь Гарденберг добавил, что для прочности мира нужно свято соблюдать обязательства, возложенные войной, и что таково намерение *союзных держав*.

Я сидел рядом с Гарденбергом и, естественно, должен был говорить после него. Сказав несколько слов о выпавшем на долю Франции счастье находиться в дружеских и тесных отношениях со всеми кабинетами Европы, я отметил, что у князя Меттерниха и князя Гарденберга вырвалось выражение, которое, по моему мнению, устарело; оба они говорили о намерениях *союзных держав*. Я заявил, что *союзные державы* и *конгресс* с участием держав *несоюзных* мало способны, с моей точки зрения, к лояльной совместной работе. Я несколько раз повторил с некоторым удивлением и даже с горячностью слова "*союзные державы*"... "Союзные...—говорил я,—и против кого же направлен этот союз? Уже не против Наполеона: он на острове Эльбе... уже не против Франции: мир заключен... конечно, не против французского короля: он служит порукой прочности этого мира. Господа, будем откровенны: если еще имеются *союзные державы*, то я здесь лишний". Мне было ясно, что я произвел некоторое впечатление, в особенности на Генца. Я продолжал далее: "А между тем, если бы меня здесь не было, вам бы недоставало меня. Господа, я, может быть, единственный из всех присутствующих, который ничего не требует. Подлинное уважение — это все, что я желаю для Франции. Она достаточно

могущественна благодаря своему богатству, своему протяжению, численности и духу своего населения, расположению своей территории, единству своей администрации, защите, которую природа и искусство дали ее границам. Повторяю, я ничего не желаю для нее и бесконечно много могу дать вам. Присутствие здесь министра Людовика XVIII освящает начала, на которых покоится весь социальный порядок. Основная потребность Европы — это изгнание навсегда мысли о возможности приобретения прав одним завоеванием и восстановление священного принципа легитимности, из которого проистекают порядок и устойчивость. Показав теперь, что Франция мешает вашим совещаниям, вы этим самым сказали бы, что вы не руководствуетесь больше одними истинными принципами и что, вы отвергаете справедливость; эта мысль далека от меня, так как мы все одинаково понимаем, что простой и прямой путь один достоин той благородной миссии, которую нам предстоит выполнить.

Парижский договор гласит: *“Все державы, участвовавшие на той и другой стороне в настоящей войне, отправят в Вену полномочных представителей для того, чтобы принять на общем конгрессе постановления, которые должны дополнить предписания Парижского договора”*. Когда откроется общий конгресс? Когда начнутся его заседания? Эти вопросы ставят все те, которых привели сюда их интересы. Если бы некоторые державы, находящиеся в привилегированном положении, захотели, как об этом уже распространяются слухи, осуществить на конгрессе диктаторскую власть, то я должен сказать следующее: опираясь на условия Парижского договора, я не мог бы согласиться на признание над этим собранием какой-либо высшей власти в вопросах, входящих в компетенцию конгресса, и я не стал бы входить в рассмотрение предложений, исходящих от нее”.

После нескольких минут молчания Лабрадор сделал свойственным ему смелым и колким языком заявление, почти сходное с моим; на всех лицах изобразилось замешательство. Все стали одновременно отрицать и объяснять то, что происходило до этого заседания. Я воспользовался этим моментом, чтобы сделать некоторую уступку самолюбиям, которые, как я видел, страдали. Я сказал, что в столь многочисленном совещании, как этот конгресс, которому предстояло рассмотреть такие разнообразные проблемы, вынести решения по вопросам первостепенной важности и разрешить целый ряд второстепенных задач, трудно, даже невозможно достигнуть удовлетворительных результатов, обсуждая все эти вопросы на пленарных собраниях; затем я указал, что можно установить такой способ распределения и разграничения дел, чтобы интересы и достоинство ни одной из держав не пострадали.

Это выступление, хотя еще неопределенное, открывало возможность передать вопросы общего значения для особого рассмотрения и позволило собравшимся уполномоченным отказаться от того, что было ими уже сделано, признав это недействительным; Генц уничтожил протоколы предыдущих заседаний и составил протокол этого дня. Он превратился в официальную запись первого заседания, и для памяти я его подписал. С тех пор великие державы больше не устраивали совещаний без участия Франции. В следующие дни мы собрались для распределения работы. Все члены конгресса разбились на комиссии, которые должны были рассматривать вносимые в них предложения. В каждую из этих комиссий входили представители государств, более непосредственно заинтересованных в вопросах, которые в них разрешались. Наиболее важные проблемы и вопросы, имевшие общее значение, были поручены комиссии из представителей восьми главных европейских держав, а чтобы иметь в этом отношении твердый критерий, было решено, что такими признаются государства, подписавшие договор 30 мая 1814 года.

Это решение было не только полезно тем, что оно ускоряло и значительно облегчало работу, но оно было, по-видимому, и совершенно справедливо, так как все участники конгресса на него согласились и оно не вызвало никаких возражений.

Таким образом, в конце октября 1814 года я мог написать в Париж, что династия Бурбонов, вернувшаяся во Францию за пять месяцев до того, что Франция, лишь пять

месяцев тому назад покоренная, уже восстановили свое прежнее положение в Европе и приобрели надлежащее влияние на важнейшие заседания конгресса. А через три месяца эти самые державы, которые не сделали ничего для спасения несчастного Людовика XVI, были приглашены мною, чтобы отдать запоздалую, но торжественную дань его памяти. Эта дань была также способом связать нить времен и вновь подтвердить законные права династии Бурбонов.

Я должен отметить, что австрийские император и императрица оказали мне большую поддержку при устройстве прекрасной религиозной церемонии, совершенной в Вене 21 января 1815 года, на которой присутствовали все монархи и все выдающиеся лица, находившиеся тогда в столице Австрийской империи(1).

Комиссия восьми держав занялась прежде всего судьбой саксонского короля и его королевства, а затем судьбой Варшавского герцогства. Пруссия уже давно стремилась подчинить себе Саксонское королевство. Приобретя его, она не только присоединила бы к своим владениям прекрасную и богатую страну, но и сильно укрепила бы свою старую территорию. Во время войны, завершившейся Парижским миром, союзники Пруссии обещали ей, что будущие соглашения обеспечат за ней обладание Саксонией. Потому Пруссия рассчитывала с полной уверенностью на это важное приобретение и уже считала себя владычицей прекрасного саксонского государства, занятого ее войсками, между тем как она заточила саксонского короля в качестве пленника в одной из прусских крепостей. Но, когда в комиссию восьми держав было внесено предложение присоединить к ней это государство, я заявил, что не могу подписаться под ним. Я признавал, что Пруссия, от которой Наполеон отторгнул многие обширные владения, из коих она не все могла вернуть обратно, имела право на получение возмещения. Но разве это причина, чтобы Пруссия в свой черед ограбила саксонского короля? Разве это не значило бы заменить право, основанное на справедливости, правом сильного, которого Пруссия чуть не сделалась жертвой? Воспользовавшись этим правом, разве Пруссия не отказалась бы фактически от права на сочувствие, которое ее положение должно было внушать? Наконец, разве территории, которыми конгрессу предстояло распорядиться, не позволяли иным способом щедро вознаградить ее? Франция готова была пойти на все соглашения, которые могли бы удовлетворить прусского короля, лишь бы только они не нарушали признанного права; я повторял, что она не может ни участвовать в таких решениях, которые представляли бы собой узурпацию, ни согласиться на них. Не говоря о сочувствии к личности саксонского короля и уважении к нему, усугублявшимся его несчастьями и добродетелями, отметившими его царствование, я лишь взывал в его интересах к священному принципу законности.

Пруссия считала, что все требования этого принципа были бы достаточно удовлетворены, если бы саксонскому королю было дано известное, возмещение в странах, которыми конгресс мог распорядиться; она полагала, что, независимо от согласия этого государя с таким решением, ее обладание Саксонией было бы достаточно узаконено признанием этого факта союзными монархами. На это я возразил князю Гарденбергу, что такого рода признание со стороны тех, кто не имеет никакого права на известный объект, не может дать права собственности на него тому, кто его не имеет.

Это плачевное забвение всех принципов следует приписать беспорядку и возбуждению, в каком Европа находилась в течение двадцати пяти лет; у стольких монархов были отторгнуты их владения, в стольких странах переменились государи, что публичное право, подвергнувшееся разложению, перестало, если можно так выразиться, отвергать узурпацию. Европейские монархи были вынуждены властью непреодолимых обстоятельств признавать узурпаторов, подписывать с ними договоры, заключать союзы. Постепенно они пришли таким образом к тому, что их щекотливость отступила перед вопросом безопасности; для удовлетворения же своего властолюбия они были готовы сами сделаться узурпаторами, когда для этого наступил благоприятный момент. Уважение к законным правам настолько ослабело у них, что после своей первой победы над

Наполеоном монархи не выступили защитниками прав династии Бурбонов; у них появились даже другие планы в отношении Франции. Если она вернула своих королей, то это ей удалось потому, что как только она смогла обнаружить свои желания, она сама бросилась в объятия этой царственной династии, которая дала ей разумные свободы вместе со славными историческими воспоминаниями. Для держав, которые, — я это повторяю, — содействовали реставрации, но не произвели ее, она являлась в первый момент вопросом факта гораздо больше, чем вопросом права.

Когда французские уполномоченные открыто выступили на конгрессе защитниками принципа легитимности, державы обнаружили готовность принять его следствия, поскольку они не противоречили бы их намерениям, перед которыми принцип отступал на второй план. Поэтому, чтобы доставить ему победу, я должен был преодолеть все препятствия, какие только могут быть созданы властолюбием, встретившим помехи в тот самый момент, когда оно уже надеется на удовлетворение.

Пруссия ревностно и упорно защищала свои притязания на Саксонию, а Россия поддерживала их, сколько было в ее власти, благодаря ли преданности своего монарха прусскому королю, потому ли, что в награду за эту уступку император Александр должен был получить Варшавское герцогство. Его представители высказывались в этом смысле без малейшего стеснения. “В политических делах все является сделкой, — говорил мне один из них, — вы заинтересованы главным образом в Неаполе; уступите в отношении Саксонии, и Россия поддержит вас касательно Неаполя”. — “Вы предлагаете мне торг, — отвечал я ему, — но я не могу в нем участвовать. Я, к счастью, чувствую себя не столь непринужденно, как вы: если вы руководствуетесь своими желаниями и своими интересами, то я вынужден следовать принципам, а принципы не могут быть предметом сделки”.

Содействуя видам Пруссии и России в отношении Саксонии, Англия преследовала, по-видимому, задачу укрепления второй линией защиты, идущей по Эльбе, линии Одера, бывшей уже в распоряжении Пруссии и служившей для ее обороны; она стремилась к тому, чтобы эта держава была в состоянии противопоставить более прочную преграду замыслам, которые Россия могла составить в дальнейшем против Германии. Но мысль эта была даже в стратегическом отношении чистойшей иллюзией.

Австрия не имела иных побудительных причин поддерживать притязания Пруссии, кроме желания сохранить соглашения, поспешно и легкомысленно задуманные в лагерной суматохе. Ее не удерживала тогда даже опасность, вытекавшая для нее из укрепления Пруссии на склонах Богемских гор, — опасность, которую она заметила лишь, когда Франция ее о ней предупредила. Я нашел прямой путь для внушения императору Францу, помимо его министерства, той мысли, что он весьма заинтересован в сохранении Саксонии. Доводы, приводившиеся мною посреднику, к которому я прибег, произвели на него впечатление.

Англия тоже скоро поняла, что было бы неосторожно бросить новые семена вражды и раздора между обеими державами, защищавшими границы Германии от России. Кроме того, Саксония долго была бы для Пруссии владением непокорным и непрочным, готовым воспользоваться всяким случаем, чтобы отложиться и вернуть свою независимость. Такое приобретение могло бы скорее ослабить Пруссию, чем укрепить ее. Вопрос о судьбе Саксонии очистился для Англии от частных соображений, обусловивших ее первое решение, а перед Австрией он предстал в правильном с точки зрения ее интересов освещении; таким образом, обе эти державы были, наконец, готовы выслушать без предубеждения хорошо обоснованные доводы Франции в пользу соблюдения принципов. Когда эти державы убедились, что их собственные интересы согласуются с принципом легитимности, они охотно признали его преимущества перед выгодами других держав. Вследствие этого они сделали его защитниками, и вскоре между Францией, Австрией и Англией образовался тайный союз против России и Пруссии(2). Таким образом, при помощи одних доводов разума и одной силы принципов Франция разрушила союз,

направленный исключительно против нее. (Это была бы большая удача, если бы роковая катастрофа 20 марта не восстановила расторгнутые узы!)

Итак, между союзниками царило несогласие, в то время как мы создали новый союз, в котором главная роль принадлежала Франции. Державы хотели сохранить старую коалицию, направленную против Наполеона, после исполнения задачи, ради которой она была заключена, но она могла быть для союзников только средством удовлетворения их властолюбивых притязаний и частных интересов, между тем как целью нового союза была поддержка охранительных начал и принципов порядка и мира. Благодаря этому Франция, едва переставшая быть пугалом для Европы, становилась в некотором роде арбитром и примирительницей.

Раз Англия и Австрия приняли известное решение, Пруссии приходилось уступать; поэтому она в конце концов согласилась на то, чтобы Саксония продолжала существовать, и удовлетворилась получением части ее в виде добровольной уступки со стороны государя этой страны. Когда это важное решение было достигнуто, нужно еще было убедить саксонского короля принести указанную жертву. Мне поручили вместе с герцогом Веллингтоном и князем Меттернихом отправиться к нему и попытаться склонить его на это. В Вене только что распространилось известие о возвращении Наполеона во Францию. На конгрессе царило крайнее возбуждение. Нам предоставили для исполнения нашей тягостной миссии только двадцать четыре часа. Я немедленно отправился в Пресбург, где саксонскому королю позволили, наконец, поселиться.

В этом городе жила графиня Брион, удалившаяся туда после пребывания в эмиграции... Госпожа Брион!! Госпожа Брион, питавшая ко мне в течение стольких лет чувства, которые испытывают только к собственным детям, и считавшая меня виновным перед ней... Нет! политика подождет! Прибыв в Пресбург, я поспешил к ней, чтобы броситься к ее ногам. Она долго не просила меня подняться, и я ощутил счастье, почувствовав на своем лице ее слезы. “Вот вы, наконец!— сказала она.— Я всегда верила, что опять увижусь с вами. Я могла быть вами недовольна, но я ни на минуту не переставала вас любить. Всюду я мысленно сопровождала вас...” Я не мог произнести ни слова, я плакал. По доброте своей она пыталась несколько успокоить меня, задавая мне вопросы. “Вы занимаете прекрасное положение”,— говорила она.—“О да, по моему мнению, оно превосходно”. Меня душили слезы. Испытанное мною впечатление было столь сильно, что мне пришлось на несколько минут покинуть ее; я чувствовал, что близок к обмороку, и пошел подышать воздухом на берега Дуная. Придя несколько в себя, я вернулся к госпоже Брион, которая возобновила свои вопросы; я мог более связно отвечать ей. Она потолковала со мной немного о короле, больше о его брате, упомянула саксонского короля, так как она знала, что я защищал его права, и сама интересовалась им. Через несколько дней после описанного свидания смерть лишила меня этого друга, которого я был так счастлив вновь обрести.

Вечером я отправился во дворец и исполнил возложенное на меня поручение. Саксонский король, оказывавший мне некоторое доверие, назначил мне аудиенцию с глазу на глаз. На этом совещании, на котором он без всякого стеснения говорил мне о своей благодарности, я доказал ему необходимость принести некоторые жертвы и старался убедить его, что при создавшемся положении это — единственный способ обеспечить независимость его страны. Король удерживал меня у себя около двух часов; он не взял еще на себя никаких обязательств и только сказал мне, что удалится со своей семьей в частную жизнь. Через несколько часов после этого я получил с князем Меттернихом и герцогом Веллингтоном приглашение во дворец. Князь Меттерних, которому мы поручили выступить от нашего имени, весьма осторожно изложил королю желание держав. Король говорил в очень благородных и трогательных выражениях о любви к своему народу и тем не менее дал нам понять, что он не будет чинить препятствий решениям, которые, согласуясь с честью его короны, могли бы содействовать умиротворению Европы; он сохранил за собой право послать на конгресс представителя,



облеченного всеми полномочиями, чтобы разрешить там вопросы, задевающие его интересы.

Мы вернулись в Вену, не получив определенного согласия короля, но тем не менее убежденные, что он принял решение и что его согласие будет передано конгрессу через его полномочного представителя Эйнзиделя.

После нескольких совещаний, на которые был допущен Эйнзидель, вопросы, задевавшие интересы Саксонии и Пруссии, были урегулированы не к исключительной выгоде той или другой из них, а по взаимному согласию. Таким образом, в этом важном деле принцип легитимности не пострадал.

Из упомянутых соглашений вытекала необходимость для России, претендовавшей на полное обладание Варшавским герцогством, отказаться от своих требований. Пруссия вернула себе значительную его часть, а Австрия, не перестававшая владеть частью Галиции, получила обратно некоторые из округов, уступленных ею в 1809 году.

Постановление это, которое могло казаться на первый взгляд важным только для этих двух держав, имело общее значение. Польша, почти целиком находившаяся в руках России, была для Европы предметом постоянных тревог. Для ее безопасности было важно, чтобы две державы, а не одна, подвергались риску потерять свои владения и склонялись благодаря чувству общей опасности к объединению против властолюбивых замыслов России. Общий интерес создавал между ними крепкие узы, и именно поэтому Франция поддержала в данном случае притязания Пруссии и Австрии.

Русский уполномоченный пытался возражать мне моими собственными доводами. Он утверждал, что если принцип легитимности требует сохранения Саксонского королевства, то он требует также восстановления Польши. Он добавил, что император Александр хотел получить все Варшавское герцогство для превращения его в королевство и что поэтому я не мог, оставаясь последовательным, возражать против передачи его России. Я с горячностью отвечал, что, конечно, вполне возможно рассматривать как принципиальный вопрос восстановление независимого правительства и национального единства многочисленного народа; я напомнил, что он был некогда могуществен, занимал обширную объединенную территорию, и если позволил разрушить узы своего единства, то остался тем не менее однороден по своим нравам, языку и упованиям; если бы державы пожелали, Франция не только первая дала бы согласие на восстановление Польши, но с пылом настаивала бы на нем, при условии, чтобы Польша была восстановлена в своем прежнем виде, такой, какой Европа хочет ее видеть. Но, добавлял я, нет ничего общего между принципом легитимности и большим или меньшим протяжением государства, которое Россия хочет образовать из незначительной части Польши; при этом она даже не обнаруживает намерения воссоединить с ним прекрасные провинции, присоединенные к этой обширной империи во время последних разделов. Русские уполномоченные поняли после нескольких совещаний, что им не удастся прикрыть принципом легитимности своекорыстные виды, которые им было поручено защищать; они ограничились переговорами с целью получения части территории, составлявшей в течение нескольких лет великое герцогство Варшавское.

Дань, отданная принципу легитимности в постановлении, принятом по поводу Саксонского королевства, решила в сущности и судьбу Неаполитанского королевства. Приняв однажды принцип, нельзя было отвергнуть его следствия. Итак, Франция отклонила притязания, основанные на праве победителя, и потребовала гарантий, что Фердинанд IV будет признан неаполитанским королем. Нужно было преодолеть искреннее замешательство некоторых кабинетов, находившихся в дружбе с Мюратом, и особенно Австрии, заключившей с ним договор.

Я был далек от того, чтобы отвергать всякое решение, которое привело бы к той же цели, согласуясь вместе с тем с достоинством держав. Мюрат помог мне: он находился в постоянном возбуждении, писал одно письмо за другим, делал заявления, отправлял свои войска в походы, приказывал им совершать контрмарши и давал мне тысячу случаев

обнаружить его вероломство. Передвижение его армии в направлении Ломбардии было признано враждебным выступлением и ознаменовало начало его гибели. Австрийцы выступили против него, нанесли ему поражение, преследовали его войска, и через несколько дней, покинутый своей армией, он бежал из Неаполитанского королевства, тотчас вернувшегося под скипетр своего законного короля. Возвращение Неаполитанского королевства Фердинанду IV снова показало на серьезном примере значение принципа легитимности и было помимо того выгодно для Франции, потому что благодаря ему она получила союзника в лице самого сильного государя Италии (*\* Если бы долг перед семьей не заставил меня упомянуть здесь о лестном для меня повелении короля Фердинанда IV, пожаловавшего мне герцогство Дино, то меня побудило бы сделать это чувство благодарности.*

*Примечание Талеярана.)*

Соглашения, касавшиеся нескольких других частей Италии, преследовали задачу создания на этом полуострове сильного противовеса влиянию Австрии на случай, если бы ее честолюбивые планы направились в эту сторону. Так Сардинское королевство приобрело всю Генуэзскую республику. Правившая тогда в Турине ветвь Савойской династии была близка к угасанию, и Австрия могла вследствие своих династических связей заявить притязания на это богатое наследство; опасность эта была предотвращена признанием прав Кариньянской династии, за которой обеспечили наследование указанной короны.

Швейцария, являющаяся центральной страной Европы, с которой граничат три больших государства — Франция, Германия и Италия, была торжественно и навсегда объявлена нейтральной. Указанное постановление усилило для каждой из этих трех стран способы обороны, ослабив их средства нападения. Такое решение особенно благоприятно для Франции, окруженной крепостями на всех своих прочих границах и лишенной их на границе с Швейцарией. Поэтому нейтралитет этой страны дает ей в том единственном пункте, где она слаба и беззащитна непреодолимый оплот.

Чтобы предохранить Гельветический союз от внутренних разногласий, которые нарушили бы его спокойствие и могли бы поставить под угрозу сохранение его нейтралитета, мы силились примирить требования разных кантонов и разрешить споры, издавна ведшиеся между ними. Союз, находившийся под угрозой столкновения старых прав и требований, возникших из новой организации, созданной при посредничестве Наполеона, был укреплен актом, объединявшим все постановления, наиболее способные примирить различные интересы.

Создание нового Нидерландского королевства, решенное еще до заключения мира, было, несомненно, враждебным против Франции мероприятием; оно было задумано с целью создания вблизи нее неприязненного к ней государства, которое потребностью в защите делала естественным союзником Англии и Пруссии. Следствия этого замысла казались мне, однако, менее опасными для Франции, чем это предполагалось, так как молодому королевству предстояла большая работа по своему укреплению(3). В самом деле, составившись из двух стран, разделенных старинной враждой, противоположных по стремлениям и интересам, оно на долгие годы обречено быть слабым и неустойчивым. Покровительственная дружба, которую Англия надеется установить в своих отношениях с этим новым государством, еще долго останется, как я полагаю, в сфере политических мечтаний. Королевство, образовавшееся из двух стран — торговой и промышленной, — должно стать соперником Англии или быть подавлено ею и, следовательно, преисполниться раздражения против нее.

Германская конфедерация должна была стать одним из важнейших элементов европейского равновесия. Нельзя сказать, удалось ли конгрессу заложить прочные основы этой организации, которые могли бы превратить ее в опору указанного равновесия. Роковые события 1815 года, заставившие конгресс ускорить свои совещания, послужили причиной того, что конфедерация получила зачаточный, бесформенный вид, что она до сих пор не приобрела устойчивости и что над ее развитием приходится еще работать.

Я предоставляю другим судить о роли Франции в этих достопамятных обстоятельствах.

Несмотря на неблагоприятное положение, какое она занимала во время первых заседаний конгресса, ей удалось приобрести такое влияние на прения, что самые важные вопросы разрешались отчасти в согласии с ее намерениями и с принципами, которые она установила и защищала. Последние находились в полном противоречии с намерениями держав, которым военное счастье позволило беспрепятственно диктовать Европе законы. Хотя в разгар заседаний конгресса дух бунта и узурпации чуть еще раз не покорил себе Европу, король, переселившийся в Гент, оказывал на Вену такое же влияние, как и из Тюильрийского дворца. По моему предложению и — я должен это сказать к чести государей — без всяких настояний с моей стороны, Европа издала грозную декларацию против *узурпатора*. Я так называю его, потому что по возвращении его с острова Эльбы роль Наполеона была именно такова. До того он был победителем, и только братья его являлись узурпаторами.

В этот период я получил награду за свою верность принципам. Я ссылаюсь на них во имя короля для сохранения прав других, а они превратились в гарантию его собственных прав.

Увидя себя снова под угрозой оживающей во Франции революции, державы начали наспех вооружаться. Все стали торопить с окончанием венских переговоров, чтобы немедленно посвятить себя более срочным делам; заключительный акт конгресса, в некоторых своих частях только намеченный, был подписан уполномоченными, которые затем разъехались.

Когда дела были таким образом закончены и король, а следовательно, и Франция были приняты в союз, заключенный против Наполеона и его приверженцев, я покинул Вену, в которой ничто меня более не удерживало, и отправился в Гент, очень далекий от мысли, что по прибытии в Брюссель я узнаю об исходе сражения при Ватерлоо. Обо всех его подробностях мне любезно сообщил принц Конде. Он говорил мне с благоволением, которого я никогда не забуду, об успехах Франции на Венском конгрессе.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) 21 января 1793 г. был казнен Людовик XVI; 21 января 1814 г. в Вене была устроена в память этого события религиозная церемония с участием всего конгресса.
- (2) Речь идет о секретном договоре, заключенном 3 января 1815 г. Францией, Австрией и Англией против России и Пруссии. По возвращении Наполеона с о-ва Эльбы он был им обнаружен и сообщен Александру I.
- (3) Именно Талейрану было суждено содействовать в 1830—1831 гг. в Лондоне дипломатическому признанию Бельгийского королевства, революционным путем отделившегося от Голландии.

### ***Седьмая глава* ВТОРАЯ РЕСТАВРАЦИЯ (1815 год)**

Мой приезд из Вены задержался еще на много дней по сравнению со сроком, указанным мною королю в письме от 27 мая. Интриганы, стремившиеся воспрепятствовать подписанию заключительного акта конгресса, не считали себя побежденными и надеялись вывести меня из терпения. Но я слишком хорошо понимал, как важно не отступать, и потому не отказывался от своих намерений.

Я считал, что необходимо до начала войны, исход которой мог долго оставаться сомнительным, иметь за подписями держав их письменные, не подлежащие отмене обязательства.

Никому не было дано предвидеть, что эти самые державы откажутся в результате побед от своих обязательств и что мы, со своей стороны, совершим ошибку, предоставив им подобные возможности. Как бы то ни было, мой долг казался мне ясным, и я его

выполнил.

Я покинул Вену лишь 10 июня, на другой день после того как заключительный акт конгресса был подписан. Только прибыв в Бельгию, я узнал, как об этом уже было сказано, об исходе битвы при Ватерлоо.

Король уже покинул Гент, когда я прибыл в Брюссель. Я настиг его лишь в Льеже. Он направлялся вслед английской армии, а мне именно это хотелось предупредить. Я прибыл к нему в тот момент, когда он собирался садиться в карету. Он пытался сказать мне несколько любезных слов. Я не скрыл от него, что меня крайне огорчает способ, которым он предполагает вернуться во Францию, что он не должен являться туда с иностранными войсками, что этим он вредит своему делу и, оскорбляя национальное самолюбие, охлаждает чувства, которые там испытывают к его личности, что, по моему мнению, он должен направиться, с каким-нибудь эскортом или еще лучше без него, к одному из тех пунктов французской границы, куда иностранцы еще не проникли, и устроить там местопребывание своего правительства.

Я указал ему на Лион, как на город, соответствующий со всех точек зрения, как по своему значению, так и по положению, моему плану. “Король,— сказал я ему,—мог бы из Лиона осуществлять свою власть совершенно независимо от союзников; если он желает, то я отправлюсь туда вперед и вернусь, чтобы дать ему отчет о настроении города; прибыв в Лион, он должен обратиться с воззванием к своим верным подданным, и заблуждавшиеся, вероятно, первыми поспешат туда; он созовет палаты; до того как дух партийности начнет создавать препятствия, останется достаточно времени, чтобы составить основные законы; из Лиона он мог бы защищать Францию, в то время как из Парижа это невозможно; надо предвидеть тот случай, что в итоге своих побед союзники изменят намерения и речи и пожелают воспользоваться в ущерб Франции теми успехами, относительно которых они так торжественно заявили, что стремятся к ним лишь ради нее. Некоторые признаки,— продолжал я,—заставляют меня предвидеть подобную перемену.

Их приверженность к определенным принципам еще настолько недавнего происхождения, что мы не можем не бояться этих людей, привыкших определять свои права своими притязаниями, а свои притязания своей силой. Если бы они променяли роль союзников на роль врагов и королю пришлось бы вести с ними переговоры, то нигде в другом месте он не мог бы оказаться в такой мере в их руках, как в своей собственной столице”.

Поэтому я настаивал на том, чтобы он вернулся туда лишь тогда, когда он сумеет там безраздельно править и когда Париж будет совершенно очищен от крамольников и от иностранных войск.

Я закончил эти объяснения заявлением королю, что в случае принятия им другого решения я не буду в состоянии руководить его делами. Затем я вручил ему свою отставку и удалился, передав ему записку, приложенную ниже; она представляет сводку наших работ на конгрессе и указывает способы, которые я считал пригодными для исправления ошибок, совершенных во время первой реставрации.

*Донесение,*

*сделанное королю во время его путешествия из Гента в Париж*

“Ваше величество.

“В апреле 1814г. Франция была занята тремястами тысячами иностранных войск, за которыми готовы были последовать еще пятьсот тысяч. Внутри страны у нее оставалась лишь горсть уже изнуренных солдат, совершивших чудеса доблести. Она имела вонне хотя и большие, но рассеянные и лишённые связи военные силы, которые не могли принести ей никакой пользы и даже не были в состоянии оказать помощь друг другу. Часть этих военных сил находилась взаперти в отдаленных крепостях, которые можно было бы удерживать в продолжение более или менее длительного времени, но которые, по всей вероятности, должны были пасть при простой осаде. Двести тысяч французов стали военнопленными. При таком положении вещей надо было во что бы то ни стало

прекратить военные действия путем заключения перемирия, что и произошло 23 апреля.

“Это перемирие было не только необходимо, но оно представляло акт мудрой политики. Прежде всего требовалось, чтобы союзники заменили насилие доверием к нам, а его надо было внушить. Кроме того, перемирие не лишало Францию ничего того, что могло бы служить ей поддержкой в настоящем или хотя бы в самом отдаленном будущем; оно не лишало ее и части того, на сохранение чего она могла иметь хоть малейшую надежду. Все считавшие, что отсрочка сдачи крепостей до заключения мира позволила бы добиться лучших его условий, не знают или забывают, что помимо невозможности для Франции заключить перемирие без сдачи крепостей, попытка продолжить их занятие вызвала бы недоверие союзников и, следовательно, изменила бы их намерения.

“Эти намерения были таковы, что Франция могла их разделять; они были много лучше того, на что можно было рассчитывать. Союзники были встречены как освободители; похвалы, расточаемые их великодушию, возбуждали у них желание его действительно проявить; надо было воспользоваться этим настроением, пока они проявляли его со всей горячностью, и не дать ему времени охладиться. Было еще недостаточно прекратить военные действия, надо было добиться освобождения французской территории; следовало полностью разрешить все вопросы, в которых была заинтересована Франция, и не оставить ничего неясного в ее судьбе, чтобы ваше величество могли сразу занять угодную вам позицию. Для достижения наилучших условий мира и извлечения из него всех тех выгод, которые он мог дать, необходимо было спешить с его подписанием.

“По договору 30 мая Франция потеряла лишь то, что она завоевала, и даже не все завоеванное ею в течение завершаемой этим договором борьбы. Она утратила господство, которое не означало для нее благоденствия и счастья и которое она не могла бы сохранить вместе с выгодами прочного мира.

“Для правильной оценки мира 1814 года надо вспомнить о впечатлении, произведенном им на союзные народы. Император Александр в Санкт-Петербурге и король прусский в Берлине были встречены не только холодно, но даже с недовольством и ропотом, потому что договор 30 мая не осуществлял надежд их подданных. Франция повсюду взимала огромные военные контрибуции; теперь ожидали, что на нее самое будет наложена контрибуция, но она не заплатила ничего; она сохранила в качестве своей собственности все завоеванные ею предметы искусства; все ее памятники были пощажены, и надо сказать, что с ней поступили с такой умеренностью, примера которой при подобных обстоятельствах не дает ни одна историческая эпоха.

“Все вопросы, непосредственно интересовавшие Францию, были разрешены, в то время как решение вопросов, задевавших интересы других государств, было отложено впредь до постановлений будущего конгресса. Франция была приглашена на этот конгресс, но когда ее уполномоченные прибыли, то они обнаружили, что страсти, которые договор 30 мая должен был потушить, и предубеждения, которые он должен был рассеять, с момента его заключения снова ожили, может быть, вследствие сожалений, которые он возбудил у держав.

“Они продолжали, например, называть себя союзниками, как будто война еще продолжалась. Их представители, прибыв первыми в Вену, письменно обязались в протоколах, существование которых французские уполномоченные подозревали с самого начала, но с которыми они познакомились лишь четыре месяца спустя, допустить участие Франции только ради формы.

“Два таких протокола, находящиеся теперь перед глазами вашего величества и датированные 22 сентября 1814 года, гласят в основном, что союзные державы возьмут на себя почин во всех вопросах, подлежащих обсуждению конгресса (союзными державами называли лишь Австрию, Россию, Англию и Пруссию, потому что как договоры, так и намерения этих держав гораздо теснее связывали их друг с другом, чем с кем-нибудь другим).

“Они одни должны были разрешить вопрос о распределении провинций, которыми

можно было располагать, причем Франция и Испания должны были допускаться для высказывания своих мнений и возражений, которые предполагалось обсуждать вместе с ними.

“Уполномоченные четырех держав должны были вступать с уполномоченными других в обсуждение вопросов, относящихся к территориальному разделу Варшавского герцогства, к Германии и к Италии лишь по мере того, как, достигнув полного между собой согласия, они целиком разрешили бы каждый из этих трех вопросов.

“Союзники желали оставить Франции совершенно пассивную роль; она должна была быть не столько участницей в происходящем, сколько простой зрительницей. Франция все еще вызывала недоверие, питавшееся воспоминанием о ряде ее вторжений, и враждебность, возбуждаемую тем злом, которое еще так недавно она причиняла Европе. Страх перед ней не успел иссякнуть, ее силы еще вызывали опасения, и все надеялись достигнуть безопасности, лишь включив Европу в систему, направленную исключительно против Франции. Таким образом, коалиция все еще продолжала существовать.

“Ваше величество позволит мне вспомнить с некоторым удовольствием, что во всех случаях я высказывал то мнение, — пытаюсь убедить в нем даже главнейших офицеров его армии, — что во имя интересов Франции, а теперь даже во имя своей славы следует добровольно отказаться от идеи возвращения Бельгии. Я считал, что без этой патриотической жертвы не может быть мира между Францией и Европой. Действительно, хотя Франция потеряла свои провинции, но величие французской мощи держало Европу в состоянии страха, который побуждал ее сохранять враждебную (\* *Вариант: истинно враждебную*) позицию. Наша мощь такова, что теперь, когда Европа находится на высшей, Франция на низшей ступени своей силы, она все еще боится нашего возможного успеха в борьбе. Мой взгляд выражал в этом отношении лишь чувства нашего величества. Но большинство ваших главных слуг, но почтенные писатели, но армия, но большая часть нации не разделяли этой умеренности, без которой был невозможен никакой прочный мир и даже видимость его; эти честолюбивые намерения, которые могли быть приписаны с некоторым правом самой Франции, увеличивали и оправдывали страх, вызываемый ее силой.

“Поэтому печать была полна инсинуаций или обвинений (\* *Вариант: открытых обвинений*) против Франции и ее уполномоченных. Они были изолированы, и почти никто не решался с ними встречаться. Небольшое число уполномоченных, не разделявших этих предубеждений, избегало их, чтобы не компрометировать себя в глазах остальных. Если что-нибудь предпринималось, то это тщательно от нас скрывалось. Происходили совещания помимо нас, и когда в начале конгресса был образован комитет по вопросу о федеративном устройстве Германии, то каждый вошедший в него уполномоченный должен был обязаться своей честью не сообщать нам ничего о происходившем там.

“Хотя правительство вашего величества не имело ни одного из тех намерений, в котором его подозревали, хотя оно не собиралось и не хотело ни о чем просить для себя, но все вопросы, подлежавшие рассмотрению конгресса, имели для него величайшее значение. Если оно и было заинтересовано в таком способе их разрешения, который не совпадал с тогдашними временными интересами некоторых из держав, то, к счастью, этот способ соответствовал интересам их преобладающего большинства и даже длительным и постоянным интересам всех держав вообще.

“Бонапарт уничтожил столько правительств и присоединил к своей империи столько земель и столько различных народов, что, когда Франция перестала быть врагом Европы и вернулась в те границы, за пределами которых она не могла бы сохранить с другими державами дружественных (\* *Вариант: мирных и дружественных*) отношений, то почти во всех частях Европы оказались области, лишенные правительства. Государства, обобранные им, но не уничтоженные, не могли вернуть себе утраченных ими провинций, так как отчасти они перешли во владение государей, которые с тех пор успели стать их союзниками. Поэтому для установления власти в странах, лишившихся ее вследствие

отказа от них Франции, и для вознаграждения государств, потерпевших отторжения, приходилось эти первые страны разделить между вторыми. Какое бы отрицательное отношение ни вызывало тогда такое распределение людей и стран, унижавшее человечество, оно стало неизбежным вследствие насильственных узурпации, совершенных властью, которая, применяя свою силу лишь в разрушительных целях, создала необходимость созидать новое из оставленных ею обломков.

“Саксония была завоевана, Неаполитанское королевство находилось во власти узурпатора; приходилось решать вопрос о судьбе этих государств.

“Парижский договор гласил, что соответствующие постановления должны быть таковы, чтобы способствовать установлению в Европе реального и прочного равновесия. Ни одна держава не отрицала, что необходимо сообразоваться с этим принципом; но особые виды некоторых из них побуждали их к ложным мерам для выполнения этой цели.

“С другой стороны, бесполезно было бы устанавливать подобное равновесие, если бы одновременно в основу будущего мира в Европе не были положены те принципы, которые лишь одни могут обеспечить внутреннее спокойствие государств и в то же время помешать голой силе определять их взаимные отношения.

“Ваше величество желало, чтобы одновременно с вашим возвращением во Францию были выдвинуты принципы чисто моральной политики и чтобы они стали правилом поведения вашего правительства. Вы понимали, что необходимо их усвоение кабинетами и их проявление в сношениях между государствами, и вы приказали нам применить все влияние, которым вы располагали, и все наши усилия для признания их всей собравшейся Европой. Вы намеревались вызвать общее восстановление.

“Такое предприятие должно было встретить многочисленные препятствия. Влияние революции отнюдь не ограничилось одной французской территорией; она распространилась за пределы Франции, благодаря силе оружия, благодаря поощрению всех страстей и общему призыву к распущенности. Голландия и некоторые части Италии испытали несколько раз замену власти легитимной властью революционной. С того времени как Бонапарт стал хозяином Франции, не только стало достаточно победы для уничтожения верховной власти, но все привыкли даже к тому, что простыми декретами низлагаются государи, уничтожаются правительства и целые народы.

“Хотя такой порядок неизбежно должен был, если бы он затянулся, повести к разрушению всякого цивилизованного общества, он продолжал держаться вследствие привычки и страха; и так как он отвечал временным интересам нескольких держав, то некоторые из них не опасались заслужить упрек в том, что они берут Бонапарта за образец.

“Мы показали всю опасность, создаваемую таким неправильным взглядом на вещи. Мы заявили, что существование всех правительств подвергается величайшей опасности при системе, которая ставит их сохранение в зависимость от крамольной партии или от исхода войны. Наконец, мы показали, что начала легитимности власти должны быть освящены прежде всего в интересах народов, так как лишь одни легитимные правительства прочны, а остальные, держась одной силой, падают сами, как только лишаются этой поддержки, и ввергают таким образом народы в ряд революций, конец которых невозможно предвидеть.

“Уже давно многие с трудом внемлют этим принципам, слишком строгим для политики некоторых дворов, противоположным системе, которой придерживаются англичане в Индии, и, может быть, стеснительным для России, которая от них во всяком случае сама отреклась в нескольких недавно изданных ею торжественных актах. Прежде чем нам удалось убедить в их значении союзные державы приняли решения, совершенно им противоречащие.

“Пруссия требовала всей Саксонии, и Россия присоединилась к этому требованию. Англия в официальных нотах не только согласилась на это без всяких оговорок, но еще пыталась доказать, что удовлетворение этого требования справедливо и полезно. Австрия также официально дала свое согласие, оговорив только некоторое исправление границ.

Таким образом, Саксония оказалась принесенной в жертву благодаря частным соглашениям между Австрией, Россией, Англией и Пруссией, которым Франция оставалась чужда.

“Однако язык, которого держалось французское посольство, его разумные, серьезные и последовательные выступления, свободные от всяких честолюбивых намерений, начинали производить впечатление. Оно видело, как восстанавливается доверие к нему; чувствовалось, что высказываемые им взгляды соответствуют интересам Франции не больше, чем интересам всей Европы и каждого государства в отдельности. У держав начинали открываться глаза на указанные им опасности. Австрия первая пожелала пересмотреть то, что было, так сказать, окончательно решено в отношении Саксонии, и заявила в ноте, переданной 10 декабря 1814 года князю Гарденбергу, что она не потерпит уничтожения этого королевства.

“Это была первая выгода, достигнутая нами благодаря тому, что мы следовали по указанному вашим величеством пути.

“Я упрекаю себя в том, что часто жаловался в письмах, которые я имел честь вам писать, на испытываемые нами трудности и на медлительность, с которой идут дела. Эту медлительность я теперь благославляю, так как если бы дела шли быстрее, то до конца марта конгресс был бы закончен, государи вернулись бы в свои столицы, армия возвратилась бы домой, и нам пришлось бы преодолевать большие трудности!

“Так как Меттерних официально сообщил мне свою ноту от 10 декабря 1814 года, то я мог заявить мнение Франции и вручил ему и лорду Кэстльри целое политическое исповедание веры. Я заявил, что ваше величество ничего не просит для Франции, что вообще вы просите лишь то, что отвечает простой справедливости, что вы больше всего желаете, чтобы революции прекратились, чтобы созданные ими доктрины больше не отражались на политических сношениях государств, и, наконец, чтобы каждое правительство могло либо предупреждать эти революции, либо же совершенно их прекратить, в случае если бы они ему грозили или уже поразил его.

“Эти заявления окончательно рассеяли проявленное вначале недоверие к нам; оно уступило вскоре место противоположному отношению. Ничего более не делалось без нашего участия; теперь не только справлялись о нашем мнении, но добивались нашего одобрения. Общественное мнение в отношении к нам совершенно изменилось, и изоляция, в которой мы раньше находились, сменилась изобилием людей вокруг нас, проявлявших вначале такую боязливость.

“Англии было труднее, чем Австрии, отказаться от обещания, данного Пруссии, о предоставлении ей всего Саксонского королевства. Она не обосновывала, подобно Австрии, этого предоставления трудностью найти другие способы полного вознаграждения Пруссии за испытанные ею с 1806 года потери удобными для нее владениями. Сверх того, положение английских министров обязывает их, под страхом прослыть утратившими то качество, которое в Англии называется *character*, ни в коем случае не отклоняться от раз избранного пути; при выборе его их политика соотносится с возможным мнением парламента. Тем не менее удалось убедить английских уполномоченных отказаться от данного ими обещания, изменить систему, не стремиться к уничтожению Саксонского королевства, сблизиться с Францией и даже заключить с ней и с Австрией союзный договор.

“Этот договор, знаменательный главным образом как знак первого сближения держав, общие интересы которых должны были раньше или позже побудить их к поддержке друг друга, был подписан 3 января. К нему присоединились Бавария, Ганновер и Нидерланды, и лишь тогда коалиция, продолжавшая существовать, несмотря на мир, была действительно расторгнута.

“С этого момента большинство держав признало наши принципы, остальные же дали понять, что и они не долго будут их оспаривать, и таким образом оставалось лишь применить их.



“Пруссия лишилась защиты Австрии и Англии и поняла, несмотря на сохраненную ею поддержку России, необходимость ограничить свои притязания частью Саксонии; таким образом это королевство, судьба которого казалась бесповоротно решенной и уничтожение которого было уже постановлено, было спасено от гибели. Заняв военной силой Неаполитанское королевство, Бонапарт дал его, в виде вознаграждения за оказанные им услуги, одному из своих генералов в качестве вещи, лишь ему принадлежащей, подобно обыкновенному поместью, и вопреки праву народов на независимость. Оставление королевства во владении, основанном на подобном праве, представляло бы не малое нарушение принципа легитимности. Падение нового государя Неаполя было подготовлено, и в нем уже не могло быть сомнения, когда он сам ускорил его своим выступлением.

Едва прошло семь недель с того момента, когда узурпатор перестал царствовать, как Фердинанд IV уже вступил на свой трон. В этом важном вопросе Англия имела мужество полностью присоединиться к Франции, несмотря на громкие и неуместные протесты оппозиционной партии и опрометчивые интриги английских путешественников во всех частях Италии.

“Франция могла также считать себя удовлетворенной способом разрешения на конгрессе всех остальных вопросов.

“Так как король Сардинии не имел в царствующей ветви своего дома никакого наследника мужского пола, то можно было опасаться, что Австрия попытается передать наследование эрцгерцогу, вступившему в брак с одной из дочерей короля, что отдало бы в руки Австрии или принца из ее правящего дома всю Верхнюю Италию. Право наследования королю Сардинии было признано за ветвью князей Кариньянских. Государство, к которому была присоединена область Генуи, стало достоянием семьи, связанной с Францией многочисленными узами, благодаря чему оно создает в Италии противовес австрийской власти, необходимый для сохранения там равновесия.

“Нельзя было лишить Россию всего герцогства Варшавского, но по крайней мере половина его была возвращена прежним владельцам.

“Пруссия не получила ни Люксембурга, ни Майнца; ее владения нигде не оказались смежными с Францией; она была отделена от нее Нидерландским королевством, и после расширения территории этого королевства его естественные политические интересы обеспечивают Францию от всяких опасений.

“Швейцарии были гарантированы благодеяния вечного нейтралитета, что представляет для Франции, граница которой с этой стороны открыта и не защищена, почти такую же выгоду, как и для самой Швейцарии. Но это не мешает Швейцарии действовать сейчас совместно с Европой против Бонапарта. Она будет пользоваться нейтралитетом, которого она желала и который ей навсегда обеспечен во всех будущих войнах между разными государствами. Но она сама поняла, что ей не следовало претендовать на такие преимущества в войне, которая не ведется против какого-либо народа, в войне, которую Европа вынуждена вести для своего спасения, в которой Швейцария сама заинтересована, как и все остальные страны; она пожелала принять такое участие в деле всей Европы, которое разрешалось ей ее положением, устройством и средствами.

“Франция обязалась в Парижском договоре упразднить к определенному сроку торговлю неграми, что можно было бы рассматривать как жертву и уступку с ее стороны, если бы другие морские державы не разделяли гуманных чувств, продиктовавших эту меру, и также не согласились бы на нее.

“Испания и Португалия — единственные державы, еще ведшие такую торговлю, — обязались, подобно Франции, ее прекратить. По правде, они оставили себе более долгий срок, но он окажется соответственно меньшим, если принять во внимание потребности их колоний и если иметь в виду, сколько времени требуется для подготовки общественного мнения этих несколько отсталых стран.

На судоходство по Рейну и Шельде были распространены определенные правила,

одинаковые для всех народов. Они воспрещают прибрежным государствам создавать для судоходства какие-либо специальные препятствия и подвергать чужих подданных иным условиям, чем своих собственных. Эти постановления возмещают Франции, вследствие преимуществ, предоставляемых ее торговле, значительную часть тех выгод, которые она извлекала из Бельгии и из левого берега Рейна.

“Все главные вопросы были разрешены так удовлетворительно для Франции, как только можно было надеяться, и даже лучше, чем она могла рассчитывать. В подробностях так же считались с ее особыми интересами, как и с интересами других стран.

“С тех пор как державы оставили предубеждения и поняли, что для установления прочного порядка нужно, чтобы он предоставлял каждому государству те выгоды, на которые оно вправе рассчитывать, они добросовестно старались дать каждому то, что не могло вредить другому. Эта задача была громадна. Надо было восстановить то, что было разрушено в течение двадцатилетних смут, согласовать противоположные интересы при помощи справедливых решений, дать возмещение за частичный (\* *В тексте, хранящемся в архиве, это слово опущено*) ущерб, предоставив другие преимущества, и даже подчинить идею абсолютного совершенства политических учреждений и справедливого распределения могущества задаче установления прочного мира.

“Державам удалось преодолеть главные трудности; самые щекотливые вопросы были разрешены, они старались не оставить ни одного из них нерешенным. Германия должна была получить федеративную конституцию, которую она ждала от конгресса, что пресекло бы наблюдающееся там стремление общественного мнения к созданию двух лиг, южной и северной. Державы должны были создать в Италии при помощи справедливых и мудрых решений действительную преграду для возобновления частых революций, в течение веков терзавших ее народы. Конгресс обсуждал благодетельные меры, которыми можно было бы обеспечить обоюдные интересы разных стран, умножить их связи и усилить их многообразные промышленные и торговые сношения, усовершенствовав и облегчив все полезные виды общения в соответствии с началами либеральной политики.

“Наконец, мы льстили себя надеждой, что конгресс увенчает свои труды и заменит мимолетные союзы, плод преходящих потребностей и расчетов, постоянной системой совместных гарантий и общего равновесия, в преимуществах которой мы убедили все державы. В осуществление этой идеи лорд Кэстльри составил очень хорошую статью. Оттоманской империи обеспечивалась неприкосновенность, и, может быть, сведения об этом, полученные ею от Англии и нас, способствовали ее решению отклонить все предложения, которые Бонапарт пытался ей делать. Таким образом, восстановленный в Европе порядок был бы поставлен под защиту всех заинтересованных сторон, которые могли бы мудро согласованными выступлениями или искренними совместными усилиями задушить при самом их зарождении все попытки его нарушить.

“Тогда революции оказались бы приостановленными; правительства могли бы посвятить свои силы внутреннему управлению, действительным улучшениям, соответствующим потребностям и желаниям народов, и осуществлению многих благотворных планов, которое, к несчастью, было приостановлено вследствие опасностей и потрясений прошедшего времени.

“Восстановление правительства вашего величества, все интересы, принципы и желания которого направлялись на сохранение мира, позволило Европе дать прочное основание своему успокоению и будущему счастью. Сохранение вашего величества на троне было необходимо для завершения этого великого дела. Оно было прервано ужасной катастрофой, разлучившей вас на некоторое время с вашими подданными. Пришлось пренебречь благоденствием народов, к которому все стремились, и заняться спасением их существования, поставленного под угрозу. Надо было отложить на другое время некоторые предположенные меры и разрешить некоторые вопросы менее законченно и обдуманно, чем в том случае, если бы можно было целиком посвятить себя им.

“Так как конгресс был вынужден оставить незавершенными начатые им труды, то некоторые лица предлагали отложить подписание акта, который должен был их утвердить, до того времени, когда эти труды можно будет закончить.

“Отдельные кабинеты начали уже действовать в этом смысле, может быть, с тайным желанием извлечь пользу из подготовлявшихся событий. Я счел бы подобную отсрочку очень большим несчастьем для вашего величества, даже не столько из-за неуверенности, которую она создала бы в отношении намерений держав, сколько из-за того впечатления, которое должен был произвести на общественное мнение Франции этот акт, интересующий в столь высокой степени всю Европу, и одной из главных сторон в котором является, несмотря на теперешние обстоятельства, ваше величество. Мне пришлось поэтому сделать все зависящее от меня, чтобы он был подписан, и я считаю себя счастливым, что державы, наконец, на это решились.

“Уважение, которым должно пользоваться правительство вашего величества у иностранных дворов, не могло быть полным без того, чтобы и вашим подданным оказывалось уважение, естественно принадлежащее членам великой нации и утерянное французами в результате страха, который они внушали. С декабря 1814 года каждому прибывавшему в Вену французу оказывалось особое внимание, независимо от привлечших его туда дел; я могу заявить вашему величеству, что до 7 марта 1815 года, то есть до дня получения известия о возвращении во Францию Бонапарта, звание француза создало в этом городе особое право на благожелательность. Я знаю цену, которую ваше величество придавало этому великому примирению, и я счастлив сказать вам, что ваши желания в этом отношении целиком осуществились.

“Я прошу ваше величество разрешить мне сообщить ему о содействии, которое оказали успеху переговоров герцог Дальберг, граф де ла Тур дю Пен и граф де Ноайль, прикомандированные ко мне вашим величеством в качестве его посланников, и господин де ла Бенардьер, член государственного совета, сопровождавший меня в Вену. Они были полезны не только своими трудами в разных комиссиях, в которые они были назначены, но также и своим поведением в свете, своими речами и мнением, которое они сумели внушить как о себе, так и о представляемом ими правительстве. Благодаря их просвещенному сотрудничеству мне удалось преодолеть столько препятствий, изменить столько дурных намерений, разрушить столько пагубных взглядов, и, наконец, предоставить правительству вашего величества всю ту долю влияния, которое ему должно принадлежать в европейских совещаниях.

“Эта основная цель была нами достигнута благодаря неотступной защите принципа легитимности. Присутствие на искупительной церемонии, происходившей 21 января(1), всех государей, находившихся в Вене, и всех участников конгресса представляло блистательную дань уважения этому принципу.

“Но в то время как на конгрессе он торжествовал, во Франции он подвергался нападкам.

“То, что я по этому поводу хочу сказать вашему величеству, можно было издали видеть яснее, чем в Париже.

“Вне Франции внимание не так сильно отклонялось в сторону, на известном расстоянии можно было лучше судить о фактах, многочисленные сведения о которых поступали уже свободными от привходящих обстоятельств, способных исказить их на месте, но тем не менее я не мог доверять никаким чужим наблюдениям, а только собственным. Выполнив за пределами Франции поручение, потребовавшее много времени, обязан исполнить перед лицом вашего величества то, что в ведомстве иностранных дел вменяется в обязанность всем должностным лицам, назначаемым за границу. Они должны дать отчет о мнении страны, в которой они аккредитованы, относительно своего собственного правительства и о соображениях вызываемых его мероприятиями у просвещенных и наблюдательных людей.

“Можно примириться с прочным порядком вещей, даже когда он нарушает признанные принципы, потому что он не вызывает опасений в отношении будущего, но нельзя

приспособиться к порядку, изменяющемуся каждый день, потому что он ежедневно порождает новые опасения, и никто не знает, когда им наступит предел. Революционеры примирились с первыми действиями правительства вашего величества; они испугались того, что было совершено через пятнадцать дней, через месяц, через шесть месяцев после этого. Они покорились решению об удалении из сената(2) некоторых его членов и не могли перенести той же меры в отношении Французского института(3), хотя она имела меньшее значение. Изменения, произведенные в кассационном суде(4), должны были быть проведены на восемь месяцев раньше, коль скоро ваше величество считало их полезными.

“Принцип легитимности также подвергся нападению и притом, может быть, более опасному благодаря ошибкам защитников легитимной власти, которые, смешивая две столь различные вещи, как источник власти и ее осуществление, были убеждены или действовали так, как будто они убеждены, что власть, будучи легитимной, должна по этому самому быть абсолютной.

“Но как бы ни была легитимна власть, ее осуществление должно видоизменяться в зависимости от целей, которым она служит, от времени и от места. Дух нашего времени требует, чтобы в больших цивилизованных государствах верховная власть осуществлялась при содействии органов, созданных в недрах управляемого ею общества.

“Борьба с этим мнением представляла бы борьбу со взглядами, получившими общее распространение, и многие лица, стоящие близ трона, сильно вредили правительству, высказываясь в противоположном смысле. Вся сила вашего величества заключалась в том представлении, которое создалось о ваших добродетелях и чистосердечии, но некоторые действия клонились к ее ослаблению. Я напому по этому поводу лишь те искусственные толкования и ухищрения, при помощи которых стремились обойти некоторые постановления учредительной хартии, в особенности же ордонансы, ниспровергавшие учреждения, основанные на законе(5). Тогда возникли сомнения в искренности правительства, появились подозрения, что оно считает хартию лишь преходящим актом, который дан в виде уступки в трудных обстоятельствах и который предполагается оставить без применения, если надзор, осуществляемый представительным собранием, это допустит. Началось опасение реакции; выбор, павший на некоторых лиц, увеличил эти страхи. Например, назначение Брюжа великим магистром ордена Почетного легиона вызвало во Франции, независимо от его личных достоинств, всеобщее осуждение и — я должен это сказать вашему величеству — удивило всех в Европе.

“Беспокойство заставило присоединиться к революционной партии всех тех, кто, не разделяя ее заблуждений, был привязан к конституционным принципам, а также всех, кто был заинтересован в соблюдении не самих доктрин революции, а того, что было совершено под их влиянием.

“Именно вследствие этого, а не благодаря действительной привязанности к его личности, Бонапарт нашел некоторых сторонников вне армии, а также вернул себе большинство приверженцев, которых он имел в ней, потому что, возвысившись вместе с революцией, они были соединены разного рода узами (*\* Вариант: потому, что, возвысившись вместе с революцией, он был соединен разного рода узами...*) с ее вождями.

“Нельзя скрывать от себя того, что, как бы ни были велики преимущества легитимизма, он также может вести к злоупотреблениям. В этом отношении сложилось твердое мнение, потому что в течение двадцати лет, предшествовавших революции, направление всей политической литературы сводилось к стремлению ознакомить с этими злоупотреблениями и преувеличить их. Немногие лица умеют оценить выгоды легитимизма, потому что они могут сказать лишь в будущем, но всех поражают злоупотребления его, потому что они могут давать о себе знать в любую минуту, обнаруживаясь по всякому поводу. Кто за последние двадцать лет потрудился задуматься над тем, что правительство не может быть прочно, если оно не легитимно, что, открывая всем честолюбцам надежду на ниспровержение его с целью его замены другим, оно

постоянно находится под угрозой и носит в самом себе зародыши революции, всегда готовый разразиться? К несчастью, в умах сохранилось представление, что легитимность, обеспечивая государю сохранение короны независимо от того, как он правит, в то же время позволяет ему стать над всеми законами.

“При подобном расположении умов, обнаруживающемся сейчас у всех народов, и в эпоху когда люди оспаривают, изучают и анализируют все, особенно все относящееся к политическим предметам, возникает вопрос, что же такое легитимность, откуда она происходит и что ее создает.

“В те времена, когда религиозные ощущения были глубоко запечатлены в человеческих сердцах и могущественно действовали на умы, люди могли думать, что верховная власть имеет божественное происхождение. Они могли верить, что династии, возведенные покровительством неба на троны и его волею сохранившие их, царствуют по божественному праву. Но в эпоху когда от этих чувств едва сохраняется легкий след, когда религиозная связь если и не порвана, то во всяком случае сильно ослабела, люди перестали верить в подобное происхождение легитимной власти.

“Теперь общее мнение сводится к тому,— и тщетны были бы все старания его ослабить,— что правительства существуют исключительно для народов; необходимым следствием такого взгляда является представление, что легитимна такая власть, которая лучше обеспечивает их счастье и спокойствие. Но отсюда вытекает, что единственной легитимной властью является та, которая существует в течение долгого ряда лет; и действительно, эта власть, укрепленная уважением, которое внушается воспоминанием о прошедших временах, привязанностью, которую люди естественно испытывают к роду своих господ, и давностью владения, которая в глазах всех людей обосновывает право на него, потому что, согласно законам, на ней основывается и частная собственность, эта власть реже всякой другой подвергает судьбу народов гибельным случайностям революции. Поэтому самые важные их интересы заставляют народы оставаться у нее в подчинении. Но если, к несчастью, создается такое представление, что злоупотребления этой властью перевешивают предоставляемые ею выгоды, то на легитимность начинают смотреть, как на пустой призрак.

“Что же требуется для того, чтобы внушить народам доверие к легитимной власти, чтобы сохранить за ней уважение, которое обеспечивает ее прочность? Достаточно, но вместе с тем и необходимо сделать ее такой, чтобы были устранены все основания к страху, который она может внушить.

“Государь не меньше своих подданных заинтересован в подобном устройстве власти, потому что абсолютная власть была бы теперь одинаково тяжелым бременем как для того, кто ее осуществляет, так и для тех, к кому она применяется.

“Перед революцией власть во Франции была ограничена древними учреждениями; на нее воздействовали органы судебного сословия, духовенства и дворянства, составлявшие существенные ее элементы, которыми она пользовалась для управления. Теперь эти учреждения разрушены, эти великие средства управления уничтожены. Надо найти новые, которые общественное мнение не отвергало бы, и следует даже, чтобы она соответствовали его стремлениям.

“Некогда авторитет религии создавал поддержку верховной власти; но сейчас, когда религиозное безразличие проникло во все классы и стало всеобщим, она в этом отношении бессильна. Поэтому верховная власть может найти поддержку лишь в одном общественном мнении, а для этого она должна действовать в согласии с ним.

“Она получит эту поддержку, если народы увидят, что правительство, обладающее неограниченной властью для обеспечения им счастья, не в состоянии предпринять ничего, что противоречило бы этой задаче. Но для этого они должны быть уверены, что в его действиях не может быть никакого произвола. Их веры в его добрую волю недостаточно, потому что они могли бы опасаться, что она изменится или что власть ошибется в средствах. Недостаточно, чтобы доверие основывалось на добродетелях или больших

достоинствах государя, тленных, как и он сам; оно должно покоиться на постоянных учреждениях, и даже больше того: бесполезными окажутся и сами учреждения, способные по своей природе обеспечить благоденствие народов; они не внушат им никакого доверия, если не будет установлена та форма правления, которая по взглядам нашего века считается единственно пригодной для достижения такого благоденствия.

“Все желают гарантий, желают их для государя, желают их и для подданных. Но считалось бы, что эти гарантии отсутствуют:

“Если бы личная свобода не была охранена законом от всякого посягательства.

“Если бы свобода печати не была вполне обеспечена и если бы законы не ограничивались каранием лишь ее преступлений.

“Если бы судебное сословие не обладало независимостью и не составлялось из несменяемых членов.

“Если бы судебная власть предоставлялась в некоторых случаях административным или каким-нибудь иным органам, кроме судов.

“Если бы министры не несли солидарной ответственности за осуществление порученной им власти.

“Если бы в советы при государе входил кто-нибудь, кроме ответственных лиц.

“Наконец если бы закон не являлся выражением совокупной воли трех раздельных властей.

“В древних и многочисленных обществах, в которых знания развиваются по мере роста потребностей, а страсти растут вместе со знаниями, необходимо, чтобы государственные власти соответственно увеличивали свою силу, а опыт показал, что при их разделении они укрепляются.

“Эти взгляды распространены сейчас уже не только в одной какой-нибудь стране. Они разделяются почти всеми. Повсюду требуют конституции, всюду ощущается потребность учредить ее в соответствии с большим или меньшим развитием гражданского общества, и повсюду ее готовят. Конгресс отдал Геную Сардинии, Лукку испанской инфанте Марии-Луизе, вернул Неаполь Фердинанду IV и провинции Папской области папе лишь под условием введения в этих странах того порядка который требуется или определяется их современным состоянием.

“Напуганные неизбежными для Испании последствиями правительственной системы, проводимой Фердинандом VII, все государи и министры горько сожалеют о том, что ему удалось восстановить свой трон до предъявления ему Европой требования дать своей стране учреждения, соответствующие идеям нашего времени. Я даже знаю, что государи, народы которых еще так мало просвещены, что неспособны пользоваться этими учреждениями, требующими высокой степени просвещения, огорчаются этим, как своим собственным несчастьем.

“Приведенные мнения я почерпнул в совещаниях, на которых собралась вся Европа. Все беседы, которые я вел с государями и их министрами, оказались проникнутыми ими. Их высказывают в своих письмах из Лондона австрийский и русский послы и лорд Кэстльри. Поэтому я счел своим долгом изложить их вашему величеству в этом докладе. Я имел тем менее права освободить себя от этой обязанности, что все государи поручили мне в прощальных аудиенциях сообщить вашему величеству свое глубокое убеждение, что Франция никогда не будет успокоена, если ваше величество не разделит без оговорок этих взглядов и не превратит их в единственное правило своего правления; они считают необходимым, чтобы Франция предала прошлое забвению без всяких изъятий, считая все исключения опасными, а гарантии для государя возможными лишь при существовании гарантий для всех сторон и признавая их достаточными лишь в том случае, если их признают такими все классы общества; они указывают на необходимость создать цельную систему, притом такую, чтобы для всех сторон была ясна и очевидна искренность, лежащая в ее основе; система эта должна с самого начала ясно показать цель, к которой стремится правительство, помочь каждому оценить свое собственное положение и не

оставить никого в состоянии неуверенности. Они добавили, что если ваше величество может казаться заинтересованным более всякого другого в поддержании во Франции спокойствия, то в действительности они сами не менее вашего заинтересованы в этом, потому что кризис, переживаемый сейчас Францией, представляет угрозу для всей Европы; наконец, они указали, что усилия, приложенные ими в этом году, нельзя будет повторить сызнова, после того как они вернутся в свои государства.

“По прочтении обращения вашего величества к своим подданным государи сказали мне, что они с сожалением отметили одну фразу, в которой ваше величество говорит, хотя с большой осторожностью, о согласии, данном им на принятие их помощи, из чего иные, пожалуй, заключат, что вы могли бы от нее отказаться и все же сохранить мир. Они опасаются, что благодаря этому ваше величество навлечет на себя порицание Франции за то, что оно якобы позволило навязать себе их волю. Они считают, что для того, чтобы не внушать своим народам взглядов, столь противоположных вашим интересам, как вам, так и окружающим вас лицам следует не проявлять активности. В этом отношении вашему величеству предстоит серьезная задача, так как надлежит сдерживать и даже подавлять чрезмерное рвение. По их мнению, ваше величество должны казаться скорбящим о том, что происходит, а не принимающим в этом участия. Либо сами, либо при помощи своих близких, вы должны стать между союзными государами и своим народом, чтобы смягчить, в меру возможного, бедствия войны и успокоить союзников насчет верности сдавшихся крепостей, которые по соглашениям, уже заключенным, как я думаю, вашими министрами с герцогом Веллингтоном, доверены выбранным вами лицам.

Наконец, они считают, что ни ваше величество и ни один принц вашей семьи не должны появляться вместе с союзными армиями, чтобы не казалось, что вы возбудили войну и, тем более, что вы сами ее ведете. Никогда еще от политики не требовалось столько тонкости.

“Если бы какой-либо части Франции удалось, вследствие наступающих событий, освободиться от ярма Бонапарта, то я считаю, что вашему величеству следовало бы немедленно отправиться туда со своим правительством, созвать там палаты и взять в свои руки власть в королевстве, как если бы оно уже целиком покорилось. Проект экспедиции на Лион, горячо поддержанный мною вследствие большого влияния, которую она могла бы иметь на южные провинции, позволил бы осуществить это предложение с большими выгодами.

“Сообщение об отправке в армию большого числа комиссаров произвело неприятное впечатление. Я считаю, что все действия вашего величества должны предприниматься в согласии с союзниками и даже по их указаниям. Подобная снисходительность будет содействовать ясному пониманию ими цели войны, которая, как я должен сказать, может быть не у всех кабинетов совершенно одинаковой. Так, если Англия горячо стремится только к возвращению вашего величества, то я не могу гарантировать, что Россия не допускает и иных комбинаций; я не могу заверить, что Австрия, которая, как я считаю, также стремится к этому, не желает прежде всего собственного расширения.

“Не могло ли бы ваше величество, в момент вступления иностранных армий во Францию, обратиться к своим подданным со вторым обращением, в котором заботливо щадилось бы самолюбие французов, естественно требующее, чтобы иностранцы ничего не навязали Франции, даже и того, к чему она сама стремится?

“В этом заявлении, обращающемся прежде всего к общественному мнению, которое Бонапарт пытается ввести в заблуждение относительно причин и целей теперешней войны, можно было бы сказать, что иностранные державы начали ее отнюдь не в интересах вашего величества, ибо им известно, что Франция стремится лишь к освобождению от насилия, но что они предприняли ее ради собственной безопасности; нужно указать, что они никогда бы в нее не вступили, если бы не были убеждены, что Европе будут грозить величайшие бедствия, пока человек, ее так долго угнетавший, останется господином Франции; что война вызвана только его возвращением туда, а ее

главная и непосредственная цель сводится к лишению его власти, захваченной им; что для смягчения страданий, ею причиняемых, для предупреждения возможных бедствий и для приостановки опустошений ваше величество, окруженное французами, становится посредником между иностранными государями и своим народом в надежде, что оказываемое ему уважение послужит на пользу его государства; оно намеревается играть в войне только такую роль и не желает, чтобы принцы его дома принимали в ней какое-либо участие на стороне иностранных армий.

“Переходя затем к внутренним мероприятиям во Франции, вашему величеству надлежало бы сообщить, что вы желаете дать все гарантии, которые будут считаться необходимыми. Так как выбор министров представляет самую существенную из всех тех гарантий, которые вы можете дать, то вы тотчас же оповестите о предстоящем изменении правительства. Вы должны заявить, что привлеченные вами министры назначены лишь временно, так как вы сохраняете за собой возможность по прибытии во Францию так составить правительство, чтобы даваемая вами (*\*Вариант: представляемая им*) таким образом гарантия удовлетворила все партии, все взгляды и успокоила все тревоги.

“Наконец, было бы хорошо, чтобы это заявление коснулось национальных имуществ и высказалось относительно них положительнее, категоричнее и в более успокоительном смысле, чем учредительная хартия, постановления которой оказались недостаточны для прекращения опасений лиц, приобретших такие имущества. Сейчас тем более необходимо их успокоить и не оставить им ни малейшего предлога для тревоги, что благодаря ей приостановилась продажа государственных лесов, доход от которой будет впредь еще более нужен, чем прежде, почему эти сделки и следует всячески поощрять.

“Вашему величеству полезно и даже необходимо, по общему мнению, обратиться в таком духе к своему народу. Признаюсь вашему величеству, что я также в этом убежден. В особенности я считаю необходимым, чтобы вы удовлетворили все пожелания в отношении гарантий. Если, как я смею надеяться, ваше величество разделяет этот взгляд, то вы, конечно, поручите нескольким лицам, пользующимся вашим доверием, приготовить и представить вам проект такой декларации.

“Я дал вашему величеству точный и полный отчет о переговорах, происходивших во время конгресса, и о впечатлении, произведенном французскими событиями в Вене. Мне остается лишь сказать о некоторых подробностях, не имеющих большого значения.

“Во время пребывания в Вене в моих руках накопилось довольно большое количество бумаг. Большинство из них не представляет значительного интереса, и потому они не могут мне понадобиться. Ваше величество имеет копии всех остальных, так что мне было бесполезно брать их с собой. Поэтому большую их часть я сжег, а остальные оставил в Вене в руках верного лица.

“Столь длительный труд, который по характеру дел, подлежавших представлению вашему величеству, был мне подчас очень тягостен, я рад закончить заверением в превосходящем всякую похвалу рвении и преданности ваших послов и посланников при различных дворах, доказательства чему они давали в течение всего конгресса. Их положение было вначале трудно по тем же причинам, которые создали и мне столько помех в Вене (*\* В архивном тексте слова “в Вене” отсутствуют*), а затем — вследствие роковых событий, начавшихся с первых дней марта. Но и эти трудности были для них только лишним поводом проявить одушевляющую их преданность вашему величеству. Несколько человек из их числа испытывает уже (*\* В архивном тексте слово “уже” отсутствует*) в течение некоторого времени большие денежные затруднения. Они сделали все, что было в их возможности, чтобы на разных постах, доверенных им вашим величеством, вести приличествующую им жизнь. Вероятно, приняты уже какие-нибудь меры для смягчения положения, в котором они находятся (*\* Вариант: несколько человек из их числа испытывают весьма большие недостатки*).

*Князь де Талейран.*



## ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) См. примечание 1 к главе VI.
- (2) Палата пэров, учрежденная при Людовике XVIII, насчитывала 154 члена, в том числе 84 прежних сенатора. Часть сенаторов не была в нее допущена вследствие своего революционного прошлого.
- (3) Реорганизация Французского института произошла в марте 1816 г., когда были восстановлены уничтоженные декретом революционного правительства академии с исключением из числа их членов Наполеона, Люсьена и Иосифа Бонапарта, кардиналов Феша и Мори, Камбасереса, Сиеса, Карно и других. Однако проект реорганизации возник уже в эпоху первой реставрации Бурбонов.
- (4) Изменения, произведенные в кассационном суде, также сводились к устранению из его состава деятелей революции.
- (5) Примером может служить распоряжение, отданное 7 июня 1814 г., о соблюдении воскресных и праздничных дней, что представляло нарушение конституционной хартии, обещавшей свободу вероисповеданий.

### ***Восьмая глава ГЕРЦОГ ОРЛЕАНСКИЙ (1)***

Частные мемуары и жизнеописания знаменитых людей служат источником для установления исторической правды; при их сравнении с легковерной и даже суеверной традицией они дают материал для ее опровержения или подтверждения; вместе они придают истории тот характер достоверности, который от нее требуется.

По этой причине времена Генриха III, Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV хорошо известны, а история этих царствований заслуживает доверия. Последовавшая затем эпоха, более к нам близкая, не обладала такими преимуществами и оставила нам меньше подобных сведений. Можно считать, что общие познания об этом периоде основываются на одной традиции.

“Век Людовика XIV”, написанный Вольтером, представляет собой особого рода сочинение. По простоте, естественности тона и по воспоминаниям о некоторых анекдотических событиях оно относится к разряду мемуаров, но часто оно подымается до общих взглядов более высокого характера. Совершенно очевидно, что Вольтер не претендовал на составление истории царствования Людовика XIV и что он хотел ограничиться наброском главнейших событий в основных их чертах.

Хорошо написанная история жизни Кольбера или Лувуа дала бы правильное представление о характере правления этого великого короля. Такого же рода работа о министерстве герцога Шуазеля познакомила бы нас с духом, господствовавшим при дворе и в администрации Людовика XV. Я считал, что картина жизни герцога Орлеанского передаст особенности и окраску слабого и кратковременного царствования Людовика XVI, что она покажет проявившуюся при нем распущенность общественных и частных нравов, как и упадок форм управления и административных навыков; я думал, что работа, предпринятая с такими целями, воспроизведет характер важного периода французской истории.

На протяжении трех веков французскому правительству угрожали на приблизительно равных промежутках времени беспорядки, отличавшиеся каждый своим особым характером. Первые из них, именно лига (2) и фронда (3), ускорили рост национальной силы и величия; было нечто благородное в отваге Гизов и кардинала Ретца и в их способах действия: в этом заключалась обольстительная особенность эпохи. Последние волнения, относящиеся к нашим дням, были лишь ужасной катастрофой. Герцог Орлеанский, отметивший их своим участием, отдался им только из распущенности, из презрения к приличиям, из пренебрежения к самому себе: в этом заключалась доблесть

эпохи, в этом же проявлялись ее склонности и смысл событий. Теперь я приступаю к теме.

Я не могу сказать, какую роль припишут герцогу Орлеанскому разные партии, господствовавшие во Франции с начала революции, когда они будут изображать, в целях собственного прославления, ее великие сцены. Лишь бы его не обвинили в ошибках, проистекающих только из одной предельной слабости характера; это будет неточно, хотя и правдоподобно. Вся его жизнь может служить тому доказательством. Обстоятельства, среди которых он действовал, часто менялись, но, превращаясь из ребенка в юношу, из юноши в зрелого человека, он оставался всегда и неизменно одним и тем же. Несмотря на то, что я могу сообщить о жизни и характере герцога Орлеанского много любопытных и малоизвестных подробностей, я похоронил бы их в своей памяти, если бы считал, что они могут только удовлетворить любопытство, но мне казалось, что они послужат полезной цели, и потому я их собрал.

В стране, где еще существует обычай давать отличия, следовало бы наделять заметными знаками людей, которые должны быть удалены с государственной арены. Яркий пример такого рода дает герцог Орлеанский. Всякий человек, который в молодости выставляет напоказ глубокое презрение к общественному мнению и который затем так развращается, что перестает уважать самого себя, не может позже, когда он становится старше, поставить других границ своим порокам, кроме бесплодия собственного воображения или воображения тех, кто его окружает.

Я мог бы избавить себя от описания преимуществ, которыми имел право гордиться этот первый принц крови из Дома Бурбонов, если бы степень кровного родства, существовавшего между Людовиком XVI и герцогом Орлеанским, не представляла для нас весьма большого интереса. Его характер будет понятнее, когда мы окружим его всеми теми привилегиями, которыми он пользовался, и противопоставим их лежавшим на нем обязанностям. Тогда станет ясно, что он погряз ногами, какие он нарушил узы, какие чувства задушил и какое положение опозорил.

Тот, кто считает Генриха IV своим предком, располагает всемогущим правом на любовь французов. Франция привыкла почитать в первом принце крови первого из подданных, достаточно могущественного для покровительства и всегда недостаточно сильного для угнетения, более влиятельного, чем всякое другое лицо, но менее властного, чем закон и король, являвшийся отображением закона. Он был одним из наиболее естественных посредников, через которого личные благодеяния монарха могли достигать народа, а народная благодарность — восходить к престолу.

Не следует ждать от меня больших подробностей о первых годах жизни герцога Шартрского. Я не стану подражать тем, кто в лепете ребенка мучительно разыскивает гороскоп его пороков и добродетелей. Это я предоставляю лицам, пишущим по определенной системе: у меня ее нет.

Когда прошли первые годы детства герцога Шартрского, он приступил к учению, его воспитание было передано мужчинам, но переход от нянь к первым учителям означал только замену женской слабости мужской снисходительностью. Говорили, что “если он плохо воспитан, то по крайней мере он будет добр,— Орлеанским свойственна доброта”. Благодаря уверенности в этой доброте о воспитании его характера заботились не больше, чем об его учении. Так как у него был очень изящный стан, то его пытались усовершенствовать в физических упражнениях. Не многие юноши ездили верхом так хорошо и с такой грацией, как герцог. Он отлично фехтовал, на балах его всегда отмечали. Все, что сохранилось от старинного французского двора, жалеет о рукоплесканиях, которыми его наделяли за исполнение беарнского танца в костюме Генриха IV или благородных па в праздничном наряде, который носили юноши при дворе Людовика XIV. Хотя в мелких делах и в общении с детьми своего возраста он проявлял довольно много рассудительности, он не мог совершенно ничему научиться; он начал изучать несколько наук и несколько языков, но он никогда не постиг даже правил правописания, которые теперь во Франции известны каждой женщине. Однако его учитель математики говорил

мне, что он находил у него некоторую склонность к этой науке. Но он был так неусидчив, что можно было только излагать ему разного рода сведения; его внимание легко утомлялось, и он умел его сосредоточивать лишь до того момента, когда он приобретал относительно того, чему его учили, какое-нибудь собственное суждение; тогда он переставал двигаться вперед. Его характер не обещал еще ничего выдающегося, но уже можно было заметить, что он находит особого рода жестокое удовлетворение в том, чтобы приводить в замешательство приближавшихся к нему лиц, в чем отражалась некая веселая, но в то же время сварливая, высокомерная злобность, которую благожелательные люди называют проказливостью.

Было также замечено, что в своей ранней молодости он не проявлял благодарности ни к родственникам, ни к учителям и не испытывал никакой привязанности к товарищам своих игр. Хотя в детях это свидетельствует только об отсутствии некоторых положительных качеств, не отражающем никакого определенного предрасположения характера, тем не менее эта черта обещает большую холодность сердца. Из лиц, участвовавших в его воспитании, я решаюсь назвать только графа Пона, Шатобрена и Фонсмана, так как они имеют сами по себе веское право на общественное уважение.

Герцог Шартрский с нетерпением ожидал того возраста, который даст ему независимость, и притом не для того, чтобы попробовать свои силы в полезных жизненных делах, как это бывает у хороших юношей, но исключительно чтобы избавиться от докучливых воспитателей и стремительно отдаться своим склонностям. Этот момент, который следовало бы устанавливать для каждого лица отдельно, в зависимости от направления его ума, от склада характера, от того, как были проведены годы его детства и юности,— этот момент, говорю я, у французов плохо рассчитан. Они не оставляют почти никакого промежутка между детством и тем периодом, когда молодой человек вступает без всякого руководства в незнакомый ему свет. Такое внезапное предоставление человека самому себе еще более опасно для принцев. Будучи рабами той заботливости, которой их окружают, они остаются детьми до шестнадцатилетнего возраста и вдруг сразу оказываются больше чем просто взрослыми людьми, они еще неспособны быть свободными, а уже отдают распоряжения. Испытывая изумление перед своими новыми правами, торопясь злоупотребить ими, чтобы удостовериться в их неотъемлемости, они находят вокруг себя лишь обольщения. Их самые верные слуги боятся заслужить недовольство, предостерегая от опасностей, а толпы всевозможных лиц спешат всеми способами быть приятными.

Подобное сочетание внешних условий становится очень опасным при тех природных свойствах, какие можно было уже тогда заметить у герцога Шартрского. Будь он вооружен какими-нибудь нравственными правилами, которые оказывали бы сильное влияние на его сердце, можно было бы ожидать, что они дадут о себе знать в минуту успокоения, когда всякий человек заглядывает в глубину своей души. Во всяком случае он ограничил бы свои склонности той уздой приличия, которую накладывает общественное мнение. Если бы у него было живое тяготение к какой-нибудь науке, он пытался бы расширить свои знания и сумел бы управлять своим вниманием. Будь он хотя бы искренне влюблен, то, стремясь нравиться, он не растратил и не развратил бы своего ума в постоянном безделье, его сердце освободилось бы от недостатков, исчезающих перед лицом истинного чувства. Простое счастье, остерегающееся опасностей, которые создаются беспокойным воображением, и самоотверженность, вызывающая великодушные чувства, несомненно развили бы у герцога Шартрского какие-нибудь серьезные достоинства.

Но по сухости своего сердца он был лишен иллюзий молодости, в то время как рассеянность ума мешала ему сосредоточиться на серьезных предметах. Так как он был необуздан в своих склонностях и превратил удовольствия в оплот против самой любви, то он начал злоупотреблять всеми радостями и сохранил постоянство только в излишествах.

В 1769 году он женился на девице Пентьевр. Она была добра, бела, свежа, кротка и

чиста, но она нравилась ему до тех пор, пока как женщина была для него новинкой. По прошествии нескольких дней все сколько-нибудь блестящие парижские куртизанки могли снять вдовьи наряды, в которых им угодно было появиться в опере, когда герцог и герцогиня Шартрские впервые приехали туда вместе.

Вступив в свет, герцог Шартрский подружился с Вуайе, главой всех развращенных людей той эпохи. Благодаря своему большому состоянию, репутации искусного в государственных делах человека, умению вести довольно блестящие разговоры на военные темы и большому остроумию Вуайе объединял вокруг себя молодых людей с пылкими страстями, зрелых людей, утративших доброе имя, всякого рода шалопаев и интриганов. Аббат Ивон, получивший известность скорее вследствие продолжительных преследований, которым он подвергался, чем как автор нескольких статей в Энциклопедии, в том числе статьи о душе, которая и навлекла на него гонения, познакомил герцога Шартрского с возвышенной метафизикой, и тот усвоил ее язык даже для самых непринужденных разговоров. У него постоянно повторялись такие выражения, как—душа... пространство... цепь существ... абстракция... материя... состоящая из точек... простая... непротяженная... неделимая, и так далее. Все эти слова, произносимые без определений, с интервалами, жестикуляцией, недомолвками и в мистической форме, подготовляли молодых адептов к вере Вуайе. Тогда их начинали учить, что всякое чувство лишь смешно... что совесть свидетельствует о слабости... что справедливость — предрассудок... что во всех наших действиях мы должны руководствоваться своими интересами или, вернее, стремиться к удовольствию, и так далее. От доказательств, естественно, воздерживались.

Однажды вечером, за товарищеским ужином, Лиль, офицер из полка, находившегося под командой Куаньи, человек умный и привязанный к своим друзьям, несколько обидчивый, может быть, чрезмерно непринужденный, но в общем вполне порядочный малый, недостаточно убежденный в том, что “справедливость представляет собой безусловный предрассудок”, позволил себе сделать некоторые возражения.

“Это моя ошибка, дорогой Лиль,— заявил скромно Вуайе,— если у вас еще есть какие-нибудь сомнения; это значит, что я не поднялся достаточно высоко. Я был неправ, мне следовало подойти к самому корню проблемы... Слушайте, ведь это только слово... Все знают, что существование является для нас представлением о постоянстве некоторых сочетаний чувств, которые (слушайте меня внимательно) в одинаковых или приблизительно одинаковых обстоятельствах оказываются неизменными... Понимаете ли вы, Лиль? Если они даже не вполне неизменны, то в изменениях, которым они подвергаются, они подчинены некоторым законам, управляющим вселенной, и так далее. Вы меня внимательно слушаете, не правда ли? Вы видите следствия всего этого; для такого человека, как вы, дорогой Лиль, нет надобности развивать это дальше, и так далее!!!”

Как может самолюбивый молодой человек признаться в своей неспособности понять этот таинственный язык? Приходилось делать вид, что убежден сказанным. Лиль был настолько рассудителен, чтобы не понимать, но у него не хватало мужества об этом заявить, лишь когда при помощи таких нелепостей осмелились напасть на развращенность, которая до того считалась для подобных людей во Франции священной, то Лиль рассказал об этом разговоре и некоторых других, которые он запомнил по причудливости применявшихся в них выражений.

Среди этого бесформенного метафизического мусора, в этой новой стоической философии можно было найти в законченном виде лишь несколько уродливых изречений и сентенциозных подстрекательств к развращению мысли.

Однако основной принцип доктрины Вуайе был прост. Он отрицал существование морали и говорил, что для разумных людей она только пустое слово, что в ней нет ничего реального, что утверждение моральных начал надо искать в своей совести; таким образом, мораль не существует для всех тех, кто по своему уму и характеру может никогда не

испытывать укоров совести. Вследствие этого откровенность, искренность, доверчивость, естественная честность и все добрые чувства осуждались и объявлялись нелепыми.

Когда источники истинных радостей так иссушаются, то их приходится заменять чудовищными наклонностями. Для лиц, посвятивших себя всевозможным развлечениям, они уже к двадцати годам теряют свою привлекательность. Развращенные органы нуждаются в сильных эмоциях. Их может доставить один разврат. Поэтому он господствовал над всеми этими потерянными молодыми воображениями, а его господство всегда превращается в непреклонную власть. Приносимые ему жертвы не смягчают его; чем больше ему делают уступок, тем больше он требует; первыми ему приносят в жертву чистосердечие, верность и прямоту.

Последователи всякого учения просто в него верят, но Вуайе, пользуясь правами главы секты, не верил в проповедуемое им учение. Это доказывается множеством подробностей его жизни и смерти. Он постоянно изрекал слова полнейшего презрения к общественному мнению, но суждения публики составляли его мучение. “Хорошо воспитанное общество,— заявил он однажды,— подвергнется скоро заслуженному им презрению”. Однако он был безутешен, когда обнаружилось, что дома некоторых членов этого общества, которое он так презирал, для него закрыты. Пренебрежение ко всякого рода чувствительности, требуемое взятой им на себя ролью, вынуждало его принимать меры, чтобы скрыть помощь, оказываемую им бедным семьям.

В своем поместье “Вязы”, особенно в его отдаленных частях, он делал много добра. О дворе, о раздаваемых там милостях и низких людях, которые их испрашивают, он говорил не иначе, как с насмешкой, но окольными путями он ходатайствовал для себя об ордене Святого духа, который больше других милостей короля отражал его личную благосклонность. Когда он однажды находился в Марли, в месте празднеств и развлечений, Людовик XVI со свойственной его добрым нравам строгостью и с резкостью, которая объяснялась его скромностью и безукоризненной честностью, упрекнул его в присутствии всего двора в развращенности. В первое мгновение изумленный Вуайе не нашел, что ответить. Придя немного в себя, он отправился к Морепа, чтобы рассказать ему о происшедшем и попросить его добиться удовлетворения. Но этим посредничеством он не мог похвалиться, так как он услышал только следующую фразу: “Мы никогда не научим короля вежливости”. Обидное слово “вежливость”, отказ в ордене и суровые выражения короля глубоко его оскорбили; все близко его знавшие лица, как, например, его жена, не сомневались, что его смерть, наступившая вскоре за этим, была вызвана огорчением.

Герцог Шартрский, знавший лишь ту сторону характера Вуайе, которую тот не скрывал, приобрел все пороки, свойственные подобному обществу. Он утратил все естественные чувства, которые могли бы ему помочь раскаяться. С этого момента, от этой второй стадии воспитания, полученного им в том возрасте, когда люди становятся учениками окружающих их условий, надо вести начало действительного развращения герцога Орлеанского. До этого он обнаруживал лишь дурные склонности, но теперь он усвоил в защиту своего поведения гибельные правила и приобрел такие привычки, с которыми он уже никогда не мог расстаться. Для объяснения всей его жизни следует обращаться к этому периоду. Зная яд, которым его пропитали, нельзя удивляться совершенным им роковым ошибкам. Познакомив с доктриной Вуайе, я одновременно изобразил всего герцога Орлеанского, я вскрыл тайну его жизни и силу, двигавшую его поступками. Как бы они ни были различны, в них обнаруживается одно и то же начало. Никогда еще человек не был таким полным рабом своих верований. Сколько опустошений произвела в современном поколении французов эта система, известная среди ее сторонников под именем “борьбы с заблуждениями”! До XVIII века она скрывалась в глубине сердец нескольких порочных людей и ждала этой эпохи, чтобы дерзко прозвучать как открыто высказываемый взгляд, как философская система. Это редкое проявление дерзости заслуживает быть отмеченным.

В истории французского народа слишком недостаточно отмечались великие искажения человеческого духа, как будто нет обязательной связи между заблуждениями и преступлениями. Разве мораль не выиграет, если взгляды герцога Орлеанского будут сопоставлены с разными его поступками? Он считал, что правильно только то, что ему удобно; ему было неизвестно, что в своем счастье человек зависит от счастья других людей; он не признавал потребности во взаимных услугах, составляющей мощное основание общего и частного доброжелательства. Все средства нравятся, которые природа отпускает лишь в великодушных целях, он подчинял исключительно личным комбинациям, направленным против доверчивой и неопытной простоты. Призванный к обладанию огромным состоянием, он не считал добро, которое он мог бы делать другим, ручательством того, что оно будет сделано и ему; при своем ограниченном эгоизме он не мог поверить, что в подобном обмене он получит больше, чем даст. Если в своей первой молодости человек рассчитывает чувства, то он рассчитывает их всегда неправильно или, точнее, — он рассчитывает их только потому, что не имеет их. В постоянной смене склонностей, вызываемых капризами и увлекающих душу от горячности к безразличию, а от безразличия к другому капризу, нет места дружбе. Поэтому герцог Орлеанский не любил никого. Несколько покладистых молодых людей, принимавших это безразличие за мягкость, привязались к нему. Он превратил их в участников своих развлечений, в товарищей по разврату, но никогда не испытывал к ним сердечной привязанности. Одним из первых, с кем он сблизился, был принц Ламбаль, но он был слишком слабого телосложения, чтобы долго выдержать тот образ жизни, который вел его шурин.

Когда молодые принцы умирают, то никто не верит, что их смерть наступила естественно. Смерть принца Ламбаля доставила герцогу Орлеанскому такое колоссальное богатство и он так плохо его использовал, что в нескольких памфлетах его обвиняли в более непосредственном содействии этой смерти, чем простое вовлечение погибшего в разврат. Но это ничем не доказано, и я должен заверить, что, по достоверным сведениям, ничто не дает основания высказывать такие подозрения. Достаточно уже утверждения, что принц Ламбаль был ближайшим другом герцога Орлеанского, что последний развратил его, что это вызвало его смерть и что герцог Орлеанский не высказал по этому поводу никаких сожалений.

Другая, более продолжительная дружеская связь также не оставила сколько-нибудь заметных следов в сердце герцога Орлеанского. Он проявил самое бессердечное равнодушие, когда в 1788 году потерял, после двадцатипятилетней дружбы, одного из своих главных завсегдатаев, маркиза Конфлана, человека, известного сначала своей красотой, благородством, изяществом стана, ловкостью, затем своими недостатками, проявлявшимися, когда он находился в дурном обществе, своими достоинствами, ощущавшимися, когда он был среди военных, верностью своих суждений, когда он говорил о серьезных предметах, и во все периоды своей жизни — искренностью своих чувств, вкусов и антипатий. Заболев той болезнью, от которой он начал чахнуть и впоследствии, после внезапной вспышки, погиб, Конфлан не хотел признать себя больным и продолжал посещать свет, как прежде. В день своей смерти он должен был обедать с герцогом Орлеанским и несколькими другими лицами у Бирона в Монруже. Его ждали, причем герцог Орлеанский был более нетерпелив, чем остальные, так как он собирался затем в театр. Когда в четыре часа все уже съехались, прибежал один из слуг Конфлана сообщить, что он только что умер. Все присутствовавшие в комнате выразили большую или меньшую степень сожаления в зависимости от своей близости с Конфланом. Герцог Орлеанский произнес лишь следующие слова: “Лозен, так как мы больше никого не ждем, то будем обедать, чтобы вовремя приехать в оперу”.

Изучение движений человеческого сердца не объясняет, каким образом такая бесплодная душа могла внушать чувства дружбы; поэтому я считаю странностью, что герцога Орлеанского искренне любили. Бирон с детства до смерти питал к нему самые нежные чувства. Честь этого чувства нельзя, конечно, приписывать герцогу Орлеанскому;

она принадлежит целиком Бирону. Он был смел, романтичен, великодушен и одухотворен. Соответствие их возрастов и первых живых чувств, некоторое сходство в проявлениях остроумия и почти одинаково блестящее положение сблизили их. Но вскоре оказалось, что требуется мужество, чтобы любить герцога Орлеанского, и великодушие, чтобы его защищать. После того как Бирон проявил эти два качества, герцог Орлеанский стал ему еще дороже, а романтический характер Бирона помог ему создать все те иллюзии, в которых нуждалась его возвышенная душа для поддержания чувств. В те минуты, когда Бирон, к которому всегда обращались за помощью вследствие его щедрости, испытывал неотложную нужду в деньгах, он не верил, что герцог Орлеанский, так колоссально богатый, в состоянии их ему одолжить, потому что тот ему этого никогда не предлагал. Та же последовательность иллюзий заставляла его утверждать, что, когда герцог Орлеанский вступал в политическую жизнь, он не лелеял никаких тайных мыслей и личных стремлений и не принимал никакого участия в революционном движении, так как он сам ему об этом ничего не говорил.

Я не буду упоминать о других дружеских связях герцога Орлеанского, как с виконтом Лавалем, с Шельдоном, Лианкуром, Артуром Диллоном, Фитц-Джемсом, Сен-Бланкаром, Монвилем и другими. Все эти отношения в разные периоды его жизни распались. Одни развлечения, на которых они основывались, не образуют такой прочной связи, которой хватило бы на целую жизнь. Говоря обо всех этих мимолетных дружеских отношениях, я должен, вопреки собственному желанию, сказать несколько слов о множестве возлюбленных герцога Орлеанского, заполнивших часть его жизни; однако они внесли в нее так мало событий, что я не считаю нужным воспроизводить здесь их длинный список.

Моя задача будет совершенно выполнена, если я укажу, что герцог Орлеанский проявлял все наклонности, все капризы и странности, в которых нуждается вначале повелительная, а затем истощенная чувственность для своего утоления или возбуждения. Я хотел бы сейчас остановиться на более нежных образах и поговорить о женщинах более возвышенного рода, любивших герцога Орлеанского. Временами он снова появлялся в свете, но всегда как во вражеском стане, где он искал жертв. Принцесса Бульон, маркиза Флери, принцесса Ламбаль поочередно считали, что он их любит, и давали ему доказательства своей любви. Их нежность стала для его порочного ума новым источником распутства, но он истощался, как и все остальные. Он вскоре покинул их с такой оглаской, которая, к счастью, привела к обратным результатам, чем ожидал герцог Орлеанский. Общество оказалось к ним снисходительно, их жалели, и они заставили забыть свои заблуждения.

Я не мог упомянуть госпожи Силлери среди женщин, которые отметили собой лишь короткий момент в жизни герцога Орлеанского, так как о ней надо говорить особо.

Когда человек представляет собой смесь честолюбия и умеренности, непринужденности и сдержанности, нравственных правил и снисходительности, то его внешняя и интимная жизнь должна привести к необычным результатам. Госпожа Жанлис достигла всего, к чему стремилось ее честолюбие, при помощи самых противоположных средств, которые она всегда умела сочетать. Когда она была молода, красива и одинока, она нашла мужа, отважившись на несколько утренних визитов к мужчинам; позднее, среди любовных походов, она прибегала к ригористическим ходулям; одним и тем же пером она написала “Рыцарей лебедей” и “Уроки морали для детей”; на одном и том же столе она сочинила молитвенник для госпожи Шартрской и речь к якобинцам для герцога Орлеанского. Вся ее жизнь состоит из таких противоположностей. У мадемуазель Сент-Обен — это было ее имя — был изящный, но лишенный благородства стан, выражение ее лица было очень пикантно; в ее разговоре было мало остроты, в ее уме мало обаятельности, но она вполне владела всеми преимуществами, которые дают образование, наблюдательность, сдержанность и светский такт. Когда она с грехом пополам вышла замуж за графа Жанлиса, ей надо было сблизиться с семьей своего мужа, которая, как она знала, была к ней неблагосклонна. Одаренность, притворная робость и время помогли ей

достичь цели. Она добилась возможности приехать в Силлери. В несколько дней она сумела понравиться Пюизье, одному из самых скучных людей своего времени, и смягчить колкость госпожи Пюизье. Она хорошо понимала, что это означает для нее истинное вступление в свет; поэтому она использовала все бывшие в ее распоряжении средства; она проявила ласковость, внимательность, веселость, лишённую натянутости, и даже умела придать своей постоянной снисходительности оттенок чувствительности. Этот первый успех был ей очень полезен; перед ней открылись двери некоторых домов, и она сумела приблизиться к герцогине Шартрской, которая своим подчеркнутым покровительством в короткий срок разрушила все сохранившиеся против нее маленькие предубеждения. Герцог Шартрский находил ее очаровательной; он ей об этом говорил, а госпожа Жанлис умела ему внимать; она всегда легко уступала, чтобы избежать огласки, вызываемой кокетством.

Благодаря нескольким годам усилий, снисходительности и замкнутой жизни она приобрела такое влияние на герцога Шартрского, что можно было заподозрить ее роль в его поступках, или, вернее, в обстоятельствах, определивших его жизнь. Столь тщательно обдуманное поведение не осталось без вознаграждения: она добилась назначения воспитательницей, или, скорее, воспитателем, его детей. Этот выбор герцога Шартрского доказывает лишь его желание быть оригинальным и проявить презрение к усвоенным приличиям.

В первых своих сочинениях госпожа Жанлис показала, что она может руководить той частью воспитания, которая относится к рассудку. Благодаря своим природным качествам старший сын герцога Орлеанского и его дочь — Mademoiselle(4) — стали людьми возвышенных достоинств. После того как они подверглись всяким испытаниям, закалились в них, просветились и облагородились в несчастье, они проявили при возвращении к своему естественному назначению простоту и величие души.

Лучшие сочинения госпожи Жанлис, за исключением “Мадемуазель Клермон”, относятся к этому периоду. Если сейчас мы наблюдаем ее упадок и видим, как бесславно она следует в качестве писательницы по странному и мало почтенному пути, то это объясняется тем, что, опьяненная своими первыми успехами, она подчинилась велениям честолюбия и перестала руководствоваться собственным суждением; она обращается с ревнивой к своей независимости публикой так, как некогда обращалась с послушными ей в своей покорности учениками; твердость своих правил она не умеет смягчить снисходительностью для покорения публики, как некогда она делала для порабощения всех тех, кто ее окружал. Нельзя не отметить двух обстоятельств: во-первых, госпоже Жанлис до такой степени необходимо командовать, что, когда у ней не было под рукой принца, чтобы распоряжаться им, она, положившись на волю случая, взяла себе в ученики первого встречного; во-вторых, несмотря на проповедуемый ею ригоризм и исповедуемую ею в ее сочинениях мораль, в ее последних романах постоянно чувствуется нечто близкое первоначальной легкости ее нравов; в них всегда находишь любовь или незаконных детей. Для кого, для чего продолжает она писать? Это может быть объяснено лишь любовью к шуму; смолоду у нее было больше основательности в мыслях.

Вся молодость герцога Орлеанского прошла без всяких планов и проектов, без последовательности и без всякой сдержки. Все его поступки носили отпечаток необдуманности, фривольности, развращенности и коварства. Он ездил смотреть с образовательными целями опыты Превалья; поднимался на воздушном шаре; участвовал в фантазмагориях Калиостро и кавалера Люксембургского, посещал скачки в Ньюмаркете и т. д.

Для увеличения своего состояния, которое и так было колоссально, он спекулировал участком Пале-Рояля(5), этого жилища Людовика XIII, Анны Австрийской, Людовика XIV и, наконец, “Monsieur”(6), благодаря которому оно вошло в состав удела Орлеанского дома. Позже, испытывая подозрения, он известил за несколько дней вперед казначея Сегуена о намерении посетить его, чтобы лично посмотреть состояние своей кассы, а



приехав, приказал арестовать его в своем присутствии, унес ключи и таким путем завладел всеми деньгами, которые предупрежденный об его посещении Сегуен набрал в карманах своих друзей для временного возмещения сумм, растроченных им на собственные дела. Честолюбивые стремления возбудили у герцога желание быть зачисленным в эскадру, которой командовал Орвилье. Он надеялся благодаря этому заслужить назначение на весьма доходную должность великого адмирала, которую занимал его тесть герцог Пентьевр. Этой должности он не получил, а его храбрость подверглась сомнению. Чтобы рассеять ее, он разрешил толпе приветствовать его на каких-то спектаклях и возложить на него венок под окнами мадемуазель Арну. Тогда Париж стал забавляться пикантной, но несправедливой песенкой на его счет.

Последующие годы его жизни были заполнены несколькими путешествиями в Англию, поездкой в Италию, которая стала известна лишь своей стремительностью, честью, которую ему доставило избрание великим мастером франкмасонов, “Te deum”, пропетым ложей “Девяти сестер” после довольно тяжелой болезни герцога, и развлечениями, или, вернее, всякого рода распутством, в Муссо.

Герцог Орлеанский приближался к тому возрасту, когда первоначальные страсти начинают у большинства людей слабеть и уступают власть над человеком новому деспоту. Однако никакие признаки не свидетельствовали еще о развитии у него честолюбия, несомненно, позднее зарождающегося в сердцах, истощенных распутством и иссушенных всякими личными расчетами.

Однако вокруг него начало ощущаться то волнение, которое в конце концов овладело всей Францией. Из всех частей королевства уже раздавались глухие и отдаленные раскаты, предвещавшие вулканические извержения. Французы были призваны самим правительством обсудить состояние государственных финансов и выслушать отчет об их положении. Этот вновь озаривший их свет вызвал небывалые ощущения и произвел глубокое впечатление. Во Франции создалась новая власть, именно — власть общественного мнения. Оно не было тем ясным и твердым общественным мнением, которое составляет привилегию народов, долго и мирно пользовавшихся своей свободой и хорошо знакомых с государственными делами, но это было общественное мнение народа порывистого и неопытного, который становится под его влиянием еще более самонадеян в суждениях и решителен в желаниях. Калонн решил, что ему удастся управлять этим грозным орудием и восполнить им устаревший арсенал государственных средств. Он созвал нотаблей(7) и распределил их между несколькими комиссиями, которые возглавлялись принцами королевского дома или принцами крови. Председательствование в третьей комиссии выпало на долю герцога Орлеанского. Он проявил себя лишь своей беззаботностью и нерадивостью. При усердном посещении заседаний надо было бы пожертвовать на некоторое время своими удовольствиями или привычками, а он был к этому неспособен. Начав с отсутствия на вечерних заседаниях, он кончил пренебрежением и к утренним, на которые он ездил очень поздно, а иногда и не ездил вовсе.

Он довел свое легкомыслие до того, что во время одного заседания участвовал в охоте в лесах Ренси. Олень, которого он преследовал, был достигнут во рвах предместья Сент-Антуан на глазах возмущенных парижан.

Его малочисленные сторонники думали найти извинение его поведению в том, что он оставался по крайней мере чужд интригам, которые, создав постыдный беспорядок в собрании нотаблей, погубили затем все возбужденные им надежды. Но эта отрицательная похвала была не очень лестной; разве в этих памятных событиях герцогу Орлеанскому не оставалось ничего иного, кроме интриганской роли? Уже больше полутора веков Франция не видала, чтобы ее король призывал к себе такой влиятельный совет. Самые большие вельможи, старшие должностные лица, богатейшие землевладельцы Франции собрались для того, чтобы высказать свое мнение по главнейшим вопросам управления. Надо было противопоставить сопротивлению парламентов воззрения более основательные и более

просвещенные, предстояло произвести наступление на громаду духовных привилегий, приспособить сумму народного обложения к потребностям государства путем изменения всей налоговой системы, установить твердые и давно ожидаемые правила относительно застав, барщины, свободной торговли зерном и так далее. Можно понять, что люди и корпорации, которым угрожали эти реформы, привели в действие все, чтобы воспрепятствовать им, что легионы честолюбцев, оспаривавших друг у друга министерства, захватили все поле действия, чтобы давать друг другу сражения. Но как мог принц крови, далекий от подобных интересов, не почувствовать благородного стремления раздавить всех этих мелких интриганов всей силой своей независимости, как мог он с безразличием наблюдать начало беспорядков, как мог он спокойно видеть опасности, угрожавшие королю, слабость которого всеми чувствовалась и злорадно учитывалась, — этого я не понимаю и такой безучастности не постигаю. За нее с горечью попрекал его народ, горячо интересовавшийся происходившими тогда спорами и уже настолько освободившийся от своего старого легкомыслия, что он не мог простить принцу королевской крови так скандально подчеркиваемую им беззаботность. Доходивший до него ропот поставил его в известность о строгости общественного осуждения.

Для того чтобы его смягчить советники принца сочли необходимым какое-нибудь громкое выступление с его стороны и добились его согласия, но это выступление должно было быть несложным и не требовать последовательности; необходимо было провести роль в соответствии с силами того, кому она предназначалась.

Канцлером, то есть управляющим всеми делами герцога Орлеанского, был маркиз Дюкре, один из тех авантюристов, которые по капризу фортуны возносятся иногда на вершину ее колеса и которые думают, что достигли всего своими собственными заслугами. Этот человек был предприимчив по ветрености и доверчив по неосторожности. Он возвысился до такого положения благодаря влиянию своей сестры, госпожи Жанлис; тяготы этой должности он выносил не столько с ловкостью делового человека, сколько с проворством шарлатана. Считалось, что дела герцога Орлеанского находятся в порядке, что заставляло предполагать некоторые способности у Дюкре. В то время все были заняты разными финансовыми проектами. Дюкре решил составить записку о государственных финансах, в которой он с легкостью доказывал, что до сего времени ими плохо управляли. Он предлагал для их восстановления следовать той системе, которую он проводил на практике, управляя финансами своего господина. Было решено, что герцог Орлеанский должен передать эту записку королю; он гораздо охотнее согласился сделать это, чем обсуждать содержащиеся в ней принципы. Ему было достаточно того, что выступление его получит огласку и придаст ему при небольшом труде видимость рвения. Вся эта комбинация первоначально имела успех. Король получил записку и не дал никакой огласки ее содержанию, что шло дальше намерений автора. Задетый этим молчанием, он составил вторую записку, в которой не только критиковал действия министерства, но открыто нападал на личности министров и особенно на архиепископа тулузского. Что касается сущности дела, то он не ограничился одним вопросом восстановления финансов, а смотрел прямо в корень зла и стремился вернуть королю сердца французов, которые отвратились от него вследствие ошибок правительства. Он предлагал для одновременного разрешения обеих задач учредить во главе каждой части управления советы и тем ослабить авторитет министров. Но в то же время он требовал, чтобы во главе советов был поставлен верховный начальник и главный руководитель. Он самоотверженно заявлял, что согласится взять на себя эту первую роль при условии предоставления ему неограниченной власти и получения поддержки со стороны общественного мнения для укрепления его положения. В итоге он требовал для себя восстановления звания главного интенданта с причитающимся ему жалованием, то есть должности, на которую никого не назначали с момента известной немилости главного интенданта Фуке в царствование Людовика XIV. При своей снисходительности и покладистости Людовик XVI, которому

герцог Орлеанский передал эту вторую записку, наказал бы такую наглость одним лишь презрением. Но случайность, приведшая к ее разглашению, привела к справедливой каре. Экземпляр этой второй записки был найден при личном обыске графа Керсалауна, бретонского дворянина, арестованного по распоряжению губернатора в связи с местными делами; при огласке тайны обнаружился размер скромных дарований канцлера и осторожность его господина.

Это открытие превратило их обоих в предмет многочисленных шуток в стихах и прозе, из которых мы приведем лишь следующую эпиграмму, позволяющую познакомиться с настроениями, господствовавшими во Франции в этот период жизни герцога Орлеанского:

Par tes projets bien entendus,  
Modeste Ducrest, a t'entendre,  
A la reine, au roi tu vas rendre  
Les coeurs francais qu'ils ont perdus.  
Sans miracle cela pent etre.  
Helas! ils n'ont qu'a le vouloir.  
Mais, en preuve de ton savoir,  
Fais-nous avant aimer ton maitre.

*(Своими умелыми проектами,— скромный Дюкре, если поверить тебе,— ты вернешь королеве и королю — потерянные ими сердца французов.— Это может произойти без всякого чуда.— Увы, им нужно лишь захотеть этого.—Но, для доказательства своей ловкости,—заставь нас прежде полюбить своего господина.)*

Когда эта первая попытка завоевать общественное мнение герцогу Орлеанскому не удалась, облеченные его доверием лица не лишились бодрости и лишь сочли, что им дано предупреждение в будущем лучше подготавливать свои выступления.

Случай не замедлил представиться, так как положение дел менялось каждый день и становилось все сложнее. Развитие идей, еще более быстрое, чем событий, необычайно ускориалось.

В начале того же самого года всех поразил, как я уже указывал, созыв собрания нотаблей, а с июля следующего года в недрах парижского парламента заговорили не с изумлением, а с восторгом о созыве Генеральных штатов. Парламенты повсеместно отказывались в судебных заседаниях от своих старых притязаний на регистрацию налогов. Они отклоняли занесение в регистры соответствующих указов и заявляли, что законы о чрезвычайных налогах должны быть переданы на свободное утверждение Генеральных штатов. Двор, удивленный поведением парламентов, хотел их запугать. Он перевел парижский парламент в Труа, а парламент города Бордо, вследствие других создаваемых им затруднений,— в Либурн(8). Но эти строгости продолжались недолго. Упорство судебных сановников удалось преодолеть; разные компромиссы и интриги, в которых тогда впервые выступили, и притом в различных ролях, Семонвиль с женой (тогда еще госпожой Монтолон), привели к временному примирению, но это была лишь передышка; в то время как мероприятия обнаруживали стремление идти вспять, общественное мнение становилось все более угрожающим. Казалось, что слух министров вполне освоился с названием “Генеральные штаты”; при каждом соответствующем случае правительство брало на себя новые обязательства, а усилия министерства ограничивались тем, чтобы отложить их созыв до 1792 года. Но до этого срока надо было как-нибудь дожить, а пока приходилось восполнять недостаточные налоги, оплачивать обязательства, срок которым уже наступил или наступал, и покрывать чрезвычайные расходы; для удовлетворения всех этих потребностей министерство располагало лишь одним источником в виде проекта займа в четыреста миллионов, выпускаемого в течение пяти лет.

Для того чтобы смягчить впечатление от такого огромного притязания, с одной

стороны, начали говорить о реформах, экономии и разных улучшениях, с другой — к указу о чрезвычайном налоге присовокупили закон, благоприятный для не католиков, так как правительство считало, что он соответствует господствующим взглядам и может создать ему сторонников, в которых оно нуждалось больше, чем когда бы то ни было. Повсюду начинал преобладать критический дух; каждый ставил себе в заслугу присоединение к недовольным, потому что таково было общее настроение; оппозиционность воодушевляла все корпорации и господствовала во всех печатных работах; все соревновались в нападках на министерство, которое никто не смел защищать и самым опасным врагом которого была, в конце концов, его собственная неспособность. Поэтому над ним было нетрудно одерживать победы и, независимо от исхода борьбы, привлекать на свою сторону публику.

Друзья герцога Орлеанского убеждали его разделить эти легкие успехи; он мог таким путем достигнуть одновременно нескольких целей. Герцог чувствовал некоторую досаду вследствие отказа, полученного им, когда он просил в последний раз разрешения поехать в Англию, так как принцы крови не могли оставлять пределы Франции без позволения короля. По легко понятным политическим причинам все члены царствующего дома были поставлены во всех важных действиях своей частной жизни в известную зависимость от своего верховного главы. Это было своего рода законной зависимостью, требуемой общественным благом и в сущности весьма легко выносимой, так как она возмещалась столькими утехами.

Герцог Орлеанский напрасно делал вид, что ему неизвестны причины обидного для него отказа; они были понятны и самым непроницательным людям. Во Франции передавались весьма скандальные слухи об его поведении во время первых путешествий, и Людовик XVI, сторонник скромных и добрых нравов, хотел избавить его от нового случая проявить распутство и выставить его напоказ перед соседним народом.

Не сказался ли в отказе герцогу Орлеанскому страх правительства перед примером свободной страны и перед ее привычками? Но это были бы ребяческие опасения, к тому же оскорбительные для английской свободы; было бы очень хорошо, если бы герцог Орлеанский приобрел склонность к ее принципам и понял их. Ведь там он мог бы постигнуть истинную свободу, и тогда он узнал бы, что каждый человек несет определенные обязанности, что лица, занимающие высокое положение в обществе, должны подавать пример почтения к королю и что преступно жертвовать общественными интересами из-за сохранившейся в душе обиды. Досада герцога Орлеанского была направлена главным образом против королевы и питалась целым рядом светских дрызг. Обе стороны не жалели колких слов, а царедворцы всегда готовы были их передать.

Эти жалкие ссоры оказали большое влияние на судьбу несчастной королевы. Почему согласилась она спуститься с высоты трона, где с ее величием могла соперничать лишь ее же красота, для участия в спорах, которым она должна была оставаться чужда? Коронованные особы осуждены царствовать без передышки; они никогда не должны забывать значения своих частных поступков, так как им никогда не удастся заставить окружающих забыть их; простая небрежность с их стороны порождает вражду, малейшее предпочтение — зависть, а легчайшая обида — неумолимое раздражение.

Герцог Орлеанский видел, что с каждым днем его все больше удаляют от того дружеского придворного общества, которое королева впервые создала при французском дворе и местом обычных встреч которого был малый Трианон. На несколько празднеств в этом восхитительном саду и, между прочим, на тот, который королева давала эрцгерцогу, своему брату(9), герцога Орлеанского совсем не пригласили. Правда, никто из принцев крови не оказался счастливее его. Таким же образом другого рода размолвки отстранили от посещения малого Трианона принца Конде и его семью. Королеве казалось, что у ворот этого волшебного убежища она может снимать цепи своего величия. Она думала быть королевой в Версале и этим воздавать должное своему королевскому рангу; в Трианоне, где она хотела быть частным лицом, она желала оставаться только самой любезной

женщиной и познавать одни сладости интимного существования. Так как никто не имел безусловного права на милостивое приглашение к этим маленьким поездкам в Трианон, то к ним еще больше стремились, и они возбуждали особую зависть. Герцог Орлеанский не мог ее скрыть, хотя он внешне казался равнодушным. На одном из празднеств он условился с несколькими придворными дамами, пользовавшимися милостью, смешаться с толпой, допущенной любоваться иллюминацией; проникнув этим путем в сад, он стал мстить за то, что не был приглашен, и предался настолько колким насмешкам и шумному веселью, что это дошло до королевы и глубоко ее оскорбило.

Эта мелкая вражда так раздражила герцога Орлеанского, что его нетрудно было увлечь на более серьезные оппозиционные выступления. Для него достаточно было одной власти моды, чтобы принять такое решение; надо было лишь отдаться волне общественного мнения. Чем грозило бы ему поведение, которому безопасно следовал мельчайший округ королевства и сторонники которого высказывали свои взгляды повсюду, вплоть до передних короля? Герцогу Орлеанскому достаточно было показаться, чтобы его объявили главой недовольных в пору, когда все были или делали вид, что недовольны. Лица, умевшие завоевать его доверие, возбуждали его воображение, рекомендуя занять подобную позицию.

В задачу моего повествования входит ознакомление с этими людьми, так как во что превратилась бы история, если бы она изображала одни поверхностные явления, не проникая во внутреннюю сущность людей, игравших некогда роль, и не вскрывая силы, которые приводили их в движение.

Я уже познакомил с канцлером Дюкре, которому принадлежало первое место в доме герцога Орлеанского. Лимон управлял при нем финансами, занимая должность интенданта. Это был деловой и чрезмерно ловкий человек. Его привлекли к ведению дел Monsieur(10). В то время открылось наследство последнего герцога Орлеанского; оно было колоссально, запутано и осложнено трудно разрешимыми вопросами о сонаследовании. Лимону удалось рассеять хаос и оставить брата и сестру довольными друг другом и им(11). Этой услугой он обеспечил себе доверие герцога Орлеанского, но он не принадлежал к тем, кто не умеет извлечь пользы из подобного положения. Ведя тяжёлые дела по наследству, он познакомился с главнейшими членами парижского парламента. Интересуясь тогда высокой политикой, они любезно встретили интенданта такого принца, имя которого могло придать вес их мнениям. Лимон, со своей стороны, почувствовал возможность стать полезным и усиленно поддерживал эти новые знакомства, чтобы никто не мог оспаривать у него роли посредника между принцем и парламентом.

Лимону оказывал энергичную поддержку аббат Сабатье де Кабр, один из самых беспокойных членов тогдашних парламентов. Так как аббат был связан с госпожой Силлери, то ему было легко проникнуть к герцогу Орлеанскому; он выделялся редким бесстыдством, пленительным воображением и особо богатым красноречием и был причудлив и щедр в брани. Он понравился герцогу Орлеанскому и сумел его увлечь. Хотя аббат не пользовался уважением парламента, но он не лишен был в нем влияния. Его обвиняли там в том, что он действовал в качестве шпиона последнего министерства; для своего оправдания он неотвязно придирался к новым министрам. Именно он требовал в собрании парламента 16 июля 1787 года созыва Генеральных штатов; это дерзновенное новшество сильно привлекло к нему внимание. Для человека с подобным характером было бы большим преимуществом привлечь герцога Орлеанского к таким делам, которые, при его неспособности, каждый день увеличивали бы его зависимость! Он понял, что прежде всего следует устранить трудности, что нельзя надеяться преодолеть легкомыслие герцога, но необходимо ограничить свои требования к нему, чтобы воспользоваться его слабостями. Для выступления на государственной арене принцу следовало лишь затвердить роль, подготовленную для него аббатом Сабатье. Случай представился в виде займа в 400 миллионов, о котором я уже говорил. К этому моменту надо отнести начало

участия герцога Орлеанского в общественных делах.

Для правильного понимания этого эпизода необходимо познакомиться с некоторыми формами, соблюдавшимися во Франции, когда правительство нуждалось в займе. Указы, объявлявшие о займах и определявшие их условия, носили характер законов и, подобно всем законам, должны были быть записаны в регистрах парламентов королевства. Эта формальность, утверждавшая обязательство, взятое на себя государством, представляла обеспечение для заимодавцев. Но достаточно ли было для достижения такого значительного результата выполнения простой формальности? Мог ли один акт записи создать государственное обязательство и наложить ипотеку на доходы государства? Не означала ли парламентская регистрация акта одобрения мероприятий, заключавшихся в указе? А разве право одобрения не предполагает права неодобрения? Не свидетельствовала ли регистрация о национальном согласии, и могло ли это согласие выражаться в действии чисто механическом, слепом и совершенно пассивном? Все эти вопросы постоянно возобновлялись, и так как их всегда обходили и никогда не разъясняли, то они представляли постоянный источник споров и интриг. При каждом новом займе приходилось бороться с сопротивлением судебных сановников, к которому они имели естественную склонность, так как их власть была чисто отрицательной и они могли выражать ее лишь в отказах. Кроме того, они не обладали и не могли обладать никаким знанием государственных потребностей и средств. Поэтому их можно было убедить только общими соображениями, а чтобы отстоять эти общие соображения, надо было найти доводы для убеждения каждого судебного сановника в отдельности. Это дело было поручено первому президенту, но, когда он встречал слишком большие трудности, королю сообщали, что он должен применить свою власть. Тогда он созывал парламент на специальное королевское судебное заседание. Этот род собраний, о котором нельзя составить никакого здравого представления, если исходить из его названия, сводился в сущности к уничтожению той небольшой свободы и справедливости, которую парламенты охраняли своим сопротивлением. Поэтому Фонтенель правильно говорил, что *lit de justice c'était un lit, ou la justice dormait* (\* *Игра слов, которая не может быть передана на русском языке вследствие двойного значения слова "lit".—Р е д.*). Независимо от того, присутствовал ли король лично в заседании парламента или призывал его с регистрами во дворец, весь обряд сводился к порицательной речи государя, которую канцлер комментировал. Затем поднимался генерал-прокурор королевства и излагал, часто с осуждением, причины указа, но в итоге, однако, требовал, чтобы он был превращен в закон. Надо заметить, что присутствие короля не лишало генерал-прокурора права свободно высказывать свое мнение, но в своих заключениях он был связан волей монарха. По окончании этих речей король приказывал записать указ в регистрах законов. После такого выражения королевской воли, которой судебные сановники не имели средств сопротивляться, им оставалось лишь прибегнуть к предостережениям, то есть запоздалым предупреждениям, которые оказывали влияние на общественное мнение и потому часто затрудняли действия правительства.

Необходимо также отметить, что эти королевские судебные заседания парламентов представляли собой искажение древнего французского обычая, по которому короли некогда лично осуществляли суд в парламенте, среди принцев своей крови и пэров королевства. В этих королевских заседаниях все судьи высказывали свое мнение, король имел лишь один голос и выносил решение по мнению большинства. Но его присутствие на судебных заседаниях по частным делам придавало высказываемому им мнению значение королевской милости, и в этом заключался самый большой недостаток такого осуществления королевских функций, в остальном весьма внушительного. Позже поняли, что правосудие составляет обязанность королей, но эта обязанность выполняется лучше, когда она осуществляется не лично ими. Поэтому король перестал присутствовать при судебном разборе дел, но он сохранил право заседания среди судей. Обычно он пользовался им для того, чтобы заставить их зарегистрировать какие-нибудь законы и

подавить их сопротивление; это называлось королевским судебным заседанием, и оно создавало такое положение, что даже по вопросам обложения и займов король был единственным и абсолютным законодателем; участие парламентов могло всегда быть ограничено совершенно пассивным актом, и действительно, они не участвовали в издании законов, которые они не имели права предложить и которым не могли воспрепятствовать.

Единственный противовес королевской власти заключался в народных обычаях и в общественном мнении, которое в хорошо организованных государствах придает силу законам, а в совершенно деспотических заступает место безмолвствующих учреждений. Эта неуловимая власть имела особенное значение в вопросах о займах, так как правительство может сколько угодно призывать к себе капиталы, но их привлекает одно лишь доверие, притом доверие обоснованное.

Когда архиепископ тулузский сделался министром финансов(12), он понял эту истину; с каждым днем ему становилась все очевиднее потребность в сумме, превышающей четыреста миллионов, разверстаных на последующие пять лет. В то же время он понимал, что если его заем зарегистрируют под принуждением, то это будет для него весьма неблагоприятным предзнаменованием и он никогда не будет выполнен. Королевские судебные заседания стали уже ненавистны. На добровольное согласие он не мог рассчитывать и опасался последствий слишком очевидного принуждения к регистрации. Он чувствовал необходимость привести в действие власть и в то же время замаскировать свое поведение. Поэтому он выдумал такую меру, как королевское заседание парижского парламента, которое должно было представлять собой сочетание королевского судебного заседания парламента со старинными “королевскими заседаниями”. У последних оно заимствовало название, в то время еще не очерченное, и право подачи голоса, что позволяло каждому члену парламента высказывать свое мнение и развивать свои доводы. От королевских судебных заседаний оно удержало самое основное — право требовать регистрации, невзирая на большинство голосов и на желание большей части членов.

19 ноября 1787 года король отправился в девять часов утра в парламента. Там находился герцог Орлеанский, как и другие принцы крови, кроме принца Конде, который присутствовал тогда на собрании штатов Бургундии. Король привез с собой два указа. Один из них объявлял о займе в четыреста миллионов и составлял главный предмет заседания, в то время как другой относился к гражданскому состоянию не католиков и был выдуман только для того, чтобы оттенить налоговый указ какой-нибудь королевской милостью.

Король открыл заседание речью, состоявшей из двух частей. В первой он заявлял, что прибыл для совета с парижским парламентом о двух важных актах управления и законодательства. Он привел очень мало доводов, возлагая по обычаю на своего хранителя печати заботу о подробностях и объяснениях. Во второй части он воспользовался случаем, чтобы ответить на предостережения, обращенные к нему парижским парламентом в интересах парламента в Бордо, который был переведен в Либурн в наказание за его возражения против регистрации одного закона о провинциальных собраниях. Этой части своей речи король попытался придать оттенок властности, но так как она была ему несвойственна и не была выдержана даже в течение того недолгого времени, пока он говорил, то он лишь обнаружил неровностью голоса нерешительность своего характера.

Затем говорил хранитель печати(13); его речь была построена по широкому замыслу. Он прежде всего приступил непосредственно к заявленной парламентом просьбе о немедленном созыве Генеральных штатов. Не отвечая безусловным отказом, он противопоставил этой просьбе принцип абсолютной королевской власти, который отвергал подобные обращения и ставил созыв в полную зависимость от воли короля. Его конституционная система основывалась на самых крайних доктринах абсолютизма когда-либо в нашей истории исповедовавшихся французскими министрами.

От этих принципов, которые хранитель печати привел в качестве безапелляционного ответа на просьбы и постановления парламентов, он перешел к рассмотрению предложенных законов. Он подчеркнул значение улучшений, которые король уже приказал произвести, а также мероприятий по экономии и сокращению личных расходов короля, которые Людовик XVI предпочитал урезке затрат на защиту и величие государства. Он изображал как нечто гениальное простую мысль о займе четырехсот миллионов, которого должно хватить сразу на погашение других более тягостных долгов, на полезные улучшения, на восполнение недостаточных поступлений, на оплату всех предвиденных и непредвиденных расходов в течение пяти лет и даже затрат на войну. Вся подготовка к ней была, как он говорил, совершенно закончена на случай, если это бедствие произойдет, несмотря на обоснованные надежды короля, что оно надолго устранено благодаря мудрости и твердости тех переговоров, которые он вел. (Так министр дерзнул охарактеризовать поведение французского двора в отношении Голландии в течение 1787 года(14)).

Эта картина благодеяний правительства завершалась новым указом о не католиках(15). Хранитель печати отметил большие преимущества, которые дает промышленности прирост населения, коснулся достижений общества, возможных благодаря новым гражданам, указал на достигнутое, наконец, согласование закона с природой и с обычаями. Но его слова явно обнаруживали цель всей этой приуроченной к случаю филантропии, и никто не верил, что министр рассердится, если благодеяния его веротерпимого закона будут отсрочены, лишь бы каждый высказался без оттяжки за утверждение займа, который должен был дать государственной казне четыреста миллионов.

После того как хранитель печати закончил изложение сущности обсуждаемого вопроса, заседание приняло обычные для парламента течение и форму. Прежде всего выслушали докладчика парламента. Так называлось должностное лицо, на которое возлагалась обязанность рассматривать все законы, направляемые правительством в парламента для регистрации. Это лицо всегда выбиралось министерством среди самых старых судей, которые образовывали привилегированную секцию, называвшуюся большой палатой. В нее попадали, согласно принятому порядку, исключительно за продолжительную службу. Звание докладчика парламента было присвоено не должности, а лицу, выполнявшему поручение, связанное с особым доверием; оно открывало путь к удовлетворению честолюбия и к богатству; почти всегда им наделяли духовных лиц, так как из всех способов вознаграждения и обогащения кого-либо самым простым и дешевым было наделение аббатством. На этом посту аббат Террай положил начало своей известности и богатству; после него изменили обычаю и дали это звание Аммекуру, которому покровительствовал Орлеанский дом. Калонн лишил его этого положения, так как он заподозрил, что Аммекур вредит ему, стремясь сам проникнуть в министерство. Место Аммекура заступил аббат Тандо, не обладавший изумительной обходительностью своего предшественника, его большим знанием государственных дел и благоприятной внешностью; но основная его задача заключалась в точной передаче указаний королевского совета, в ответе на задаваемые вопросы посредством объяснений, слишком поверхностных для действительного освещения вопросов, но достаточных для удовлетворения притязаний большинства более жадного к почтению, чем к познанию. Таков именно был в данном случае доклад аббата Тандо, представлявший собой длинное и скучное пояснение к указу. Он закончил заявлением, что чрезвычайно важное значение подобного займа побудило бы его просить об образовании комиссии для рассмотрения указав и для доклада, если бы присутствие его величества не свидетельствовало, что государь прибыл в свой парламента для получения окончательного решения.

После речи докладчика началось обсуждение; первый президент приглашал по очереди каждого члена высказать свое мнение. Герцог Орлеанский в нескольких словах высказался за отклонение указа. Это было его первое открытое выступление против двора.



Те ораторы, которых вследствие их таланта и особых свойств слушали обычно с наибольшим вниманием, удвоили в этот день свои усилия, чтобы быть замеченными королем и произвести на него впечатление. Присутствие монарха не вносило ничего, что могло бы навеять робость и заставить отклониться от правды; предполагалось, что он прибыл в среду пэров королевства, чтобы заглянуть в сердца своих естественных советников. Как почетен мог быть успех судебных сановников, если бы им удалось силой своего слова отвлечь короля от оболыщения посредственности, подействовать на его рассудок светом разума, тронуть его сердце картиной бедствий, от которых страдала Франция, не возлагая на него вины.

Об этом успехе мечтал в особенности д'Эпремениль. Пользуясь славой первого оратора среди оппозиционных двору членов парламента, он не обманул ожиданий своей партии. В этом чрезвычайном случае его речь была призывом к личным чувствам короля. Он умолял его отложить в сторону мнение своего министерства и заранее готовые взгляды своего совета, взвесить без предубеждения те истины, которые он услышит, и дать себя влечь тому убеждению, которое у него сложится. Он заклинал его вообразить себя как бы в недрах своей семьи, окруженным собственными детьми, и не подавлять те движения, которые могут быть вызваны в его отцовском сердце этим радостным состоянием.

Каждый из ораторов подходил к вопросу с той точки зрения, которая была свойственна его обычным взглядам и вытекала из особенностей его таланта. Сопоставляя все, что было сказано хранителем печати и докладчиком парламента об общей сумме государственных обязательств и недостаточности доходов, о возможных улучшениях и установленном дефиците, об экономии в будущем и скудости в настоящем, суровый Роберт Сен-Венсен находил, что для обеспечения займа нет ничего, кроме огромного дефицита, что нельзя, не допуская недобросовестного умолчания, предназначать на покрытие нового долга прежние налоги, уже служившие обеспечением старых займов, и что парламента явится соучастником в преступлении, если он предложит заимодавцам оказать доверие государству, покрывая своей регистрацией ту бездонную пропасть, в которую кредиторы низвергнут свои капиталы.

Фрето, поверхностное красноречие которого объяснялось недостатками его эрудиции, поразил короля и все собрание сопоставлениями, заимствованными им из собственной памяти. Он прямо возражал против неправильного и двойственного положения хранителя печати, который, продолжая занимать должность первого президента парижского парламента, явился на заседание для выполнения функции министра, намечая проекты законов в совете, претендовал на их обсуждение в парламенте и сосредоточивал таким образом в одном лице законодательную инициативу и утверждение законов, пристрастие составителя проектов и непредвзятость судебного сановника. Он пришел не более не менее как к выводу о необходимости исключить Ламуаньона из собрания в момент подсчета голосов. Аббат Лекуанье приводил такие же основания в пользу исключения генерального контролера Ламбера, участвовавшего в заседании в качестве почетного советника.

Аббат Сабатье, с которым я уже познакомил, как с одним из советников герцога Орлеанского, льстил королю похвалами, что придавало еще больше пикантности его горькой сатире на министров. Он настаивал, на своем излюбленном проекте созыва Генеральных штатов и указывал, что впредь парламента не сможет привлекать общественное доверие. Поэтому он приветствовал периодические созывы представителей народа и призывал их снова взять на себя ведение дел и положить предел тем хищениям, от которых они одни обладали целебным средством.

Несколько членов говорило в пользу указа. В этом обширном собрании были также сторонники двора. Среди них выделялся герцог Ниверне, известный с 1771 года своим противодействием планам канцлера Мопу. Люди редко сохраняют энергию до конца своей деятельности. Царедворцы рано стареют, и почти все люди, старея, легко становятся царедворцами.

Обсуждению указа было посвящено полных семь часов, и король слушал все время с неослабевающим вниманием, а нередко даже со знаками интереса. Казалось, что ему приходится больше всего бороться с впечатлением, произведенным на него речами д'Эпремениля, Сабатье и Фрето. Но в этом отношении его хорошо подготовили.

Когда были выслушаны все говорившие и надо было собрать и подсчитать голоса, хранитель печати поднялся, приблизился к королю, выслушал его распоряжения и возвратился на свое место. После этого король произнес слова: “Я приказываю, чтобы указ, гласящий ..... был записан в регистрах моего парламента для его выполнения согласно форме и содержанию”.

Теперь наступил момент для выступления на сцену герцога Орлеанского. Но, чтобы хорошо понять подготовленную ему роль, необходимо обратить внимание на употребленные королем выражения. Произнесенная им формула была бы совершенно правильна, если бы дело происходило действительно в “королевском заседании”, то есть если бы после обсуждения были собраны голоса и король приказал бы только то, что вытекало из установленного мнения большинства. Но именно этого-то основного вывода из всякого обсуждения в собрании на этот раз не доставало. Обсуждение происходило свободно, но голоса не были собраны. Можно, по правде говоря, предполагать, что если бы министр был более мужествен и ловок и решился допустить подсчет голосов, то результат был бы благоприятен для указа. Во всяком случае несомненно, что были приняты все меры для получения большинства. Заседание было назначено в такое время, когда вакансии парламента должны были формально закончиться, но по известному обычаю затянулись далеко сверх законного срока. Не хватало многих членов, и из шести президентов на заседании присутствовали только четыре. Но в то же время архиепископ тулузский не упустил предупредить всех тех, на кого он рассчитывал. Кроме того, в собрание было привлечено чрезмерное количество штатных советников, почти никогда не пользовавшихся своим правом присутствия, и чинов судебной канцелярии прошений, зависимых уже по самому своему положению, причем из последних были привлечены наиболее зависимые в силу своего характера или честолюбия. Несмотря на столько мер предосторожности, правительство не дерзало рассчитывать на большинство, хотя оно было бы счастливо им располагать, и собрание превратилось в итоге в настоящее королевское судебное заседание, что, бесспорно, должно было отпугнуть привлекаемые капиталы. Нельзя слишком подчеркнуть всю неосторожность и в то же время робость подобного поведения.

Министры думали помочь беде, исключив из приказа о регистрации следующие слова, характерные для королевского судебного заседания: “согласно моему точному приказу”. Вычеркивая эти слова, они льстили себя надеждой, что этим они заставят публику замолчать, и думали доказать, что происходило заседание в присутствии короля, но не формальное королевское судебное заседание. Разоблачение этой увертки было для них смертельным поражением. Советники герцога Орлеанского предоставили ему нанесение именно этого оглушительного удара. Король едва кончил говорить, как встал герцог Орлеанский и заявил: “Если король заседает в парламенте, то надо собрать и сосчитать голоса; если это королевское судебное заседание, то нам предписывается молчание”. Он остановился, но так как король ничего не ответил, то он продолжал: “Ваше величество, разрешите повергнуть к вашим стопам мой протест против незаконности ваших приказаний”. Надо вспомнить взгляды, существовавшие тогда во Франции, и действовавшие там принципы власти, чтобы понять впечатление, которое должен был произвести этот первый случай, когда принц крови заявлял протест в парламенте и в присутствии самого короля объявлял незаконным отданные им распоряжения.

История монархии не знала ничего похожего. Были известны принцы крови, сопротивлявшиеся с оружием в руках королевской власти, но никогда еще не видали, чтобы они ставили ей конституционные пределы.

Король, удивленный и приведенный в замешательство, поспешно заявил: “Это законно”

и велел немедленно приступить к чтению второго указа. Как только оно было закончено, он встал и вышел вместе со своими двумя братьями, после восьми с половиной часов заседания, сильно его взволновавшего и давшего ему много оснований к беспокойству.

Принцы и пэры, а с ними и герцог Орлеанский, по обычаю встали и проводили его, затем, вернувшись, снова приступили к обсуждению, возобновившемуся с большой горячностью. Сторонники двора хотели прервать заседание и отложить его на неделю, чтобы дать умам возможность успокоиться. Они указывали, что господа (таково было парламентское выражение) изнурены от усталости и нуждаются в отдыхе.

Лепелетье де Сен-Фаржо, который, несмотря на свою молодость, был уже президентом парламента в “берете”, также предложил отсрочку, но только до следующего дня. Это решение соответствовало слабости его духа и робости его характера, которые побуждали его постоянно считаться со всеми партиями, пока республиканский образ мыслей не получил преобладания и не разрешил всех его колебаний. Тогда он еще не предполагал, что когда-нибудь он заслужит в качестве республиканца славу мученика и почетный венок.

В этот день на него энергично напал аббат Сабатье; он объединил обе точки зрения, требовавшие отсрочки заседания, чтобы сразу подорвать их, и заявил, что “господа не должны алкать и жаждать ничего, кроме справедливости, и должны посвятить ей остаток сегодняшнего дня, так как у них не может быть уверенности, что им будет предоставлен следующий день”. Произнося эти слова, он пытался придать своему тону нечто пророческое. Аббат Сабатье предложил затем герцогу Орлеанскому представить письменный протест, и, опасаясь, что память принца ему изменит, он подсказал ему выражения, почерпнутые в собственной памяти, *которые, как ему казалось, он слышал из уст герцога*.

С этой помощью герцог Орлеанский выполнил то, что от него требовалось, и заставил записать в регистрах парламента, что тотчас же после приказания короля о регистрации указов он встал и заявил следующий протест: “Ваше величество, я умоляю разрешить повергнуть в парламенте к вашим стопам заявление, что я считаю эту регистрацию незаконной и что необходимо для оправдания лиц, которые призваны в ней участвовать, добавить, что она производится согласно точному приказу короля”.

После некоторых прений было принято следующее постановление, предложенное аббатом Сабатье:

“Парламент, считая незаконным то, что произошло в королевском заседании, когда не было произведено подсчета голосов, как это предписывается правилами, так что обсуждение не может считаться законченным, заявляет, что он не намерен участвовать в предписанном ему внесении в регистры указа о займах, выпускаемых постепенно и последовательно в 1788, 1789, 1790, 1791 и 1792 годах, и что он в этот первый день продолжает обсуждение”.

В восемь часов вечера заседание было закрыто. Герцог Орлеанский одержал в этот день победу, и надо признать, что все было подготовлено и проведено им и его друзьями с большой ловкостью.

Замысел министерства, которое сумело прибегнуть к одним только мелким средствам для поддержки уже так сильно расшатанной королевской власти, был расстроен протестом герцога Орлеанского и постановлением, вскрывшим хитрость, к которой правительство думало прибегнуть и которое обнаружило его слабость.

В то время как во дворце парламента осуществлялись все планы герцога Орлеанского, разосланные им агенты сообщали о происшедшем и провозглашали имя принца крови, оказавшегося столь добрым гражданином. Народ толпами осаждал аллеи, которые вели ко дворцу, и повсюду только и слышались толки о мужестве герцога Орлеанского и его успехах. Когда он появился, чтобы сесть в карету, его подхватили волны легкомысленного народа, встречавшего его самыми лестными приветствиями. Более пышный триумф не

мог бы выпасть на долю даже освободителя отечества. Человека, несколько дней тому назад покрытого насмешками, сопровождали теперь благословения. Таково суждение толпы, которую удостаивают названием народа.

К несчастью, герцог Орлеанский не нуждался в более чистом фимиаме, потому что только этот был ему доступен; он так же мало был способен принести истинные жертвы общественному мнению, как не умел понять настоящей цены такого мнения, когда его облагораживает личность тех, кто его высказывает.

Радостные крики невежественной черни угождали его страстной вражде ко двору и укрепляли его в презрении к общественному мнению, показывая, как легко его можно завоевать.

Архиепископ тулузский и хранитель печати, негодуя, что их уловки оказались ловушкой для них самих, применили все усилия, чтобы возбудить гнев короля, и доказывали ему, что не осуществление предложенных ими мер составит общественное бедствие. “Принц крови,—говорили они,— который должен был бы быть поддержкой трона, дерзнул до такой степени подрывать его основы, что даже пытался поставить пределы королевской власти и осмелился заявить об этом в присутствии короля! Судьи стали столь отважны, что обвинили в преступлении по должности министров, то есть лиц, наделенных доверием владыки, исполнителей его воли! Такая крайняя дерзость заслуживает наказания. Ссылка первого и лишение свободы вторых послужили бы хорошим примером, чтобы прекратить подобные безобразия”.

Такими речами слабое министерство побудило короля к мерам, отражавшим лишь чувство досады; они могли только вызвать у всех подобных честолюбцев стремление к славе, выпадающей на долю лиц, подвергшихся легкому преследованию. Министры Людовика XVI не знали, что неограниченная власть не имеет права применять умеренные наказания к тем, кто ей сопротивляется, и что по своей природе она осуждена терпеть или же уничтожать своих врагов.

Первое решение больше соответствовало бы характеру короля, второе сильно соблазняло его министров, но они не чувствовали себя достаточно сильными ни перед королем, ни перед народом, чтобы остановиться на нем. Им казалось, что они сделали уже очень много, посоветовав сослать герцога Орлеанского и предложив арестовать советников Фрето и Сабатье. Фрето отправили в крепость Дуллан, а Сабатье — в замок на горе св. Михаила, представлявший род изолированной башни на скале, омываемой морскими волнами.

Барон Бретейль, министр полиции, отправился 20 ноября, в шесть часов вечера, объявить герцогу Орлеанскому приказ об его ссылке. Этому министру была специально поручена передача королевских приказов об аресте, когда они относились к одному из его сотоварищей-министров или к принцу крови. Было в обычае, чтобы министр их лично об этом извещал, и эта обязанность подчас обрекала его на такой прием, который вполне отражал настроение лица, впавшего в немилость. В данном случае положение было тем более затруднительно, что богатство барона Бретейля было связано с покровительством его семье со стороны Орлеанского дома. Его дядя, аббат Бретейль, был канцлером последнего герцога Орлеанского, который осыпал его щедротами и проявлениями благосклонности и открыл его племяннику карьеру, связанную с милостями и высокими должностями. Королевское письмо, переданное Бретейлем герцогу Орлеанскому, предписывало ему переночевать в его замке в Ренси и отправиться на следующий день в его же замок в Виллер-Коттере, расположенный от первого на расстоянии примерно восемнадцати лье. Принц принял это приказание с досадой и доставил себе удовольствие излить ее на лицо, привезшее приказ. Спустя час, в течение которого он отдавал разные распоряжения, он потребовал лошадей и сел в карету. Барон, который, по полученным им инструкциям, должен был его сопровождать, приготовился сесть рядом с ним, но принц остановил его фразой: “Что вы делаете?” Тогда барон показал полученные им распоряжения. “Ну хорошо,—заявил принц,—становитесь сзади”, и он отбыл. Барон, не

омрачившись от этого “легкого облака” (выражение, которое он применял, рассказывая об этом маленьком инциденте), сел в свою собственную карету и поехал вслед за принцем.

Слух о ссылке герцога Орлеанского быстро распространился по Парижу. Сад Пале-Рояля, все примыкающие к нему улицы и площади были наводнены толпой и оглашались криками: “Да здравствует герцог Орлеанский!”

21 ноября собрались отделения парламента и постановили отправить к королю первого председателя с просьбой *приблизить к своей особе августейшего принца, которого он от себя отдалил, и вернуть парламенту двух членов, высказавших мнения, продиктованные только их рвением.*

В полдень парламент был призван в Версаль, и король приказал ему вычеркнуть из его регистров постановление, принятое 19 ноября. Речь, произнесенная им при этом случае, заслуживает быть сохраненной:

“Я приказал вам,— сказал король, — доставить мне подлинник постановления, принятого вами в минувший понедельник, после моего отбытия из парламента. Я не могу оставить его в ваших регистрах, и я запрещаю восстанавливать его каким-нибудь другим способом.

Как может заявлять мой парламента, что он не принял никакого участия в регистрации указов, когда они были мною объявлены лишь после того, как в течение семи часов я выслушивал подробные мнения и взгляды тех его членов, которые пожелали их высказать, и когда для всех, как и для меня, очевидно, что большинство голосов было за регистрацию моего указа, с присовокуплением просьбы об ускорении созыва Генеральных штатов моего королевства. Я уже заявил, что я созову их до 1792 года, то есть самое позднее перед концом 1791 года. Мое слово свято.

Я отнесся к вам с доверием, прибегнув к той старинной форме общения, о которой мой парламента так часто просил своих королей, моих предшественников; и в ту минуту, когда я захотел держать с вами совет по одному из вопросов моего управления, вы пытаетесь превратиться в обычный трибунал и объявить незаконными результаты, к которым пришло это совещание, ссылаясь на постановления и правила, относящиеся лишь к трибуналам, выполняющим свои обычные функции.

Просьбы моих парламентов должны поступать ко мне только в виде почтительных представлений или предостережений. Я никогда не одобрю постановлений, выражающих противодействие моей воле без объяснения оснований таких решений”.

После речи короля, замечательной по высказанным им принципам и по данному им формальному обещанию созвать Генеральные штаты, первый президент получил позволение сообщить о постановлениях, принятых в это самое утро относительно ссылки герцога Орлеанского и лишения свободы двух советников.

Король ответил несколькими словами:

“Когда я удаляю от своей особы принца своей крови, то мой парламента должен верить, что у меня есть для этого глубокие основания. Я наказал двух сановников, которыми я *должен* был быть недоволен”.

Парламент ожидал подобного сухого ответа, но это не помешало ему выполнять и в дальнейшем свое назначение. Его примеру последовали все, кто имел право поднимать голос и доводить свои представления до ступеней трона. Все парламенты наперерыв заявляли протесты, все требовали возвращения принца и обоих судебных сановников. Принцем и пэрам было запрещено присутствовать на заседаниях парламента, которые продолжались почти непрерывно и привлекали внимание публики. Опыт показал, что при слабом правительстве настойчивость не остается безрезультатной.

В заседании 22 ноября парламента постановил послать секретаря Изабо приветствовать герцогиню Орлеанскую и выразить ей сочувствие по поводу ссылки ее мужа. Принцесса уже уехала в Виллер-Коттере. Когда герцог Орлеанский прибыл в место ссылки, он поспешил обратиться к парижскому парламенту с просьбой впредь не интересоваться им. Он хорошо знал, что, подчеркивая свое намерение окружить себя молчанием, он еще

больше привлечет к себе народную партию, и был уверен, что усердие к нему парламента не ослабеет. Но ему было нежелательно, чтобы действия парламента были приписаны подстрекательству с его стороны, так как в этом случае они могли бы раздражить короля, а не успокоить его. Не подвергая опасности свою власть, король не мог так быстро отменить наложенные им наказания.

Пэры с трудом подчинялись запрещению посещать парламент. Они тайно собрались во дворце герцогов де Люйнь для выработки протеста в интересах сосланного принца. Подобные просьбы, как я уже сказал, поступали со всех сторон. И тем не менее герцог Орлеанский очень мало заслуживал вызванное им сочувствие. Блеск роли, выпавшей на его долю, мало его трогал, и он с горечью жаловался на те лишения, которых она требовала. Никто никогда не проявлял по поводу столь ничтожных лишений так мало терпения и такой недостаток мужества. Если бы парижане могли читать в глубине сердца своего нового божества, их поразило бы, что на столько оказанных ему знаков почитания он отвечал такой малой преданностью.

По приказанию короля герцогу Орлеанскому было предписано принимать в ссылке только членов своей семьи и лиц, причисленных к его двору. Благодаря этому надеялись избежать большого притока посетителей, который, несомненно, создавался бы вокруг ссыльного, чтобы почтить его по случаю его уединения и особенно чтобы показать пренебрежение тем недовольством, которое он вызвал. Однако в Виллер-Коттере он отнюдь не был в одиночестве. Все лица, близкие к принцу, среди которых не следует забыть великодушную госпожу Ламбаль, считали своим долгом отправиться туда; к нему присоединились и его дети. Лица его штата и штата герцогини Орлеанской образовали многочисленное общество. В этот период своей жизни он был тесно связан с госпожой Бюффон, молодой и красивой особой, которая заслужила своим бескорытием и крайней преданностью снисходительность всех, кто ее знал. Раз в неделю она отправлялась в Нантейль, маленький городок, расположенный на одинаковом расстоянии как от Виллер-Коттере, так и от Парижа; туда ездил для встреч с нею герцог Орлеанский.

При таких возможностях, обитая в великолепном жилище, среди развлечений, доставляемых огромным богатством, он мог бы, проявляя весьма обыденную умеренность, чувствовать себя счастливым. Но ему казалось, что его положение невыносимо, и действительно, нельзя отрицать, что с этого момента слепая мстительность стала господствующей страстью его сердца. В этом преимущественно заключается секрет второй половины его жизни. В голове герцога Орлеанского подготавливались планы мести, но в то же время он всеми способами горячо добивался свободы. Парижане, стремившиеся найти оправдание своему восхищению перед ним, говорили, что он отклонил сближение и примирение, предложенные ему архиепископом тулузским. Согласно этим толкам, герцог Орлеанский отказывался воспользоваться расположением двора, пока не будут возвращены оба советника и пока им всем трем не сообщат причины проявленной к ним строгости.

Эти слухи распространялись лицами, близкими к Пале-Роялю, где умалчивали о шагах, безуспешно сделанных в его интересах принцем Конде и герцогом Бурбонским. Король принял их благосклонно. Он не осуждал принцев за сочувствие к герцогу Орлеанскому, но в ответ на настойчивые просьбы указать срок ссылки он ограничился словами: "Поверьте, что я хороший родственник".

Эти же охотники до новостей, одинаково способные к выдумкам и к недомолвкам, умалчивали о письмах герцога Орлеанского, в которых он прямо испрашивал прощение. Он не ограничился в них просьбами и не постыдился прибегнуть к гораздо более постыдным средствам для достижения своей цели. Он не обосновывал своей просьбы законностью своего поведения, ни даже чистотой своих намерений, но приводил самые странные доводы для смягчения короля. Он указывал на необходимость возобновить работы, начатые в Пале-Рояле, и наблюдать за ними, так как их приостановка наносила большой ущерб его делам; он указывал также на запущение, в котором они находились

вследствие болезни Лимона, управляющего его финансами. Чтобы испробовать все доводы, он говорил затем о своем здоровье и о здоровье герцогини Орлеанской и указывал, что им обоим необходимо вернуться в Париж. Наконец, он ссылаясь на отставку своего канцлера Дюкре, причем за эту искупительную жертву с его стороны он просил возвратить ему королевскую благосклонность или по крайней мере великодушно простить ему те заблуждения, в которые “его вовлек этот неосторожный фаворит”.

Действительно, Дюкре покинул, свой пост, и в публике обращалось письмо, в котором он просил об отставке. Из этого письма следовало, что она была вполне добровольной; верный слуга заметил, что он вредит своему господину, и его привязанность к нему побудила его удалиться. На автора записок, переданных герцогом Орлеанским королю, обрушилось столько вражды, что у него не оставалось надежды принести какую-нибудь пользу. Он верил, что после такого удовлетворения мстительность его врагов не потребует новых жертв. Все это было пересыпано фразами об успехах, достигнутых во время его управления.

Но ни отставка канцлера Дюкре, ни его письмо, ни письмо герцога Орлеанского не тронули сердца короля, и его решения по-прежнему диктовались строгостью. Герцог Орлеанский не получил даже никакого письменного ответа; графу Монтморену, министру иностранных дел, было лишь поручено навестить его, призвать к терпению и сообщить, что король ему ничего не написал, чтобы избавить себя от огорчения, связанного для него с отказом.

Парламент, в котором принцы и пэры получили, наконец, разрешение присутствовать, не прекращал своих настояний о возвращении обоих советников и ссыльного принца. Весь декабрь прошел в ожиданиях и в домогательствах ответа у правительства. Было отмечено усердное посещение принцем Конде и герцогом Бурбонским заседаний парламента; если иногда они и соглашались в чем-нибудь с министерством, то все же их нельзя было обвинить в том, что они упустили хоть один случай заступиться за трех изгнанных лиц. Спустя несколько недель строгие меры были отменены. Король захотел проявить мягкосердечие и разрешил герцогине Орлеанской то, в чем он отказывал парламенту.

Архиепископ санский (Бриенн перешел из архиепископства тулузского в санское), считавший, что эта уступка обеспечит ему на некоторое время покой, подготовлял вместе с хранителем печати новую организацию суда, которая в случае ее декретирования приостановила бы функции всех существовавших в королевстве парламентов. Этот новый проект должен был быть утвержден на собрании, известном под названием суда в полном составе. В нем предстояло зарегистрировать указы, предложенные министром парламенту. Но Бриенн не обладал ни складом ума, ни характером, нужными для осуществления таких обширных проектов, притом в столь серьезных обстоятельствах.

Меры, подготовляемые министерством и хранимые им в глубокой тайне, вызывали живейшее беспокойство всей магистратуры. Делались всевозможные попытки, чтобы узнать, какие проекты готовит правительство, и наконец это удалось. Д'Эпремениль и Гуалар получили копию указов и связанных с ними документов. Их напечатали и распространили, а министерство даже не знало о сделанном открытии. В созванном тотчас собрании парламента, на котором герцог Орлеанский не присутствовал, все пэры и члены парламента принесли присягу в том, что лишь данную палату они будут считать правомочной и что даже с опасностью для жизни они отвергнут все предложения, направленные на отсрочку созыва Генеральных штатов. Затем было объявлено, что если благодаря принятым насильственным мерам парламент будет не в состоянии следить за соблюдением основных начал французской монархии, то он поручит наблюдение за этим королю, принцам крови и Генеральным штатам.

Министерство, уведомленное о происшедшем, решило арестовать тех членов парламента, которых оно подозревало в раскрытии тайны его проектов и в опубликовании их. Д'Эпремениль и Гуалар укрылись в парламенте. Находившийся в Париже военный

отряд последовал за ними. Спустя несколько часов они сами отдали себя в руки д'Агу, командовавшего отрядом, который заявил, что возьмет их силой, если они добровольно не последуют за ним. Д'Эпремениль был отправлен на острова св. Маргариты. Я должен отметить здесь одну странную особенность человеческого рассудка, о которой надо всегда помнить: это был тот же самый д'Эпремениль, который вместе с епископом города Блуа — Темином; заседавшим в это же самое время в собрании духовенства, был вождем партии, оппозиционной двору, и решительным сторонником Генеральных штатов, а затем на протяжении всей истории Учредительного собрания выделялся вместе с Темином чувствами, мнениями и интригами, направленными против нового порядка, созданного при их участии.

Архиепископ санский, испытавший в течение двадцати четырех часов нечто вроде банкротства и применявший в течение нескольких дней строгость в отношении парламентов, отказался затем от всех своих планов и, чтобы выиграть время, обещал созвать Генеральные штаты, но он ничего не достиг и должен был отстраниться, оставив после себя ослабленный двор и сознавшее свою силу общественное мнение, или, короче говоря, — начатки революции.

Герцог Орлеанский не оказывал уже никакого влияния на парламент, и до созыва Генеральных штатов его имя едва ли вообще произносилось. Поэтому я не буду останавливаться на тех событиях, которыми отмечена эта интересная эпоха.

Само правительство определило границы своей власти и в воззвании ко всем просвещенным людям оно предложило обществу заняться вопросом о наилучшем способе созыва Генеральных штатов. Не означало ли это неосторожного возбуждения страны всякого рода политическими спорами, не направляемыми с самого своего возникновения никакими твердыми принципами? Действительно, они послужили первой причиной тех беспорядков, которые были порождены созывом Генеральных штатов. Первые признаки этих смут проявились в предместье Сент-Антуан, и все свидетельствует о том, что герцог Орлеанский не был им чужд. Фабрикант по имени Ревельон, вполне порядочный человек, давал заработок большому числу рабочих. Среди них распространили какую-то клевету, которая настроила их против того, кто давал им средства к существованию. В то же время им роздали некоторую сумму денег, к ним присоединилась толпа, их число возросло, и бунт так разросся, что пришлось прибегнуть для его подавления к помощи французских и швейцарских гвардейцев. Уже то обстоятельство, что у всех убитых или арестованных мятежников была найдена одинаковая сумма денег в двенадцать франков, свидетельствует, что мятежом руководил кто-то сверху; признания, сделанные некоторыми из этих несчастных, не позволяют усомниться, что бунт был возбужден агентами герцога Орлеанского. Благодаря его распущенному характеру ему было приятно всякое волнение; он всегда был рад посулетиться, пошуметь и создать затруднения, но большего он не смел желать.

Указанным бунтом руководил Лакло, причисленный с некоторого времени к герцогу Орлеанскому в качестве его секретаря по особым поручениям. Лакло был введен в Париже в некоторые дома виконтом Ноайлем, который знал его по службе в одном гарнизоне; исходя из его тщеславия, ума и дурной репутации, герцог Орлеанский решил, что это человек, годный на все, и что в бурных обстоятельствах полезно иметь его при себе. Его “Похвальное слово Вобану”, безнравственный роман “Опасные связи”, несколько работ по тактике и несколько газетных статей, доказывающих гибкость как его взглядов, так и таланта, побудили герцога Орлеанского поручить ему составление инструкций различным лицам, которые должны были представлять его в судебных округах, входивших в его удельные владения. По этому случаю Лакло составил своего рода кодекс, в статьях которого были высказаны все философские идеи того времени, но они показались герцогу Орлеанскому слишком мало прикрытыми. Он считал это неудобным и стал искать другого составителя. Ему указали на аббата Сиеса, как на человека, больше всех размышлявшего над теми вопросами, которыми, как



предполагалось, займутся Генеральные штаты.

При свидании с ним в Монруже у Бирона герцог Орлеанский показал ему проект Лакло и попросил Сиеса исправить его по собственному усмотрению. Аббат Сиес, который по складу своего ума бывал обычно недоволен чужими работами, не нашел в проекте ничего заслуживающего сохранения и составил новый проект, который герцог Орлеанский одобрил и напечатал(16). Я считаю, что с этого момента у герцога Орлеанского не было больше никаких сношений с аббатом Сиесом и что это был единственный случай их общения. Но так как эти инструкции сильно на шумели и имя их автора было известно, то считалось, что в разные периоды революции существовала тайная связь между аббатом Сиесом и герцогом Орлеанским. Вероятно, никогда не было на свете двух более несхожих людей, и ничто не доказывает этого лучше, чем изображение Сиеса таким, каков он есть. Я постараюсь сделать набросок его портрета.

У Сиеса в высшей степени сильный рассудок, сердце его холодно и душа робка; непоколебима лишь его голова. Он может быть бесчеловечен, потому что самолюбие помешает ему отступить, а страх удержит в преступлении. Он проповедует равенство не из-за филантропии, а из-за жестокой ненависти к власти других. Однако нельзя сказать, чтобы он годился для осуществления власти, так как он не мог бы чувствовать себя хорошо во главе ни одного правительства, но он желал бы одухотворять его мысли и притом обязательно один. Нетерпимый и властный, он не может принудить себя к постоянному и регулярному труду; пренебрегая тем, что известно, он желает проникнуть дальше. Всякое препятствие его возмущает, и он презирает всякое соглашение. То, что он называет принципом, превращается в его руках в бронзовый скипетр, не приспособляющийся ни к несовершенствам природы, ни к слабостям человечества. Ему одинаково неизвестны как добродетели, внушаемые чувствительностью, так и заблуждения, вызываемые ею. Когда он принимает решение, то никакое чувство не может его остановить. В его глазах люди лишь пешки, которые надо переставлять; они занимают его ум, но ничего не говорят его сердцу. Когда он составляет конституцию, то он обращается со страной, для которой она предназначается, как с местом, население которого никогда ничего не чувствовало и ничего не видело.

Страх — единственное чувство, оказывающее на Сиеса истинное влияние. В Конвенте он боялся смерти; с тех пор им владеет боязнь мести Бурбонов.

Сиес ведет правильную жизнь, он методичен в своем поведении, но его образ действий мало понятен. В его частной жизни нет ничего интересного с философской точки зрения. Вкусы его до известной степени изысканны, он прихотлив в отношении обслуживания, помещения, мебелировки. Он не алчен, но у него не настолько возвышенное сердце, чтобы презирать богатство; даже его самолюбие не настолько сильно, чтобы мешать корыстолюбию подрывать его политическое значение. Он не обладает ловкостью ума и не любит спорить, так как умеет лишь предписывать. Сиес плохой собеседник; у него нет желания убедить, он хочет поработить. Нрав у него желчный; возможно, что этому способствует его природный недостаток, мешающий ему общаться с женщинами. Тем не менее он удостоивает пошутить с ними; тогда он достигает известного изящества; он может улыбаться и лукаво высмеивать, но в меру, хотя и довольно колко, однако он никогда не опустится до того, чтобы быть любезным. Самолюбивый и малодушный, он должен быть вследствие этих свойств завистлив и недоверчив; поэтому у него нет друзей, но у него есть верная и покорная свита. Сиес может возглавлять мнения, но он не может быть главой партии. Его ум надменен, но не деятелен. Он очень цельный человек; если не все его желания выполняются, то он дуется в своем углу и утешается, полагая, что на него смотрят. Его лицо не кажется счастливым, но носит отпечаток грустного и созерцательного характера. Взгляд его имеет нечто надменное и высокомерное и оживляется лишь, когда он улыбается; его фигура, нечеткая по своим формам, медлительная и вялая походка, вообще вся его внешность кажутся заурядными, пока он не заговорит, а между тем говорит он нехорошо. Он произносит обыденные слова, но каждое

слово выражает мысль и обнаруживает размышления. В серьезном разговоре он никогда не бывает увлекателен, но он импонирует. Свидетельствует ли все сказанное мною о том, что этот человек мог бы подчинить свой характер, свои настроения и взгляды какому-нибудь принцу и мог бы обладать услужливостью лица, согласного занять второстепенное положение? Никто этого не подумает.

Исходя из сущности человеческих характеров, я уже опровергнул один раз широко распространенное мнение, что герцог Орлеанский имел секретные сношения с Сиесом. Так же бесспорно, что герцог Орлеанский не имел ни с кем из известных лиц того времени никаких других отношений, кроме естественно возникающих при частном общении и совершенно чуждых всяким личным комбинациям.

После того как герцог Орлеанский дал инструкции своим округам, он перестал быть активным политическим лицом, слабость его характера и его двусмысленное положение, внушавшее другим беспокойство, помешали ему вернуться к этой роли. После совершенного им при подаче голоса преступления он превратился в ничто, ему нечего было делать, и он смешался с массой, но так как это было не его назначение, то он обратился в ничтожество, был принижен и затерт.

Как же надо отнестись к тому мнению, которое считается достоверным, будто герцог Орлеанский был первым зачинщиком революции, что его имя стало лозунгом для многочисленного класса граждан, и то некоторые лица с беспокойным честолюбием побудили его довести свои взгляды до ступеней трона?

Это мнение опровергается картиной его жизни, так как его безнравственность, крайнее легкомыслие, нерассудительность и слабость вполне достаточны для объяснения как его деятельности, так и бездействия. Кроме того, быстро развивавшееся после полученного толчка брожение умов не давало ни на один момент в течение всей революции места личным самолюбиям. Революционные идеи способствовали с самого начала установлению равенства и ослаблению власти, и потому все большие самолюбия, естественно, оказались разочарованными. Лишь гораздо позже, после страшных испытаний, начала ощущаться потребность в вожде для изменения установившегося порядка, и тогда появился Бонапарт.

Конечно, герцог Орлеанский не последним заметил то расположение умов, о котором я говорил. Но истинные стремления своего честолюбия он всегда оставлял нераскрытыми. Как я сказал, он не олицетворял ни принципа, ни цели, ни причин революции. Его, как и других, захватил ее стремительный поток.

Герцог Орлеанский сосредоточился в себе, на своих вкусах и потребностях. Отсюда происходила та тайная мысль, которая заставила его согласиться после 6 октября 1789 года (17) на позорное для него путешествие в Англию, за которое его упрекали все партии. С этого момента начинает таять его огромное состояние, которое, став более подвижным, оставило в конце концов еще меньше следов, чем великолепная картинная галерея Пале-Рояля, сейчас уже сильно сократившаяся. Все свободные капиталы герцога Орлеанского были переведены окольными путями в Англию при помощи тайных агентов, которые, пользуясь своей неизвестностью, могли действовать бесчестно и воспользоваться плодами своих хищений. Так думают люди, стоявшие тогда во главе государственных дел.

Если историки начнут изошряться в поисках людей, которым можно было бы поставить в заслугу или в вину возбуждение революции, руководство ею или изменение ее направления, то они возьмут на себя излишний труд. У нее не было зачинщиков, вождей или руководителей. Она была посеяна писателями просвещенного и предприимчивого века, которые, желая разрушить предрассудки, ниспровергли религиозные и социальные начала; затем она была возвращена неумелыми министрами, вызвавшими разорение казны и недовольство народа.

Для обнаружения действительного источника и причин революции следовало бы взвесить, исследовать и обсудить теоретические проблемы высокой политики и в особенности подвергнуть глубокому и искусному изучению вопрос о борьбе между

философскими идеями и предрассудками, между притязаниями *разума власти*.

Если же исходить только из результатов этой революции, то легко впадешь в ошибку и начнешь смешивать Малерба с Мирабо и ла Рошфуко с Робеспьером.

## ПРИМЕЧАНИЯ

(1) Эта характеристика знаменитого Филиппа-Эгалите, герцога Орлеанского, близкого родственника короля Людовика XVI, имеет следующее происхождение. Осенью 1792 г. Талейран очутился в Лондоне на положении эмигранта и почти без всяких средств. Вместе с другим эмигрантом, Бомецом, он занялся для заработка литературною работою—именно, решил дать характеристику герцога Орлеанского. Ясно, что это было не в начале его пребывания в Англии, а в конце, т.е. в 1794г., когда герцог Орлеанский был уже казнен. Указанный очерк в печати не появился, так как Талейран нашел это по разным причинам неудобным. Очевидно, позже он внес в рукопись поправки, так как в ней упоминается Бонапарт. Она осталась в его бумагах, и герцогиня Дино, а может быть, последующие редакторы Бакур или герцог Брольи, вставили этот неоконченный, но интересный эскиз в мемуары, притом почему-то в ту часть, которая относится к 1791 году. Мы печатаем его в конце книги, так как он ни в какой прямой связи с линией изложения “Мемуаров” не находится.

(2) Лигой, или точнее Священной лигой, называют объединения во Франции крайних папистов. Когда в 1576 г. король Генрих III сделал некоторые уступки протестантам, во главе Лиги стал Генрих Гиз (см. указатель), который в форме борьбы с гугенотами руководил движением за восстановление старого феодального порядка. Лига вызвала гражданскую войну, но после вступления на престол Генриха Наваррского, принявшего имя Генриха IV (см. указатель), притязания феодальной знати были отвергнуты, и Лига распалась.

(3) См. примечание 21 к главе I.

(4) Речь идет о Луи (Людовике)-Филиппе, впоследствии короле, и о его сестре Аделаиде, с которой Жанлис в 1792г. эмигрировала из Франции.

(5) Пале-Рояль — парижский дворец, сооруженный в 1629—1636 гг. архитектором Лемерсье для кардинала Ришелье, который оставил его по завещанию Людовику XIII. Тогда он назывался Кардинальским дворцом. В эпоху малолетства Людовика XIV и регентства его матери Анны Австрийской в нем проживала королевская семья, и он получил название Пале-Рояля. Людовик XIV подарил его своему брату, герцогу Филиппу Орлеанскому. В царствование Людовика XV он сгорел и был перестроен архитектором Моро. Отец Филиппа-Эгалите, внук первого владельца дворца из семьи герцогов Орлеанских, прикупил вокруг него большой участок земли. Во время революции он вошел в состав национального имущества, был назван Национальным дворцом и в 1800 г. был занят Трибунатом. После реставрации Бурбонов он был отдан Орлеанскому дому. При второй империи, в нем жил двоюродный брат Наполеона III, принц Наполеон. После установления третьей республики он превратился в государственную собственность.

(6) *Monsieur* — титул старшего из братьев короля; в данном случае речь идет о Филиппе Орлеанском, брате Людовике XIV, родоначальнике герцогов Орлеанских.

(7) См. примечание 23 к главе I.

(8) Парижский парламент был в августе 1787 г. изгнан из Парижа в Труа вследствие его возражений против регистрации нескольких финансовых указов. Через год он был возвращен в Париж.

Бордоский парламент был изгнан в Либуэн в наказание за его протест против учреждения провинциальных собраний (см. примечание 24 к главе I).

(9) Речь идет о будущем австрийском императоре Иосифе II, посетившем, как брат Марии-Антуанетты, Париж в июне 1777 г.

- (10) *Monsieur* — в данном случае речь идет о графе Прованском, впоследствии Людовике XVIII.
- (11) Здесь говорится о разделе имущества отца Филиппа-Эгалите между ним и его сестрой Луизой Орлеанской, вышедшей замуж за принца Луи-Аври-Жозефа Конде, герцога Бурбонского.
- (12) Архиепископом тулузским и министром финансов (или точнее руководителем финансового совета), о котором здесь упоминается, был Бриенн (см. указатель).
- (13) Хранителем печати был Кретьен-Франсуа Ламуаньон (см. указатель).
- (14) О Голландии см. примечание 27 к главе I.
- (15) Указ 1787 г. о протестантах признал заключаемые ими браки законными; эта мера была вызвана тем, что с отменен Нантского эдикта Людовиком XIV браки протестантов не признавались и дети протестантов считались внебрачными.
- (16) Инструкции герцога Орлеанского были напечатаны отдельной книжкой в Париже в 1789 г. Они относятся к проведению выборов в Генеральные штаты во владениях герцога Орлеанского и указывают желательные основные пункты депутатских наказов, именно: политическая свобода, неприкосновенность собственности, ответственность министров, допущение развода и пр. Они высказываются в пользу соединения в Генеральных штатах всех трех сословий в одну палату и придают основное значение третьему сословию, как настоящему представителю нации. Задачей Генеральных штатов они считают уничтожение деспотизма аристократии и ограничение королевской власти.
- (17) 5—6 октября 1789 г. произошло второе, после 14 июля, открытое выступление народа; толпа пошла на Версаль, ворвалась во дворец и потребовала переезда короля в Париж. Король подчинился, а вслед за ним и Национальное собрание перебралось в столицу, где на него оказывали давление народная масса и политические клубы. Поводом к выступлению 5—6 октября послужил один офицерский банкет в Версале, на котором военные в присутствии короля и королевы срывали с себя и топтали ногами трехцветные революционные кокарды, а придворные дамы раздавали им белые королевские кокарды.

## Указатель имен

*Август*, Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.) — первый римский император. После смерти Юлия Цезаря образовал в 43 г. вместе с Антонием и Лепидом второй триумвират. Впоследствии сосредоточил в своих руках все важнейшие магистратуры и получил от сената титул императора и прозвище Августа, т. е. священного.

*Авио де Санзэ*, Шарль-Франсуа, граф (1736—1826) — французский прелат, архиепископ бордоский.

*Агар*, Мишель, граф Мосбургский (1771—1844) — французский политический деятель, член Законодательного корпуса в 1804 г., министр финансов при Мюрате в Неаполе.

*Агу*, Винцент — офицер свиты принцев Конде, отстраненный за дуэль с Конде-сыном. При аресте двух советников парижского парламента командовал отрядом гвардии.

*Аддингтон* — см. Сидмаус.

*Александр I* (1777—1825)—российский император с 1801 г.

*Александр VIII*, Пьетро Оттобони (1610—1691) — римский папа с 1689 г. Закончил спор с Францией о неприкосновенности жилища французского посла в Риме, добившись признания требования, выставленного его предшественником, Иннокентием XI (см.), и завершил тяжбу относительно постановлений съезда французского духовенства в 1681 г., осудив их.

*Альбуфера*, герцог — см. Сюше.

*Аммекур* — докладчик парижского парламента в эпоху Людовика XVI.

*Ангулемский герцог*, Луи-Антуан Бурбон (1775—1844) — старший сын графа д'Артуа, впоследствии короля Карла.

*Анна Австрийская* (1601—1666)—королева Франции, дочь испанского короля Филиппа III и Маргариты Австрийской, с 1615 г. жена Людовика XIII, правительница в малолетство Людовика XIV.

*Анна Павловна*, вел. княгиня (1795—1865) — шестая дочь Павла I, вышла в 1816 г. замуж за принца Вильгельма Оранского, впоследствии короля нидерландского Вильгельма II.

*Арнольд*, Бенедикт (1741—1801) — американский генерал, вошедший в историю англо-американской войны под именем “Предателя”. После ряда побед, одержанных им над английскими войсками, он предался англичанам, но все попытки его получить назначение в английской армии кончились неудачей.

*Арну*, Софи (1744—1803) — французская оперная актриса.

*д'Артуа*, граф—титул, данный в 1757 г. Людовиком XV своему внуку, Карлу-Филиппу, который тот носил до вступления в 1824 г. на французский престол под именем Карла X.

*Амелин*, Жан-Рене (1742—1813) — епископ булонский, во время революции отказался присягнуть; эмигрировал и протестовал из-за границы против конкордата.

*Астрос*, Поль-Терез-Давид (1772—1851)—французский аббат, с 1830 г. архиепископ тулузский, с 1850 г. кардинал. Ему было адресовано послание папы о запрещении назначенному Наполеоном архиепископу парижскому Мори управлять епархией. За это он был взят под стражу и пробыл в заточении до падения Наполеона.

*Байанна* — см. Лалье.

*Банбери*, - Генри-Эдуард (1778—1860) — английский генерал, оставил книгу о войне с Наполеоном на Пиренейском полуострове, вышедшую в 1852 г.: Bunbury, “Narrative of certain passages in the late war with France”.

*Барбе-Марбуа*, Франсуа, маркиз (1745—1837) — французский политический деятель, консул в Северной Америке, член Совета старейших при Директории; сослан в Кайенну после событий 18 фруктидора V года. При Наполеоне был министром казначейства и председателем счетной палаты, при Людовике XVIII — министром юстиции, но затем вернулся в счетную палату.

*Барраль*, Луи-Матиа, граф (1746—1816) — французский прелат; во время революции отказался признать новую гражданскую организацию духовенства, эмигрировал и вернулся после 18 брюмера, способствовал заключению конкордата, подав в отставку с группой из сорока четырех епископов, за что и получил сперва епископство, а затем архиепископство в Туре.

*Баррас*, Поль-Франсуа-Жан, виконт (1755—1829)—из провансальского мелкопоместного дворянства; в 1789 г. депутат в Учредительном собрании, потом член Конвента, голосовал

с монтаньярами по вопросу о казни короля и по всем другим принципиальным вопросам. Но к лету 1794 г. отдалился от Робеспьера и принял активное участие в его низвержении 9 термидора 1794 г. При учреждении Директории в 1795 г. стал директором. Именно он выдвинул генерала Бонапарта, когда 13 вандемьера 1795 г. необходимо было назначить главнокомандующего войсками, защищавшими Конвент от роялистского восстания. Он же провел в 1796 г. назначение Бонапарта главнокомандующим армией, воевавшей в Италии против Австрии. В течение всей бурной истории Директории Баррасу удавалось всяческими интригами удерживать власть в своих руках. Ненависть, которую он внушал некоторым слоям буржуазии (особенно мелкой буржуазии, видевшей в нем покровителя спекулянтов и богатых казнокрадов), и прочная репутация распутного человека и хищника заставили Бонапарта отстранить его от всякого участия в перевороте 18 брюмера 1799 г. С тех пор он удалился в частную жизнь.

*Бартес* (1734—1806) — знаменитый в свое время медик, предвозвестник принципа витализма.

*Бассано* — см. Маре.

*Батгерст*, Генри, граф (1762 — 1834) — английский государственный деятель, в 1809—1827 гг. статс-секретарь по военным делам и по делам колоний. Настаивал в 1815 г. на ссылке Наполеона на о-в св. Елены. В 1827 г. уступил пост министру-вигу, но через год вернулся и окончательно вышел в отставку в 1830 г.

*Бенардьер*, Жан-Батист де Гуйе, граф (1765—1843) — занимал в 1807—1814 гг. пост директора первого отделения французского министерства иностранных дел.

*Бентам*, Иеремия (1748—1832) — английский философ. Первоначально был адвокатом, но революционное движение во Франции толкнуло его к исследованию социальных и этических проблем. Он положил основание утилитаристскому учению о нравственности. Его работы по разным вопросам государственного права пользовались большим влиянием, между прочим и в России, в период “негласного комитета” и либеральных настроений Александра I. Он и сам посетил Россию в царствование Екатерины II.

*Бентинк*, Вильям, лорд (1774—1839) — сын герцога Портландского, британский генерал, участник похода в Португалию и Испанию, в 1811 г. главнокомандующий английскими войсками в Сицилии.

*Беньо*, Жак-Клод, граф (1761—1835) — французский администратор, депутат Законодательного собрания в 1791 г., один из руководителей администрации в Вестфальском королевстве в 1807 г., министр финансов в герцогстве Бергском; после низложения Наполеона назначен временным правительством на пост комиссара по внутренним делам.

*Бересфорд*, Вильям Карр, виконт (1768—1854) — английский генерал, командовавший в 1808—1814 гг. португальскими войсками в войне Англии против Франции в Испании и Португалии.

*Бернадот*, Жан-Батист-Жюль (1764—1844) — занимал шведский престол под именем Карла XIV, уроженец Франции, выдвинулся в революционных и наполеоновских войсках и в 1804 г. был произведен в маршалы. В 1810 г. был избран Государственным советом Швеции в преемники короля Карла XIII, правил в качестве регента до 1818 г., когда вступил на престол и основал царствующую до сих пор в Швеции династию. Тотчас после

избрания, одним из мотивов которого было стремление обеспечить Швеции благосклонность Франции, Бернадот начал вести независимую от последней внешнюю политику, порвал с Наполеоном и принял участие в разгроме его армии под Лейпцигом.

*Бертье*, Луи-Александр, князь Невшательский и князь Ваграмский (1753—1815)— наполеоновский маршал, участвовал в войне за независимость американских колоний, в 1789 г. командовал национальной гвардией в Версале, в 1796 г. начальник штаба итальянской армии. С тех пор стал неразлучным сподвижником Наполеона и до его низложения оставался начальником главного штаба. При провозглашении империи получил маршальский жезл, затем отнятое в Пруссии княжество Невшательское; возведен в достоинство имперского принца, а после кампании 1809 г. получил титул князя Ваграмского, несмотря на то, что его заслуги в этом сражении не представлялись бесспорными. После низложения Наполеона присягнул Людовику XVIII. Во время “Ста дней” покончил самоубийством. Оставил воспоминания, изданные в 1826 г. (Berthier, “Memoires”).

*Бетман*—вероятно, сотрудник министерства иностранных дел, через которого Талейран, выпрашивая в 1810 г. у Александра I полтора миллиона франков, просил их передать.

*Биго де Преамено*, Жан (1747—1825)— французский политический деятель, депутат Законодательного собрания и его председатель в 1792 г.; участник комиссии, редактировавшей кодекс Наполеона; в 1808 г. министр вероисповеданий.

*Бирон* — см. Лозен.

*Блانشар*, Пьер-Луи (род. 1762)— французский аббат, преподаватель философии; эмигрировал во время революции в Англию, где оставался до 1814 г. и опубликовал множество памфлетов, направленных против всех, кто задевал интересы церкви и высшей ее иерархии, в том числе против Наполеона и папы, в связи с конкордатом.

*Бовара* — министр вероисповеданий в Итальянском королевстве Наполеона.

*Богарнэ*, Гортензия, королева Голландии (1783—1837)— дочь генерала Богарнэ и Жозефины Таше де ла Пажери, впоследствии французской императрицы. Вышла замуж за брата Наполеона, Людовика Бонапарта, и имела сына, впоследствии императора Наполеона III. Мемуары ее опубликованы в 1922—1926 гг.

*Богарна*, Евгений (1781—1824)— пасынок Наполеона, сын генерала Богарнэ и Жозефины Таше де ла Пажери; в 1805—1813 гг. вице-король Италии, с 1814 г. герцог Лейхтенбергский. Пользовался полным доверием Наполеона. К Талейрану относился как к изменнику еще до падения империи.

*Богарнэ*, Стефания-Луиза-Адриенна, вел. герцогиня Баденская (1789—1860)— племянница императрицы Жозефины, приемная дочь Наполеона, в 1806 г. вышла замуж за вел. герцога Баденского Карла-Людвига.

*Боллингброк*, Генри-Сент-Джон, лорд (1678—1751)— английский государственный деятель. Политическую деятельность начал в 1701 г. в качестве члена палаты общин и руководителя умеренных ториев. В 1704 г. стал военным министром, но в 1708 г. власть снова перешла к вигам. В 1710 г. он добился свержения министерства, был назначен статс-секретарем по иностранным делам и заключил в 1713 г. Утрехтский мир с Францией. В 1714 г. ему было поручено составление кабинета, но смерть королевы Анны,

последовавшая через несколько дней, устранила его от власти. Попытка его доставить престол претенденту Якову Стюарту была пресечена, право на наследование признано за Ганноверским домом, Болингброк объявлен изменником и бежал во Францию. К власти он уже никогда больше вернуться не мог и по возвращении в Англию в 1723 г. занялся публицистикой.

*Бомеи*, Альберт-Бриуа (1759—1809)—депутат Генеральных штатов, где примыкал к конституционным монархистам. Во время революции принимал большое участие в усовершенствовании французского уголовного законодательства. Защищал неприсягнувших священников, был обвинен в связях с двором и эмигрантами и после 20 июня 1792 г. покинул Францию, был в Англии и Америке и умер в Ост-Индии.

*Бональд*, Луи, виконт (1753—1840)—французский публицист и философ. Во время революции эмигрировал и служил в армии принца Конде. После реставрации Бурбонов был выбран в нижнюю палату, где был одним из лидеров ультрароялистов. В 1826 г. был назначен пэром. После июльской революции отказался присягнуть новой династии и удалился от общественных дел. В своих работах является противником философии XVIII века, возражает против договорной теории власти и исходит из принципов авторитета и монархического правления. Одно из основных его сочинений—“*Theorie du pouvoir politique et religieux*”—вышло в 1797 г.

*Бонапарт*, Жером (1784—1860)—младший брат Наполеона, король Вестфалии, при второй империи—маршал и президент сената.

*Бонапарт*, Жозеф (Иосиф) (1768—1844)—старший брат Наполеона, сначала король неаполитанский (1806—1808), потом король испанский (1808—1813). В противоположность своему брату, голландскому королю Людовику, он в общем беспрекословно выполнял волю Наполеона, не пытаясь защищать своих подданных от притеснений и деспотических вмешательств со стороны французского императора. После низложения Наполеона жил до 1841 г. в Соединенных Штатах, затем во Флоренции, где и умер.

*Бонапарт*, Каролина (1782—1839)—неаполитанская королева, третья сестра Наполеона; в 1800 г. вышла замуж за Мюрата, возведенного в 1808 г. Наполеоном на неаполитанский престол; после низложения своего брата содействовала союзу Мюрата с Австрийской монархией.

*Бонапарт*, Луи (Людовик) (1778—1846)—третий брат Наполеона, в 1806—1810 гг. голландский король, удаленный Наполеоном с престола за систематическое противодействие континентальной блокаде, разорявшей голландцев. Женат на дочери Жозефины, Гортензии Богарнэ; отец Наполеона III.

*Бонапарт*, Люсьен, князь Канино (1775—1840)—второй брат Наполеона; участвовал в подготовке переворота 18 брюмера, занимал затем некоторое время пост министра внутренних дел, вскоре стал осуждать диктаторскую политику Наполеона и разошелся с ним. Оставил мемуары.

*Бонапарт*, Наполеон—см. Наполеон.

*Бонапарт*, Полина, принцесса Боргезе (1780—1825)—вторая сестра Наполеона, известная своей красотой; во втором браке замужем за принцем Боргезе.



*Бонапарт, Элиза*, принцесса Луккская и Пьомбинская, затем великая герцогиня Тосканская (1777—1820)—старшая сестра Наполеона, замужем за корсиканцем Феликсом Бачьоки. Властно управляла полученными ею от Наполеона княжествами и позже частями Тосканского герцогства, присоединенными к империи.

*Бонифаций* (680—755)—канонизированный римской церковью святой, родом из Британии, по имени Винфрид, принял позже латинское имя Бонифация. Архиепископ в Майнце и примас Германии, где он обращал язычников в христианство, учреждал монастыри и школы и основал церковь, зависимую от Рима. В 752 г. венчал на царство во Франконии Пипина Короткого, первого короля из Каролингского дома, как бы признав этим услуги, оказанные Каролингами римской церкви.

*Боргеае*, принцесса—см. Бонапарт Полина.

*Боссе*, Луи (род. 1770)—в 1805—1815 гг. префект императорского дворца, после низложения Наполеона последовал за Марией-Луизой в Вену. Оставил воспоминания (Louis de Beausset, “Memoires”).

*Боссюэ*, Жак-Бенинь (1627—1704)—французский церковный деятель эпохи Людовика XIV, епископ Мо, выдающийся церковный оратор, теоретик католицизма и абсолютизма, который отличается, по его учению от деспотизма подчинением разуму.

*Бранденбургская династия*—одна из ветвей дома Гогенполлернов, ведущего свое начало от Фридриха, который был бургграфом нюрнбергским в XII веке. Родоначальник бранденбургской ветви—Фридрих VI, ставший в 1415 г. курфюрстом бранденбургским; его потомки сделали с 1701 г. королями Пруссии, а с 1871 по 1918г. были императорами Германии.

*Бретейль*, Луи-Огюст Ле-Тоннелье, барон (1733—1807)—занимал ряд дипломатических постов, в том числе был в 1760 г. послом в Петербурге. При Людовике XVI был министром полиции, группировал вокруг себя сторонников феодальных и абсолютистских прерогатив, которых поддерживала Мария-Антуанетта. Удалился в отставку в 1788 г., но 12 июля следующего года вернулся, после отставки Неккера, что, между прочим, ускорило взрыв восстания, приведшего к взятию Бастилии. Он эмигрировал и вернулся во Францию в 1802 г., получил от Наполеона пенсию и стал льстецом императорского режима, но политической роли больше не играл.

*Бретейль*, Франсуа-Виктор (1724—1762)—епископ в Монтобанае.

*Бретейль*, Теодоз (1710—1781)—аббат, управляющий делами герцога Орлеанского, отца Филиппа-Эгалите.

*Бриенн*, Этьен де Ломени, граф (1727—1794)—архиепископ тулузский с 1763 г., архиепископ санский и кардинал с 1788 г. После падения Калонна в мае 1787 г. Людовик XIV поставил его во главе финансового совета. Он добился от собрания нотаблей голосования займа в 80 миллионов. Став в 1788 г. первым министром, он издал ряд указов с целью сломить сопротивление парламентов королевской власти, но должен был под их давлением выйти в отставку, обещав созыв Генеральных штатов на 1 мая 1789г. После революции присягнул и послал папе отказ от кардинальства, но тем не менее был дважды арестован и умер в тюрьме.

*Брион*, Луиза-Юния-Констанция Лотарингская, графиня—жена шталмейстера Людовика

## XVI.

*Бриссо*, Жак-Пьер (1754—1793)—называемый де Варвиль, по деревне, в которой провел детство, журналист, в 1784 г. был посажен в Бастилию за памфлет “Дьявол в кропильнице”, был избран в Законодательное собрание и затем в Конвент, принадлежал к жирондистам и во время террора был гильотинирован.

*Брольи*, Морис-Мадлен (1766—1821)—французский прелат, назначенный Наполеоном на епископство в Гент, возражал против церковных мероприятий Наполеона и вынужден был покинуть свою епархию.

*Брут*, Марк-Юний (ок. 86—42 до н. э.)—известнейший из заговорщиков, убивших Юлия Цезаря. Ему не удалось увлечь за собою народ, в борьбе с новым триумvirатом он потерпел полное поражение и покончил самоубийством, бросившись на свой меч.

*Брюмс*, Анри-Альфонс, виконт (1764—1820)—французский генерал, служивший во время революции в армии принца Конде.

*Брюи*, Этьен-Эсташ (1759—1805)—французский адмирал, в 1798 г. морской министр.

*Буамселен*—архиепископ эский.

*Буайе*, Пьер-Франсуа-Ксавье, барон (1772—1851)—французский генерал, участвовавший в первом итальянском и в египетском походах Бонапарта; отличился под Иеной, Фридрихсдорфом, Ваграмом и в Испании.

*Бугеневиль*, Луи-Антуан, граф (1729—1811)—французский мореплаватель, совершил в 1766—1769 гг. кругосветное плавание, во время которого открыл некоторые новые острова Полинезии (Bougainville, “Voyage autour du monde”, 1771). Принимал участие в войне за независимость американских колоний. При Наполеоне—сенатор. Описание его путешествия нанесло удар существовавшему в XVIII веке представлению о неиспорченности первобытного человека.

*Буке*, Дом Мартин (1685—1754)—ученый бенедиктинский монах, прославившийся колоссальной начитанностью в источниках французской истории, многие из которых он сам издал, извлекая их на свет из монастырских хранилищ. Талейран, очевидно, ошибочно имеет в виду его вместо другого Дом Буке, его племянника. Последний, о котором в данном случае должна идти речь, был специалистом по вопросам церковного права, умер в 1781 г.

*Бульон*, Мари-Кристина, принцесса (род. 1746)—урожд. Гессен-Рейнфельд-Ротенбург, замужем за Эриком де ла Тур д'Овернь, принцем Бульон.

*Булонь*, Этьен-Антуан (1747—1825)—французский прелат, епископ Труа в эпоху империи. Во время борьбы Наполеона с папской курией был арестован и после освобождения подал в отставку, но папа ее не признал; после низложения Наполеона вернулся в Труа на епископство.

*Бурбонский герцог*—ем, принц Конде, Луи-Анри-Жозеф.

*Бурбоны*—династия французских королей с конца XVI в.; первым Бурбоном на французском престоле был Генрих IV (см.); во время революции в 1793 г. потомок его

Людовик XVI (см.) был казнен. В 1814 г. Бурбоны вернулись на французский престол, но в 1830 г. последний король старшей линии этой династии был изгнан из Франции, и престол перешел к Орлеанской ветви Бурбонов.

*Бургуен*, Мари-Тереза-Этьенетт (1785—1833)—французская актриса, выступавшая в ролях героинь. В 1809 г. гастролировала в Петербурге.

*Бюффон*, Жорж-Луи-Леклерк (1707—1788)—французский натуралист, написавший “Theorie de la terre” и “Epoques de la nature”.

*Бюффон* — жена графа Луи-Мари де Бюффона, кавалерийского полковника, гильотинированного в 1794 г., сына натуралиста Бюффона. Ее связь с герцогом Орлеанским вызвала в 1793 г. развод с мужем.

*Валевская* Мария (а не Анастасия, как у Талейрана), графиня (1789—1817)—урожд. Лашевич, возлюбленная Наполеона I, от которого имела сына, гр. Валевского, министра иностранных дел и председателя Законодательного корпуса при второй империи.

*Валмоден*, Иоганн-Людвиг, лорд Ярмут (1736—1811)—ганноверский генерал, участвовал в войнах с Францией в 1793—1801 гг. Мать его. Амалия Валмоден, ганноверская уроженка, была фавориткой английского короля Георга II, давшего ей титул графини Ярмут.

*Варен*—французский актер эпохи первой империи.

*Вашингтон*, Джордж (1732—1799)—один из главных борцов за независимость американских колоний и первый президент Северо-Американских Соединенных Штатов. В 1774 г. был избран депутатом в генеральный конгресс Соединенных колоний; в 1775 г., когда начала грозить война с Англией, конгресс избрал его главнокомандующим. Со вступлением в 1789 г. в силу конституции С.-А. С. Ш. был избран президентом, в 1793 г. был избран вторично. Во внутренней политике старался опираться как на федералистов (будущих республиканцев), так и на анти федералистов (впоследствии демократов). Во внешней политике стремился к сохранению мира, необходимого для молодой республики.

*Веллингтон*, Артур-Коллей Веллеслей, герцог (1769—1852)—английский фельдмаршал, боролся с войсками Наполеона в Испании и Португалии; в 1813 г. вступил во Францию и занял Тулузу, где узнал о заключении мира в Париже. По возвращении Наполеона с о-ва Эльбы командовал союзной англо-голландской армией, вместе с Блюхером одержал победу при Ватерлоо, вступил во Францию и занял Париж. По заключении второго мира в Париже начальствовал над союзными войсками во Франции до конца оккупации. В 1828 г. премьер-министр в торийском кабинете. Популярность его померкла вследствие его сопротивления парламентской реформе.

*Вержен*, Шарль-Гравье, граф (1717—1787)—французский дипломат, с 1755 г. по 1768 г. посол в Константинополе, затем в Стокгольме. Людовик XVI тотчас по своем восшествии на престол в 1774 г. назначил его министром иностранных дел. Он содействовал восставшим английским владениям в Америке в их борьбе с метрополией и способствовал отъезду Лафайета на войну. Всеми средствами содействуя назначению Калонна министром, он пытался противодействовать тем реформам, которые последний считал необходимыми.

*Верюелл*, Карл-Генрих, граф Севенарский (1764—1845)—голландский адмирал и морской

министр; в 1806 г. член комитета, предложившего корону Луи Бонапарту. В 1814 г. натурализовался во Франции и был назначен пэром.

*Весмеранк* — управляющий почтой и почтовым сообщением при Людовике XVI.

*Вибицкий*, Иосиф, граф (1747—1822)— польский политический деятель и публицист, участник барской конфедерации; после первого раздела Польши работал над вопросами крестьянской и городской реформы; в 1794 г. примкнул к восстанию Костюшко; при создании герцогства Варшавского стал сенатором и воеводою, оставался им в царстве Польском; с 1818 г.— председатель верховного суда в Варшаве. Оставил на польском языке воспоминания в трех томах, вышедшие в 1840 г. в Познани.

*Вик д'Азир*, Феликс (1748—1794)— медик и анатом; оставил ряд трудов, среди которых особенное значение имели работы по сравнительной анатомии.

*Виктор- Амедей III*, сардинский король (1726—1796)— связанный брачными союзами членов своей семьи с семьей Людовика XVI, он оказывал поддержку французским эмигрантам и роялистам и отказался иринять посла Французской республики, что вызвало войну с ней.

*Виллнд*, Христофор-Мартин (1733—1813)— немецкий поэт, друг Шиллера и Гете; с 1772 г. до самой смерти жил в Веймаре в качестве наставника детей герцогини Веймарской.

*Виллар*, Габриелла, герцогиня (1706—1771)— придворная дама королевы Марии Лещинской.

*Вичцент*, Карл, барон (1757—1834)— австрийский генерал, генерал-адъютант императора Франца, участвовал в войнах против революции и Наполеона. В 1807 г. ему была поручена охрана интересов Австрии в областях Кракова, Сандомира и Люблина. В 1814 г., до разрешения судьбы Бельгии и Голландии, был их генерал-губернатором, в 1815— 1825 гг. посол Австрии в Париже.

*Винцингероде*, Фердинанд Федорович, барон (1770—1818)—генерал-адъютант Александра I, начал службу в гессенских войсках, затем в австрийских, в 1797 г. поступил на русскую службу. В 1807 г. вышел в отставку. В 1809 г. сражался в австрийских войсках и получил чин австрийского фельдмаршала-лейтенанта. С начала войны 1812 г. вернулся на русскую службу, в Москве был захвачен в плен французами, но отбит казаками и затем участвовал в кампании 1813—1814 гг.

*Витроль*, Эжен-Франсуа-Огюст д'Арно, барон (1774—1854)— французский политический деятель; во время революции сражался в войсках принца Конде, при консульстве вернулся во Францию и сделался одним из деятельнейших агентов роялизма. Ему было поручено Талейраном протестовать на конгрессе в Шатильоне против сохранения трона за Наполеоном и добиваться восстановления Бурбонов. После закрытия конгресса предлагал графу д'Артуа услуги Талейрана. После реставрации примыкал в палате депутатов к крайним роялистам, содействовал назначению Полиньяка, в 1832 г. во время восстания в Вандее действовал в качестве секретного агента Бурбонов. Написал две брошюры, в том числе упоминаемую в “Мемуарах” Талейрана (см. примечание 2 к главе V).

*Виценский герцог* — см. Коленкур.

*Вобан*, Себастьян (1633—1707)— инженер эпохи Людовика XIV, строитель и организатор

французских крепостей и руководитель ряда осад, за что был награжден чином маршала. Критикой финансовой системы страны навлек на себя опалу.

*Водрейль*, вероятно, предполагается Жозеф-Франсуа де Поль, граф (1740—1817)— участвовал в Семилетней войне, был близок к гр. д'Артуа и вместе с ним провел годы эмиграции. После реставрации был назначен пэром и управляющим Лувра.

*Волконский*, Петр Михайлович, князь, позднее светлейший князь (1776—1852)—генерал-адъютант Александра I, генерал-фельдмаршал, член Государственного совета, министр двора и уделов; после Тильзитского мира был отправлен во Францию для ознакомления с организацией французской армии у ее генерального штаба. Был женат на сестре декабриста Волконского.

*Вольтер*, Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778).

*Буайе*, Марк-Рене, маркиз (1722—1782)— французский генерал-лейтенант.

*Габриелле*, Жюль (1748—1822)— итальянский кардинал, с 1808 г. помощник статс-секретаря при папском престоле.

*Габсбург* — см. Рудольф.

*Гагарин*, Павел Гаврилович, князь (1777—1850)— флигель-адъютант Павла I и генерал-адъютант Александра I; придворной карьерой обязан своей жене, урожд. кн. А. П. Лопухиной, фаворитке Павла I.

*Гагерн*, Кристоф-Эрнст, барон (1766—1852)— немецкий публицист и дипломат, участвовавший в качестве представителя Нидерландов на Венском конгрессе. Оставил мемуары, освещающие наполеоновскую эпоху (Freiherr von Gagern, “Mein Anteil an der Politik”, Bd. 1—4, Stuttgart, 1822—1823; Bd. 5—6, Leipzig, 1845).

*Галезьер*, Антуан-Мартин Шомон, маркиз (1697—1787)— государственный деятель, член финансового совета при Людовике XVI.

*Гамильтон*, Александр (1757—1804)— видный участник борьбы американских колоний за независимость. По окончании войны был делегатом на ряде конгрессов, вырабатывавших конституцию. По вступлении ее в силу вошел в министерство в качестве главного казначея.

*Гарденберг*, Карл-Август, князь (1750—1822)— прусский государственный деятель, в 1803—1806 гг. министр иностранных дел, уволенный по требованию Наполеона. С 1810 г. до смерти — государственный канцлер, продолжатель Штейна в деле национального возрождения Пруссии, сторонник введения представительного правления; вследствие торжества реакции, водворившейся в эпоху конгрессов, к концу жизни утратил влияние. В 1814 г. вместе с В. Гумбольдтом представлял Пруссию в Париже и с ним же заседал на Венском конгрессе.

*Гастингс* — см. Раудон.

*Гаугвиц*, Христиан-Август, граф (1752—1832)— прусский государственный деятель, с 1792 г. прусский кабинет-министр; принимал участие во втором разделе Польши; в 1795 г. добился Базельского мира с Францией; в 1802—1804 гг. управлял министерством

иностранных дел; изоляция Пруссии и несогласие с нерешительной политикой короля заставили его выйти в отставку. В 1805 г. снова вернулся к делам, но, подписав Шенбрунский договор и пережив разгром Пруссии в 1806—1807 гг., ушел окончательно в отставку. Пытался оправдать свою политику в мемуарах (“Fragment des memoires inedites du conate de Haugwitz”, 1857).

*Гаши*—французский аббат, выступавший в Лондоне против конкордата.

*Генрих III* (1551—1588)—герцог Анжуйский, позже король польский, а впоследствии— французский, третий сын Генриха II от его брака с Екатериной Медичи. Избранный королем польским, он через год, в 1575 г., когда скончался его брат, французский король Карл IX, тайно покинул Польшу, с целью занять французский престол. Некоторые уступки, сделанные им протестантам, вызвали образование Священной лиги (см. примечание 2 к главе VIII) и гражданскую войну; вождь лиги Генрих Гиз был убит по приказанию короля, но сам Генрих III пал от руки приверженца католической партии, защищавшей старые феодальные привилегии знати. С его смертью прекратилась династия Валуа.

*Генрих IV* (1553—1610)—король французский с 1589 г., третий сын принца французского королевского дома Антуана Бурбона и Жанны д'Альбре, дочери и наследницы короля наваррского; как глава партии протестантов, участвовал в гражданской войне со Священной лигой, после убийства ее вождя Гиза и короля Генриха III захватил французский престол, но умиротворение внес лишь после компромисса, когда он, с одной стороны, принял католичество, а с другой—дал гугенотам по Нантскому эдикту значительные права. Он вел борьбу с притязаниями феодальной знати, опираясь на враждебных ей горожан, и подготовил торжество абсолютизма. Министром его был знаменитый Сюлли. Был убит Равальяком, которой” на этот акт толкнули иезуиты.

*Генц*, Фридрих (1764—1832)—выдающийся немецкий публицист, перешедший от идеи Руссо и от сочувствия французской революции в лагерь Меттерниха, где выступал защитником реакции. Был первым секретарем на Венском и последующих конгрессах. Штейн назвал его человеком с иссохшим мозгом и гнилым сердцем.

*Гете*, Иоганн-Вольфганг (1749—1832).

*Гиз*, Генрих, герцог Лотарингский (1550—1588)—руководитель избиения протестантов в Варфоломеевскую ночь; образовал в 1576 г. Священную лигу (см. примечание 2 к главе VIII), вызвавшую гражданскую войну. При бездетном Генрихе III его кандидатура на французский престол противопоставлялась кандидатуре гугенота Генриха Наваррского, правившего впоследствии под именем Генриха IV. По распоряжению Генриха III он был заманен во дворец и убит.

*Гинкмар*, архиепископ реймский (806—882)—один из главнейших советников французского короля Карла Лысого. Закончил сооружение Реймского собора в его первоначальном виде, замененном в XIII веке современным.

*Гиулай фон Марош-Немет и Надаска*, Игнац, граф (1763—1831)— австрийский генерал, участвовал в войнах против Французской республики и империи, с 1806 по 1823 г. бан Кроапии и Далмапии, председатель военного совета.

*Гогел*, Александр (1765—1821)—голландский промышленник и государственный деятель, министр в период Батавской республики и при короле Луи Бонапарте.

*Годой*, Алварес де Фариа, Мануэль, князь Мира. (1767—1851)—испанский государственный деятель, фаворит королевы, жены Карла IV, и правитель Испании; вел войну с Французской республикой и после подписания Базельского мира получил титул князя Мира. Когда Наполеон ввел в 1807 г. свои войска в Испанию, против Годоя вспыхнуло восстание, которым воспользовался его враг, наследный принц. Годой был арестован, Карл IV отрекся, и на престол вступил его сын, Фердинанд VII. Наполеон заманил королевскую семью в Байонну и захватил в плен. Годой был освобожден и покинул Испанию. Он опубликовал мемуары, переведенные на французский язык (“Memoires de Godoy”, 1836).

*Голицын*, возможно, Дмитрий Владимирович, князь, впоследствии светлейший (1771—1844)—будущий московский генерал-губернатор.

*Гольдберг*—голландский политический деятель, член делегации, отправленной в 1806 г. в Париж для протеста против выдвигавшегося уже тогда Наполеоном проекта присоединения Голландии к Франции.

*Гольц*, Август-Фридрих-Фердинанд, граф (1765—1832)—пруссский государственный деятель; несколько лет был посланником при разных дворах, в том числе в России в 1807—1813 гг.; министр иностранных дел, вел мирные переговоры в Тильзите; уполномоченный Пруссии на Эрфуртском свидании в 1808 г., в 1816—1824 гг. ее представитель в союзном сейме.

*Гортензия Богарна*—см. Богарнэ.

*Гош*, Луи-Лазар (1768—1797)—генерал французских революционных войск; сын конюха, сам в молодости служил в королевских конюшнях в качестве помощника конюха. На военную службу вступил в 1784 г. В 1792 г. обратил на себя внимание запиской, поданной в Комитет общественного спасения, о военном положении, начал быстро продвигаться и вскоре был уже главнокомандующим одной из армии. Его большая популярность возбудила подозрение, и он был обвинен перед Робеспьером в стремлении к диктатуре и привезен под арестом в Париж, где просидел в тюрьме до 9 термидора. После своего освобождения раздавил остатки вандейских отрядов. Умер скоропостижно, что создало предположение об отравлении. Гош был искренне предан революции. Наполеон после 18 брюмера сказал, что “если бы Гош встретился на моем пути, мне пришлось бы или отступить или сломить его”.

*Гренвиль*, Вильям Виндгам, барон (1759—1834)—английский государственный деятель, с 1782 г. член палаты общин, в 1789 г. ее спикер, в 1790 г. произведен в пэры. Несколько раз занимал министерские посты; в 1789 г. был статс-секретарем по внутренним делам, в 1791 г. статс-секретарем по иностранным делам. Пользуясь большим влиянием, вносил в государственные дела страстную ненависть к французской революции. В 1801 г. вместе с Питтом покинул кабинет. В 1806 г., сблизившись с вигами, стал во главе так называемого министерства “всех талантов”, в которое входил и Фоке. В 1807 г. его министерство пало, и с тех пор деятельность его ограничивалась палатой лордов, где он был одним из вожаков либеральной оппозиции.

*Гро* — франц. актриса эпохи Первой империи.

*Гучлар де Монсабер* — советник парижского парламента в эпоху Людовика XVI.

*Гувион, Жан-Батист* — участвовал в войне за независимость Америки, затем служил в чине генерал-майора в национальной гвардии, был депутатом Национального собрания.

*Гумбольдт, Карл-Вильгельм (1767—1835)*— лингвист и прусский политический деятель, старший брат естествоиспытателя Александра Гумбольдта. Оставил труды по классической филологии и заложил начала сравнительного языковедения. С 1808 по 1819 г. занимал разные государственные и дипломатические посты. В 1814 г. представлял с Гарденбергом Пруссию в Париже и затем с ним же заседал на Венском конгрессе. Возглавлял партию, враждебную Франции, и был сторонником объединения Германии. Во внутренней политике выступал за введение представительного правления; в 1819 г. был назначен министром внутренних дел, но вскоре устранен.

*Даву, Луи-Никола, герцог Ауэрштедтский, князь Экмюльский (1770—1823)*— наполеоновский маршал, участвовал в войнах эпохи республики, консульства и империи. В 1807 г. губернатор великого герцогства Варшавского. В течение “Ста дней”— военный министр. При Бурбонах — пэр.

*Дазенкур, псевдоним Жозефа-Жана-Батиста Альбуи (1747— 1809)*— актер Французской комедии на амплуа комиков. Создал роль Фигаро в комедии Бомарше. Наполеон назначил его директором придворных спектаклей.

*Далматский, герцог* — см. Сульт.

*Дальберг, Эмерих-Иозеф, герцог (1773—1833)*— немецкий дипломат, посол герцогства Баденского в Париже, где сблизился с Талейраном и перешел на французскую службу; вел переговоры о бракосочетании Наполеона с Марией-Луизой, в 1814 г. был членом временного правительства и участвовал в восстановлении Бурбонов.

*Дальгаузай, лорд* — английский генерал, участвовавший в войне Англии с Наполеоном в Испании.

*Дама, Август-Александр-Марциал (1772—1834)*— французский актер, играл трагических и комических любовников.

*Дамбрей, Шарль-Анри, виконт (1760—1829)*— в 1814 г. назначен канцлером — хранителем печати и пэром.

*Дарю, Пьер-Антуан-Бруно, граф (1767—1829)*— французский политический деятель, служил в военном министерстве, исполнял разные дипломатические поручения Наполеона; был уполномоченным при подписании мира в Пресбурге, в Тильзите и в Вене; в 1811 г. назначен государственным секретарем и высказывался против широких завоевательных планов. Оставил литературные труды, в том числе перевод на французский язык Горация и историю Венецианской республики.

*Демсан, Франсуа-Андре, барон (род. 1748)*— французский прелат, назначенный Наполеоном на епископство в Асти.

*Деве де Везу, Луи-Шарль-Антуан (1768—1800)*— французский генерал, участвовал в войнах эпохи революции, совершил с Бонапартом египетский поход, решил исход сражения при Маренго в пользу Наполеона в тот момент, когда французской армии грозил разгром. В этом сражении был убит.



*Делакруа* или *де Лакруа де Констан*, Шарль (1741—1805)— член Конвента, затем член Совета старейших при Директории; в 1795—1797 гг. министр внешних сношений, затем посланник в Гааге. Считался отцом художника Делакруа, который в действительности был сыном Талейрана.

*Делиль* (1738—1813)— французский аббат, поэт и переводчик на французский язык Вергилия и Мильтона.

*Дендас*, Генри, виконт Мельвиль (1742—1811)— английский государственный деятель, адвокат, занимавший неоднократно разные министерские кресла в кабинете Питта.

*Денон*, Доминик-Виван, барон (1747—1825)— французский художник, главным образом мастер офорта; служил во французских посольствах, между прочим секретарем посольства в Петербурге. При Наполеоне— главный директор всех музеев; первый организатор Луврского музея.

*Депре-Вальмон* (1757—1812)— французский комедийный актер и писатель, оставивший несколько драматических произведений и романов.

*Диллон*, Артур (1721—1814)—раньше архиепископ тулузский, затем нарбонский. Председательствовал в штатах Лангедока и дважды в общих собраниях духовенства. Во время революции отказался присягнуть и уехал в Англию, где и умер. Был известен своей расточительностью. Людовик XVI спросил его однажды, верно ли, как говорят, что у него много долгов. “Я справлюсь у своего управляющего и буду иметь честь сообщить его ответ вашему величеству”,— отвечал архиепископ.

*Диллон*, Артур (1750—1794)— французский генерал ирландского происхождения, участвовал в войне Америки за независимость, депутат в Генеральных штатах; гильотинирован в 1794 г.

*Дино*, Доротея, герцогиня Талейран-Перигор, принцесса Саган и герцогиня Дино (1792—1862)—дочь герцога Петра Курляндского; в 1809 г. вышла замуж за племянника Талейрана, Александра-Эдмонда Перигор. Была самым близким для Талейрана человеком.

*Диоген* (404—323 до н. э.)— древнегреческий философ, ведший аскетическую жизнь и ночевавший, по преданию, в бочке.

*Дион Кассий* (род. ок. 155, ум. ок. 235)— греческий историк. Из его трудов сохранилась лишь часть написанной им римской истории.

*Дом Мартин Буке* — см. Буке.

*Домбровский*, Ян-Генрих (1755—1818)— польский генерал, служил в саксонской армии, в 1792 г. состоял в армии Иосифа Понятовского, защищая польскую конституцию 3 мая 1791 г. против России и Тарговицкой конфедерации, объединившей врагов этой конституции; в 1794 г. защищал Варшаву от царских войск; позже организовал польские легионы в армии Наполеона и командовал ими до 1814 г. После низложения Наполеона вернулся в Россию и был назначен Александром I польским сенатором, но в 1816 г. вышел в отставку.

*Дону*, Пьер-Клод-Франсуа (1761—1840)— принадлежал к одной из духовных конгрегации, принес присягу и был выбран в Конвент, где протестовал против изгнания

жирондистов, за что просидел в тюрьме до 9 термидора. Впоследствии был членом Совета пятисот, Трибуната и при июльской монархии — палаты пэров. Работал над историей Франции в средние века.

*Дориа, Джиованни* (род. 1781)— итальянский прелат, папский нунций в Париже, кардинал и статс-секретарь.

*Дуньяни, Антонио* (1748—1818)— итальянский прелат, в 1789 г. папский нунций в Париже, с 1792 г. кардинал.

*Дювазен, Жан-Батист* (1744—1813)— французский прелат, с 1802 г. епископ Нанта. Пытался неоднократно добиться у Наполеона освобождения папы Пия VII.

*Дюко, Роже* (1754—1816)— французский политический деятель, член Конвента, в котором голосовал за казнь Людовика XVI, затем — член Совета пятисот; был одним из директоров, содействовал перевороту 18 брюмера; был третьим консулом, беспрекословно послушным Наполеону. При реставрации, как участник голосования за казнь короля, должен был отправиться в изгнание.

*Дюкре, Шарль-Луи, маркиз* (1743—1824)— брат писательницы Жанлис, французский полковник, одно время служил управляющим делами герцога Орлеанского, написал несколько работ по политике и экономике.

*Дюло, Жан-Мари* (1738—1792)— архиепископ арльский с 1775 г., участвовал в Генеральных штатах. После событий 10 августа 1792 г. был арестован и убит в сентябрьские дни.

*Дюмон, Пьер-Этьен-Луи* (1759—1829)— швейцарский священник, публицист, настоятель французской церкви в Петербурге; в первые годы французской революции жил в Париже в тесной близости с Мирабо; когда размах революции его испугал, он уехал в Англию, где близко сошелся с Бентамом и стал редактором и издателем его сочинений.

*Дюмурье, Шарль-Франсуа* (1739—1824)— французский генерал, участвовал в Семилетней войне, при Людовике XV исполнял разные тайные дипломатические поручения. В начале революции, в поисках популярности, примкнул к герцогу Орлеанскому, затем сошелся с жирондистами и при их поддержке занимал в 1792 г. в течение трех месяцев пост министра иностранных дел. Назначенный главнокомандующим северной армией, совершил известное отступление через Аргонский лес, при Жемаппе одержал над австрийцами победу, открывшую ему всю Бельгию. Военные неудачи в Голландии, подорвавшие его популярность, побудили его к переговорам с врагом; он задумал повести свою армию против Парижа и восстановить монархию. Прибывшие к нему комиссары Конвента были им выданы австрийцам, но войско отказалось ему повиноваться, и он бежал за границу, где после ряда скитаний, побывав в 1800 г. и в России, поселился в Англии.

*Дюпон де Немур* (1739—1817)— экономист, ученик физиократа Кене, участвовал в Генеральных штатах. Был арестован при терроре и освобожден 9 термидора. Состоял в Совете пятисот, во время империи жил в уединении, при реставрации эмигрировал и умер в Америке.

*Дюпон де л'Этан, Пьер-Антуан, граф* (1765—1840)— французский генерал, участвовавший в революционных войнах и в походах Наполеона; содействовал

перевороту 18 брюмера. За поражение в Испании в 1808 г. был посажен Наполеоном в крепость. В 1814 г. был первым военным министром Людовика XVIII.

*Дюпортайль* — участник войны за американскую независимость, в 1790 г. военный министр. После событий 10 августа 1792 г. было издано распоряжение об его аресте. Два года он укрывался во Франции и затем уехал в Америку. На обратном пути во Францию в 1802 г. умер.

*Дюпюи, Роза* (1786—1878)—актриса Французской комедии, сперва дублировала актрису Марс, затем перешла на роли второстепенных персонажей в трагедиях.

*Дюра* — жена маршала, придворная дама дочерей Людовика XV.

*Дюра* — см. Дюрфор-Дюра.

*Дюрок, Жеро-Кристоф-Мишель*, герцог Фриульский (1772—1813)— генерал, постоянный сподвижник Наполеона. С 1804 г. обер-гофмаршал. Исполнял ряд дипломатических поручений.

*Дюрфор-Дюра, Амедей*, герцог (1770—1836)— первый камер-юнкер Людовика XVI; во время революции сопровождал за границу будущего Людовика XVIII; после реставрации — пэр.

*Дюфрени, Шарль Ривьер* (1648—1724)— французский драматург, в молодости служивший камер-лакеем при дворе Людовика XIV, затем специализировавшийся в разбивке садов и наконец перешедший к драматургии.

*Дюшенуа*, псевдоним Катерины-Жозефины Рафен (1774—1835)— французская актриса, выступавшая 36 лет во Французской комедии в трагедийном репертуаре, в ролях героинь, соперница известной актрисы Жорж.

*Евгений* — см. Богарнэ.

*Екатерина Алексеевна* (1729—1796)— русская императрица, вступила на престол в 1762 г. под именем Екатерины II, свергнув своего мужа, Петра III.

*Елизавета Алексеевна* (1779—1826)— русская императрица, жена Александра I, урожденная принцесса Баденская.

*Жанлис, Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен*, маркиза Силлери, графиня (1746—1830)— писательница, воспитательница детей герцога Орлеанского, Филиппа-Эгалите. В начале революции сочувствовала реформе государственного строя, но вскоре эмигрировала. Наполеон сначала позволил ей вернуться и отнесся к ней милостиво, но, усмотрев в ее книгах преданность династии Бурбонов, отнял у нее пенсию, которую было ей пожаловал. При реставрации она заняла довольно реакционную позицию. Ее романы, ныне имеющие лишь чисто историческое значение, были очень популярны в начале XIX века и переводились на все языки; на русский было переведено более пятидесяти ее произведений.

*Жербье, Пьер-Жан-Батист* (1725—1788)—видный французский адвокат, старшина сословия в Париже, известный своими блестящими речами, сохранившимися большей частью в рукописях, а также угодливостью перед правительством в борьбе парижского

парламента с королем.

*Жерве*, вероятно, Андрей Андреевич (1773—1832)— государственный деятель, служил в ведомстве иностранных дел, в 1801 г. составлял проект мирного договора между Россией и Францией, с которым был отправлен в Париж. Был близок со Сперанским; в связи с его опалой пошатнулось и положение Жерве, и он перешел в министерство финансов.

*Жозефина-Мария-Роза* (1763—1814)— французская императрица, первая жена Наполеона, урожденная Таше де ла Пажери, родилась на острове Мартинике, в первом браке за гр. Александром Богарнэ, от которого имела сына Евгения (впоследствии вице-король Италии и герцог Лейхтенбергский) и дочь Гортензию (жена голландского короля Людовика Бонапарта и мать Наполеона III). Муж Жозефины был казнен во время террора, а она арестована и освобождена после 9 термидора. Ее покровитель Баррас, член Директории, устроил в 1796 г. ее брак с тогда еще малоизвестным генералом Бонапартом, которому она содействовала в его назначении главнокомандующим армией, отправленной в Италию.

В 1810 г. Наполеон разошелся с Жозефиной и вступил в брак с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой. Письма Наполеона к Жозефине изданы в 1827 г., а письма Жозефины к нему в 1833 г.

*Жокур*, Франсуа, граф и впоследствии маркиз (1757—1852) — депутат Законодательного собрания; затем эмигрировал и вернулся только после переворота 18 брюмера; был членом Трибуната и сената; в 1814 г.— член временного правительства, после реставрации исполнял при отъезде Талейрана в Вену обязанности министра иностранных дел, в 1815 г.— морской министр.

*Жоливе*, Жан-Батист, граф (1754—1818)—адвокат, член Законодательного собрания, где примыкал к умеренным; был арестован при терроре и освобожден после 9 термидора. В 1807 г. министр финансов в Вестфальском королевстве.

*Жубер*, Бартеlemi-Катерин (1769—1799)— французский генерал, выдвинувшийся во время первого итальянского похода Бонапарта в 1796— 1797 гг.; был убит в битве при Нови с русско-австрийскими войсками.

*Жюда* — французский аббат.

*Жюно*, Андош, герцог д'Абрантес (1771—1813)—французский генерал, адъютант Наполеона в итальянском и египетском походах; в 1807 г. командовал корпусом в Португалии и взял Лиссабон, за что получил герцогский титул; был правителем Иллирийской провинции; психически заболел, выбросился из окна. Его жена Лаура Жюно оставила воспоминания (Duchesse d'Abrantes, "Memoires ou souvenirs historiques").

*Зурло*, Джузеппе, граф (1759—1828)— неаполитанский государственный деятель; в управление Мюрата был министром юстиции и вероисповеданий, затем министром внутренних дел.

*Ивон* (1714—1791)— французский аббат и богослов, осужденный Сорбонной; участвовал в Энциклопедии, оставил несколько богословских работ, занимал должность историографа при графе д'Артуа.

*Иннокентий XI* (Бенедетто Одескалки) (1611—1689)— римский папа с 1676 г., был

солдатом во время Тридцатилетней войны и лишь после принял духовный сан; боролся с Людовиком XIV из-за так называемой регалии, т. е. права французских королей пользоваться доходами с вакантных епископств до их замещения. Созванный Людовиком XIV в 1681г. съезд французского духовенства отверг в четырех положениях притязания папы, признав, что папа подчинен вселенскому собору и его решения по вопросам веры не обладают непогрешимостью. Стремился уничтожить право убежища, предоставлявшееся в Риме преступникам в домах иностранных послов, что создало конфликт с Францией.

*Иннокентий XII* (Антонио Пиньятелли) (1615—1700) — римский папа с 1694 г., вел политику примирения с Францией и закончил спор о регалиях компромиссным решением.

*Иосиф* — ем. Бонапарт Жозеф.

*Казелли*, Карло-Франческо (1740—1828)— итальянский кардинал с 1802 г. и пармский епископ с 1804 г., когда переехал в Париж, где прожил до падения Наполеона; после этого, вернувшись в Парму, стал близким советником Марии-Луизы, получившей после Венского конгресса герцогство Пармское.

*Калиостро*, Александр, граф (1743—1795)— авантюрист и шарлатан итальянского происхождения. Настоящее его имя — Джузеппе Бальзамо. В 1780 г. под именем графа Феникса он побывал в Петербурге, сошелся с Потемкиным, но вскоре был выслан. Пользовался в Париже славой великого чародея, но должен был выехать в связи с известным делом об ожерелье королевы. Был в Риме приговорен инквизицией к смертной казни, но папа заменил ему смертную казнь пожизненным заточением в крепости, где он через четыре года умер.

*Калонн*, Шарль-Александр (1734—1802)— генеральный контролер Франции с 1783 г., когда он был призван партией двора, не желавшей мириться с реформистскими затеями Тюрго и Неккера. Калонн оперировал при помощи широко практикуемой системы займов, так как поправить финансы путем новых налогов, возлагаемых только на третье сословие, он не осмеливался, боясь революционного взрыва, а обложить дворянство и духовенство не решался, опасаясь за свою карьеру ввиду сопротивления двора. Но займы еще более осложняли и запутывали положение. Оказавшись лицом к лицу с огромным дефицитом, Калонн затеял все же ряд реформ в финансовой области, причем эти реформы должны были неминуемо затронуть интересы привилегированных классов, а чтобы обеспечить за собою хоть какую-нибудь точку опоры против двора, он убедил Людовика XVI созвать так называемое собрание нотаблей. Оно резко высказалось против Калонна, и 20 апреля 1787 г. он навсегда сошел с политической сцены. При революции Калонн долгие годы был эмигрантом. Наполеон разрешил ему вернуться во Францию, где он и умер.

*Калькрейт*, Фридрих-Адольф, граф (1737—1818)—прусский генерал-фельдмаршал, участник Семилетней войны, войн против Голландии 1787 г., против французской революции и Наполеона, которому сдал Данциг; вел вместе с министром иностранных дел мирные переговоры в Тильзите; враг реформ, проводимых Штейном для возрождения Пруссии. Оставил воспоминания, опубликованные в “Bran's Minerva”, 1839, № 40

*Камбасерес*, Жан-Жак-Режи, впоследствии герцог Пармский (1753— 1824)— французский государственный деятель, юрист, член Конвента, где обнаружил большую способность лавировать, голосуя, например, за казнь короля, но с такими оговорками, которые могли дать основание заподозрить его в желании спасти Людовика XVI. Сначала жирондист, он перешел к монтаньярам, когда установилось их господство. Во время террора держался в стороне и примкнул к термидорьянцам, когда их победа стала

несомненной. Во время Директории член Совета пятисот и в 1799 г. министр юстиции. Работал с момента избрания в Конвент над кодификацией гражданских законов. Бонапарт сделал его после переворота 18 брюмера вторым консулом. В эпоху консульства редактировал Code civil (Гражданский кодекс), законченный в 1804 г. В течение всего правления Наполеона руководил реорганизацией администрации и судебных учреждений. При империи был произведен в великие канцлеры и президенты сената и пожалован титулом герцога. При вступлении союзных войск в Париж, учитывая обстановку, голосовал в сенате за низложение Наполеона, но все же был изгнан Людовиком XVIII из Франции, как цареубийца; через несколько лет вернулся, но политической роли не играл.

*Каннинг*, Джордж (1770—1827)— английский государственный деятель, умеренный тори, поддерживавший политику Питта в палате общин; в 1807—1809 гг. и 1822—1827 гг. статс-секретарь по иностранным делам, в 1827 г. глава кабинета.

*Канувиль* — чиновник императорского двора при Наполеоне, заведовавший квартирой императора и его свитой в Эрфурте.

*Капрара*, Джиованни-Батист, граф Монтекуолли (1753—1810)— итальянский кардинал с 1792 г., папский легат в Париже.

*Кариньян* — см. Ламбаль, принцесса.

*Кариньянская* династия — занимает королевский престол Италии в настоящее время; (в 1946 году в Италии была провозглашена республика.—*Изд.*); титул князя Кариньянского был в середине XVII века дан графом Савойским своему младшему сыну, родоначальнику династии, по городу Кариньяно вблизи Турина, входившему во владения савойских графов.

*Карл Великий* (742—814)— король франков с 768 г. и римский император с 800 г. Создал обширную империю, распавшуюся после его смерти; в 800 г. был коронован папой, искавшим опоры у франков, императором Западной Римской империи. В отношении римской церкви сохранял полную независимость, сам назначал епископов и аббатов и решал церковные дела.

*Карл Людвиг-Иоганн*, эрцгерцог (1771—1847)— третий сын австрийского императора Леопольда II, фельдмаршал, генералиссимус и в 1806—1809 гг. австрийский военный министр.

*Карно*, Лазар-Никола-Маргерит (1753—1823)— член Законодательного собрания и затем Конвента; главное внимание уделял обороне; состоя в Комитете общественного спасения, занимался организацией военных сил революции, создал четырнадцать армий и руководил военными действиями. В 1795 г. был избран членом Директории. Во время переворота 4 сентября 1797 г. был обвинен в роялизме, но, вовремя об этом предупрежденный, бежал за границу. При Наполеоне он вернулся во Францию и в 1800 г. был назначен военным министром, но, не разделяя политических планов Наполеона, вышел в отставку; возражал против пожизненного консульства и против установления империи. Во время “Ста дней” был назначен министром внутренних дел, после вторичного низложения Наполеона был избран членом временного правительства и пытался противодействовать занятию союзниками Парижа. При Людовике XVIII был изгнан из Франции и умер за границей.

*Каролина*, королева — см. Бонапарт Каролина.

*Кассий Лонгин*, Кай (ум. 42 до н. э.)— один из заговорщиков, принимавших участие в убийстве Юлия Цезаря.

*Катина*, Никола де ла Фоконри (1637—1712)— французский маршал, пользовавшийся большой популярностью в армии. Оставил мемуары, опубликованные в 1819 г.

*Кауниц*, Венцель-Антон-Доминик, князь, граф Ритберг (1711— 1794)— австрийский дипломат и государственный деятель. В 1750— 1753 гг. посол во Франции, в 1754—1792 гг. канцлер Германской империи. Делом его жизни была борьба с возрастающим военным могуществом Пруссии; был основным творцом коалиции против Фридриха II, приведшей к Семилетней войне. Считался одним из самых искусных дипломатов второй половины XVIII века.

*Келлерман*, Франсуа-Этьен, герцог де Вальми (1770—1835)— французский генерал, сын маршала, выдвинувшегося в сражении под Вальми, участвовал во всех походах Наполеона от Маренго до Ватерлоо.

*Клавдий* (10 до н. э.—54 н. э.) — римский император; захватил власть при поддержке гвардии преторианцев; был женат сперва на Мессалине, потом на Агриппине, которая отравила его после того, как он усыновил ее сына Нерона. В исторической науке долго жила традиция, по которой он считался глупцом.

*Кларед*, Мишель (1774—1841)—французский генерал эпохи республики, консульства и империи.

*Кларк*, Анри-Жак-Гильом, граф де Гунебург, герцог де Фельтр (1756—1818)— французский генерал ирландского происхождения; во время революции был отстранен как не внушавший доверия; был восстановлен при Директории; отправленный правительством в Италию во время первого итальянского похода для переговоров, помимо Бонапарта, с Австрией, примкнул к нему, был его личным секретарем во время консульства; в 1807—1814 гг. военный министр; после занятия Парижа союзниками. публично приветствовал Людовика XVIII, получил снова военное министерство и звание маршала.

*Клебер*, Жан-Батист (1753—1800)— французский генерал. Отличился борьбой с вандейской роялистской армией, принимал участие в египетском походе Бонапарта и после отъезда последнего из Египта остался главнокомандующим французскими войсками. Был убит египетским мамелюком.

*Клермон-Галлеранд*, маркиз (1744—1823)— генерал-майор; принимал участие 10 августа 1792 г. в защите Тюильри от народа. Его мемуары опубликованы в 1825 г. в Париже в трех томах (“Memoires du marquis de Clermont-Gallerande”).

*Кобенцль*, Иоганн-Людвиг-Иозеф, граф (1753—1809)— австрийский дипломат, посланник в Копенгагене и в Берлине; в 1779—1797 гг. посол в Петербурге. В 1795 г. способствовал заключению союза Австрии с Россией и Англией против Франции; в 1807 г. подписал мир с Наполеоном в Кампо-Формио, в 1801 г.—в Люневиле, после чего был назначен канцлером и министром иностранных дел. В 1805г., после подписания Пресбургского мира, ушел в отставку. Считал необходимым сохранить неприкосновенность абсолютизма и ниспровергнуть учреждения и принципы, введенные французской революцией.

*Кодр*— мифический царь Аттики, живший, по хронографам, в XI веке до нашей эры, во времена переселения в Грецию дорян. По преданию, оракулом было предсказано, что доряне не завоюют Аттики, если Кодр погибнет; поэтому он отправился в лагерь дорян и был там убит.

*Кодронки*, Антонио (1748—1820)— итальянский прелат, с 1805 г. равеннский архиепископ.

*Коленкур*, Арман-Огюст, маркиз, герцог Випенекнй (1772—1821) — происходил из старого аристократического рода, служил в королевской армии и затем в революционных войсках. При восшествии на престол Александра I был отправлен в качестве дипломатического агента, а позже посла, в Петербург, где оставался до 1810г. и действовал в пользу укрепления франко-русского союза. Бил при Наполеоне во время похода 1812 г. и вернулся из России в одних санях с императором. В 1813 г. вел в Праге, а затем в Шатильоне, переговоры в союзниками, ни к чему не приведшие из-за неуступчивости Наполеона. Оставался верен Наполеону до последней минуты. Во время “Ста дней” Наполеон назначил его министром иностранных дел. После “Ста дней” не принимав никакого участия в политике. Оставил воспоминания, опубликованные полностью лишь в 1933г. (Caulaincourt, “Memoires”).

*Кольчев*, Степан Алексеевич (1746—1805)— русский дипломат. После ряда других назначений был в 1799 г. отправлен послом в Вену, когда отношения между Россией и Австрией обострились вследствие недовольства России поведением австрийской армии во время итальянского и швейцарского походов Суворова. В 1801 г. ему было дано специальное поручение в Париж к первому консулу, к сближению и даже союзу с которым склонялся тогда Павел I. Вскоре по воцарении Александра I был пожалован званием вице-канцлера и отозван из Парижа, а туда назначен А. И. Морков.

*Кольбер*, Жан-Батист (1619—1683)—французский государственный деятель, генеральный контролер (министр финансов, торговли, мануфактур и внутренних дел) при Людовике XIV. В экономической политике проводил систему меркантилизма, в управлении насаждал бюрократическую систему, освобождая монархию от ограничений, налагаемых на нее притязаниями высшего дворянства.

*Конде*, Луи-Жозеф, герцог Бурбонский, принц (1736—1818) — во время революции организовал за свой счет на Рейне армию из эмигрантов для борьбы против Французской республики. В 1897 г. поступил на русскую службу. После реставрации вернулся во Францию.

*Конде*, Луи-Анри-Жозеф, герцог Бурбонский, принц (1756—1830)— сын предыдущего, отец расстрелянного Наполеоном герцога Энгиенского. При Людовике XVI политической роли не играл. Во время реставрации служил в армии отца. Повесился после июльского переворота.

*Кондорсе*, Жан-Антуан, маркиз (1743—1794)— математик и философ; по своим социально-экономическим взглядам примыкал к физиократам; в основном своем произведении, “Очерк исторической картины развития человеческого ума”, он заложил основы теории прогресса. Был избран в Законодательное собрание и в Конвент, где примкнул к жирондистам. За протест против их изгнания из Конвента был объявлен вне закона. Арестованный после нескольких месяцев скитальчества, покончил в тюрьме самоубийством.



*Консальви, Эрколо* (1757—1824)— римский кардинал и статс-секретарь; вел и закончил переговоры о конкордате с Наполеоном. Позже был вслед за папой Пием XII привезен во Францию, где оставался пленником до 1813 г. На Венском конгрессе представлял папский престол и достиг восстановления большей части папских владений.

*Константин Павлович*, вел. князь (1779—1831)— второй сын императора Павла I. Во время увлечения русского правительства проектом изгнания турок из Европы предназначался Екатериной II на престол будущей Константинопольской империи. С образованием царства Польского был назначен главнокомандующим польскими войсками. Морганатический брак его с полячкой Иоанной Грудзинской побудил его к отказу от права наследовать престол в пользу Николая Павловича, что послужило непосредственным поводом к декабрьскому восстанию 1825 г.

*Конфлан д'Армантьер, Луи-Габриель*, маркиз (род. 1735)— французский генерал-майор.

*Корнель, Пьер* (1606—1684)— французский драматург. 189.

*Корнуэльс, Чарльз*, граф, позже первый маркиз Корнуэльс (1738— 1805)— английский генерал, служил в английских войсках во время войны с американскими колониями, затем был генерал-губернатором Индии, вице-королем Ирландии и в 1802 г. английским уполномоченным при заключении Амьенского договора.

*Коцебу, Август-Фридрих-Фердинанд* (1761—1819) — популярный в свое время немецкий драматург, в царствование Екатерины находился на русской государственной службе, в 1800 г. Павел I сослал его в Сибирь за памфлет, но вскоре он был возвращен; сторонник Священного союза, враг национально-либерального движения в Германии и агент русского правительства; был убит Зандом.

*Кромвель, Оливер* (1599—1658)— один из виднейших вождей английской революции 1640—1660 гг., во время гражданской войны провел организацию и демократизацию той части армии, которая выступила на стороне парламента против короля, и остался в дальнейшем ее руководителем. В 1653 г., после разгона парламента и установления диктатуры джентри и крупного купечества, опирающегося на армию, Кромвель получил верховную власть в звании лорда-протектора.

*Куаньи, Мари-Франсуа-Анри де Франкетто*, маркиз, позже герцог (1737—1821) — обер-штаб-лейтенант Людовика XVI, принадлежавший к придворной клике Марии-Антуанетты. Был депутатом в Генеральных штатах, где выступал врагом реформ; эмигрировал, сражался с революционной Францией в армии Конде, вернулся во Францию в 1814 г. и в 1817г. был произведен в маршалы.

*Кук* — английский полковник.

*Куракин, Александр Борисович*, князь (1752—1818)— русский дипломат, друг Павла I; назначенный при его воцарении вице-канцлером, сохранил эту должность до конца 1802 г.; сторонник франко-русского союза, подписал в 1807 г. Тильзитский мир; в 1807—1808 гг. посол в Вене, где не достиг сближения России с Австрией; в 1808—1812 гг. посол при Наполеоне, фактически отстраненный от дел членом посольства А. И. Чернышевым, энергично ведшим тайную разведку и непосредственно сносившимся с Александром I.

*Курляндская*, герцогиня, Шарлотта-Доротея, урожд. Медем (1761— 1821)— вдова последнего герцога Курляндского, Петра Бирона, сына Иоганна-Эрнста Бирона, фаворита

императрицы Анны Иоанновны. Петр Бирон отрекся в царствование Екатерины II от курляндского престола, и Курляндия вошла в состав Российской империи. Он умер в 1806 г.

*Курляндская*, принцесса — дочь предыдущей — см. Дино.

*Кутюрье* (1688—1770) — французский аббат, друг кардинала Флери, начальник семинарии св. Сульпиция.

*Кэстльри*, Роберт Стюарт, маркиз Лондондерри, виконт (1769— 1822)— английский государственный деятель, сыгравший большую роль в борьбе Англии с Наполеоном; руководил наряду с Меттернихом Венским конгрессом, на котором заключил тайный союз с Австрией и Францией против России и Пруссии, обнаруженный и опубликованный Наполеоном после его возвращения с о-ва Эльбы. Перерезал себе горло в приступе меланхолии.

*Лабенский*, Ксаверий Ксаверьевич (ум. 1855) — чиновник министерства иностранных дел.

*Лабрадор*, Педро-Гомец Авело, маркиз (1775—1850) — испанский дипломат, посол в Париже и уполномоченный на Венском конгрессе.

*Лавалетт*, или Ла-Валетт, Антуан-Мари Шаман, граф (1769— 1830)—адъютант генерала Бонапарта; после переворота 18 брюмера посланник в Дрездене. При империи директор почты, отстранен при реставрации; в период “Ста дней” снова возвращен на прежний пост. При второй реставрации приговорен к казни, но бежал из тюрьмы и скрылся за границу. Оставил воспоминания (“Memoires de La Valette”).

*Лавалетт*, или Ла-Валетт, Жан Парисо (1494—1568)— великий магистр Мальтийского ордена, с успехом боролся с турками, осаждавшими о-в Мальту.

*Лаваль*, Катерина — жена виконта Матье Монморанси-Лаваль.

*Лаваль* — см. Монморанси-Лаваль.

*Лавуазье*, Антуан-Лоран (1743—1794)— французский химик, открывший кислород; был гильотинирован во время террора.

*Лагарп*, или Ла-Гарп, Жан-Франсуа (1739—1803)— французский поэт и критик. Из его литературного наследства сохранил значение “Курс литературы”, где есть блестящие страницы о Расине.

*Лагарп*, или Ла-Гарп, Фридрих-Цезарь (1754—1838) — швейцарский политический деятель. Начав свой жизненный путь с адвокатуры, был приглашен в 1783 г. Екатериной II в воспитатели ее внуков, вел. князей Александра и Константина, причем оказывал некоторое влияние на первого своей склонностью к сентиментальному и туманному либерализму.

В 1794 г. был отстранен от своей должности вследствие нежелания участвовать в деле лишения Павла I прав наследования престола. С 1795 г. начал принимать участие в политической жизни Швейцарии. После революции в Швейцарии, происшедшей в 1798 г., и установления Гельветической республики сделался членом управлявшей ею Директории, но, в результате неудачной попытки произвести государственный переворот

и соединить всю власть в своих руках в звании первого консула, должен был в 1800 г. покинуть Швейцарию и переехать во Францию. В 1801—1802 гг. побывал в России с целью сблизить Александра I с Наполеоном, что ему не удалось. Конец жизни провел на родине. Оставил одиннадцать томов мемуаров, автобиографического и публицистического характера, изданных в 1869 г. в Берне (“Memoires de Fr. La Harpe”).

*Лагранж*, Жозеф-Луи (1736—1813)— французский математик, по смерти Эйлера заменивший его на посту президента Берлинской академии.

*Лакав*, Луи-Клод (1768—1825)— французский актер, игравший самые разнообразные роли трагедийного и комедийного репертуара.

*Лакло*, Пьер-Амбруаз-Франсуа Шодерло (1741—1803)— французский писатель, автор эпистолярного романа “Опасные связи” и сатиры против графини Дюбарри: “Послание к Марго”. Секретарь герцога Орлеанского, которому он содействовал в его политических выступлениях; с 1791 г. член якобинского клуба; в 1793 г. арестован и освобожден лишь после 9 термидора; во время консульства начальник артиллерии рейнской армии.

*Лаллье*, Альфонс-Губер, герцог де Байанна — французский прелат, с 1802 г. кардинал; принимал довольно деятельное участие в переговорах папы с Наполеоном и был последним назначен сенатором.

*Ламбаль*, принц — сын герцога Пентьева (см.), муж известной подруги Марии-Антуанетты; был связан дружбой с герцогом Орлеанским, вел распутный образ жизни и умер от его последствий в 1767 г.

*Ламбаль*, Мария-Тереза-Луиза Савойско-Кариньянская, принцесса (1749—1792) — происходила из Кариньянского дома, жена предыдущего, рано овдовела; после смерти королевы Марии Лещинской проектировался брак с ней Людовика XV; обер-гофмейстерина Марии-Антуанетты, отстраненная затем другой фавориткой, Полиньяк. Убита в сентябрьские дни.

*Ламбер*, Шарль-Гильом (1727—1793)— советник парижского парламента, член финансового совета, член собрания нотаблей, генеральный контролер в 1787—1788 гг. и в 1789—1790 гг. Гильотинирован во время революции.

*Ламуаньон*, Крестьен-Франсуа, маркиз — советник парижского парламента в эпоху Людовика XVI, председатель его, хранитель печати.

*Ланн*, Жан, герцог де Монтебелло (1769—1809)— наполеоновский маршал, отличившийся в первом итальянском и в египетском походах Наполеона. В 1800 г. разбил австрийцев при Монтебелло и содействовал победам при Маренго, Аустерлице и Иене; вел знаменитую осаду Сарагоссы, смертельно ранен под Эслингом.

*Лаплас*, Пьер-Симон, маркиз (1749—1827)— французский математик и астроном.

*Лаудердаль*, Джемс-Майтленд, граф (1759—1839)— английский государственный деятель, был первоначально приверженцем французских революционных идей и боролся с враждебной Франции политикой Питта. В 1806 г. вступил вместе с Фоксом в кабинет “всех талантов” Гренвиля. Позже взгляды его изменились, он примкнул к тори и голосовал против билля 1832 г.

*Лафайет*, Мари-Жозеф, маркиз (1757—1834)— французский политический деятель, принимал участие в войне Северной Америки за независимость во главе отряда французских добровольцев. Участвовал в собрании нотаблей 1787 г., где был в оппозиции против Калонна. В Генеральных штатах примкнул к третьему сословию. Ему принадлежит первый проект “Декларации прав человека и гражданина”. После взятия Бастилии организовал национальную гвардию, и король назначил его ее начальником. Будучи сторонником либеральной монархии, перешел после низложения короля к австрийцам, которыми был посажен в тюрьму в Ольмюце, где просидел пять лет. После 18 брюмера вернулся во Францию, но при империи никакой роли не играл. Во время июльской революции командовал национальной гвардией и содействовал провозглашению королем Людовика-Филиппа.

*Лафон*, Пьер-Шери (1797—1873)— французский актер на амплуа любовников; к старости перешел на роли благородных отцов.

*Лафонтен*, Жан (1621—1695) — французский баснописец, создавший в литературе новый жанр на основе древней басенной формы.

*Ла-Форе*, или Лафоре, Антуан-Рене-Шарль-Матюрен, граф (1756— 1846)— французский дипломат и политический деятель, генеральный консул в Северо-Американских Соединенных Штатах, посланник в Берлине, посол в Испании, при Людовике XVIII временно исполнял должность министра иностранных дел и был членом палаты депутатов.

*Лебрэн*, Понс-Дени Энушар (1729—1807)— известный лирический поэт, прозванный Лебрэн-Пиндар. Писал оды, сатиры и эпиграммы. Начиная с 1787 г. и до смерти восхвалял в поэзии поочередно все режимы, сменявшиеся во Франции.

*Лебрэн*, Шарль (1739—1824)— представитель третьего сословия в Генеральных штатах; депутат в Совете старейших в 1796 г.; после 18 брюмера третий консул; получил титул герцога Пьячентского; в 1810 г. наместник императора в Голландии.

*Лев III* (750—816)— римский папа с 795 г., искавший опоры у франков и их короля Карла Великого; изгнанный из Рима, он вернулся туда при помощи Карла Великого, за что венчал последнего римским императором.

*Лекуанье де Болабр*— советник парижского парламента в эпоху Людовика XVI.

*Ленсдаун* — см. Петти Фицморис.

*Леопольд*, принц Саксен-Кобургский (1790—1865)— король Бельгии с 1831 г., в молодости служил в чине генерала в русских войсках.

*Лепелетье де Сен-Фаржо* — см. Сен-Фаржо.

*Лессар*, Антуан-Никола де Вальдек (1741—1792)— генеральный контролер в 1790г., министр внутренних и затем иностранных дел в 1791г., управлял морским и затем военным министерством в 1791—1792 гг. Вызвал против себя недовольство как противник войны, был арестован и убит.

*Лессинг*, Эфраим (1729—1781)— немецкий писатель.

*Лефевр*, герцог Данцигский (1755—1820) — наполеоновский маршал. Сын мельника; рано поступил в армию, но лишь к началу революции, после пятнадцати лет службы, достиг чина сержанта. В революционных войсках быстро продвинулся. Принимал участие в перевороте 18 брюмера. В 1804 г. получил звание маршала. Во время войны Франции в 1806—1807 гг. с Россией и Пруссией командовал дивизией и руководил штурмом Данцига. В походе 1812 г. командовал императорской гвардией. После реставрации назначен пэром. Еще будучи сержантом, женился на прачке, стиравшей белье его полку и сохранившей навсегда неприязнительность и грубоватость.

*Лиль* — французский офицер, автор давно забытого сборника лирических стихотворений.

*Лильский граф* — титул Людовика XVIII в эмиграции.

*Лимон*, Жофруа, маркиз (ум. 1799)—управляющий финансами герцога Орлеанского. В начале революции высказывал сочувствие ей, но затем эмигрировал и перекинулся в лагерь роялистов.

*Линч*, Жан-Батист, граф (1749-1835)—французский политический деятель ирландского происхождения; в 1808—1814 гг. мэр Бордо; приветствовал восстановление Бурбонов; после возвращения Наполеона с о-ва Эльбы пытался организовать ему сопротивление, но должен был эмигрировать в Англию. После второй реставрации назначен пэром.

*Лихтенштейн*, Иоганн-Иозеф, князь (1760—1836)— австрийский фельдмаршал, отличился в войнах с Французской республикой и империей, подписал Пресбургский мир, после Ваграма был назначен главнокомандующим, высказался против продолжения войны и подписал Венский мир.

*Лоаен*, граф Бирон, герцог (1748—1793)— участвовал в войне за освобождение Америки, представитель дворянства в Генеральных штатах, где примкнул к партии герцога Орлеанского; главнокомандующий рейнской армией в 1792 г. и затем революционной армией в Вандее; был обвинен в измене и гильотинирован в 1793 г. Оставил очень интересные воспоминания: “Memoires du due de Lauzun”, publics par Lacour, 1858.

*Лорге*, герцог де Бранка (1733—1824) —автор нескольких трагедий, с 1816 г. пэр, был известен своим острословием.

*Лористон*, Жак-Александр-Бернар Лоу, маркиз (1768—1828)— внучатный племянник Джона Лоу, французский генерал, адъютант первого консула. В 1811 г. посол в Петербурге. После низложения Наполеона примкнул к Бурбонам, был назначен пэром, затем получил титул маркиза и звание маршала.

*Лувау*, Франсуа-Мишель Ле-Теллье, маркиз (1641—1691) — французский государственный деятель. Военный министр Людовика XIV с 1668 г., реформировал армию, создал офицерский корпус, изменил снаряжение и вербовку войск.

*Луи*, Жозеф-Доминик, барон (1755—1837)— французский государственный деятель, министр финансов в 1814 г., еще до реставрации; сохранил этот пост и при Людовике XVI II и затем занимал его неоднократно; отстаивал невозвращение бывших церковных имуществ духовенству, принимал участие как в низложении Наполеона, так позже и Карла X.

*Луиза*, королева прусская (1776—1810)— урожд. принцесса Мекленбург-Стрелицкая, в

1793 г. вышла замуж за кронпринца прусского, с 1797 г. короля Фридриха-Вильгельма III; известна попытками вызвать сопротивление Наполеону. В 1807 г. ездила в Тильзит в тщетной надежде добиться личным обаянием лучших условий от Наполеона.

*Луккеаини*, Джироламо, маркиз (1752—1825)— итальянец по происхождению, прусский дипломат, был посланником в Вене, содействовал англо-прусскому союзу; в 1802 г. назначен посланником в Париж к Наполеону. Среди его работ лучше других известна: “Sulle cause e gli effeti” della cont'ederazione rhenana”, вышедшая в 1829 г. анонимно во Флоренции.

*Людвик I Благочестивый* (778—840)— король франков и с 814 г. император римский, сын Карла Великого, которому наследовал. При распределении своих владений между сыновьями вступил в борьбу с папой Григорием IV и был вынужден принести церковное покаяние.

*Людвик XII* (1462—1515)— король Франции, до того герцог Орлеанский, престол занял в 1498 г. в качестве зятя короля Людовика XI, на дочери которого, Жанне, он был женат.

*Людвик XIII* (1601—1643)— король Франции с 1610 г., сын Генриха IV и Марии Медичи; царствование его отмечено энергичной политикой Ришелье, создавшего королевской власти опору в рядовом дворянстве в ущерб высшей аристократии.

*Людвик XIV* (1638—1715)— король Франции с 1643 г., сын Людовика XIII и Анны Австрийской. Его царствование было апогеем системы абсолютизма. Внешний блеск и войны из-за территориального расширения привели к экономическому разорению и росту оппозиции, проявившемуся в следующее царствование.

*Людвик XV* (1710—1774)— король Франции с 1715 г., правнук Людовика XIV, вступил на престол пяти лет под опекой регента (см. примечание 1 к главе I). С 1726 г. стал номинально править сам, но руководил им сначала кардинал Флери, представлявший интересы духовенства, а затем Шуазель, при котором началась борьба с парламентами за финансовые мероприятия. Был женат на Марии Лещинской.

*Людвик XVI* (1715—1793)— король Франции с 1774 г., после смерти своего деда, Людовика XV. В его царствование была сделана попытка осуществить ряд преобразований, но оппозиция дворянства и духовенства заставила его отступить и привела к революции и казни короля.

*Людвик XVIII* (1755—1824)— король Франции с 1814 г., брат Людовика XVI. После вторичного низложения Наполеона стал орудием ультрароялистов.

*Люйнь*, Елизавета, герцогиня — жена генерал-майора, депутата в Генеральных штатах и сенатора при империи.

*Люйнь*, Мария (ум. 1763), герцогиня — придворная дама королевы Марии Лещинской.

*Люксембургская* герцогиня, урожд. Мадлен-Анжелика де Нефвиль-Виллерау (1707—1787)— жена маршала.

*Люксембургский*, граф Монморанси-Люксембург, известный под именем кавалера Люксембургского (1742—1790)— соратник Калиостро и великий магистр основанной последним масонской ложи.

*Люсьен* — см. Бонапарт Люсьен.

*Лютер*, Мартин (1483—1546)— немецкий богослов, глава германской реформации, порвавший в 1517 году с католической церковью.

*Мак*, Карл, барон фон Лейберих (1752—1828) — австрийский генерал, участвовавший в войнах с Французской республикой и империей. В 1805 г. сдал французам сильно укрепленную крепость Ульм, за что был судим и приговорен к казни, но затем помилован.

*Макдональд*, Александр, герцог Тарентский (1765—1840) — французский маршал, происходил из шотландской семьи. В 1785 г., во время революции в Голландии, служил там в легионе, действовавшем против Пруссии. С начала французской революции примкнул к революционному движению. Служил генерал-адъютантом при Дюмурье, затем командовал дивизией на Рейне и в Италии. За участие в сражении под Ваграмом Наполеон произвел его в маршалы и наградил титулом герцога Тарентского. В кампанию 1812 г. командовал корпусом. Вел переговоры с союзниками об отречении Наполеона. При реставрации был назначен пэром.

*Макиавелли*, Никколо (1469—1527) — итальянский политический писатель; основной труд его — “Князь”, сделал имя Макиавелли нарицательным. Макиавеллизмом стали называть коварную политику, которая преследует успех, не разбирая средств. Основная теоретическая мысль Макиавелли заключалась в том, что политика должна быть независима от морали и религии. Его основное практическое стремление — освобождение Италии от “варваров”, ее объединение и утверждение в ней порядка, обеспечивающего хозяйственную деятельность торгово-промышленной буржуазии.

*Малерб*, Кретьен-Гильом де Ламуаньон (1721—1794)— кузен Ламуаньона, деятель парижского парламента, советник его и председатель одной из палат; выступал против парламента Мопу, высказывался против созыва Генеральных штатов, защищал короля перед Конвентом и был гильотинирован.

*Малуе*, Пьер-Виктор, барон (1740—1814) — французский политический деятель. Был депутатом Учредительного собрания, где выступал как роялист, в 1792 г. эмигрировал, во время реставрации занимал во временном правительстве пост морского министра. Оставил два тома мемуаров, опубликованных в 1868 г. faialouet, “Memoires”).

*Мальмсбюри*, Джеймс-Гаррис, первый граф Мальмсбюри (1746— 1820) — английский дипломат, занимавший разные посты в английских посольствах в Мадриде, Берлине, Петербурге (1777—1782) и в Гааге, где содействовал подавлению республиканской партии, склонной к сближению с Францией. В 1793 г. ездил в Берлин с неудавшимся ему поручением удержать Пруссию в коалиции против Франции, а в 1796 и 1797 гг. ездил во Францию для бесплодных переговоров с Директорией. Оставил дневники в письма (“James Harris, Earl of Malinesbury, “Diaries”, ed. 1844; “Letters”, ed. 1870).

*Манией*, Шарль, барон (1745—1824) — французский прелат, во время революции эмигрировал, вернулся после конкордата, которому он всячески содействовал, и был назначен епископом трирским.

*Марбуа* — см. Барбе.

*Маре*, Гюг-Бернар, герцог Бассано (1763—1839) — французский государственный

деятель, до революции адвокат, во время революции редактор “Moniteur”, затем посланник в Неаполе, где был захвачен австрийцами и лишь спустя два с половиной года обменян на дочь Людовика XVI. При Наполеоне был его секретарем, в 1811 г. назначен министром иностранных дел. На ход событий никакого влияния не имел и был простым исполнителем.

*Мария Лещинская* (1703—1768) — дочь польского короля Станислава Лещинского, занимавшего польский престол с 1704 по 1709 г., когда вследствие поражения, нанесенного под Полтавой Петром Великим его союзнику, шведскому королю Карлу XII, он лишился польского престола и нашел убежище во Франции, где дочь его Мария вышла в 1725 г. за Людовика XV,

*Мария-Луиза*, французская императрица (1791—1847) — дочь австрийского императора Франца. Наполеон вступил с ней в брак в 1810 г. Во Франции была непопулярна; исполняя во время отъездов императора обязанности регентши, проявила полное отсутствие политических способностей. После низложения Наполеона получила в пожизненное владение герцогство Пармское, откуда была изгнана во время восстания в 1831 г. После смерти Наполеона вышла тайно замуж за австрийского генерала Нейперга, а затем за французского эмигранта гр. Бомбелла, церемониймейстера при венском дворе. Разлученная в 1816 г. со своим сыном, римским королем, она его больше никогда не видала.

*Мария-Луиза-Жозефина*, королева Этрурии (1782—1824) — дочь испанского короля Карла IV, жена инфанта Людовика Бурбона, короля Этрурии, регентша после его смерти. Утратила по распоряжению Наполеона свои владения, отданные после его низложения его вдове Марии-Луизе Австрийской. В виде компенсации получила Лукку. Оставила мемуары, переведенные на французский язык под заглавием: “Memoires de la reine d'Etrurie ecrits par elle-шеше”.

*Мармон*, бгюгт-Фредерик-Луи, герцог Рагузский (1774—1852) — наполеоновский маршал, сопровождал Бонапарта в Египет и Сирию, принимал деятельное участие в перевороте 18 брюмера и затем участвовал почти во всех наполеоновских войнах. С 1807 по 1811 г. управлял сперва Рагузской республикой, а после ее присоединения к Иллирийскому королевству — последним. В Португалии был в 1811 г. разбит Веллингтоном. В 1814 г. подписал с Мортье капитуляцию Парижа, вследствие чего утратил популярность. Быстро примкнул к Бурбонам и при возвращении Наполеона с о-ва Эльбы сопровождал Людовика XVIII в Гент. В 1830 г., в начале революционного кризиса, был назначен главнокомандующим войсками парижского гарнизона, что ввиду его непопулярности ускорило революцию, после чего он бежал с Карлом X за границу. Оставил мемуары, опубликованные в 1856 г.

*Марсан*, Мария-Луиза (род. 1720) — гувернантка королевских детей.

*Массена*, Андре, герцог Риволийский, князь Эсслингский (1756— 1817)—наполеоновский маршал, отличился в итальянском походе 1796— 1797 гг., при Риволи. В 1799 г. разбил Римского-Корсакова при Цюрихе. В войне 1809 г. известен победой под Эссливтом в Богемии и под Ваграмом. Во время войны на Пиренейском полуострове терпел поражения от Веллингтона и был Наполеоном отставлен. В 1813 г. примкнул к Бурбонам и после Ватерлоо был назначен губернатором Парижа. Оставил воспоминания, опубликованные в 1849 г. (Massena, “Memoires”).

*Машио*, Жан-Батист, герцог д'Арнувиль (1701—1794) — известен главным образом как



генеральный контролер с 1745 по 1754 г. (должность, соответствовавшая министру финансов, торговли, мануфактур и внутренних дел). Пытался установить равенство всех сословий перед фиском, что вызвало недовольство дворянства, и стремился противодействовать росту земельных владений церкви, что вызвало вражду к нему высшей церковной иерархии. Был вынужден оставить генеральный контроль и занять пост морского министра, но и оттуда был в 1757 г. устранен при содействии Помпадур и попал в полную опалу. Во время революционного террора был арестован и умер в тюрьме.

*Мелци д'Эрил*, Франческо (1753—1816) — итальянский государственный деятель. Благодаря покровительству Наполеона стал вице-президентом Итальянской республики, а после провозглашения Итальянского королевства получил почетное звание великого канцлера и герцога Лоди.

*Меневаль*, Клод-Франсуа, барон (1778—1850) — секретарь Иосифа Бонапарта, а затем Наполеона, оставил ряд исторических сочинений, относящихся к эпохе Наполеона.

*Меран*, Жан-Жак Дорту (1678—1771) — французский физик и математик, давший, между прочим, первое научное объяснение северного сияния.

*Мерлен*, Филипп-Антуан, граф (1754—1838) — депутат в Генеральных штатах, член Конвента, где содействовал падению Робеспьера; как член Комитета общественного спасения добился закрытия клуба якобинцев. Был членом Совета пятисот и затем Совета старейших. Во время переворота 18 фруктидора V года был назначен членом Директории. При реставрации был изгнан из Франции и вернулся лишь после июльской революции.

*Меттерних*, Клемент-Венцель, князь, герцог Порталла (1773— 1859)— австрийский дипломат и министр иностранных дел бессменно с 1809 до 1848 г., председатель Венского конгресса, душа реакционной политики после низложения Наполеона, вдохновитель Священного союза, поддерживавший систему абсолютизма, враг национального объединения Германии и Италии; был свергнут во время революции 1848 г. Оставил мемуары.

*Миоллис*, Франсуа (1759—1828) — французский генерал, отличившийся во время первого итальянского похода Бонапарта.

*Мира*, князь — см. Годой.

*Мирабо*, Оноре-Габриель-Виктор Рикетти, граф (1749—1791) — один из вождей третьего сословия при подготовке французской революции, выходец из аристократии, выдающийся оратор. В молодости вел беспорядочную жизнь и был по требованию отца заключен в крепость, откуда бежал за границу с женой маркиза Моннье, известной под именем Софи. Голландия выдала его Франции, и он просидел два года в тюрьме. Ему удалось получить секретное дипломатическое поручение в Берлин, откуда он вел зашифрованную переписку с Талейраном, опубликованную под названием “Histoire secrete de la cour de Berlin”. По возвращении во Францию примкнул к третьему сословию, был избран от него в Генеральные штаты и выступал в Национальном собрании в интересах конституционной монархии. Рост революционного движения побудил его к тайному сближению с двором. Нужда в деньгах толкнула его в июле 1790 г. на свидание с Марией-Антуанеттой. С этого момента он начал получать субсидии от короля. Но Национальное собрание считало его до самой смерти сторонником революции. Лишь Конвент обнаружил его связь с двором и удалил его прах из Пантеона, где он был похоронен.

*Миромениль*, Арман-Тома Ги (1723—1796) — хранитель печати с 1774 по 1787 г.; боролся с политикой Тюрго и Неккера.

*Митридат* (132—63 до н. э.) — царь Понта и Босфора.

*Моллендорф*, Вихард-Иоахим-Гейнрих, граф (1724—1816) — прусский генерал-фельдмаршал, участвовал в Семилетней войне и в войнах против революции и Наполеона; в войне 1806—1807 гг. был взят в плен.

*Моллиен*, граф (1758—1850) — управляющий казначейством с 1806 г. до конца империи.

*Монвиль*, Тома Буассель, барон (1763—1832) — советник парижского парламента, активный член оппозиции двору, приветствовал революцию.

*Мотж*, Гаспар, граф Пелусийский (1746—1818) — французский математик, приветствовал революцию, после падения монархии был в 1792—1793 гг. морским министром, организовал известную Политехническую школу, участвовал в экспедиции Бонапарта в Египет, где произвел раскопки древнего города Пелусий.

*Монк*, Джордж, впоследствии герцог Олбемэрльский (1608—1669) — один из главных деятелей, непосредственно участвовавших в восстановлении на английском престоле в 1660 г. династии Стюартов, изгнанных английской революцией. Его имя сделалось как бы нарицательным; французские эмигранты в конце Великой французской революции хотели видеть в каждом отличившемся французском революционном генерале будущего “Монка”, которого стоит только подкупить или обольстить обещаниями, и он, опираясь на армию, вернет Бурбонов во Францию подобно тому, как Монк вернул Стюартов в Англию. Сначала думали, что роль Монка сыграет Дюмурье, потом Пишегрю, в самом деле изменившие революции, затем Монка видели в Гоше, Жубере, Бонапарте. Все эти надежды были обмануты.

*Монморанси-Лаваль*, Матье-Поль-Луи, виконт (1748—1809) — французский полковник и генерал-майор.

*Монморанси-Лаваль*, Матье-Фелисите, герцог (1767—1826) — французский политический деятель, депутат дворянства в Генеральных штатах, примкнувший к третьему сословию; после реставрации занимал позицию ультрароялиста, был пэром и в 1821—1822 гг. министром иностранных дел и председателем совета министров.

*Монморанси*, Валентина (1787—1858) — статс-дама при дворе Наполеона.

*Монтазе*, Антуан де Мальвен (1712—1788) — сначала епископ отенский, затем архиепископ лионский, член Французской академии. Оставил богословские работы, покровительствовал янсенистам.

*Монтескье*, Шарль (1689—1755) — французский писатель, философ и публицист.

*Монтескью-Фезенсак*, Пьер, граф (1764—1834) — французский государственный деятель, в 1804 г. член Законодательного корпуса, затем сенатор, после реставрации член палаты пэров.

*Монтескью-Февенсак*, Франсуа-Ксавье-Марк-Антуан (1757—1832) — аббат, депутат в Генеральных штатах; действовал после 9 термидора в качестве агента Людовика XVIII во

Франции. В 1814 г. был членом временного правительства и после реставрации — министром внутренних дел.

*Монтморен*, Арман-Марк Сент-Герем, граф (1745—1792) — политический деятель. Участвовал в собрании нотаблей 1787 г., затем был назначен министром иностранных дел, оставался в этой должности до осени 1791 г., в сентябрьские дни 1792 г. был убит одним из первых. Как сторонник конституционной монархии вызывал к себе вражду одновременно роялистов и якобинцев.

*Монтолон* — см. Семонвиль.

*Мопу*, Рене-Никола-Шарль-Огюстен (1714—1792) — первый председатель парижского парламента, канцлер и хранитель печати при Людовике XV; угождая ему, вступил в борьбу с парламентами, изгнал из них всю оппозицию королевской власти и из остатков создал парламента, получивший название “парламента Мопу”, но в конце концов был сам смещен.

*Моранд*, псевдоним Шарля Тевено, французского памфлетиста (1741— 1805) — известен скандальными пасквилями на нравы двора. За обещание не опубликовывать памфлета на фаворитку Людовика XV Дюбарри, названного им “Тайные мемуары публичной женщины”, получил от двора крупную сумму денег и пожизненную пенсию, причем переговоры с ним вел Бомарше. Его пасквиль “Журналист в латах, или Скандальные анекдоты о французском дворе” доставил ему в свое время довольно шумную известность.

*Морена*, Жан-Фредерик Фелипо, граф (1701—1781) — министр при Людовиках XV и XVI; содействовал назначению министрами Тюргои Неккера, но испугался их реформ и принял участие в их удалении.

*Мори*, Жан (1746—1817) — французский кардинал, эмигрировал и носил звание посла Людовика XVIII при папском престоле. В 1806 г. примкнул к Наполеону и вскоре затем получил архиепископство парижское, что вызвало его опалу у папы и позже у Людовика XVIII. После низложения Наполеона должен был оставить архиепископство и уехать в Италию.

*Марков*, Аркадий Иванович, граф (1747—1827) — русский дипломат. После занятия нескольких дипломатических постов за границей был в 1786 г. назначен членом коллегии иностранных дел и стал вскоре правою рукою президента коллегии Безбородки, а затем П. А. Зубова. При Павле I попал в опалу. В 1801 г. назначен русским послом в Париж, но вследствие неумения наладить отношения с Бонапартом был в 1803 г., по требованию последнего, отозван. Позже был назначен в Государственный совет. Графское звание получил от австрийского императора.

*Моро*, Жан-Виктор (1763—1813) — один из наиболее выдающихся генералов эпохи французской революции. Командовал рейнско-мозельской армией. 18 фруктидора V года был Директорией устранин на некоторое время от командования за позднее сообщение об интригах генерала Пишегрю, вошедшего в сношения с роялистами за границей. Вскоре опять получил назначение во французскую армию в северной Италии против Суворова, которым был разбит при Кассано. По возвращении в Париж был назначен Наполеоном, которому он содействовал в перевороте 18 брюмера, главнокомандующим рейнской армией. В 1804 Наполеон, увидевший в нем соперника, обвинил его в участии в роялистском заговоре Пишегрю, бежавшего из ссылки в Кайенне, и изгнал его из

Франции. Прожив несколько лет в Северной Америке, в 1813 г. вернулся по приглашению Александра I в Европу, состоял в роли советника при главной квартире союзников и был под Дрезденом смертельно ранен. Похоронен в Петербурге.

*Мортемар*, Элеонора (род. 1777) — статс-дама при дворе Наполеона.

*Мортье*, Эдуард-Адольф-Казимир, герцог Тревизский (1768—1835)— наполеоновский маршал, после Тильзитского мира получил титул герцога; во время похода 1814 г. командовал молодой гвардией; был назначен губернатором Москвы; в 1814 г. участвовал в обороне Парижа; после первой реставрации был назначен пэром, но во время “Ста дней” перешел на сторону Наполеона, за что после второй реставрации был лишен звания пэра; оно было ему возвращено в 1819 г. В 1832 г. был некоторое время послом в Петербурге, в 1834 г.— военным министром; в 1835 г. убит при покушении Фиески на жизнь Людовика-Филиппа.

*Мюллер*, Иоганн (1752—1809) — историк, с 1807 г. историограф на прусской службе, в 1807 г. статс-секретарь и с 1808 г. генеральный директор ведомства народного образования в созданном Наполеоном королевстве Вестфальском. Написал историю Швейцарии и всеобщую историю в 24 томах.

*Мюллер*, Фридрих (1779—1849) — веймарский канцлер, принимавший участие в литературной жизни Веймара.

*Мюрат*, Иоахим (1771—1815) — вступил на военную службу при революции, при Наполеоне быстро выдвинулся; после женитьбы на сестре Наполеона, Каролине, был произведен в маршалы и получил герцогство Бергское, а в 1808 г.— королевство Неаполитанское. В 1814 г. изменил Наполеону, но в 1815 г., во время “Ста дней”, занял позицию, враждебную Австрии, лишился престола и при попытке вернуть его вооруженной силой был взят в плен и расстрелян.

*Намути*, Этьен-Мари-Антуан Шампьон, граф (1768—1815) — французский генерал, шталмейстер Наполеона с 1808 г.; после низложения императора примкнул к Бурбонам.

*Наполеон I* (1769—1821).

*Нарбон-Лара*, Луи, граф (1755—1813) — происходил из старинного испанского рода, родился в герцогстве Пармском, в детстве переехал во Францию; служил в министерстве иностранных дел, в 1791—1792 гг. был три месяца военным министром. После событий 10 августа 1792 г., когда был дан приказ об его аресте, бежал за границу. Во время империи был адъютантом Наполеона, посланником в Мюнхене и послом в Вене.

*Нассауский* принц (Нассау-Зиген), Карл-Генрих-Отто (1745—1808)— известный авантюрист, тринадцати лет поступил на французскую военную службу; сопровождал Бугенвиля в его кругосветном путешествии; во время англо-испанской войны перешел на испанскую службу и командовал плавучими батареями около Гибралтара. После заключения мира в 1783 г. поступил на русскую службу и был произведен Екатериной II в вице-адмиралы. В 1788 г. командовал в Очаковском лимане галерным флотом и неоднократно разбивал турецкий флот. Вследствие разногласий с Потемкиным уехал во Францию и в Испанию с тайными дипломатическими поручениями от Екатерины II, но во время войны России со Швецией в 1789 г. вернулся в Россию. Большое поражение руководимой им флотилии побудило его уйти с русской службы. При возвышении Наполеона он вернулся во Францию и безуспешно искал с ним сближения. В 1893 г. была

напечатана в Париже его очень интересная переписка: “Le prince Charles de Nas-sau-Siegen d'apres sa correspondance originale inedite de 1784 a 1789”.

*Невшательский* князь — см. Бертье.

*Неккер*, Жак (1732—1804) — швейцарец, из немецких выходцев, богатый женеvский банкир, с 1776 г. директор казначейства, с 1777 г. генеральный директор всего финансового ведомства французского королевства. Он предпринял было ряд реформ с целью поправить отчаянное положение французских государственных финансов, но, с одной стороны, огромные расходы, вызванные войною против Англии (1778—1781), с другой — сопротивление двора и привилегированных сословий сломили его. Когда он опубликовал в 1781 г. “Отчет” о государственных доходах и расходах, то волнение в обществе, вызванное этим отчетом, дало повод двору обвинить Неккера в сознательном подрывании основ государственного строя, и ему была дана отставка. В середине 1788 г. он снова был призван к делам и способствовал тому, что третьему сословию было дано право избрать в Генеральные штаты не триста человек, как каждому из двух других сословий (дворянство и духовенство), а шестьсот человек. Весною 1789 г., во время конфликта в Генеральных штатах по вопросу о поголовном или посословном голосовании, Неккер стал на сторону буржуазии против обоих привилегированных сословий. Интригами двора он внезапно был отставлен и выслан из Франции. Когда весть об этом распространилась (12 июля 1789 г.), в Париже вспыхнуло восстание, приведшее 14 июля к взятию Бастилии. Людовик XVI был принужден призвать Неккера обратно. Но революция вскоре его переросла. Уже в 1790 г. он вынужден был окончательно уйти от дел и удалиться в Швейцарию.

*Нессельроде*, Карл Васильевич, граф (1780—1862) — русский государственный деятель. В 1816 г. был назначен управляющим министерством иностранных дел, но до 1822 г. делил руководство делами с Каподистрио. В 1844 г. был назначен канцлером и в 1856 г. уволен от управления министерством иностранных дел. В течение своего сорокалетнего руководства внешней политикой всегда придерживался мысли о необходимости союза с Австрией; был одним из сторонников реакционной политики Священного союза; в 1849 г. провел политику вмешательства в австро-венгерские отношения и способствовал походу царских войск в Венгрию. Благодаря своей восточной политике в значительной степени ответствен за Крымскую войну.

*Ниверне*, Луи-Жюль Манцини-Мазарини, герцог — (1716—1798) — был на французской военной службе, затем перешел на дипломатическую службу.

*Николаи* — в то время существовало два прелата из семьи Николаи, именно — епископ кагорский и епископ безьерский.

*Ноайл*, вероятно, Луи-Жозеф-Алексис, граф (1783—1835) — французский роялист, интриговавший при иностранных дворах, в том числе в Петербурге и в Вене, против Наполеона; адъютант гр. д'Артуа.

*Ноайль*, Луи-Мари, виконт (род. 1756) — депутат дворянства в Генеральных штатах, где он выступал сторонником реформ, примкнул к третьему сословию и 4 августа 1789 г. был среди знати, предложившей, в виде уступки надвигающейся революции, отмену ряда феодальных прав. При терроре он эмигрировал. Его жена была гильотинирована вместе со своей матерью и бабушкой.

*Ноайль*, Франсуаза, графиня (1785—1863) — племянница автора, урожд. Талейран-

Перигор, в 1803 г. вышла замуж за гр. Жюста Ноайль, впоследствии герцога Пуа.

*Омсаровский*, Адам Петрович, граф (1776—1855) — генерал-адъютант Александра I; в кампании 1812 г. командовал корпусом.

*Омсера*, Пьер-Франсуа-Шарль, герцог Кастильоне (1757—1816) — французский маршал, вступил в 1793 г. в армию, отличился в Вандее, в итальянскую кампанию Наполеона, когда взял Кастильоне, и во всех походах периода империи. Участвовал в событиях 18 фруктидора V года. Одним из первых примкнул к Людовику XVIII, назначившему его пэром.

*Оке*, Пьер (1752—1821) — швейцарский политический деятель, сторонник идей французской революции; при поддержке правительства Директории он способствовал революции в Швейцарии и был автором конституции Гельветической республики 1798 г., усилившей централистские тенденции в ущерб прежнему федерализму; она оказалась недолговечной, и Оке посвятил конец своей жизни преимущественно литературной работе.

*Орвилье*, Луи-Гий, граф (1708—1791) — французский адмирал, командовал эскадрой, затем генерал-лейтенант.

*Орлеанская герцогиня* — см. Пентьевр.

*Орлеанский герцог*, Луи-Филипп-Жозеф, прозванный Филипп-Эгалите (1747—1793) — до смерти своего отца носил титул герцога Шартрского; принадлежал к партии, враждебной Марии-Антуанетте, фрондировал против двора; в собрании нотаблей 1787 г. защищал права третьего сословия, сыграл некоторую роль в возбуждении буржуазии против королевской власти своим протестом против королевского распоряжения в заседании парламента в 1787 г. Был членом якобинского клуба. В Конвенте, сидел на левых скамьях и голосовал за казнь короля, но тем не менее вызвал подозрения, может быть, по своим связям с Дантоном, и был 6 ноября 1793 г. гильотинирован.

*Орлеанский герцог*, Луи-Филипп (1773—1850) — французский король с 1830 по 1848 г., старший сын Филиппа-Эгалите.

*Осмонд*, Антуан, барон (1754—1823) — французский прелат, генеральный викарий архиепископства тулузского; с 1802 г. епископ нансийский; в 1810 г. назначен Наполеоном архиепископом флорентийским, но папа отказался признать это назначение, и в 1814 г. ему пришлось возвратиться на епископство в Нанси.

*Отерив*, Александр-Морис Блан, граф (1754—1830) — французский дипломат, несколько раз временно управлявший министерством иностранных дел.

*Отто*, Луи-Гильом, граф Мослой (1754—1817) — французский дипломат, немец по происхождению. Основные его посты: посланник в Лондоне в 1801—1803 гг., посол в Вене в 1809—1813 гг.; участвовал в переговорах о браке Наполеона с Марией-Луизой.

*Павел I* (1754—1801) — русский император с 1796 г., сын Петра III и Екатерины II.

*Панка*, Бартоломео (1756—1844) — итальянский кардинал и государственный деятель, папский нунций при Людовике XVI; участвуя в переговорах папы с Наполеоном, энергично поддерживал интересы папского престола. Когда папа Пий VII был захвачен

Наполеоном и отправлен в плен в Фонтенебло, Пакка сопровождал его во Францию, был арестован и заточен в крепость как автор буллы об отлучении Наполеона от церкви. После подписания конкордата был возвращен в Рим. Оставил мемуары, опубликованные в 1830 г. (Пасса, “*Memorie istoriche del ministerio di due viaggi in Francia e della cattivita nel castro di San Carlo*”).

*Панио* — женеvский банкир, поселившийся в Париже. Напечатал работу о государственных финансах Франции и Англии (Pане-bауд, “*Reflexions sur l'etat actuel du credit de l'Angleterre et de la France*”), вышедшую в Париже в 1781 г.

*Натра* — французская актриса, вероятно, дочь актера и драматурга Жозефа Патра, выступавшего в ролях благородных отцов.

*Пенн*, Вильям (1644—1718) — основатель штата Пенсильвания в Америке, сын английского адмирала; примкнул к квакерам, организовал их переселение из Англии в Северную Америку, где получил территориальную концессию, названную по его имени Пенсильванией (*silva* по-латински—лес), и построил город Филадельфию.

*Пентьеvр*, Луи-Жан-Мари Бурбон, герцог (1725—1793) — французский адмирал, правнук Людовика XIV, отец принца Ламбаля и герцогини Орлеанской.

*Пентьеvр*, Луиза-Мари-Аделаида Бурбен, герцогиня (1753—1821)— жена герцога Орлеанского (Филиппа-Эгалите), дочь герцога Пентьеvра.

*Периеор*, Маргарита Талейран, графиня (род. 1727) — автор воспоминаний приходился ей внучатым племянником.

*Перигор*, Эдмонд — см. Талейран-Перигор.

*Периньон*, Доминик, граф, впоследствии маркиз (ум. 1818) — депутат Законодательного собрания, член Совета пятисот; командовал корпусом в 1796 г. в сражении при Нови; с 1804 г. маршал и затем главнокомандующий армией Неаполитанского королевства.

*Петионде Вильнев*, Жером (1756—1794) — адвокат, депутат третьего сословия в Генеральных штатах; избран мэром Парижа в ноябре 1791 г., удален с этой должности Людовиком XVI за то, что не сумел предупредить восстания 20 июня 1792 г.; вскоре король вынужден был допустить его восстановление в должности мэра Под давлением парижских секций. Обвиненный Робеспьером в соучастии в измене Дюмурье, он более года скрывался и был найден в поле полусъеденным волками.

*Петр I* (1672—1725) — российский император.

*Петр III* (1728—1762) — российский император в 1761—1762 гг., свергнутый гвардией и убитый в замке Ропша; внук Петра I, сын царевны Анны и герцога Голштейн-Готторского.

*Петти Фицморис*, Вильям, первый маркиз Ленсдаун (1737—1805) — английский государственный деятель, более известный под своим прежним титулом графа Шельбурна. Несколько раз входил в состав кабинета. В 1766—1768 гг. был статс-секретарем по делам колоний и пытался вести примирительную политику в отношении Америки, но не встретил одобрения остальных членов правительства и вышел в отставку.

*Петти Фицморис*, Генри, третий маркиз Ленсдаун (1780—1863)— сын Вильяма Петти от второго брака; английский государственный деятель, занимавший разные посты в английском кабинете, в том числе статс-секретаря по внутренним делам при Каннинге.

*Пьетро*, Микель (1747—1821) — итальянский кардинал, сосланный Наполеоном за отказ присутствовать при его бракосочетании с Марией-Луизой.

*Пий VI* (Джиованни-Анжело Браски) (1717—1799) — римский папа с 1775 г. Занял открыто враждебную позицию относительно французской революции и в 1791 г. отверг новое гражданское устройство церкви. Отлучил от церкви автора настоящих мемуаров за его антицерковную политику в Учредительном собрании. Во время Директории его территория была занята французскими войсками; он умер в Балансе в плену.

*Пий VII* (Барнаба-Луиджи-Грегорио Киарамонти) (1740—1823) — римский папа с 1800 г.; заключил с Наполеоном конкордат в 1801 г., восстановивший во Франции католический культ. В 1804 г. прибыл в Париж, где короновал Наполеона императорскою короною. Притеснения и территориальные ограбления Папской области Наполеоном привели к ссоре папы с императором. Рим был занят французами в 1808 году, а папа под конвоем перевезен во Францию. Он пробыл в плену почти до самого конца империи Наполеона.

*Пипин Короткий* (714—768) — первый франкский король из Каролингского дома, сын майордома (высшего сановника) Карла Мартелла и первоначально сам майордом при королях Меровингского дома; затем при содействии римского папы низложил последнего меровингского короля Хильдерика III и по постановлению народного собрания был возведен на престол.

*Питт*, Вильям (1759—1806), называемый в отличие от своего отца, Вильяма Питта, герцога Чатама, “Питтом Младшим”—английский министр с 1784 по 1801 г. и с 1804 г. до самой смерти стоявший во главе английского правительства. Как представитель интересов торгового и промышленного капитала Питт стоял за принципы свободы торговли, уничтожения рабовладельчества, даже некоторого самоуправления колоний. Со времени революции упорная борьба с Францией сделалась основной целью политики Питта. Сначала он боялся заразительного влияния революционных идей на Англию, но потом, особенно с начала наполеоновского владычества, боролся прежде всего ради ослабления французской торговли и промышленности, ради освобождения европейских рынков от французского преобладания и обеспечения Англии от возможности французского нашествия. На французских эмигрантов смотрел с пренебрежением, пользуясь ими для возбуждения смут и интриг против революционной Франции. Галей-рана он презирал за взяточничество и постоянное предательство, но терпел его присутствие в Англии, пока враждебные происки других эмигрантов против Галейрана не побудили его дать приказ о высылке из Англии опального князя. Питт организовал в 1795 г. десант французских эмигрантов" на мыс Киберон, на западном берегу Франции, и когда его потом укоряли" в последовавшем за этой высадкой кровопролитии, он с торжеством заявил, что “не пролилось ни капли английской крови”. Когда в 1801 г. был заключен— уже без него — Амьенский мир между Англией и Францией, он не верил в прочность мира и энергично готовился к войне. В 1804 г., вернувшись к власти, он немедленно стал готовить новую коалицию против Наполеона. В коалицию вошли Австрия, Англия и Россия. Питт финансировал войну 1805 г., кончившуюся поражением австро-русской союзной армии под Аустерлицем (2 декабря 1805 г.). Это произвело потрясающее действие на Питта. Вскоре после получения рокового известия он скончался.

*Пишегрю*, Шарль (1761—1804) — французский генерал; в молодости был репетитором в



бриенском военном училище, где среди его учеников был Бонапарт. С 1791 г. начал, при поддержке Сен-Жюста и Робеспьера, быстро продвигаться по службе и к концу 1793 г. был уже главнокомандующим рейнско-мозельской армией, а затем и северной. Конвент провозгласил его после ряда побед “спасителем отечества” и позволил ему объединить в своих руках командование почти всеми французскими войсками. Не сочувствуя политике Конвента, Пишегрю вошел в сношения с принцем Конде, командовавшим армией французских эмигрантов. Об его измене правительство было извещено Моро, и Пишегрю был смещен. В 1797 г. он был избран в члены и затем в председатели Совета пятисот. Во время переворота 18-го фруктидора V года был арестован и сослан в Кайенну, но бежал оттуда в Англию, где действовал в пользу Бурбонов. В 1803 г. он пробрался во Францию для участия в попытке свержения первого консула, но был схвачен, посажен в тюрьму и затем найден в ней мертвым.

*Полиньяк*, Иоланда-Мартина-Габриелла Паластрон, графиня, впоследствии герцогиня (1749—1793) — фаворитка Марии-Антуанетты, гувернантка королевских детей, использовавшая свою близость к королеве с целью получения sinecur для своих родственников, огромных пенсий и подарков. Сильно содействовала непопулярности Марии-Антуанетты. Эмигрировала через два дня после взятия Бастилии.

*Помпадур*, Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза (1721—1764).— Мать ее была женой простого слуги, ставшего затем поставщиком припасов для армии. Ее незаконным отцом был синдик Ленорман де Турнегем, давший ей светское образование и оставивший ей большое наследство. Он выдал ее замуж за своего племянника Ленормана д'Этиоль. В 1745 г. она сошлась с Людовиком XV при содействии своего родственника, придворного лакея, была официально введена ко двору, получила титул маркизы Помпадур и почти двадцать лет сохраняла положение фаворитки. Она вмешивалась в государственные дела и принимала участие в создании австро-французского союза, вызвавшего Семилетнюю войну (1756—1763) между Пруссией и Англией, с одной стороны, Россией, Францией и Австрией — с другой.

*Пон*, граф — младший гувернер герцога Луи-Филиппа-Жозефа Шартрского, впоследствии герцога Орлеанского.

*Писсонби*, сэр Фредерик Кавендиш (1783—1837) — английский генерал, участвовавший в войне Англии с Наполеоном на Пиренейском полуострове и в битве при Ватерлоо.

*Понятовский*, Иосиф, князь (1763—1813) — польский генерал, племянник короля Станислава Понятовского; первоначально служил в австрийской армии; в 1792 г. главнокомандующий организованными им польскими повстанческими войсками; в 1794 г. служил под начальством Костюшко; в герцогстве Варшавском был военным министром; в 1812 г. в походе Наполеона на Россию командовал польским корпусом; отличившись в битве при Лейпциге, получил звание французского маршала; утонул во время отступления французской армии.

*Порталис*, Жозеф-Мари, граф (1778—1858) — французский государственный деятель, дипломат в эпоху империи, секретарь министра вероисповедания, которым был его отец, и после его смерти временно управляющий министерством, затем член Государственного совета. Извещенный аббатом Астросом (см.), своим родственником, о папском послании, он не сообщил о нем Наполеону, за что был отставлен. В 1828 г. занимал в кабинете Мартинакьяка пост министра юстиции и затем министра иностранных дел.

*Прадт*, Доминик (1759—1837) — архиепископ Малина, получивший это назначение от

Наполеона за исполнение в 1808 г. дипломатической миссии в Испании, куда он был послан к королю. В 1814 г. сотрудничал с Талейраном в стремлении к реставрации Бурбонов.

*Прайс*, Ричард (1723—1791) — английский моралист, философ и публицист, получивший большую известность своими памфлетами, в которых выступал за независимость американских колоний.

*Пристли*, Жозеф (1733—1804) — известный английский химик, священник диссидентской церкви, выступал против политики правительства в отношении американских колоний, эмигрировал в Америку, где и умер.

*Прусская королева* — см. Луиза.

*Пюиаье*, Луи Брилар, маркиз Пюизье и Силлери (1720—1770) — французский дипломат, министр в 1752—1756 гг., двоюродный дед графа Жанлиса, мужа писательницы, и владелец родового поместья Силлери.

*Равес*, Симон (1770—1849) — французский роялист, активно участвовал в восстании Лиона против Конвента, в период империи жил в уединении, в 1814 г. участвовал в восстановлении Бурбонов, в 1819 г. председатель палаты депутатов.

*Рагуаский герцог* — см. Мармон.

*Раде*, Этьен, барон (1762—1825) — французский генерал, командовавший жандармерией; ему было поручено Наполеоном взять папу Пия VII под стражу.

*Расин*. Жан (1639—1699) — французский драматург.

*Раудон*, Френсис, первый маркиз Гастингс (1754—1826) — участвовал в войне с Америкой, член палаты лордов, генерал-губернатор Бенгалии, главнокомандующий английскими военными силами в Индии и затем губернатор Мальты.

*Ревельон* — обойный фабрикант в парижском предместье Сент-Антуан; на его фабрике произошло 28 апреля 1789 г. восстание рабочих.

*Рейналь* (1713—1796) — аббат, французский историк. За работу по истории европейских учреждений в обеих Индиях, “*Histoire philosophique des Indes*”, в которой он изобличал колониальную политику европейцев, церковь и инквизицию, подвергся во Франции гонениям и искал убежища в Петербурге у Екатерины II.

*Рейнгардт*, Шарль-Фредерик, граф (1761—1837) — французский дипломат, заменивший в 1799 г. Талейрана на посту министра внешних сношений. В 1805—1814 гг. посланник в Вестфалии.

*Рейхштадтский герцог*, Наполеон-Франц-Иосиф-Карл (1811—1832) — иногда называемый Наполеоном II, единственный сын Наполеона от второго брака, с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой; получил при рождении титул короля римского. После падения Наполеона был перевезен в Австрию с титулом герцога Рейхштадтского, служил в австрийских войсках и умер от чахотки.

*Ремюза*, Огюст-Лоран, граф (1762—1823) — адвокат при счетной палате в Э, при

консульстве префект дворца, затем первый камергер Наполеона и директор императорских театров; обязан был придворной карьерой своей жене; она оставила мемуары, написанные ею после реставрации, в которых подчеркивает свое критическое отношение к императору (“Memoires de m-me de Remusat”). После реставрации служил в провинциальной администрации.

*Рети, Жан-Франсуа-Поль Гонди* (1613—1679) — французский кардинал; с детства был предназначен отцом к занятию архиепископства парижского, которое не раз находилось в руках членов семьи Гонди. Сам не чувствовал ни малейшей склонности к духовной карьере. Уже будучи коадьютором парижского архиепископа, принимал участие в смутах Фронды, должен был покинуть Францию и мог вернуться в нее лишь после смерти Мазарини. В 1662 г. сложил с себя должность парижского архиепископа, — местоблюстителем которого он был по смерти архиепископа, своего дяди, — и получил аббатство Сен-Дени. Его мемуары, изданные впервые в 1717 г., дают яркие портреты деятелей Фронды и очерки всего движения. Член Конвента Лежандр называл эти мемуары “требником революционеров”.

*Римский король* — см. Рейхштадтский герцог.

*Ришелье, Арман-Жан Плесси, герцог* (1585—1642).—Ему первоначально покровительствовала мать Людовика XIII, королева Мария Медичи, содействовавшая получению им кардинальского достоинства и назначению его в 1624 г. в королевский совет. С тех пор он оставался в течение восемнадцати лет, до самой своей смерти, настоящим правителем Франции, отодвинувшим в тень короля Людовика XIII. Его активная деятельность была направлена на создание во Франции бюрократической монархии и на искоренение феодальных прерогатив аристократии; он вел борьбу с оппозицией высшего дворянства и с гугенотами, служившими им прикрытием. ” Соппротивление последних было сломлено взятием их крепости Ла-Рошель, а значение дворянства в провинциях умалено назначением туда королевских чиновников-интендантов. Мария Медичи, выступившая против Ришелье, должна была сама отправиться в изгнание. Ришелье привлек Францию к участию в Тридцатилетней войне, продолжавшейся с 1618 по 1648 г. и вызванной борьбой габсбургского универсализма и римского ультрамонтанства с протестантизмом и стремлением германских князей к автономии, причем во внешней политике кардинал Ришелье выступал на стороне протестантов, для противодействия влиянию Австрии. Между прочим, он построил в Париже кардинальский дворец, который после его смерти перешел к королю под названием Пале-Рояль. Памятником его деятельности является многотомная публикация: “Lettres, de-peches, instructions papiers d'Etat de Richelieu”, publics par M. Avenil, входящая в серию “Collection de documents inedits sur l'histoire de France”.

*Робеспьер, Максимилиан-Мари-Исидор* (1758—1794)— французский революционер; до революции адвокат в Аррасе; депутат Генеральных штатов от третьего сословия, вождь якобинского клуба, фактический глава якобинской республики. Был казнен 10 термидора II года (28 июля 1794 г.).

*Роверелла, Аурелио* (1748—1812)— итальянский кардинал, участвовал в церемонии второго бракосочетания Наполеона, сторонник примирительной политики церкви в отношении императора.

*Рокур, псевдоним Франсуазы Сосерот* (1756—1815) — французская трагедийная актриса.

*Ромилъи, Самуель, сэр* (1757—1818) — английский законовед, член палаты общин,

известный своими работами по реформе устаревшего английского уголовного права.

*Рош-Аймон*, Шарль-Антуан (1697—1777)—архиепископ реймский с 1762 г. и кардинал с 1771 г. Короновал Людовика XVI. С 1735 по 1775 г. принимал участие во всех собраниях духовенства, председательствуя на них с 1760 г.

*Рошмсаклен*, Луи Вержье, маркиз (1777—1815)— генерал-майор, пытавшийся в эпоху “Ста дней” поднять Вандею за дело Бурбонов и убитый в сражении. Брат известного вандейского генерала, убитого в 1794 г.

*Рошфуко*, Доминик (1713—1800) — архиепископ руанский и кардинал, участвовал в Генеральных штатах, эмигрировав в 1792 г.

*Рошфуко-Лианкур*, Франсуа-Александр-Фредерик, герцог (1747— 1827) — депутат Генеральных штатов, эмигрировал после 10 августа 1792 г.; при реставрации—член палаты пэров, известен организацией просветительских учреждений и филантропической деятельностью.

*Рошфуко д'Энвиль*, Луи-Александр, герцог де ла Рош-Гион (1743— 1792) — участник собрания нотаблей 1787 г., представитель дворянства в Генеральных штатах, где он присоединился к третьему сословию. Был убит в сентябрьские дни 1792 г.

*Рудольф Габсбург* (1218—1291) — первоначально владетельный граф эльзасского дома, объединивший в своих руках земли по левому берегу Рейна. С 1273 г. — император, основатель династии Габсбургов. Благодаря завоеванию им Богемии престол Габсбургов был перенесен с Рейна на Дунай.

*Рульер*, Клод (1735—1791) — секретарь посольства в Петербурге, где наблюдал переворот 1762 г. и впоследствии написал работу “Histoires ou anecdotes sur la revolution de Russie”, появившуюся после его смерти, в 1797 г. В 1768 г. ему было поручено написать для дофина, впоследствии Людовика XVI, историю волнений в Польше. Эта работа появилась лишь в 1807 г. под заглавием: Claude Rulhiere, “Histoire de l'anarchie de Pologne et du demembrement de cette republique”, в четырех томах. Он довел свою работу до 1770 г., а история раздела 1772—1773 гг. была дописана издателем.

*Румянцев*, Николай Петрович, граф (1754—1826) — сын екатерининского фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского. При Александре I был назначен министром коммерции, а в 1808 г.— министром иностранных дел, как сторонник союза с Францией; в 1809 г. возведен в канцлеры. Во время Отечественной войны он был фактически устранен от дел, а в 1814 г. был и формально уволен; составил богатое книжное собрание, легшее в основу библиотеки Румянцевского музея, превращенной ныне во Всесоюзную библиотеку имени Ленина.

*Руффо*, Фабриче (1744—1827) — итальянский кардинал с 1794 г., близкий советник короля Фердинанда неаполитанского и, после его свержения, видный деятель роялистского движения в его пользу.

*Сабатье де Кабр* (1745—1816) — советник парижского парламента, оппозиционный двору; сослан одновременно с герцогом Орлеанским; по возвращении участвовал в общественном движении, предшествовавшем революции, но испугался ее размаха; был арестован во время террора и освобожден после 9 термидора.

*Савари*, Анн-Жан-Мари-Рене, герцог Ровиго (1774—1833) — французский политический деятель, участник революционных войн, с 1800 г. адъютант Наполеона, в 1802 г. директор бюро тайной полиции, открыл заговор Кадудалья и Пишегрю, руководил арестом герцога Энгиенского и судом над ним. В 1823 г. выпустил произведшую сенсацию брошюру, вошедшую затем в его мемуары, в которой возлагал ответственность за это дело на Талейрана. После Тильзитского мира был назначен послом в Петербург, где был холодно встречен верхами общества; вскоре был отозван, получил титул герцога Ровиго и отправлен в Испанию, чтобы убедить королевскую семью прибыть к Наполеону в Байонну, где она была взята в плен. В 1810 г. назначен вместо Футе министром полиции и оставался в этой должности до падения империи. После низложения Наполеона хотел сопровождать его на о-в Св. Елены, но англичане поселили его на Мальте, откуда он бежал и в 1819 г. явился в Париж, предстал перед судом и был оправдан по обвинению в убийстве герцога Энгиенского. Мемуары *его* (“*Memoires du due de Rovigo pour servir a l'histoire de l'empereur Napoleon*”) вышли в 1828 г.

*Саксен-Веймарский* герцог — выступил в 1806 г. вместе с Пруссией против Наполеона. Его войска были разбиты, а столица сильно пострадала от отступавших прусских войск.

*Сапега*, Александр, князь (1773—1812) — польский литератор, занимавшийся славянским вопросом. В 1812 г. был назначен камергером Наполеона.

*Светоний* — римский писатель, живший между 75 и 160 гг. Из его уцелевших работ известнее всего “Жизнеописание двенадцати цезарей”, от Цезаря до Домициана, и несколько уцелевших частей обширного Трактата “О знаменитых мужах”.

*Себастиани*, Франсуа-Горас, граф (1772—1851) — французский маршал и дипломат, участвовал в первом итальянском походе Бонапарта, содействовал перевороту 18 брюмера, в 1806—1807 гг. посол в Константинополе, участвовал в войне 1812—1814 гг., во время реставрации член палаты депутатов, при июльской монархии занимал в 1830 г. пост морского министра и в 1831 г. — иностранных дел; в этой должности подвергся сильным нападкам в связи с подавлением царской Россией польского восстания. В 1832 г. вышел в отставку. В 1840г. был произведен в маршалы.

*Севинье*, Мари Рабютен-Шанталь, маркиза (1626—1696) — известная своей перепиской, изданной под названием “*Lettres de m-me de Sevigne*” в двенадцати томах. Подавляющее число ее писем адресовано дочери, г-же Гриньян. Они дают яркую картину жизни общества и его нравов в XV-II веке, представляют летопись сорока лет царствования Людовика XIV и составляют классические образцы эпистолярного стиля.

*Сегюр*, Филипп-Анри, маркиз (1724—1801) — генерал-лейтенант; с 1780 по 1787 г. военный министр и затем маршал.

*Селим III* (1761—1808) — турецкий султан с 1789 г., свергнутый янычарами в 1807 г.

*Семонвиль*, Шарль-Луи-Гюг, маркиз (1759—1839) — советник парижского парламента с 1778 г., пользовавшийся благосклонностью Людовика XVI; в первые годы революции исполнял дипломатические поручения за границей. Во время террора просидел два с половиной года под арестом. При реставрации был назначен пэром. В 1830 г. пытался спасти Бурбонов, но и при Луи-Филиппе сохранил свое положение. Был женой на вдове графа Монтолона. Его пасынок, генерал Монголов, сопровождал Наполеона на о-в Св. Елены.

*Сен-Венсен*, Роберт (1725—1799) — советник парижского парламента, враждебный партии двора.

*Сен-Жени*. (1741—1808) — юрист, написавший *работу* в защиту прав короны против притязаний церкви (Saint-Genis, “Defense des droits da roi centre les pretentions du clerge de France”).

*Сен-Лоран*, барон (1763—1832) — генерал-лейтенант артиллерии, участвовал в войнах империи.

*Сен-При*, псевдоним Жана-Амабль Фуко (1759—1834) — актер Французской комедии на амплу героев.

*Сен-Симон*, вероятно, Анри-Жан-Виктор Рувруа, маркиз и впоследствии герцог (1782—1865) — французский генерал; участвовал в войне Наполеона в Испании, примкнул к Бурбонам при их реставрации, при возвращении Наполеона с о-ва Эльбы последовал в Гент за Людовиком XVIII. Последний подарил ему рукопись знаменитых мемуаров его предка, герцога Луи Сен-Симона.

*Сен-Фаржо*, Луи-Мишель Лепелетье, граф (1760-1793) – председатель парижского парламента, депутат от дворянства в Генеральных штатах, где был ярким защитником старого порядка и отказался присоединиться к третьему сословию. После 14 июля, считая дело монархии проигранным, примкнул к якобинцам и голосовал в Конвенте за казнь короля.

*Сидмаус*, Генри Аддингтон, первый виконт Сидмаус (1757—1844)— английский государственный деятель, премьер-министр в 1801—1804 гг., после чего занимал ряд других министерских постов в разных кабинетах, в том числе министра внутренних дел; отличался властной политикой. В его премьерство был подписан Амьенский мир.

*Сиес*, Эммануель-Жозеф (1748—1831) — аббат, член Учредительного собрания; обратил на себя всеобщее внимание, выступив накануне созыва Генеральных штатов с рядом брошюр, в которых резко стал на сторону решительной реформы государственного строя. Особенно прогремела его знаменитая брошюра, явившаяся как бы манифестом революционной буржуазии. Идея этой брошюры вся в ее длинном названии, состоящем из трех вопросов: “Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор в государственном строе? Ничем. Чего оно домогается? Сделаться кое-чем”. В 1792 г. он был одно время председателем Конвента. Конституционный теоретик, стремившийся к установлению буржуазной парламентской монархии, Сиес вскоре был отброшен в сторону растущим революционным потоком. Во время террора он держался в стороне. После падения Робеспьера он сделался в 1795 г. членом Совета пятисот, выдвинулся вновь в роли дипломата, был в 1798 г. послом Франции в Берлине и попал в директоры в 1799 г., перед самой гибелью Директории. При генерале Бонапарте, которому Сиес помогал произвести переворот, он рассчитывал играть роль и действительно стал сначала одним из трех консулов. Но Бонапарт вскоре устранил его, правда, сделав при этом графом и пожаловав богатое поместье. Никакой политической роли ни при империи, ни при реставрации, ни при Луи-Филиппе он уже не играл.

*Сикс* — голландский политический деятель, член депутации, отправленной в 1806г. в Париж для протеста против выдвигавшегося уже тогда Наполеоном проекта присоединения Голландии к Франции.

*Силлери*, маркиза — см. Жанлис.

*Симеон*, Жозеф-Жером, граф (1749—1842) — правовед, член и председатель Совета пятисот в 1795 г., член Трибуната в 1800 г., министр внутренних дел и юстиции и председатель Государственного совета Вестфальского королевства в 1807 г.

*Смит*, Роберт (1757—1842) — американский государственный деятель, статс-секретарь по морским делам и генерал-прокурор в президентство Джефферсона.

*Собесский* — см. Ян.

*Со-Таванн*, граф (род. 1713) — генерал-лейтенант и кавалер свиты королевы Марии Лещинской.

*Сперанский*, Михаил Михайлович, граф (1772—1839) — русский государственный деятель, автор проекта преобразования государственных учреждений, в котором пытался умалить значение дворянства как правящего класса. Он встретил сильную оппозицию, выразителем которой был Карамзин, и в 1812 г. был отправлен в ссылку в Нижний Новгород, а затем в Пермь. В 1816 г. был назначен губернатором в Пензу, а в 1819 г. — генерал-губернатором в Сибирь. В 1821 г. он был возвращен в Петербург и в царствование Николая I руководил составлением Полного собрания законов и Свода законов, но к широкой государственной деятельности уже не вернулся. По воспоминаниям Ф. Булгарина, Наполеон сразу оценил Сперанского при встрече с ним во время эр-фуртского свидания. Указывая на него Александру, он будто бы сказал: “Не угодно ли вам, государь, променять мне этого человека на какое-нибудь королевство?” На о-ве Св. Елены он писал про Сперанского: “Это была самая разумная и самая честная личность при русском дворе”.

*Спина*, Джузеппе, граф — итальянский кардинал и с 1802 г. архиепископ Генуи; вел переговоры о конкордате.

*Спренгпортен*, Георг-Магнус (1741—1819) — уроженец Финляндии, первоначально генерал шведской службы, но затем был отстранен, как сторонник автономной Финляндии с республиканской формой правления. Недостаток средств заставил его поступить на русскую службу. Во время русско-шведской войны 1787 г. ему были даны Екатериной II средства для военной экспедиции в Финляндию, но он был финнами разбит, а Швецией объявлен изменником и приговорен заочно к смертной казни. Во время завоевания Финляндии в 1808 г. подал, утвержденный затем, проект ее устройства и был назначен ее генерал-губернатором, но пробыл в этой должности только несколько месяцев.

*Стадион*. Иоганн-Филипп-Иозеф-Карл, граф (1763—1824) — австрийский дипломат, в 1804 г. поверенный в делах в Петербурге, затем министр иностранных дел, после падения Наполеона уполномоченный на ряде конгрессов.

*Сталь*, Анна-Луиза, баронесса (1766—1817) — дочь министра Людовика XVI, Неккера, французская писательница и публицистка. В первые времена революции ее салон считался в Париже одним из самых блестящих. Напуганная грандиозным размахом революционного движения, Сталь бежала в 1792 г. в Англию, а потом переселилась на свою родину в Швейцарию. В 1796 г. она вернулась в Париж, и ее салон на некоторое время стал влиятельным. Талейран широко воспользовался ее покровительством и ее дружбой с Баррасом. При Наполеоне она была за свой либерализм и оппозиционный дух

изгнана из Франции. Она много путешествовала в эти годы по Германии (о которой написала книгу), была в России, в Швеции и т. д. Наполеон продолжал свои гонения, он велел сжечь ее книгу о Германии, отдал ее под полицейский надзор даже в Швейцарии, где она проживала и где император был всемогущим как почти во всей Европе. Лишь после падения империи она вернулась во Францию.

*Стефан III* (720—772) — римский папа с 768 г., искал у короля франков Пипина Короткого защиты от лангобардов и под страхом отлучения запретил франкским сеньорам признавать королей из другой династии. Пипин отобрал захваченные королем лангобардов Айстульфом города и Римскую область и передал их папе вместо того, чтобы вручить их византийскому императору Константину Копрониму, во владения которого они входили. Этот незаконный дар послужил основанием притязаний пап на светскую власть.

*Стефан IV* — римский папа в 816—817 гг., короновал в Реймсе французского короля Людовика Благочестивого.

*Стефания Баденская* — см. Богарнэ Стефания.

*Стирум* — голландский политический деятель, член депутации, отправленной в 1806 г. в Париж для протеста против выдвигавшегося уже тогда Наполеоном проекта присоединения Голландии к Франции.

*Суз, граф* — сын Луи-Мишеля Шамильера, графа де ла Суз, сестра которого, Мари-Элизабет Шамильер, вышла замуж за Даниеля-Мари Талейрана и была бабкой автора мемуаров.

*Суза-Ботело, Жозе-Мари, маркиз* (1758—1825) — португальский дипломат и литератор, занимал дипломатические посты в Швеции, Дании, Мадриде, Лондоне, Берлине и Париже, где, будучи посланником, женился на писательнице гр. Флаго, придавшей его имени большую известность.

*Сулла, Луций-Корнелий-Феликс* (138—78 до н. э.) - римский военачальник и с 82 г. диктатор, упрочивший аристократическую партию в сенате.

*Сульт, Никола-Жан Дье, герцог Далматский* (1769—1851) — французский военный и государственный деятель, участвовал в войнах эпохи республики, консульства и империи. При реставрации был в 1814 г. назначен военным министром, но, как только Наполеон высадился во Франции, перешел на его сторону, за что после второй реставрации и был изгнан из Франции. Через несколько лет получил разрешение вернуться и впоследствии был назначен пэром. После июльской революции примкнул к новому правительству и получил пост военного министра. Несколько раз стоял во главе правительства, но влияние всегда принадлежало не ему, а Тьеру или Гизо. В 1847 г. вышел в отставку и получил звание маршала. Его мемуары были изданы в 1854 г. (Soul, “Histoire des guerres de la revolution”).

*Суриш, Луи-Франсуа, граф* (род. 1744) — занимал должность прево, который разрешал судебные дела всех чинов дворцового ведомства.

*Сюард, Жан-Батист-Антуан* (1733—1817) — французский писатель, театральный цензор, известный недопущением “Женитьбы Фигаро” на сцену. Как роялист он покинул Францию в эпоху революции, вернулся после 18 брюмера, но предложение Наполеона



написать апологию казни герцога Энгиенского не выполнил.

*Сюше*, Луи-Габриель, герцог д'Альбуфера (1772—1826) — наполеоновский маршал, участвовал в войнах республики, консульства и империи. Оставил наброски мемуаров, вышедшие в 1829 г. под редакцией Сен-Сира Нугуе.

*Таванн* — см. Со-Таванн.

*Талейран*, Луи, барон (1738—1799)—дядя автора мемуаров. Был послом Франции при неаполитанском короле.

*Талейран-Перигор*, Александр-Анжелик (1736—1821)—духовник короля, коадьютор архиепископа реймского, ла Рош-Аймона, и затем архиепископ реймский. В 1789 г. был избран в Генеральные штаты, где в противовес своему племяннику, автору мемуаров, заявил себя противником всяких реформ. Впоследствии эмигрировал и был при Людовике XVIII в Митаве. После реставрации назначен пэром, получил кардинальское достоинство и архиепископство парижское. Своего племянника пламенно ненавидел.

*Талейран-Перигор*, Александр-Эдмонд, граф, затем герцог Дино и позже герцог Талейран-Перигор (род. 1787) — племянник автора мемуаров.

*Тальма*, Франсуа-Жозеф (1763—1826) — французский трагедийный актер; первый его триумф связан с представлением в 1789 г. на сцене Французской комедии трагедии Жозефа Шенье “Карл IX”, постановка которой встретила при дворе большие препятствия. Лучший период его творчества относится к наполеоновской эпохе. Связанный с Наполеоном, он поспешил принять тотчас после его низложения приглашение Людовика XVIII. Его апокрифические мемуары опубликованы на русском языке.

*Тальма*, Цецилия-Каролина-Шарлотта (1771—1860) — французская актриса, вторая жена Франсуа-Жозефа Тальма и дочь актера Вангова; четырнадцати лет дебютировала в роли Ифигении в трагедии Расина во Французской комедии. Исполняла роли разного амплуа в ложноклассическом репертуаре; считается предшественницей актрисы Марс.

*Тандо* — докладчик парижского парламента при Людовике XVI.

*Тацит* (55—120) — римский историк. В эпоху французской революции прославлялся во Франции как писатель, сурово осуждавший в своих произведениях деспотизм и жестокость римских императоров. Его сочинения долгое время были изъяты из школьного преподавания по всей монархической Европе за их дух протеста. Пушкин говорил, что Наполеон не любил Тацита, как своего “мертвого карателя”.

*Темин*, Александр Лозьер (1742—1829)—духовник короля, с 1776 г. епископ Блуа. Вовремя революции не присягнул, уехал из Блуа по требованию местных властей, эмигрировал в 1791 г., отказался дать папе отставку от епископства, протестовал в 1802 г. против конкордата, но в 1811 г. признал императорскую власть, за что был отвергнут в Лондоне, где он жил, всей легитимистской эмиграцией. В 1814 г. Отказался вернуться во Францию и умер в эмиграции в Брюсселе.

*Террай*, Жозеф (1715—1778) — советник парижского парламента как сторонник партии двора назначен в 1755 г. докладчиком; в 1769 г. - генеральный контролер.

*Тиберий*, Клавдий-Нерон (42 до н. Э.—37 н. э.) — римский император, за которым

укрепилась слава тирана.

*Тит Ливий* (59 до н.э.— 19 н. э.) — римский историк, написавший историю Рима в 142 книгах, из которых до нас дошло 35.

*Толстой, Николай Александрович, граф* (ум. 1816) — обер-гофмаршал, брат чрезвычайного посла в Париже.

*Толстой, Петр Александрович, граф* (1761—1844) — генерал. С октября 1807 г. по октябрь 1808 г. был чрезвычайным послом в Париже; придерживался антифранцузской ориентации и после свидания в Эрфурте был отозван. Меттерних отозвался о нем: “*cet ambassadeur malgre lui*”

*Томассен, Луи* (1619—1695) — преподаватель богословия и автор множества работ по церковной истории. Здесь идет речь об его сочинении “Древняя и новая церковная дисциплина в отношении бенефиции”, вышедшем в Париже в 1678 г.

*Трубецкой, Василий Сергеевич, князь* (1776—1841)—генерал-адъютант Александра I, сопровождал императора в поездках на свидание в Тильзит, на конгрессы в Вену, Аахен и Верону. Николаем I назначен сенатором и затем членом Государственного совета.

*Трюден, Шарль Монтињи* (1733—1777) — одно время генеральный интендант по финансам.

*Тур дю Пен-Гуверне, Фредерик-Серафим, маркиз* (1758—1837)— французский политический деятель, при империи префект Брюсселя, после реставрации занимал дипломатические посты, был секретарем французского посольства в Вене.

*Турн-и-Таксис, Тереза, княгиня*—дочь вел. герцога Мекленбург-Стрелицкого, замужем за кн. Карлом-Александром Турн-и-Таксис, владетельным имперским князем, потерявшим свои владения после образования Наполеоном Рейнской конфедерации. Князья Турн-и-Таксис обладали с 1695 г. почтовой монополией в Германии.

*Тюрга, Анн-Робер-Жак, барон д'Он* (1727—1781)—французский государственный деятель. Был близок с Кене. Молодость провел в научной работе. Административная его деятельность началась в 1761 г. назначением интендантом в Лимож, где он стремился упорядочить местное хозяйство и финансы. В 1774 г. был назначен генеральным контролером. Будучи сторонником либерально-бюрократической монархии, начал проводить ряд либеральных мер, в том числе ввел свободу торговли хлебом, издал эдикты, направленные к свободному развитию производительных сил, отменил цехи, объявив труд личной собственностью и в то же время запретив рабочим образовывать ассоциации, лишая их во имя свободы труда принадлежащего им прежде права. Однако ему не удалось провести задуманную им систему реформ. Пробыв в министерстве немного более восьми месяцев, Тюрга получил отставку, к радости всех сторонников старого порядка. Его собственную политическую систему очень хорошо выражают приписываемые ему слова: “Дайте мне пять лет деспотизма,— и Франция станет свободной”.

*Убри, Петр Яковлевич* (1774—1847) — русский дипломат, поверенный в делах в Париже в 1803—1804 гг., с особой миссией там же в 1806 г., временно управляющий министерством иностранных дел в 1823— 1824 гг.

*Уваров*, Федор Петрович (1769—1824) — генерал-адъютант Павла I, при котором начал быстро продвигаться вследствие близости с мачехой фаворитки кн. А. П. Лопухиной. Сопровождал Александра I в Тильзит и Эрфурт.

*Удит*, Никола-Шарль, герцог Реджио (1767—1847) — наполеоновский маршал, отличился во время битвы при Ваграме, за которую получил маршальский жезл. В походе 1812 г. сражался против армии русского генерала Витгенштейна и во время переправы через Березину помог Наполеону спастись. После реставрации примкнул к Бурбонам и получил звание пэра.

*Фабер*. Авраам (1599—1662) — один из виднейших французских военачальников XVII века, маршал.

*Фен*, Агафон-Жан-Франсуа, барон (1778—1837) — выдвинулся в секретариате Комитета общественного спасения, затем — Директории и Консульства; с 1806 г. архивариус при Наполеоне, которого он сопровождал во всех походах, вплоть до Ватерлоо. Оставил ряд исторических работ.

*Фердинанд IV* (1751—1825) — неаполитанский король; царствование его ознаменовалось крайней реакцией. В 1799 г. был изгнан французскими войсками из Неаполя, провозглашенного Партенопейской республикой, но по приходе Суворова в Италию был восстановлен. Его жена, Мария-Каролина, сестра Марии-Антуанетты, усугубляла его реакционные тенденции. В 1806 г. он был вторично изгнан Наполеоном. После своего восстановления в 1815 г. принял титул короля Обеих Сицилий под именем Фердинанда I.

*Фердинанд VII* (1784—1833)—испанский король; будучи наследником престола, был в жестокой вражде с доном Годоем, любимцем королевы. В 1808 г. восстание против Годоя кончилось отречением Карла IV и воцарением его сына Фердинанда VII. Но Наполеон, под предлогом разбирательства ссоры в королевской семье, вызвал всю ее в Байонну и здесь предательски задержал, а на испанский престол посадил своего брата Иосифа Бонапарта. Фердинанд провел в плену в замке Талейрана в Валенсе пять лет. В 1813 г. он был освобожден, вернулся на престол и отменил либеральную конституцию, введенную в его отсутствие. В 1820 г. революция заставила его согласиться снова ввести конституцию, а после французской интервенции 1823 года самодержавие было восстановлено; Фердинанд жестоко расправился с революционерами. Он считался одним из самых жестоких деспотов посленаполеоновской эпохи.

*Ферран*, Антуан-Франсуа-Клод, граф (1751—1825)—до революции был советником парижского парламента, в 1789 г. эмигрировал, в эпоху консульства вернулся и жил в уединении до 1814 г., когда был назначен государственным секретарем.

*Феш*, Жозеф (1763—1839) — дядя Наполеона по его матери Летиции. Был архидьяконом в Аяччио на Корсике, но в революционную эпоху сложил сан и во время первого итальянского похода Наполеона стал комиссаром по снабжению французской армии. В 1799 г. вернулся в духовное звание, в 1802 г. стал архиепископом лионским и в 1803 г. — кардиналом. Остаток жизни после низложения Наполеона провел в Риме.

*Филипп V* (1700—1746)—испанский король с 1713 г.; внук Людовика XIV, вступил на испанский престол в результате войны за испанское наследство (см. прим. 19 к гл. I). Основал династию испанских и неаполитанских Бурбонов.

*Фитц-Джемс*, Мария, герцогиня—жена генерал-майора.

*Флаго*, Аделаида-Мария-Эмилия, графиня, впоследствии маркиза Суза-Батело (1761—1836) — французская писательница. Первый ее муж гр. Флаго был казнен во время революции; оставшись без средств, она начала писать романы и вскоре достигла большой популярности. Она вышла вторично замуж за португальского посланника в Париже, маркиза Суза-Батело. Еще до смерти первого мужа она имела от Талейрана сына, гр. Флаго, в будущем отца герцога Морни, видного деятеля второй империи, матерью которого была королева Гортензия.

*Флери* (1653—1743) — французский кардинал, пользовался большим политическим влиянием как духовник Людовика XIV и наставник Людовика XV. С 1726 г. фактически обладал властью первого министра.

*Флери*, Анна, герцогиня (род. 1721) — придворная дама королевы Марии Лещинской.

*Флери*, Клод (1640—1723) — французский аббат, младший наставник королевских сыновей, автор ряда работ по богословию и истории церкви.

*Флери*, Клодина, маркиза (род. 1750) — урожд. Монморанси-Лаваль.

*Флешье*, Валентин (1632—1710) — французский епископ, церковный оратор, оставивший несколько исторических трудов.

*Фоке*, Чарльз-Джеме (1749—1806) — английский государственный деятель, вождь партии вигов, был неоднократно министром, стоял за примирительную политику в отношении американских колоний, а впоследствии приветствовал революционную Францию. Последний раз стал министром в 1806 г., после смерти Питта, в должности статс-секретаря по иностранным делам в кабинете Гренвиля. Он начал было переговоры с Наполеоном, но, не успев довести их до конца, умер.

*Фонсмань*, Этьен (1694—1775) — младший гувернер герцога Луи-Филиппа-Жозефа Шартрского, впоследствии герцога Орлеанского, Филиппа-Эгалите.

*Фонтан*, Луи, маркиз (1757—1821) — французский поэт и политический деятель, член Законодательного корпуса в 1802 г. и его председатель в 1804 г. После падения Наполеона примкнул к Бурбонам, был назначен пэром и получил титул маркиза.

*Фонтана*, Франсуа-Луи (1750—1822) — итальянский кардинал с 1819 г., до того деятель варнавитского ордена. В 1810 г. был французами взят под стражу и пробыл в заключении до 1814 г.

*Фонтенель*, Бернар Ле-Бовье (1657—1757) — философ, поэт и писатель. Мать его была родной сестрой Корнеля. В его работах отразилось его скептическое мирозерцание и отрицание всякой метафизики, что сближало его, убежденного картезианца, с рационализмом XVIII века. Дожив почти до ста лет, он застал в конце своей жизни новую просветительскую философию, предвозвестником которой отчасти был он сам. В науке он был больше блестящим популяризатором, чем ученым. Наиболее замечательная работа, “*Entretiens sur la pluralite des mondes*”, излагает космографию в форме изящных бесед по вечерам, под открытым небом, между автором и маркизой. Она переведена на русский язык Антиохом Кантемиром под заглавием: “*Разговоры о множестве миров г-на Ф., парижской академии наук секретаря*”.

*Франц II* (1768—1835) — император Священной римской империи с 1792 г.; принял титул австрийского императора в 1806 г., после фактического уничтожения Священной римской империи. Проводил политику крайней реакции.

*Фрето де Сен-Жюст*, Эммануэль-Мари-Мишель-Филипп (1745—1794) — советник парижского парламента, оппозиционный двору; был заточен в крепость и затем избран от дворянства в Генеральные штаты, где примкнул к третьему сословию; был сторонником умеренно-либеральной монархии, дважды избирался председателем Учредительного собрания. Во время террора был гильотинирован.

*Фридрих-Август I* (1750—1827) — король, а ранее курфюрст Саксонский (под именем Фридриха-Августа III); в 1806 г. участвовал в войне против Наполеона и по Познаньскому миру получил королевский титул, но должен был войти в рейнский союз и выставить в 1807 г. корпус против России и Пруссии. По заключении Тильзитского мира Фридрих-Август I сделан был вел. герцогом варшавским, но управление обоих государств было оставлено совершенно раздельным.

*Фридрих II Великий* (1712—1786) — прусский король с 1740 г.

*Фуке*, Никола, виконт Мелэн и Во, маркиз Бель-Иль (1615—1680) — главный интендант по финансам Франции, известный расточительностью и взяточничеством; был свергнут Кольбером, судим и приговорен к изгнанию, но Людовик XIV заменил ему изгнание пожизненным заключением, так как выезд его за пределы Франции был опасен из-за знакомства его с государственными делами. В заключении он оставался девятнадцать лет.

*Фурке*, Мишель Бувар — занимал ряд второстепенных административных должностей в царствование Людовиков XV и XVI. В 1787 г. был некоторое время генеральным контролером.

*Фуше*, Жозеф, герцог Отрантский (1759—1820) — французский политический деятель. С самого начала революции был в Нанте горячим членом крайних радикальных клубов. Был выбран в Конвент, где примкнул к монтаньярам и голосовал за казнь короля. В 1793 г. был отправлен комиссаром Конвента в Лион для восстановления там спокойствия после роялистского восстания и вместе с Колло д'Эрбуа организовал там террор. Но затем стал порицать его крайности и участвовал в перевороте 9 термидора. Назначенный министром полиции в августе 1799 г., он порвал со своим революционным прошлым и содействовал Бонапарту в перевороте 18 брюмера. Оставался на посту министра полиции до 1802 г. и затем с 1804 г. по 1810 г.; превратил полицию в мощный аппарат защиты диктатуры Наполеона, что тот ценил. Одновременно, предусматривая возможность падения Наполеона, вступил в переговоры с легитимистами, республиканцами и английским правительством. Подозревая его интриги, Наполеон его удалил. По возвращении во Францию Бурбонов заявил себя их сторонником, но при возвращении Наполеона с о-ва Эльбы приветствовал его как избавителя отечества и был опять назначен министром полиции. После Ватерлоо был членом временного правительства и содействовал второй реставрации Бурбонов. Людовик XVIII назначил его в четвертый раз министром полиции. Однако нападки роялистов на Фуше за его прошлое побудили Людовика XVIII отправить его в 1815 г. посланником в Дрезден, где его настиг декрет об изгнании из Франции как царевубийцы. Он натурализовался в Австрии, где и провел последние годы жизни. обстоятельная монография о Фуше издана в 1901 г. в Париже: L. Madelin "Fouche, 1759—1820".

*Хильдерик III* — последний король Меровингской династии на престоле франков. В его

царствование, длившееся с 742 по 751 г., королевская власть окончательно отступила на задний план перед влиянием фактически правивших майордомов (высших сановников). В 751 г. был низложен, и престол перешел к первому Каролингу, майордому Пипину Короткому.

*Хименес*, Родриго (ум. 1247)—испанский кардинал, архиепископ толедский, принимал участие в политической жизни, сражался с маврами. Написал ряд исторических работ, в том числе историю Испании.

*Хитрово*, Николай Захарович (род. 1779)—генерал-майор флигель-адъютант Павла I.

*Шабан*, Мария-Елизавета—жена графа Шабан ла Палисс, придворная дама, урожденная Талейран, тетка автора мемуаров.

*Шале*, Мария-Франсуаза, урожд. Рошешуар—дочь герцога Мортемара, в первом браке за Мишелем Шамильяром, маркизам Кани, от которого она имела дочь — будущую бабушку автора мемуаров.

*Шампаньи*, Жан-Батист Нонпер, герцог Кадорский (1756—1834)— французский государственный деятель, депутат в Генеральных штатах; в 1804—1807 гг. министр внутренних дел и в 1807—1811 гг. министр внешних сношений. При реставрации пэр.

*Шалкрор*, Никола-Себастьян (1741—1794) — до революции заслужил некоторую известность как автор нескольких трагедий и стихов. Был близок с Сиесом и Мирабо. Покончил самоубийством при аресте.

*Шанталь*, Жан-Антуан, граф Шантелу (1756—1832) — известный французский химик, создавший во Франции ряд новых тогда для нее отраслей химической промышленности. В 1800—1804 гг. министр внутренних дел, учредивший торговые палаты и первую ремесленную школу и проводивший почти всю существующую сейчас сеть каналов, ряд шоссе и т. д. Наполеон назначил его сенатором; при реставрации вошел в палату пэров.

*Шартрский герцог* — см. Орлеанский герцог.

*Шартрская герцогиня* — см. Пентьевр.

*Шатобрен*, Жан-Батист Вивьен (1686—1775) — старший метрдотель герцога Луи-Филиппа Орлеанского, отца Филиппа-Эгалите, и затем младший гувернер последнего.

*Шварценберг*, Карл-Филипп, герцог Крумауский, князь (1771— 1820) — австрийский фельдмаршал, участвовал в войнах с Францией в эпоху республики и империи. Командовал союзными войсками под Лейпцигом.

*Шевер*, Франсуа (1695—1769) — французский генерал, принимавший участие во всех войнах Людовика XV.

*Шеврез*, Франсуаза (ум. 1813) — статс-дама при дворе Наполеона.

*Шенье*, Мари-Жозеф (1764—1811) — брат поэта Андре Шенье и также поэт, главным образом автор трагедий. Был членом Конвента, после 9 термидора входил в состав Совета пятисот и, наконец, при Наполеоне участвовал в Трибунате.

*Шиллер*, Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт.

*Шиммельпенник*, Иоганн, граф (1761—1825) — голландский государственный деятель; в 1805 г., после изменения голландской конституции, согласно пожеланиям Наполеона, принял верховную власть со званием великого пенсионария. После присоединения Голландии к Франции стал сенатором.

*Шуазель*, Этьен-Франсуа, граф Стенвиль, герцог (1719—1785)— министр Людовика XV, руководил внешней политикой Франции, пал в борьбе с парламентами.

*Шуазель-Гуфье*, Мари-Габриель-Флоран-Огюст, граф (1752—1817)— археолог и дипломат. Вторую часть фамилии прибавил после женитьбы на Марии Гуфье. С юности интересовался древними Афинами, объездил Грецию и часть Малой Азии и выпустил работу “*Voyage pittoresque de la Grece*”, в трех частях, вышедших в промежуток 1782—1820 гг. В 1784 г. был назначен послом в Константинополь. К революции отнесся враждебно, в 1792 году эмигрировал в Россию, где Павел I назначил его вице-президентом Академии художеств. Во Францию вернулся в 1802 г.; при реставрации был назначен пэром и членом королевского совета.

*Шувалов*, Павел Андреевич, граф (1777—1823) — участвовал в походе Суворова в Италию и в завоевании Финляндии; с 1808 г. генерал-адъютант, исполнял неоднократно дипломатические поручения, был отправлен к Наполеону после взятия Парижа и затем сопровождал его к Средиземному морю при отправке его на о-в Эльбу.

*Эйнзидель*, Детлеф, граф (1773—1861)—саксонский министр иностранных дел в 1813 г., уполномоченный Саксонии на Венском конгрессе.

*Эмери*, Жак-Андре (1732—1811) — настоятель ордена святого Сульпиция, старший викарий парижской епархии, оказывал упорное сопротивление планам Наполеона при заключении конкордата.

*Энгиенский герцог*, Луи-Антуан-Анри Бурбон-Конде, принц (1772— 1804) — последний отпрыск ветви Бурбонов-Конде; эмигрировал со своими родителями, служил в роялистской армии своего деда, принца Конде; после ее ликвидации, в 1801 г., поселился в Эттенгейме, в Баденском герцогстве. 15 марта 1804 г. был схвачен на чужой территории агентами Наполеона, привезен во Францию и расстрелян как участник роялистского заговора против империи.

*Эно*, Шарль-Жан-Франсуа, известный под именем президента Эно (1685—1770) — вступил в судебное сословие и скоро стал председателем одной из палат парижского парламента. Известен как автор нескольких поэтических произведений и одной исторической работы, произведших в свое время впечатление, но утративших вскоре всякое значение.

*Эпремениль*, Жан-Жак Вал (1746—1794) — советник парижского парламента и глава группы, оппозиционной двору. Попав в Генеральные штаты от дворянства, он стал там защитником монархии. Был гильотинирован вместе с женой.

*Эстисак*, Мария, герцогиня (род. 1737) — супруга обер-гофмейстера Людовика XV.

*Ян Собесский* (1624—1696) — польский король, избран сеймом на престол в 1674 г. Прославился как полководец блестящими победами над турками. Одна из этих побед, в

1683 г., спасла Вену, заставив турок снять осаду с австрийской столицы. Для обеспечения успеха в дальнейшей войне с Турцией заключил в 1686 г., в правление царицы Софии, вечный мир с Москвой. В народных преданиях сохранял долго ореол героя и рыцаря.

*Ярмут*, лорд — вероятно, Валмоден (см.).